

## Генрик Понтоппидан Счастливчик Пер

### Книга первая

#### Генрик Понтоппидан и его «Счастливчик Пер»

« Прекрасным наблюдателем и великим сатириком, всегда здоровым и мощным, как чернозём», назвал Понтоппидана известный датский историк литературы Георг Брандес, горячо рекомендовавший в 1909 году издание сочинений своего соотечественника в русском переводе. И действительно, достаточно обратиться к «Счастливчику Перу» или к другим произведениям этого замечательного художника слова, чтобы ощутить силу его воздействия и обаяние мастерства, поверить его искренности, подивиться умению видеть правду жизни и глубине проникновения в её тайны.

Генрик Понтоппидан вступил в датскую литературу после Г.-Х. Андерсена и как бы продолжил на новой основе реалистические традиции великого сказочника. Реалист-бытописатель, Понтоппидан стремился к всестороннему изображению «неприкрытой жизни», вскрывал социальные пороки, бичевал их со свойственным ему сарказмом, осуждал мистическую проповедь отрешения от действительности. По существу он явился наиболее ярким и последовательным выразителем движения «литературы прорыва» — эпохи Брандеса, Якобсена, Драхмана и других писателей Дании, стремившихся порвать пути консерватизма и утвердиться на путях культурного и технического прогресса.

Выходец из пасторской семьи, Понтоппидан рано ощутил потребность вырваться из затхлой обстановки мещанского быта, сбросить иго церковной морали. Летом 1891 года он писал другу Акселю Люндегорду: «Я родился 24 июля 1857 года в Фредерисии, в Ютландии. Отец мой был священником. Надолго эта обстановка наложила отпечаток на моё сознание». Детство будущего писателя прошло на его родине, а затем в Рандерсе. После окончания школы юноша решил отправиться в столицу для продолжения образования. По существу же его отъезд в Копенгаген напоминал бегство, явился своего рода формой стихийного протеста. Правда, занятия в политехническом институте тоже не дали молодому человеку ожидаемого удовлетворения. И здесь он не находил ответа на волновавшие его вопросы. В романтических мечтах уносился он в мир необъятной природы, в неведомые страны. В 1876 году студент оставляет занятия и отправляется в путешествие пешком по Германии и Швейцарии. Разумеется, яркие впечатления от этой «прогулки», как и от родной природы, не прошли бесследно для наблюдательного и поэтически настроенного юноши. От прежних планов, завершения технического образования он решает отказаться. Не получив диплома инженера, Понтоппидан обращается к естественным наукам, которые, по его мысли, открывали новые перспективы, лучше помогали постигнуть законы жизни. В 1880 году он занимает должность преподавателя естественной истории в Высшей народной школе в Хьёрлунде. К этому времени относится и начало его литературной деятельности.

Уже в раннем творчестве Понтоппидана обнаружилась сила его таланта, поражало разнообразие проблем, волновавших писателя. Большинство произведений из его по преимуществу новеллистических сборников первой половины 80-х годов объединено темой судьбы молодого поколения. В них ярко отражена неистребимая тяга молодёжи к свету и знаниям, глубина чувств, любовь к природе, дающей ощущение полноты жизни. Об этом начинающий автор повествовал в книгах, проникнутых романтическим порывом, — таких, как «Подрезанные крылья», «Деревенские картины», «Молодая любовь». Волнующе переданы в них чувства простых людей, описана жизнь обитателей убогих избушек, рассказано о столкновении отцов и детей, старого и нового. Основным объектом для изучения нравов служила писателю в ту пору датская деревня с её отсталым, но в чём-то ещё

милым его сердцу патриархальным укладом. А город, хотя и представлялся его героям воплощением культуры и прогресса, отпугивал их кажущейся «враждебностью» природе, техникой, от которой веяло холодом. Сила Понтоппидана состояла в последовательном отстаивании нового, в ниспровержении тьмы и невежества.

Со второй половины 80-х годов тема нравов и этнографические зарисовки, носившие абстрактнопросветительский и романтически-идиллический характер, сменяются у Понтоппидана более обобщенными реалистическими картинами общественной жизни. Увлечение «стихией природы» также скоро проходит. Главным мерилom писателю-реалисту начинают служить социальные факторы, выхваченные из жизни типические картины. Немалую роль в формировании новых принципов сыграл и его опыт сотрудничества в столичной прессе, стремление рассматривать свою литературную деятельность в свете задач современности. В одной из статей 1905 года он утверждал, что всякому подлинному произведению искусства обязательно присущи страстная агитация, тенденциозная мысль художника, энергия.

В последние десятилетия XIX века в датской литературе усилилась борьба идейных направлений. Понтоппидан, сложившийся к тому времени писатель, занял в этом сложном процессе особое место. Ему — реалисту и стороннику социального прогресса — претили различного рода декадентские течения, проповедь так называемого «чистого искусства». А между тем тлетворное влияние декаданса испытали тогда на себе многие датские литераторы. У Йенса Якобсена это сказалось в подчёркнутом натурализме и проповеди аморализма (новеллы, роман «Нильс Люне»); у Германа Банга, Хольгера Драхмана, Карла Йеллерупа — в изощрённом психологизме; у Йенни Блихер-Клаусен — в отстаивании безудержного индивидуализма (роман «Инга Гейне»). Печатью мистицизма и политической реакционности была отмечена литературная деятельность Йоханнеса В. Йенсена.

Известные исследователи творчества Понтоппидана (В. Андерсен, Б. Сильверсван, К. Анлунд, К. М. Вооль и другие) справедливо обратили внимание на то, что его метод «объективного реализма» принципиально противоположен «эстетизму», что писатель всегда оставался на почве действительности, создавая богатую галерею социальных типов и необыкновенно широкую картину нравов. Иначе и не могло случиться. Прекрасный знаток жизни, Понтоппидан сумел разобраться во многих её противоречиях, стремился увидеть реальные силы, способные преобразовать общество на разумных началах или, во всяком случае, способствовать его успешному продвижению на путях прогресса. Мастерство реалистического показа характеров и анализа общественных отношений особенно ясно проявилось у писателя в романах и новеллах, носивших преимущественно автобиографический характер. Близкую ему среду он знал и умел изображать превосходно. Эта особенность сближала его с такими соотечественниками, авторами повестей о детстве и юности, как Йоханнес Йоргенсен, Софус Клаусен, Вигго Стуккенберг. Позднее эту традицию развили писатели разных поколений — Мартин Андерсен Нексе, Карин Михаэлис, Кнут Беккер, Ганс Кирк, Геральд Хердаль, Ганс Шерфиг и другие.

Реалистические повести Понтоппидана конца 80-х — начала 90-х годов, непосредственно предвещающие его монументальные романы «Обетованная земля» (1891–1895) и «Счастличик Пер» (1898–1904), по существу содержат ключ к пониманию последующего творчества писателя, в том числе таких произведений, как «Великое привидение» (1907), «Царственный гость» (1908), «Страна смерти» (1912–1916) и т. д., вплоть до автобиографического цикла «Воспоминаний» (1933–1940), которым, собственно, завершается творческий путь писателя.

Герои многих повестей Понтоппидана предстают в сложных отношениях между собою, находятся в остром конфликте со средой. Автор не удовлетворяется теперь сентиментально-романтическими идеалами своей юности, нередко он иронизирует над собственными иллюзиями той поры, когда казалось, что бегство на лоно природы и обращение к чувству открывали перед человеком огромные возможности, могли спасти от житейских невзгод («Старый Адам», «Мимозы», «Природа», «Песнь песней»). В этих произведениях выражено

в одинаковой степени отрицательное отношение как к мещанскому довольству, так и к пустой мечтательности. Устами художника Йоргена Халлагера («Ночная стража») писателем была высказана мысль о том, что беспочвенный идеализм составляет несчастье современного общества, так как он «подобен сырости, разъедающей основание дома». Подобный идеализм, по мысли писателя, приносит немалые беды в сфере духовной, приводит в одних случаях к религиозной экзальтации («Сандингский приход», «Вор»), в других — к политическому фразёрству, беспринципности («Облака», «Друзья»).

Здоровые силы нации Понтоппидан видит в народе, в людях труда, в «бедняках, страдающих от колыбели до могилы». Он, по словам Брандеса, «знает датский народ и отношение высших классов к народу, как никто». С горечью сам писатель говорил о том, что стоило понять эту истину и высказать вслух мысли о свободе, чтобы прослыть за сумасшедшего и стать «отверженным».

Достаточно полно особенности мировоззрения и художественной манеры Понтоппидана раскрылись уже в трилогии «Обетованная земля», запечатлевшей характерные для датских условий конфликты современности и как бы подводившей итоги раннему периоду творчества писателя. Пастор Эмануэль Ханстед, аристократ по рождению, одержим идеей опрощения. Противник буржуазной цивилизации, он идёт «в народ», женится на крестьянке. Во всём этом он выступает как выразитель определённых принципов, пропагандист своего рода социальной утопии. В каждой из частей трилогии герой Понтоппидана соответственно олицетворяет различные тенденции: необходимость «обращения к жизни», к земле («Чернозём»), сохранение патриархальных отношений («Обетованная земля»), «примирение» государственной и так называемой свободной церкви («Судный день»).

Сильная сторона романа — в правдивом показе морального падения высших слоёв общества, в глубоком раскрытии смысла социальной трагедии тех, кто «задыхается и умоляет дать им воздуха», в показе пробуждения у крестьян политического самосознания, в призыве к свободе, в объективном разоблачении идеализма.

Вместе с тем в трилогии оказываются неизжитыми до конца иллюзии относительно Дании как страны «идеальной», «обетованной». «Толстовское» опрощение Ханстеда (одетого в холщовую рубаху, идущего за плугом и внешне ничем не отличающегося от крестьян, «людей в грубой домотканой одежде») символизирует тот путь «внутренней борьбы» и нравственного возрождения, который позволяет человеку освободиться от призраков прошлого и заблуждений и обрести свойственную жизненному темпу «напряженность могучей воли». Критика видела в Ханстеде определённый тип фанатика и беспочвенного мечтателя, доходящего до безумия в своих безмерных требованиях к себе и другим, усматривала в этом максимализме нечто родственное героям Ибсена и Бьёрнсона. Но, в отличие от Бранда и пастора Санга («Свыше наших сил»), конфликт Ханстеда со средой и его гибель имеют по сути не только личный, но в большей степени общественный характер. Основную задачу преобразования общества Ханстед видел лишь в необходимости следовать заветам европейской и датской Реформации, в том, чтобы неукоснительно «продолжать дело, начатое Лютером и Грундтигом».

Однако с подобного рода принципами сам Понтоппидан не был согласен. Автор осудил Ханстеда как пророка нового учения, развенчал его «идеализм», назвав это донкихотством. Резкая критика религиозных учений была связана с процессом дальнейшего совершенствования мировоззрения и творческого метода писателя в конце XIX — начале XX века. Рост свободомыслия, усиление национального самосознания и общественной активности масс наиболее полно отразились в следующем крупном романе Понтоппидана.

«Счастличик Пер» — многоплановое эпическое полотно. Именно в этом произведении Понтоппидан смог отразить сложные конфликты современной эпохи, воссоздать глубокие характеры и порою весьма запутанные отношения между людьми. В романе были подняты жгучие вопросы общественной и политической жизни, морали, философии и культуры. Теперь писатель приходит к более зрелому решению таких проблем,

как личность и общество, брак, семья и воспитание детей, деревня и город, религия и наука, перспективы технического прогресса, судьбы искусства и цивилизации.

Идейную концепцию этого программного произведения Понтонпидана ясно передаёт его же новелла «Пленённый дух», тесно связанная с романом по замыслу. Это рассказ об орлёнке, выросшем в пасторском доме. «Царственная птица», несмотря на подрезанные крылья, постоянно доказывала своё превосходство над обитателями птичьего двора. Во время грозы у пленника «рождалась тоска, будто пробуждалось смутное сожаление об утраченной родине». И вот однажды, в день смерти пастора, когда об орлёнке забыли, он решил попробовать свои силы и полетел. И всё же бескрайние просторы, манившие его и вызывавшие беспокойство в груди, оказались для него «чужой страной». Орлёнок ощутил тоску по «дому» и вернулся обратно.

Роман о Счастливчике Пере — глубоко трагическая книга, повествующая о надеждах юности и горьких разочарованиях, об утраченных иллюзиях. В этом смысле она носит в известной степени автобиографический характер. В центре произведения стоит образ Петера-Андреаса Сидениуса, выходца из потомственной пасторской семьи. Столкновения с действительностью начинаются у него уже в годы детства, когда мальчик — единственный из одиннадцати детей пастора — выражает протест против рабской покорности, против домашних обычаев и порядков, сковывавших его волю.

«Гордые мечты» юноши, его тяга в неведомые страны резко контрастируют с той удушающей атмосферой, в которой всё живое обречено на гибель. Естественно, что мир Сидениусов становится в романе символом, олицетворяющим всё мрачное и отсталое, «презрение ко всем земным благам», состояние общественной пассивности. Понтонпидан убедительно показывает этот гнёт мрачных традиций, тяготеющих над мещанами, которые не в состоянии даже постоять за себя.

Действие романа развёртывается на широком социально-историческом фоне. В ютландской провинции, Копенгагене и за границей перед его героем последовательно раскрываются широкие горизонты, возникают новые возможности для применения своих сил. Особое значение приобретают здесь картины из жизни представителей различных общественных групп, преимущественно так называемых «деловых» кругов датской буржуазии и «средних» слоёв — интеллигенции, сельского духовенства.

Историю Пера писатель даёт как типичную биографию молодого человека. Юный провинциал полон решимости «завоевать» столицу и утвердиться среди тех, кто чувствует себя господами положения. Счастье вначале улыбалось ему. Но уже в самом его восхождении встретилось немало трудностей, предвестников неминуемого падения. Для крупных дельцов-предпринимателей и представителей интеллигенции он всего лишь «выскочка», «отщепенец». Поэтому и самое прозвище «Счастливчик» осмысливается в их среде двойственно: оно выражает не только определённую зависть к нему или добродушное признание его временных успехов, но также и злую иронию, издёвку над человеком, который возвысился благодаря случаю и должен пасть, потому что не в состоянии принять волчьи законы капиталистического общества.

В детстве Перу казались беспредельными возможности для осуществления своих желаний. Он «воображал себя воином, викингем». Недаром особое пристрастие питал он к морю. Ссора с отцом и уход из дома (под видом необходимости продолжения образования) позволили ему наконец отправиться в новый для него мир, открыли радужные перспективы. Переезд в столицу и поступление в политехнический институт положили начало новому этапу его жизни. Он посвящает себя целиком работе над проектом усовершенствования фарватера в фьордах. В Копенгагене юноша оказывается в иной среде, но не освобождается от тлетворного влияния мещанства. Он знакомится с людьми из мира искусства, науки и журналистики, попадает даже в круги промышленников и финансистов, которые заинтересовываются его проектом, видя в этом заманчивый источник собственного обогащения.

Сидениусам с их богобоязненностью и провинциальной осмотрительностью в романе



противопоставлена семья богатого еврея Филиппа Соломона, действующего стремительно и подчиняющего все свои помыслы одному кумиру — расчёту. Именно среди биржевых акул Пер познаёт смысл эгоистической морали, получает возможность всячески развивать собственные индивидуалистические задатки. Но юношу привлекли не только капиталы старого негодяя, при помощи которых он смог бы осуществить желанную поездку в Германию или Америку. Огромное впечатление оказывали на него и представители младшего поколения этой семьи: Якоба — своим умом и независимостью суждений, Нанни — красотой и вызывающим поведением, Ивэн — беспредельной верой в молодого «гения».

Значительное место в романе отведено отношениям Пера с Якобой. Их сближение означало для него не только возможность проникнуть в общество предприимчивых дельцов и тем самым практически способствовать осуществлению своего проекта. В Якобе его привлекли её разносторонняя образованность, широта суждений, последовательность в отстаивании принципов, тонкое сочетание в характере непреклонной сдержанности и лирической задушевности. Особенно красноречиво об этом свидетельствовала её поддержка Пера в трудный для него период пребывания в Германии, нетерпеливое ожидание возвращения жениха и неожиданная поездка к нему в Дрезак. Рассказ об их встрече относится едва ли не к самым лирическим страницам романа.

Но отношения между ними не были равными и устойчивыми. Вначале Якобе нравились в Пере свежесть и живость восприятия «природы и её чудес», причудливое сочетание наивной непосредственности и логически стройного мышления учёного, изобретателя. Всё это казалось ей свойствами человека будущего, даже то, что Пер был «слишком привязан к земле». Недаром именно в нём она видела «человека двадцатого столетия». И всё же разлад, а затем и кризис в их отношениях не заставили себя долго ждать. Каждый из них постепенно убеждался в резком расхождении во взглядах, в различии характеров, воспитания. Некогда сходившиеся в критическом отношении к окружающему, они по существу стояли на разных позициях в вопросах морали, в общественных идеалах. Это и привело к окончательному разрыву между ними. Якоба после рождения у неё мёртвого ребёнка решает посвятить себя целиком делам благотворительности, а Пер, лишившийся из-за этого разрыва поддержки её отца, видит непреодолимые трудности в осуществлении своего проекта и начинает свыкаться с той средой, против которой так бурно восставал в ранней молодости.

В течение долгого времени ничто, казалось, не предвещало трагической развязки. Многие ещё продолжали способствовать воспитанию характера Пера и его воли к борьбе. Часто напряженной работой он хотел победить безволие, иногда добивался успеха. Особенно много дало ему пребывание за границей, где он совершенствовал свои знания. Германия с её турбинами и морем электричества почти всецело поглощает его мысли, она противостоит в его сознании отсталой Дании, «царству бессмыслицы». В Италии Пер тоже не был созерцателем. Именно в Риме, этом «мавзолее мирового духа», он ощутил всю «титаническую силу» народа, воплотившуюся в древних гигантских сооружениях. Античные колоссы убедили его в необходимости совершенствовать свои знания, направили к книгам. Только теперь Пер проникся мыслью о том, что те идеальные характеры, которые он тщетно искал в современности, уже существовали в прошлом — в древней республике, среди «народа-язычника», в «поколении титанов», которому юноша «считал себя сродни». В Швейцарии «общение» с природой, навеявшей мысли о «вечности», напомнило Перу о его собственных чувствах. Вершины Альп, покрытые снегом и освещённые солнцем, представляли перед ним «словно видения из первобытных времён».

«Чувство истории», охватившее Пера, помогло ему разобраться и в некоторых вопросах современной жизни, осмыслить те задачи, которые возникали перед ним самим. Правда, во многом ему ещё мешали воспитанные средой индивидуалистические настроения. Как и прежде, ему хотелось с «хмельным задором» пуститься на «завоевание трона» золотого мешка. Реальной и многообещающей была идея осуществления собственных планов, трезвого осмысления происходящего вокруг. Как инженер-практик, он объявляет

вызов бюрократам и «кабинетным учёным», считавшим его проект «безумным», а затем и богатым дельцам, разыгравшим роль меценатов, на которых, по их словам, он смотрел «голодным волком». Неприязнь с их стороны вызывала у Пера озлобление, стремление к мрачному одиночеству. Зато малейшая поддержка и похвала воодушевляли его, вливали в него чувство бодрости.

Смерть отца вызвала у него мрачные воспоминания о прошлом. Поездку на родину Пер рассматривал как возможность осуществить заветную честолюбивую мечту — «вернуться победителем в это воронье гнездо, которое было некогда свидетелем его унижения».

В одной из газетных статей технические усовершенствования Пера были названы смелыми «планами будущего», создаваемыми на «благо страны и народа». Но книга Пера о государстве будущего, по-видимому, была во многом ещё незрелой и спорной, убеждала в слабости его как мыслителя. Безусловным было то, что её замысел был искренним. Её автор, выходец из «низов», инстинктивно ненавидел чванливых буржуа, мечтал о «возвращении человечеству утраченной свободы духа».

Проект открытого порта, получивший наконец, независимо от покровительства будущих акционеров, одобрение со стороны крупного специалиста по ирригации полковника Бьерреграва, становился патриотическим начинанием, «делом всей нации». Говорили, что проект «являлся попыткой утвердить экономическую независимость страны по отношению к могучему соседу» Германии. Да и сам Пер в осуществлении своих планов видел жизненную необходимость для Дании. Анализ современной международной обстановки со всей очевидностью приводил к выводу о том, что эта победа станет «более плодотворной по мере того, как европейский центр тяжести благодаря росту политического и культурного значения России будет перемещаться на восток».

Сложность натуры Пера особенно ярко раскрывается в эпизодах, связанных со смертью его матери. Только теперь, в момент тяжелой утраты, он остро ощутил всю глубину своего падения, несправедливость своих поступков в отношении этой женщины-страдальницы. Вставная новелла о часах, повествующая о трогательном чувстве матери к непокорному сыну, воспринимается особенно драматически в момент искреннего раскаяния Пера. Блестящий мастер портрета, Понтоппидан добивается исключительной глубины и убедительности в показе облика матери и сына. Образ Пера особенно ярко раскрывается в психологически напряженном рассказе о поездке его на пароходе с гробом матери. В последние минуты прощания открылись какие-то особенно глубокие тайники горячо любящего сердца Пера, столь непохожего на своих старших братьев с их холодной благопристойностью и неистребимой расчётливостью.

Склонный к самоанализу, Пер пытается отдать себе отчёт в своих поступках. Однако теперь в его характере несколько неожиданно проступают и черты Сидениуса. Перед ним вновь встают острые проблемы поисков своего пути в жизни, просыпается даже чувство веры.

Вопросам религии в романе отведено довольно значительное место. Воззрения самого Понтоппидана на религию претерпели известную эволюцию. Несколько пассивное отношение к религии в начале творческого пути и объяснение её смысла с точки зрения морально-этической сменяется у писателя осуждением церкви и вероучения в разных его проявлениях, критикой как официальной церкви, так и различного рода сектантских учений, чрезвычайно распространенных в Дании и оказывавших тлетворное влияние на общество.

Пер знакомится с представителями различных религиозных течений. В лице своего отца он увидел служителя церкви, верящего слепо, отдающего своему делу с самозабвением, порою даже доходящим до фанатизма. Но среди церковников он увидел и немало своеобразных реформаторов. Пастор Бломберг, последователь грундтвигианского учения, казался ему борцом «за так называемое более человеческое отношение к божественным вопросам». Как человек дела, далёкий от религиозного энтузиазма, Пер был склонен идеализировать Бломберга, видел в нём какого-то «викинга-христианина», протестующего против эпохи пара и железных дорог и отстаивающего наивную «веру в

природу». Недаром Перу казалось, что в его проповедях «было много такого, что напоминало датский ландшафт». Любопытна в романе и фигура «неверующего» пастора Фьяльтринга, справедливо утверждавшего, что религия превратилась в своего рода «рыночный товар». Все они способствовали формированию бунтарства Пера и его критического отношения к церкви.

Занятия математикой и естествознанием способствовали выработке у Пера объективного взгляда на природу. Но последовательным и сознательным атеистом он всё же не стал. Со времени вступления в брак с Ингер, дочерью пастора Бломберга, его сознание как бы раздвоилось. Внешне все чаще проявлялись в нём черты, свойственные Сидениусам. Он начинает даже цепляться за веру, как за якорь спасения и источник «духовного возрождения», наивно считая, что величие человека заключено в страдании. Гораздо более сложным — и это очень важно — был процесс его внутренней эволюции. До конца жизни в нём сохраняется протест против религиозных догм. Он не останавливается и перед открытым признанием своего безбожия, понимая, что это грозит ему разрывом с женой и утратой семьи. Показательно, что завещание Пера было составлено в пользу «свободной от религии школы Якобы Саломон».

Падение Пера обусловлено, однако, не только его размолвкой с Якобой и отказом от многообещающего брака с ней. Трагичность его образу придаёт то обстоятельство, что он приходит к выводу о ложности избранного им ранее пути, распознаёт преступность капиталистических хищников, на которых делал свою ставку. Привыкший действовать смело, идти прямо «к осуществлению своей воли через Рубиконсомнений», он отказывается от таких приемов, как ложь и лицемерие, от закулисной борьбы против своего конкурента, инженера Стейнера, который в конечном счёте способствовал его падению.

Герой Понтонпидана сохраняет критическое отношение и к целому ряду других уродливых порождений капиталистической системы — таких, например, как национализм, унижение человеческой личности (проявляющихся нередко в форме антисемитизма), война и жестокая конкуренция во имя обогащения. Однако автор романа отнюдь не отождествляет своей позиции в этих вопросах с суждениями Пера.

Понтонпидан бережно руководит им, тонко и вовремя подмечает его промахи, нередко с юмором говорит о его заблуждениях. Пер часто действует в одиночку, на свой страх и риск, но никогда его образ не предстаёт изолированным от окружающего, от жизни. Временами он инстинктивно тянется к людям науки и искусства, казавшимся ему самобытными по мысли и отважными в делах. В больном поэте Эневольдсене, авторе «маленьких шедевров с тончайшей резьбой», он видит в чём-то родственную себе одинокую натуру. Подлинное же изумление и Даже зависть вызывали у него люди активного действия. К таковым он относил молодого живописца Йоргена Халлагера, «бунтаря и анархиста», а также журналиста и комедиографа Реебаля, называвшего себя «последним эллином» и стремившегося «преобразить мир» в духе идеалов античности.

Вопрос о путях развития искусства нередко приобретает в романе и самостоятельное значение, независимо от образа Пера. В этих случаях Понтонпидан как бы берёт слово от себя, высказывает собственные эстетические суждения. Центральное место среди деятелей национальной культуры и литературы отведено в романе журналисту доктору Натану. В образе Натана, по-видимому, изображён пользовавшийся шумным успехом в Дании и Европе Георг Брандес. В романе он представлен как потрудившийся для будущего Дании и своей ораторской и писательской деятельностью заложивший основу для духовного подъёма». И всё же Понтонпидан был далёк от безоговорочного восхваления деятеля такого типа. Он пытается объяснить характер противоречий литератора, «осыпанного самыми пышными почестями и подвергающегося ожесточённым нападкам». Пропагандист-популяризатор, воспитанный в традициях европейского свободомыслия, Натан был кумиром молодёжи, отвергавшей туманную философию и мистицизм Грундтвига и Кьеркегора. Публицист, «искрящийся бурной любовью к жизни», Натан, по мысли Понтонпидана, «явление совершенно необычайное для такой затхлой, крестьянской страны, как Дания».

Вместе с тем писатель не приемлет «бесцеремонную бойкость» его речи, слишком категоричную защиту принципов индивидуализма.

В романе поставлены также важные вопросы о месте искусства в жизни, о возможностях творческой личности, о трагической зависимости художника от денежного мешка.

Нельзя говорить об одинаковом художественном уровне всех частей романа или единстве его стиля. Наиболее сильными, безусловно, являются первые его главы, полные огромной жизненной правды, повествующие о человеческих страданиях, героическом «хождении по мукам». Заключительная часть выдержана преимущественно в стиле камерного повествования, утрачивающего масштабы предыдущих картин и обобщений. В ней тщательно выписываются мельчайшие нюансы переживаний героя, уделяется внимание чуть ли не каждому дню, почти каждому часу его жизни.

Датская критика определяла Понтоппидана как писателя «социального реализма». И действительно, он был далёк от натуралистического копирования деталей, изображения «мелочей» жизни. Широкий охват событий и глубина обобщений сделали роман-эпопею «Счастливчик Пер» выдающимся произведением национальной и мировой литературы.

В 1917 году Понтоппидану была присуждена Нобелевская премия по литературе. В последний период своей деятельности писатель принимает участие в общественной жизни, защищая принципы свободы и гуманизма и решительно осуждая социальное зло. До конца дней своих (он скончался 21 августа 1943 года) Понтоппидан оставался убеждённым противником политической реакции. В годы второй мировой войны совместно с другими деятелями культуры он занял антифашистские позиции, был страстным сторонником мира и демократии.

Замечательные традиции Генрика Понтоппидана, крупнейшего датского реалиста-сатирика, находят продолжение в современной прогрессивной литературе.

*В. Неустоев*

## Глава I

На востоке Ютландии, в провинциальном городишке, что затерялся среди зелёных холмов, в устье лесистого фьорда, жил ещё с довоенных времён пастор по имени Иоганн Сидениус. Это был человек набожный и суровый. И по виду своему, и по укладу жизни он совсем не походил на других обитателей города и оттого много лет оставался для них чужаком, чьи странности порой заставляли их пожимать плечами, а порой не на шутку сердиться. Когда он, высокий и чопорный, выступал по кривым улочкам городка в сером долгополом сюртуке из домотканого сукна, в больших тёмно-синих очках, крепко сжав ручку зонтика и тяжело, в такт шагам, опуская его на булыжник, встречные невольно оборачивались и смотрели ему вслед, а те, что сидели у себя дома и поглядывали в зеркальце за окном, хихикали или гримасничали, завидев его. Отцы города, старые купцы и скотопромышленники, с ним не раскланивались, даже если он был в полном облачении. Хотя сами они не считали за грех показаться на улице в деревянных башмаках и засаленной холщовой куртке, да ещё с трубкой во рту, им казалось великим поношением для всего города, что у них такой невзрачный пастор: и одет словно захудалый сельский дьячок, и по всему видать — из сил выбивается, чтобы прокормить целую ораву детишек.

Нет, они здесь привыкли к другим священнослужителям, к таким, которые носят красивые чёрные сюртуки, белые батистовые галстуки и делами своими славят родной город и его церковь, а потом становятся кто протоиереем, кто епископом и при этом никогда не кичатся своим благочестием, никогда не ставят себя выше людей и не делают вид, будто им не пристало заниматься мирскими делами и принимать участие в различных увеселениях.

В былые годы большой, сложенный из красного кирпича пасторский дом являл собой образец гостеприимности; бывало, не успеешь закончить дела с пастором, как тебя уже



приглашают в гостиную, где сидят госпожа пасторша и молодые барышни и потчуют чашкой кофе или (тех, кто почище) стаканчиком вина со всяким домашним печеньем, а за кофе ведут разговор о последних новостях. Теперь никто не переступал порог пасторского дома без особой нужды, а если и переступал, всё равно не мог проникнуть дальше похожего на келью кабинета, где обычно были приспущены шторы, потому что глаза пастора не переносили солнечного света, отраженного каменной стеной по другую сторону узкой улочки.

Посетителей Сидениус принимал стоя, садиться не предлагал, холодно выслушивал и старался как можно скорее отделаться от них, а всего неприветливей встречал он тех, кто уж, казалось бы, мог рассчитывать на радушный приём. Даже городские чиновники мало-помалу перестали являться к нему с визитами, потому что не раз и не два пастор Сидениус вместо угощения устраивал им форменный экзамен по вопросам веры и вообще держался так, словно перед ним стоят зелёные конфирманты.

Но хуже всего досаждал он людям на торжественных похоронах, когда за гробом выстраивалась пышная процессия, гремел оркестр, плыли по воздуху увитые крепом знамёна, шествовали чиновники в шитых золотом мундирах и шляпах с плюмажем и все — после лёгкого завтрака с портвейном в доме усопшего — были как нельзя более расположены к благочестивым размышлениям. Вместо того, чтобы по обычаю, воздать должное добродетелям покойника, пастор Сидениус ограничивался краткой молитвой, словно хоронили какого-нибудь бедняка или некрещеного младенца. И ни единого слова о кристальной честности усопшего, о его великом трудолюбии, ни единого намёка на его неоценимые заслуги перед родным городом, на его самоотверженную преданность идее внедрения булыжных мостовых или канализации. Если Сидениус вообще называл имя усопшего, то не иначе как с прибавлением слов вроде «жалкая горсточка праха» или «пожива для червей»; и чем многочисленнее и почтеннее было собрание, чем больше флагов реяло над развёрстой могилой, тем короче была молитва, тем непочтительнее именовались останки, ради которых люди и собрались сюда, так что порой недовольство давало себя знать тут же на кладбище.

Только две горбатых старушки, послушницы женского монастыря, были вхожи к пастору, да портняжный подмастерье с бледным лицом и с бородкой словно у Иисуса Христа, да ещё несколько спасенных душ из бедняков, которые наконец обрели здесь долгожданное прибежище среди погрязшего в мирской суете города. Собственно, и это не было семейным знакомством в привычном смысле слова, — уже хотя бы по той причине, что фру Сидениус была очень слабого здоровья и много лет не вставала с постели. А главное, пастор Сидениус был слишком необщительным человеком, и его приверженцы заходили к нему только по делу. Зато каждое воскресенье они исправно являлись в церковь, становились всегда на одно и то же место — прямо перед кафедрой — и изрядно досаждали остальным молящимся тем, что все псалмы, даже самые длинные, пели, демонстративно не заглядывая в псалтырь.

Пастор Сидениус происходил из старинного и многочисленного пасторского рода, который мог проследить свою родословную вплоть до времён Реформации. Как-никак, а триста лет подряд духовный сан словно священное наследие переходил от отца к сыну и даже от отца к дочери, когда дочери выходили замуж за викариев отца или за однокашников брата. Отсюда и пошло то чувство собственного достоинства, которым с незапамятных времён отличались проповеди Сидениусов. Едва ли сыскался бы в стране такой уголок, где за минувшее столетие не порадел бы хоть один отпрыск славного рода, заставляя непокорные умы склониться перед властью церкви.

Разумеется, не все эти многочисленные служители церкви обладали равным благочестием. Попадались среди них личности с более чем земным складом ума — те, у кого вдруг бурно прорывалась заглушаемая из поколения в поколение жажда жизни. Так, например, лет сто назад в Венсюсселе жил пастор по прозвищу «Бесноватый Сидениус». Пастор этот вёл бродячую жизнь охотника, шатался по ютландским лесам, частенько

наведывался в кабаки, выпивал там с крестьянами — и допился до того, что однажды на пасху так избил прямо в церкви своего причетника, что все покрывало в алтаре было забрызгано кровью.

Но большинство из них были ревностные служители церкви, причём некоторые — люди весьма образованные, даже учёные, настоящие исследователи-богословы; сидя в своём сельском уединении, где годы тянулись унылой и однообразной чередой, они, чтобы хоть как-то вознаградить себя за это однообразие, с головой уходили в благостный мир идей, в свой внутренний мир, где под конец и обретали подлинные ценности бытия, его величайшее счастье, его конечную цель.

Вот это презрение к преходящим мирским благам досталось в наследство Иоганну Сидениусу, сделалось его оплотом в жизненной борьбе, помогло ему не согнуть спину и не пасть духом под гнётом бедности и непрерывных неудач. Под стать ему была и жена его, с которой они прожили душа в душу долгую совместную жизнь, хотя, казалось, были совсем разные люди. Она тоже обладала натурой глубоко религиозной, но, в отличие от мужа, мрачной и неуравновешенной, и жизнь внушала ей беспокойство и непонятный страх. Из родительского дома она не вынесла твёрдой веры и только потом, под влиянием мужа, прониклась религиозным рвением, а ежедневная борьба за хлеб насущный и бесконечные роды внушили ей непомерно раздутые представления о мирских тяготах и христианском долге. Длительная болезнь (с последних родов она так и не оправилась и много лет пролежала прикованная к постели в затхлой и тёмной спальне), бесславная война, вражеские солдаты в каждом доме, кровь, позор, унижения — всё это вряд ли могло вселить в неё душевную бодрость.

Хотя муж не раз и не в шутку пенял ей за мрачные мысли, она не могла отогнать их. Хорошо сознавая, что слова её свидетельствуют о недостатке веры в милосердное провидение, она, однако, при каждом удобном случае внушала своим детям крайнюю умеренность во всём как священный долг перед богом и людьми. Она осуждала, словно тяжкое преступление, тот образ жизни, который ведут местные горожане, их званые вечера, где подают не одну перемену кушаний и несколько сортов вина, куда дамы являются в шелковых платьях, а девицы — в золотых украшениях; да что там чужие, — она и собственному мужу выговаривала, если он, возвращаясь с прогулки, приносил ей какой-нибудь скромный подарок и с безмолвной галантностью клал подле неё на подушку — то две-три розы в бумажном кулёчке, то немножко дорогих фруктов или имбирного варенья от кашля. Конечно, его внимание радовало и трогало её, и всё же, нежно целуя его руки, она не упускала случая сказать:

— Зря ты потратился, дорогой.

В таком-то доме подрастал целый выводок — одиннадцать душ красивых, хотя и несколько малокровных детишек: пять сероглазых мальчуганов и шесть сероглазых девчушек; их сразу можно было узнать среди городской детворы, потому что все они носили большие, необычного покроя воротники, отчего мальчики смахивали на девочек, а девочки на мальчиков. Помимо того, мальчики ходили с длинными каштановыми локонами чуть не до плеч, а девочки зачёсывали волосы гладко-прегладко, только от висков они заплетали маленькие тугие косички и крендельком выкладывали эти косички на ушах.

Отношения между родителями и детьми, как и весь тон в доме, были сугубо патриархальными. За скудными, можно сказать убогими, трапезами, которые неизменно начинались молитвой, отец сидел во главе длинного узкого стола, с одной стороны усаживались в ряд по старшинству пять его сыновей, с другой в том же порядке — пять дочерей, а старшая дочь, домовитая Сигне, после того как слегла мать, занимала её место на другом конце стола, напротив отца. Никому из детей даже и в голову не приходило заговорить за столом, пока не спросят. Но сам отец частенько беседовал с детьми о школьных занятиях, о друзьях, об уроках и так, слово за слово, начинал о чём-нибудь рассказывать. С оттенком назидательности повествовал он о днях своей юности, о тогдашней школе, о жизни в глинобитном домишке его отца-пастора и его деда-пастора и т. п. Порой,

когда он был в хорошем расположении духа, он даже рассказывал про забавные приключения студенческих лет, про жизнь в студенческом квартале Копенгагена или про стычки с полицией и ночными сторожами. Но, рассмешив детей, он никогда не упускал случая закончить свою историю назиданием и напомнить им о серьёзных сторонах жизни и об обязанностях человека.

Целая орава ребятишек, их успехи — сперва в школе, а потом в жизни — составляли предмет гордости пастора Сидениуса, и он со смиренной признательностью принимал эти успехи как свидетельство того, что благодать божья почилла на его доме. Ребята и на самом деле были смысленные, жадные до знаний, а главное, с высоко развитым чувством долга, — словом, Сидениусы до мозга костей; один за другим подрастали они по образу отца своего; они и внешне пошли в него — даже уверенную осанку, даже ровный, солдатский шаг они переняли у отца. И только один из них причинял родителям заботы и огорчения. Это был средний сын по имени Петер-Андреас. В школе Петер вёл себя из рук вон плохо, так что на него вечно поступали жалобы. Но гораздо страшней было другое: уже в очень раннем возрасте Петер начал открыто выступать против домашних обычаев и порядков. Ему и десяти не сравнялось, когда он перестал слушаться родителей, с годами он начал делать буквально всё наперекор старшим, и с ним нельзя было сладить ни уговорами, ни наказаниями, ни ссылками на господа.

Пастор Сидениус зачастую в полном отчаянии сидел у постели своей жены и вёл с ней нескончаемые разговоры о сыне, — оба они к ужасу своему обнаруживали в нём черты сходства с «бесноватым» венсюссельским пастором, чьё имя словно кровью запятнало величественное родословное древо. Глядя на отца, братья и сёстры тоже начали сторониться Пера и не хотели принимать его в свои игры. Ничего не скажешь, мальчик родился в неудачное время, когда отец его из заброшенного, бедного и малолюдного прихода был переведен сюда, в сравнительно большой торговый город, и с головой ушёл в обширную служебную деятельность. Таким образом, именно начиная с Петера-Андреаса, отец должен был на первых порах целиком передоверить матери воспитание детей; но, пока Петер-Андреас был сравнительно мал, у неё и без того хватало возни с ещё более маленькими, а когда она, прикованная болезнью к постели, пыталась собрать вокруг себя всех своих малышей, он уже слишком вырос и с постели за ним нельзя было уследить.

Отсюда и началось, что Петер-Андреас ещё, так сказать, с колыбели сделался чужим в родной семье. Первые годы своей сознательной жизни он по целым дням отсиживался то в комнате служанок, то в сарае у старого дровосека, чьи здравые рассуждения обо всём, что творится на белом свете, рано пробудили в мальчике практический взгляд на вещи. Позднее он обрёл другое пристанище — у соседей-купцов на больших дровяных складах, где в обществе работников и приказчиков окрепло его трезвое отношение к жизни и жизненным благам. Пребывание на свежем воздухе закалило Петера и покрыло густым кирпичным загаром круглые щёки.

Уличные мальчишки скоро начали побаиваться его кулаков, и наконец он сделался предводителем целой шайки малолетних разбойников, которые бесчинствовали по всему городу. Дома никто и не заметил, как из него вырос настоящий дикарь. Уже позднее, когда он стал постарше, точнее говоря, когда ему минуло девять лет и его приняли в местную гимназию, его опасные проделки стали достоянием гласности; родителям и учителям пришлось работать не покладая рук, чтобы выкорчевать дурные побег.

Но хватились они слишком поздно.

Однажды, глубокой осенью, в кабинете пастора Сидениуса стоял один из жителей городка. Он пришёл заказывать крестины на воскресенье. В скупых словах посетитель изложил свою доuku и взялся было за ручку двери, но вдруг, после недолгих размышлений, опять повернулся лицом к пастору и сказал довольно дерзким тоном:

— А заодно я хотел бы попросить вас, господин пастор, оказать мне другую услугу и попридержать своего сынка подальше от моего сада. Он да ещё несколько сорванцов не дают покоя моим яблоням, а мне это, честно говоря, не по нутру.

Когда посетитель заговорил, пастор Сидениус, сдвинув на лоб большие синие очки и низко склонившись над письменным столом, вносил в книгу записей имя отца новорожденного, но при последних словах он медленно поднял голову, спустил очки на нос и с возмущением спросил:

— О чём это вы толкуете?.. Вы осмеливаетесь утверждать, будто мой сын...

— Вот именно, осмеливаюсь, — с готовностью подхватил посетитель и даже вызывающе подбоченился, довольный, что может насолить самоуверенному пастору. — Сын господина пастора по имени Петер-Андреас — он за атамана у негодяев — лазит по чужим садам. А права вроде для всех одинаковы, будь ты хоть пасторов сын, хоть кто. Не пришлось бы мне обратиться в полицию, тогда мальчишку могут публично наказать в ратуше. А это вряд ли желательно, ежели учесть, какое положение занимает господин пастор в нашем городе.

Пастор Сидениус неверным движением отложил перо и выпрямился во весь свой рост.

— Мой сын... — И он задрожал всем телом.

Пока в кабинете пастора разыгрывалась эта сцена, маленький виновник переполоха сидел на уроке и за высокой стопкой книг прятал от учителей и одноклассников нечистую совесть. По дороге в школу он встретил сердитого горожанина, и тот прямо через всю улицу крикнул ему:

— Ну, теперь берегись! Сейчас я пойду к твоему отцу и выложу ему всё как есть.

До сих пор Петер-Андреас не слишком боялся отцовского гнева, но сегодня он и сам чувствовал, что совершил недостойный поступок, и чем ближе время подвигалось к концу занятий, тем больше ему становилось не по себе.

С горящими ушами прошмыгнул он в калитку, мимо передней, где у окна обычно поджидал его отец, когда он что-нибудь натворит. Но окно было плотно закрыто. Во дворе, на дорожке, ведущей в кухню, он тоже не повстречал отца и облегчённо вздохнул. «Дядька просто хотел припугнуть меня», — подумал он и заглянул на кухню, чтобы узнать, как дела с обедом. В порыве неожиданной смелости он даже решил зайти в спальню и поздороваться с матерью. Но в дверях с разбегу остановился — такой мрачный взгляд встретил его. Суровым, словно чужим голосом мать приказала:

— Иди к себе, я не хочу тебя видеть.

Мальчик помешкал: он понял по глазам матери, что она плакала.

— Разве ты не слышал? Иди к себе и жди, пока тебя не позовут.

Сын молча повиновался.

Немного спустя в комнату заглянула старая одноглазая нянька и позвала его к столу. Все уже сидели на своих местах вдоль длинного стола, переговаривались и словно чего-то ждали. Когда он появился в дверях, разговоры разом смолкли. По внезапной тишине и по непроницаемому выражению лиц он догадался, что здесь тоже всё известно. С напускным спокойствием плюхнулся он на свой стул и сунул руки в карманы, но никто даже не взглянул в его сторону. Только с другого конца стола на него устремилась пара глаз — то были большие, светлые, задумчивые глаза сестры Сигне под тёмными сросшимися бровями.

Тут в соседней комнате послышались шаги. Петер вздрогнул, когда отец появился в дверях. Против обыкновения, тот не поздоровался с детьми, молча сел на своё место, склонил голову и сложил руки, как для молитвы.

Однако вместо молитвы он обратился к детям с кратким словом. У него есть что-то на сердце (так начал он, и глаза его сомкнулись за тёмными стёклами), серьёзная, очень серьёзная забота, и о ней-то он и хотел потолковать со своими дорогими детьми, прежде чем приступить к трапезе. И тут отец поведал детям о преступлении их брата, про которое многие уже знали от матери.

— То, что случилось, нельзя ни замалчивать, ни оправдывать, продолжал отец. — Есть божья воля в том, чтобы всё, порождённое мраком, рано или поздно вышло на свет дня. Вот и это тайное стало явным, чтобы — подвергнуться суду. Петер-Андреас презрел божьи заповеди. Как он отвратил сердце своё от отца своего и матери своей, так преступил он и



божьёю заповедь, которая гласит: «Не укради». Да, сын мой, я не пощажу тебя, твой грех должен быть назван своим именем. Пойми и то, что из одной только любви к тебе твой отец, твоя мать, твои братья и сестры, большие и маленькие, пытаются воззвать к твоей совести. Мы взываем потому, что не можем отказаться от надежды когда-нибудь отыскать путь к твоему сердцу, потому что не хотим, чтобы ты кончил свои дни как тот дурной брат, кому господь послал страшное проклятие: «Изгнанником и скитальцем будешь ты на земле».

Вокруг стола замелькали носовые платки в красную и синюю клетку. Все сёстры плакали. Старшие братья тоже были глубоко взволнованы и изо всех сил старались сдержать слёзы, особенно после того как отец завершил свою речь такими словами:

— Я кончил. И если ты, Петер-Андреас, сохранишь эти слова в сердце своём и честно попытаешься заслужить прощение у бога и у людей, то мы никогда более не попрекнём тебя твоим проступком, он умрёт и исчезнет из нашей памяти. Давайте же, дорогие дети, вкупе вознесём молитвы отцу нашему на небеси, дабы он осенил благодатью вашего заблудшего брата... сломил его непокорный дух и вывел его из бездны греха, совлёк с пути порока. Услышь нас, господь наш, всеблагий, всемогущий и вездесущий, и пусть ни один из нас не отобьется от стада, когда мы восстанем в день Страшного суда и преклоним колена у подножия твоего престола к вящей славе твоей. Аминь!

Только на одного из присутствующих эта тирада не возымела желанного действия, или, вернее сказать, возымела действие прямо противоположное. Речь идёт о самом Петере-Андреасе. Он и вообще-то не очень высоко ценил проповеди отца, потому что был слишком прилежным учеником своих великовозрастных приятелей — работников и приказчиков, а те отзывались об особе господина пастора без всякой почтительности. Впрочем, до сих он не оставался совсем уж глух и безучастен к божественным словам и грозным изречениям из библии, с помощью которых родители пытались пробудить его совесть; а по воскресным дням, когда отец в белом облачении преклонял колена перед алтарём или стоял на кафедре под резным навесом, Петера порой даже охватывало благоговение, пусть и мимолётное.

Однако на сей раз слова библии не доходили до него. Правда, поначалу необычная форма нотации ошеломила мальчика, но растерянность продолжалась считанные секунды. По его трезвому мальчишескому разумению, между торжественным призывом к господу и парочкой недозрелых яблок, которые он стащил из-за чужого забора, существовало слишком уж явное несоответствие, и чем дальше говорил отец, чем громче всхлипывали вокруг братья и сёстры, тем спокойнее и равнодушнее становился сам виновник переполоха.

Именно сейчас в душе одиннадцатилетнего мальчика произошёл перелом в его отношении к религии. К концу проповеди он уже свысока поглядывал на остальных, а когда заметил, что близнецы, поначалу только хлопавшие глазами, тоже пустили слезу, не мог сдержать улыбки.

Конечно, эта бравада отчасти была напускной, ибо унижительная сцена уязвила самое сильное чувство мальчика — чувство собственного достоинства. Щёки Петера побледнели. Страшная злость, иступлённая жажда мести туманом заволокли глаза.

Воспоминание об этом дне оказалось роковым не только для отношения Петера к религии. В его доселе беззаботном уме пустило ростки чувство непримиримой вражды к семье, дух непокорного одиночества, которое стало движущей силой всей его жизни. Он и раньше чувствовал себя покинутым и брошенным под родительским кровом. Теперь он начал спрашивать себя, а точно ли он здесь родился, не чужой ли он ребёнок, усыновленный пастором Сидениусом? Чем больше он размышлял, тем правдоподобнее казалась ему такая догадка. Страх, с каким сторонились его после злосчастного дня братья и сёстры, усиливал подозрения. А разве ему не приходилось сотни раз слышать, что он не похож на других? Разве отец хоть раз приласкал его, хоть раз сказал ему доброе слово? А его внешность? Стоит только взглянуть в зеркало, сразу видно, что он смуглее остальных, щёки у него румяней, а зубы белей и крепче. Петер хорошо запомнил, как соседский работник однажды, словно в шутку, назвал его цыганёнком.

Мысль о том, что он не родной сын пастора, неотступно преследовала его в годы

отрочества и наконец обратилась в навязчивую идею. Ведь это не только объясняло его особое положение в родительском доме, но вдобавок приятно щекотало мальчишеское тщеславие. Не слишком-то лестно быть сыном старого, подслеповатого и беззубого человека, над кем потешается весь город. А как унижительна бедность, в которой живёт семья. Ещё совсем малышом он предпочитал целый день проголодать в школе, лишь бы не есть на глазах у всех принесенный из дому хлеб с салом. Однажды, когда мать перешла ему из старого отцовского стихаря зимнюю куртку, он отказался надевать её, так как залоснившееся сукно слишком явно выдавало происхождение обновки, а когда мать хотела принудить его, со слезами разорвал куртку и швырнул её на пол.

Теперь он тешил себя гордой мечтой, будто его подбросил пастору какой-нибудь цыганский табор, о каких часто рассказывала старая одноглазая нянька. Таборы эти останавливались посреди степи, где раньше жили его родители. Своего настоящего отца он представлял себе так: огромный цыган, атаман табора, иссиня-чёрные кудри рассыпались по спине, на плечи наброшен просторный плащ, в могучей смуглой руке дубовый посох... полноправный властелин необозримого царства мрачных степей, где царит свобода и гуляют буйные ветры.

Петер находился как раз в том возрасте, когда пробуждаются мечты и фантазия обретает крылья. Игра его воображения не знала границ. Там, где дело шло о нём самом, ничто теперь не казалось ему невозможным. Полёт фантазии неизменно уводил его в воздушные замки. Он домечтался до того, что вообразил себя королевским сыном, которого, подобно герою слышанной в школе истории, похитило кочевое племя, а потом его продали пастору и теперь держат взаперти в пасторском доме. Он так глубоко вживался в эти образы, что порой как бы припоминал мельчайшие подробности своего счастливого детства; он видел огромную залу с мраморными колоннами, чёрные и белые плиты пола, и нога его легко скользит по ним... голубое озеро среди высоких гор... обезьяна в золотой клетке... высокий человек в красном плаще берёт его, сажает перед собой на коня и скачет в дремучие леса.

И родители, и школьные учителя стали замечать мрачную замкнутость мальчика, стремление к одиночеству, принимавшее порой характер мании. Дома он молчаливо бродил по комнатам, равнодушный ко всем и ко всему. И никто не знал, чем он занимается, когда уходит из дому. Отец не мог выжать из него ни слова; даже от матери, которая прежде пользовалась у него хоть каким-то доверием и которая скорей других понимала и прощала его в трудную минуту, он год за годом отходил всё дальше и дальше. Случалось порой, что в сумерки, когда мать бывала одна, он прокрадывался к ней и, сев возле постели, начинал, не дожидаясь просьб, разминать узловатые вены на её больных ногах. Но и тут, стараясь узнать, что его печалит и о чём он думает, она ничего не могла добиться, кроме «да» и «нет».

И отец, и мать пытались одно время, спокойствия ради, внушить себе, будто замкнутость сына есть верный признак начинающегося перелома. Но однажды стряслось событие, лишившее их последней надежды.

\* \* \*

Как-то вечером, часов около девяти, семейство собралось в гостиной и дожидалось, пока наконец голос ночного сторожа не возвестит, что настала пора отойти ко сну. За столом красного дерева, на волосяной кушетке, сидела домовитая Сигне и, не переставая проворно вязать, читала вслух отцу свежий номер «Федреландет», лежавший перед ней в дремотном свете маленькой лампы. Отец сидел на своём обычном месте в старомодном высоком кресле с прямой спинкой, кресло было обито пёстрым ситчиком из самых дешевых. Он сидел, склонив голову и устало сгорбившись, руки скрестил на груди; большой зелёный козырёк над глазами закрывал половину пепельно-серого лица, морщинистого и безбородого. Сонно слушал он — и в то же время не слушал — монотонное чтение длинной, на четыре столбца,

статьи о внешней политике. Пастор Сидениус принадлежал к числу тех, кто встает с петухами. Даже зимой он, бывало, поднимался, едва только часы пробьют шесть. Вдобавок он не жаловал газеты и всякое светское чтение и применял их как своего рода снотворное, от которого так сладко дремлет после обеда или ужина.

За столом, кроме Сигне, сидели ещё две младших дочери в фланелевых клетчатых капотах; глаза у них давно уже слипались, но они не переставали усердно работать спицами. Обе выглядели как точные копии старшей сестры — то же не по возрасту серьёзное выражение, те же тугие крендельки на ушах, те же большие светлые глаза, чуть навывкате, те же резко выдающиеся надбровные дуги. Дверь в спальню была приоткрыта; у матери сидел кто-то из младших и растирал её больную ногу.

Петер-Андреас тоже был здесь. Он стоял чуть поодаль у окна и каждую секунду украдкой поглядывал на часы. Ему шёл уже пятнадцатый год, это был крепко сбитый увалень, в костюме, из которого он давно вырос. Оба старших брата уже уехали из дому и поступили в Копенгагенский университет. Как старший из оставшихся дома сыновей, Петер унаследовал комнату братьев — каморку в мезонине, где и отсиживался почти всё время, когда бывал дома.

Едва лишь Сигне дочитала статью, Петер воспользовался паузой, пожелал всем покойной ночи и хотел незаметно выскользнуть из комнаты, но отец задержал его в дверях, спросив, почему он так рано уходит, на что Петер отвечал, будто у него не сделано одно письменное упражнение.

— Ну, там есть ещё что-нибудь интересное? — спросил отец, не совсем очнувшись от сна, когда Петер ушёл.

— Который час, детки? — донёсся из спальни слабый голос матери.

— Десять минут десятого, — в один голос ответили девочки, взглянув на часы.

Воцарилось молчание. С минуты на минуту ждали сторожа. Какие-то люди шли мимо дома, слышны были только их голоса: шаги приглушал свежее выпавший снег.

— Читать дальше? — спросила Сигне отца.

— Да нет уж, не стоит, — отвечал тот и, сняв козырёк, принялся расхаживать по комнате, чтобы разогнать дремоту перед вечерней молитвой.

Через несколько минут под окном раздалось бормотание ночного сторожа. Со стороны казалось, будто какой-то пьяница разговаривает сам с собой. Девочки принялись складывать вязанье, Сигне тоже начала готовиться к ночи. Из кухни вызвали обеих служанок, и Сигне села к открытому фортепьяно.

Снова донёсся из спальни слабый голос матери:

— Давайте споём сегодня «Восславим творца».

— Слышишь, Сигне? — спросил отец. Он стал позади своего кресла и положил руки на спинку.

У Сигне было красивое, сильное сопрано, и она пользовалась им с необузданной горячностью, хотя в остальном все её поступки и поведение отличала строжайшая умеренность. Когда, положив грубые, красные, привычные к работе руки на пожелтевшие от старости клавиши, она сидела за расстроенным фортепьяно, возведя взгляд к небесам, нетрудно было угадать, какая вера, какая надежда и какая любовь ниспосылала девушке, не достигшей ещё и двадцати лет, ту глубину самоотверженности, которая позволила ей пожертвовать своей юностью ради семьи, ради блага младших братьев и сестёр. Но не мечтательный экстаз озарял её круглое личико, когда она пела псалом, не тот неземной восторг, при котором разверзаются небеса и душе являются светлые видения. Будучи достойной представительницей рода Сидениусов, она не питала склонности к мистике католицизма. Несокрушимое упование, которое светилось в её взгляде, которое сообщало её голосу такую проникновенную глубину, имело в основе своей твёрдую — и трезвую — убежденность, что она, Сигне, принадлежит к горсточке избранных, тех, кто идёт по узкой стезе праведности, тех, чей удел есть вечное, небесное блаженство в награду за все труды и лишения, перенесенные на этой земле.

Не успели пропеть вторую строфу, как отец вдруг оборвал пение и поднял голову, прислушиваясь.

— Тише! — приказал он; и пение смолкло.

Одновременно из спальни донёлся голос матери:

— К нам кто-то звонит.

Тут и остальные услышали гулкие удары колокола на другом конце дома, и этот непривычный звук среди вечерней тишины невольно встревожил их.

Отец прошел через смежную комнату в свой кабинет — самую ближнюю к входным дверям комнату — и, распахнув окно, крикнул:

— Кто там звонит на ночь глядя?

Из гостиной слышно было, как с улицы что-то ответил мужской голос.

Пока младшие сестрёнки растерянно переглядывались друг с другом и со своей старшей сестрой, которая так и осталась сидеть у фортепьяно, отец сердито продолжал:

— Ах, ваш ребёнок болен... Как вас зовут и где вы живёте?.. Кранкстюегаде... Так, так... понятно... А сколько ему?.. Год?.. Ну не дико ли, что здешний народ прибегает к пастору, только когда беда стоит на пороге! В других случаях они не ощущают потребности приблизиться к богу. Почему вы сразу не окрестили ребёнка?.. Разумеется, я приду.

Ступайте домой и приготовьте всё к моему приходу... Да не забудьте зажечь свет на лестнице! — крикнул он вдогонку просителю.

Вернувшись в гостиную, пастор спросил, где Петер-Андреас.

— Сейчас позову, — вызвалась Сигне, зная, что отец по слабости зрения не любил выходить один по вечерам или в гололедицу.

— Пусть Боэль за ним сходит, — приказал пастор старой служанке и пошёл в спальню облачаться. — А ты, Сигне, останься здесь, поможешь мне одеться.

В спальне тем временем зажгли ночничок.

— Иоханнес, оденься потеплее, — сказала мать привычно удрученным голосом. — На улице мороз, я по колоколу слышу. Сигне, принеси отцу куртку на меху. Она в шкафу.

Но тут вернулась старая Боэль и сообщила, что Петера нет в комнате и вообще нигде нет, — она-де обыскала весь дом.

Пастор, севший, чтобы Сигне удобней было заколоть сзади булавкой брыжи, невольно вскочил со стула. Он весь побелел. Заметив по растерянному лицу служанки, что она знает больше, чем сказала, он вплотную подошёл к ней и грозно потребовал:

— Где он?.. Говори!.. Я вижу, ты что-то скрываешь.

Дрожа от страха перед пасторским гневом, служанка во всём покаялась и поведала, что с той поры как Петеру-Андреасу отвели комнату в мезонине, она несколько раз слышала там шаги среди ночи; и вот теперь, найдя его комнату пустой, она учинила тщательное расследование и нашла: первое — приоткрытое окно в передней, второе — свежие следы под окном на снегу.

Мать пыталась подняться в постели, но с жалобным воплем упала на подушки и закрыла лицо рукой, будто у неё закружилась голова.

Пастор подошёл к жене и взял её за другую Руку.

— Спокойно, мать, спокойно, — сказал он, хотя у него самого дрожал голос.

— Боже, смилуйся над нами! — простонала она.

— Аминь, — твёрдо произнёс пастор, не выпуская её руки.

\* \* \*

Тем временем Петер-Андреас всюду веселился на горе севернее города, где компания бойких подростков лунными вечерами каталась на санках. Катались они по «королевскому шоссе» — широкой, пологой дороге, которая, описав большую дугу от вершины холма до подножья, спускалась прямо в город, так что, если как следует разогнать санки и не бояться



ночных сторожей, можно было вихрем пролететь по крутой Нэррегаде, чуть не до самой площади перед ратушей.

А какой чудесный вид открывается во время спуска: засыпанный снегом городок, красноватые фонари на улицах, крыши отливают серебром в лунном свете; дальше виден замёрзший фьорд, обледеленные луга и, наконец, вся необъятная равнина — деревеньки, леса, поля, укрытые снегом. И надо всем этим великолепием — высокое белесое небо, где месяц и звёзды подмигивают из-за облаков, словно даже они — старые, почтенные светила — заразились ребячьим весельем.

— Эй! Берегись! — Под пронзительный свист и отрывистые выкрики мчатся подбитые железом санки по накатанной дороге, длинная палка с железным наконечником торчит сзади, словно руль, а санки подпрыгивают на бугорках и перелетают через все препятствия так же легко, как лодка взлетает на гребень волны. По обе стороны дороги кучками стоят молодые служанки, головы закутаны платками, а руки обмотаны передниками, словно муфтой. И если какому-нибудь гонщику не повезёт и он вывалится из саней да так и сядет посреди дороги, будто рыцарь, выбитый из седла, со всех сторон поднимается язвительный женский смех, и ему вторят презрительные выкрики тех, кто в это мгновение проезжает мимо.

Хуже всего приходится в таких случаях ученикам гимназии — «без пяти минут студентам», потому что они составляют здесь меньшинство. И Петер-Андреас не щадит тех, кто навлекает позор на головы товарищей.

Сам он уверенно правил санками. Они у него были новые, проворные, красного цвета и гордо именовались «Кровавый орёл»; не спросив у родителей, он приобрёл их в долг у колёсного мастера и днём прятал в соседском дровяном сарае. Легко и почти бесшумно мчался он на добротных английских полозьях и то и дело выкрикивал: «Берегись! С дороги!» Его круглые щёки пылали, в глазах светилось торжество победителя и спортивный азарт. Порой он приподнимался с сидения, взмахивал своей палкой, словно рыцарь копьём, и кричал: «Э-ге-гей!» Ключом бьющая жажда жизни, молодая, честолюбивая удаль, которую приходилось скрывать и подавлять дома, в такие минуты обращалась в заносчивость, что делало Петера несколько смешным даже в глазах близких друзей.

Вдруг с подножья горы донёсся резкий, тревожный крик. И в мгновение ока все спортсмены рассыпались по обочинам дороги и залегли в снегу придорожных канав. Те, кто взбирался с санками наверх, сейчас притаились за кустами да за сугробами, одни лишь девушки не тронулись с места, они только захихикали, ещё теснее прижавшись друг к другу.

Внизу, на повороте к городу, возникла фигура ночного сторожа. В долгополом тулупе, со сверкающей бляхой на груди, высился он под лунным сиянием на углу тёмной улицы. Из-за крестьян, приезжавших в город на лошадях, санный спорт на просёлочных дорогах был строжайшим образом запрещён, поэтому мальчики выставляли у подножья холма караул, чтобы застраховать себя от неожиданного нападения. И вот грозный блюститель порядка стоял внизу и разглядывал внезапно опустевшую дорогу, а из придорожных канав раздавалось то приглушенное «ку-ку», то мяуканье, сопровождаемое фырканьем и смешками. Сторож угрожающе поднял палку, покачал головой и вернулся в город.

Не успел он уйти, как донёсся сигнал караульных, и спустя несколько минут веселье опять было в полном разгаре.

Один из учеников постарше заманил в свои сани молоденькую служанку, и от этого зрелища честолубие Петера-Андреаса вспыхнуло ярким пламенем. На полном ходу он остановил свои сани перед стайкой хохочущих девушек и пригласил самую высокую из них составить ему компанию. Несколько помявшись для начала, девушка уселась верхом на сани, впереди него. Петер дерзко обхватил рукой свою добычу, и «Кровавый орёл» помчался вниз.

— Берегись! — орал Петер во всю мощь своих лёгких: надо же было известить весь мир об одержанной победе.

— Ты только посмотри на Петера-Андреаса!.. Ай да Пер! — кричали те, кто поднимался на гору. Сердце Пера ширилось от восторга — он уловил нотку восхищения в

этих выкриках.

И сама девушка — черноглазая, чернокудрая побирушка — на ходу обернулась к нему и признательно улыбнулась большим красным полуоткрытым ртом, отчего щёки Петера вспыхнули пожаром. Былые мечты с новой силой захватили его — мечты о цыганской жизни и цыганском счастье среди бескрайних вольных степей, мечты о беззаботной бродячей жизни, о шатре или землянке вместо дома, о жизни свободной, как свободны звёзды да тучи в небе.

Санки остановились возле самого города, и девушка встала, чтобы вернуться к подругам. Но Петер силой удержал её — он не хотел её отпускать — и потащил сани в гору. Шаг за шагом поднимался он вверх, везя за собой свою тяжелую ношу. Он воображал себя воином, викинг, который с победой вернулся домой из дальних стран и привёз добычу — прекрасную пленницу, похищенную принцессу; он увезёт её в свой бревенчатый дом среди дремучего леса, и там она будет его покорной рабой... Подстёгиваемый своей фантазией, Пер так энергично карабкался по обледеневшему склону, что на лбу у него выступили капли пота.

Когда они достигли вершины и Петер начал усаживаться, чтобы опять съехать вниз, девушка вдруг спросила его:

— А правду говорят, будто ты пасторов сын?

Вопрос её вернул Петера к действительности, и он побледнел.

— Н-нет, — выдавил он, так стиснув зубы, что даже в ногах отдалось. И снова «Кровавый орёл» полетел вниз по холму и засвистели, запели полозья.

Поистине никогда до этой минуты он так отчётливо не сознавал, насколько чужды ему полутёмные, затхлые комнаты, где, сейчас отец и братья с сёстрами распевают псалмы, бормочут слова молитвы и не видят всего этого великолепия — словно подземные гномы, которых слепит сияние дня, пугает жизнь и её блага. Он далеко-далеко, за тысячи миль отсюда, в других краях, где дружат с солнцем, и с звёздами, и с плывущими по небу облаками.

Чу! Привычное ухо уловило знакомый звук... Колокольный звон! Словно весть из подземного мира дошел он к нему, пробившись сквозь серебристый воздух морозной ночи. Одиннадцать ударов, тяжелых, мрачных, медленных. Ох, как он ненавидел этот звук. Повсюду, в любое время дня и ночи этот звук грозным предостережением врывается в его мечты. От него никуда не уйдёшь, он всюду тебя настигнет. Словно незримый дух преследовал он Петера на всех запретных путях. Когда весной Петер убежал в поле с огромным змеем, когда летом плавал в лодке по фьорду и ловил окуней, каждые четверть часа замогильный голос колокола отдавался в его ушах зловещим бормотаньем.

— Э-ге-гей! — заорал он, чтобы заглушить этот голос, и нарочно ещё крепче обхватил рукой долговязую девушку. Она улыбнулась и так посмотрела на Петера, что у него по коже пробежал сладкий холодок.

— А ты красивая! — шепнул он ей на ухо. — Как тебя зовут?

— Олина.

— А где ты живёшь?

— На Смедестреде... У Рийсагеров. А ты где?

— Я-то?

— Ну да, ты... Если ты не пасторский сын, то кто же ты?

— Кто я?.. Я-то?.. Этого я тебе сказать не могу. Давай лучше встретимся завтра вечером, когда стемнеет, на Волстреле.

— Давай.

Не думая об опасности, Петер пересёк городскую черту и помчался полным ходом по Нэррегаде. Но на первом же углу им наперерез бросился какой-то рослый мужчина и с громовым «Стой!» зацепил своей палкой за сиденье саней. Сани опрокинулись и вывалили обнявшуюся парочку прямо в снег. Девчонка убежала с истошным воплем, а Петера схватила за шиворот могучая рука Оле — ночного сторожа.

— А ну-ка, поди, поди сюда! Я вас, дьяволят, выучу уважать начальство!.. Вот отправлю тебя в ратушу... и без разговоров! Ах ты чёртов сын, ты чей будешь?

Петер-Андреас мгновенно смекнул, что без должной изобретательности ему из ловушки не выбраться. Торопливо, словно задыхаясь, он выпалил:

— Ох, как хорошо, что я вас встретил! Там наверху такое побоище! Иверсенов подмастерье — ну, высокий такой, — вытащил нож... Поторапливайтесь — Он всю разошёлся!

— Что ты говоришь?

— Да, да, он ткнул ножом Альфреда, бургомистра сына. Боюсь, как бы Альфред не помер. Он лежит в-о-от в такой луже крови.

— Сына бургомистра... — простонал сторож и разжал руку.

— А я побегу сообщить семье и к доктору Карлсену, — сказал Петер, хватаясь за санки. Не успел сторож опомниться, как его и след простыл.

Было уже без малого двенадцать, когда, перемахнув через соседский забор, Петер залез в переднюю через окошко, которое нарочно не прикрыл, уходя. Сапоги он снял прямо в снегу и, крадучись, на цыпочках стал подниматься к себе. Но вдруг распахнулась дверь кабинета, и отец с лампой в руках показался на пороге.

Какое-то мгновение отец и сын молча глядели друг на друга. Слышно было только, как дребезжит лампа в дрожащей руке пастора Сидениуса.

— Как тать проникаешь ты в дом отца, как тать покидаешь его, — наконец выговорил пастор. — Откуда ты пришёл? — вполголоса добавил он, словно не имея сил выслушать ответ.

Без утайки и без попыток приукрасить события, Петер рассказал всё как было. Он слишком презирал отца в эту минуту, чтобы хитрить и изворачиваться. И — уж признаваться, так признаваться — покаялся заодно и в покупке «Кровавого орла» и в долге колёснику.

— Значит, вот как далеко зашло дело? — сказал отец, не подавая виду, что ответ Петера снял с его души огромную тяжесть. Он знал, что в городе есть такие притоны, где придаются разврату, и опасался, что чей-то дурной пример завлёт туда его сына. — Иди спать, — приказал он. — Ты был и остаёшься сыном греха... Завтра мы поговорим о твоём поведении более подробно.

Когда на другое утро Петера позвали в гостиную для общей молитвы, он был убеждён, что сегодня отец опять торжественно заклеит его позором, как прошлый раз, когда его уличили в краже яблок. Сигне уже сидела за фортепьяно, где горела единственная свеча. Остальная часть просторной комнаты тонула во мраке, и стоял такой холод, что при пении изо рта поднимался пар.

Пропели первый псалом, второй псалом, прочитали «Верую», а Петер так и не услышал ни слова по поводу вчерашнего происшествия. И потом за весь день — тоже ни единого слова. Всё утро пастор Сидениус просидел у постели жены, и оба они пришли к выводу, что отныне бесполезно пытаться воздействовать на мальчика уговорами. Остаётся только надеяться, что время и жизненные невзгоды с божьей помощью сделают своё дело. Приняли лишь одну действительную меру — соседский забор был утыкан гвоздями, да ещё отец теперь ежевечерне перед сном лично удостоверился, что Петер лежит в постели.

Но Петера всё это совершенно не трогало. Как бы с ним ни обращались дома, плохо ли, хорошо ли, — теперь это не производило на него ни малейшего впечатления. Прошло то время, когда он носился с мыслью выкинуть что-нибудь необычайное — поднять открытый бунт или совершить тайный побег, — лишь бы сократить срок своего заключения и пуститься наугад по белу свету в поисках того королевства, о котором он грезил в своих снах. Он был теперь человеком достаточно взрослым и разумным и понимал, что быстрее и надёжней всего достигнуть желанной независимости можно, только вооружившись терпением и окончив школу. К тому же он очень скоро изыскал новое средство обманывать бдительность отца. Как только в доме всё затихало, он с помощью каната спускался из

своего окна на козырёк над воротами, а оттуда по водосточному желобу съезжал прямо в переулок, — и ещё не одну лунную ночь он провёл с удочками у фьорда, а улов свой на обратном пути отдавал ночному сторожу, чтобы тот никому не проболтался.

Возобновил он знакомство и с черноглазой Олиной, что жила у Рийсагеров. Они несколько раз встречались по вечерам в большом деревянном складе, но, впрочем, скоро разочаровались друг в друге. Непомерная развязность её жестов и словечек смущала его, а когда она однажды прямо-таки покусилась на его добродетель, он в ужасе оттолкнул её и с той поры не искал новых встреч.

Его неодолимо манил к себе порт, манила та жизнь — пусть и не очень бурная, — что шумела у причала, среди больших угольщиков и маленьких шведских судёнышек-лесовозов. Стояло среди них и провиантское судно, с хозяином которого Петер свёл знакомство; здесь он проводил всё своё свободное время, слушая рассказы моряков об их похождениях в чужих странах, об огромных океанских пароходах, перевозящих за один рейс до двух тысяч пассажиров, о жизни в больших портовых городах, где есть гигантские верфи и доки.

Но судьба моряка его не соблазняла. Он поставил себе более высокую цель. Он хотел стать инженером. Эта профессия, как ему казалось, предоставляла самые широкие возможности для осуществления его мечты о вольной и независимой жизни, насыщенной приключениями и волнующими событиями. А кроме того, избрав такое чисто практическое поприще, он хотел тем вернее выделиться из среды своих сородичей и порвать с их высокочтимыми, многовековыми традициями. Выбор его был сделан прежде всего в пику отцу, ибо тот свысока смотрел на людей, восторгающихся успехами техники. Так, к примеру, когда однажды жителей городка охватило страшное волнение в связи с проектом углубить русло фьорда и тем самым вернуть былой размах оскудевшему ныне судоходству, отец отнёсся ко всей — этой затее с безграничным презрением. «Ох, уж эти людишки, о многом пекутся, когда единое на потребу», — говаривал он. И с того самого дня Петер-Андреас твёрдо решил стать инженером.

Известный толчок в этом направлении дала ему и школа. В то время как большинство учителей, по примеру родителей Петера, рано махнули на него рукой, считая, что ничего путного из него не выйдет, мальчик обрёл неожиданного друга и заступника в лице учителя математики. Учитель математики, старик из отставных военных, особенно превозносил способности сына перед пастором Сидениусом, когда тот, — что случалось не раз, — потеряв всякое терпение, хотел взять Петера из школы и немедленно отдать его учиться какому-нибудь ремеслу. Можно было подумать, будто старый солдат именно из сочувствия к мальчику расхваливает его способности и не без удовольствия замечает, что неумолимому пастору нечего ответить на все эти похвалы.

Вообще надо заметить, что в отношении горожан к пастору Сидениусу наметились известные сдвиги. Время и привычка не преминули оказать своё умиротворяющее воздействие. Вдобавок, многие из купцов и скотопромышленников старшего поколения, некогда определявших общественное мнение, отошли за истекшие годы к праотцам, после чего и это сыграло решающую роль — выяснилось, что ни торговые обороты, ни размеры состояния у большинства из них отнюдь не оправдывали той крайней самоуверенности, с какой они вершили все городские дела. Все это были дельцы старого закала; исполненные крестьянского чванства, они не желали замечать, что время идёт вперёд, и пренебрегали теми новшествами, которые приносит в торговлю развитие путей сообщения. А немало лучших семейств города, живших на широкую ногу благодаря богатым наследствам, скатилось после войны, чуть не до нищеты. И по мере того как иссякало богатство, являлась потребность в религии. Веские слова пастора Сидениуса о суетности всего земного и об истинном богатстве в отречении и бедности с каждым днём находили новых отзывчивых слушателей, прежде всего среди тех, кто раньше и знать его не хотел. Всё больше и больше верующих собиралось на его воскресные проповеди. Теперь уже не случалось, чтобы кто-нибудь из горожан не поклонился пастору при встрече, во всяком случае когда тот был в облачении.



\* \* \*

Так всё и шло своим чередом, а между тем пробил наконец час освобождения для Петера-Андреаса. Благодаря неутомимым ходатайствам старого математика отец сдался и позволил ему ехать в столицу и поступить там в политехнический институт. Петеру минуло тогда шестнадцать лет.

Погожим осенним вечером, когда еженедельный пассажирский пароход медленно пробирался по совсем уже обмелевшим излучинам фьорда, Петер-Андреас стоял на корме, перекинув через плечо сумку, и глядел, как позади, на фоне золотисто-красного закатного неба, темнеет и меркнет город. Разлука с отчим домом не вызвала у него слёз. Даже прощание с матерью не пробудило в нём особого волнения. И всё же, когда он стоял на палубе в новом, только что от портного костюме, со стоталеровой бумажкой, зашитой в подкладку жилета, и глядел, как скрывается за краем светлого неба толчея городских крыш, как уходит вдаль тяжелая кирпичная башня церкви, ему сдавило грудь, и что-то похожее на чувство благодарности шевельнулось в душе. Он и сам понял, что не попрощался толком ни с домом, ни с родителями, теперь он был бы рад, если мог бы вернуться назад и попрощаться по-настоящему. И даже далёкий звук вечернего колокола, донёсшийся к нему через луга и поля, прозвучал словно последнее «прости» родного края и наполнил сердце Петера любовью и всепрощением.

Эта обострённая восприимчивость не покидала его и в Копенгагене, она даже становилась всё сильнее, по мере того как им овладевало чувство одиночества и заброшенности (неизбежное для всякого провинциала, которого судьба занесла в большой город): куда ни глянь, всё сплошь чужие и равнодушные лица. Петер не знал в Копенгагене ни одной живой души. Из одноклассников никто пока сюда не приехал: они продолжали ученье, чтобы стать студентами университета. В первое время он очень томился от одиночества и частенько ходил на мост к бирже — поглядеть, не встретится ли ему какой-нибудь капитан из родных мест, с кем можно бы поболтать о городке и об общих знакомых. Только отношение к отцу осталось и здесь почти неизменным; если он изредка и писал домой, то только на имя матери.

Из старших братьев один, Томас, уже год назад кончил курс и получил назначение куда-то в деревню викарием. Другой, Эберхард, проживал здесь постоянно, но теперь он, как на грех, куда-то уехал, да и потом, когда он вернулся, братья почти не виделись. Эберхард был человек донельзя осмотрительный и опасливый, жил он уединённо, замкнувшись в себе, только бы, упаси бог, не впутаться в какую-нибудь историю, которая может повредить его репутации. И когда к нему заявился его неудачный брат, ещё даже не студент, а так неизвестно что, Эберхард почувствовал крайнее недовольство и смущение.

Первые несколько месяцев Петер-Андреас прожил в центре города, в убогой чердачной каморке, откуда открывался вид на целое море красных крыш, и ничего больше. Потом переселился к пожилой супружеской чете в Ньюбодер.

Когда пришла зима и рождество было уже не за горами, Петер начал откладывать деньги, чтобы съездить на каникулы домой, не прося помощи у родителей. Главным образом он экономил на обедах и отоплении. В последние дни он вообще жил на одном хлебе и кофе.

За день до рождества он выехал домой, предварительно в двух словах известив родителей о своём приезде. Бесконечно долго, целый день тащился поезд через Зеландию и Фюн. Вид шумной, по-праздничному оживленной ватаги путешественников, заполнивших все вагоны, весёлые толпы встречающих на каждой станции родственников и друзей — все это наполнило душу Пера радостным ожиданием и настроило на торжественный лад. Он помнил, с каким волнением ожидали дома братьев: во всех комнатах зажигали свет, а ужин откладывали до прихода поезда, чтобы встреча получилась ещё более праздничной. Подумал он и про своих старых товарищей, — быть может, они проведали о его приезде и придут на

станцию встречать его.

Пока ехали через Ютландию, купе совсем опустело, и он остался один. Стемнело, зажгли фонарь под потолком; дождь и ветер хлестали в окна. Езды оставалось ещё часа полтора. Поэтому Пер растянулся во весь рост на освободившейся скамейке и заснул.

Проснулся он, когда поезд проезжал через какой-то мост. Сердце забилося сильнее — дробный перестук колёс был ему хорошо знаком: значит, они едут по Шербекскому мосту. Ещё пять минут — и он дома.

Он протёр рукой запотевшее окно... да, вот она, река... и луга, и шербекские холмы. Здесь дорога делала крутой поворот, и вот уже поплыли навстречу сквозь туман первые огни города.

Встречать его пришла сестра Сигне, и сразу, как только Петер завидел на перроне её фигурку, настроение у него упало. Она была такая маленькая, чуть сутулая, в куцем, ужасно старомодном салопе, в чёрных шерстяных перчатках и вдобавок подобрала подол юбки, и оттуда выглядывали тощие икры и большие ступни в глубоких калошах. Его раздосадовало, что она в таком виде выставилась напоказ всему миру. Кроме того, он ожидал, что его встретят младшие братья, близнецы, и у него родилось подозрение, что сестру нарочно выслали к поезду, так как с ней он ладил ещё меньше, чем с другими.

По дороге домой он из слов Сигне заключил, что родители вовсе не в восторге от его приезда, что они считают непозволительным легкомыслием устраивать себе каникулы, не начав ещё толком учиться.

— Такая поездка обходится недешево, — рассудительно добавила Сигне уже от себя, поэтому надо было сперва посоветоваться с отцом и испросить его согласие.

Короче, не успели они ещё добраться домой, как чувства Петера-Андреаса уже основательно поостыли. А когда они прошли в гостиную и Петер увидел отца всё на том же месте, в том же обшарпанном кресле, с тем же зелёным козырьком над глазами, он даже пожалел, что уехал из Копенгагена. Отец не без некоторого усилия поздоровался с сыном и потрепал его по щеке. Дверь в столовую была притворена, но Петер услышал, как там скребут пол, а заметив на столе поднос с несколькими бутербродами, он понял, что остальные уже давно отужинали. Мать по-прежнему лежала в постели. Вот в её поведении было вдоволь и теплоты и искренности, она взволнованно расцеловала Петера в обе щеки, но он отнёсся к этому чрезвычайно холодно.

Он слишком был молод, чтобы понять, что никакой несправедливости тут и в помине нет, что просто его постигла та же участь, какая обычно постигает младших детей в многодетных семьях, где первенцы снимают все сливки с родительской любви. То есть любовь-то остаётся прежней, но она меняется по характеру своему: исчезает та прелесть новизны, та радость, что сопутствует каждому удачному шагу старших. Очутившись наконец в своей старой мансарде, Петер даже расхохотался. Он был скорее рассержен, нежели огорчён. Он смеялся над самим собой, над глупой сентиментальностью, пробудившей в нём тоску по родному, с позволения сказать, дому, и он поклялся себе никогда впредь не поддаваться подобным чувствам.

А тут ещё подоспело рождество со всей его выпренней торжественностью, которая была ему совершенно чужда, с бесконечными бдениями в церкви и обильными песнопениями. Петер начал считать часы, оставшиеся до того времени, когда он снова вернётся в Копенгаген и станет свободным и независимым человеком. Встреча с друзьями тоже ничего, кроме разочарований, ему не принесла. Многие под влиянием своих родителей вообще еле-еле здоровались с ним. Поскольку отец и все семейные неохотно говорили о Петере, местные жители решили, что парень, должно быть, сбился с пути. К тому же некоторые из прежних друзей, загодя возмнив себя студентами, стали донельзя спесивы. Петер сразу же по приезде побывал у них у всех, но большинство встретило его смущенно и ни один не пригласил заходить ещё.

Тотчас после Нового года Петер вернулся в Копенгаген.

## Глава II

Из всех, кто во времена, о которых идёт речь, обитал в Ньюбодере, самым известным и самым почтенным лицом был, без сомнения, старый отставной обер-боцман, господин Олуфсен с Хьёртенсфрюдгаде. Каждый день, как только часы на церкви Св. Павла пробьют одиннадцать, можно было увидеть его высокую, худую, несколько согбенную фигуру, когда он выходил из низких дверей небольшого двухэтажного домика, где занимал верхний этаж. На какое-то мгновение обер-боцман останавливался на пороге, чтобы, по старой морской привычке, окинуть взглядом облака и гребни крыш, словно это были корабельные снасти. Одет он был в несколько поношенный, но тщательнейшим образом вычищенный сюртук с широкой орденской ленточкой Даннеброга в петлице. На седой голове красовался серый цилиндр, левая рука, которой он опирался на зонтик, была обтянута серой лайковой перчаткой.

Заложив правую руку за спину, он медленно и осторожно ступал по выщербленной мостовой. Одновременно зеркальце перед окном отражало лицо его супруги, ибо с этого поста она наблюдала за мужем до тех пор, пока не убеждалась, что он благополучно перебрался через канаву на углу Элдюрсгаде. Она стояла у окна, в просторном цветастом шлафроке, с папильоткой над каждым ухом, и глядела на мужа с такой гордой радостью, с таким самодовольством, словно он был целиком и полностью делом её рук.

Проходя мимо нубодерской гауптвахты, где на перекладине болтался пожарный колокол, боцман неизменно перекладывал зонтик в правую руку, чтобы иметь возможность поприветствовать часового рукой, затянутой в перчатку, на случай ежели кто-нибудь из сторожевой команды вздумает оказать ему воинские почести, — акт, которому он придавал величайшее значение и которого дожидался с большим нетерпением. Оттуда он сворачивал на Камеленгаде и доходил до площади перед дворцом АмалиеНбург, где ежедневно наблюдал смену караула. Послушав музыку, сопровождавшую церемонию, он шёл по Кунгенсгаде, потом через Бургергаде и ещё дальше — в город.

Здесь, вне сферы его былой власти, здесь, где никто не знал, что перед ним обер-боцман Олуфсен, получивший орден Даннеброг из рук самого короля, здесь, где он превращался в обычного пешехода, которого всякий прохожий может безнаказанно толкнуть, у обер-боцмана невольно сгибались колени, горбилась спина, и он робко ковылял на своих больных ногах мимо снующих взад и вперёд людей. Дальше Чёбмагергаде он никогда не заходил. Ибо всё, что лежало по ту сторону, он считал не настоящим городом, не Копенгагеном, а пригородом Копенгагена, заброшенным куда-то на край света, так что даже непонятно, как люди могут там жить.

Он признавал только Адельгаде и Бургергаде, считая их центральными артериями столицы, и если прибавить сюда квартал, образованный Грэнне, Сверте и Реннегаде, да таможду и Дворцовый остров, то весь его мирок этим ограничивался. Достигнув последнего метельщика на Антониастреде или побывав на Силькегаде, в библиотеке престарелой фрекен Йордан, где он брал книги для жены, боцман поворачивал назад.

В общей сложности эта прогулка занимала несколько часов. И всё из-за привычки боцмана подолгу простаивать на каждом углу, наблюдая толчею людей и экипажей. Кстати же, несмотря на восемь десятков за плечами и слезящиеся глаза, обер-боцман отличался необычайной зоркостью по части служанок и пуще всего примечал тех, что бегали в платьях с короткими рукавами. Если такой особе случалось на ходу задеть боцмана, он останавливал её, шептал на ухо всякие нежности и, смущенно хихикая, спешил в другую сторону.

Доводилось ему задержаться и перед витриной магазина, чтобы внимательно обозреть выставленные там товары, а затем изучить цены решительно на всё, начиная с нижнего тёплого белья в витрине у трикотажника и до брильянтовых украшений у ювелира. И при этом обер-боцман отнюдь не собирался при случае купить что-нибудь из этих вещей. Здесь возникало неодолимое препятствие в лице жены его, ибо та, зная о слабости мужа к прекрасному полу, никогда не выдавала ему денег на руки. Но и с пустыми карманами он

находил удовольствие в том, чтобы зайти в магазин, насладиться учтивостью приказчиков, заставить их выложить перед ним различные товары, справиться о цене на самые дорогие и наконец убраться восвояси, пообещав на прощанье заглянуть «как-нибудь в другой раз».

Послеобеденное время боцман проводил у себя дома, в гостиной, или в «зале», как это именовалось у ньюбодерцев, то есть в напоминающем каюту помещении с низким потолком и длинным рядом окошек, выходящих на улицу. Здесь он, в колпаке и без сюртука, сидел у окна и часами наблюдал, как стаи почти ручных ворон, налетев с поля, надрываются, каркают на карнизе соседнего дома или затевают ожесточенную свалку возле помойных вёдер, что стояли далеко за полдень у каждой двери вдоль тихой безлюдной улочки. Иногда его поблекшие глаза заволакивала плёнка, голова медленно опускалась на грудь и рот приоткрывался.

— Ну, отец опять пошёл горох варить, — говаривала в таких случаях его жена, намекая на тот своеобразный звук, который издавал боцман, прежде чем его окончательно сморит сон. Мадам Олуфсен тоже имела совершенно определённое место — на низком стуле возле печи, где после обеда располагалась с вязаньем, раскрыв предварительно на коленях какой-нибудь зачитанный до дыр роман. Страницы романа она переворачивала локтём, чтобы ни на минуту не прерывать вязанья. Через приоткрытую дверь смежной комнаты, выходявшей окнами во двор, можно было увидеть молодую светловолосую девушку, склонившуюся над шитьём. Это была Трине, приёмная дочь Олуфсенов. Там же, на окне, стояла клетка с канарейкой, прыгающей по жердочке.

Мадам Олуфсен была почти одного роста с мужем и вообще имела сложение, подобающее скорее конногвардейцу; это впечатление усугублялось полоской чуть заметных усиков над верхней губой. По утрам, когда она разгуливала в цветастом шлафроке и бумажных папилютках, вид у неё, откровенно говоря, был непрезентабельный, но тот, кто видел её после обеда, когда она затягивалась в корсет и надевала чёрное шерстяное платье, когда плешь на голове скрывал чепец, весь в рюшах и бантах, а на висках из-под чепца выглядывали аккуратные завитушки и почти кокетливо обрамляли не совсем увядшие щёки, — тот сразу понял бы, почему ньюбодерская молва так расписывает её былую красоту.

Словом, это была красивая пара — мадам Олуфсен и её супруг. И вдобавок счастливая пара. Пусть даже сам обер-боцман не слишком строго придерживался шестой заповеди, зато мадам Олуфсен была верна за двоих, хотя в молодости она не испытала недостатка в соблазнах. Если верить слухам, то однажды на углу Харегаден её остановил даже один из наследных принцев, прогуливавшийся вечером по Ньюбодеру в поисках молодых женщин, чьи мужья ушли в дальнее плавание, — остановил и, назвав себя, сделал ей недвусмысленное предложение. На что мадам Олуфсен присела, опустила глаза и безмолвно последовала за ним в тёмную аллею за городским валом. Но здесь, очутившись наедине с принцем, она вдруг перекинула его маленькое и хилое высочество через одно колено и отшлёпала сколько хватило сил. Кстати сказать, это был не первый урок, полученный им от оскорблённых в своей добродетели ньюбодерских дам, зато, без сомнения, самый памятный.

Почёт, коим пользовалась среди сограждан престарелая чета, был давнего происхождения, и дом их по сей день оставался желанным местом сборищ для многих уважаемых обитателей Ньюбодера. Не всюду вы могли встретить такое гостеприимство, как у наших двух стариков на Хьертенсфрюдгаде. Помимо обычных церковных праздников, которые у всех христиан отмечаются обильными возлияниями и угощением, старики справляли бесконечный ряд семейных торжеств и памятных дат сугубо личного характера. Так, например, справлялась годовщина воцарения кенаря Петера в семействе Олуфсенов и поминки по большому пальцу с ноги боцмана, ампутированному много лет назад по причине костоеды. Но главное место занимало торжество по случаю кровопускания, которое ежегодно устраивала себе мадам Олуфсен, как только в воздухе запахнет весной, и которое служило поводом для пышного завтрака с шоколадом в честь цирюльника, осуществлявшего операцию.

Общество при всех этих оказиях неизменно состояло из одних и тех же шести-семи



старых друзей дома, вот уже более сорока лет посещавших друг друга в дни сколько-нибудь значительных семейных событий, как то: из старшего корабельного плотника в отставке Бенца с Тюльпангаде, отставного квартирмейстера Мэрупа с Дельфингаде, старшего канонира Йенсена и клепальщика Фуса с Крокодиленгаде; все, натурально, являлись с супругами. Программа праздника тоже за последние сорок лет не претерпела серьёзных изменений. Как только гости, бывало, соберутся в комнате, выходившей окнами во двор, обер-боцман распахивал двери «залы», где уже красовался накрытый стол, и неизменной шуткой, что, мол, пора «сунуть что-нибудь за щеку», приглашал гостей к столу. Затем, когда все рассядутся и хозяйка водрузит на стол дымящегося гуся или поросёнка, клепальщик Фус, предварительно откинувшись, якобы в немом изумлении, на спинку стула, неизменно изрекал: «Ну и яичко же вы снесли, мадам Олуфсен!» На что мадам обзывала его старым болтуном, после чего просила гостей не церемониться и быть как дома.

Но тут дверь нередко открывалась и на пороге показывался кудрявый молодой человек, чьё появление вызывало общую радость. Старички почтительно вскакивали со своих мест, чтобы поздороваться с ним за руку, а маленькая Трине — приёмная дочь — внезапно изменившись в лице, бежала за стулом в соседнюю комнату, доставала чистую салфетку, приносила из кухни подогретую тарелку.

Юноша этот был квартирант Олуфсенов, слушатель политехнического института Сидениус, двадцати одного года от роду. Вот уже несколько лет он снимал у Олуфсенов две маленькие комнатухи в первом этаже, окнами во двор. Старички очень его любили, и по мере того как пустели блюда и бутылки, настроение за столом становилось всё оживлённее.

И только маленькая Трине, подававшая на стол, так и оставалась тихой и молчаливой. Она наполняла стаканы, приносила хлеб, меняла тарелки, снимала нагар со свечей, отыскивала солонки, поднимала упавшие носовые платки, бегала за водой, если какая-нибудь из дам чувствовала лёгкую дурноту или начинала икать, — и всё это так тихо, так бесшумно, что никто даже не замечал её присутствия, будто им прислуживал за столом невидимый дух. Трине и впрямь легко было не заметить, такая она была крохотная и щупленькая, хотя ей минуло уже девятнадцать лет. Старички смотрели на неё как на ребёнка, и к тому же довольно неразвитого. Она и в самом деле была слегка придурковата. Олуфсены взяли её к себе бедной сироткой; кто она и откуда. — никто не знал. Красотой она не отличалась и даже для молодого Сидениуса была не более как невидимым устройством, которое чистит его сапоги и сдаёт его бельё в стирку.

Когда подавали чашу с пуншем и посыпанные сахаром пирожки с яблоками, общество некоторое время развлекалось пением патриотических и народных песен, причём особенно выделялась мадам Фус — обладательница редкого дисканта, прославленного не столько благодаря своей красоте, сколько силе.

Во время пения, убедившись, что на столе есть все необходимое и что гости ни в чём не испытывают нужды, незаметно исчезала Трине. Она проходила на кухню, зажигала лампу от углей, тлевших в очаге, и начинала медленно спускаться по узкой и крутой лестнице — подобию корабельного трапа — чтобы прибрать на ночь комнаты господина Сидениуса. Господин Сидениус занимал две маленьких тёмных и сырых каморки с чрезвычайно скудной мебелировкой, состоявшей в основном из клеённого пуфика и раздвижного стола, заваленного книгами, чертежами и рулонами бумаги с отпечатками перемазанных в графите пальцев.

Трине ставила лампу на стол, отворяла окно и сладко задумывалась, облокотившись на подоконник и глядя в крохотный, между уборной и забором, садик, залитый романтическим светом луны. Потом она вздрагивала, словно напуганная собственными мыслями, и принималась с великим тщанием за свою неблагодарную работу — наводить порядок в этом хаосе. Она собирала платье, разбросанное по всем стульям, и вешала его в спальне за пологом. Потом стопочкой складывала книги на столе, а чертёжные принадлежности бережно прятала в футляр, каждую в своё гнёздышко. Хотя её юный повелитель никогда не снисходил до указаний, Трине совершенно точно знала, где что должно лежать и где он

рассчитывает — и даже весьма определённо — найти ту или иную вещь.

С тем безошибочным инстинктом, которым любовь наделяет даже самых недалёких людей, она все постигла без посторонней помощи, она изучила все его привычки, наловчилась отгадывать все его желания и всякий раз, как по наитию, находила в лабиринте мимолётных капризов и неопределённой смены настроений путь к истинной, оформленной воле молодого человека. Он просто раз и навсегда поставил её в известность — и при этих словах с грозным видом поднял вверх указующий перст, что такого рода хлопоты она должна считать главной задачей, собственно, даже целью своей жизни, и что в день Страшного суда бог спросит с неё, если она не будет достаточно добросовестна.

И поэтому она от души верила, что, хлопоча в его комнатах, убирая его вещи, делает богоугодное дело. С особенным благоговением хозяйничала она в маленькой спальне господина Сидениуса — оправляла постель, домашние туфли ставила на коврик перед кроватью, носками к середине комнаты, клала спички на подсвечник с той стороны, что поближе к кровати. Когда она наконец брала в руки подушку, чтобы хорошенько взбить её, то на мгновение прижимала её к сердцу и с блаженным выражением закрывала глаза.

А тем временем старички в «зале» веселились вовсю. Клепальщик Фус извлекал свою гитару и, несмотря на уговоры жены, исполнял популярные куплеты «Шла старушенция одна, согнутая в дугу». Мужчины покатывались от хохота. Смеялся и молодой Сидениус, а в горле у восьмидесяти четырёхлетнего плотника Бенца булькало, как в пивной бутылке. Но тут дамы поднимались с оскорблённым видом и переходили в соседнюю комнату, где им был сервирован кофе с необходимыми добавлениями, а именно — с конфетами и смородиновой настойкой.

Веселье прекращалось лишь под утро, и супружеские пары благодушно расходились по домам в состоянии полной умиротворённости, что побуждало их к поцелуям, шлепкам и даже объятиям прямо среди улицы.

\* \* \*

Вот у этих жизнерадостных старичков, сохранивших до глубокой старости способность безмятежно пить из чаши наслаждений, обрёл Петер-Андреас своё первое убежище, первый временный приют по дороге в сторону счастья, обетованную землю его мечтаний. Он нашел здесь самое доброжелательное понимание именно тех черт своего характера, которые дома подвергались беспощадному суду и поношению, как дело рук сатаны. Особенно в первые годы своей копенгагенской жизни, годы одиночества, он был глубоко признателен судьбе за то, что есть на свете этот дом и весь Ньюбодер, весёлый, идиллический Ньюбодер, уголок провинции среди большого города. Позднее, когда круг его знакомств расширился, отношения его со стариками и их друзьями приобрели более поверхностный характер, но окончательно они так и не порывались, старики продолжали любить его и заботиться о нём, как о родном. Они скоро догадались о его бедности, хотя он изо всех сил старался скрыть её, и не раз ему пришлось бы лечь в постель на голодный желудок, если бы мадам Олуфсен с величайшей деликатностью не приглашала его «отведать» новый сорт сыра или «честно сказать своё мнение» о свеже-копченом окороке.

До конца понять его обстоятельства старики так и не смогли. При всей бойкости и словоохотливости, что временами находила на него, о себе самом и своих планах он не любил распространяться, а если и заговаривал, то только в шутку, и на расспросы отвечал, что вот-де «учится на министра». Столь же упорное молчание хранил он и о родительском доме, и о своих отношениях с семьёй, хотя мадам Олуфсен не уставала выпрашивать и выпытывать его. Он положил себе за правило рассматривать своё прошлое как нечто давно забытое, нечто отмершее, что не должно вторгаться в его жизнь даже мимолётной мыслью. Он стремился очистить свой внутренний мир от скверны, выкорчевать из своей души все горькие и унижительные воспоминания, чтобы она была чиста, как мраморная доска, когда

судьба захочет начертить на ней золотые письма победы и счастья. Потому ни на столе, ни на стенах комнаты не было ни одного портрета, могущего напомнить ему или поведать другим о доме, который он покинул и который не хотел видеть до той поры, пока не завоеует право требовать там ответа и вершить суд. Умри он скоропостижно, никто, даже перерыв все его вещи, не нашел бы в них ни старого письма, ни единой записки — ничего, что могло бы рассказать, кто он и откуда родом. Самое имя своё и то он сколько мог видоизменил, чтобы вытравить всякую память о прошлом. Теперь он подписывался не Петер-Андреас, а просто-напросто Пер, и его очень удручало, что нельзя так же легко раздобыть себе другую, более приличную фамилию.

Отношения с домом мало-помалу свелись к коротеньким письмам, которыми он раз в три месяца извещал домашних о получении высланной ему суммы, каковую он до сих пор (и без особых угрызений совести) принимал от них и каковой ему всё равно едва хватало на жизнь — таких больших расходов требовало слушание лекций, покупка книг, чертёжных принадлежностей, словом всего необходимого для занятий. Чтобы хоть как-то продержаться, он с восемнадцати лет начал давать уроки арифметики в мужской школе и копировать рабочие чертежи для одного ремесленника. Со старыми товарищами, многие из которых уже жили в Копенгагене и были студентами университета, он связей не возобновлял и почти не встречался с ними. Оскорблённые в своих лучших чувствах, — ибо Пер несколько раз позволил себе насмешки по поводу их причисления к лику студентов, — они постепенно отвернулись от него все с тем же чуть притворным страхом, который он хорошо знал по своим братьям.

Пер отнёсся к этому равнодушно, хотя равнодушие его отчасти было напускным. Временами на него находило чрезвычайно мрачное настроение. Не только бедность угнетала его и, прежде всего, работа в начальной школе, о чём он никогда никому не рассказывал, — дело обстояло гораздо хуже: он начал разочаровываться в своих собственных занятиях, вернее в тех перспективах, которые перед ним открывались. Когда лет пять тому назад он впервые приблизился к зданию политехнического института, его охватил почти благоговейный трепет. Ему виделся храм, величественная мастерская мысли, где под громовые раскаты куётся грядущее счастье и благоденствие человечества. А на самом деле он увидел позади ветхого епископского дома уродливое и невзрачное здание, внутри которого разместился лабиринт мрачных и тёмных комнат, пропахших табаком и салом, где за узкими, накрытыми бумагой столами, корпело несколько молодых людей, тогда как остальные, рассевшись по углам с длинными трубками, читали записи лекций либо тайком резались в карты. Своих будущих наставников он воображал пламенными глашатаями священного писания естественных наук, а встретил в аудиториях старых, высохших лекторов, вряд ли чем отличающихся от тех, с которыми он только что расстался в школе. Один из них, совершенная мумия, чей голос во время лекции то и дело прерывался, так что приходилось прочищать его хорошим глотком лекарства, преподавал своим ученикам теории времен Ганса Христиана Эрстеда. Другой, профессор Сандруп, читавший лекции по специальным инженерным дисциплинам, носил белый галстук и более походил на кандидата богословия или пастора. Он пользовался известностью как великий эрудит-теоретик, но был на редкость педантичен и в порыве педагогического рвения составил длинные, научно сформулированные описания даже таких простейших орудий, как топор и тачка, а от студентов своих требовал, чтобы на экзаменах они отбарабанивали эти формулировки слово в слово.

На каждом шагу Пер получал наглядные доказательства, что дельный инженер — это уже не тот гордый и вольный, тот сказочный герой, которого он себе выдумал, а просто обыкновенный чиновник, добросовестная счётная машина, ходячая таблица, приколотая к чертёжной доске. Большинство его однокашников — именно те, кого и учителя, и другие студенты считали самыми способными, — ни о чём больше не мечтали, кроме как о скромной государственной должности, которая позволит когда-нибудь со временем стать счастливым отцом семейства и зажить своим домом в маленьком особнячке с маленьким

садином, чтобы после сорока лет беспорочной службы удалиться на покой с маленькой пенсией и незначительным орденом или титулом советника юстиции.

Но такие перспективы не соблазняли Пера. Он считал, что не создан для будничной жизни и мещанского благополучия. Он чувствовал в своих жилах королевскую кровь и требовал по праву принадлежащего ему почётногo места на пиршестве свободных и раскрепощённых.

Недаром он заранее наметил те средства, которые должны помочь ему добиться желанной гордой независимости. Исправно посещая лекции, выполняя все задания и не пренебрегая теми унижительными мелкими приработками, которые давали ему верный кусок хлеба, Пер в то же время тайком работал над большим проектом регулировки уровня фьорда и системы гидросооружений, — проектом, идея которого возникла у него почти сразу по приезде в Копенгаген. Собственно, начало было положено гораздо раньше, давным-давно, в отроческие годы Пера, когда по всему городку шли разговоры о том, что надо возродить оскудевшее судоходство путём расчистки фьорда, выпрямления его береговой линии и перестройки всего порта. Пастор Сидениус весьма пренебрежительно отнёсся к этой затее и осуждал неуместное волнение горожан, но тогда разговоры так и остались разговорами. Однако именно в те дни Пер задумал стать человеком, который осуществит грандиозный план, благодаря чему в захудалый порт родного городка прихлынут свежие воды, вольётся золотой поток мировой торговли.

Мечта сделаться благодетелем города, который видел его унижение, с тех пор не покидала Пера. После неудачного рождественского визита она целиком завладела его помыслами. Она преследовала его, когда он оставался один, она стала навязчивой идеей, и в осуществлении её он с одержимостью истинно верующего видел и свою ближайшую цель, и назначение всей жизни.

Целых три года, — с тех пор как он научился составлять профиль канала согласно рельефу местности, указанному на карте генерального штаба, — Пер работал над своим проектом. Он постоянно недосыпал, чтобы рассчитать необходимую площадь или скорость течения, вычертить фашины сооружения и насыпи, предмостные укрепления и причалы. И год за годом он делал свой план всё более развёрнутым, вносил в него то одно, то другое новшество, придавал ему всё более гигантский размах. Под воздействием популярных немецких трудов по этому вопросу, которые ему удавалось достать, Пер выдвинул идею продолжить углублённый фьорд по другую сторону города, в виде канала или даже целой системы каналов, на голландский образец. Как конечная исполинская цель ему рисовалась сложная сеть водных артерий, которая свяжет все крупные реки средней Ютландии, озёра и фьорды и тем самым соединит возделанную степь, расцветающие города-новостройки и с Северным, и с Балтийским морем.

Но всякий раз, как только мысли взлетят под облака, неизменно являлось разочарование. Мохнатые тролли гурьбой собирались вокруг стола и хохотали-заливались над его дерзкими мечтами. «Ты рехнулся! — кричали они. — Пока не поседеешь и не состаришься, нечего и рассчитывать на разрешение осуществить проект в стране, где считается дерзостью, если молодой человек преследует другие честолюбивые цели, кроме цели заработать себе гроб, сидя за конторкой, в стране, где инженер, желающий сохранить уважение сограждан и доверие начальства, может, в лучшем случае, дерзновенно мечтать о том, что король назначит его на место дорожного смотрителя. Разве ты забыл, какие слова сказал тебе божий человек, досточтимый профессор Сандруп, когда он с поистине отеческой заботой выговаривал тебе за то, что ты вздумал на экзамене выкладывать новости, которых понабрался в твоих немецких журналах (не входящих, кстати сказать, в списки рекомендованной литературы): «Молодой человек! Постарайтесь побороть своё неуместное стремление к самостоятельности». Ведь сказал? Сказал. Какие поучительные слова! Какие мудрые и многообещающие!»

Впрочем, Пер не очень-то поддавался горьким мыслям. Он был слишком молод, слишком непостоянен. Небольшая прогулка, хорошенькое личико, очередное пиршество у



стариков или вечерок в кафе с добрыми друзьями больше, собственно, ничего и не требовалось, чтобы разогнать тучи, набежавшие на его чело. А женщины лучше всего годились на роль громоотвода, если надвигалась гроза. Ведь Перу едва сравнялся двадцать один год, и интерес к прекрасному полу начал занимать его мысли, дал другое направление его фантазии.

\* \* \*

Однажды вечером они с приятелем забрели в швейцарское кафе — излюбленное место сборищ многочисленных представителей художественной и литературной богемы столицы. С живейшим волнением его спутник показывал ему среди посетителей самых популярных художников и писателей. Однако Пер, которого эта сторона жизни ничуть не занимала, во все глаза смотрел на девушку за стойкой — высокую, статную, с копной великолепных золотисто-рыжих волос.

— Да это рыжая Лизбет, — объяснил приятель. — Она служила моделью для Венеры Иверсена и Сусанны Петерсена. Недурна, а? А кожа какая!

С этого дня Пер зачастил в кафе, притом выбирал такие часы, когда там бывало поменьше народу. Его неудержимо влекла эта девушка; и как только выяснилось, что влечение взаимное, они без долгих разговоров вступили в нежнейшую связь.

Пер с годами стал не на шутку гордиться своей внешностью. У него было сильное, мускулистое тело, крутой лоб, тёмные вьющиеся волосы и большие синие глаза под сросшимися бровями. Над пухлыми губами пробивались усы. Благодаря материнским заботам мадам Олуфсен он сохранил прежнюю упитанность, да и щёки его не утратили густого деревенского румянца. В толпе он часто улыбался, сам того не сознавая, и эта вечная, чуть бессмысленная улыбка вводила в заблуждение тех, кто не знал его, заставляла думать, будто перед ними существо, не вышедшее из детского возраста и вполне довольное жизнью и собой. Совсем отделаться от провинциального налёта Пер никак не мог, но стоило ему принарядиться, как вид у него делался вполне импозантный; тогда он чувствовал себя легко и уверенно и держался с немалым достоинством. Невзирая на частые денежные затруднения, он не жалел средств на одежду. Во всяком случае, на улицу он выходил не иначе как в полном параде. Его небольшого жизненного опыта хватало, чтобы понять, что порой ослепительно белая сорочка и безукоризненно сидящий сюртук больше значат для судьбы молодого человека, чем годы беззаветного усердия, ибо, пока соблюден декорум, ещё ничего не потеряно. Зато дома он был воплощением небрежности, ему даже нравилось расхаживать в немыслимых обноски.

Кафе, где он сделался завсегдатаем и где тратил больше денег и времени, чем мог себе позволить, называлось «Котёл», и было прибежищем оппозиционно настроенной аристократической клики «независимых». Круг сей составляли молодые, — а порой и не первой молодости, — служители муз, люди несомненно одарённые, но все со странностями: одни так толком и не выросли, другие раньше времени состарились.

Сиживал там вечерами вызывавший нескончаемые споры маринист Фритьоф Йенсен — дюжий викинг в морской робе, с кудрявыми волосами и бородкой. Это был поистине гениальный художник с неудержимым полётом фантазии, обаятельнейший весельчак и приятный собутыльник, но вспыльчивый, как мальчишка в переходном возрасте. И каждое утро здесь сидел в мрачном одиночестве больной поэт Эневольдсен, то протирая монокль, то полируя ногти, то наслаждаясь отличной сигарой, — и так шло из года в год, и за этими ничтожными занятиями он создавал свои ярчайшие стихи — маленькие шедевры, которые внесли новую струю в датскую поэзию. И ещё бывал здесь молодой портретист, склонный к натурализму, некий Йорген Халлагер с бульдожьей челюстью — бунтарь, анархист, мечтавший перестроить общество, произвести переворот в искусстве, уничтожить все и всяческие академии и перевешать всех профессоров, но до поры до времени честно

добывавший свой хлеб на скромном поприще ретушера. И хаживал сюда старый насмешник, журналист и комедиограф Реебаль, маленький, кривоногий карлик, у которого был большой парик, один блестящий глаз (другой вытек) и белая с желтизной козлиная бородка, спускавшаяся на несвежую манишку, — словом, постоянная мишень для городских карикатуристов во всех сатирических листках. С изжеванной сигарой в углу рта, заложив одну или обе руки за пояс, и чаще всего пьянёхонький, он расхаживал между столиков, подсаживался то к одной, то к другой компании, порой даже совсем ему незнакомой, вмешивался в беседу и начинал городить всякий вздор. Он тоже носился с идеей переустройства мира, но только в духе античности. Его идеалом был Сократ, его конечной целью — чистое, незамутнённое познание. Хватив лишнего, он обычно бил себя кулаком в грудь и именовал себя «последним эллином».

Хотя Пер был намного моложе их всех и не делал со своей стороны никаких попыток к сближению, он удостоился высшей чести — был принят в этот круг, отчасти благодаря своим «живописным румяным щекам», как однажды выразился Фриттьоф Иенсен, но главным образом благодаря связи с Лизбет — общей любимицей, чьим роскошным шелковистым волосам и нежной коже многие из них были обязаны половиной своей славы, и в награду за это привечали каждого её очередного поклонника, пусть даже последний и не принадлежит к славному племени художников.

Но Пер по-прежнему чувствовал себя чужим среди этих людей и не только из одной застенчивости не вмешивался в их разговоры: он одинаково плохо разбирался и в живописи, и в поэзии. Фантазия его находила достаточно пищи в технических занятиях, а ум был настолько поглощён грандиозным проектом, что для искусства его просто не хватало.

Назвать Пера совсем уж равнодушным зрителем тоже было бы несправедливо. Он про себя немало потешался над этими забавными человечками, которые могли прийти в раж из-за простого сочетания красок или лезть на стену из-за четырёх зарифмованных строчек, словно от правильного понимания таких пустяков зависело благо человечества. Подобные сценки доставляли ему удовольствие, какое доставляет смешная комедия, а пуще всего веселился он, когда видел, что и Лизбет захвачена общим безумием, что она — гордая значением своего тела для искусства, — мечтает лишь о том, чтобы вся жизнь её воспринималась как беззаветное подвижничество во имя прославления красоты.

Один из этих людей уделял Перу особое внимание; он тоже не принадлежал к этому кругу и вдобавок не пользовался здесь благосклонностью. Это был некий Ивэн Саломон, молодой еврей, сын одного из городских богачей, — маленькое, подвижное, улыбочное существо, кареглазая белочка с вечной готовностью услужить, человек, счастливый уже одной возможностью сидеть среди знаменитых художников. Заветной, честолюбивой мечтой этого человека была мечта отыскать и взлелеять какого-нибудь настоящего гения. Он вечно охотился за скрытыми или непризнанными талантами, чтобы стать их покровителем. В каждой мало-мальски приметной черте пара глубоко запавших глаз, большой энергичный лоб или, на худой конец, косматые, неподстриженные волосы — ему мерещились задатки редких дарований, и среди здешней публики ходила целая серия забавных историй о тех разочарованиях, которых он натерпелся из-за своей несчастной страсти.

Теперь Саломон явно обратил взоры на Пера, и последнего это внимание ужасно смущало, а лести Саломона он вообще не переносил. Ему очень было неприятно, когда господин Саломон, весьма прозрачно намекая на его быстрый успех у Лизбет, называл его с улыбочкой «заправским Аладином», счастливчиком, на чьём лбу перст божий начертал Цезаревы слова: «Пришел, увидел, победил». Вернее, сама характеристика пришлась по душе Перу, а слова эти даже вызвали тайный, внутренний трепет, — обидно было только, что впервые он услышал их от маленького, нелепого еврея.

Однажды заглянув в «Котёл» около полуночи, он угодил в самый разгар форменной вакханалии. То пировал верзила Фриттьоф Йенсен — «Фриттьоф», как его запросто именовали знакомые и незнакомые, — по поводу удачной продажи одному торговцу маслом большого, на четыре локтя, полотна «Буря в Северном море». Посреди комнаты, отделенной коридором

от остальных зал кафе, сдвинули несколько столов, и за ними, вокруг двух увитых хмелем чаш с пуншем, разместились десятка два людей.

На почётном месте, в облаках дыма, восседал, как олимпийский бог, сам Фритьоф. Перед ним стоял здоровенный кубок (его личный кубок), именуемый «Пучиной». По невидящим глазам, по бормотанию Фритьофа нетрудно было догадаться, что он успел уже порядочно хватить. Больше суток он провёл на ногах, шатался из кабака в кабак, из одного публичного дома в другой, побывал в нескольких ресторанах и даже в лесу, а по дороге прихватывал всех, кто попадался навстречу, — своих друзей и друзей своих друзей.

Речей произнесли великое множество. Молодой бледнолицый человек с мефистофельскими чертами вдруг вскочил на стул и истошным голосом провозгласил здравицу в честь не присутствующего здесь доктора Натана — человека, о котором Пер слышал много отзывов, и всегда самых восторженных. Натан был литературный критик и философ-популяризатор, признанный вождь определённых кругов студенческой молодёжи. Недовольный порядками у себя на родине, Натан обосновался в Берлине. Больше Пер ровным счётом ничего о нём не знал, хотя в те дни трудно было, раскрыв любую газету или сатирический листок, не наткнуться на имя доктора Натана, упорно именуемого печатью «доктор Сатана». Поскольку Натан был еврей, Пер никогда не пытался узнать о нём поподробнее. Он не жаловал эту чуждую ему нацию, да и вообще не жаловал литераторов. Вдобавок, упомянутый доктор читал лекции в университете, а университет — эта осквернённая богословием прародительница самой мещанской части студенчества — казался Перу сущей язвой на теле страны.

Молодой бледнолицый оратор, стоявший на стуле и восторженно размахивавший руками, был поэт Поуль Бергер. При полной и шумной поддержке всех собутыльников, он сперва назвал доктора Натана своим «героем», потом своим «божеством», напоследок — «освободителем» и, осушив наконец до дна свой стакан, раздавил его в честь доктора, так что вся рука обагрилась кровью.

Пер сидел разинув рот. Ему казалось, что он попал в сумасшедший дом. Всю ночь в компанию вливались свежие силы; чтобы как-то усадить вновь прибывших, пришлось добавить ещё несколько столов, и, удобства ради, их не просто приставили к прежним, а разместили по бокам, так что получился крест. Но тут вдруг послышался неистовый рёв и громовый удар по столу. Это бушевал Фритьоф.

— Не желаю сидеть под проклятым знаком галилеянина! Меня тошнит от всей этой святости!.. Давайте лучше составим их подковой! Продадим себя дьяволу, воздав почести его обувке!.. Налетай, друзья!

После того как собравшиеся последовали его призыву и расселись по-другому, он, подняв полный бокал, изрёк:

— Приветствую тебя, о Люцифер! Святой бунтарь! Покровитель свободы и радости! Бог всякой чертовщины!.. Не пожалей для меня кучи жирных торговцев маслом, и я воздвигну тебе алтарь из устричных раковин и пустых бутылок из-под шампанского!.. Эй, хозяин!.. Грипомен! Тащи вина! Целое море вина!.. Друзья, устроим винную купель!.. Эй, слышит меня кто-нибудь или нет?

Хозяин, маленький швейцарец в короткой курточке, появился в дверях кафе, где давно уже погасли все огни. Пожимая плечами и удрученно разводя руками, он попросил господ собравшихся извинить его за то, что он лишен возможности обслужить их. Но теперь третий час, и полицейский, весьма к нему расположенный, уже стучал предостерегающе в окно.

— Ты сказал «третий час»?.. Час! — расшумелся Фритьоф. — Мы ведь боги, Грипомен! Понимаешь, боги! А часы — это для сапожников и портняжек!

— Увы, для владельцев кафе тоже, — отвечал маленький хозяин, склонив голову набок и прижимая руки к груди. И, заметив успех своей остроты, с улыбкой добавил, что будет несказанно рад услужить господам завтра. — Приходите как только проснётесь. Мы открываем с семи.

— Подать мне вина! — рявкнул Фритьоф и швырнул на стол пригоршню золотых.

Монеты со звоном покатались в разные стороны. — Вот оно, масло-то!.. Хочешь ещё?.. Пейте, друзья!.. Эта дрянь пусть так и валяется! Мы не обыватели какие-нибудь.

Но этот жест показался остальным слишком уж олимпийским. Они мигом протрезвились и принялись подбирать деньги с пола, а Фритьоф тем временем продолжал неистовствовать:

— Вина! Подавайте нам вина и девок!.. Вина, говорят вам!

Общество постепенно редело. Хозяин почтительно отводил в сторону каждого по отдельности и умолял его «только из-за полиции» покинуть помещение, после чего выпускал одного за другим через заднюю дверь. И лишь Фритьоф знать ничего не хотел и шумел по-прежнему.

Наконец из гостей остался один Пер. Он тоже собрался было уйти, но Фритьоф, удерживая его за руку, приказывал, просил, умолял чуть не со слезами в голосе не покидать его.

Пер поддался на уговоры. Он счёл непорядочным бросить человека в таком состоянии. Хозяин принёс им кофе и коньяк, взяв с них клятвенное обещание вести себя прилично, после чего, покачивая головой, «Грипомен» удалился к себе в опочивальню.

Фритьоф водрузил оба локтя на стол и уронил свою хмельную голову на руки. Он вдруг затаил и полуприкрыл глаза.

Пер, сидя против него, раскурил новую сигару. Единственная газовая лампа с приспущенным фитилём горела над их головами. Дальние углы комнаты терялись в сером облаке пыли и табачного дыма. Посреди комнаты в хаотическом беспорядке громоздились столы и стулья, так, как оставили их гости. На столах лежал сигарный пепел, валялись пробки, разбитые стаканы. Но кругом стояла тишина... такая неправдоподобная тишина после пролетевшей грозы, что казалось, каждый звук рождает ответный шепот во всех углах.

Фритьоф молчал, и Пер уже думал, что он задремал. Тогда он чокнулся со стаканом Фритьофа и сказал: «Будем здоровы».

Но вместо ответа на тост Фритьоф вдруг меланхолично заговорил о смерти. Глядя перед собой мутными, невидящими глазами, он спросил Пера, не испытывает ли тот когда-нибудь содрогания при мысли «о том, что ждёт нас по ту сторону гроба».

Пер, не знавший таких страхов и слишком занятый настоящим, чтобы гадать о будущем, подумал было в первую минуту, что Фритьоф просто шутит, и рассмеялся. Но тут Фритьоф схватил его за руку и сказал с мольбой и в то же время повелительно:

— Тише ты! Ни за что нельзя ручаться... Вы, желторотые, куда как лихо расправляетесь со смертью. Вот погоди, пока у тебя на висках появится седина. Тогда у тебя мурашки забегут по телу при мысли о том, что твоя разлюбезная персона когда-нибудь станет лакомой поживой для сотни оголодавших червей. Достаточно капельки лишнего жира на сердце — и готово! Стружки под голову, восемь гвоздей в крышку гроба — милости просим, стол накрыт!.. Ни за что нельзя ручаться, говорю я тебе. А может, там, за звёздами, можно найти больше, чем сулят все ваши еврейские пророки вместе взятые? Но тогда... что бишь я хотел сказать?.. Тогда придёт день расплаты для всех нас... Мы воображаем, что сделались бог весть какие умные. Пусть так! Но сделались ли мы счастливее?.. Твоё здоровье!

Пер вытаращил глаза и с изумлением оглядел своего бородатого собеседника, верховного жреца радости и красоты, оказавшегося на поверку собратом и единомышленником его собственных отца и матери, подземным гномом, сокровеннейшая часть души которого обитает в царстве теней, кружится над могилами, летает среди повелителей потустороннего мира, убоясь духов жизни и света — тех, кого он сам минуту назад призывал так дерзновенно.

Не первый раз Пер получал возможность, заглянув в самое нутро «независимых», насладиться неожиданным зрелищем, увидеть их изнанку, их теневую сторону, неопределённый до конца остаток прежнего Я, затевавшего в приступе малодушия зловещую игру с новым.



Так, к примеру, «последний эллин» Реебаль в те редкие минуты, когда он бывал трезв, выдерживал нелёгкие бои со своей совестью, а Лизбет извлекала из ящика комода молитвенник всякий раз, когда маялась поясницей или боялась забеременеть. Постепенно он начал понимать, какая власть парализует силы человека и превращает мир в гигантскую богадельню. Подобно тому как здесь один искал утешения в вине, другой заглушал «голос своей души» мальчишеской хвастливостью и дикими выходками, третий, с чисто артистической способностью ничего не видеть и не слышать, прятался в свою раковину, словно улитка при первом ударе грома, а четвёртый предавался бесплодным мечтам о грядущем анархистском братстве людей, — так и все люди во всём мире боролись с призраками, покуда жизнь, румяная и весёлая, с улыбкой предлагала им принять участие во всеобщем празднестве. Он хорошо изучил человеческую породу по своим домашним.

И в нём созревало упоительное чувство, что он не такой, как все, что он — исключение, что благодаря счастливой случайности он ещё ребёнком смог разорвать те путы, которые до сих пор сковывают даже самые независимые умы современности.

Слова Ивэна Саломона об Аладиновом счастье и о божьих письменах на лбу неожиданно приобрели новый, гораздо более глубокий смысл. Надо только хотеть, хотеть без оглядки, желать без зазрения совести и все жизненные блага будут у твоих ног.

Значит, он всё-таки наследный принц. Значит, корона венчает его чело. Ведь нашёлся хоть один человек, который прочёл на его лбу слова: «Пришёл, увидел, победил!»

### Глава III

После долгих раздумий Пер взял под мышку свои чертежи и выкладки и отправился на частную квартиру профессора Сандрупа, чтобы упросить профессора взглянуть на проект канала и регулирования уровня фьорда и высказать о нём своё мнение. Профессор выпучил глаза, молча насадил очки на свой длинный нос и недовольно хмыкнул. Обладая в достаточной мере той пренебрежительной способностью, которая с годами развивается у всех старых учителей, — способностью при первом же, самом беглом взгляде отыскать в работе уязвимые места, — профессор Сандруп незамедлительно обнаружил ошибку в расчёте скорости течения.

Нельзя было отрицать ни наличия ошибки, ни значения её для всего плана в целом. Пер залился краской до корней волос и даже не пытался возражать.

Засим профессор снял очки и, похвалив Пера за тот интерес к предмету и усердие, о коем бесспорно свидетельствует его работа, настоятельно посоветовал ему не тратить более драгоценного времени на бесплодные умствования, а отдать весь свой пыл основательному и планомерному изучению предписанных экзаменационных дисциплин.

Вернувшись домой, Пер ещё раз тщательно просмотрел свои расчёты. Но смотри не смотри, ошибка была налицо. И главное, вкралась она в самом начале расчёта скорости течения, так что если исправить её, оказалось бы, как правильно разъяснял профессор, что запроектированный средний уровень в самом низком месте получается много ниже уровня моря, другими словами, проект покоился на ошибочной основе и был невыполним.

И снова Пер побагровел от стыда... гордые мечты о королевском троне рассыпались в прах. Больше часа он неподвижно просидел за столом, закрыв лицо руками.

Потом вдруг выпрямился, сунул как попало чертежи, расчёты и сметы в ящик комода, раскурил сигару, направился в город и целый вечер проторчал в бильярдной. Громко разговаривая, он разгуливал по бильярдной без сюртука и играл со всеми, кто того пожелает. В этот день у него был на редкость уверенный удар, и он выигрывал партию за партией. При виде его никому бы и в голову не пришло, что именно сегодня он потерпел такое унижительное поражение.

Забрёл в бильярдную знакомый, который стал навязывать ему лишний билет на карнавал художников и студентов. Билет продавался за полцены, и Пер, не долго думая, купил его.

Спустя сутки, вечером, Пер стоял, подняв воротник пальто, на тихом и тёмном углу Фру Пладс и терпеливо дожидался. Падал снег. Площадь была пустынна. Нетронутый снежный ковёр лежал вокруг церкви. На статуях Моисея и Давида перед входом выросли пышные белые парики; в этих головных уборах и чёрных мантиях они напоминали адвокатов из комедий Хольберга.

Пер ждал одну молодую даму, с которой познакомился накануне на карнавале и протанцевал чуть не полночи. Он не особенно надеялся, что она придёт. Это была его первая любовная интрижка с настоящей дамой, и никаких твёрдых обещаний она ему не давала. Дерзкую просьбу о свидании она попыталась обратить в шутку.

Часы на башне давно пробили девять, он уже собрался было домой, как вдруг сзади послышались чьи-то шаги. Это оказался рассыльный; осведомившись об имени Пера, он протянул ему письмо.

Пер поспешил к ближайшему фонарю. Жадно раздувая ноздри, чтобы вдохнуть аромат фиалок, он прочёл:

«Разумеется, я не приду. Но зато постараюсь раздобыть для вас приглашение к фабриканту Фенсмарку на ближайшее воскресенье. Кажется, у них недостаёт танцующих кавалеров». Письмо было без подписи, но зато, как и положено, с постскриптомом: «Вообще-то я очень зла на вас. Надеюсь, вы осознали свою вину».

Пер спрятал письмо в карман и самодовольно улыбнулся. Он подумал о Лизбет. Теперь можно отпустить её на все четыре стороны. Ему, по правде говоря, давно уж опротивели эти доступные девки с их грубыми словечками и жадностью, с блохами и грязными каморками. Более яркая, более возвышенная любовь открывалась перед ним. Его фантазия немедленно набросала заманчивую перспективу галантных походов: опасные встречи, тайные поездки в карете, незаметные рукопожатия под столом, поцелуи украдкой, под прикрытием веера, страстные признания...

Пер вышел из Скоубогаде и хотел было свернуть на Виммельскафт, как вдруг оборвал цепь соблазнительных картин грубым ругательством. По той же стороне улицы прямо на него двигался невысокий господин в соболях, под огромным зонтиком; и хоть зонтик скрывал верхнюю часть тела, Пер тотчас узнал его по торопливой, подпрыгивающей походке. Это был Ивэн Саломон.

Чтобы избежать встречи, Пер шагнул через канаву и хотел перебежать на другую сторону улицы, но слишком поздно. Радостный крик: «Господин Сидениус!.. Эй, господин Сидениус, это вы?» — пригвоздил его к месту.

— Поскольку вы направляетесь в «Котёл», — сказал Саломон, — я вам советую повернуть обратно. Сегодня там можно просто подохнуть со скуки. Там и нет никого, кроме Эневальдсена, но наш дорогой поэт сидит с отсутствующим видом, потирает свой монокль и явно бьётся над проблемой, куда бы ему лучше пристроить запяную. Давай-ка пойдём в другое место. Вы не откажете мне в удовольствии отужинать с вами? Вы ведь никуда не спешите, правда?

Пер знал, что сопротивление бесполезно, — ему просто не придумать такой отговорки, с которой Саломон не разделался бы самым решительным образом.

Да и домой не тянуло, где мысли о том, что спрятано в ящике комода, испортили бы ему всё настроение. Заснуть он бы сейчас всё равно не заснул. И, наконец, если уж человеку так приспичило поужинать с ним... один раз куда ни шло.

Вскоре они уже сидели на пурпурно-красном бархатном диванчике в недавно открытом ресторане при фешенебельном отеле, где бывала главным образом земельная аристократия и офицеры. Дорогой брюссельский ковёр покрывал весь пол, стены были зеркальные, официанты во фраках двигались быстро и бесшумно, и посетители, среди которых было много дам, говорили приглушенными голосами.

Сперва Пер почувствовал некоторое смущение. Он не привык к столь роскошной обстановке. А всего больше его смущало присутствие Саломона, чья шумная и вызывающая развязность сразу привлекла к себе отнюдь не доброжелательное внимание.

Особенно косые взгляды метал на них из-за своей газеты одиноко сидящий господин, которого Пер, впрочем, поначалу не заметил. Это был человек лет сорока, высокий, тощий, болезненного вида, с почти голым черепом и худым, измождёнными лицом, с вислыми белокурыми усами и в золотом пенсне. Человек презрительно посматривал на Ивэна Саломона, но при виде Пера его изжелта-бледные щёки окрасил слабый румянец, и он поспешно закрылся газетой, так что Пер мог разглядеть лишь пару длинных скрещенных ног и ничего более.

— Что вы будете кушать? Хотите устриц? — осведомился Саломон, снимая красно-бурые перчатки и засовывая их между пуговицами жилета.

— Есть у вас действительно свежие устрицы? — спросил он у официанта.

Тот отвечал небрежным кивком.

Пер не дерзнул признаться, что не питает особого пристрастия к этому изысканному кушанью. С другой стороны, ему хотелось плотно поужинать, от долгого ожидания на морозе у него разгулялся аппетит. Он хотел мяса, сыру, яиц — как можно больше яиц.

— Устрицы — это неплохо придумано, — сказал он, — но предупреждаю вас, я голоден как волк.

— Прелестно! Великолепно! — возликовал Саломон и захлопал в ладоши, причём все посетители, включая и дам, повернулись к нему и смирли его презрительными взглядами. Даже золотое пенсне одинокого господина на мгновение вынырнуло из-за газеты.

Обратясь к официанту, Саломон попросил:

— Расскажите-ка нам лучше, что у вас сегодня есть хорошенького.

Официант пробубнил себе под нос длинный перечень блюд.

— А ну-ка, тащите сюда всё по порядку — всё меню целиком! — воскликнул Ивэн в бурном восторге и, словно пловец, замахал руками. — Тащите, тащите! Мы устроим grand souper — целый пир! Только поторапливайтесь, друг мой! Мы голодны как волки.

Заметив, что официант посматривает на них свысока, Пер от смущения решил подражать Ивэну. Он вытащил зубочистку из стоявшего на столе бокала, откинулся на спинку дивана и вызывающе огляделся по сторонам.

На блюде, выложенном маленькими кусочками льда, подали устриц и к ним бутылку замороженного шампанского. Затем последовали дичь, спаржа, омлет, сыр, сельдерей, фрукты. Пер добросовестно ел всё подряд. Он сказал себе, что раз уж человек попал в такое место, надо выжать из этого случая всё возможное. А вдобавок он отроду не сиживал за таким столом.

Саломон лишь чуть притронулся к каждому блюду, зато говорил без умолку. Он оседлал своего любимого конька — эпоху Ренессанса.

— Это было время подлинного величия человечества, — разливался он, время, когда поэты, художники, изобретатели жили как князья, пользовались таким же почётом, как короли, были любимы королевами, а гении наших дней голодают в убогих каморках и едва терпимы в хорошем обществе. Именно поэтому их трудам зачастую недостаёт того размаха, той гигантской силы, что неудержимо влечёт всех. Я раньше говорил об Эневольдсене. Видит бог, как высоко я ценю его талант. Я считаю эневольдсеновское «Творение» подлинным шедевром. И всё же, как хотите, мы находим у него только филигранную отделку, пленительную игру воображения, хорошенькие безделушки вместо монументов. Целых три дня он ломает голову над каким-нибудь эпитетом. Ему недостаёт больших переживаний, вот в чём беда!.. Ах, вот быть бы богатым... богатым, богатым!

Он откинулся на спинку дивана, заложил руки за голову и поджал под себя одну ногу, так что из-под штанины выглянула полоска красного шелкового носка.

— Я полагал, что вы достаточно богаты, — холодно заметил Пер, чтобы хоть что-нибудь сказать.

— Какое там богат!.. Нет, надо иметь возможность рассыпать вокруг себя миллионы... швырять золото обеими руками. Таланты должны жить, как князья, иметь свой двор, ездить на охоту, давать костюмированные балы, заводить любовниц!.. Вы только вспомните

Рубенса! Гёте! Вольтера!

Он снова нагнулся над столом, чтобы наполнить стакан Пера, и тут же попытаться заставить своего гостя порассказать о себе самом и своих планах. От общего знакомого, тоже слушателя политехнического института, Ивэну стало известно, что Пер, как все думают, трудится над каким-то грандиозным изобретением, и его крайне огорчало, что он до сих пор не смог выяснить у Пера никаких подробностей и, следовательно, не имел возможности предложить ему свою помощь.

Но сейчас Пер ещё меньше, чем обычно, был расположен к откровенности и притворился, будто не понимает намёков. Разделавшись с ужином, он раскурил сигару, откинулся на высокую спинку дивана и перестал слушать излияния своего собеседника.

Мысли его, возбуждённые вином, унеслись к той женщине с карнавала. Фру Энгельгард, вот как её звали. Глаза Пера провожали лёгкие облачка дыма, и под его взглядом они обращались в прозрачный полог, сквозь который виднелась нагая фигура женщины, пышная и прекрасная. Он только сейчас осознал, что влюблён, и влюблён по уши. До этой минуты, если быть честным, он испытывал к ней такое же чувство, как и ко всем красивым и полным женщинам. Правда, мысли о её возрасте и теперь несколько расхолаживали его. Она, судя по всему, уже не первой молодости, ей лет за тридцать, не меньше. Но если даже так, что из этого? Взгляд её темно-карих глаз, похожих на спелые каштаны, её смелая, вызывающая осанка и очаровательный костюм Коломбины, её соблазнительные плечи и раздувающиеся ноздри маленького вздёрнутого носика — всё это выдавало юную пылкость, пламенную жажду страсти, над которой не властны годы.

Вдруг взгляд Пера упал на господина в золотом пенсне, — тот наконец отложил газету в сторону и подозвал официанта, чтобы расплатиться. Когда их глаза встретились, оба чуть привстали со своих мест и обменялись церемонным поклоном.

— Боже праведный, да ведь это Ниргор! — воскликнул Саломон. — Вы с ним знакомы?

— Н-нет... Мы случайно встретились вчера на карнавале.

— Как? Вы там были?... Что же я вас не видел?

— Ну, там было столько народу... Значит, и вы тоже были?

— Господи, ведь это я был Гамлет! Неужели вы меня не видели?

Пер превосходно помнил, что видел там маленькую фигурку в чёрном, а при ней — даму в костюме «Снежной королевы», вызвавшем ужасное негодование остальных дам, отчасти из-за рискованного декольте, отчасти из-за обилия брильянтов, которые, переливаясь всеми цветами радуги, усыпали шлейф, словно кристаллы инея.

— Вы были с дамой? — спросил Пер.

— Да, с сестрой.

— А-а...

Господин в пенсне тем временем расплатился, и официант помогал ему надеть пальто. Пер с невольной завистью отметил и безукоризненный элегантный костюм, и истинно светскую небрежность, с какой тот приказал официанту подать ему шляпу и палку, а затем — одним лишь мановением руки — попросил огня для своей сигареты. Прошлой ночью Пер обменялся с ним несколькими ничего не значащими словами. Когда он первый раз протанцевал с фру Энгельгард, возле них вдруг появился этот господин, и фру Энгельгард представила его Перу. Потом он всё время издали поглядывал на них, и Пер наконец решил, что этот господин — его соперник. Направляясь к выходу, господин Ниргор не мог миновать стол, за которым сидели Пер и Саломон; Саломон přátельски помахал ему рукой и закричал:

— Добрый вечер, господин Ниргор!.. Добрый вечер!.. Ну, как делишки?

Брови господина Ниргора в немом изумлении поползли вверх. Он пренебрежительно усмехнулся и ответил на приветствие Саломона надменным кивком, даже не вынув сигареты изо рта. Затем подчёркнуто вежливо поклонился Перу, так что последний был вынужден снова встать и раскланяться.



— Кто он, собственно, такой? — спросил Пер, когда Ниргор исчез.

Саломон пожал плечами.

— Да как вам сказать... Я его очень мало знаю. Встречаюсь с ним только в обществе. В своё время он был лицом весьма заметным. Вообще-то он кандидат прав, носит известное имя, имеет отличные связи... короче, блестящие возможности для того, чтобы сделать карьеру в наших провинциальных условиях. Помнится, его прочили в дипломаты... в наше лондонское посольство, если мне не изменяет память. Сам принц Уэльский принимал в нём участие. Не знаю, что ему помешало, во всяком случае он отказался от назначения. Он вообще со странностями. Теперь он занимает чрезвычайно скромный пост в каком-то министерстве.

На другой день Пер получил приглашение, обещанное ему фру Энгельгард. Пришлось срочно пополнять свой гардероб, чтобы при вступлении в копенгагенский свет оказаться не хуже других кавалеров. А тут уж нельзя было обойтись без денежного займа. Знакомые по кафе свели его с одним пожилым господином, ранее земледельцем, который ныне округлял свой капитал, давая деньги в долг из шестидесяти процентов; обеспечением служили страховые полисы, книги, мебель, свидетельства о крещении или прививках и торжественная устная клятва, с возложением руки на Библию и в присутствии свидетеля.

Мадам Олуфсен не знала, что и подумать, видя, какую уйму всяких новых вещей ежедневно доставляли к ним на дом крупнейшие магазины Копенгагена. Они с мужем и так, и эдак прикидывали, что бы это всё значило. Сам Пер ничего не говорил. Он вообще стал какой-то замкнутый и вдобавок очень мало бывал дома.

Одна лишь тихая Трине могла бы кое-что порассказать им. Со сверхъестественным ясновидением, присущим любви, простая девушка сразу догадалась — насколько у неё вообще хватало разума, — к чему идёт дело. Всё чаще, когда горе одолевало её, она пряталась в уборной, чтобы там всласть выплакаться, пока никто не видит.

И однако, она ещё более ревностно и благоговейно наводила чистоту в его крохотных комнатах и заботилась о принадлежащих ему вещах. А с его обновками, которые Трине считала принадлежностями свадебного туалета, она обращалась так бережно, словно от этого зависело её собственное счастье. Она вышила метки на тонком белье, на носовых платках и прозрачных, как паутина, шелковых носках, она застелила чистой бумагой дно нижнего ящика комода, где хранилось всё это великолепие. Когда настал день бала, она собственноручно повязала ему галстук, застегнула перчатки, заверила, что новый фрак нигде сзади не морщит и что короткая стрижка под машинку ему очень к лицу. А когда пробило половину девятого и заказанная карета так и не пришла, именно её обозвали дурой и именно она без платка побежала в темноту и слякоть на Адельгаде за другой каретой.

Когда Пер вошел в бальную залу, танцы уже начались. С десятков пар торжественно кружились под звуки вальса и ещё столько же стояло или сидело вдоль стен. В числе последних он тотчас отыскал глазами фру Энгельгард. Она была в огненно-красном шелке и обмахивалась большим веером из перьев. Рядом с ней сидел лысый господин и покачивал на колене свой шапокляк. Это был Ниргор.

Вид этого человека и особенно мелькнувшая ревнивая мысль о том, что Ниргор обязан своим присутствием благосклонному содействию фру Энгельгард, сразу же испортили Перу настроение, поэтому четверть часа он совсем не танцевал, а слонялся по соседним комнатам, где пожилые господа играли в карты. Лишь к концу первого вальса он вернулся в залу и с церемонным поклоном пригласил на танец фру Энгельгард, даже не удостоив взглядом её кавалера. Она как будто не сразу узнала его. Потом встала, подобрала шлейф и с почти материнской улыбкой доверила своё пышное тело его рукам.

— Ну и неблагодарный же вы субъект, — укоризненно сказала она ему своим копенгагенским говорком, после того как они сделали несколько туров, а Пер так и не раскрыл рта. — Вы даже не сказали мне спасибо за то, что я раздобыла для вас приглашение. Можете мне поверить, это было совсем не так легко.

— Я вам чрезвычайно признателен, милостивая государыня.

— Фу ты, как чопорно! Вы чем-то недовольны?

— Да, слегка.

— А чем же? Если только об этом можно рассказать даме.

— Почему здесь Ниргор? Терпеть его не могу. Вы окажете мне большую любезность, если не будете танцевать с ним.

— Ну знаете... и претензии же у вас.

Она рассмеялась и в то же время ещё тяжелей повисла на его руке.

Пер тоже против воли засмеялся. Это движение, аромат её волос и полуобнаженная грудь, прижатая к его груди, воспламенили его. Они сделали четыре тура, и когда он отвёл её на прежнее место, Ниргора там уже не оказалось. Немного спустя Пер глазами отыскал Ниргора на другом конце залы, где тот рассыпался в любезностях перед молоденькой девушкой с длинными, цвета спелой ржи косами чуть не до полу.

А бал между тем тянулся своим чередом, никому повидимому не доставляя особого удовольствия, если не считать слуг, которым позволили время от времени подглядывать в дверную щель. Лишь после того, как мужчины обнаружили бутылки, выставленные по соседству с танцевальной залой, дело как будто пошло на лад. Вообще мужское общество было чрезвычайно смешанное, и тон собрания весьма развязный, что неизбежно в самых хороших домах, где нет взрослых сыновей и где добывают танцующих кавалеров через знакомых и знакомых своих знакомых, не имея другой гарантии, кроме адресной книги. Приглашенные не чувствовали никаких обязательств перед хозяевами дома, вели себя один другого бесцеремоннее, зевали, отпускали критические замечания и были требовательны совсем как в общедоступном ресторане.

Хозяин, маленький седой человечек, и сам-то не знавший по именам своих гостей, робко семенил из комнаты в комнату, как лицо совершенно постороннее. С вымученной светской улыбкой он добросовестно выполнял нелёгкую задачу, которую возложили на него жена и дочь: заставлял кавалеров «работать ногами». Завидев какого-нибудь господина, созерцающего картины на стенах гостиной или замешкавшегося у стола с горячительными напитками, он останавливался неподалёку и заводил приличествующий случаю разговор об изобразительном искусстве, о театре или конькобежном спорте — разговор вполне невинный, но неизбежно кончавшийся тем, что гость под наблюдением хозяина препровождался в залу и там бывал представляем какой-нибудь из старых приятельниц дома, в бальном карнэ у которой зияли незаполненные строчки.

Фру Энгельгард обещала Перу котильон. Но когда встали из-за стола и танец начался, он не смог отыскать её ни в зале, ни в прилегающих комнатах. Наконец он обнаружил её в маленьком, слабо освещённом шестиугольном кабинете, по другую сторону гостиной. Она сидела там совсем одна, забившись в угол дивана, который можно было увидеть, только переступив порог.

Она встретила его с мягкой грустью, сказала, что он вправе сердиться, но танцевать ей не хочется, и она не может от него требовать, чтобы и он ради неё отказался от танца и занимал её разговором. Нет, нет, такой жертвы она не примет... пусть он ни в коей мере не чувствует себя обязанным.

При всей неопытности Пера в вопросах светского обхождения, он был не так уж глуп, чтобы не понять, куда она клонит. Он приставил к дивану стул и сел подле неё. Некоторое время они сидели молча, прислушиваясь к музыке и выкрикам, доносившимся из бальной залы, — звуки долетали сюда через три-четыре комнаты, заметно приглушенные. Потом вдруг Пер схватил её обнажённую белую руку, лежавшую на спинке дивана, и, поскольку она не сопротивлялась, весьма бойко признался ей в любви и повторил свою просьбу подарить ему свидание. В конце концов она ответила согласием, и тогда он наклонился и запечатлел один, два, три поцелуя выше локтя. В глубине души он полагал, что она ему этого не позволит, да она и на самом деле сказала, что всерьёз рассердится, если он ещё раз посмеет... и т. д. и т. п., но влажный блеск её глаз и трепет высокой груди говорили совсем иное.

Тут в соседней комнате послышались шаги, и Пер едва успел откинуться на спинку стула, как в дверях появилась долговязая фигура Ниргора. Ниргор с вежливым поклоном извинился за своё вторжение, однако, заложив руки за спину, остался стоять в дверях, словно не знал, войти ему или нет.

— Да входите же наконец, — приказала фру Энгельгард.

— Вам недостаёт общества? — спросил он.

Вопрос Перу очень не понравился, потому что прозвучал почти вызывающе.

— Я этого не говорю, однако, если вы можете рассказать что-нибудь забавное, мы с радостью послушаем вас.

— Ах, да, да — вы здесь сидите с господином инженером такие несчастненькие, такие одинокие, такие покинутые.

— Вот именно, — отвечала она, усталым движением складывая веер и откидываясь на спинку дивана. — Мне очень грустно... я просто измучена, я устала от танцев и от этого скопления людей. Но вы? Вы-то почему не танцуете? Кстати, вы сегодня пользовались таким вниманием.

— О нет! — Ниргор решился наконец войти. — Этот поэтический полумрак побуждает меня проститься с миром. Вы позволите?

Он придвинул к дивану стул с другой стороны. Теперь они с Пером оказались лицом к лицу, так и не поздоровавшись.

Язык фру Энгельгард работал безостановочно. Она критически отозвалась о подборе гостей, зато с похвалой — о меню ужина и наконец перешла на туалеты некоторых дам. Пер сидел, наблюдал за Ниргором и не произносил ни слова. Ниргор тоже молчал. Он низко опустил голову, так что лица его не было видно, и, облокотившись на колени, теребил перчатку длинными, чуть заметно дрожавшими пальцами.

— Ах, Ниргор, Ниргор, вы стали несносно скучный, — оборвала фру Энгельгард поток своих речей. — И это вы, прежде такой интересный собеседник! Что с вами, собственно, происходит? Бьюсь об заклад, что здесь замешана какая-нибудь дама.

— Возможно.

— Да ведь это маленькая фрёкен Хольм. Ну как же! Она совершенно в вашем вкусе. Должна вам открыть, господин Сидениус... господин Ниргор был так галантен, что сообщил мне о своём пристрастии к синеглазым блондинкам. Вдобавок она, говорят, из деревни, — продолжала фру Энгельгард, снова обращаясь к Ниргору. — Запах клевера, летнее солнце и парное молочко... Совершенная пейзажечка, как вы того хотели. Когда прикажете явиться на свадьбу?

Господин Ниргор поднял голову, откинулся на спинку стула, прижал шапокляк к животу и, возложив на него руки, сказал с лёгким вздохом:

— Когда человек дожил до моих лет, самое разумное считать себя покойником. Тогда тебе остаётся только одна забота — устроить приличные похороны.

Фру Энгельгард рассмеялась.

— У вас, право же, слишком чёрные мысли. Что же тогда делать нам, бедным женщинам?.. Вы только взгляните на старого ротмистра Фрика. Ему минуло шестьдесят два, а он отплясывает, как молоденький лейтенантик. Я убеждена, что он ещё пользуется успехом у дам... Словом, мужчин вашего возраста ждёт ещё много счастья впереди.

Ниргор поклонился.

— Благодарю вас за утешительное надгробное слово. Я и сам знаю, что в наши дни люди — будь то мужчины или женщины — обладают искусством сохранять до глубокой старости свежесть и бодрость, — ну совершенно так же, как они научились консервировать горошек, спаржу и прочую зелень. Но мне лично этот старый, законсервированный ротмистр антипатичен. Нет, надо уметь и отказываться от чего-то, надо отдать юности то, что принадлежит ей, и только ей, и тем уберечь себя от многих неприятностей. В моём возрасте неприятностей и без того хватает. Подагра, несварение желудка, суп из овсянки, камни в печени и операционный стол — вот те реальные ценности, с которыми приходится иметь

дело, когда тебе перевалит за сорок.

— Да ещё воспоминания, — мягко вставила фру Энгельгард, — светлые воспоминания, Ниргор, — о них вы и забыли.

— Воспоминания?.. Гм, гм! По-моему, они тоже из тех законсервированных продуктов, которые призваны зимой давать нам скудную замену летних щедрот. Нет, не будем говорить о воспоминаниях. Одной мукой больше... ведь именно они, когда мы состаримся, заставляют нас воспринимать каждое новое событие как все более бледное и утомительное повторение прошлого.

— Нет, сегодня вы просто невозможны. Но я не сержусь на вас. Вы больны, Ниргор. Наверняка вы ведёте слишком неправильный образ жизни. Вам надо бы посоветоваться с врачом. Убедена, что он пропишет вам курс в Карлсбаде.

— Вероятно. А может, известные и вполне эффективные свинцовые пилюли... из револьвера. Как болеутоляющее средство они не знают себе равных.

— Нет, с вами просто нет сладу. Подумать только, чтобы человек ни о чём не мог говорить серьёзно.

Во время всей этой перепалки Пер то и дело переводил глаза с неё на него. Фамильярно приятельский тон расшевелил в нём подозрения относительно их истинных взаимоотношений, однако, он быстро утешился, припомнив, как фру Энгельгард в карнавальную ночь рассказывала, что они с Ниргором друзья с детства. И сама её манера держаться с ним не говоря уже о том, как язвительно она ему посоветовала съездить в Карлсбад, — доказывала, что он ей в тягость.

Но тут в соседних комнатах послышался говор: усталые, запыхавшиеся пары собрались у столов, где по-прежнему в изобилии наличествовали всевозможные напитки. Котильон кончился. Посреди залы носились в облаке пыли всего лишь три-четыре пары — из самых неустомимых или влюблённых; этим всё было мало, и они без конца заставляли музыкантов играть одно и то же, с каждым разом убыстряя темп.

Одна за другой начали подъезжать кареты. Фру Энгельгард под руку с мужем обходила гостей, чтобы со всеми попрощаться. Муж её был высокий, грузный коммерсант добродушного вида. Весь вечер он просидел за картами. Когда они проходили мимо Пера, фру Энгельгард, к величайшему ужасу последнего, представила их друг другу. И супруг покорно пожал его руку и сказал ему несколько любезных слов. Но Пер застеснялся и не мог поднять глаз.

«Зачем ей это понадобилось?» — с беспокойством подумал он, но тут же услышал её слова, обращенные к мужу уже перед самым выходом и достаточно громкие для того, чтобы он, Пер, мог их слышать:

— Друг мой, ты, кажется, в тот вторник уезжаешь в Лондон?

Супруг ответил утвердительно, а Пер покраснел и улыбнулся. Потом побледнел, продолжая улыбаться. Сияющим взглядом провожал он пышные белые плечи, выступающие из-под красного шелка... Наконец-то и для него началась жизнь, настоящая жизнь!

\* \* \*

Часов около трёх Пер и Ниргор вместе вышли от Фенсмарков в ясную, лунную ночь. У Пера и мысли не было идти с Ниргором, но когда Ниргор сам спросил его, где он живёт, и предложил своё общество, раз уж им всё равно идти по пути, Пер счёл неудобным отказываться. Он воспринял затею Ниргора как предложение мира, как молчаливое признание победы в борьбе за фру Энгельгард. И потом — он не мог устоять перед той светской любезностью, с какой неизменно обращался к нему Ниргор, несмотря на большую разницу в летах.

Ниргор говорил о сегодняшнем вечере и о светских развлечениях вообще, но Пер был настолько полон недавними событиями, что улавливал лишь отдельные слова, не понимая их



смысла. Несмотря на изрядный морозец и замедленный темп ходьбы — Ниргор нетвёрдо держался на ногах — Пер шёл распахнув пальто. Сознание одержанной победы грело его. Улыбаясь, он выпускал облачка пара в ясный воздух.

Возле Хольменского моста они свернули от канала и пошли дальше по левой стороне улицы, по направлению к Кунгенс Нюторв. Прошли мимо Национального банка, четырёхугольная громада которого высилась под звёздным небом, словно гигантский саркофаг. Часовой в красной шинели охранял вход в помпезный мавзолей маммоны.

Пройдя немного, Ниргор остановился перед старым, узким и невзрачным домом, одним из тех домов, которым до поры до времени позволяли портить вид оживлённой улицы.

— Вот здесь я живу. Господин инженер, не доставите ли вы мне удовольствие подняться и выпить у меня стакан хорошего вина? В сущности, ещё не так поздно.

Пер подумал, подумал и согласился. Ему очень хотелось развлечься и совсем не хотелось домой. С того дня, как он запер свои бумаги в верхнем ящике комода, ему было тягостно дома, словно он зарыл труп у себя под полом. Несколько минут спустя он уже устроился преуютнейшим образом в углу дивана, за большим столом, где под зеленым шелковым абажуром горела лампа на высокой ножке. Пока Ниргор хлопотал в поисках спиртного, Пер внимательно оглядел элегантный холостяцкий салон и с грустью вспомнил свои маленькие и убогие комнатухи. Ну можно ли там принять такую даму, как фру Энгельгард? Вот у Ниргора весь пол застлан ковром. У него наборная мебель красного дерева. Вазы и позолоченные канделябры. Всё наследственное добро, не иначе. А над письменным столом виднеется в полумраке целая галерея портретов, больших и малых: портреты маслом в золотых рамах, дагерротипы, силуэты, миниатюры на слоновой кости, литографии, карандашные наброски и современные фотографии — призрачная вереница опочивших с миром представителей ниргоровского рода.

Правда, при ближайшем рассмотрении всё это являло вид несколько запущенный: ковёр чуть не в дырах, обивка на мебели поистерлась, стёкла большого красивого шкафа, тесно уставленного книгами, кое-где треснули.

Но тут перед ним возник Ниргор, держа в одной руке бутылку с узким, длинным горлышком, в другой — два зелёных бокала. Он опустился в кресло возле Пера и бережно наполнил бокалы.

— Я очень рад, что познакомился с вами, — сказал он, поднимая свой бокал. — Позвольте же мне выпить за ваше благополучие, господин... господин «Счастливчик Пер».

Пер взглянул на него с удивлением и некоторой досадой. Слова Ниргора показались ему слишком бесцеремонным намёком на события минувшего вечера. Но поскольку Ниргор явно хотел воздать ему почести, подобающие победителю, не стоило разыгрывать обиженного. Он взял свой бокал и залпом осушил его.

— Честно говоря, это не слишком остроумное прозвище придумано вовсе не мной, — сказал Ниргор, протирая пенсне. — Я привожу слова одного из ваших друзей... маленького Саломона, с которым я вас встретил на днях. Он ваш великий почитатель. Хотя прозвище, на мой взгляд, даже и не очень лестное. Старинная мудрость гласит, что счастье — удел дураков. А один весьма почтенный древнеримский автор писал, что удача есть мать печали.

«Утешайся, утешайся, — подумал Пер. — Что тебе ещё остаётся».

— Не звучи это столь парадоксально, — продолжал его собеседник, — я сказал бы, что люди самые несчастные представляются мне самыми счастливыми. У них есть великое утешение: они могут бранить судьбу, упрекать господа, требовать к ответу само провидение и так далее, тогда как те, кому что называется везёт, могут обвинять только себя, если над ними вдруг стряётся беда.

— Почему же непременно беда? — улыбнулся Пер, следя за дымком своей сигары.

— Почему? — переспросил Ниргор. В каждом его слове звучало сострадание, чего Пер, по счастью, не замечал. — Боюсь, вы не совсем правильно меня понимаете, господин инженер! Я просто, несмотря на всю мою нелюбовь к парадоксам, хотел сказать, что само счастье есть величайшее несчастье, которое в наши дни может постигнуть человека, ибо...

да, ибо в девятистах девяноста девяти случаях из тысячи у нас не хватает умения использовать его так, чтобы оно пошло нам на благо, а не во вред. Мы, в наши дни, не научены обращению с чудесами, вот в чём горе. На пиршестве счастья мы сидим, как крестьянин за столом у короля. Когда доходит до дела, все мы вместе взятые предпочитаем домашнюю кашу на воде и маменькины блины сокровищам земли обетованной. Вы, разумеется, слышали сказку про свинопаса, который получил принцессу и полкоролевства в придачу. Она кончается, по-моему, именно на том месте, где начинает становиться интересной, по крайней мере для взрослых людей. А будь иначе, мы увидели бы этого увальня в шелках и бархате, увидели бы, как он чахнет и сохнет от чрезмерного счастья. Мы увидели бы, как на роскошной постели принцессы он томится по объятиям толстой коровницы. Ибо нет никаких сомнений, что так бы оно всё и получилось. И он не будет знать ни одной счастливой минуты, пока не влезет обратно в свои деревянные башмаки и не променяет корону и скипетр на навозные вилы своего отца.

Ниргор надел пенсне, откинулся на спинку стула и заложил руки за голову. Усталые глаза глядели на Пера испытующе, участливо, почти с тревогой. Он продолжал:

— При всём нашем датском фантазёрстве мы преисполнены неистребимой любви к привычному, к испытанному. Сколь пылко ни устремляемся мы в дни молодости к необычному и чудесному... стоит только воротам сказочной страны действительно распахнуться перед нами, а королевской дочери помахать нам ручкой с балкона, нас тотчас охватывают сомнения, и мы поглядываем, как бы поскорей взобраться на свою лежанку.

— Вообще-то вы правы, — Пер всё так же с улыбкой провожал взглядом дым сигары. — Вообще. Но ведь есть исключения.

— Ни одного на тысячу. Может быть, даже на десяток тысяч. Вы и сами когда-нибудь поймёте, какая страшная, колдовская сила таится во всём домашнем и привычном, даже если оно глубоко нам ненавистно. Вы только оглянитесь по сторонам. Через всю жизнь мы тащим за собой непрерывно увеличивающийся груз прошлого, которое обступает нас со всех сторон, словно китайская стена, и с которым мы не смеем расстаться. Мы скрываемся в склепе семейных воспоминаний, и под конец у нас не остаётся иных чувств, кроме преклонения.

— Нет, постойте, нельзя так огульно говорить обо всех, — перебил его Пер. Я, к примеру, от этого избавлен. Ибо всё, что я тащу за собой из прошлого, может легко уместиться в жилетном кармане.

— Поздравляю, коли так! И однако — что из этого? Колдовские чары родного гнезда исходят не только от вещей. До глубокой старости наши поступки определяют бессмысленные наставления давным-давно умершего отца или какой-нибудь предрассудок нашей недалёкой матери. И потом ещё остаются милые братцы и сестрицы и заботливые дядюшки и тётушки...

— Что до меня, мне и здесь повезло, ибо у меня нет ничего подобного.

— Ещё раз поздравляю. Но ведь какой-то дом у вас всё-таки был... да ещё скорей всего пасторский, датский пасторский дом, из тех, что повсюду славятся своим уютом. Я, видите ли, сужу по вашей фамилии. Пер пропустил мимо ушей последнюю реплику и сказал, что не знает, да и не знал никогда людей, которых принято именовать близкими родственниками.

— Подумать только! Тогда, быть может, вы...

— Да, — Пер умышленно не дал ему договорить. — Я — это только я, и больше ничего.

— Ну и ну! — Ниргор опёрся о ручки кресла, весь подался вперёд и, словно проснувшись, глянул на Пера. — Тогда маленький Саломон не так уж и не прав. Тогда в вас действительно есть что-то сказочное. Никаких оглядок на семью! Никакой возни с братьями и сёстрами! Никаких благожелательных дядюшек и тётушек... Свободен, как птица в небе!

Пер в знак согласия промолчал, Ниргор снова откинулся на спинку кресла, и на мгновение воцарилась глубокая тишина.

— Вы, я вижу, и в самом деле, на редкость удачливый человек, господин Сидениус. Не

будь я так стар и хил, я, пожалуй, не устоял бы и начал завидовать вам. Свободный и беззаботный во всех отношениях. И жадный до жизни, словно дрозд до спелых вишен. Так и должно быть. И всё же... всё же... что толку? За долгие дни нашей жизни мы сами накладываем на себя те путы, которыми не связаны от рождения. Мы из породы рабов. Лишь в оковах и под замком мы чувствуем себя как дома... Что вы на это скажете?

— Говоря по чести, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, — ответил Пер и взглянул на часы над книжным шкафом. Часы показывали четверть пятого. Однообразие разговора начало утомлять его, кроме того, он уже раскисал в своей болтливости.

Ниргор ответил не сразу. Задумчивым, напряженным взглядом он продолжал смотреть на Пера.

— Что я имею в виду?... Мы ведь сами заводим себе друзей и привычки, связываем себя в ходе времени всякими обязанностями и обязательствами. Не говоря уже о близости между мужчиной и женщиной. Ну, той самой близости, которую принято именовать увлечением, любовью, страстью, словом, как вам угодно. Даже самая вольная птица не может не признать, что женщины обладают хваткими щупальцами, которые при всей их мягкости ложатся на вас словно железные цепи.

— Ну, такие цепи никому не мешают, — рассмеялся Пер, — и меньше всего когда они крепко сковывают.

— Вы просто слишком молоды. Однако предположим, что та или иная женщина, вызывающая у вас чувственное влечение, пусть даже в глубине души вы презираете её... какая-нибудь там потаскушка или служаночка, которую вы от великой невинности поцеловали... короче — существо, к которому вы по привычке или в силу старых воспоминаний испытываете привязанность... допустим, вы узнали, что эта женщина преспокойно обманывает вас за вашей спиной... Как поступают в подобных случаях вольные птицы вроде вас?

«Интересно, куда он клонит?» — про себя подумал Пер, а вслух сказал:

— Как поступают? Разумеется, заводят другую.

— Прелестно. Но если и другая окажется не лучше первой? Тогда как?

— Тогда заведу третью, четвёртую, пятую... Господи ты боже мой, как будто мало женщин на свете!

— Вот это верно!.. Это верно! — прикрыв глаза Ниргор повторял слова Пера, словно обрёл в них ключ к решению загадки бытия.

Пер начал собираться домой. Разговор принял, на его взгляд, слишком личное направление. Да и поздно было. По улице уже проехало несколько хлебных фургонов, возвещающих о наступлении утра.

Но Ниргора вдруг охватило непонятное возбуждение. Он снова наполнил бокалы и попросил Пера забыть о времени.

— Я несказанно счастлив, что познакомился с вами, господин Сидениус. Вы на редкость бодрый и всем довольный человек. Если вы не поймёте меня превратно, я хочу вам сделать одно предложение.

«А теперь что?» — подумал Пер.

На первый взгляд — так начал Ниргор — эта история может показаться ему, Перу, несколько странной, но после всего, что он рассказал о себе, он отнесётся к ней не более серьёзно, чем она того заслуживает. Так вот, у него, у Ниргора, есть один друг, вернее — близкий родственник, и он сейчас при смерти. Он неизлечимо болен: ему недолго осталось жить... он болен душой и телом. Впрочем, не об этом речь. Короче говоря, человек этот холост и не знает, что ему делать со своим добром. У него не так уже много и есть: кое-какая мебель, несколько скверных картин, немного книг., приблизительно то же, что и в этой комнате. Семье своей он ничего не хочет оставлять. Он не желает, чтобы его вещи попали туда, где они сделаются предметом поклонения. И потому настоятельно требует, чтобы весь его скарб был продан с аукциона, развеян по ветру. Это сделалось у бедняги навязчивой идеей; но поскольку родня его достаточно состоятельна и, кроме того, может воспротивиться

его намерениям, так как большинство перечисленных вещей суть старые фамильные реликвии, он надумал завещать своё имущество совершенно постороннему человеку, которому это пойдёт на пользу или принесёт хоть мимолётную радость.

— Вот я сейчас и подумал: а нельзя ли предложить наследство вам? Я убеждён, что знай он вас лично, он бы и сам пришёл к этой мысли. Вы именно такой, каким и он хотел стать. Свободный, вольный, беззаботный... Нет, умоляю вас, если вы хотите что-нибудь возразить против моего предложения, не говорите ни слова. И вообще не будем больше об этом. Как я уже докладывал вам, особого значения это не имеет... там всего наберётся тысячи две крон, после того как будут розданы долги и выполнены прочие обязательства.

«Пьян он, что ли», — подумал Пер, но решил, что спорить не имеет смысла и что лучше обратить все в шутку. — Да, это было бы, конечно, недурно, — сказал он, деньги всегда пригодятся. А теперь мне пора домой. Спасибо за всё.

— Почему, почему вы уходите? Оставайтесь хоть ненадолго... Как здесь чадно! Давайте откроем окно. — Он порывисто вскочил с места, распахнул окно, и холодный воздух ворвался в комнату, выдув из лампы дымный язык пламени. — Присядьте, пожалуйста. Это мы просто от разговоров настроились на грустный лад. Бутылка ещё не пуста. А вино хорошее.

Но Пер не поддался на уговоры. Ему жутко становилось наблюдать растущее возбуждение хозяина. Он видел, какой страшной бледностью покрылось лицо Ниргора, заметил при прощании, какая у него влажная рука и как она дрожит.

«Ну и чудак же развелось на свете», — подумалось ему, когда он, выйдя на улицу, раскурил новую сигару и размеренным шагом пошёл домой по уже пробуждающемуся городу. Он припомнил ночную сцену в «Котле» с Фритьофом. Стоит им остаться наедине с вами, как они уже видят призраки. Могилы разверзаются под их ногами, и они произносят надгробные речи над собственным телом.

В серых предрассветных сумерках дворники подметали улицу. Открывались второразрядные кабачки, открылась табачная лавка. Гасли фонари, и только из пекарен струился свет да долетал сквозь форточки больших окон запах свежего хлеба. Перед одним из таких окон Пер на мгновение задержался, наблюдая сцену между разбитной девкой и подручным пекаря. Девка стояла на стремянке и раскладывала по полкам большие пироги, а парень сидел внизу на прилавке и болтал ногами. О чём они говорят, Пер, конечно, не слышал, но широкая ухмылка парня и притворная злость, с какой девка отталкивала ногами его руки, делали картину понятной и без слов.

Пер улыбнулся, представив на их месте себя и фру Энгельгард. Да, ночь подошла к концу, жизнь снова пробуждалась, и жажда любви овладевала людьми на голодный желудок... Вступили в общий хор фабричные гудки. Он благоговейно слушал их. Сперва донеслись дальние — от Нэрребру, потом один с Кристиансхавна, и наконец загудело со всех сторон — тот стоголосый петушинный крик, тот благовест нового времени, что когда-нибудь навечно загонит в землю призраки тьмы и суеверия.

## Глава IV

Ровно через неделю после описываемых событий, ненастным, сумрачным вечером, из вагона трамвая вышел на углу Греннингена тощий господин в сером. Господин миновал гусарские казармы и последовал дальше через вытянутую треугольную площадь, от которой начинался Ньюбодер. Заложив одну руку за спину, а другой крепко сжав ручку зонтика и тяжело, в такт шагам, опуская его на булыжник, господин размеренной и быстрой походкой шествовал через кварталы Ньюбодера и на каждом углу читал при слабом свете фонаря названия улиц.

Миновав несколько таких углов и не обнаружив искомого названия, а также не видя в этом пустынном месте ни одного человека, к кому можно было обратиться с вопросом, господин наугад свернул в первый попавшийся переулок и скоро окончательно запутался в



бесконечных однообразных улочках, из которых состоит Ньюбодер. Все окна низких домишек были плотно закрыты, ставнями. Только сквозь круглые или сердечком вырезы падали на мостовую узкие снопики света. А фонарей здесь было ещё меньше, чем на площади. Впрочем, за ставнями жизнь была ключом. Слышался говор, детский плач, гармоника, и всё это так отчётливо, что даже на улице можно было разобрать каждое слово. Там отворялась дверь, и женщина в ночной рубашке выплёскивала содержимое горшка в водосточную канаву; здесь выпускали погулять собачку; а то кошацья пара, выгнув спины, исполняла любовный дуэт.

Господин в сером, расспросив нескольких случайных прохожих, отыскал, наконец, Хьертенсфрюдгаде и продолжал свои поиски, читая при помощи спичек номера над каждым домом, пока наконец не нашел того, где проживал Пер. Сперва он попытался обнаружить ручку колокольчика, но, не найдя таковой, занялся старинной щеколдой и, сообразив наконец, как открывается дверь, вступил в тесные сени, где было темно — хоть глаз выколи. В надежде вызвать кого-нибудь из обитателей, господин несколько раз зычно откашлялся.

Приоткрылась дверь в квартире первого этажа, где жил молодой корабельный плотник с семейством. Оттуда выглянула гладко причесанная женская голова. Женщина держала на руках младенца. Свет, хлынувший в открытую дверь, выхватил из темноты лицо пришедшего — молодое длинное лицо с покрасневшими глазами и маленькими бакенбардами.

— Скажите, не здесь ли проживает господин Сидениус? — спросил он, не здороваясь.

— Здесь, в задней комнате. Только его нет дома.

— Так, так!.. Я беседую с его хозяйкой, не правда ли?

— Нет, он живёт у Олуфсенов, они там, наверху... Сейчас я кликну мадам.

Но тут под грузными шагами закрипели крутые ступени, и мадам Олуфсен, до того времени подслушивавшая за дверью, с жестяной лампочкой в руках, перегнулась через перила.

— Господин хочет видеть господина Сидениуса? — спросила она.

— Да. Но ведь его нет дома, — ответствовал незнакомец, словно обвиняя мадам Олуфсен в своей неудаче. — Как вы думаете, стоит мне его подождать?

— Думаю, не стоит. Он совсем недавно ушел.

— А когда его верней всего можно застать?

— Да как сказать, он теперь мало бывает дома. Вообще-то его лучше ловить под вечер.

— Благодарствую. До свидания.

— А что ему передать? — любопытствовала мадам Олуфсен.

Но незнакомец уже успел прикрыть за собой дверь. С улицы донёсся затихающий звук его размеренных шагов и стук зонтика.

— Ей-богу, это был пастор, — сказала озадаченная Плотникова жена. — И зачем ему понадобился инженер?

Но мадам Олуфсен явно не испытывала склонности беседовать о своём квартиранте. Она коротко отрезала: «Покойной ночи», — и ушла к себе.

Боцман сидел за столом, водрузив на нос большие очки в серебряной оправе, и читал «Беглый невольник, или Крушение у Малабарских берегов» — захватывающий роман в четырнадцати выпусках. Каждую зиму боцман брал его в библиотеке у фрекен Иордан и перечитывал с неизменным волнением и любопытством.

— Должно быть, Сидениуса спрашивали? — сказал он, не поднимая глаз от книги.

— Да, — ответила мадам, потом, зябко поёжившись, плотнее стянула шаль на груди, подбросила в печь совок торфа и села в кресло с вязаньем. И она сама, и её муж сделались в эти дни несловоохотливыми. Стариков донимала мысль о том, как изменился за последнее время их жилец, — и ведь не к лучшему изменился. Он и раньше мог что называется загулять, однако этот запой, как он сам шутя именовал такие приступы, длился от силы несколько дней. Но тут он уже целых три недели почти не заглядывает домой, а когда и заглядывает, то ни с кем не разговаривает, никого к себе не подпускает, всем недоволен, так

что один раз даже пригрозил съехать с квартиры. Вряд ли молодой человек возвращается в подходящем обществе, если только правда, — как у него однажды сорвалось с языка, — что он лично знал королевского советника, который на днях отравился, о чём писали все газеты.

Был у стариков и другой повод для недовольства. Последнее время они совсем не получали платы за квартиру, мало того — им день-деньской приходилось отбивать натиск назойливых личностей, которые приносили счета то от сапожника, то от портного, где Пер тоже задолжал.

— А что за человек хотел говорить с Сидениусом? — спросил боцман немного погодя.

— Не знаю. Сдаётся мне, что я уже когда-то его здесь видела, давным-давно. Сидениус ещё, помнится, сказал, что это человек из другого мира. Но вид у него не больно американский.

А Пер в это время поджидал фру Энгельгард на том же тёмном углу, где он уже однажды ждал её. Но на сей раз у него было куда больше оснований полагать, что она придёт. Правда, после бала он ни разу её не видел, — она строго-настрого запретила ему подкарауливать её на улице или пытаться как-нибудь иначе встретиться с ней; но именно сегодня её муж уезжал в Лондон, а вчера он получил открытку без подписи, где было всего два слова: «Завтра вечером». И Пер по справедливости рассудил, что место и время встречи, по всей вероятности, остаются те же самые.

Собственно, сегодня же утром он получил другое послание, и оно взволновало его ничуть не меньше, чем долгожданное свидание. Поверенный Ниргора к великому ужасу Пера сообщал, что в письме, выражавшем последнюю волю его клиента, Перу завещана «сумма, которая будет получена от продажи с аукциона всего имущества покойного, причём срок и подробности аукциона точно оговорены в завещании».

«Завещание, — писал далее адвокат, — по сути дела действительно, ибо составлено не по форме, но поскольку обе сестры, то есть единственные законные наследницы покойного, вышли замуж за очень состоятельных людей, нет оснований полагать, что они — кстати, обе в данный момент находятся за границей — опротестуют его распоряжение». В силу вышеизложенного поверенный в качестве душеприказчика покойного просил Пера, если тому случится проходить мимо, заглянуть к нему для деловой беседы.

Пер ломал себе голову над тем, как ему наилучшим образом поступить. В первое мгновение он даже растерялся. Вопреки слепой вере в свой нерушимый уговор со счастьем, вопреки тому, что деньги как с неба свалились на него как раз в тот момент, когда ему пришлось особенно туго, он не мог, просто не мог считать предсмертную причуду самоубийцы помощью свыше. С другой стороны, он не мог так, за здорово живёшь, отказаться от крупной суммы, могущей на длительное время избавить его от денежных затруднений. Деньги, которые он занял, уже на исходе, а большая часть экипировки до сих пор не оплачена.

...Но вот из боковой улицы вынырнула закрытая карета. Рука в светлой перчатке махнула из окошечка. Пер подскочил, остановил карету, распахнул дверцу, назвал кучеру первоклассный ресторан на Кунгенс Нюторв, и карета тронулась.

Ещё не доехав до ресторана, Пер успел испытать серьёзное разочарование. Он надеялся, что она возбуждена и взволнована, что она краснеет, что она дрожит от стыда и страха в своих тёплых мехах. Он даже заготовил несколько подходящих выражений, дабы преодолеть её робость, но искусство соблазнителя совершенно ему не понадобилось. Не успел он войти в карету и поблагодарить её за внимание, как она, словно заправская уличная девка, уселась к нему на колени и так страстно к нему прижалась, что у него дух занялся.

Правда, когда они поднимались по залитой огнями лестнице ресторана, она опустила на лицо вуаль, но едва лишь метрдотель проводил их в отдельный кабинет, она, не стесняясь присутствием официантов, сбросила с себя мантию и шляпку. Пока Пер с непривычки растерянно озирался по сторонам, она уже совершенно освоилась — поправила волосы перед зеркалом, сняла перчатки и расселась перед накрытым столом, заняв весь диван.

Пер молча сел против неё. Он уже понял, что она не первый раз очутилась в таком месте. Он мог бы поклясться, что при их появлении официант еле заметно улыбнулся, словно увидел старую знакомую.

— Почему вы на меня так смотрите? — спросила она, когда они остались одни. Голову она кокетливо склонила к плечу и улыбнулась, как молоденькая. Вы просто не сводите с меня глаз!.. У меня, быть может, не в порядке туалет?

С этими словами она взглянула на свою грудь, которая буквально переливалась через края четырёхугольного выреза. Она была в черном, сильно затянута, с пышным бюстом, но в талии тоненькая, как девушка.

— Отвечайте наконец! Ну и медведь же вы! Что вам опять не нравится?.. Сейчас я вам всыплю, — и, дабы обзавестись метательными снарядами, начала обрывать красные ягодки с украшавшего стол букета. Пер тем временем перевёл взгляд на её руки и, побледнев от возбуждения, любовался их приятной округлостью, белыми, нежными, гибкими пальцами, перламутровым блеском ногтей и рядом ямочек, которые при каждом движении открывались и смыкались на розовых суставах, словно крохотные губы, жаждущие поцелуев. Он перехватил ягоду, которую она швырнула в него, схватил заодно и её руку и хотел было притянуть её через стол и прижаться к ней губами, но тут дверь отворилась, и два официанта внесли ужин.

Разлили по бокалам шампанское, расставили кушанья. Когда они снова остались вдвоём, Пер поднял бокал и чокнулся с ней. За первым бокалом последовал второй, за вторым — третий. Дурное настроение как рукой сняло. Чёрт подери! Если разобраться, какое ему дело до её прошлого? Главное, что теперь она принадлежит ему, она его собственность, его добыча..

За десертом он завёл речь о самоубийстве Ниргора. Он высказал предположение, что Ниргор был душевнобольным человеком, без утайки поведал о ночной беседе в квартире Ниргора, о страшном волнении Ниргора, когда тот фактически завещал Перу всё своё добро, и о том, что он, Пер, так ни о чём и не догадался. Не преминул он рассказать и о дошедших до него слухах про женщину, которая замешана во всей этой истории. Один из его знакомых, в свою очередь получивший сведения от хозяев покойного, рассказывал, что к Ниргору много лет подряд ходила какая-то дама под вуалью и что скорей всего именно она накануне похорон пробралась в часовню и осыпала гроб целым дождём роз.

Пер говорил, говорил, а фру Энгельгард сидела в задумчивой позе, поставив локоть на стол и водя мизинчиком по краю бокала. Лицо её приняло отсутствующее выражение, словно она лишь из вежливости, но без всякого интереса слушала длинный-предлинный и скучный рассказ. Лишь когда Пер начал копаться в прошлом Ниргора и выложил имеющиеся у него сведения о том, как Ниргор отказался от дипломатической карьеры, фру Энгельгард начала выказывать явные признаки нетерпения. Она взяла с вазы виноградину, обмакнула её в вино и начала сосать, потом извинившись, перебила его вопросом о чём-то постороннем, что ей «только что взбрело на ум», потом попросила вызвать официанта — пусть скорей подадут кофе. И, видя, что Пер не намерен так легко отказываться от своей темы, решительно поднялась с места, сказала: «Спасибо за компанию», — и подошла к открытому роялю.

— Что вам сыграть? — спросила она и быстро пробежала пальцами по клавишам, пробуя инструмент. — Это вы знаете? — И волна фальшивых звуков хлынула из недр рояля. — «Лесной сон», — возвестила она, перекрывая шум и явно очень довольная собой.

Но Пер смолк и ушёл в себя. Его поразило, что она не проявляет никакого интереса к несчастному, который был её близким другом, её смиренным почитателем, наконец её кавалером на балу, всего за ночь до самоубийства. Чёрное, смутное подозрение закралось в душу: а вдруг Ниргор был для неё больше, чем просто почитателем? А вдруг это равнодушие притворное? Но обдумать свои подозрения он не успел. Обеспокоенная его молчанием, фру Энгельгард резко оборвала игру, встала, обвила руками его шею и откинула назад его голову так, что их глаза встретились. Нет, нет, этого не может быть, — подумал он, увидев её улыбку. Лавина страстных, одурманивающих поцелуев хлынула на его лоб, волосы, глаза...

губы её наконец отыскивали его губы и впились в них с такой силой, словно хотели ввек не отрываться. Потом она что-то шепнула ему, и он послушно встал. Не дожидаясь кофе, она сама набросила шубку, пока Пер расплачивался, и оба поспешили к заказанной карете. Обнявшись и затянув поцелуй на всю дорогу, они подъехали к отелю, где записались как господин Свендсен из Орхуса с супругой.

Но не раз ещё за эту ночь, пока Пер лежал в полумраке номера, не смыкая глаз, чёрное подозрение возвращалось к нему и давило его тяжким кошмаром. Мысленно он снова был в комнате Ниргора в ту последнюю ночь, вспоминал слова Ниргора, которым тогда не придавал никакого значения. И жестокая правда открылась ему от начала до конца — женщина, которая мирно спит рядом с ним, — тоже наследство, завещанное ему Ниргором, и даже больше: она была «судьбой» несчастного, и её неблагодарность свела его в могилу.

А он — он-то теперь её соучастник!

Воспалённому взору почудилось, будто тень покойного неслышно скользит по комнате. То тут, то там покажется из мрака лысый череп, и глаза глянут на него с привычной насмешливой грустью. А здесь, рядом, лежит убийца... Это она прокралась в часовню и осыпала розами гроб. Как же так?.. Она спит сладко, словно дитя в колыбели, и дышит так спокойно, так ровно... Её муж носится по бурному морю, тело её любовника ещё не рассыпалось в прах, а она уже покоится в объятиях другого. И рядом с ней — он, Пер, её соучастник!

Омерзение и ужас сдавили ему грудь, он не мог больше здесь оставаться. Надо встать, надо уйти!

Но тут фру Энгельгард тяжело заворочалась в постели, закинула руки за голову и сонно спросила:

— Ты уже встал?

Он не ответил. Самый звук её голоса вызывал у него дрожь. Она пыталась открыть глаза, да так и не смогла. Чуть улыбнулась и заснула снова.

Он заторопился, решил уйти бесшумно, не прощаясь. Лучше он оставит у портье записку с одним лишь словом, которое всё объяснит: «Ниргор».

Но когда он оделся и хотел уходить, взгляд его упал на полуобнаженное тело женщины. Она спала в некрасивой позе — на спине, закинув руки за голову и приподняв одно колено. Узкие бретельки, поддерживавшие рубашку, соскользнули с плеч, и огромная, расплывшаяся желтовато-белая грудь была ничем не прикрыта. По подушке в беспорядке разметались тёмные волосы, голова запрокинута, лицо бледно от утомления.

Сердце у Пера тяжело заворочалось в груди, в ногах появилась противная слабость. Он не мог оторвать взгляда от спящей. При всём отвращении, при всём ужасе, наполнявшем душу, его неудержимо влекли эти белые руки, эта расплывшаяся грудь, эти полуоткрытые губы, которые до сих пор рдели от поцелуев. Он испугался самого себя. Он, не ведавший прежде противоречий и двойственности человеческой природы, он, считавший женщину лишь безопасной игрушкой, содрогнулся теперь перед теми тёмными силами, что взметывают и гонят судьбы и желания, словно ветер дорожную пыль. Вот и он вступил в борьбу с демонами, в существование которых не верил, над которыми свысока посмеивался. Где-то в тайниках сознания вместе с властным голосом отца ожили полузабытые слова «о силах тьмы» и о «кознях сатаны» и залили бледностью лицо Пера.

Но тут фру Энгельгард, разбуженная его неотступным взглядом, открыла большие карие глаза, откинула волосы со лба и приподнялась на постели.

— Что такое?.. Почему ты одет?

Он не ответил.

— Уже утро?

Опять молчание.

— В чём всё-таки дело? Ты заболел?

— Нет... пока нет.

— Пока нет? Что это значит? Ты как-то странно смотришь на меня. Что с тобой?



— Я хотел бы... я опасаясь заболеть... смертельно заболеть... как Ниргор.

Словно молния пробежала по её лицу. Но тут же она улыбнулась и, несмотря на мертвенную бледность, покрывшую её щеки, сказала спокойным, ровным голосом:

— Что за бред? Причём здесь болезнь... болезнь вашего друга? Ведите себя прилично.

— Мне очень отрадно, что вы не осмелились произнести его имя в таком месте. Но это-то вас и выдало. Постараюсь говорить яснее. Пока вы спали, я догадался, — всё равно каким путём, — что вы были любовницей Ниргора и что ваш обман, ваша неверность заставила его покончить с собой. Теперь вы меня поняли?

Она наклонила голову и прикусила дрожащую губу.

— Убирайтесь! — сказала она вполголоса, но повелительно, и прикрыла краем простыни обнажённую грудь. — Убирайтесь отсюда, говорят вам!.. Всякий деревенский пентюх будет тут...

Пер подался к ней, чтобы бросить ей прямо в лицо «шлюха!», но вовремя опомнился. Чувство собственной вины удержало его. Он молча повернулся и вышел.

Внизу он разбудил дежурного портё и потребовал счёт. А расплачиваясь, подумал, что не может быть и речи о том, чтобы принять наследство Ниргора. Потом поспешил домой через мрачный и пустынный город.

Дело было глухой ночью, в тот короткий промежуток, когда улицы пустынные и гулкие шаги случайного прохожего отдаются от стен домов. Из кафе разлетелись последние ночные совы, страж порядка ушел поболтать с коллегами, и только воры да запоздалые посетители небезызвестных переулков ещё не отошли ко сну.

Какой-то господин вынырнул из такого переулка, подняв воротник пальто и надвинув шляпу на глаза. Они разминулись с Пером возле фонаря. И Пер, посмеивавшийся, бывало, над вызывающим и одновременно пристыженным видом грешников, когда те крадучись пробираются домой, на сей раз отвернулся, чтобы избежать этого зрелища. Он представил себе, как выглядит он сам, и у него не осталось сил посмотреть на своего двойника, на отражение своего позора.

Очутившись наконец на Хьертенсфрюдгаде, в маленьких комнатuşках, где в последнее время всё раздражало его, Пер вдруг испытал странное довольство, непривычное чувство покоя и умиротворения. Он поспешно разделся, юркнул в постель и, устраиваясь поудобнее, вспомнил, как, ещё ребёнком, с головой залезал под перину, наслушавшись перед этим в темноте страшных сказок старой одноглазой няньки.

\* \* \*

Через несколько часов беспокойного тяжкого сна он проснулся от пения скворца в саду за окном. По голосу птицы он сообразил, что день выдался солнечный. Однако вставать и не подумал. Во-первых, он устал. А во-вторых, чего ради он будет вставать? Можно спокойно лежать в постели. Всё равно спешить некуда.

Мысль, ещё не до конца проснувшаяся, обратилась к верхнему ящику комода. Тогда он повернулся лицом к стене, чтобы снова уснуть.

Но из этого ничего не вышло. Как только в памяти промелькнули злосчастные чертежи, сон немедленно отлетел от него. Он ещё повалялся в постели, подложив руки под голову и глядя на низкий тухлявый потолок, где пузырями вздулась масляная краска. Теперь, на свежую голову, собственное поведение минувшей ночью вызвало у него чувство неловкости. Уж слишком по-мальчишески он держался. И вообще, коль на то пошло, даже дамы такого разряда, как фру Энгельгард, требуют к себе известного уважения.

Встав и напившись кофе, он уже окончательно понял, что сотворил великую глупость. Он слишком всерьёз принял всю эту историю, слишком разгорячился. Спьяна, что ли?

Но удовольствие от сидения дома, давным-давно забытое удовольствие, всё равно не проходило. Он раскурил трубку, сел в полуживую от старости качалку, поглядел на соседние

дома. Через забор ему видны были вторые этажи — окна парадных зал. В одном окне он увидел двух румяных детишек с матерью. Мать штопала чулки, а над окном, на залитой солнцем стене, висела зелёная клетка с чижилом. Он не сразу осознал, что так привлекло его взгляд. А привлекла его та самая картина безмятежного, маленького, будничного счастья, которую он столько лет подряд мог наблюдать изо дня в день. Но сегодня эта картина приобрела какой-то новый оттенок, словно он впервые видел её.

От стука в дверь он вздрогнул.

Это мадам Олуфсен явилась доложить о господине, который приходил к нему вчера вечером.

— А что за господин?

— Не могу вам сказать. Вид у него не особенно приятный. Мне кажется, он уже у вас бывал.

Кредитор какой-нибудь, подумал Пер, и вопрос, как быть с ниргоровским наследством, снова встал перед ним. Имеет ли он право при такой нужде отказываться от денег?

Мадам Олуфсен по-прежнему стояла в дверях, заполняя их своей высокой, грузной фигурой. Она ещё не до конца высказалась.

— И потом, я хотела узнать, как вы надумали. Вы, помнится, говорили, что хотите съезжать от нас.

Пер улыбнулся, чуть смутившись.

— Ну, это я так ляпнул, в шутку. Нет, мадам Олуфсен, я останусь здесь. Если вы, конечно, ничего против меня не имеете.

— Ну ещё бы... конечно... если мы...

— Что-то вас всё же смущает... Да, да, я прекрасно понимаю. Я здорово поразболтался в последнее время. И не будем больше об этом. Но бог ты мой, мадам Олуфсен, в чём дело? Почему вы принарядились с утра? Вы что, идёте к причастию?

— Да нет, разве вы не знаете? Позавчера вернулся в город шкипер Мортенсен. Сегодня после обеда мы к нему собираемся.

— И я тоже! Встретимся на борту! До смерти хочу повидать старого чудака.

— Вы серьёзно? Вряд ли это вам теперь доставит удовольствие.

— Вздор, мадам Олуфсен, чистейший вздор! Нечего так уж сразу петушиться. Словом, мы встретимся на борту. Ясно?

Мадам Олуфсен невольно улыбнулась, хотя на сердце у неё было совсем невесело. Но устоять, когда он был в таком настроении, она не могла.

— Да, да, — сказала она, — вы ведь знаете, Мортенсен всегда рад вас видеть. Он прямо сияет, когда вы приходите. Влюблён в вас, да и только.

Шкипер Мортенсен был старый друг дома. Жил он в Фленсбурге, но исправно два раза в год наезжал в Копенгаген, привозил на продажу сыр, масло, копченья. Всю эту провизию он поставлял большим магазинам колбасных изделий, а некоторая толика перепадала узкому кругу близких знакомых.

Когда боцман, имевший обыкновение досконально изучать отведенную под судоходные дела страницу «Телеграфен», вычитывал, что шлюп «Карен-Софи» благополучно миновал таможенную заставу и пришвартовался у биржи, он себе места не находил, пока не будет установлен точный день и час встречи и пока Трине не слетает в город уведомить молодого Дидриксена. Дидриксен тоже принадлежал к числу друзей дома. Он был извозчик, жительство имел на Стуре Брэндестреде и вот уже много лет подряд любезно предоставлял при таких okazиях и себя самого и свой экипаж в полное распоряжение стариков.

Так и сегодня — ровно в три он подъехал к дому в коляске с опущенным верхом, да такой начищенной и разукрашенной, словно она предназначалась для какого-нибудь богатого купца, собравшегося венчаться в Церкви богоматери. После некоторого ожидания взорам десятка ребятишек, столпившихся возле коляски, и взрослых, что из дверей и окон любовались торжественной процессией, явилась престарелая чета во всём блеске. Мадам

Олуфсен надела венскую шаль и шляпу с огромной виноградной гроздью сиреневого цвета, боцман облачился в самый роскошный костюм, припасённый специально для похорон, с медалью за беспорочную двадцатипятилетнюю службу и серебряным крестом, которые поблёскивали из-под незастёгнутого пальто.

Пока ехали через город, все встречные глазели на знаки отличия, украшавшие старого боцмана. Когда он сидел — величественный седовласый старец, — возложив ладони на роговую ручку зонтика, многим могло показаться, что это какой-нибудь древний адмирал, отличившийся в начале века, — да и показалось бы, не сиди на козлах молодой Дидриксен. Гордясь своими седоками, Дидриксен то и дело оборачивался назад и во всеуслышанье фамильярно окликал их.

Сперва объехали весь Старый город, осмотрели новые дома, которые вырастали повсюду, осмотрели остатки крепостного вала, почти совсем снесённого, и новые двухэтажные омнибусы, которые в страшной толчее Эстергаде напоминали слонов со всадниками на спинах. После Кунгенс Нюторв повернули к каналу, задержались на мгновение перед Хольменской церковью, где старики венчались пятьдесят два года тому назад, а затем двинулись к Биржевой пристани.

Пер уже был там. Он помахал им рукой с борта «Карен-Софи», где сидел, прислонясь к поручням, и, несколько раскиснув, нежился под лучами весеннего солнышка, а шкипер, старик с окладистой седой бородой, сошел тем временем на берег встретить гостей.

В недрах открытого трюма, или, образно выражаясь, в чреве «Карен-Софи», куда вёл узкий трап, был устроен своего рода склад, где окорока, колбасы, копченые бараньи бока и сыры величиной с мельничный жернов поблёскивали в таинственном полумраке, словно сокровища Аладинова подземелья. При содействии Пера и шкипера мадам Олуфсен была отбуксирована вниз по трапу. За ней последовал боцман, но, как старый морской волк, он отклонил всякую помощь, в результате чего споткнулся на первой же ступеньке и неизбежно сломал бы шею, не подхвати его шкипер в свои объятия. Тем не менее боцман безжалостно высмеял молодого Дидриксена, когда тот, пропустив всех, осторожно спустился по трапу, пятясь задом и нащупывая ногой каждую ступеньку. «Ползёт, как вошь по гребню», — зычно выкрикнул боцман, припомнив изречение, бытующее в датском флоте со времен Христиана IV.

Полчаса заняли скрупулёзнейший отбор, опробование, взвешивание и торг, после чего сделка была заключена и купленные товары подняты на палубу. И тут состоялась церемония, которая повторялась из года в год с той же неизменностью, что и шутка клепальщика Фуса. Шкипер Мортенсен распахнул двери в каюту и пригласил гостей откусать у него. Мадам Олуфсен страшно заупрямилась, потому что «с чего это вдруг?» Боцман тоже наотрез отказался, потому что они и так отняли у своего друга слишком много времени», и только юный Дидриксен, знавший наизусть все подробности церемонии, невозмутимо вынул изо рта табачную жвачку и отправил её в жилетный карман.

Скоро всё общество расположилось в уютной маленькой каюте, где стол изобилует такими яствами, что всю стеснительность стариков очень скоро как рукой сняло.

Пер удивительно хорошо чувствовал себя среди этих простых людей. Нигде и никогда он не едал с большим аппетитом, чем за таким столом, где подавали уйму колбасных изделий, водку и пиво, нигде не доводилось ему лучше разговариваться, чем среди бесхитростных, весёлых людей. Здесь он был не тот, что в «Котле», не безмолвный и критически настроенный наблюдатель, — здесь он с жаром толковал о погоде и ценах на торф, о рейсах и портовой комендатуре.

Когда откушали и на столе явился чай и к нему бутылка рома, разговор зашел о годах войны и о послевоенной дороговизне. Пер помнил — да и то смутно — вторжение неприятеля в пасторский дом, когда двор и сад кишели солдатами и лошадьми, когда пришлось уступить им нижние комнаты, а семейство кое-как разместилось в нескольких комнатухах наверху. Ему тогда было лет семь-восемь, всё это казалось очень занятным, и он никак не мог понять, о чём тут плакать. Зато шкипер Мортенсен, как уроженец южной

Ютландии, побывал в самом пекле войны, и теперь ему доставляло величайшее удовольствие сочными мазками живописать все ужасы, коих свидетелем он был в шестьдесят четвёртом и в Трёхлетнюю войну. Удовольствие усугублялось тем, что мадам Олуфсен то и дело зажимала уши и называла войну мерзкой выдумкой.

Всё это раззадорило обер-боцмана. Как и всегда после лёгкой выпивки, в нём проснулся воинственный пыл. Он и в шестьдесят четвёртом уже был на пенсии и не принимал участия даже в первом бою, так как по причине своей костоеды лежал в госпитале, а потому он начал презрительно высмеивать «войны против немцев», ибо ужасы и бедствия этих войн не идут ни в какое сравнение с войнами против англичан, а уж там-то он участвовал и в 1801, и в 1807, и в 1814. О, тогда нам пришлось иметь дело и с Норвегией и с целым флотом. Вот тут есть о чём вспомнить! Желая переплюнуть шкипера, поведавшего обществу о защите Дюббёля и Фредерисии, обер-боцман припомнил бомбардировку Копенгагена, а также битву в порту, которую он, пятилетний мальчуган, наблюдал своими глазами с крыши таможни и видел, как раненых доставляют на берег в лодках, где «полно было кровавого мяса, всё равно как на колоде у мясника».

Но мадам Олуфсен наотрез отказалась слушать дальше и, так как уже смеркалось, приказала собираться домой. Тут, однако, выяснилось, что молодой Дидриксен, удрученный бедствиями, постигшими некогда его отечество, заснул сладким сном. Он спал с открытым ртом, запрокинув голову. Когда его начали трясти, Дидриксен покачнулся и уронил голову на стол, но продолжал безмятежно спать, хотя при падении опрокинул кружку пива и содержимое кружки вылилось ему на колени. С минуту присутствующие в немом изумлении созерцали это зрелище, после чего Пер поднял бутылку с ромом и обнаружил, что она пуста. Тут только стало понятно, что Дидриксен мертвецки пьян.

Мадам Олуфсен была оскорблена до глубины души. У причала дожидалась карета, запряженная кривоногим одром, который всё время терпеливо стоял, уткнув голову в пустой мешок; но очень скоро собравшиеся поняли, что ничего другого не придумаешь, кроме как оставить Дидриксена отсыпаться, пока не пройдет хмель. Итак, торжественный день кончился очень печально. Старикам пришлось в парадной одежде пешком тащиться через весь город, с окороками под мышкой и колбасами во всех карманах.

Пер провожал старичков до Хольменского моста, где усадил их в трамвай. Сам он домой не собирался — хотелось проветриться после весёлого разговора и крепких напитков. Полюбовавшись на своё отражение в окне магазина, Пер пошел вдоль канала к Верхнему мосту.

Был тот час, когда уходящее солнце скользит по крышам и золотит купол церкви Св. Духа, а внизу на улицах, среди освещённых магазинов, уже начинается вечерняя суeta. На площади, впрочем, было ещё светло как днём. Прыгали воробьи, роясь в грязи, и недавно зажженные огни горели бледным, призрачным светом за стёклами, на которых ещё играл отблеск заходящего солнца. Пер медленно пробирался по Эстергаде сквозь густую толпу. Вид множества людей настроил его на грустный лад. Хотя от вечернего холода покраснели носы прохожих, в воздухе уже веяло весной. По глазам молодёжи, по голосам, полным ожидания, — по всему угадывался её приход. Перед огромными витринами дамских портных толпилась публика, изучая весенние моды. И все элегантные мужчины разгуливали с букетиком фиалок в петлице.

Перед ним очутилась какая-то парочка. Влюблённые тесно прижались друг к другу и ритмично покачивались, словно они от маковки до пят были единым существом. Пер заметил, с каким страстным обожанием смотрят на юношу глаза девушки, вспомнил события минувшей ночи и снова помрачнел. Его теперь задним числом бесила ночная вспышка злости, дурацкая вспышка, если смотреть правде в глаза. Он вспомнил жест, который целиком примирил его с любвеобильной дамой, — жест, каким она прикрыла грудь, когда он уходил. У неё это получилось просто трогательно. А розы на могиле Ниргора! Должно быть, она и впрямь любила его. Чего ради он так раскипятился? Жизнь ни с чем не считается. Жизнь немыслима без движения, и там, где она проявляется во всей полноте, она сокрушает



любые преграды. Если вдуматься, в этой неудержимой жажде любви, что преодолевает все суетные движения души, преодолевает даже ужас смерти, есть нечто возвышенное, нечто упоительное.

Те «силы тьмы», которые заставили его содрогнуться, когда он стоял перед спящей женщиной и, несмотря на мучительную борьбу со своей совестью, чувствовал к ней неодолимое влечение, — те «силы тьмы» были голосом самой природы, первородной силой его существа, пробившейся сквозь толщу тысячелетних предрассудков. Дело обстоит именно так!

Нет во вселенной другого ада, кроме того, что человек сам создаёт себе из суеверного страха перед радостями жизни и всемогуществом плоти. А объятия мужчины и женщины — это поистине царствие небесное, где даруется забвение всех горестей, отпущение всех грехов, где души встречаются в божественной нагоде, словно Адам и Ева в садах Эдема.

Смутные воспоминания, полузабытые слова вдруг вспыхнули перед ним огненными буквами — ироническая притча Ниргора о свинопасе из сказки, который пошёл бродить по свету, чтобы раздобыть себе королевство, но то и дело оглядывался назад, и когда чудесная страна со всеми её сказочными богатствами предстала перед ним, он испугался и убежал домой, — туда, где ждала его тёплая лежанка да материн подол.

Пер вспыхнул от стыда. Жалкое зрелище явил он, когда жизнь впервые решила испытать его веру в себя и его смелость. Однако, неужели содеянное нельзя исправить? Нельзя ли, к примеру, написать ей письмо, объяснить там всё и вымолить прощение?

Так он дошел до Хьертенсфрюдгаде. Плотникова жена отворила свою дверь и сообщила ему, что его ждёт какой-то господин:

— Который вчера был. Он, наверно, пастор. Он уже больше часу вас дожидается.

Господин оказался его собственным братом Эберхардом. Эберхард сидел в качалке у стола, перед зажженной лампой, тень от его головы на голой стене напоминала голову тролля. Пальто он не снял, руки в шерстяных перчатках покоились на ручке зонтика, зажатого между коленями.

— Я уже не надеялся поймать тебя, — сказал он, поздоровавшись. — Ты знаешь, что я вчера тоже приходил?

Пер не ответил. У него бешено заколотилось сердце. Он понял, что брат не стал бы по пустякам два дня подряд ловить его. Да и выражение лица Эберхарда доказывало, что он преисполнен сознания важности своего визита. Всей своей повадкой он стремился произвести впечатление на Пера, но именно по этой причине Пер страшным усилием воли придал себе равнодушный вид.

— Не хочешь ли сигарку? — спросил он, с ужасом думая: «А вдруг мать умерла?»

— Спасибо, я не курю.

— Тогда кружку пива?

— Я отвык от употребления спиртных напитков. Мне это идёт на пользу. А кроме того, я принципиально ничего не ем не вовремя.

Пер улыбнулся и, хотя не испытывал ни малейшего желания пить, извлёк из углового шкафчика бутылку пива.

— Видишь ли, я добрей тебя, и когда меня мучает жажда, я её, бедняжку, утоляю, не глядя на часы.

Эберхард промолчал, вращая зонтик между коленями: его большие бесцветные глаза наблюдали за братом; тот уселся напротив и залпом опрокинул кружку пива.

— Пожалуй, в этом смысле ты даже добрей, чем надо, — не вытерпел он.

— Ты за тем и пришёл, чтобы мне это сообщить? — спросил Пер довольно запальчиво.

— Что ты, что ты! Ты ведь знаешь, я никогда не мешаюсь в твои дела. Я пришёл к тебе совсем за другим.

Пер не откликнулся: он не хотел, да, пожалуй, и не смел ни о чём спрашивать. Он сам себе удивлялся, он не мог понять, почему одна лишь мысль о том, что дома стряслось несчастье, могла вызвать у него такой испуг. А уж он-то думал, будто навсегда разделался с

подобными чувствами. Все домашние за последние годы словно умерли для него, и приход брата отнюдь не пробудил тоски по родному дому. Скорее наоборот. Пока Эберхард сидел, возложив руки на зонтик, и исподтишка разглядывал его своими козлиными глазками, в Пере с новой силой вспыхнула непримиримая вражда. Высокомерное осуждение в каждом жесте и каждом взгляде, безмолвный укор за попрание семейной чести, душная атмосфера тупого самодовольства, исходившая от словно застёгнутого на все пуговицы Эберхарда, — всё это так живо напомнило об унижениях детских лет, что Перу почудилось, будто даже ненавистный запах торфяного дыма, угнездившийся в пасторском доме, ворвался к нему сейчас вместе с братом.

И всё же в самой глубине глаз Эберхарда мелькало что-то, говорящее об искреннем участии, о братской теплоте. Жалкая каморка, похожая на подвал, скудная, дряхлая мебель, голый пол, пустые стены, то убожество, которое, несмотря на героические усилия Трине, ревностно оберегавшей свою святыню, выглядывало из всех углов, казалось Эберхарду символом бездомности, вызывало у него прилив сострадания, и он ждал только малейшего знака, чтобы принять Пера в своё сердце.

Но Пер не подал никакого знака. Братья ещё посидели молча, потом Эберхард неуверенно, словно пробуя почву, начал:

— Я только что вернулся в Копенгаген из небольшой поездки... Я провёл несколько дней дома...

— Ну, как у них там, всё благополучно? — откликнулся Пер.

— Увы, нет: отец много болел последнее время.

— Вот как?

— Ему даже очень плохо.

— А что с ним?

— Да, так что я тебе начал говорить?... А, вот: я перед отъездом долго беседовал с доктором Карлсеном и лишний раз убедился в том, что я уже давно подозревал по их письмам — состояние отца даёт повод для серьёзнейшего беспокойства. Словом, боюсь, мы скоро потеряем его.

Пер чувствовал, как пристально следят за ним глаза брата, и на лице его не дрогнул ни один мускул, хотя сердце забилося в тревоге. Не горе ощутил он, не грусть и уж отнюдь не раскаяние. Беспокойство его объяснялось ему самому непонятным разочарованием. Просто ему ни разу не приходила в голову мысль, что отец и мать могут умереть прежде, чем он завершит свой грандиозный план и одержит победу, которая оправдывает его в их глазах. Да ещё это известие подоспело в ту пору, когда все его большие надежды потерпели позорный крах.

— Скорей всего у отца рак, — продолжал Эберхард. — Доктор Карлсен так прямо мне ничего не сказал, но по его словам совершенно ясно, что у него не осталось никаких сомнений. Отец, правда, ещё на ногах и даже выполняет свои обязанности, насколько у него хватает сил... ты ведь знаешь, он человек идеи. Но вряд ли он долго протянет, да он и сам, на мой взгляд, готов к смерти. Мать, разумеется, очень удручена, но, как ни удивительно, страх за отца, кажется, придал ей новые силы. Она начала даже немного вставать, чтобы быть поближе к отцу, но эта великая милость, как ни признательна она за неё небесам, представляется мне вернейшим доказательством того, что дни отца сочтены.

Хотя Эберхард вовсе не был богословом по профессии, он питал крайнюю слабость к библейским оборотам речи. Сам он был юрист, и товарищи признавали за ним чрезвычайно ясный и трезвый юридический ум. Несмотря на молодость, он пользовался всеобщим уважением. Так, совсем недавно пристальный интерес вызвала опубликованная им в журнале статья о тюремном заключении и воспитательных функциях последнего. Эберхард служил в одном из главных управлений тюремного ведомства и, будучи образцом усердия и добросовестности, был на хорошем счету у начальства.

— Я и решил, что ты должен своевременно узнать об этом, — продолжал Эберхард, поскольку Пер хранил упорное молчание. — Я считал, что несчастье, даже если оно

наступит раньше, чем мы ожидаем, не должно застать тебя врасплох. Мы, — я говорю так от имени всех братьев и сестёр и посовествовавших с ними, — мы полагали также, что, когда ты узнаешь о состоянии отца, ты, быть может, испытаешь потребность... так сказать сочтёшь своим долгом примириться с отцом, пока не поздно.

— Не понимаю... Что ты имеешь в виду? — недовольно спросил Пер, не решаясь, однако, взглянуть в глаза брату.

— Я не хочу, — как уже говорил ранее, — отнюдь не хочу вмешиваться в твои дела. Я просто обращаюсь к тебе с просьбой решить наедине со своей совестью, есть ли оправдание той позиции, которую ты давным-давно занял по отношению к родителям... говорить об этом более подробно я не желаю. Далее я считаю своим долгом уведомить тебя, что смерть отца самым печальным образом отразится и на материальном положении семьи. Мне известно, что до последней минуты отец, не видя, впрочем, ни малейшей благодарности с твоей стороны, регулярно оказывал тебе денежную помощь, — помощь, быть может, и недостаточную для тебя, но, я это знаю точно, — непосильную для него. Он поступал так, дабы не иметь повода впоследствии упрекнуть себя в равнодушии к твоим занятиям — или как их прикажешь называть, — он поступал так, не имея даже возможности судить о твоих способностях или достигнутых тобой успехах.

— Знаю.

— Этой помощи ты, разумеется, после смерти отца лишишься незамедлительно. Мать будет жить в очень стеснённых обстоятельствах, и ей придётся соблюдать строжайшую бережливость решительно во всём.

— Ну, обо мне можешь не беспокоиться, — ответил Пер, решивший в эту минуту принять наследство Ниргора и тем достичь полной независимости. Я как раз собирался написать домой, что отныне я в состоянии сам содержать себя. Помощи мне больше не надо.

Эберхард вытаращил глаза, но так как Пер не счёл нужным вдаваться в подробности, Эберхард с достоинством промолчал и некоторое время не открывал рта.

Однако любопытство взяло верх.

— Позволительно ли будет узнать, как ты намерен...

Но Пер не дал ему договорить.

— Говоря без церемоний, я попросил бы тебя получше выполнять своё обещание не соваться в мои дела. Я ведь дал понять, что мне это неприятно.

Эберхард встал. Он побледнел, рот его с сильно развитой нижней челюстью был плотно сжат от негодования.

— Ну, с тобой, я вижу, бесполезно говорить. Лучше всего на этом и кончить.

— Как тебе угодно.

Эберхард взял шляпу, но, уже стоя в дверях, обернулся к Перу — тот всё ещё сидел за столом — и добавил:

— Скажу тебе ещё одно, Петер-Андреас! Хотя ты с твоим образом мыслей вряд ли поймёшь меня, но ты должен знать, что всё это время отец ни о ком не думает больше, чем о тебе. Пока я был дома, дня не проходило, чтобы он не завёл со мной речь о тебе... и мать, разумеется, тоже. Им давным-давно уже пришлось отказаться от мысли воздействовать на тебя уговорами. Им осталась лишь надежда на то, что жизнь когда-нибудь смирит твой дух и научит тебя почтению к родителям. И вот путь отца подходит к концу. Берегись, Петер-Андреас, не соверши греха, в котором ты — рано или поздно — неизбежно горько раскаешься.

Когда брат ушёл, Пер ещё долго сидел за столом, подперев голову руками и мрачно глядя перед собой.

«Смирить дух», «горько раскаешься», «грех»... «благодать»... Он наизусть знал этот нехитрый урок! Весь отживший катехизис снова извлекли на свет! И какая примечательная, какая типично «сидениусовская» черта: использовать болезнь и смерть для новой попытки застрашать его, загнать в лоно церкви и родительского дома... использовать самую смерть как вербовщика в черную армию носителей креста. Зачем он им нужен? Только затем, чтобы

надеть на него домашнее иго? Что им понадобилось? Сам ли он, такой, каким в светлую минуту сотворила его природа? Нет, не он им нужен, а его унижение, вот чего они ждут. Надо унижить его, и как можно скорей, пока отец ещё жив. Он хорошо изучил их повадки. Ради собственного покоя им необходимо подрезать ему крылья. Эти святоши не переносят вида гордо выпрямленной спины и высоко поднятой головы, разве что в дело вмешается «божья благодать».

Он поднял глаза — и вздрогнул: в комнате стало так сумрачно и неуютно после ухода брата. Почему они не хотят оставить его в покое? Он сам закопал в землю недобрую память о прошлом и поставил на ней крест. Зачем вновь пробуждать её? Родной отец? Ну и пусть умирает. Он не обязан его любить. Он обязан ему только длинным рядом лет, о которых лучше не думать. В отместку он вычеркнул отца из своей памяти. Теперь они квиты.

Пер отхлебнул из стакана. Потом рывком поднялся с места, словно отгоняя нехороший сон, и пошел к старикам, чтобы поболтать с ними о том о сём и успокоиться.

## Глава V

Надо признать, что ни сам визит Эберхарда, ни известие, им принесенное, не остались для Пера втуне: они положили конец бездумному разгулу последних недель, за которым Пер хотел забыть про своё поражение у профессора Сандрупа. В тот же вечер он извлёк из ящика комода чертежи и расчёты и просидел всю ночь за письменным столом, зажав голову ладонями и разглядывая свою работу, пока линии и штрихи не заплясали перед его глазами, а пятизначные числа не зажужжали в голове, словно пчелиный рой. В эту ночь он дал себе торжественную клятву не сдаваться до последнего, либо убедиться в полной неосуществимости плана, либо превозмочь все трудности и довести его до победного завершения.

И впрямь через каких-нибудь несколько дней, переместив русло канала, он сумел избавиться от последствий ошибки, указанной профессором. Чтобы не допустить новых ошибок, он предпринял на сей раз двойную проверку расчётов скорости течения, и когда результаты совпали, пронзительно засвистел от радости. Снова он почувствовал твёрдую почву под ногами. Значит, труды не пошли прахом, значит, не напрасно прокорпел он тысячу ночей над своей работой. Ура! Может, он успеет ещё добиться окончательной победы, прежде чем отец навеки сомкнёт глаза.

Дело с ниргоровским наследством он уладил теперь в два счёта без лишних колебаний. Он доказал себе, что ему не пристало быть слишком щепетильным. Если у тебя только и есть что пара кулаков, то надо ожесточить своё сердце, — иначе в жизни не пробьёшься. Кстати сказать, денег оказалось гораздо меньше, чем он рассчитывал. Адвокат при встрече сказал ему, будто наследство «обременено некоторыми долговыми обязательствами», каковым объяснением Пер и удовольствовался, не вдаваясь в подробности. Впрочем, тысячи две крон, как полагал адвокат, наверняка останется. Тем самым Пер избавился по крайней мере на год от денежных забот. Небольшой аванс ему с готовностью дали немедленно, так что он мог теперь уплатить все долги.

От уроков он тотчас отказался и от всех остальных приработков — тоже, чтобы целиком посвятить себя своему грандиозному замыслу. С нетерпением, которое одолевает молодого медведя, когда тот проснётся после первой зимней спячки, Пер стянул сонное оцепенение безделья и весь ушёл в работу. По земле шагала весна и несла с собой то солнечные облака, то иссиня-чёрные тучи, набухшие дождём и градом, а он дни и ночи напролёт корпел над своими бумагами, не слыша пения скворца на соседнем дереве, не видя бело-розовой метели яблоневых лепестков, что бушевала за окном. По утрам его будил нубодеровский колокол, и когда мадам Олуфсен в цветастом шлафроке и с ночной посудиною под фартуком выходила в палисадник, дабы выплеснуть там её содержимое, он уже неизменно сидел за столом.



Достигнутое благодаря наследству относительное благосостояние никак не отразилось на образе жизни Пера: природная бережливость восторжествовала. Он только приобрёл несколько дорогих справочников и других научных трудов, потребных ему для работы, да ещё подписался на два специальных журнала, один немецкий, другой американский. В политехнический институт он больше не заглядывал. Он подозревал, что однокашники проводили уже и о его визите к профессору Сандрупу, и о результатах визита, да и жалко было тратить время на слушание бесконечных лекций, читаемых кабинетными учёными, которые рассуждали о требованиях практической жизни словно безногие о балете.

С фру Энгельгард он уже больше не видался. Временами он думал, что недурно бы помириться, но никаких шагов к примирению не делал. Хотя собственное поведение в злополучную ночь наполняло его великим стыдом, однако вся эта история сама по себе внушила ему известное недоверие к хваленым радостям галантных походов. Он спрашивал себя: стоят ли упомянутые радости таких хлопот, такого притворства, а главное, таких расходов? Если искушение возобновить знакомство с этой бывалой дамой начинало одолевать Пера, ему достаточно было вспомнить, какая прорва денег ушла на неё в один только вечер, — а кроме того, за чертежами и расчётами нетрудно было забыть кого угодно.

В ясные дни он с утра настежь распахивал окна. Бабочки и пчёлы залетали к нему, не пробуждая, впрочем, никаких лирических чувствований. Самое большее, что он себе позволял, это посвистеть за работой, и тогда боцман совал в окошко Пера свою увенчанную колпаком голову, чтобы выразить радость по поводу хорошего настроения у жильца, или мадам Олуфсен ставила со двора на подоконник чашку дымящегося кофе и просила его «дать себе хоть небольшую передышку». Если одно время добрая женщина несколько опасалась, что жилец её сбился с пути, то теперь она твёрдо уверовала в обратное.

— Пейте, пока не остыло, — командовала она, пряча материнскую теплоту под напускной суровостью.

И тогда Пер отбрасывал рейсфедер и чертёжное перо, раскуривал трубочку и ложился грудью на подоконник, чтобы потолковать со старичками, пока те возятся в своём садике, до того крохотном, что оба они, люди крупные, нагибаясь, неизбежно задевали друг друга той частью тела, которая находится ниже спины и о которой Олуфсен (непочтительно намекая на историю сотворения человека) говаривал, будто её «состряпали напоследок из всяких остатков».

Но беспокойство не заставляло себя ждать. И вот уже он снова склонялся над чертежами и видел в мечтах, как поблескивают на солнце кирки и лопаты, как осушаются топи и болота, сравниваются с землёй холмы и горы, слышал, как глухие взрывы сотрясают нутро земли по одному мановению его пальца. Он снова в корне перестроил и расширил свой план, а именно — разработал применительно к задуманной системе каналов проект большого нового порта, порта мирового значения, способного соперничать с Гамбургом и Бременом. Но и этим Пер не ограничился. Пока он бился над разрешением первой задачи, ему пришло в голову использовать энергию Атлантического океана с помощью гигантских поплавков. Поплавки, изготовленные из склепанных между собой железных плит, следует разместить в полосе прибоя, отсюда энергия по проводам будет поступать на промышленные предприятия, находящиеся на берегу. Не забыл он и про силу ветра, — она могла быть использована при посредстве моторов, призванных сыграть роль своеобразных аккумуляторов энергии, что создаст условия для превращения всей страны в промышленную державу первого ранга. По вечерам, когда голова уже шла кругом от работы, Пер, если позволяла погода, усаживался с боцманом на лавочку у забора; над лавочкой на каркасе из реек был натянут клочок старого паруса. Это сооружение именовалось «беседкой», и оттуда, по мнению стариков, открывался самый заманчивый вид на весь сад в целом. Время от времени к ним наведывался кто-нибудь из старых друзей дома: то дряхлый плотник Бенц приплетётся с палочкой, чтобы пожаловаться на свой прострел, то заглянет вечно сияющий клепальщик Фус с пунцово-красным лицом и белой, словно у обезьяны, бородой. Тогда мадам Олуфсен потчевала гостей грогом собственного изготовления, а Трине посылали на Крокодиленгаде к

Фусам за гитарой. Во втором этаже соседнего дома, что находился позади олуфсеновского, проживал молодой канонир, недурно игравший на флейте. Каждый вечер он садился у открытого окна с длинной самодельной флейтой, и когда Фус начинал подыгрывать на своей гитаре, у них, к великому удовольствию всего квартала, получался настоящий концерт. Из соседних окон высовывались головы, дети в палисадниках прекращали возню и карабкались на забор, чтобы хоть что-нибудь увидеть, и даже воробьи, которые уже устроились на ночлег в верхушках деревьев, встрепенувшись, разлетались по конькам крыши и сидели, чуть склонив голову набок, как маленькие внимательные слушатели.

И вот в один из таких музыкальных вечеров Пер вдруг заметил прелестную девушку, которая стояла у раскрытого окна «залы» в соседнем доме. Руки она заложила за спину и, судя по всему, ничем на свете не интересовалась, кроме концерта да полёта облаков. Однако румянец, с каждой минутой всё сильнее заливавший её щёки, свидетельствовал о том, что она отлично заметила дерзкий взгляд, устремлённый на неё из беседки Олуфсенов.

Дом, где стояла девушка, служил казенной квартирой одному из должностных лиц Ньюбодера, некоему господину Якобеусу, чью жену торжественно величали «фру», — если не все, то по крайней мере подчинённые её мужа. У мадам Олуфсен Пер разузнал, что молодая девушка — племянница Якобеуса и что она недавно приехала в Копенгаген, чтобы учиться на швею.

С этого дня Пер исправно каждый вечер подсаживался к боцману и краем глаза поглядывал на соседние окна; эти усилия по большей части не были тщетны: девушка то затевала поливку цветов, то чистила птичью клетку; иногда она даже отворяла окно и, раздвинув цветочные горшки, ложилась грудью на подоконник, чтобы скользнуть взглядом по крышам, по соседним дворикам, по небу, наконец — словом, по чему угодно, кроме сада обер-боцмана.

Они ни разу даже не встретились взглядами, как ни старался Пер установить с помощью этого немого языка телеграфную связь через забор. И вот, однажды утром, выйдя на улицу, он впервые встретил её вне дома. Она бежала через дорогу из булочной, в зелёных домашних шлёпанцах и с сумкой для провизии. Пер невольно улыбнулся, когда заметил, как она растерялась из-за того, что её повстречали в таком затрапезном виде; это смущение сделало девушку ещё милее, и он решился учтиво приподнять шляпу. Однако она притворилась, будто не заметила поклона; в тот же самый день она блистательно сквиталась за утреннее унижение. Пер как раз возвращался домой с небольшой прогулки по Лангенлинне, и вдруг она вышла из дверей своего дома, в нарядном светлом жакете, с большим шелковым бантом на шее и в шляпке с вуалью. На мгновение она задержалась в дверях, чтобы застегнуть последнюю пуговку на чёрных, ослепительно новых перчатках, потом, сунув руки в карманы, медленно проплыла в сторону городского вала, не удостоив Пера ни единым взглядом. Но Пер и на сей раз улыбнулся. Отправляясь на прогулку, он разглядел её личико в оконном зеркальце господина Якобеуса; было совершенно ясно, что она нарочно дожидалась его возвращения, чтобы появиться во всём этом великолепии.

После этого Пер разохотился и решил смелее добиваться знакомства. Он велел Трине узнать, где находится швейная мастерская, в которой обучается девушка, и когда она возвращается оттуда. Получив все необходимые сведения, он в один прекрасный день застал её врасплох часов около семи: она стояла перед витриной на Нэрреволле.

Пер весьма почтительно поздоровался с ней и попросил разрешения представиться. Как ни странно, навязчивость Пера её ничуть не смутила. Должно быть, ей, по провинциальной простоте, казалось совершенно в порядке вещей, чтобы близкие соседи, повстречавшись среди большого города, завели разговор и дальше пошли вместе. Впрочем, эта невинная простота оказалась отчасти напускной. Девушка сама себя выдала, когда на подступах к Ньюбодеру вдруг остановилась и сказала, что отсюда они пойдут врозь. И Пер, зная, что господин Якобеус человек дотошный и что он вполне сознаёт всю глубину своей ответственности за молоденькую племянницу, не потребовал никаких объяснений и только, прощаясь, сказал: «До скорой встречи».

В последующие дни они неоднократно виделись при таких же обстоятельствах и так же проходили часть пути вместе. По молчаливому уговору они из осторожности шли кружным путём, через Королевский сад и Розенбургское садоводство, где меньше было риску натолкнуться на нубодерцев; кроме того, Пер с каждым днём всё удлинял и удлинял маршрут, не вызывая ни малейшего протеста с её стороны.

Франциска (так звали девушку) была среднего роста, белокурая, тоненькая, даже худощавая, но очень хорошо сложена. Занятнее всего была её походка, свидетельствовавшая о прямодушном и твёрдом характере. Когда она шагала по улице, засунув руки в карманы дерзко выставив грудь, люди невольно оборачивались и смотрели ей вслед, и Пера от души забавляли те жадные взгляды, которыми провожали её мужчины. Лицо Франциски — кровь с молоком — нередко принимало угрюмое выражение, брови мрачно хмурились, но всё это ровным счётом ничего не значило, это был просто способ самоутверждения в непривычных обстоятельствах. Своим вызывающим видом она хотела доказать добрым копенгагенцам, что у них в Кьертеминне народ хоть куда.

Её излишне свободное на первый взгляд обращение с Пером имело ту же основу: Франциска втайне побаивалась, чтобы её не приняли за деревенскую дурочку; и Пер правильно истолковал её поведение, поскольку оно было сродни его собственному ютландскому способу утвердиться в мире.

То обстоятельство, что оба они приехали из провинции, во многом ускорило их сближение, и, пожалуй, даже чувство Пера (чего он сам не сознавал) во многом выросло из впечатлений прошлого, ибо и характер её красоты, и манеры, и некопенгагенский говор живо напомнили ему светловолосых и дебелых девиц родного города, тех, что были первым предметом его любовных устремлений.

Да ещё, как на грех, вечера стояли на редкость погожие, долгие, яркие, словно созданные для того, чтобы вселять беспокойство в два юных, никому не отданных сердца. Теперь они удлинили свои ежевечерние прогулки до самых озёр, а домой возвращались по романтическому парку, который тянулся вдоль развалин восточного городского вала, и там, в величественных аллеях могучих, ветвистых деревьев, много раз ходили туда и обратно, не в силах расстаться.

О чём же они говорили во время долгих прогулок? О погоде и о прохожих, об общих знакомых и о последних новостях, — словом, обо всём на свете, только не о любви. Пер даже и не пробовал заговаривать об этом. Сначала боялся спугнуть Франциску; а потом стал бояться той власти, которую она всё больше и больше приобретала над ним.

Заводя это знакомство, он не имел определённых намерений, — ему просто хотелось поразвлечься с хорошенькой девушкой. Работа настолько занимала все его помыслы, а постоянное умственное напряжение так подтачивало его физические силы, что обойтись без укрепляющего средства он просто не мог, а в юности эту роль лучше всего выполняют любовные тревобления. Но именно то, что Пер, против обыкновения, не искал в этом знакомстве никакой корысти, да ещё светлые радостные вечера, которые ниспосылала им природа, одевшаяся в золото для каждого свидания, превращали город и его окрестности в сказочную страну; даже таинственность, которой приходилось ради Франциски окружать их встречи, и страх Франциски, и беспокойство, которого она не могла скрыть при разлуке, — всё-всё придавало их союзу неведомое, негаданное очарование; и в один прекрасный день Пер пришел к выводу, что до сего времени не знал любви.

И это была правда.

Он полюбил впервые. Далеко обогнав во многих отношениях своих сверстников, он всё ещё оставался ребёнком или дикарём во всём, что касалось человеческих отношений. Теперь он жил с томительным и сладким чувством, будто в душе его совершается таинственное рождение и вот-вот ему откроется новый мир. Он, кто прежде, познакомившись с женщиной, стремился перейти как можно скорее от слов к делу, был с этой девочкой сама предупредительность и столь сдержан, столь робок из боязни ненароком оскорбить её, что немало прошло времени, прежде чем он осмелился попросить её о прощальном поцелуе. И

как только она ответила согласием и краска залила её лицо, он чуть не пожалел о своей дерзости. Когда же он коснулся её свежего рта и вдохнул теплоту её губ, ему показалось, будто он оскверняет святыню.

Осенью Франциска собиралась ненадолго уехать к родителям. Несмотря на частые встречи, несмотря даже на известную неосторожность — теперь их всё более нежные прощания происходили у самой черты Ньюбодера, никто до сих пор не проведал об их отношениях; никто, если не считать Трине. С присущим ей даром ясновидения там, где дело касалось Пера, эта недалёкая, почти слабоумная девушка поняла всё; а потом уже и самому Перу пришлось однажды довериться ей, чтобы переправить в соседский дом особо важное письмо, и это нелёгкое и даже небезопасное поручение Трине выполнила словно божью заповедь. Под тем (ею самой изобретённым) предлогом, что у неё-де упала туда прищепка для белья, Трине добилась свободного доступа в твердыню самого Якобеуса и благополучно передала тайное послание в руки адресата. Но потом, когда Пер ушёл, Трине вдруг сделалась такая тихая и бледная и так часто уединялась в туалете, что мадам Олуфсен под конец сочла её больной, отправила в постель и закатали хороший горчичник на живот.

В октябре, после возвращения Франциски, чувства её и Пера достигли такой глубины и силы, что теперь было не миновать решительных действий. Пер находился в совершенном смятении. Мысль соблазнить её и тем дать исход своим чувствам он решительно отвергал. С другой стороны, об официальной помолвке он не мог и помыслить, тогда как Франциска только того и ждала. Она уже пыталась разок-другой без всякого повода посвятить его в свои семейные дела, а как-то к случаю обронила замечание о том, что отец её человек весьма зажиточный. Но женитьба на дочери простого шорника из Кьертеминне казалась ему несовместимой с той высокой целью, которую он себе поставил. Всякий раз, когда искушение одолевало его, он видел перед собой Ниргора и вспоминал слова о принце из свинопасов, что и прежде вспыхивали перед ним огненными буквами, — насмешливые и зловещие.

Но тут произошло событие, стремительно и неожиданно ускорившее развязку.

Старому Якобеусу давно уже казалось подозрительным, что племянница с каждым днём всё позже возвращается домой, а так как её объяснения доверия не внушали, то в один прекрасный день он учинил расследование. Расследование свелось к форменному допросу, и девушка во всём призналась.

На другой день господин Якобеус явился к Перу и в лоб, даже не назвав себя, спросил, намерен ли тот жениться на его племяннице.

Пер пытался сначала увильнуть, предложил гостю сесть и вообще сделал вид, будто не понимает, о чём идёт речь. Но сердитый гость, отрицательно помотав головой, потребовал избавить его от пустой болтовни и дать четкий ответ. Одно из двух, — да или нет, больше ничего не нужно.

Пер всё ещё колебался. Он понимал, что, сказав «нет», навсегда расстанется с Франциской. При этой мысли сердце у него больно сжалось. Он представил себе, как она сейчас в страхе и тревоге бродит по дому, ожидая решения своей судьбы. Мелькнуло даже искушение отбросить все горделивые, несбыточные мечты, удержать ту единственно верную махонькую синичку, которая сама даётся в руки, и выкинуть из головы золотых журавлей в небе. Но снова лысая голова Ниргора возникла перед ним. И тогда он выпрямился и решительно сказал «нет».

Тут разыгралась сцена, о которой Пер даже много лет спустя не мог вспоминать без чувства мучительного стыда. Засунув руки в карманы, старый Якобеус сделал два тяжелых шага и вплотную подступил к нему, щекоча его лицо своей седой бородой. И этот чужой человек обозвал Пера наглецом, разбойником и бродягой, а потом сказал, что если Пер хоть раз посмеет сунуться к его племяннице, то будет избит и вышвырнут из Ньюбодера, как шелудивый пёс.

Пер побелел от гнева, но не шелохнулся, не промолвил ни слова. Не угрозы сковали его язык. Ему уже случалось на своём веку иметь дело с чужими кулаками, и когда он увидел,



как Якобеус приближается к нему, он сперва решил схватить его за глотку и прижать к стене, покуда тот не уймётся. Но когда он взглянул в бледное, искаженное лицо с дрожащими губами, лицо, яснее всяких слов говорившее, как тяжело переносит старик эту историю, как он удручён и обижен, — в глубине его души шевельнулось чувство вины, удержавшее его руку и сомкнувшее уста.

Уже потом, когда господин Якобеус ушёл, Пер спросил себя, в чём он, собственно, провинился. Он ведь не желал Франциске зла. Знай он с самого начала, что между ними вспыхнет такая любовь, он бы и не подошёл к ней; но даже и теперь он не злоупотреблял её доверием. Те несколько невинных поцелуев, которыми они обменивались, её запятнать не могут. Так что же, собственно, случилось?

Просто совесть, пресловутая совесть снова подвела его — то неуловимое, призрачное нечто, которое внезапно подносит к твоему лицу кривое зеркало, и ты видишь себя изуродованным до отвращения. А он-то думал, будто счастливо избавился от всех и всяческих наростов на душе, от всех искривлений! И вот полюбуйте, стоит теперь пристыженным глупцом. Это разочарование было всего сильнее и почти заглушало мысли о Франциске и о разлуке с ней.

К тому же угрозы господина Якобеуса, как выяснилось, были совершенно излишни. Через день Франциска по собственному желанию уехала домой, на Фюн. А ещё два дня спустя Пер получил с утренней почтой безделушки, которые он когда-то подарил ей. Она отослала всё, не приписав ни единой строчки, ни единого слова, не говоря уж об упрёках; зато каждая вещичка в отдельности была бережно обернута розовой папиросной бумагой. И тут, разглядывая присланное, Пер испытал новое унижение: у него увлажнились глаза. С этим ничего нельзя было поделать, и, не поторопись он засунуть сувениры в ящик комода, он бы совсем осрамился и попросту заплакал бы.

И снова счастье улыбнулось ему.

Через несколько дней произошло событие, которое не только заставило его забыть о безжалостном изгнании из райских садов любви, но и показалось ему знамение благосклонной судьбы, наградой за проявленную стойкость. Очень долго барахтался он в мёртвой зыби, дожидаясь попутного ветра, чтобы пуститься в чудесное плавание по жизни, и вот теперь вокруг него разразилась такая буря, которая вынесла его прямо в открытое море.

\* \* \*

Незадолго до описываемого времени работа над проектом достигла такой стадии, когда его, по мнению Пера, можно было вторично вынести на суд какого-нибудь авторитетного лица. Теперь он обратился к председателю инженерного общества, инженер-полковнику в отставке, о котором отзывались как о человеке беспристрастном, очень сведущем в технике и к тому же чрезвычайно влиятельном, ибо, помимо прочих обязанностей, он состоял ещё главным редактором весьма почтенного ежемесячного журнала, издаваемого обществом. Пер послал ему свои чертежи с объяснительным письмом и подписался: «П. Сидениус, инженер». В письме он давал сжатое изложение своих идей и выражал уверенность, что полковник признает всю значительность изложенного и порекомендует статью о проекте к опубликованию в возглавляемом им журнале.

Недели две он дожидался ответа, потом потерял всякую надежду. Но тут как раз пришло письмо от полковника, где тот сообщал, что с «особым интересом» рассмотрел проект и просит при случае зайти к нему в приёмные часы, захватив с собой подробные расчёты, чтобы можно было переговорить обо всём более детально.

Пробежав глазами это послание, Пер постучал костяшками пальцев по потолку. Это был сигнал для Трине спуститься вниз.

— Зови стариков! — приказал он, после чего извлёк со дна платяного шкафа бутылку с остатками шведского пунша, выстроил рядышком на столе три стакана и наполнил их.

— Что случилось? — спросила мадам Олуфсен и просунула в дверь увенчанную



папильотками голову, а боцман тем временем тяжело спускался по лестнице.

— Новости, мадам Олуфсен, большие новости! Поздравьте меня!

— Боже милостивый, уж не обручились ли вы, господин Сидениус?

— Пока воздерживаюсь, как сказала старая дева. Поднимайте выше, мадам Олуфсен.

— Выиграли в лотерею?

— Отчасти да... До некоторой степени! Ваше здоровье, старые друзья! Спасибо за всё, за всё! Ваше здоровье, боцман! И не пугайтесь, если вы обо мне в ближайшие дни что-нибудь услышите.

На другой день Пер с чертежами под мышкой уже звонил к полковнику. Служанка открыла дверь, и после краткого ожидания в передней, пока служанка относил визитную карточку, он переступил порог большого светлого кабинета с тремя окнами, выходившими в сад. Маленький, апоплексически-красный человечек с курчавыми волосами поднялся из-за стола и поспешил к нему навстречу, держа в руках пенсне. Но на полдороге он остановился, водрузил пенсне на нос и воззрился на Пера, всем своим видом выказывая разочарование.

— Как же так? — начал он. — Вы и есть... господин Сидениус, инженер?

— Да.

— Боже правый! Вы ведь страшно молоды.

— Ну уж и страшно, — обиделся Пер, — мне пошёл двадцать третий год.

— Да, но... но... тогда всё это не более как...

Он явно хотел сказать «недоразумение», но вовремя сдержался. Несколько секунд он стоял, покачиваясь на каблуках, словно человек, попавший в дурацкое положение и не знающий, как лучше из него выбраться.

— Ну уж ладно, садитесь, — наконец выдавил он из себя. — О деле мы всё равно можем поговорить. — И, движением руки указав Перу место на плетёном диванчике подле стола, сам уселся за стол в широкое кресло и продолжал тем же тоном: — Как я уже сообщал вам, мне удалось среди целой кучи несообразностей, чтобы не сказать вздора, обнаружить в присланных мне планах ряд мыслей, заслуживающих внимания. Другими словами, сама ваша идея создать в Ютландии грандиозную систему каналов и все с ней связанное представляется мне, мягко выражаясь, слишком мальчишеской, слишком незрелой. Так что о ней даже и говорить не стоит. Зато, что касается мысли отрегулировать восточно-ютландские фьорды, то она покоится на более разумной основе, а предложенный вами способ её осуществления свидетельствует и о новизне взглядов, и об известной наблюдательности.

Говоря так, он вертел в руках линейку и пристально разглядывал Пера поверх пенсне, сидевшего на самом кончике красноватого носа. Крепкая, широкоплечая фигура Пера явно пришлась по душе старому вояке. Прервав самого себя на полуслове, он вдруг изумлённо всплеснул руками и воскликнул:

— Но чёрт подери! Как вам, молодой человек, вообще пришла в голову сумасбродная мысль создать этот несчастный проект? Ведь практического значения для вас он не имеет. А судя по вашему виду, хорошенькие девушки должны занимать вас куда больше, чем логарифмы и расчёты поверхности.

Пер счёл за лучшее улыбнуться, хотя слова полковника отнюдь не польстили ему. Затем он без утайки рассказал полковнику, как много лет подряд, с детства, можно сказать, бился над разрешением этой задачи. А уж начав говорить, он разошелся и с большим апломбом отозвался о значении своего дела. Ссылаясь на пример других стран, он высказал глубочайшее убеждение, что датские власти, чрезмерно увлечшись строительством железных дорог, преступно запустили развитие естественных путей сообщения, то есть водных путей, которые сейчас почти не используются и рано или поздно вообще зарастут, чем будет нанесён непоправимый ущерб благоденствию страны и народа.

Полковник, с улыбкой слушавший эту пламенную тираду, при последних словах не мог удержаться от смеха.

— А вы и впрямь смелый человек, ей-богу! Если я верно понял, ваш проект должен,

помимо всего прочего, прозвучать как вызов нам, старым дурням, позорно поправшим интересы страны. И вы ещё добиваетесь разрешения высмеивать и критиковать нас на страницах нашего собственного журнала! Дальше, знаете ли, некуда. А где ваши подробные выкладки, которые я вас просил принести? Давайте лучше взглянем на них.

Пер развернул все чертежи и разложил их по порядку на столе перед полковником.

— Боже правый! — ужаснулся полковник. — Да у вас тут целый архив! Как это вам пришло в голову? Это же чистейший вздор и бессмыслица, дорогой мой... Кстати сказать, я до сих пор не вижу обещанной схемы урегулирования фарватера. А она-то меня и интересует.

Пер развернул самый последний чертёж огромный лист картона, почти во весь стол. Это был результат полугодовой работы, беспримерного усердия. На листе уместился общий вид и поперечный разрез парных сооружений, надстроек, фашинных прокладок, опорных быков, — и всё заботливо, скрупулёзно вычерчено, вплоть до масштабов и словно отпечатанных надписей.

Полковник поудобнее насадил на нос пенсне и вытащил циркуль из готовальни.

— Как вам уже, вероятно, известно, — начал он после некоторой паузы, красноречивее всяких слов свидетельствовавшей о произведенном впечатлении, — как зам уже известно, лет десять тому назад действительно шли разговоры об углублении именно этого фьорда и о перестройке гавани. У меня, помнится, даже просили совета... быть может, при виде вашего проекта во мне пробудились воспоминания, но... я... я... Короче, возьмите стул, сядьте поближе и расскажите, как вы себе это представляете.

Больше часу просидели они рядом, занятые чертежами и расчётами. Несколько раз полковник отбрасывал циркуль и заявлял, что весь проект от начала до конца — бред сумасшедшего, а минуту спустя снова восторженно отзывался о какой-нибудь счастливой находке — удачном использовании территории, разумно приспособленной установке и т. п. Пер сохранял полную невозмутимость и рядом со стариком казался олицетворением хладнокровия. Умно и расчётливо уступил он по всем маловажным вопросам, зато тем выигрышнее оказалась его неуступчивость там, где шел натиск на самые основные его работы. Разговор постепенно превратился в настоящий поединок между молодым и старым инженерами, причём последний несколько раз не нашёл, что возразить, а порой вынужден был признать правоту младшего. Полковник под конец до того раззадорился, что взял для детального рассмотрения даже проект системы каналов со шлюзами, так безжалостно отвергнутый ранее.

Совсем уже побагровев от натуги, он, наконец, отодвинул бумаги и сказал:

— Оставьте-ка мне всё это на недельку. Поглядим, что можно отсюда выжать... если отделить плевелы от пшеницы... ужасающее обилие плевел! Прежде чем соваться в журнал, надо изложить всё более связно и сжато... Посмотрю, что тут можно сделать. Теперь, лучше поняв вашу мысль, я согласен, что план надо рассматривать не по частям, а в целом, иначе он не производит должного впечатления. Даже как чисто теоретический эксперимент он весьма забавен и вызовет бесспорный интерес в технических кругах. Котелок у вас варит, молодой человек!.. Забыл, сколько вам лет?

— Двадцать два.

— Счастливый возраст!.. Итак, жду вас через неделю.

Полковник сердечно и даже как равному пожал руку Пера.

— Чёрт подери, какие у вас глаза, — вдруг выпалил он, удерживая руку Пера, — где вы их только достали? Вы смотрите на людей, как голодный волк. Ну ладно, счастливой охоты! — улыбнулся он и ещё раз дружески потряс руку Пера.

Когда Пер вышел от полковника, мир показался ему преображенным. Воздух мягче, небо — выше, люди — красивее.

— Спокойствие, только спокойствие, — внушал он себе, стараясь трезво взглянуть на случившееся. Ведь по сути дела произошло только то, чего он всегда ожидал. Когда выйдет журнал со статьёй, он не станет его никому рассылать, даже родителям не пошлёт и

остальным домашним тоже, — сами как-нибудь узнают. И вообще статья не так уж много и значит, статья — это только самый первый, самый ничтожный шаг по пути славы. Наконец-то он совершил его, но теперь надо собрать силы для второго, более решительного шага. Предстоит задача посерьёзней: надо воплотить идеи в жизнь, подготовив для них почву, завоевать сторонников как среди власть имущих, так и в народе.

В последующие дни он слонялся по бильярдным, чтобы как-то убить время и заглушить нетерпение до тех пор, пока не минет назначенный срок. Забрёл он и в кафе на Кунгенс Нюторв и наткнулся там на Фритьофа, с которым не встречался ни разу после разговора, завершившего оргию в «Котле», того самого, когда волосатый Геркулес под пьяную руку выдал себя и оказался трепетным и робким, словно мальчуган накануне конфирмации. Теперь он снова восседал на троне во всём своём величии, окруженный юными и безмолвными любителями прекрасного, одетыми, как и он, во фраки и запивавшими коньяком с содовой по-купечески обильный обед. Высокую серую шляпу а-ля Рубенс маэстро сдвинул на затылок, ладони его покоились на набалдашнике зажатой между вытянутыми ногами бамбуковой палицы устрашающих размеров.

— Чёрт подери! Да это никак молоденький Аладинчик нашего Саломона! Гаркнул он на всю залу, после чего приветствовал Пера милостивым движением руки. — Где прятал вас всё это время джин вашей лампы?.. Подсаживайтесь!

Но Пера к ним не тянуло, и потому он сел в сторонке. На очередной вопрос Фритьофа, где он так долго пропадал, Пер коротко объяснил, что был занят работой.

Из богатырской груди Фритьофа вырвались раскаты гомерического хохота.

— Вот-вот! Вы как раз из тех новых людей действия, за которых сейчас так ратует Натан. Благодарю покорно! Чем же вы занимались? Может, откачивали воду из какого-нибудь ни в чём не повинного озера? Угадал я? А может, вы изобрели легчайший способ снести все утёсы на Мэне, накрошить из них щебёнки и замесить известь? А может, вы каким-то иным способом служили делу прогресса и содействовали украшению и процветанию нашего дорогого отечества?

Пер обвёл взглядом круг молодых художников, застывших в торжественном оцепенении, — они сидели, откинувшись на спинки стульев, с таким видом, словно готовили миру великие откровения, — и, раскуривая сигару, ответил:

— По-моему, нет ничего плохого в том, что не все мы явились на свет с талантом создавать рай на куске холста.

— Ясное дело! Да здравствует индустрия! Восславим вонь фабричных труб, и да ниспошлёт господь совершенство нашей канализационной системе! Скажите-ка, молодой человек, доводилось ли вам лично когда-нибудь видеть, как выглядит это новомодное блаженство, сфабрикованное вашими машинами? Сделайте милость, потрудитесь разок заглянуть в какую-нибудь из наших маленьких улочек и полюбуйтесь-ка на худосочных детишек, которые кишат там, словно черви в куске сгнившего сыра. А то прогуляйтесь по богатым разбойничьим кварталам, где обосновались еврейские миллионеры со своими толстыми женами... Гниль, все гниль, друг мой, сверху донизу! Упаси нас боже! И это именуется прогрессом? Таковы дары науки! Господи помилуй! Нет, по мне уж лучше непросвещённый крестьянин, который умиротворенно напевает, идя за плугом, а совершенствовать мир предоставляет «боженьке». Да он куда больше человек, чем все иудейские глашатаи прогресса вместе взятые. Что вы на это скажете? — обратился Фритьоф к своим безгласным собутыльникам. Те одобрительно замычали в знак согласия.

Видя, что Фритьоф изрядно под хмельком, Пер не удивился этой тираде. Она живо напоминала слова, сказанные в «Котле» в ту памятную ночь. А вот неоднократных и злобных выпадов по адресу доктора Натана он не понял, ибо прежде Фритьоф числился чуть ли не одним из самых пылких его приверженцев. Но, пожалуй, не стоило труда выяснять всё это именно сейчас, поэтому он только пожал плечами и углубился в чтение газеты.

Тут распахнулась дверь, и в кафе хлынула шумная толпа дам в накидках и мужчин в пальто нараспашку; за какие-нибудь несколько минут они заполнили почти всё кафе. В тот

день на сцене королевского театра давали премьеру, и эти люди принесли с собой волнение и восторги бурного пятого акта. Все наперебой повторяли имена автора и актёров, обсуждали исполнение той или иной роли, то за тем, то за другим столиком вспыхивали оживлённые споры. Однако и Фритьоф с друзьями, среди которых, несмотря на их юный возраст, было немало знаменитостей, тоже возбудили почтительное внимание. Люди за столиками наклонялись друг к другу, кивали, шептались. В углу одиноко сидел бледнолицый молодой человек, чьё мефистофельское обличье привлекло немало взоров. Это был поэт Поуль Бергер, один из многочисленных учеников самого Эневольдсена и признанный наследник этого великого мастера слова, скончавшегося недавно во время работы над заключительной строкой четверостишия. Пер слышал, как дамы за соседним столиком оживлённо обсуждали и самого Бергера и его стихи. Он тоже помнил поэта по вакханалии в «Котле». Тогда Бергер, вскочив на стул, провозгласил здравницу в честь доктора Натана и в исступлении раздавил пальцами свой стакан.

И вдруг, несмотря на шум и гомон, глубокое уныние охватило Пера. В голову закралась мрачная мысль: как ни отличись он в своей области, всё равно нечего даже и надеяться, что когда-нибудь он сравняется в славе с таким вот ничтожным рифмоплётом, чьё имя сейчас у всех на устах. Даже если его, Пера, идеи станут достоянием гласности, его имя вряд ли выйдет за пределы узкого круга людей, причастных к технике. Газеты отводят целые страницы под обсуждение какой-нибудь первой попавшейся повестушки о любви, а его планам они посвятят несколько строк петитом где-нибудь в уголке. Вот если бы он написал стишок о море или намалевал ручеёк, вместо того, чтобы выдумывать проекты каналов...

Уходя, он не мог удержаться от искушения и сказал Фритьофу:

— Сдаётся мне, что вам, господа служители муз, пока не на что жаловаться. Вы ведь сами видите, какой гам поднимается из-за пустячного спектакля. Целую неделю весь город будет разглагольствовать об этом великом событии.

— Ну и пусть! Чем, по-вашему, могут ещё люди интересоваться в этой стране, чёрт подери?

Пер понял, что крыть нечем. Он промолчал.

— Может, вы и правы, — начал он немного спустя и окинул художников острым взглядом, словно бросая им вызов, — но погодите, скоро всё будет иначе.

— Ещё один психопат, — подытожил Фритьоф по уходе Пера и осушил свой бокал.

Собутельники машинально схватились за бокалы и одобрительно замычали.

\* \* \*

Терпения у Пера хватило ровно на восемь дней, испрошенных полковником для обдумывания, и ни на секунду больше. Но когда утром девятого дня он очутился в знакомом кабинете, его встретил, казалось, не тот заинтересованный коллега, который так тепло распростился с ним неделю назад, а совсем другой человек. На сей раз полковник не подал ему руки, не пригласил сесть. Нарочито грубо, — впрочем, под этой грубостью полковник явно хотел скрыть своё смущение, — он вернул Перу все чертежи, сказав при этом, что по ближайшем рассмотрении счёл проект неподходящим для публикации.

— Очень, очень незрело. Разумеется, вы слишком молоды, чтобы без посторонней помощи... И потом, вы не потрудились сдать экзамены, вы ведь даже не кандидат, как я слышал.

«Ах, вот откуда ветер дует, — подумал Пер. — Старик проявил бездну осторожности. Он навёл справки... возможно, даже у самого профессора Сандрупа. Ну погоди же!»

Полковник тем временем отошел в другой конец кабинета, стал спиной к изразцовой печке и с нескрываемым недоверием осмотрел Пера — его лицо, его одежду вплоть до башмаков, даже шляпу, которую Пер при входе положил на стул у дверей.

— Ваше имя Сидениус, — так начал полковник после паузы. — Уж не из знаменитого

ли вы пасторского рода?

Как и всякий раз, когда ему задавали этот вопрос, Пер притворился, будто не расслышал, и в свою очередь начал весьма едко иронизировать над столь неожиданной переменной во взглядах полковника. Но полковник резко и нервно перебил его, заявив, что не видит ни необходимости, ни смысла продолжать разговор, ибо его решение твёрдо.

Ясно было, что он стремится как можно скорее выпроводить Пера. Он, словно нарочно, не давал ему раскрыть рта, чтобы как-нибудь случайно не сменить гнев на милость.

— Я очень сожалею, — сказал он наконец, уже более дружелюбным тоном, и сделал несколько шагов в сторону Пера, — я очень сожалею, если мои слова пробудили у вас прошлый раз несбыточные надежды, но я ни секунды не сомневаюсь, что своим решением служу вашим истинным интересам. Вам нельзя отказать в способностях, но прежде всего вам необходимо отчётливо осознать, чего вам недостаёт. И вообще в двадцать два года честолюбие человека должно быть направлено исключительно на ученье. Так или иначе, в задачи нашего журнала отнюдь не входит опека молодых людей с их незрелыми опытами.

После этих слов он отвернулся и движением руки дал понять, что аудиенция окончена.

Но Пер не тронулся с места.

— А какой степени дряхлости я должен достигнуть, по мнению господина полковника, чтобы моя работа наконец получила признание?

Старый вояка побагровел и обернулся так поспешно, что ковёр взвихрился вокруг его ног.

— Вы что, с ума сошли? — заревел было он, но, увидев дрожащие, бледные губы Пера, сдержался. Он понял, что дело может плохо кончиться, и, опасаясь скандала, ещё раз повторил, что не видит смысла продолжать разговор.

— Я должен сказать вам только одно, господин полковник, — продолжал Пер. — Придёт время, когда вы ещё пожалеете, что выгнали меня.

— Вы смеете мне угрожать?

— Называйте это, как хотите. Но когда мы встретимся в следующий раз, вы придёте ко мне, а не я к вам... Вы обманулись во мне господин полковник... а я в вас. Знай я вас лучше, я бы ни за что не стал вас беспокоить. До свидания!

Старый солдат весь кипел от бешенства, но не ответил. В душе у него шла ожесточённая борьба. Когда дверь за Пером закрылась, полковника словно что-то толкнуло, он хотел догнать его, вернуть. Но с коротким «вот мальчишка!» повернулся, сел за письменный стол и со злости перевернул все бумаги.

Потом из гостиной прибежала насмерть перепуганная жена и спросила:

— Кто это был у тебя? Боже милостивый!

Он так хлопнул дверью, что с потолка упал большой кусок штукатурки.

— Да так, один... Я думаю, этот малый натворит бед не с одной штукатуркой.

— Да кто же он, наконец?

— Скажи мне это лучше сама! Скорей всего сумасшедший. Или шарлатан... А может, и гений... Поживём — увидим.

## Глава VI

Ясным, погожим утром, в самом начале апреля, Пер сидел на открытой веранде ресторана на Лангенлинии и глядел, как льётся мимо него нескончаемый людской поток; весь город явился сюда после воскресной службы и сытного завтрака, чтобы погреться на солнышке и прочистить лёгкие солёным морским воздухом.

За последние несколько месяцев Пер сильно изменился. Он похудел (что его отнюдь не портило, остроконечная бородка, которую он отпустил нарочно для того, чтобы казаться старше, делала лицо его более выразительным. Прежняя дерзкая беззаботность исчезла. Теперь, когда Пер сидел, заложив руки за голову, и разглядывал вырядившихся ради воскресенья прохожих, по глазам его, по нахмуренным бровям нетрудно было угадать, что



этот молодой человек уже испытал в своей жизни первое жестокое разочарование.

Дела у него и впрямь не ладились. Прежде такой стойкий благодаря несокрушимой вере в себя, такой осмотрительный, выдержанный, такой расчётливый, когда речь шла об устройстве его будущего, он после стычки с полковником Бьеррегравом совершенно потерял голову. Из желания отомстить полковнику, профессору Сандрупу и иже с ними, словом, тем, кто мешал его успеху, Пер обошел со своей работой всех мало-мальски влиятельных людей. Он обивал пороги редакций, пытаясь протолкнуть статью о проекте. Под конец он предложил совсем уже отчаянную попытку — добиться аудиенции у министра внутренних дел и убедить последнего в давно назревшей необходимости перестроить водное хозяйство страны. Но все, словно сговорившись, в ответ лишь насмешливо пожимали плечами, а то и вовсе указывали ему на дверь.

В довершение несчастья он был совершенно одинок; на всём свете не было человека, с кем он мог бы без утайки поговорить о своих неудачах и отвести душу. Раздражение, не имея выхода, обратилось внутрь, сделало Пера нелюдимым, породило в его мозгу болезненную мысль, будто он жертва сознательной и систематической травли. Своих бывших однокашников по политехническому институту он всячески избегал. Он боялся, что они считают его сумасшедшим (кстати, очень многие именно так и думали). В «Котёл» он не заглядывал уже больше года, хоть и знал, что Лизбет давным-давно утешилась в объятиях другого. Ему внушали самое неподдельное отвращение художники — эти любимцы датской нации, которые поклоняются природе не менее истерично, чем духовенство — потусторонним силам, и потому ходят в пророках, осенённых божьей благодатью, в носителях истины, в посредниках между небом и землёй. А если вдуматься, все они, и те, кто молится на размалёванные полотна, и те, кто проповедует поэзию настроения, — при всей своей смехотворности далеко не столь безобидные и невинные существа, как могло бы показаться с первого взгляда. Они тоже приложили руку к тому, чтобы убить веру в человека-хозяина, в человека — безраздельного властелина земли.

Вместе с полосой неудач пришло знакомое ещё с отроческих лет чувство одиночества, угрюмого, желчного одиночества; но раньше Пер казался себе чужим под родительским кровом, среди домашних, а теперь не находил себе места во всём отечественном устройстве. В каждом соотечественнике ему мерещился очередной Сидениус, который под фарисейским презрением к мирскому блеску и суете скрывает природную мещанскую косность; нередко он даже завидовал католикам, поскольку их священнослужителям запрещено жениться, и то духовное убожество, которое проистекает из притворного смиренномудрия и которое среди протестантских пасторов переходит от отца к сыну, у них, у католиков, не захватывает все слои населения, не переворачивает все понятия вверх дном, словно в стране горбатого короля, где малое называют великим, а кривое — прямым.

Ко всем затруднениям прибавились ещё и денежные. Хотя последнее время он жил беднее самого нищего студента, считал каждый грош, столовался в дешевых трактирах на Бургергаде, куда ходят только извозчики да лакеи, деньги, доставшиеся в наследство от Ниргора, таяли с невероятной быстротой. Он прикинул, что их от силы хватит ещё месяца на два, а что потом? Опять тиранить мальчишек в школе? Или начать унижительные скитания по фабрикантам и ремесленникам и выклянчивать у них случайную чертёжную работёнку?

Давали себя знать и сердечные огорчения: он до сих пор не мог забыть Франциску. С непривычным волнением перебирал он оставшиеся у него реликвии — засохший цветок (когда-то она сама воткнула этот цветок ему в петлицу), шутовское письмо от неё (прочесть это письмо можно было только с помощью зеркала), голубая шелковая лента (он однажды похитил эту ленту с её шеи). Теперь, когда под вечер он совершал свои одинокие прогулки и видел, как молодые люди, умеющие ладить со всякими властями, и с земными, и с небесными, наслаждаются весенним воздухом и любят заход солнца в обществе своих невест или молодых жён, им овладевала слабость, и он спрашивал себя, не пустому ли призраку принесено в жертву его счастье, и не лучше ли было бы выбросить из головы гордые мечты, стать таким, как все, приносить посильную пользу, скромно сидя на жестком

конторском табурете, чтобы со временем жениться на Франциске и сделаться почтенным обывателем и счастливым отцом семейства в стране горбатого короля.

И это ещё не исчерпывало перечня неприятностей. Казалось, будто все злые силы ополчились против него. Несколько дней тому назад у них на Хьертенсфрюдгаде произошло событие, которое его крайне взволновало: нежданно-негаданно умер старый боцман. Утром он, как всегда, вышел на прогулку по своему обычному маршруту — вокруг Амалиенбургской площади, по Бургергаде до Антониастреде и уже повернул домой, но вдруг, на углу Готерс и Адельгаде упал на мостовую. Он успел ещё коснеющим языком назвать своё имя и дать адрес, и сквозь густую толпу зевак, которая немедленно собралась вокруг него, был перенесен в закрытую карету и доставлен домой. Жена, ожидая его с прогулки, уже поглядывала в зеркальце, и едва лишь карета остановилась перед домом, а из окошечка кареты высунулась рука полицейского, чтобы отпереть дверцу, она сразу поняла, что случилась беда, и бросилась вниз по лестнице. Пер сидел у себя, но, заслышав странный шум, вышел в переднюю узнать, в чём дело, и оттуда увидел, как мадам Олуфсен решительно отстранила полицейского и минуту спустя уже всходила на крыльцо, неся на руках безжизненное тело боцмана. Одна, без посторонней помощи, семидесятитрёхлетняя старуха втащила умирающего мужа по крутой лестнице, а полицейский с достоинством, приличествующим случаю, шествовал позади, неся коричневую палку и серый цилиндр Олуфсена. Пока отрядили гонца к доктору, а насмерть перепуганная жена плотника по собственному почину сбежала за пастором, Пер вместе с полицейским помог мадам Олуфсен уложить больного в постель, где через несколько минут тот испустил последний вздох, склонившись головой на грудь жены.

Жутковато стало Перу с того дня в его маленьких комнатах. Впервые за всю жизнь он вплотную столкнулся со смертью. Мысль о том, что над ним, в «зале», лежит окоченелый, страшный труп с безобразно отвисшей челюстью, не давала ему заснуть по ночам. А днём, когда он сидел за письменным столом и, обхватив голову руками, задумчиво созерцал свои чертежи — пять-шесть злосчастных листочков, которые завладели всей его волей, всеми помыслами, — ему вдруг чудилось, что и мёртвая тишина, царящая в доме, и ледяной холод, струящийся к нему сквозь потолок, словно поддразнивают его, напоминая, как ничтожна и жалка самая блистательная судьба перед всемогуществом смерти, как быстротечна самая долгая жизнь перед бесконечностью небытия.

За последние сутки он вообще ни разу не заглянул домой. Чтобы прогнать непрощенные мысли, слонялся по кафе и бильярдным, ночь провёл в обществе незнакомой женщины — одной из сострадательных дочерей улицы, а теперь сидел за пустым стаканом, терзаемый ненавистным ещё с детства колокольным звоном, который преследовал его, словно заклинание. По воскресеньям, проходя мимо бесконечного ряда закрытых витрин, мимо парков и эспланад, заполненных самодовольными горожанами, он чувствовал себя особенно бесприютным, особенно унылым и малодушным. То ему попадался тучный господин с апоплексическим затылком, — господин гордо вышагивал, задрав нос к небу и заложив руки за спину, — должно быть, адвокат, думалось Перу, а то и ростовщик, — верно, пройдоха, каких мало. Уж, конечно, он побывал в церкви, отмолил все грехи, совершённые на неделе, и вышел из церкви новым человеком, вполне заслужившим приятную прогулку и хорошую гавану. А за ним выплывал другой господин с апоплексическим затылком, родной брат первого, — он вёл под руку дебелую блондинку и держал за руку очаровательную девчурку. Вот счастливый отец семейства, который явно сумел найти уготованное для него место на этой земле и стал агентом по продаже оловянных пуговиц или, может быть, процветает, торгуя туалетной бумагой. А за ним тянулись студенты и солдаты, и смеющиеся девушки, и кисло улыбающиеся старушки — все они выползли на прогулку, как улитки, чтобы проветрить свою маленькую уютную раковинку, в которой для них заключен весь свет. Люди без особенных претензий! Блаженные люди! Все как на подбор — правоверные Сидениусы!

От хриплого воя пароходной сирены Пер вздрогнул. Большой грузовой пароход,

шумно шлёпая лопастями по воде, отходил от пристани. Солнце играло на его чёрных боках, дым растекался по ветру, словно ворох тёмной шерсти. Капитан стоял на мостике, держась рукой за рупор машин-телеграфа, на форштевне развевался флаг английского торгового флота.

Это зрелище вызвало у Пера мгновенное страстное желание отправиться в путь... уехать отсюда, начать новую жизнь, в новых краях, среди новых людей... в Америке, например, или в Австралии, а то и ещё дальше, в далёких, неведомых странах, где нет ни ханжеских душонок, ни колокольного перезвона.

Эта мысль не первый раз пришла ему в голову, искушение не первый раз посетило его. Что, собственно, ему мешает? Ему неведома колдовская, притягательная сила родного гнезда, о которой в ту ночь распространялся Ниргор, прежде чем пасть её жертвой. Вот рухнет старый дом в Ньюбодере, и он лишится последнего приюта у себя на родине. Ну не смешно ли иметь какие-то виды на будущее, живя в этой маленькой, нерадиво управляемой стране, которая самой судьбой обречена на гибель? Перу невольно приходили на ум рассказы покойного боцмана про всю его долгую и богатую приключениями жизнь. Старик обычно начинал со страстного четверга 1801 года, с битвы в копенгагенском порту, которую он наблюдал, будучи ещё несмышлёным младенцем; далее он вёл своё повествование сквозь длинный ряд унижительных поражений к небывалому, позорному распаду, прологом которого и явился громовой удар на пасху 1801 года. Но тогда стоит ли связывать свою жизнь с обречённой страной, превратившейся всего лишь за какое-нибудь поколение в жалкую развалину, в бессильный и анемичный придаток пышущего силой и здоровьем тела Европы?

Начать новую жизнь! На другой земле, под другим небом! От одной этой мысли у него прибавилось сил. Пока он провожал глазами удалявшийся пароход, давно забытый дух бродяжничества вновь завладел им. Он говорил себе, что, быть может, где-то далеко-далеко отсюда его ждут победа и счастье. Быть может, где-то далеко-далеко отсюда станут явью золотые сны детства. Быть может, он ещё завоюет и принцессу и полкоролевства в придачу, — пусть даже принцесса окажется чернокожей, а королевство легко уместится на пальмовом острове в Индийском океане.

В эту минуту чья-то тень упала на стол. Перед ним стоял одетый по моде господин маленького роста — не кто иной, как Ивэн Саломон, — и с восторженной улыбкой приподнимал шляпу.

— Я так и знал, что это вы!.. Очень, очень рад. Я так давно вас не видел! Можно подумать, будто вы нарочно прячетесь от старых друзей! Ну-с, как дела?

Пер чуть приподнялся со стула и пробормотал что-то невнятное. Большой радости эта встреча ему не доставила, тем не менее он пригласил Саломона сесть.

Саломон сел напротив него и, подзывая кельнера, громко постучал набалдашником своей трости по краю стола.

— Позвольте предложить вам что-нибудь? Ваш стакан пуст, как я вижу. Абсент будете пить?

— Спасибо, не хочу.

— Ну, тогда кружку пива? Стакан вина, наконец? Портвейна, к примеру? Неужели вас это не соблазняет? Здесь подают самые лучшие вина.

— Премного благодарен. Я ничего не хочу, — отрезал Пер, грустно подумав про себя, что Ивэн и есть его настоящий друг и искренний почитатель. Тут он припомнил изречение, которое то ли где-то услышал, то ли вычитал: «Нет в мире человека совсем одинокого, дураков на всех хватит».

Саломон спросил воды со льдом и, раскрыв серебряный портсигар, протянул его Перу.

— Вы, разумеется, с головой ушли в работу, господин Сидениус? Ох, уж эти мне великие изобретатели! Так вот для чего вы искали уединения? Ну и когда же бомба должна разорваться? Скоро ли вы удивите мир своими замечательными открытиями?

Пер в ответ только пожал плечами.

— Скажу вам по секрету: вас ждут. Да ещё как ждут. Людям, которые жалуются, что у нас в стране не происходит ничего достойного внимания, я говорю: «Подождите, на сцену выступает новое поколение. Оно-то и устроит вам революцию».

Пер всё ещё отмалчивался: говорить на эту тему не хотелось. Да и льстивые слова были ему неприятны, потому что Саломон бесстыдно повторял во всеуслышание те мысли и надежды, в которых Пер не осмеливался признаться даже самому себе.

— А вы читали последнюю статью Натана в «Люсет»? Да ну, неужели не читали?.. Непременно прочтите! Она просто для вас написана. Потрясающая вещь. Вы только полюбуйтесь, как он раздевает догола наших недоношенных (его собственное выражение) эстетов и призывает к действию инициативных, предприимчивых людей. Это бесподобно!

Пер изумлённо поднял глаза.

— Вы говорите про доктора Натана? — переспросил он.

Ему вдруг припомнился давнишний разговор в кафе с Фритьофом, тот ещё прохаживался по адресу «писак» еврейского происхождения, только тогда Пер не понял его намёков или, скорее, не захотел понять. Сообщение Саломона заинтересовало его. Он спросил, чего там понаписал университетский деятель, и Саломон тотчас вызвался принести упомянутый номер газеты.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, — отнекивался Пер, — у меня и времени нет читать, — и, откинувшись на спинку стула, добавил как бы невзначай — Дело в том, что я собираюсь уезжать.

— Вы думаете уехать отсюда? — почти с ужасом переспросил Ивэн.

— Да, подумываю.

— Насовсем?

— Не исключено.

Ивэн опустил глаза и с минуту ничего не говорил.

Хотя он уже получил из вторых рук кое-какие сведения о проекте Пера и о том, что полковник Бьеррегрэв и профессор Сандруп встретили этот проект в штыки, ему казалось недопустимым, чтобы в наше просвещённое время человек мог оказаться жертвой такой вопиющей несправедливости.

— Вообще-то вы правы, — сказал он наконец, — я прекрасно понимаю, почему у вас возникла потребность уехать отсюда. Здесь — по крайней мере в данный момент — для вас нет подходящей почвы. Я невольно вспоминаю ваше меткое изречение касательно политехнического института. Вы как-то назвали его «питомником конторщиков». Блестящее определение, на мой взгляд. И справедливое, более чем справедливое. У нас теперь возникший культ посредственности. Для исключений нет места, никто не испытывает ни малейшей потребности в чём-нибудь необычном, выдающемся, новаторском, никто не способен понять его. Точь-в-точь как пишет Натан: «Мы слишком долго и слишком бездумно предавались игре фантазии и тем значительно подорвали волю нации».

— Он так и пишет?

Он ещё и не то пишет! Нет, я непременно пошлю вам статью. Вы просто обязаны её прочесть. Надолго вы уезжаете?

— Не знаю. Я толком ещё не обдумал.

— Нет, вы должны вернуться. Как можно скорей вернуться. Я просто убеждён, что должны. Будущее принадлежит вам... Если хорошенько поразмыслить, может, не так уж глупо исчезнуть на некоторое время. Очень даже неглупо. Знаете, если человек побывал за границей, это придаёт ему вес. Ах, если бы вы только смогли получить место в какой-нибудь английской или французской фирме. У «Блекбурна и Гриза», к примеру... Эта фирма берёт большие подряды на строительство мостов. Мы однажды вели с ними дела. Или, может, у вас другие планы?

Пер отвечал уклончиво.

Ивэн поигрывал пёстрым носовым платком. У него всё время вертелся на языке вопрос, который он так и не решился задать, — вопрос о том, на какие деньги Пер намерен

путешествовать. Он знал о жизни Пера куда больше, чем тот предполагал, знал и о денежных затруднениях, а потому очень горевал, что поведение Пера исключает всякую возможность предложить ему дружескую помощь. И вот сегодня у него родилась слабая надежда, что теперь, быть может, он сумеет предложить Перу свои услуги, ибо услуги такого рода он охотно оказывал всем людям, в чём талант не сомневался. Готовность услужить проистекала у него отнюдь не из тщеславия. При всех смешных чёрточках, это был бескорыстнейший, по-детски отзывчивый человек; желание помочь ближнему наполняло всё его существо, и знал он только одну страсть; ублажать своих кумиров и снять с них бремя всех и всяких забот.

Вдруг он вскочил со стула, словно подброшенный скрытой пружиной.

— Очень жаль, но я вынужден вас покинуть. Я обещал матери и сестре сопровождать их. Мы собирались вместе на нашу загородную виллу. Вот они уже едут.

Глубоко внизу, в узком проезде, который отделял ресторан от аллеи и через который был перекинут пешеходный мостик, показалась большая, роскошная карета, запряженная парой сытых гнедых лошадей. Сбруя была из накладного серебра, на козлах восседали кучер и лакей в голубой ливрее, а за ними колыхались два шелковых зонтика — белый и лиловый.

— Вы не хотите познакомиться с моими? — спросил Саломон. — Мать и сестра были бы очень рады.

Пер начал отнекиваться. Ему не очень улыбалась мысль на глазах у всей публики проделывать сложную церемонию, но Саломон уже махнул кучеру, и мгновение спустя карета остановилась как раз у лестницы, ведущей в ресторан.

В карете сидели под зонтиками две дамы. Одна из них, та, что помоложе, тотчас привлекла внимание Пера. Впрочем, он уже видел её однажды, но тогда она была под маской, и он не знал, кто она. Было это немногим больше года назад, — в ту карнавальную ночь, когда он впервые встретил фру Энгельгард. У него сохранилось смутное воспоминание о «Снежной королеве» в белом шелковом платье, усыпанном брильянтами и с огромным декольте, и он всегда представлял её себе вялой, анемичной еврейкой, из тех, что выставляют напоказ свои прелести и брильянты, как лавочник — свой товар. А перед ним сидела молоденькая девушка лет восемнадцати — девятнадцати, и, хотя её национальность не вызывала никаких сомнений, лицо у неё было свеженькое, правильное и румяное, обрамлённое пышными локонами. Одета она была довольно вызывающе, но отнюдь не безвкусно: на ней было серое бархатное платье, туго обхватывающее талию, и лиловая шляпка с двумя пёстрыми шёлковыми крылышками, которые трепетали над ней, словно крылья гигантской бабочки, а из-под шляпки выглядывала пара прелестных глазок, живых, лукавых, бархатисто-карих. И эти глазки были устремлены на Пера с таким неподдельным интересом, с таким дерзким любопытством, что он невольно смутился.

Мать, напротив, приветствовала Пера едва заметным наклоном головы.

— Так вот вы какой, — сказала она. — Сын часто говорит о вас. Вы ведь инженер, если не ошибаюсь?

Пер что-то машинально пробормотал в ответ, не сводя глаз с девушки, которая тоже пристально разглядывала его из-под опущенных ресниц.

Впрочем, вся церемония заняла не так уж много времени. Ивэн сел в карету, фру Саломон сказала, что друзья её сына всегда будут у них желанными гостями, стороны обменялись чопорными поклонами, лакей вскочил на козлы, и карета тронулась.

С пылающими щеками возвращался Пер в город.

Дерзкий взгляд прекрасных тёмно-карих глаз неотступно следовал за ним, и вдруг он ясно увидел её такой, как в карнавальную ночь: полуобнажённая, с золотой короной на чёрных вьющихся волосах, густая вуаль искрится брильянтами.

И в ушах его зазвучал голос невидимого искусителя: «Чёрная принцесса... И полкоролевства в придачу».

\* \* \*



Ивэн сдержал слово и в тот же вечер прислал нашумевшую статью доктора Натана. За неимением другого дела, Пер сразу принялся её читать. Язык и тон статьи тотчас привлекли и поразили его своей необычностью. Он знал книги такого рода, например, «Этику» Мартенсена, которую он ещё ребёнком в свободное время читал, по приказу отца, вслух; это занятие надолго отвратило его от литературы, не имеющей прямого отношения к его специальности. А здесь автор ясно и прямо высказывал о жизни и о людях такие суждения, в справедливости которых Пер убедился на основе собственного опыта. Он внутренне ликовав, читая остроумные и смелые нападки на всё, что было в Дании ненавистно и ему самому, и прежде всего — на мелкое и самодовольное фарисейство людей сидениусовской породы, казавшееся автору позором для всей нации.

Особенно увлѣк Пера конец статьи, где, отвечая на выпады недоброжелателей, направленные со всех сторон против его деятельности, автор с большим литературным мастерством живописал свои впечатления от встречи с родной страной после длительного обучения за границей. Весьма образно рассказывал он, как скорый поезд мчал его мимо шумных и больших городов обновлённой Германии, мимо процветающего Киля, как потом он пересел на пароход, как тихим утром пароход подошёл к Корсѳу, и при виде пустынной гавани крохотного городка ему почудилось, будто он попал совсем в другой мир — в сказочное сонное царство. Это впечатление стало ещё сильнее, когда с наступлением дня он снова пересел в поезд: вагон немилосердно трясло, и всех пассажиров укачало, каждые пятнадцать минут поезд останавливался на каком-нибудь захудалом полустанке, где несколько крестьян, в высоких шляпах грундтвиgianского образца и с огромными трубками, дожидались поезда, только не этого, а другого, который придѣт часа через два, не раньше. Автору показалось, будто он попал в страну, где время никому не дорого, потому что здесь у всех впереди ещё целая вечность в полном смысле слова. Это впечатление сопровождало его и на тесных улочках Копенгагена, где за минувшие годы ничто не изменилось, где по мостовой, как и встарь, ни пройти, ни проехать, где лавки сохранили всё тот же провинциальный облик, где экипажи движутся со скоростью улитки, а театральные афиши возвещают о постановке тех же наивных рыцарских трагедий, что и до его отъезда. Пока Европа семимильными шагами шла по пути прогресса, пока в Европе свершалась духовная революция, которая перекроила общественный порядок и поставила перед человечеством новые цели, более высокие и смелые, здесь жизнь застыла на одном месте.

Наконец, писал далее автор, он забрѣл в студенческий квартал на Гаммельхольме, и, по счастливой случайности, как раз в те часы, когда, ещё будучи студентом, вместе с приятелями пивал послеобеденный кофе. Он вошѣл в ресторанчик, надеясь застать там хоть кого-нибудь из старых знакомых. Каково же было его удивление, когда он увидел почти всех — они сидели в том же углу, за тем же столом и в том же порядке, как много лет назад, когда он сживал среди них. Правда, за эти годы они постарели, а другие — таких оказалось больше — растолстели; правда, выражение лиц, медлительность движений и самодовольная плавность речей свидетельствовали о преждевременном наступлении старческого слабоумия, — но в остальном всё выглядело так, словно за много лет никто из них не сдвинулся с места. Даже разговор их (никем не узнанный автор прислушался к нему, сидя за соседним столиком), сводился всё к той же напыщенной философически-теологической болтовне, которой они в былые времена сдабривали кофе и табак, и ясней ясного доказывал, что ни одна весточка о том, чем жила, дышала, волновалась Европа в эти годы, не проникла через границы страны. Тут только он до конца понял, куда попал. Он попал в королевство Спящей красавицы, где время остановило свой бег, где под блеклыми розами фантазии и жесткими шипами умствований таятся тлен и прах. Но одновременно (так автор кончал свою статью) он понял своё истинное призвание. Как тот вернувшийся издалека сказочный принц, который выхватил рог у дремлющего стража, чтобы пробудить великанов от тяжкого сна, он попытается пробудить в Дании всё, что ещё не заснуло навеки, пробудить молодѣжь, самых сильных, самых боевых, пробудить всех, у кого достанет смелости разорвать в клочья

тягучую паутину снов, раздавить мохнатый, затвердевший кокон, где дремлет спеленатый дух нации...

От этого боевого клича кровь прильнула к щекам Пера. Ему показалось, будто призыв Натана, пламенный, задорный, адресован ему, Перу, и только ему. Кулак его тяжело опустился на крышку стола и, словно подтверждая прочитанное, он несколько раз громко воскликнул: «Да, да!» Он не забыл ещё, как полковник Бьерреграв в тот злополучный день с издёвкой сказал, что его проект — это наглый вызов уровню технического развития Дании. Ну и пусть! Вызов так вызов!.. Теперь он твёрдо знал, что рождён быть первооткрывателем на своём поприще, рождён растормошить тупое общество, состоящее из апоплексических отпрысков церковного причта. Маленький Ивэн прав. Его ждут. Именно его и никого другого.

Пер встал. Забыв, что наверху, в гробу, украшенном бумажными цветами, ещё лежит тело боцмана, он решительно заходил по комнате, потом вдруг прижал ко лбу кулак, повторяя в такт шагам: «Да-да-да-да».

Ему вспомнилась фрекен Саломон. Он снова увидел её огромные тёмно-карие глаза, их любопытный, дерзкий, почти зовущий взгляд из-под густых ресниц.

До сих пор ему не приходило на ум осуществить свои планы с помощью выгодной женитьбы.

Он слишком полагался на свои силы, да и сама мысль о браке по расчёту казалась ему низкой. Теперь же он начал доказывать себе, что для достижения великой цели нельзя брезговать никакими средствами. Жениться на еврейке? А почему бы и нет? Фрекен Саломон молода, очень недурна собой, и (насколько он мог разглядеть) у неё премиленькая фигурка. Пора забыть детские сказки о том, что счастье неожиданно-негаданно сваливается с неба, как выигрыш в лотерее. Нет и не может быть настоящего, надёжного счастья, кроме добытого с бою. Счастье надо догнать, схватить, связать, как дикого зверя, как оленя с золотыми рогами. Счастье достаётся самому ловкому, самому сильному, самому отважному.

Через два дня боцмана торжественно провожали в последний путь. Гроб ещё с вечера выставили в часовне. В день похорон старые друзья дома собрались перед погребением на тихий завтрак. Ровно в двенадцать к дому подъехал экипаж молодого Дидриксена, мадам Олуфсен и старый Бенц сели туда с венками, а остальные отправились пешком на Хольменское кладбище.

Погода была уже по-летнему тёплая. Зеленели кусты среди могил, над памятниками суматошно кружились птицы в любовной игре. На фоне этого солнечного великолепия молчаливая горсточка провожающих — дряхлые старички, которые, опираясь кто на зонтик, кто на палку, медленно, с кряхтением плелись по дорожке в старомодных, изрядно обтрёпанных парадных костюмах, — напоминала скопище призраков. И лишь Пер, замыкавший шествие, гармонировал с весенним возрождением природы. Правда, и его захватила торжественность момента, но власть смерти над его душой рухнула. Когда собравшиеся тесным кольцом обступили могилу и озарённый солнцем гроб поплыл вниз, в мрачную, узкую и холодную яму, Пер вместе с чувством ужаса испытал нечто похожее на блаженство. Ведь он-то ещё принадлежит жизни, свету, и кровь ещё поёт в его ушах и многое сулит. Ещё есть время, ещё есть время!

С кладбища он зашёл домой переодеться. Он решил нанести визит Саломонам.

Но дома, на Хьертенсфрюдгаде, Пера ждал сюрприз. Посреди стола он увидел визитную карточку с короной, под короной стояло имя баронессы фон Берндт-Адлерсборг. В первую минуту он решил, что карточка попала сюда по ошибке, потом повертел её в руках и увидел несколько строчек на оборотной стороне. В изысканно любезных, почти униженных выражениях баронесса просила Пера удостоить её личной беседы и указывала часы, когда её можно застать в отеле «Англетер» сегодня или завтра.

Тут перед ним предстала вконец потрясённая жена плотника и поведала о визите знатной дамы, которая подъехала к их дому в собственной карете и спрашивала его. Дама эта оставила записочку и просила положить её на стол.

Пер ещё раз повертел карточку в руках. Баронесса фон Берндт-Адлерсборг — так и стоит, чёрным по белому!.. В жизни он не слышал ни о какой баронессе.

— Может, это ошибка? Вы уверены, что она спрашивала именно меня? Она назвала меня по имени?

— Ясно, назвала. Она так и сказала: «Мне нужен господин Сидениус». А когда узнала, что вас нет дома, просто ужас до чего расстроилась.

Самые дикие предположения вихрем закружились в голове Пера.

— А как она выглядит? — спросил он. — Молодая?

— Да уж не сказать, что старуха. Так, вроде бы моих лет, — ответила плотничиха, которой было под пятьдесят.

— Но это действительно была дама? Я имею ввиду: настоящая дама?

— Вот наказание! Говорят вам — дама. У неё в карете лежала во-от такая меховая накидка!

Пер взглянул на часы. Если он хочет сегодня же отыскать загадочную баронессу, времени остаётся в обрез. А ему, конечно, не терпится узнать, в чём тут дело. Поэтому он решил отложить визит к Саломонам до другого случая, надел свой лучший костюм и пустился в путь.

Бородатый швейцар встретил его весьма надменно, но, услышав, к кому Пер идёт, засуетился, согнулся в почтительнейшем поклоне, распахнул перед ним дверь и принялся так трезвонить, что чуть не оборвал от усердия колокольчик. На звонок в мгновение ока как из-под земли явился лакей и горничная. С помпой, с какой пристало встречать разве короля (так, во всяком случае, думал Пер), когда тот наносит визит королеве соседнего государства, лакей и горничная препроводили его по широкой, устланной ковром лестнице и затем по длинному коридору, в конце которого его передали из рук на руки камеристке, говорившей только по-шведски. Камеристка взяла у него визитную карточку, а затем провела его в небольшой салон, убранный с естественной для всякого приличного отеля, но восхитившей Пера элегантностью: мебель, обитая красным плюшем, и хрустальная люстра под потолком.

Пер, обычно весьма невозмутимый, вдруг ощутил некоторый трепет. Ему пришла в голову мысль, что это просто ловушка, в которую его заманил какой-нибудь недоброжелатель, чтобы всласть посмеяться над ним.

Впрочем, долго раздумывать ему не пришлось, ибо из соседней комнаты вышла дама высокого роста и направилась к нему.

Назвать её молодой было нельзя, красивой — тем более. Увядшее лицо, нос подозрительно красноват. Черное, без всякой отделки платье тоже показалось Перу простеньким, почти бедным. И в то же время ни на секунду нельзя было усомниться, что эта женщина принадлежит к высшему свету. Во всей фигуре, в осанке, в каждом жесте, в том, как она подала ему руку и поблагодарила за приход, — словом, во всём была та тонкая обходительность и такт, которые не купишь ни за какие деньги и которые даются лишь в удел подлинной, родовой знати.

— Милый господин Сидениус, надеюсь вы не очень удивлены тем, что я захотела увидеть вас и побеседовать с вами, — так начала баронесса, когда оба они уселись друг против друга в красные плюшевые кресла. Вы ведь были до самого конца доверенным лицом и другом моего дорогого покойного брата. Вы, вероятно, и приняли его последний вздох...

Только тут Пер сообразил, в чём дело. Он вспомнил, как адвокат и душеприказчик Ниргора рассказывал, что у покойного остались две сестры, одна из которых замужем за богатым шведским помещиком.

А баронесса тем временем продолжала:

— Меня давно уже мучило желание познакомиться с тем человеком, к которому был так привязан мой единственный брат и в котором возродилась его молодость, как он сам писал в письме, где изъявлял свою последнюю волю. Но продолжительная болезнь моего возлюбленного супруга приковывала меня к дому. Мне не довелось даже проводить моего дорогого брата в последний путь.

Несколько необычная манера выражаться и странное подёргивание лица убедили Пера, что перед ним особа в высшей степени нервная. После слов «в последний путь» баронесса залилась слезами и несколько минут молчала, прижимая к глазам кружевной платочек.

Перу стало как-то не по себе, и он не прерывал молчания. Он до сих пор не мог избавиться от чувства неловкости, когда ему напоминали о его отношениях с эксцентричным самоубийцей.

— Да, мне на долю выпало немало горя, — продолжала баронесса, чуть успокоившись, — а потому не мешайте мне плакать... Вы уже, вероятно, слышали, что бог призвал к себе моего благородного супруга и оставил меня одну на белом свете.

Пер счёл уместным выразить своё глубочайшее сочувствие наклоном головы.

— Так знайте же, господин Сидениус, что я неоднократно собиралась написать вам не только от своего имени, но и от имени моей сестры, дабы вы не подумали, будто ваша судьба нам безразлична. Но у меня как-то всё не хватало духу. Да и вам вряд ли показалось бы приятно переписываться с совершенно посторонней и безразличной вам женщиной.

Пер поторопился пробормотать какие-то невнятные возражения.

— Да, да... и по правде говоря, я и сегодня не докучала бы вам своим визитом, если бы... ничего не подделаешь, я должна это сказать... если бы, придя на кладбище, не увидела прекрасные, свежие цветы на могиле моего брата. Я сразу догадалась, кто мог так трогательно почтить годовщину его смерти, и мной овладело неодолимое желание лично повидать вас и выразить вам свою благодарность за то, что вы с такой преданной и — если мне будет позволено так выразиться сыновней любовью храните память о моём несчастном брате.

Залившись краской, Пер опустил глаза. В тайниках сознания промелькнула мысль о фру Энгельгард. Сам он не имел даже представления о том, где похоронен Ниргор.

— А теперь дайте мне как следует вас разглядеть. — Баронессе всё больше и больше нравился этот молчаливый и стеснительный молодой человек, который стыдился своих благородных поступков. — Какой у вас цветущий вид! Вы, я вижу, не из тех современных молодых людей, которые легкомысленно прожигают молодость. Вам сколько лет?

— Двадцать три.

— Господи, как вы ещё молоды!.. Дай вам бог всяческого благополучия! Я знаю, в жизни вам пришлось нелегко. Брат мне писал. Вы рано лишились матери. А отца... отца вы вообще не знали.

Плюшевое сиденье жгло Пера. Он поспешил уйти от опасной темы.

— Вы здесь проездом, баронесса?

— Увы, проездом! Я приехала вчера вечером и, если бог даст, завтра уеду. Я еду к своей сестре, супруге гофегермейстера фон Прангена. Последние годы, как вам должно быть известно, она по состоянию здоровья жила на юге. Подумайте, я её не видела больше двух лет, а ведь мы все трое просто не могли обойтись друг без друга. Много лет подряд я знала одно только горе: необходимость жить вдали от моей дорогой родины. С Александром было то же самое. Он всю любовь своего щедрого, привязчивого сердца отдавал родине. Вы, должно быть, слышали, господин Сидениус, что его королевское высочество принц Уэльский в свое время изволил заинтересовать собой моего брата и даже предложил ему место в нашем лондонском посольстве. Сами понимаете, что при такой протекции перед Александром открывалась блестящая карьера. Но, несмотря на всю заманчивость предложения, брат его не принял. Моя досточтимая матушка жила тогда в Копенгагене, сестра была ещё не замужем... Александр всей душой любил Копенгаген и боготворил родной дом. Он просто не мог жить вдали от знакомых мест. Я думаю даже, что мрачные настроения возникли у него именно тогда, когда скончалась матушка и он остался наедине с прошлым. У него и здоровье испортилось в последнее время. Но при всём том... понять не могу, как он мог на это решиться!

Воспоминания о печальной кончине брата снова вызвали на сцену носовой платок, а Пер, воспользовавшись случаем, встал и откланялся.



Баронесса, не покидая кресла, взяла руку Пера и с теплотой, поистине материнской, пожала её обеими руками.

— Я так рада, что повидала вас! Надеюсь, мы будем теперь чаще встречаться. Обещайте навестить меня, когда я вернусь из-за границы. Скорей всего я проведу это лето у сестры и зятя, в Керсхольме, и ни секунды не сомневаюсь, что и для них вы будете желанным гостем.

— Спасибо большое, баронесса, — выдавил из себя Пер. — Конечно... Если только я не буду в тягость, — от смущения он решительно не знал, что сказать.

— Ну как вам не стыдно это говорить! Вы ведь теперь до некоторой степени член семьи. По крайней мере я именно так истолковала последнюю волю покойного брата. Убеждена, что и сестра разделяет мои мысли. Дай вам бог всего самого хорошего! И ещё раз спасибо за то, что вы так трогательно почтили память Александра.

Медленно, нетвёрдыми шагами вышел Пер из отеля. Только сейчас он сообразил, как может пригодиться ему это знакомство и теперь, и в будущем, если разумно и энергично его использовать, не предаваясь ненужным угрызениям совести. Случай, слепой и невероятный, открыл ему доступ в высшее общество. Если он не ошибётся, земельные угодья упомянутого гофегермейстера Прангена расположены в средней Ютландии, именно там, где должен пройти его соединяющий оба моря канал, а стало быть, у гофегермейстера есть особые причины с интересом отнестись к его проекту. Так или иначе, надо испробовать все возможности. Игра пошла крупная, сколько ни захвати козырей, всё будет мало.

Тут ему подумалось, что теперь, может быть, вовсе не обязательно ближе знакомиться с семейством Саломонов. Девушка, конечно, очень мила, но стоит ли из-за этого родниться с евреями? Кто знает, не представится ли ему в недалёком будущем возможность сделать самую блестящую партию.

Однако, если взглянуть с другой стороны, у Саломонов наверняка бывают директора банков, биржевые воротилы, крупные промышленники, словом, те финансовые тузы, которые — если называть вещи своими именами — правят миром. Даже без всякой женитьбы для него было бы очень важно познакомиться с этими людьми и заручиться их поддержкой. К тому же баронесса собирается уезжать, а ждать некогда. Сегодня или завтра, но уж никак не позже чем через два-три месяца в его руках должна быть волшебная палочка, которая даст ему власть над людьми и уподобится в его руках стреле громовержца.

Незаметно он дошёл до рынка и поглядел на башенные часы. Ещё можно успеть к Саломонам, и лучше не откладывать визит до другого раза. Однако, встреча с баронессой несколько вывела его из равновесия, поэтому он предпочёл зайти сперва в кафе, выпить кружку пива, успокоиться и внутренне подготовиться к предстоящему визиту. Он ни разу не бывал в еврейских домах, но много слышал о том, как строго соблюдают там старые обычаи и традиции. Ему надо произвести хорошее впечатление, значит, придётся глядеть в оба.

Мало-помалу мысли его снова обратились вспять. Удивительней всего, что необдуманные слова, которые тогда ночью вырвались у него в разговоре с Ниргором, возымели столь далеко идущие последствия. Именно намёки Пера на тайну своего происхождения — если верить баронессе — произвели такое глубокое впечатление на её брата. Помнится, он тогда же раскаялся в своей легкомысленной болтовне, но не счёл нужным своевременно внести ясность. Теперь он впервые пожалел об этом.

«А впрочем, стоит ли долго думать? — Он допил свою кружку. Упущенного всё равно не воротить. Поступки весьма сомнительного свойства приносят иногда добрые плоды. А главное, кто хочет идти вперёд, не должен оглядываться назад».

Семейство негоцианта Саломона — одно из очень немногих в Копенгагене — занимало отдельный дом на Бредгаде, в самом центре города. Это был двухэтажный особняк, далеко не роскошный и зажатый вдобавок между двумя огромными доходными домами. Но, присмотревшись внимательнее, наблюдатель открыл бы в его линиях своеобразную благородную простоту. Остроконечная крыша, выложенная иссиня-чёрной черепицей, и



широкие простенки с несомненностью указывали на его аристократическое происхождение. Недаром старожилы здешних мест до сих пор именовали его «палаццо». Во времена оные здесь проживало знатное, но разорившееся семейство, а в начале тридцатых годов дом купил отец Саломона, оптовик. Через новомодные стеклянные двери парадного подъезда гость попадал в вестибюль, такой большой, что на звук шагов отвечало эхо. Стены вестибюля были сплошь увешаны доспехами, старинной бронзовой утварью и великолепным восточным оружием, словно в настоящем музее. В дальнем конце вестибюля двойная лестница с позолоченными перилами вела в комнаты второго этажа.

Горничная, которой Пер вручил свою карточку, провела его в библиотеку и попросила подождать. Пер опустился в кожаное кресло и внимательно огляделся по сторонам.

Ну и ну!.. Багряные гардины из тяжелого шелка на окнах... под ногами — во весь пол — мягкий пушистый ковёр в палец толщиной... обои кожаные, с золотым тиснением... Восьмиугольный стол посреди комнаты, выложенный серебром и перламутром... на полках книги в дорогих переплётках... на стенах картины, с потолка свешивается старинный храмовый светильник с письменами... возле стены антикварный, с богатой резьбой, поставец с целой коллекцией старинного серебра — кружки, бокалы, кубки и среди них даже несколько старинных церковных чаш.

Не будь Пер так взволнован своим визитом к баронессе, вся эта роскошь произвела бы на него ещё большее впечатление. Впрочем, он и без того почувствовал некоторый трепет. Столь беззастенчивая демонстрация власти денег невольно внушала почтение. Дрожь охватывала при мысли об их беспредельном всемогуществе, которое привлекло сюда сокровища многих народов, которое заставило даже священные сосуды украшать еврейский дом.

Пер чуть смущенно улыбнулся. Ничего не скажешь, — поистине, не одной лишь красотой искупает маленькая принцесса Саломон свою «черноту».

Неслышно распахнулась дверь соседней комнаты, в библиотеку вошёл человек пребезобразной внешности и низко поклонился Перу. На вид ему можно было дать лет пятьдесят, однако наряд у него был самый модный и приличествовал скорей юноше: он был в коротком светлом сюртучке, на его груди болтался монокль, в руке он держал сверкающий цилиндр.

— Разрешите представиться: директор Дельфт, — со странным акцентом сказал вошедший. — Я здешний дядюшка.

За такую учтивость Пер охотно простил Дельфту отталкивающий вид.

— Меня зовут Сидениус.

— Ах, так вы и есть тот молодой инженер? Племянник много про вас рассказывал. Да вы присядьте, пожалуйста. Фру Саломон, моя сестра, занята сейчас с портнихой. Она сию минуту освободится. Прошу вас! Устраивайтесь поудобнее.

Пер снова опустился в кресло. Дядя сел на стул чуть поодаль.

— Позвольте задать вам один вопрос... имел ли я честь видеть вас здесь ранее?

— Нет. Я совсем недавно познакомился с фру Саломон и её дочерью.

— А-а, с моей племянницей Нанни... Я, кажется, уже слышал об этом.

Последовало молчание, затем господин Дельфт с усмешечкой и с той притворной любезностью, которая бы всякого, кроме Пера, заставила насторожиться, спросил:

— А моя племянница весьма недурна собой, не правда ли, господин Сидениус?

Пер опешил. Потом, снисходительно улыбнувшись, поглядел на своего странного маленького собеседника и сказал:

— Я нахожу, что фрекен Саломон очень хороша собой. Она просто красавица.

— Да, да, внешность у неё, можно сказать, незаурядная... Смеем вас заверить, она уже не одного юношу привлекла в этот дом. Красота всевластна. Молодость тоже! Ну и, между нами говоря, мой зять располагает некоторыми средствами.

«Вот сумасшедший!» — подумал Пер и ничего не ответил.

Но господин Дельфт не унимался:

— Если вы, господин инженер, будете чаще удостаивать нас своим посещением, вам наверняка представится возможность от души повеселиться. У нас можно наблюдать презанятные вещи. Поистине, деньги обладают магнетической силой! Не так ли, господин Сидениус? Эти маленькие металлические кружочки пробуждают глубочайшие чувства... вызывают благороднейшие душевные порывы. Дружбу, уважение, любовь... Не так ли, господин Сидениус?

Пера начал не на шутку раздражать этот странный разговор. По счастью, вновь появилась горничная и, распахнув дверь в соседнюю комнату, пригласила его туда.

Пер последовал за ней, и глазам его открылась комната, или, вернее сказать, зала, которая уже окончательно убедила его, что он попал в царство настоящего богатства — сказочное царство миллионов. В этой огромной зале с роскошным лепным, в стиле рококо, сводчатым потолком, где по углам красовались четыре жирных ангелочка, изо всех сил дувших в золоченные трубы, старые хозяева устраивали приёмы и балы. Теперь эту залу, где прежде, надо полагать, стояла какая-нибудь дюжина стульев на тонких ножках да пара высоких трюмо в простенках, захлестнула, в соответствии с требованиями моды, лавина мебели и всяческих украшений. Здесь были и уютные диваны, и глубокие мягкие кресла, столы и козетки, медвежьи шкуры и декоративная зелень, статуэтки на постаментах, этажерки с безделушками, и снова кресла, и снова столики, большие столики, маленькие столики, и снова зелень, и картины, и незаконченный портрет на мольберте. Посреди комнаты красовался раскрытый концертный рояль, из соседней комнаты, отведённой под зимний сад с пальмами, каменными деревьями и певчими птицами, доносился плеск фонтана.

И вдруг на пуфике возле окна он увидел фру Саломон — она совсем по-домашнему расположилась здесь с шитьём. Она очень радушно встретила его и приветливо протянула ему левую руку.

Не успели они обменяться несколькими незначущими фразами, как распахнулась дверь зимнего сада, и оттуда донеслась задорная песенка, закончившаяся раскатистой трелью. На пороге появилась фрекен Нанни в жакете и шляпке. Заметив посетителя, она с преувеличенным испугом оборвала трель и прижала к губам муфточку, словно желая удержать невольное восклицание.

Пер встал и поклонился.

Ему ни на минуту не пришло в голову, что Нанни заранее знала о его присутствии, — так естественно разыграла она свою роль.

— Ты ещё не ушла, детка? — спросила мать. — Я думала, тебя нет. Да, я вас не знакомя, вы ведь уже видели мою дочь.

Пер вторично поклонился и послал Нанни взгляд, пожалуй, слишком откровенно выражавший чувства, охватившие его. Ещё до того, как он увидел Нанни, ещё при первых звуках её голоса, которые отдались в его ушах звоном золотых монет, Пер принял окончательное решение. Вот оно — искомое средство! Когда она возникла перед ним в рамке двери, сопровождаемая солнечными лучами и пением птиц из зимнего сада, юная, цветущая, соблазнительная, словно восточная баядерка, она показалась ему сказочной феей, за которой, размахивая пальмовыми опахалами, летят гении победы.

Фрекен Нанни изящно присела на самый краешек стула. Началась обычная светская болтовня, с помощью которой незнакомые люди, ловко жонглируя целым набором избитых мыслей и выражений, исподтишка изучают тем временем внешность, характер и манеры собеседника.

Пер не обладал искусством вести светские разговоры. Его без остатка поглощала собственная персона и собственные дела. К тому же привычные темы не волновали его, он не знал никаких новостей — ни театральных, ни светских, ни политических, ни литературных. Он даже не давал себе труда как-то поддерживать разговор. Если ему тем не менее случалось несколько раз производить сильное впечатление на женщин, то потому лишь, что он ошеломлял их внезапностью нападения — точно рассчитанный прыжок тигра

из засады молчания в открытое поле дерзких признаний.

Пока девушка щебетала, он прикидывал в уме размеры саломоновского состояния. Глаза его украдкой скользили по зале. Мысль о том, что когда-нибудь всё это будет принадлежать ему, приятно щекотала нервы.

По счастью, фрекен Нанни могла вести разговор исключительно своими силами. Она сидела на краешке стула в самой безукоризненной позе, прижав локотки к бокам и положив на колени маленькую бархатную муфту с лентами; её хорошенький алый ротик не закрывался ни на минутку, а глаза тем временем деятельно и беззастенчиво изучали Пера дюйм за дюймом, от кудрей и до ног, обутых в грубоватые ботинки.

Фру Саломон, слушая дочь, даже забеспокоилась.

— Детка, ты, верно, позабыла, что у тебя урок музыки?

— Ах да, мамочка!

Нанни вскочила, бегло взглянула на мать, потом многозначительно задержала взор на Пера и выпорхнула из комнаты.

Пер после её ухода стал чрезвычайно рассеян. Фру Саломон принялась было расспрашивать Пера о его занятиях, но он давал ей самые нелепые ответы: так обворожила его фрекен Нанни. Даже её походка, которая сперва совсем ему не понравилась: Нанни тяжело ступала и вдобавок покачивала бёдрами — теперь показалась ему именно из-за этих особенностей совершенно очаровательной. Он счёл эти бессознательные уловки обольстительницы лишним доказательством её женственности.

Но вдруг он увидел ещё одну даму, в чёрном — она, должно быть, вошла в дверь за его спиной.

— Моя дочь Якоба, — представила фру Саломон.

Пер обомлел. Ему и в голову не приходило, что у Саломонов могут быть другие дети, кроме Ивэна и Нанни, и он горестно подумал о саломоновских миллионах, нераздельным обладателем коих уже мысленно считал себя. «А вдруг у них целая куча детей», — пронзила его страшная догадка.

Якоба была с виду несколькими годами старше сестры, выше ростом, стройней, но Перу она показалась чересчур костлявой. И вообще она слишком походила на своего брата Ивэна, у неё был тот же ярко выраженный еврейский тип лица, восковой бледности кожа, горбатый нос, широкий рот и маленький подбородок.

Мало того, что Перу не понравилась внешность Якобы, она вдобавок очень высокомерно, издали и не разжимая губ, ответила на его поклон. Пер сразу же заторопился домой.

— Так это и есть ваш хваленый самородок? — спросила Якоба, едва дождавшись, когда Пер притворит за собой дверь. — Вид у него довольно неотёсанный.

— Да, его воспитанием никто как следует не занимался, — согласилась фру Саломон. — Ивэн рассказывал, что он вырос в ужасных условиях.

Дочь пожалала плечами.

— Ах да, конечно... В этой стране все талантливые люди сплошь бедняки. Когда наконец хоть один талант родится и созреет не в ужасных условиях? Смотреть тошно, как эта печать убожества уродует даже лучших из лучших. Вдобавок, он и собой нехорош. А уж Нанни расписала его словно второго Байрона.

— Ну, что до красоты... Во всяком случае, он вполне прилично выглядит.

— Одни глаза чего стоят! По-моему, он просто урод, — сказала дочь и с шумом захлопнула книгу, которую она до того перелистывала. — На меня он произвёл очень неприятное впечатление: ни дать ни взять — лошадь со стеклянными глазами. А какой у него свирепый вид, — немного помолчав, добавила она тихим тоном, словно её внезапно посетило мрачное воспоминание.

— Ты, верно, чем-то раздражена.

— Конечно, раздражена. Ума не приложу, откуда у современных мужчин взялась привычка по-разбойничьи смотреть на женщин. Так и кажется, будто они прикидывают,

сколько фунтов мяса в твоём теле.

— Он, конечно, недостаточно воспитан, — примирительно заметила фру Саломон. — Но к молодым людям надо относиться снисходительно.

— Ты вечно так говоришь. А я понять не могу, почему нам навязывают всех неудавшихся гениев Ивэна. Заранее известно, чем это всё кончится, даже в самом лучшем случае. Помнишь, как было дело с Фритьофом Йенсенем? Он от нас ничего, кроме добра, не видел, отец не раз даже выручал его из денежных затруднений. А теперь он во всех газетах громит евреев.

— Знаешь, детка, лучше оставим этот разговор.

— Сдаётся мне, здесь пахнет христианской кровью, — раздалось вдруг за неплотно прикрытой дверью, и в узкую щель просунулось безобразное лицо дядюшки.

— А, это ты, — сказала фру Саломон. — Заходи же. Мы одни... но мне казалось, что я слышу детей.

— Вот тебе весь выводок, — ответил ей брат, и в комнату ворвалась целая стая одетых в пальто и шапочки черноглазых детишек всех возрастов, от двенадцати до четырёх лет, числом не менее пяти, причём все такие здоровенькие и крепкие, что Пер просто в отчаяние бы пришёл, окажись он здесь в эту минуту. Поднялся страшный гам, все пунцовые ротики открылись одновременно, у всякого нашлось, что порассказать. Детишки обступили мать, потом сестру, потом дядю, черные глаза горели от нестерпимого желания как можно скорей выложить все новости.

Когда шум немного поулёгся, дядя спросил:

— Правда ли, что ваш дом можно поздравить с новым приобретением? Я только что встретил здесь одного молодого человека, господина... господина, фу, ты чёрт, как же его звали? Совершенно неудобоваримое имя. Он из жеребьячьего сословия, не так ли?

— Ну вот, теперь ещё ты начни! — не вытерпела фру Саломон. — Слышать о нём больше не желаю. Это знакомый Ивэна, ясно? Сегодня он нанёс нам визит. Ясно? И будет!.. Генрих, ты останешься обедать?

— С вами?.. Сестра моя Леа, скажи мне по совести, случалось ли тебе отведать кошерного жаркого из свинины? — спросил её брат, и, как всегда, даже самые близкие не могли бы догадаться по его тону, шутит он или говорит серьёзно.

Фру Саломон оставалось только засмеяться.

— Я вижу, ты успел уже побывать на кухне. А теперь молчи. Я слышу шаги Саломона.

Подавленный великолепием богатого дома и взволнованный принятым решением, Пер словно в чадугу дошел до своей квартиры. Он нарочно выискивал самые безлюдные улицы: ему хотелось побыть одному. Наконец-то он не только избрал свой путь и наметил цель, но и нашел средства к достижению цели. Магические слова «зять Филиппа Саломона» распахнут перед ним врата счастья и повергнут весь род людской к его ногам.

Есть ли причины сомневаться в успехе? Когда вспомнишь обо всех чудесах, которые с ним приключались, поневоле согласишься с Ивэном: ведь сказал тот однажды, что Пер напоминает ему Аладина. И разве это не рука судьбы, что именно брат Нанни первым прочёл на его лбу божественные письмена: «Пришел, увидел, победил»?

## Глава VII

Среди тех, кто изо дня в день часов около двух пополудни, миновав тенистую аллею, скрывался под сводами биржи, немного нашлось бы избранников, которых швейцар в ливрее встречал так же почтительно, как встречал высокого румяного господина с чёрными курчавыми волосами, гладко выбритым двойным подбородком, на редкость толстыми багровыми губами и самыми заурядными купеческими бакенбардами. И в самом здании, в мрачноватом зале с колоннами, обнажалась не одна голова, когда тот проходил мимо. Особенное внимание возбуждало его появление среди агентов по продаже зерна, которые обычно гнездились в нишах окон, выходивших на канал, и среди судовладельцев, которые

являлись сюда в поисках выгодного фрахта и обычно молча восседали на длинной скамье слева от входа. Этот видный мужчина был не кто иной, как негоциант-оптовик Филипп Саломон, глава большого торгового дома «Исаак Саломон и сын», один из богатейших копенгагенцев, чьё состояние, по слухам, перевалило за семь миллионов.

На бирже он не задерживался. Когда служитель ударом колокола возвещал о завершении котировки, Саломон обычно уже возвращался в свою контору, управившись со всеми делами. Он не принадлежал к числу тех, для кого биржа заменяет клуб, где можно после завтрака встретиться со знакомыми, потолковать о новостях, разбранить последнюю премьеру; он редко бывал в театрах и вообще без крайней необходимости не принимал участия в общественной жизни. Всё своё время, всего себя он поровну делил между коммерцией и семьёй, причем коммерции он отдавал свой ясный и острый ум, а семье — любвеобильное и отзывчивое сердце. И при этом, надо сказать, никогда «не ошибался номером» (по выражению остряков, намекавших на то, что и контора Саломона и дом его находятся на одной и той же улице).

Филипп Саломон был единственным отпрыском весьма популярного в своё время Исаака Саломона, который дал имя фирме. Исаак Саломон представлял собой во многих отношениях явление исключительное, это был настоящий гений коммерции: он начал свою деятельность бродячим торговцем, а под конец фактически возглавил денежный рынок Дании. Народ в шутку прозвал его «золотым тельцом». Чего только не было у «Саломон-теляца»! Десятки морских трёхмачтовых кораблей, фабрики, плантации в Вест-Индии! Его ум открыл для датской торговли множество заморских рынков сбыта. Когда в 1819 году начались гонения на евреев, он больше других пострадал от произвола копенгагенской черни.

Он же купил в своё время и пресловутое «палаццо» и обставил его с баснословной роскошью. Одинаково неуязвимый как для благородного негодования, так и для завистливых насмешек, он не боялся соперничать в образе жизни со столпами аристократии. Он разъезжал по городу в карете, запряженной четвёркой чистокровных рысаков, а в особо торжественных случаях на запятках кареты красовались два ливрейных лакея. Он объявил себя покровителем наук, он оказал уйму денег на добрые дела, он гостеприимно распахнул двери своего дома перед художниками и музыкантами, хотя был он всего-навсего сутулый худосочный человек, который, правда, приобрёл, благодаря своей настойчивости, некоторые познания, но не получил настоящего образования, а жену свою, как утверждала молва, откупил за несколько сотен талеров у бедной еврейской вдовы из ютландского посёлка, где ему однажды случилось переночевать в пору своих странствий.

Со времён Исаака Саломона и осталась богатейшая коллекция восточного оружия в вестибюле да великое множество дорогих безделушек, по сей день наводнявших саломоновский дом, — та пёстрая и мишурная кунсткамера, которую его корабли свезли со всех кондов света и которую сын сохранил почти в неприкосновенном виде, не столько сообразуясь со своими собственными вкусами, сколько из сыновней почтительности.

Вообще, Филипп Саломон унаследовал от отца лишь его деловые таланты и трудолюбие. Да ещё, пожалуй, существовала какая-то связь между юношескими странствиями отца и любовью сына к природе. Летом Филипп Саломон перебирался на дачу раньше и оставался там дольше других финансистов, а в остальное время года он по воскресеньям с самого утра уезжал за город со всей семьёй, если только позволяла погода. Ради такого случая он сам правил лошадьми; жена садилась рядом, а за их спиной в шарабане копошился целый выводок детей, своих и чужих. Отъехав от города не меньше чем на десяток километров, делали первый привал около какого-нибудь ресторанчика или просто в лесу. Жена и младшие дети оставались возле корзинок с провизией, а старшие, с отцом во главе, отправлялись на разведку. Сдвинув на затылок широкополую шляпу, перекинув через руку пальто, грозный король биржи весело вышагивал впереди шумной ватаги горбоносых детишек, а детишки плясали вокруг него, дрались, визжали от восторга, — словом, веселились вовсю, как могут веселиться только городские, и особенно еврейские дети.



Они карабкались на каждый холм, который попадался им на пути, Саломон заговаривал с каждым встречным крестьянином, и ни одного пастушонка не пропускал, не одарив его маркой. Но пуще всего Саломон любил собирать цветы и особенно радовался, когда мог преподнести жене большущий букет. Жена благодарила его за цветы, с улыбкой протягивая для поцелуя левую руку.

Фру Саломон была та самая, известная в начале пятидесятих годов Леа Дельфт — или фру Леа Мориц, как она именовалась в течение непродолжительного времени, — чья восточная красота принесла маленькой мануфактурной лавке на Силькегаде необычайную популярность среди тогдашних модников и свела с ума добрую половину из них. Дядя Генрих, брат фру Леа, клятвенно уверял, будто учреждение загородной психиатрической лечебницы госпиталя Св. Павла — произошло исключительно по вине Леа. Лавка принадлежала её родителям, выходцам из Германии, где и прошли детские годы фру Леа. Восемнадцать лет она вышла замуж по страстной любви за своего двоюродного брата Маркуса Морица — бедного чахоточного учёного, от которого у неё родилось двое детей — Ивэн и Якоба. Впрочем, Якоба родилась уже после смерти отца. Фру Леа вернулась к родителям. При всей своей бедности, её родители (тоже двоюродные брат и сестра) принадлежали к числу еврейской знати, чем оба очень гордились. И когда Леа, проведовев несколько лет, обручилась с Филиппом Саломоном, старики сочли это чуть ли не мезальянсом; миллионы жениха только отчасти заставили их примириться с тем обстоятельством, что отец его когда-то бродил по стране с коробом за плечами. Зато для самой вдовы состояние Саломона и страх за судьбу детей сыграли решающую роль. Она так себе и сказала: «Один раз я послушалась только своего сердца, теперь очередь за рассудком». Впрочем, она никого не обманывала. Сердце её было достаточно богатым и, воздав должное разуму, оно не погибло. Оно просто пожертвовало от щедрот своих. Так или иначе, Филипп Саломон был впоследствии с избытком вознаграждён за тот недостаток любви, который обнаружил у своей супруги в день бракосочетания.

В полном согласии они прожили двадцать счастливых лет. За эти годы фру Леа, о которой прежде говорили, что у неё самое красивое лицо во всём Копенгагене, самая красивая фигура во всей Дании и самые красивые руки во всём мире, несколько раздалась в ширину, но в облике её полностью сохранилось то, что принято называть «породой» и что знатоки распознают с первого взгляда. В форме головы, в линиях носа с горбинкой, в двойном подбородке, а главное в посадке головы было величие, напоминавшее бюсты римских императриц. В густых чёрных волосах, локонами ниспадавших на уши, серебряные нити попадались очень редко, молочно-белая кожа лица осталась чистой и гладкой, зубы были хороши, как в молодости, тёмно-карие глаза не утратили своего блеска. И Филипп Саломон был до сего времени пылко влюблён в жену и порой, забывшись, прямо посреди гостиной так страстно прикивал своими толстыми, негритянскими губами к её руке или щеке, что ей приходилось взглядом напоминать ему о присутствии детей.

Один только недостаток знала за собой фру Саломон, и с годами он усугублялся. Из далёкой юности, когда она частенько гостила у своих родственников в Германии, и с первого замужества, фру Саломон сохранила столь глубокие, столь богатые впечатления о размахе жизни за границей, что до сих пор не могла чувствовать себя в Копенгагене как дома. Никому, кроме мужа, она не решилась бы признаться в этом, но тоска по той стране, которую она считала своей истинной родиной, ни на минуту не покидала её. Каждый год она на месяц, а то и больше уезжала в Германию навестить родственников. И когда ей хотелось придать своим словам особый вес, она вставляла в свою речь немецкие обороты.

По её же настоянию Ивэн и Якоба воспитывались, главным образом, за границей, ибо ей «ни к чему», так говорила фру Леа, не совсем уверенно изъяснявшаяся тогда по-датски, чтобы её дети «измельчали» в «провинциальном городишке», каким ей представлялся Копенгаген. Что до Якобы, тут имелась ещё и другая причина. Якоба всегда считалась трудным ребёнком, она была слишком впечатлительна, слишком болезненно восприимчива ко всякому оскорбительному намёку на её национальность, и помимо того — очень

слабенькая, хилая, отчего её детство свелось к непрерывному мученичеству. То она приходила из школы бледная как мертвец, а все потому, что какой-то мальчишка на улице крикнул ей вслед «жидовка». То она делалась больна от огорчения, когда какая-нибудь из её голубоглазых товарок самым обидным образом отвергала её дружбу, которую Якоба в страстных поисках понимания и сочувствия не уставала предлагать, несмотря на длинную цепь горьких разочарований. Она унаследовала от своей матери богатую, одухотворённую натуру, не унаследовав ни её счастливого характера, ни здоровой уравновешенности, ни снисходительной и мудрой усмешки, которой фру Леа одинаково встречала и предрассудки света, и дикость черни.

А главное, Якоба не унаследовала классической красоты матери. Подростком она была просто уродлива: тощая, бледная, с крупными, резкими чертами и без малейшего намёка на то очарование молодости и породы, которое у многих подростков искупает нескладную угловатость переходного возраста. И уж, конечно, она вряд ли кому становилась милее от того, что неустанно стремилась, где только можно, затмить подруг и поквитаться за те унижения, которые ей приходилось сносить от них. Память у неё была исключительная, усидчивость — редкостная, и, отвечая на уроке, она обнаруживала познания необыкновенные для столь юного существа; с горя она старалась и другим способом возбудить зависть в своих товарках: принесёт, бывало, в школу пакетик самых дорогих конфет и завоюет с их помощью кратковременный успех.

Мало-помалу отношения с учителями и одноклассниками настолько обострились, что директриса посоветовала родителям взять её из школы, и образование своё Якоба завершила в швейцарском пансионе.

Пребывание Якобы в швейцарском пансионе и, одновременно, курс, пройденный Ивэном в немецкой коммерческой академии, возбудили недовольство среди тех, у кого после неудачной войны с Германией болезненно обострилось национальное чувство. По этой причине Саломены решили воздержаться от посылки за границу младших детей.

За Якобой по возрасту шла Нанни, но это была особа вполне благополучная. Ещё в колыбели она тешила взоры своим цветущим здоровьем и завидной округлостью; все с ней носились, все её ласкали, как прелестную кошечку, и это даже не причинило ей большого вреда, если не считать чрезмерного желания нравиться всем и каждому и некоторой изнеженности. «Образцовый ребёнок», — называл её отец, ибо она никогда не выходила из равновесия, никогда не хворала, не знала даже, что такое зубная боль. Но именно она вносила великую смуту в жилище Саломенов, ибо вечно где-то пропадала и большую часть дня проводила в пальто и шляпке. Голос её разносился по всему дому, десять раз на дню возвещая о её приходе. А если поздним вечером из спальни девочек доносился смех, визг и тяжелый топот, то все уже знали, что это Нанни приняла ванну и теперь в белой ночной рубашке и с распущенными волосами отплясывает перед сёстрами тарантеллу.

Проживал в этом доме, или, вернее сказать, ежедневно навещал его, ещё один беспокойный дух — дядя Генрих, брат фру Леа. Этот маленький человечек, чья внешность столь разительно отличалась от внешности сестры, являл собой и в других отношениях наглядное доказательство того, сколь неравномерно распределяются наследственные черты в еврейских семьях. Господин Дельфт был старый холостяк, себя он почему-то величал «директором». В ранней молодости он «легкомысленно» обошёлся с доверенными суммами, после чего провёл ряд лет в Америке, а затем (если верить его словам) в Индии и Китае, где подвизался в роли агента английских фирм. Затем, сколотив небольшой капитал, он вернулся на родину, несмотря на свой преклонный возраст, принялся усердно наслаждаться всеми доступными ему радостями жизни, нисколько не сетуя на их однообразие. О своих странствиях и путевых впечатлениях, равно как и о размерах своего состояния, он высказывался с такой сдержанностью, что это невольно наводило на мысль, будто он многого не договаривает. Даже наедине с близкими родственниками он делал вид, будто сказочно богат и по-прежнему является одним из совладельцев и директоров англо-китайской паровой компании. Вообще же он занимал весьма скромную трёхкомнатную

квартирку и весьма умеренно расходовал деньги на всё, что непосредственно не служило удовлетворению его потребностей. Охотно тратился он только на свою персону: одевался по последней моде, словно молодой щёголь, ежедневно бывал у парикмахера, чтобы подвить и надушить остатки своих чёрных волос, а при торжественных occasions втыкал в галстук булавку с брильянтом, за который, как он выражался, «любая королева согласилась бы подарить ему свою любовь». Когда племянницы хотели поддразнить дядю, они утверждали, будто камень поддельный, и один раз он в бешенстве покинул дом Саломонов и целую неделю там не показывался потому лишь, что зять и сестра тоже позволяли себе усомниться в чистоте камня.

Дядю Генриха вряд ли можно было назвать приятным и обходительным человеком, но сама ядовитость его была проникнута каким-то особым, бессознательным юмором.

И неблагоприятная роль сторожевой собаки при доме сестры — роль, взятая на себя совершенно добровольно, и злорадство, когда ему удавалось хорошенько тяпнуть за ногу кого-нибудь из гостей, имевших несчастье навлечь на себя его гнев — сюда прежде всего относились те, кто по его наблюдениям зарился на лакомое приданое, — всё это было продиктовано одной навязчивой идеей, будто, кроме него, за девочек некому заступиться и некому дать им хороший совет. Однако, дядя Генрих не совсем без задней мысли так бдительно охранял осаждаемых претендентами племянниц. За всем его бахвальством таилось сознание того, что именно он, Генрих Дельфт, покрыл позором своё славное имя, и нет более верного пути искупить содеянное, чем выступить в роли провидения, — помешать племянницам выскочить за первого встречного и помочь им сделать самую блестящую партию.

Много лет подряд Саломоны почти ни с кем не водили знакомства. Благочестивые евреи не жаловали этот дом, где даже не считали нужным умалчивать о своём неверии (причём фру Леа была ещё более откровенна, чем её муж), а светская жизнь в свою очередь не прельщала Саломонов, и потому они ограничились тем, что принимали у себя два раза в месяц, а близких друзей уведомили, что будут им рады в любое время.

Но когда вернулся из Германии Ивэн и подросла Нанни, всё переменялось. Правда, Ивэну не вполне удалось превратить родительский дом в некоторое подобие княжеского двора эпохи Возрождения, однако к Саломонам стали вхожи наиболее известные представители молодого поколения и среди них писатели и художники.

Якоба по-прежнему почти круглый год жила за границей. В старом швейцарском пансионе она обрела второй дом; здесь, среди высоких гор, мечтала она укрепить своё здоровье, ставшее с годами ещё более хрупким. Правда, лето она вместе с родителями проводила на даче, но с первыми же заморозками — и при первой угрозе возобновления светского сезона — немедленно исчезала. И вдруг — Якобе шёл тогда девятнадцатый год — всего через месяц после её отъезда в пансион родители получили от неё какое-то сумбурное письмо, где она как бы между прочим сообщала, что собирается насовсем вернуться домой. Через несколько дней пришло другое письмо, в котором Якоба извещала домашних о своём скором приезде, а вслед за ним телеграмма — уже с дороги — о том, что завтра прибудет в Копенгаген.

Хотя родители привыкли к той поспешности, с какой Якоба осуществляла свои решения, на сей раз и они забеспокоились, смутно догадываясь, что у Якобы есть какие-то особенно серьёзные причины торопиться с отъездом. Фру Леа высказала мужу предположение, что здесь, вероятно, замешан мужчина. Минувшим летом Якоба с большим жаром рассказывала о некоем адвокате и крупном политическом деятеле из южной Германии. Адвокат этот приходился племянником директрисе пансиона и несколько раз заезжал в гости к тётке. Фру Леа хорошо знала натуру дочери, уже послужившую причиной множества жестоких разочарований. И действительно, когда Якоба вернулась, можно было сразу понять, что её сердце разбито, но поскольку сама она не вызвалась объяснить родителям, в чём дело, и сказала только, что ей стало одиноко среди новых пансионеров и потому её потянуло домой, никто не стал приставать к ней с расспросами, а уж мать и

подавно, ибо именно она всегда требовала уважать тайны сердца и, например, за много лет совместной жизни так и не открыла мужу, почему она никогда не позволяет ему целовать свою правую руку. Она просто сказала, что в молодости дала такой обет тому, кого любила, в священную для обоих минуту.

Вот уже четвёртый год Якоба безвыездно жила дома. Ей сравнялось двадцать три года, но она ещё до сих пор ни с кем не была помолвлена. В женихах за это время недостатка не было, среди них попадались иногда очень завидные, ибо Якоба со временем стала почти хорошенькой, несмотря на свой болезненный вид. Особенно привлекала утончённая внешность Якобы пожилых мужчин. Некоторые даже предпочитали её яркой, но слишком заурядной красоте Нанни. На бледном лице с горбатым носом и слабо развитым подбородком, из-за которых поклонники сравнивали Якобу с орлом, а насмешники с попугаем, — сверкали огромные чёрные глаза с синеватыми, порой почти тёмными белками. Нос был велик для этого лица, рот широк, губы тонки, но зато взгляд незабываемый: гордый и боязливый, в нём угадывалось и одиночество, и глубина мысли. Она уродилась выше других сестёр, у неё были длинные, стройные ноги, на редкость бесшумная походка, быстрая и лёгкая. Те, кому посчастливилось видеть её улыбку, говорили, что у неё великолепные зубы. И, наконец, во всём её нервном облике, в подвижной и сухощавой фигуре таилось то неповторимое духовное очарование, которое сообщают хрупким женщинам пережитые скорби и страдания.

Но всякий, кто говорил о ней, прежде всего говорил о её внутреннем мире. Люди восхваляли её ум, её сильную волю и разносторонние познания. Живя в уединении, она всю свою любовь отдала книгам, изучала живые и древние языки, литературу, историю и нетерпеливо вторгалась в новые сферы, чтобы утолить ненасытную жажду знаний.

Фру Саломон утверждала, будто Якоба — вылитый отец.

И всё же из молодых людей и мужчин средних лет, которые ко времени первого визита Пера составляли круг постоянных друзей дома, большинство бывало здесь ради Нанни. И не потому лишь, что они почти единогласно признали её красавицей, но и потому, что считали, будто Нанни — как родная дочь Саломона — получит большую долю наследства, хотя Саломон в своё время усыновил и Якобу, и Ивэна. Вдобавок Якоба была не из тех, к кому можно подступиться с легкомысленными ухаживаниями. Она редко показывалась на людях и скрывала врожденную робость под оскорбительной холодностью.

На скромном семейном обеде в самом узком кругу, куда впервые попал Пер, кроме нескольких пожилых финансистов, присутствовали также поэт Поуль Бергер, кавалерийский офицер Хансен-Иверсен, кандидат словесности Баллинг и журналист Дюринг. Пер никого из них прежде не встречал, кроме Бергера, да и того с трудом узнал. Сей фанатичный богоборец и преданнейший последователь Натана сменил мефистофельскую бородку на более окладистую и завёл себе новое выражение лица. Теперь он больше всего походил на общепринятое изображение страждущего Христа; один из присутствующих по секрету сообщил Перу, что Бергер только и мечтал о таком сходстве. Из того же источника Пер узнал, что Бергер совсем недавно, к великому удивлению друзей, выпустил несколько религиозных стихотворений, с помощью которых надеялся разом убить двух зайцев — добиться благосклонности Нанни и вскарабкаться на датский Парнас.

Кандидат Баллинг, от которого Пер и получил эти ценные сведения, тоже принадлежал к литературной среде, но был не поэтом, а литературоведом. Это был тонкий, как глиста, долговязый юноша с львиной гривой и лицом плоским и невыразительным, как блин. Ударившийся в благочестие поэт, со своей стороны, не преминул в укромном уголке сообщить Перу, что Баллинг — беспросветный идиот, который помешался на своём докторе Натане и теперь тоже хочет стать гением и первооткрывателем великих истин, но пока не нажил на этом деле ничего, кроме катара желудка. Никто, конечно, не стал бы отрицать, что Баллинг очень начитан, что он проглотил не одну библиотеку, что он нафарширован всевозможными цитатами и что, чуть до него дотронешься, из него тотчас же сыплется чья-нибудь чужая премудрость, короче, что он — идеальный представитель породы книжных



червей, которые присасываются к литературе, словно пиявки, высасывают из неё живую и тёплую кровь, а сами так и остаются холодными и скользкими. Год назад вышла книга Баллинга об античной трагедии, и поскольку книга была тепло встречена печатью, Ивэн тут же приложил героические усилия, чтобы залучить Баллинга в свой дом.

Пер, не без волнения ожидавший встречи со своими соперниками, теперь совершенно успокоился. Даже кавалерист Иверсен не устрасил его, хотя это был соперник весьма достойный, с дерзкими голубыми глазами и белокурыми усами на загорелом лице.

Что до журналиста Дюринга, то тут Пер вообще усомнился, точно ли он из числа соперников: вряд ли, если судить по тому, как небрежно Дюринг разговаривает с дамами. Ивэн всячески старался из каких-то непонятных соображений свести Пера с Дюрингом. Едва только Дюринг пришёл, он их сразу же познакомил и за столом не жалел трудов, чтобы вовлечь их в общий разговор и заставить Пера порассказать о своих планах.

Но Пер не испытывал ни малейшего желания беседовать на серьёзные темы. Нанни совершенно полонила его, — и право же, она была обворожительна в своём сильно декольтированном фуляровом платье и с красными розами в чёрных волосах. Он удостоился высокой чести вести её к столу, и это отличие в сочетании с радостями чисто гастрономического порядка и непривычной для него роскошью сервировки ударило ему в голову и вывело из равновесия. В курительной комнате, куда мужчинам подали кофе и ликёры и где дядя Генрих с дьявольской злокозненностью всё время наполнял стакан Пера, последний чуть было не оскандалился. Он дружески похлопал по плечу хозяина дома, зычным голосом похвалил его вина и кушанья, а затем в пламенных выражениях живописал красоту дам. Гости постарше обступили Пера плотным кольцом и потешались, глядя на молодого человека, который явно впервые попал в приличное общество.

Фру Саломон и Якоба тем временем беседовали с белокурым господином средних лет, не курившим и потому оставшимся в гостинной. Господин этот был некий Эйберт, крупный фабрикант и весьма известный политический деятель либерального толка, член так называемой «европейской» группы. Эйберта все уважали, как человека широких взглядов и незаурядных познаний. Среди близких знакомых дома он считался будущим мужем Якобы. Он был не первой молодости — ему минуло сорок, вдовел и имел двух детей от первого брака. О его любви к Якобе знали решительно все. Он не таился ни от родителей, ни от самой Якобы.

Родителей вполне устраивала подобная партия, ибо Эйберт был испытанный друг дома, и к тому же человек состоятельный, стало быть не приходилось опасаться, что он мог польститься на богатое приданое. И вообще Саломены были бы по многим причинам рады поскорей выдать Якобу замуж, так как в голове у них накрепко засели слова их домашнего врача, профессора-еврея, который без обиняков говорил: «Дочка у вас не из тех, кто может засиживаться в девках».

С законным беспокойством стареющего жениха при появлении в доме всякого нового, и особенно молодого мужчины, Эйберт сразу завёл речь о Пера, поинтересовавшись, что это за юноша так расшумелся к концу обеда.

— Это господин Сидениус... один из приятелей Ивэна, — ответила фру Саломон, как бы извиняясь перед Эйбертом за своего гостя.

— Ах, Сидениус, так, так! Скажите, а он случайно не того... — Господин Эйберт выразительно покрутил приставленным ко лбу пальцем.

— Да нет, вряд ли, — улыбнулась фру Леа. — Но, конечно, он весьма беспокойная личность.

— Должно быть, это у него наследственное.

Якоба подняла глаза от книги, которую она перелистывала как будто совсем не прислушиваясь к разговору.

— Нет, он пасторский сын, — возразила она.

— Ну так что же? У него в роду, надо полагать, полным-полно духовных лиц, — не сдавался фабрикант. — Именно, поэтому родословное древо должно время от времени



давать дурные побеги. Помнится, мой дядя — ютландский помещик — рассказывал мне про некоего, теперь, вероятно, уже покойного, пастора из Венсюсселя, которого все называли не иначе как «Бесноватый Сидениус», — и не без основания, надо сказать. Если верить дяде, — а ему далеко не всегда можно верить, — этот Сидениус был сущий разбойник, который ввязывался в любую драку. В числе прочих историй дядя рассказывал историю про причетника: «Бесноватый Сидениус» однажды под пьяную руку, простите за грубость, спустил с него невыразимые и во имя отца, сына и святого духа отвесил бедняге на глазах у прихожан три таких шлепка, что на всю церковь отдалось. Оригинальное наставление, не правда ли? Но наш Сидениус расстался из-за этого со своим саном и его заперли куда следует.

Фру Саломон с улыбкой выслушала забавную историю, а Якоба почему-то помрачнела и нахмурилась, но именно её брезгливое выражение развязало язык обычно несловоохотливому фабриканту и побудило его несколько приукрасить свою повесть, дабы сделать её более устрашающей.

Из курительной снова донёсся зычный голос Пера. Якоба съёжилась. От этого голоса у неё мурашки забегали по коже. Она снова уткнулась в книгу, и невесёлые воспоминания нахлынули на неё.

Дело было четыре года назад, на большом берлинском вокзале. Она направлялась в свой швейцарский пансион последний раз — вскоре после этого она огорошила родных внезапным возвращением домой. Здесь, в Берлине, ей предстояло встретиться с подругой из Бреславля и отсюда продолжать путь уже совместно. На душе у неё было беспокойно. Она знала, что через несколько дней опять увидит молодого адвоката, которого любит и который, — так ей тогда казалось, — тоже любит её. Поэтому она места себе не находила дома и уехала гораздо раньше, чем обычно... Войдя под своды вокзала, она увидела невдалеке кучку жалких оборванных людей, окруженных кольцом зевак, которых двое полицейских старались не подпускать слишком уж близко. По пестроте платья и лицам южного типа она заключила, что это должно быть, цыганский табор, высылаемый из столицы по приказу властей. Опасаясь слишком сильных для своего смятенного сердца впечатлений, она пошла в другой конец платформы, чтобы попасть в зал ожидания. По дороге ей встретились двое железнодорожных служащих с носилками. На носилках лежал худой, измождённый старик, прикрытый пальто, и глядел прямо перед собой невидящими, горячечными глазами. Испуганная Якоба спросила у одного из железнодорожников, где находился зал ожидания, но тот в ответ нагло осклабился и посоветовал ей принюхаться, благо у неё такой нос. Не дослушав, она повернулась к нему спиной и поспешила дальше. У распахнутых дверей, охраняемых полицией, тоже теснились любопытные. Они вытягивали шеи и поднимались на цыпочки, стараясь заглянуть внутрь. Якоба с трудом протискалась сквозь толпу — и вдруг увидела зрелище, от которого застыла на месте.

Там, в большом полутёмном зале, прямо на полу сидели и лежали такие же загадочные оборванцы, как и те, которых она видела на перроне. Их было несколько сотен — мужчины и женщины, дети, седобородые старики и грудные младенцы. Одни были полураздеты, у других сквозь заскорузлые бинты на руках и голове сочилась кровь; и все были бледны, покрыты грязью и ужасающе худы, словно много дней подряд им пришлось глотать дорожную пыль под лучами палящего солнца. Якоба сразу же заметила, что эта пёстрая, если не считать одинаковых белых платков у женщин, толпа распадается на отдельные группки-семьи, и у каждой семьи есть свой глава, по большей части невысокий черноглазый мужчина в длинном кафтане с кушаком. Мужчины опирались на посохи, к кушакам были привязаны кружки. У многих ничего при себе, кроме этого, не было, другие прихватили кой-какую кухонную утварь, а кое-где малыши караулили узелки с пожитками, составлявшими, по-видимому, всё достояние семьи.

Первую минуту Якоба ровным счётом ничего не понимала. Потом она вдруг схватилась за сердце: в полумраке зала она разглядела нескольких мужчин явно еврейского вида с белыми повязками и нескольких дам. Мужчины и дамы раздавали сидящим платье и еду. Тут

только Якоба догадалась, в чём дело. Чуть не падая от головокружения, она поняла, что это очередная партия гонимых из России евреев, которых последние полгода транспортируют через Германию за океан. Целое лето читала она про истерзанных страхом беженцев, так много натерпевшихся у себя на родине от дикого разгула черни при попустительстве, а то и прямой поддержке со стороны властей. Она читала, как в России по ночам поджигали еврейские дома, грабили их до нитки, бесчестили еврейских женщин, забивали камнями стариков, резали младенцев, и по водосточным каналам вместо воды текла кровь; изо дня в день она читала об этом, но пыталась утешить себя, доказывая, что все эти слухи преувеличены, что не могут так бесчеловечно расправляться с мирным и трудолюбивым народом в наш век, век свободы и гуманизма.

— Берегись! — раздалось за её спиной.

Это были те двое с носилками, они не без труда проложили себе дорогу через зал, чтобы унести ещё одного больного — одного из многих. За ними в дверях показалось двое полицейских. Полицейские с профессиональной невозмутимостью несколько минут изучали эту печальную сцену, после чего удалились, бряцая саблями.

Смотреть дальше Якоба не могла, перед глазами вспыхнули багровые молнии. Задышавшись, бросилась она в зал первого класса. Окна здесь выходили на площадь. Внизу шумели и смеялись люди. Дребезжали трамваи, собаки весело носились, радуясь солнцу. Якоба ухватила за подоконник, чтобы не упасть... Подумать только, это не сон! Это явь! Преступления, позорные, вопиющие к небу, свершались на глазах у всей Европы, и ни один властный голос не заклеймит их позором. Колокола церковей благовестят мир на земле, священники с амвона возвещают о благодати веры и о любви к ближнему, и всё это — в стране, где толпы зевак с хладнокровным любопытством, со злорадством даже, глазят, как несчастных, бездомных людей во имя христианского милосердия гонят, словно зачумлённых, по странам Европы навстречу мукам и гибели.

Якоба вздрогнула: по площади размеренно вышагивали те двое полицейских — чистопробные пруссаки, лейтенанты с бычьими затылками, с длинными саблями и с серебряными эполетами на богатырских плечах. Руки Якобы сжались в кулаки. Тупая профессиональная невозмутимость и надменные физиономии стражей закона показались ей символом бесчеловечной самоуверенности этого насквозь пропитанного фарисейством христианского государства. Она возблагодарила судьбу за то, что у неё не было при себе оружия, когда она стояла от них в двух шагах. Теперь она поняла, что не удержалась бы и прикончила их на месте.

А дальше своим чередом пришло разочарование в любви, но оно никогда не причинило бы ей такой боли, не будь этой страшной сцены на берлинском вокзале. Новый удар вызвал в памяти унижение недавнего прошлого, скорбь нынешняя и скорбь минувшая смешались и всецело завладели её умом.

В те дни она твёрдо решила никогда не связывать свою судьбу с судьбой мужчины. Выходить замуж за еврея ей не хотелось. Не хотелось подвергать своих детей тем же унижительным нападкам, которые пришлось сносить ей из-за своего злосчастного происхождения. Но стать женой христианина казалось ещё страшней — слишком сильна была её ненависть к той церкви, которая много веков подряд хладнокровно обрекала смерти её близких. Сама порода христиан внушала ей глубокий ужас, представлялась страшной, как злобная угроза. При виде приземистого, голубоглазого и упитанного северянина, вроде Пера, она тотчас вспоминала тех широкоплечих, победоносно взирающих на мир полицейских, а когда вспоминала, у неё кулаки сжимались от жажды убийства.

Ко всему она чувствовала приближение старости. Она давно стала взрослой: лет с одиннадцати — двенадцати. В тринадцать она уже испытала первую любовь, глубокую и несчастную, а потому решила, что теперь пора дать сердцу покой.

О том, что верный друг Эйберт любит её и был бы счастлив назвать её своей женой, Якоба, конечно, знала. Беседы с Эйбертом доставляли ей большое удовольствие. При совершенном несходстве характеров, у них было много общих интересов — политических и

литературных, а главное, их роднило глубоко пессимистическое отношение к тому, что творится в Дании и во всем мире. В сущности, Эйберт даже нравился ей. Этот невысокий спокойный человек с гладко зачёсанными светлыми волосами и негустой окладистой бородкой действовал на неё благотворно, успокоительно и не пробуждал тягостного воспоминания о широкоплечей, грубой силе — воспоминания, отвращавшего Якобу от многих других представителей сильного пола. Вот только как мужчина Эйберт ничего не говорил её чувству. Лишь изредка, когда она слышала, как Эйберт с кем-нибудь беседует о своих рано лишившихся матери детишках, у неё вздрагивало сердце и кровь прилиwała к щекам; бывали даже минуты, когда её целиком захватывала мысль заменить мать детям этого одинокого человека и тем занять уготованное ей место на земле и выполнить своё призвание.

Однажды под вечер дядя Генрих сидел в библиотеке, удобно развалясь в мягком кресле, и курил послеобеденную сигару — обычную манилу с сильным, приторным запахом. Но недолго он наслаждался одиночеством: в библиотеку вошёл Ивэн и занял место против дяди.

— Слушай, дядя, у меня к тебе дело.

— Ты неудачно выбрал время. Ты ведь знаешь, как мне тяжело разговаривать на полный желудок.

— Но во время еды, если верить тебе, ты тоже разговаривать не желаешь, так что я уж и не знаю, когда к тебе можно подступиться.

— Когда я сплю. Ну ладно, выкладывай.

— Ты можешь оказать мне услугу?

— Ты ведь знаешь, что я принципиально никому не оказываю услуг. Давай поговорим о чём-нибудь другом.

— Хорошо, называй это сделкой или как тебе вздумается, — сказал Ивэн и принял свою излюбленную позу — поджал под себя одну ногу. — Так вот, слушай. Меня очень интересует один молодой человек... это такой человек...

— Ближе к делу... Речь идёт про очередного гения... Давай дальше!

— На этот раз я не ошибся, поверь мне! Это самый настоящий талант. Вот увидишь, он в своей области совершит нечто эпохальное. Но пока он очень беден.

— Беден? Ах да, я и забыл, что это одно из неперенных достоинств гения.

— Сам понимаешь, что здесь, у нас, ему не дадут выдвинуться. Таков обычный удел всех больших дарований. Но за него я не боюсь. Такой пробьётся, будь покоен. Я уже говорил о нём с Дюрингом, и Дюринг обещал при первой же возможности взять у него интервью и написать статью о великих изобретениях, которыми тот занимается.

— Короче говоря, ты имеешь в виду самоуверенного юнца с задраннм носом, того, который здесь вчера устроил шум. Ну, у него ещё такое дурацкое имя... Да, кстати, как его зовут?

— Сидениус.

— Майн готт! Подумать только, что есть несчастные, которым приходится всю жизнь носить такое имя.

— Так вот, он собирается уехать отсюда и обучаться за границей.

— Выходит, у него завелись деньги?

— Вовсе нет. Вот о чём я и собирался поговорить с тобой. Видишь ли, я хотел бы дать ему денег на дорогу; своих, как мне известно, у него нет. Но он человек гордый. И болезненно щепетильный в этом вопросе, он откажется... да, да, я просто уверен, что откажется, если я без церемоний предложу ему нужную сумму. Он сочтёт это оскорблением. Уж такой он человек.

— Зато твои деньжата останутся в целости.

— Какой вздор! Таким людям необходимо помогать. Дядя! Ты должен найти выход.

— Я? Ты что, рехнулся?

— Да, должен. Я надумал использовать тебя в качестве ширмы. Ты ведь не

откажешься, если я тебя хорошенько попрошу? Видишь ли, деньги надо предложить так, чтобы это не могло его оскорбить... и анонимно, только анонимно, иначе он не возьмёт. Ты можешь, к примеру, сказать, что какие-то там друзья и почитатели хотят выразить ему перед отъездом своё внимание... Можно предложить ему займы или ещё как-нибудь, — словом всё, что тебе придёт в голову.

Дядя Генрих поднял мохнатые брови и задумался. Он всегда был рад выступить в роли благодетеля, если это ему ничего не стоило. Да и Пер ему пришёлся по душе. Он решил, что это единственный из всех поклонников Нанни, у кого есть задатки, чтобы выбиться в люди и составить достойную партию для его племянницы.

— Ну а сколько ты хотел бы дать этому проныре?

— Столько, сколько ему понадобится. Я думаю, сотен пять-шесть. А то и больше. Надо открыть на его имя счёт у Гризмана, а через Гризмана он сможет получать деньги от меня.

— Племянничек, ты спятил! Вместе с матерью и с отцом, и со всем твоим семейством тебя можно отправить прямехонько в сумасшедший дом.

— У вас огонька не найдётся? — донеслось из гостиной, и в дверях появилась Нанни. Она упёрлась кулаками в бёдра и наклонилась вперёд. Во рту у неё торчала незажженная сигарета.

Дядя поморщился.

— Опять ты со своей соской... Я тебе сто раз говорил, что у неё мерзостный, отвратительный, невыносимый запах.

— Дядечка, ты не в духе? Какая жалость! Мне так хотелось поговорить с тобой.

— Тебе тоже?... Ну, выкладывай! Всё равно отдохнуть мне сегодня не придётся.

— Я тебе сейчас всыплю как следует, слышишь, дядечка?

— Ну всыпь, всыпь, да только поскорей.

— Я лично считаю, что тебе надо иметь побольше такта и не разгуливать со своими приятельницами по главной улице в те часы, когда там бывают приличные люди. В крайнем случае, можно бы ради родных выбрать себе спутницу покрасивее, а не это страшилище, с которым я тебя встречаю второй день подряд. Нам просто стыдно за тебя и за твой вкус.

Говоря это, она стала позади дяди и, облокотившись на спинку кресла, пускала ему в затылок дым своей сигареты. Как ни возмутили Генриха слова Нанни, он не двинулся с места и, полуприкрыв глаза, нежился под её тёплым дыханием.

— Нанни, я тысячу раз объяснял тебе, что это просто возмутительно, просто чудовищно, когда молодая девушка говорит такие гадости. А что до молодой дамы, о которой идёт речь, то она...

— Какой такой дамы?

— Ну с которой ты, вероятно, и видела меня, — один раз, к слову сказать... Так знай: это дочь моей хозяйки, очень воспитанная и в высшей степени порядочная...

— Я говорила не про молодую даму. Я говорила про старое чучело с красными цветами на шляпе и румянами на щеках. Ещё раз говорю — стыдно, дядя, очень стыдно!

— А я говорю, девчонка, что не тебе рассуждать о том, чего надо стыдиться. Ты посмотри лучше, каких людей ты заманиваешь в наш дом своим непристойным кокетством! Господин Си-де-ни-ус! Деревенский увалень, у которого только и хватает воспитания, чтобы не сморкаться двумя пальцами. А что за физиономия! Не иначе матерью у него была мадам Нахалка, а отцом господин Остолоп.

— По-моему, он очень недурён.

— Ах, скажите на милость, недурён! — передразнил дядя. — Запомни, Нанни, если ты выйдешь за христианина, да ещё христианина неблагородного происхождения, тогда...

— Что «тогда», дядечка?

Дядя Генрих сделал страшные глаза и ответил медленно, отчеканивая каждое слово:

— Тогда после моей смерти ты не получишь мою бриллиантовую булавку.

— Где уж мне! Ты ведь обещал оставить её Якобе. И Розалии заодно. И, если мне память не изменяет, Ивэну тоже.

В ярости дядя Генрих вскочил с кресла и выбежал из комнаты, крикнув на ходу:

— Всех в сумасшедший дом, всю семейку! Ноги моей здесь больше не будет. На вас глядя, сам спятишь. Хватит с меня!..

Ивэн и Нанни недоумённо переглянулись. Как всегда, они не могли понять, шутит он или говорит серьёзно.

В дверях показалась Якоба.

— Что вы наговорили дяде? Он прямо кипит.

— Ничего, — ответил Ивэн, — ты ведь знаешь, он терпеть не может моих друзей. На сей раз он раскипятился из-за Сидениуса, вот и всё. Я просто рассказал ему, что Сидениус собирается за границу и в этой связи попросил его об одной услуге. И больше ничего.

— Разве господин Сидениус уезжает? — спросила Нанни, и что-то в её тоне заставило Якобу испытующе взглянуть на сестру.

— Да, собирается. Больше Нанни ничего не спросила. Занятая своими мыслями, она вышла из комнаты, бросив недокуренную сигарету в стоявшую на столе пепельницу. — Боюсь, Нанни всерьёз понравился этот Сидениус, — сказала Якоба матери, когда они вечером сидели в гостиной возле зажженной лампы.

— С чего ты взяла? — с некоторым даже неудовольствием спросила фру Леа, так, словно эта мысль уже беспокоила тайно и её самое. Господин Сидениус совершенный вертопрах. А у Нанни достаточно здравого смысла. Кроме того, он собирается за границу, и наше знакомство кончится на этом, я надеюсь.

— Боюсь, что он не спешит уезжать, — помолчав, ответила Якоба. Она забилась в угол дивана, возле матери, и в мрачной задумчивости смотрела перед собой.

— Детка, ну откуда ты это можешь знать?

— Ах, мама, я ведь не слепая! Как только я увидела этого человека в нашем доме, я сразу поняла, ради кого он пришёл. А он не из тех, кто легко отказывается от того, что заберёт себе в голову. Ивэн такого же мнения. Этого человека во многом можно упрекнуть, но одного не отнимешь: характер у него есть.

Фру Саломон улыбнулась.

— Я вижу, ты начала примиряться с его существованием?

— Да нет, не начала я примиряться и никогда не начну. Уж слишком он мне не по душе. Я просто думаю, что это ещё незавершённая личность. Как знать, что из него получится при благоприятных условиях. Быть может, из него и в самом деле выйдет когда-нибудь подходящий муж для Нанни. А по мне, уж лучше такой зять, как Сидениус, чем такой, как Дюринг.

— Якоба, Якоба, да ты у меня сделалась форменной свахой! — сказала фру Саломон. — То ты возилась с Ольгой Давидсен, то решила пристроить собственную сестру.

Якоба покраснела: упрёк попал в цель.

Она опустила голову, чтобы скрыть своё смущение, и положила руку на плечо матери.

— Милая мамочка, ты ведь знаешь, что этим недостатком страдают все старые девы.

Этой весной Пер зачастил к Саломонам. Он по-прежнему ходил туда главным образом из-за Нанни, но весь их семейный уклад, столь для него новый и непривычный, тоже привлекал его.

Однажды вечером, когда Пер ушел, Якоба, не удержавшись, спросила:

— Любопытно бы узнать, о чём думает господин Сидениус, когда целый вечер сидит не раскрывая рта и только пялит глаза?

А думал Пер про свою семью. Он видел гостиную в родительском доме, такой, как она запомнилась ему: долгий зимний вечер, сонно мерцает лампа на столе перед волосяной кушеткой; отец прикрыл глаза зелёным козырьком и дремлет в своём кресле с высокой спинкой, Сигне вслух читает газету, а младшие сестрёнки склонились над шитьём и то и дело поглядывают на большие часы, прикидывая, скоро ли ночной сторож прикажет отходить ко сну. Пер явственно слышит тихие вздохи, доносившиеся из спальни, когда больному сердцу матери не хватало воздуха. Тихо шипит лампа, из печи тянет торфяным



дымком, и этот запах мешается с запахом лекарств и пятновыводителя.

Но при сравнении родительского дома с этим ему бросалась в глаза не только разница между убожеством одного и роскошью другого. Куда заметнее была разница в атмосфере, в характере отношений, в самом тоне. Когда он слышал, как избалованные дети, будто с равными, разговаривают со своими родителями, когда видел, как фру Саломон обсуждает с дочерьми весенние моды, обдумывает, какой цвет и какой фасон им больше всего к лицу, и прямо-таки заставляет их одеваться со вкусом, когда замечал, как здесь от души интересуются всем, что творится на белом свете, и при этом не слышал ни единого намёка на тёмные силы «потустороннего мира», разговоры о которых словно могильным холодом пронизывали дом Сидениусов, где день начинался и кончался молитвой, где псалмами и песнопениями отгораживались от мира, где для человека духовно развитого считалось постыдным изящно и просто прилично одеваться и мало-мальски заботиться о своей внешности, — словом, когда Пер делал эти сопоставления, он благодарил судьбу, которая ниспослала ему то, что он хотел искать в дальних чужих странах: свела его с простыми, обыкновенными людьми, которым равно чужды и царствие небесное, и геенна огненная.

Да и само богатство предстало перед ним в новом свете. До сих пор он по-мужицки считал, что деньги — это просто оружие в ожесточенной схватке за место под солнцем. Теперь он осознал, как много значит безбедное, обеспеченное существование для правильного духовного развития человеческой личности, для формирования спокойного, независимого характера. Он начал понимать, что значит преклонение перед деньгами, свойство, которое обычно приписывают евреям и которое выводит из себя правоверных Сидениусов. Он помнил, как отец презрительно отзывался о «служителях мамоны», как учитель закона божьего, худосочный, измождённый человек, ероша волосы учеников рукой, пропахшей табаком, увещевал их не собирать себе сокровищ на земле, где тля и ржа их истребляют. Пер думал о том, как в этой маленькой захудалой стране поколение за поколением воспитывалось в ханжеском презрении к «суетным земным благам», как беспросветное духовное убожество и мерзость запустения пропитали все слои общества, — и ему хотелось, чертям назло, громко, на всю страну крикнуть: «Шапку долой перед золотым тельцом! На колени перед мамонной... спасителем и благодетелем рода человеческого!»

Впрочем, Пер отлично сознавал, что и сам ещё не до конца избавился от той светобоязни, которую порождает у многих ослепительный блеск золота. При виде этой роскоши он чувствовал, как просыпается в нём душонка гнома. Сравнивая солнечный, повосточному яркий дом и своё собственное житьё-бытьё с его убогими и скудными радостями, с вечными угрызениями совести и вечной неустроенностью, Пер не мог далее сомневаться в том, что он и впрямь подземный дух, «дитя тьмы», как называл его отец. Вся жизнь в этом большом, богатом, для всех открытом доме, где собирались свободные, уверенные люди, представлялась ему духовным зеркалом и пробуждала заново оглядеть самого себя. Перу ещё не случалось общаться с людьми, чьё превосходство он бы столь явно ощущал. Даже в обычном разговоре с молодыми фрёкен Саломон или их приятельницами ему приходилось всячески изворачиваться, чтобы скрыть недостаток культуры и пробелы в образовании. Тайком он пытался наверстать упущенное и начал с самого рьяного изучения книг Натана, чьё имя было в этом кругу у всех на устах. Хотелось ему также пополнить свои весьма скудные познания в языках, чтобы не опозориться в доме, где частенько бывают иностранцы и где даже малыши бегло говорят по-английски, по-немецки и по-французски.

Хотя ходил он сюда по-прежнему из-за Нанни, ему всё большее удовольствие доставлял разговор с фру Саломон и с Якобой. Как собеседницы они были для него полезнее. Невольно он проникся глубоким уважением к Якобе, ибо та с одинаковой лёгкостью рассуждала о древнегреческой философии и о новейшей политике Бисмарка, отнюдь не будучи при этом синим чулком. Хотя сначала она ему совсем не понравилась, да и теперь далеко не всё в ней было ему понятно, он очень ценил возможность поговорить про книги, которые уже прочёл или собирается прочесть, и чрезвычайно расположил её в свою пользу искренним интересом к трудам доктора Натана — выдающегося человека и глашатая нового

времени, по мнению Якобы. Разговоры о Натане были для них тем островком, где они могли встречаться в мире и согласии и куда их — каждого по-своему — влекло самое глубокое чувство: ненависть к церкви, омрачившей их юность. Пер не таился от Якобы. С наивной откровенностью рассказывал он о себе, и эта откровенность помогла ему завоевать если не симпатию, то по крайней мере снисходительность Якобы. Она куда больше значила для его развития, чем сама о том подозревала. Впрочем, и Пер не сознавал, как сильно её влияние, влияние человека, во многих отношениях его превосходящего. Поэтому, при всём своём уважении к ней, он никак не мог понять, в чём секрет благоговейного почтения, каким она пользуется, к примеру, на больших приёмах, где присутствуют выдающиеся деятели либеральной партии. Покуда Нанни резво носилась по всем комнатам в сопровождении литературоведа Баллинга, Поуля Бергера и тому подобных шутов, вокруг Якобы, хотя та держалась с обычной сдержанностью и даже строго, собирались сливки общества, настоящие знаменитости: университетские профессора, известнейшие врачи, — словом, самый цвет тогда уже весьма влиятельной партии. Однажды Пер случайно услышал, как кто-то из них крайне сожалел о том, что женщина такого ума и таких дарований не намерена, судя по всему, осчастливить какого-нибудь представителя мужского пола. «Да и то сказать, за кого ей прикажете выходить замуж? — сам себе возразил говоривший. — Такой королеве нужен по меньшей мере наследный принц. А размазня Эйберт ей не пара». Эти слова, пусть даже сказанные в шутку, очень сильно повлияли на Пера и заставили его иначе взглянуть на внешность Якобы.

Присмотревшись, он заметил и горделивость её осанки, и то, что орла она всё-таки напоминает больше, чем попугая. Понял он всю прелесть её походки — лёгкой, но уверенной, ему понравилось, как она ступает: бесшумно, по-кошачьи. И садиться в кресло она умела величественно, как никто другой, и даже сморкалась, на взгляд Пера, очень благородному — быстро и решительно.

Однажды вечером они случайно оказались вдвоём в большой библиотеке. Нанни отправилась на званый обед и через час должна была вернуться. Пер не спешил домой, надеясь дождаться Нанни. Пер и Якоба сидели друг против друга за восьмиугольным столом с наборной перламутровой крышкой. Лампа стояла между ними, и жёлтый шелковый абажур отражался в блестящей поверхности стола. Подперши голову рукой, Якоба перелистывала какое-то иллюстрированное издание. Оба молчали; потом Якоба вдруг спросила, каким образом он, Пер, выходец из духовной среды, вдруг задумал овладеть прикладной профессией и стать инженером.

— А вам это не нравится? — уклончиво ответил он вопросом на вопрос.

— Почему же не нравится? — И Якоба с большим жаром заговорила о той огромной роли, какую приобретает техническая деятельность в деле раскрепощения человека, ибо, уничтожая расстояние между странами с помощью паровоза, телеграфа, парохода, она способствует сглаживанию противоречий, что является первым шагом на пути к воплощению исконной мечты человека о братском единении всех людей на земле.

Пер украдкой поглядел на Якобу и залился румянцем. Ему и в голову не приходило рассматривать свою деятельность с этой точки зрения, но мысль поставить свой проект на службу столь благородной идее приятно взволновала его. Он даже как-то настроился на торжественный лад.

Впрочем, так случалось всякий раз, когда он разговаривал с Якобой. Подобно книгам Натана, её слова, будто вспышка молнии, озаряли далёкие и чуждые сферы мысли и представляли пред ним как заманчивое откровение.

«Какая умница, какая умница!» — не раз думал он, глядя на её тонкие, непроницаемые черты; потом уносился мыслями в сказочный мир, и ему казалось, будто против него сидит молодая сивилла. В такие минуты Якоба становилась сверхъестественным существом, величественной хранительницей земной мудрости.

— Ах, как жаль, что я не знал вас раньше!

Хотя Пер всячески постарался придать своим словам задорный оттенок, они позвучали

вяло. Якоба улыбнулась отнюдь не поощрительно, но он продолжал:

— Согласен, я неудачно выразился, но это чистая правда. Мне всё время кажется, что я только сейчас начинаю становиться человеком. И не без вашего благосклонного участия, хотите вы того или нет.

— Кем же вы были до сих пор?

Пер ответил не сразу.

— Помните, в датской хрестоматии есть сказка про гнома, который через кротовую нору выбрался на землю, чтобы пожить среди людей, и все было бы ничего, но всякий раз, когда солнце выглядывало из облаков, он непременно чихал... Ах, об этом можно говорить без конца.

И тут им овладело непреодолимое желание сейчас же раскрыть ей свою душу. Не в силах противиться, он рассказал — хоть и в комических тонах — о своём детстве и о навсегда испорченных отношениях с родными.

Якоба уже знала кое-что от Ивэна. Внезапная откровенность Пера смутила её, и она не просила его продолжать.

Да и всё равно дядя Генрих помешал бы им. Старый грешник редко упускал возможность полюбоваться на своих племянниц в бальном туалете. Ещё с порога он спросил о Нанни.

Тут как раз перед домом остановился экипаж, и Нанни, словно сильфида, вприхнула в комнату.

Завидев Пера, она остановилась и с нарочной медлительностью спустила белый палантин с обнаженных плеч.

Пер встал и рассеянно посмотрел на неё. Роскошные плечи выступали из белого шелкового платья с глубоким вырезом, и вся она была красивая, разгоряченная после танцев, и глаза у неё сияли восторгом... Но все же... Он перевёл взгляд на Якобу. Та сидела в мягком свете лампы, задумчиво подпёрши голову рукой. Если сравнить, ещё неизвестно, кто выйдет победительницей.

С каким-то непонятным чувством он откланялся и медленно побрёл домой. Потом вдруг остановился посреди улицы, сдвинул шляпу на затылок и чуть не в ужасе спросил себя:

— Боже милостивый! Выходит, я полюбил Якобу?

## Глава VIII

Чтобы сделать известным своё имя и поскорей достичь желанной цели в саломоновском доме, Пер с некоторых пор загорелся идеей опубликовать небольшую брошюрку с изложением своих планов. Брошюрка была задумана как ответ полковнику Бьерреграву, как вызов всему доморощенному инженерному причту, который хотел повергнуть его в прах, заставить его прозябать в безвестности. Пусть эти господа узнают, что курилка ещё жив.

Помимо того, он хотел доказать необходимость полной перестройки всей системы путей сообщения в Дании. С цифрами в руках, — без цифр тут не обойдёшься, — он хотел убедить публику, сколь неразумно и даже пагубно для страны, бедной топливом и со всех сторон омываемой морями, прокладывать дорогостоящие железные дороги, вместо того чтобы сделать главный упор на разветвленной системе каналов, которая свяжет любой городок с открытым морем. В первую голову он хотел вызвать тем самым интерес к своему собственному проекту, подробное описание которого с чертежами и схемами должно было содержаться в книге.

И, наконец, он собирался изложить там некоторые общие соображения. Пришпоренный словами Якобы о том, что в борьбе за современную цивилизацию люди техники неизбежно будут играть главенствующую роль, Пер решил предпослать своей книге краткое, но энергичное вступительное слово и высказать ряд мыслей о задачах дальнейшего развития

Дании.

Не откладывая дела в долгий ящик, он засел за работу. Пусть он не бог весть как владел пером и никогда не блистал ни по части орфографии, ни по части пунктуации, теперь это его не останавливало. Взяв себе за образец доктора Натана, он развернул перед своими читателями картину глубокого упадка, до которого за минувший век довело датскую нацию «ученое филистёрство», затем перешёл к изображению беспросветной нищеты, которая неизбежно ожидает Данию, буде она, вопреки здравому смыслу и опыту других стран, не умерит традиционные восторги перед благодатным изобилием масла и свинины и не даст народу новые источники дохода.

Этой мрачной картине он противопоставлял описание сказочной страны, какой может стать Дания за короткий срок с помощью развитой промышленности. Перо бегало по бумаге, а он видел, как могучие пароходы, груженные сырьём из дальних стран, бороздят светлые воды его каналов. Как гигантские фабрики возносятся по берегам укрощенных рек. Слышал, как жужжат колёса и рокочут турбины. В бесплодной, ютландской степи, где теперь с грехом пополам может прокормиться несколько отошалых овец, вырастали многолюдные города, полные кипучей жизни, города, где в полночный час людей не будет больше пугать зловещий колокольный звон, где могучие лучи электричества разгонят мрак и обратят в бегство духов тьмы.

В один прекрасный день, когда он, пылая вдохновением, сидел за работой, к нему явился неожиданный гость. Сперва раздались быстрые удары тросточкой по кнопке звонка, и затем перед ним возник «директор» Дельфт, ослепительный господин Дельфт собственной персоной, во всём великолепии светлого парижского костюма, напояженный, надушенный, с голубоватым моноклем, который весьма удачно скрывал сильную косину.

— Да, видит бог, вы недурно спрятались, — начал он с места в карьер и оценивающим взглядом окинул тёмную комнатуху, заваленную бумагами и чертежами. — Значит, здесь вы составляете фальшивые векселя на будущее. Идеальная конура для фальшивомонетчика. Мой бог! Надеюсь, я не помешал вам расписывать тысячерублёвую ассигнацию? Ха-ха-ха!

Пер уже свыкся с манерой дяди Генриха выражаться более чем откровенно, а потому не обиделся. Однако улыбнулся он весьма натянуто. Он терпеть не мог этого уродца и был очень недоволен, что тот вздумал заявиться к нему. «Чего этому старому черту надо?» — подумал он.

— Вас не очень удивляет мой визит? — осведомился с наигранным трепетом господин Дельфт, после того как по просьбе Пера занял место в однорукой качалке. — Я давно уже собирался побывать у вас, но дела, знаете ли, нет ни минуты свободной. Вы не представляете, сколько у нашей компании забот из-за беспорядков в Китае и волнений в Индии. Я целый день без передышки строчу телеграммы. Насилу вырвался, чтобы поболтать с вами, как это говорится, о том о сём. — Здесь дядя Генрих умышленно сделал паузу, чтобы разжечь любопытство Пера. Но Пер спокойно выжидал и ничего не спросил.

Пауза затянулась. Господин Дельфт снова доскональнейшим образом изучил сквозь своё стёклышко убогую обстановку комнаты.

— Скажите, господин Сидениус, вам не приходилось бывать в Китае?.. Ну а в Индии?.. Но в Америке-то вы по крайней мере бывали?.. Решительно всем молодым людям следовало бы съездить в Америку и поучиться там великому искусству пробиваться в жизни.

Очередная пауза, после которой господин Дельфт заговорил несколько другим тоном, более осторожно.

— Не припомните ли вы, дорогой господин Сидениус, незначительный разговор, который мы вели с вами, когда я имел честь впервые увидеть вас в доме моего зятя? Вы тогда очень тепло отзывались о моей племяннице, за что я вам бесконечно признателен. Я ещё позволил себе обратить ваше внимание на удовольствие, какое вы можете получить, изучая забавнейшие типы людей, привлечённых в этот дом красотой моей племянницы. Скажите, разве я был не прав? Комическое зрелище, не так ли? Лезут в дом с важным видом всякие сопляки без гроша в кармане и начинают волочиться за девочками, да ещё делают



лица невинные и чистые, словно подмытый зад у грудного младенца.

Пер подумал, что, не будь на свете Якобы, старый болтун давно бы вылетел отсюда.

— Это, знаете, так по-датски, не правда ли? — ничтоже сумняшеся продолжал господин Дельфт, окинув ещё более сострадательным взглядом жалкую комнатуху Пера. — В других странах такого не бывает, там это и в голову никому не придёт. Взять хотя бы Америку...

Тут дядя Генрих рассказал про одного молодого человека из Нью-Йорка, который ухитрился сделать блестящую карьеру и даже выхватить миллиардерскую дочку из-под носа у графов и баронов, хотя сам не имел ни гроша за душой и столовался в дешевом ресторанчике.

— Это был некий Штадльман, по национальности австриец, то ли гений, то ли шарлатан, называйте, как хотите, — во всяком случае, он собирался получать молоко и масло непосредственно из роскошной травы американских прерий, без помощи коров. Идея, что и говорить, блестящая! Ну так вот, он ставил свои опыты в лаборатории и там познакомился с родным сыном Сэмюела Смита. Вы, надеюсь, слышали это имя биржевого воротилы с Пятой авеню, человека, который стоил миллионов семьсот — восемьсот, и не чего-нибудь, а долларов. А у Сэмюела была единственная дочь двадцати лет, и накажи меня бог, ежели она по уши не влюбилась в этого проходимца и не пожелала выйти за него замуж. Ну что вы скажете? Разумеется, для начала жениха просто спустили с лестницы. Если бы такой человек, как Сэмюел, вздумал спихнуть свою дочь за первого встречного, его бы засмеяла вся Америка. Многие из нас весьма внимательно следили, как говорится, за ходом событий, и вот в один прекрасный день сидим это мы у себя в клубе, и вдруг нас осеняет мысль, что тут можно сделать хороший бизнес. Тогда, не сходя с места, мы учреждаем акционерное общество.

— Акционерное? А что вы собираетесь разрабатывать? — Пер стал несколько внимательнее.

— Как что? Разумеется, этого молодого человека. Вернее сказать, его шансы на успех. Мы основали акционерный капитал — сперва пять, потом десять тысяч долларов, чтобы он мог зажить в Нью-Йорке настоящим барином, снять роскошную квартиру на Бродвее, держать слуг и верховых лошадей, давать обеды для журналистов, фигурировать на страницах газет... Короче, не прошло и двух месяцев, как его знал уже весь Бродвей. И тогда он отправился к Сэмюелу и попросил у Сэмюела руки его дочери.

— И Сэмюел отдал ему свою дочь?

— Ни черта он ему не отдал. У него были свои планы. Он сам был сыном мусорщика и желал поэтому непременно выдать дочь за дворянина.

— Что же стало с акционерным обществом?

— Оно процветало. Мы получили капитал на капитал.

— Ничего не понимаю. Если отец соглашался выдать дочь только за дворянина...

Само собой, мы устроили парню дворянский титул. Это обошлось ещё в четыре тысячи долларов, но зато мы раздобыли для него одно из самых старинных и знатных имён во всей Европе. Всё было очень несложно. Парень дал нам адрес старой вдовствующей графини фон Рабен-Рабенштейн — австриячки; это была обедневшая особа преклонного возраста, она держала пансион для молодых девиц. Мы отправили ей длинное письмо и приложили к нему билет до Нью-Йорка и обратно; в письме мы просили её почтить своим присутствием церемонию торжественного открытия детского приюта, созданного нами в благотворительных целях. Приют состоял из трёх мальчишек и старой, спившейся негритянки, которую мы специально наняли на три месяца; но об этом мы, разумеется, в письме не сообщали. Приют-де будет носить высочайшее имя и принимать только детей австрийского происхождения. Против этого она, конечно, устоять не могла. Всё было разыграно как по нотам. На пристани её встретило в полном составе наше акционерное общество с букетами в руках. Карета, запряженная четвёркой, отвезла графиню на торжественный обед в отель «Нэзерленд», где её представили своре журналистов как родную



тётку Штадльмана. На другой день всё это попало в газеты. Потом мы подсунули ей составленный по форме документ об усыновлении и долго размахивали перед её носом тысяchedолларовой бумажкой, покуда она не хлопнулась в обморок. Полгода спустя в присутствии всей аристократии Соединённых Штатов была с поистине царской роскошью отпразднована свадьба новоиспеченного графа фон Рабен-Рабенштейн. Я могу с полным правом судить об этом, ибо я сам был в числе приглашенных и удостоился высокой чести вести к столу молодую герцогиню фон Катанья, урождённую Симпсон.

Низко наклонив голову, Пер нервно теребил усы. Рассказ господина Дельфта затронул его больное место: у него было очень скверно с деньгами, едва-едва хватало на прожитьё, и он бесплодно ломал себе голову над тем, с каких доходов печатать книгу.

Но сидел он спокойно и с наигранной улыбкой слушал нескончаемую историю, которая, кстати, очень смахивала на все рассказы господина Дельфта, сопровождавшие обеды у Саломонов. Пер решил, что разумнее всего, пожалуй, держаться поприветливей со старым плутом. Он торопливо соображал, не поможет ли ему Дельфт перехватить где-нибудь деньжонок на не слишком безбожных условиях.

— А знаете, это совсем не так глупо основать акционерное общество на одних лишь перспективах молодого человека. Право же, господин директор, этот опыт следовало бы повторить и у нас. У меня только одно возражение: почему вы хотите непременно иметь дело с матримониальными планами? Из всех планов они самые ненадёжные. Почему бы не сыграть на широких возможностях, которые открываются перед энергичным и деятельным молодым человеком? Ну, допустим, на возможностях молодого, талантливого инженера, разработавшего интересную идею... Скажем, оригинальную систему водных сооружений?

Господин Дельфт ответил безжалостной улыбкой.

— Ну, название особой роли не играет, лишь бы звучало прилично. То общество, к примеру, именовалось «Компания по изготовлению молока и сливок искусственным путём». Блестящее название. Оно побудило нескольких легковерных толстосумов предоставить нам необходимые гарантии.

— Превосходно! Итак, вы полагаете, что в наших условиях возможно учредить подобное общество, если найдётся человек, который предоставит чертежи, расчёты и проекты, убедительно доказывающие, что его план при достаточной настойчивости может принести миллионные барыши?

— А почему бы и нет?

Эта неожиданная откровенность заставила Пера насторожиться. «Всё ясно, он хочет заманить меня в ловушку, — подумалось ему. Планы мои он теперь знает, а выведав всё, что нужно, он так распишет меня перед Якобой и её семейством...»

При этой мысли Пер снова замкнулся и не проронил больше ни слова. Но когда господин Дельфт взялся за шляпу, словно собираясь уходить, Пер всё-таки струхнул.

Он твердил себе, что выбора не осталось, что надо хвататься за любую возможность, лишь бы достать денег, и что потому стоит рискнуть ещё разок. Тут его вдруг разобрала досада. Как унизительны эти нескончаемые денежные заботы. Вечно приходится изворачиваться, лгать, лицемерить, чтобы раздобыть самое необходимое. Забыв с горя все предосторожности, он прямо сказал:

— Господин директор, давайте говорить начистоту. По вашему поведению я догадываюсь, что вам известны мои чувства к вашей племяннице. И я вполне согласен с вами: в моём теперешнем положении было бы чистым безумием питать какие бы то ни было надежды на союз с дамой, наделённой столь редкими достоинствами, как внутренними, так и внешними.

— Прекрасно сказано, мой друг, прекрасно!

— Хорошо, пойдём дальше. Вы сами завели этот разговор и тем дали мне право открыто спросить у вас: не желаете ли вы, господин директор, стать на защиту моих интересов и создать акционерное общество, подобное тому, о котором мы только что говорили?

— Я? — воскликнул малорослый собеседник Пера и с хорошо разыгранным негодованием поднялся со стула.

— Да, именно вы, — продолжал Пер. — Не скрою, у меня сейчас серьёзнейшие затруднения. Мне нужны деньги... Нужны, понимаете? В пору пойти и украсть...

Наконец-то господин Дельфт (все ещё ошибочно полагавший, что Пер имеет в виду Нанни) добился своего. Последняя фраза Пера очень ему пришлась по душе. Она ясней ясного доказывала, что у Пера есть все данные для того, чтобы сделать карьеру и добиться такого положения в обществе, какое подобает дочери его сестры.

Он от души расхохотался.

— Вы просто бесподобны! Как я могу понять, вы предлагаете мне делать бизнес со своей родной племянницей. Отдаю должное вашей идее. Но я больше не занимаюсь частными предприятиями. Даже если речь идёт о молодых девушках. А теперь я вам объясню цель своего визита. Молодой человек, я верю в вас! Я верю в ваше будущее и хочу вам помочь. Вам нужны деньги. Вы их получите. Но предупреждаю вас: ни о каких процентах и тому подобном не может быть и речи. Это не коммерческое предприятие, понимаете? Не коммерческое, а в остальном можете его именовать, как вам заблагорассудится. Вы слышали об адвокате Верховного суда Давиде Гризмани? Он живёт на Клостерстредзе. Так вот, у него вы можете получить средства, необходимые вам в данный момент, под те суммы, которые вы, разумеется, получите за свои выдающиеся изобретения. Только с одним условием: меня не называть. Если кто-нибудь спросит, не я ли ссудил вам нужную сумму, я отвечу «нет» и ещё раз «нет». Надеюсь, вы поняли?

Пер не отвечал. Покровительственный тон господина Дельфта и весь его вид мешали ему продолжать разговор, да и не верил он в такое бескорыстное предложение. А потому, когда «господин директор» вторично взялся за шляпу, он его более не удерживал. Он только сказал с улыбкой, чтобы как-то объясниться:

— Я считаю ваше предложение не более как забавной шуткой. Надеюсь, и вы, со своей стороны, понимаете, что я тоже просто шутил. Уж слишком заманчиво звучала ваша американская история.

Господин Дельфт сперва недоуменно взглянул на него, потом улыбнулся самой безжалостной из своих улыбок.

— Боже упаси, господин инженер! Вы не доверяете моей сообразительности. А я на неё не жалуясь. Впрочем... ежели вы намерены продолжать нашу шутку, вы теперь знаете, где живёт господин Гризман. Он принимает от десяти до четырёх. И у него тоже высоко развито чувство юмора... чрезвычайно высоко... Разрешите откланяться...

Он уже взялся было за ручку двери, потом снова замешкался и спросил Пера, неподвижно стоявшего возле стола:

— Ещё одно словечко, господин Сидениус. Помнится, вы рассказывали моему племяннику о вдовствующей баронессе фон Берндт-Адлерсборг, не так ли? Простите за нескромность... вы хорошо знаете эту даму?

— Нет. Я хорошо знал её покойного брата. А в чём дело?

— Ещё раз простите. Это пожилая женщина, верно? И слегка... как бы это выразиться... не в своём уме?

— Допустим. Но в чём дело, я спрашиваю?

— И недавно вы получили от неё письмо... очень дружественное письмо из-за границы. Ивэн говорил мне. Она раньше приглашала вас провести это лето в её имении и теперь очень сожалеет, что должна закончить курс лечения и вернётся не раньше зимы. Это правда?

— Чёрт возьми! — взорвался Пер и ударил кулаком по столу. — Чего ради вы меня выспрашиваете?

Маленький человечек ни капли не испугался, вплотную подошёл к Перу, поднялся на цыпочки и сказал:

— Сейчас объясню. Ведь и у нас в стране могут сыскаться люди, которые не желают

выдавать своих дочерей иначе как за дворян. Засим, честь имею!

Уже в последних числах мая Саломоны перебрались на свою загородную виллу Сковбаккен, расположенную на берегу пролива, примерно в часе езды от Копенгагена. Пер не пропускал ни одного воскресенья, приёмного для Саломонов, наведывался он и по будням, под тем предлогом, что ему надо переговорить с Ивэном об издании книги и тому подобных вопросах, касающихся его работы. Его ничуть не смущало, что далеко не все у Саломонов ему рады, что Нанни чаще поворачивается к нему спиной, чем лицом, с тех пор как поняла, что его пренебрегли. С той минуты, когда он осознал, что любит Якобу и что эта любовь не менее благоприятна для его будущего, он ни с кем, кроме Якобы, почти не разговаривал.

Жаль только, что Якоба отнюдь не стала лучше к-нему относиться. Скорее даже наоборот. Когда в тот вечер, ещё до переезда на дачу, он ни с того ни с сего разоткровенничался и рассказал ей о своих отношениях с родными, к сердцу у неё вдруг подступила былая неприязнь, родившаяся при первой встрече. Хотя сама она ненавидела христианство, холодное равнодушие Пера показалось ей отталкивающим. Привыкнув глубоко, по-еврейски, чтить семью и родительский кров, она просто содрогнулась при виде такой нетерпимости к своим близким. Поведение Пера с некоторых пор тоже отталкивало её. По мере того как исчезала неуверенность, испытываемая Пером на людях и до поры до времени сбивавшая с него спесь, им овладевал неудержимый зуд говорить, говорить без передышки, к месту и не к месту. Наскоро осилив десяток статей доктора Натана и его единомышленников, Пер счёл себя в достаточной мере подкованным и теперь с провинциальной непосредственностью, где только речь ни зайдёт о великой освободительной борьбе современности, вставлял своё веское слово. Пуще всего расходился Пер после обедов, за которыми много и охотно пил; развязным, наставительным тоном вещал он о грядущем величии человечества и о евангелии естественных наук, вызывая то смех, то замешательство среди слушателей.

Он желал лишь одного: отличиться любой ценой. Когда они ходили гулять, он перепрыгивал через препятствия и призывал остальных мужчин прыгать следом; когда затевалось катанье на лодках, он хватал оба весла, чтобы продемонстрировать свои бицепсы. Одевался он тоже чрезвычайно вызывающе. В согласии с французской, весьма вульгарной модой, он носил тесно облегающий костюм, который до неприличия откровенно подчёркивал его мускулатуру. К лету от завёл себе рубашки с глубоким вырезом, обнажавшими не только богатырскую шею, но и грудь, что делало его весьма похожим на ту породу мужчин, которые живут на средства девиц лёгкого поведения. Особенно над ним потешалась Нанни. Она всякий раз говорила: «Если ему суждено лопнуть от чванства, помяните моё слово, он лопнет сзади».

Якоба, не смотря ни на что, жалела Пера.

Но когда она догадалась, что он имеет виды на неё, а не на сестру и что, именно желая пленить её, он так выставляет напоказ свои роскошные формы, она несколько растерялась. Теперь она делала всё от неё зависящее, чтобы не оставаться с ним наедине; она поговорила с Ивэном и просила его по возможности ускорить предполагаемый отъезд Пера за границу. Ему-де не следует бывать у них, пока он по крайней мере не осознает, как ему недостаёт общей культуры, а для этой цели нет ничего лучше заграничных путешествий.

Теперь, когда она знала намерения Пера, его присутствие тяготило её. И однажды, в самом начале июля, дело чуть не кончилось катастрофой. Семейство расположилось на усыпанной гравием площадке перед виллой и наслаждалось вечерней прохладой после жаркого дня. Все только что отобедали, и кофе подали прямо в сад. На солидной мраморной лестнице, которая двумя маршами сбегала между розовых кустов к воде, резвились младшие Саломоны в белых костюмчиках и летних панамках. Была пора самого пышного цветения. Кусты пестрели красками, каждое дуновение ветерка доносило прекрасный аромат, мешавшийся с благовонным дымом сигары, которую курил Филипп Саломон.

К обеду приехал только старый друг дома, господин Эйберт, вернувшийся накануне из

ежегодной поездки к морю и на обратном пути приобретший в Париже у Госсека новый, совсем почти незаметный парик. Выглядел он очень молодо для своих сорока лет, потому что отлично загорел под благодатным солнцем французского юга. Сейчас он рассказывал о своих восхождениях на горы и об общих знакомых, которых повидал за время поездки. Филипп Саломон, сидевший чуть поодаль за вечерними газетами, время от времени обращался к Эйберту с каким-нибудь вопросом или сообщал Ивэну очередную биржевую новость. Этот человек умел без малейшего усилия следить за двумя-тремя разговорами сразу, одновременно складывать и множить в уме пятизначные числа и заносить результаты в толстый гроссбух своей необъятной памяти. И, однако, никто из присутствующих в столь полной мере не наслаждался вечерним покоем, ароматом роз и домашним уютом.

Нанни дома не было. Сразу после обеда она с приятельницей отправилась на концерт в Клампенбург, куда её пригласил Дюринг, журналист.

И вдруг неожиданно-негаданно, часов около восьми, появился Пер.

Он был не в духе. Прижатый обстоятельствами и не рассчитывая, в сущности, на успех, он с утра побывал у адвоката Гризмана, чьё имя ему при столь загадочных обстоятельствах назвал господин Дельфт, но там, к его великому удивлению, ему без всяких проволочек выдали довольно крупную сумму, как только он назвал своё имя и заполнил чек. И хотя случившееся на долгий срок избавляло его от единственной серьёзной заботы, которую она когда-либо знал и признавал, настроение у него отнюдь не улучшилось. Со смутным чувством, будто он недостойно продал себя, Пер сунул деньги в ящик комода, не решившись даже пересчитать их.

Вид соперника, который, во-первых, очень помолодел, а во-вторых, уселся так близко к Якобе, не разогнал туч. В сложной смеси чувств, из коих складывалась любовь Пера, тщеславие бесспорно преобладало, и даже не будучи особо проницательным, можно было заметить, как Якоба рада Эйберту.

Пер хотел подчёркнуто небрежно поздороваться с соперником, но настолько пересолит, что ничего, кроме улыбки, его небрежность у Эйберта не вызвала.

— Кажется, я имел несчастье навлечь на себя гнев этого юноши, вполголоса сказал он Якобе по-французски; та была до того возмущена поведением Пера, что вообще не находила слов.

Как на грех Пер понял Эйберта. Он побелел от бешенства. И сколько его ни просили сесть, оставался на ногах. Он не сел даже тогда, когда Ивэн придвинул ему стул. Он только опёрся рукой о спинку стула и, с вызовом уставясь на Эйберта, пребывал в этой позе. Среди присутствующих возникло некоторое замешательство. Но тут, к счастью, подоспели новые гости, и скандала удалось избежать.

Однако Якоба не могла так скоро забыть о случившемся. Её весь вечер просто трясло, и она дала себе слово ни секунды более не терпеть подле себя этого наглого мальчишку. Она и так проявила слишком большую снисходительность. Если он ещё раз позволит себе подобную выходку, она попросит отца указать ему на дверь. Глупый, самоуверенный грубиян! Что подумает Эйберт?

Когда гости разошлись и фру Леа с Якобой ненадолго остались вдвоём, первая заговорила об Эйберте:

— Эйберт, как видно, очень беспокоится за Астрид. Малышка не совсем здорова.

— Во-от как! — покраснев, протянула Якоба. — А мне он ничего не говорил. У неё что-нибудь серьёзное?

— Не думаю, но, по-моему, он из-за неё так рано ушёл домой. Экономке своей он не слишком-то доверяет. Да, нелегко ему живётся, бедняге.

Якоба сделала вид, будто не расслышала последних слов матери. Она снова опустилась в плетёное кресло, сложила руки на коленях и залюбовалась Зундом, — чуть поблёскивая, расстилалась под необъятным беззвёздным небом молочно-белая гладь воды. А вдали, на шведском берегу, ещё пылали в лучах закатного солнца окна домов.

Конечно, для неё не секрет, что родители с превеликим удовольствием выдали бы её за

Эйберта. Последнее время фру Саломон очень усердствовала, желая склонить дочь к этому браку. Её излишнее усердие начало слегка раздражать Якобу. К чему хлопоты, когда она и без того за прошедший месяц больше думала об Эйберте, чем за все годы их знакомства. Она первый раз за всё время всерьёз скучала без него. Ей не хватало не только чуткого собеседника, с которым можно поговорить обо всём печальном, что творится в мире. Не хватало и его самого — его светлой улыбки, его умных глаз и того невозмутимого покоя, который излучало всё его существо и который так благоприятно действовал на неё. И минуту назад она покраснела потому, что её слишком сильно взволновало известие о болезни младшей дочери Эйберта. К великому своему смущению, она вдруг почувствовала, что уже считает себя матерью осиротевших детей.

Конечно, она сознавала, что не испытывает к нему той пылкой любви, какую испытывала прежде к другим мужчинам, но это её не тревожило. Теперь, в зрелом возрасте, она предпочитала покой и уверенность лихорадке большой страсти. Она говорила себе, что, хотя она и не обрела в нём глашатая истины, который являлся ей в гордых мечтах юности и которого она стремилась успокоить на своей груди, зато она обрела человека серьёзных убеждений. Пусть даже он не очень молод, но в нём нет той незавершенности и напускной мужественности, которая порой так уродует молодых людей.

К тому же Эйберту всегда сопутствовал какой-то чистый и приятный аромат, а для неё это бесконечно много значило; ибо она не могла бы общаться с человеком, не составив себе определённого представления о присущем ему запахе, и потом этот запах неотступно, мучительно, до галлюцинаций преследовал её. Пера, например, она распознавала по запаху за три метра — от него пахло нищетой и затхлостью, плохим, несвежим бельём и дешевым табаком.

И, наконец, последнее преимущество, — она по достоинству оценила его ещё до того, как поняла, что Эйберт ей нравится: Эйберт происходил из очень почтенной семьи, был человек со средствами, получил университетское образование (он кончил курс по государственному праву) и благодаря этому сделался одним из лидеров молодой, но процветающей либеральной партии, стал членом нижней палаты и завоевал немалое влияние в своей партии.

Люди, которым доставляло удовольствие загодя планировать примерный состав кабинета на тот маловероятный случай, если в правительство войдут выразители прогрессивных взглядов, в первую голову называли имя Эйберта; а мысли о власти и величии всегда приятно волновали сердце Якобы. Равнодушие к общественному положению и всякого рода почестям было не искренним чувством, а самообманом, к которому вынуждали её ум и гордость. Выдавались минуты, когда она мысленно видела себя в дворцовых залах, рядом с королями и императорами, вознаграждённой за все унижения, торжествующей над врагами своего народа, — и от этих мыслей кровь прилиwała к щекам. Не сознавая она своим трезвым умом несбыточность таких мечтаний, бедному Эйберту не пришлось бы столь долго томиться и вздыхать.

\* \* \*

Из стычки с Эйбертом Пер уразумел только одно: надо как можно скорей сделать предложение Якобе. Теперь, раздобыв денег, он решил осуществить наконец давно задуманную поездку по Европе и Америке и за год пополнить свои практические знания. Но до отъезда надо заручиться согласием Якобы. Особенно мешкать нельзя, не то Эйберт или другой старый плут за этот срок уведёт Якобу у него из-под носа.

То обстоятельство, что Якоба никак его не поощряет и даже избегает, ничуть не обескуражило Пера. Он ведь с первой минуты знал, что наскоком тут ничего не возьмёшь, что завоевывать Якобу надо, так сказать, шаг за шагом... а кроме того, он считал, будто уже подошёл к ней так близко, что может слышать биение её сердца. Подчёркнутое стремление



избегать его он считал хорошим признаком. Теперь надо выждать в почтительном отдалении, дать ей успокоиться и поразмыслить на досуге, прежде чем переходить к решительным действиям.

Однажды он получил депешу от Ивэна, где тот в полном восторге сообщал, что статья, которую Дюринг обещал написать об идеях Пера, уже сдана в печать и может даже завтра появиться в «Фалькене».

А теперь окажите мне любезность, — писал Ивэн, — и нанесите визит Дюрингу. Я знаю, он придает значение таким вещам. Не забывайте, что для вас очень важно преодолеть нежелание, какое вы, возможно, испытываете. Дюринг ещё не раз пригодится вам, и не только сейчас, но и в будущем. Я, дорогой Сидениус, никогда не устану повторять: в наши дни без поддержки прессы не обойтись».

Всю ночь Пер проворочался без сна. Неделью назад Ивэн свёл его с этим влиятельным молодым журналистом, и, уступая на сей раз настоятельным просьбам Ивэна, Пер чуть приподнял завесу таинственности над своими планами. Он и сам сознавал, что недурно бы таким способом подготовить почву для своей брошюры, и теперь с волнением ждал той минуты, когда идеи его впервые предстанут перед изумлённым миром.

Но ничего, кроме разочарования, эта история ему не принесла. Пер рассчитывал на внушительного вида передовую, а вместо того где-то на третьей странице приютилась маленькая, в полстолбца, заметочка, набранная петитом и подписанная «S'il vous plait» — одним из бесчисленных псевдонимов Дюринга. По счастью, Пер не смекнул, что заметочка составлена в несколько ироническом тоне. Даже заголовок «Срочно требуются миллионеры!» он принял всерьёз. Зато крайне раздосадовало его то обстоятельство, что имя Сидениус ни разу не было названо и его неопределённо величали то молодым и талантливым автором проекта, то ещё как-нибудь в этом духе. И уже совсем он вышел из себя, когда увидел, с какой возмутительной небрежностью отнёсся Дюринг к смете расходов: в одной десятичной дроби он поставил запятую не туда, куда надо, и тем самым, на взгляд Пера, полностью исказил характер и значение проекта. Поначалу Пер и не собирался в угоду Ивэну идти к Дюрингу с благодарственным визитом, поскольку был твёрдо убеждён, будто Дюринг сам должен сказать ему спасибо за такую выигрышную тему. Но, обнаружив неприличную ошибку с дробями, решил сходить непременно, чтобы как можно скорей восстановить истину. Поэтому он с утра вышел из дому и отправился прямо на элегантную холостяцкую квартирку Дюринга в одном из наиболее фешенебельных кварталов города.

Время приближалось к полудню, но Дюринг ещё не вставал, и потому, экономка сказала, что хозяина нет дома. Тут, однако, приоткрылась дверь спальни, и белокурый журналист в наусниках выглянул оттуда.

— Ах, это вы! — Голос прозвучал разочарованно. — Ну ладно, входите. У меня сейчас парикмахер. Через минуту я освобожусь.

У Пера нашлось достаточно времени для того, чтобы хорошенько оглядеть квартиру Дюринга, роскошная обстановка которой была у всех на устах. Квартира и впрямь оказалась пре элегантная. Обитая шелком мебель в кабинете, на стенах гобелены, картины, на стульях груды книг, газет, журналов, на письменном столе обилие женских портретов, целый гарем; а по соседству, в столовой, через открытую дверь виден празднично накрытый стол с ослепительно белой скатертью, вином, цветами, фруктами.

Пер не мог удержаться, он невольно начал сравнивать это великолепие со своей собственной квартирой в две маленьких полутёмных каморки, и неизведанное прежде раздражение охватило его. Не то чтобы он завидовал такому человеку, как Дюринг, личности, на его взгляд, малопочтенной, своего рода Альфонсу, жившему на содержании у шлюхи, всё равно как её ни называй — городская молва или общественное мнение. Но ему казалось обидным, что ничтожный газетчик уже достиг той независимости, того влияния, о каких он, Пер, не смеет даже и мечтать.

Наконец, явился Дюринг, маленький, изящный проныра в шоколадного цвета панталонах, сафьяновых сапожках и короткой огненно-красной курточке с чёрными

шелковыми отворотами.

— Чем могу служить, господин Сидениус? — спросил он тоном, явно указывавшим на привычку иметь дело с просителями. — Не угодно ли присесть?

Друг против друга, в одинаковых креслах, обитых голубым шелком, сидели, заложив нога за ногу, два молодых человека примерно одного возраста, очень разные с виду и всё же во многом схожие. Отто Дюринг, как и Пер, не знал родного гнезда. Он был сыном офицера, который прокутил своё состояние, запутался в долгах, за несколько лет супружества свёл в могилу жену, а потом покончил с собой. Провинциальные родственники из милости кормили его до восемнадцати лет. Затем он перебрался в Копенгаген и стал студентом, — бедный, заброшенный, но, подобно Перу, полный самых дерзких планов и твёрдой решимости любой ценой устроить своё счастье и тем сквитаться за нужду и унижения детских лет. С хладнокровием солдата, не ведающего угрызений совести, и с безошибочным чутьём, подсказывавшим ему: где в наше время следует искать лампу Аладина, Дюринг ринулся в журналистику, которая именно тогда по иноземному образцу покончила с засильем политики и занялась всевозможными литературно обработанными сенсациями. Не обладая писательским талантом, но будучи весьма ловким и покладистым малым, как всякий равнодушный человек, и соединяя с этими качествами счастливую наружность, которая нравилась женщинам, он скоро достиг видного положения в одной из ведущих газет города и умел извлекать из своего положения выгоду, нимало не заботясь о приговоре толпы. На двадцать втором году жизни он имел годовой доход, приближающийся к министерскому жалованью. Директора театров дрались за право поставить у себя сделанную им переработку того или иного фарса, издатели покупали его расположение, публикуя его переводы (сделанные каким-нибудь бедным учителем), артисты и певички, начинающие поэты и седовласые юбиляры, водочные короли и цирковые антрепренёры — все, решительно все домогались его благосклонности, оказывали ему всевозможные услуги (дамы расплачивались преимущественно натурой). Как молодой бог восседал он на троне в несокрушимой беззаботности, объект поклонения и ненависти, презрения и зависти, а глупость, тщеславие, трусость и лицемерие составляли незыблемую основу его трона.

Статейку про Пера он написал с одной лишь целью — сделать приятное Ивэну, ибо последний не раз выручал его, когда подходил срок какого-нибудь векселя. Сам Пер как таковой его нисколько не занимал, и, чтобы поскорей выпроводить непрошеного гостя, он обещал дать необходимые поправки в ближайшем номере «Фалькена». Но когда Пер начал говорить о своём проекте, он уже не мог остановиться. Дюринг пришёл в полное отчаяние и откровенно зевал, чуть прикрывая рот своей по-женски белой, изнеженной рукой. Этот разболтавшийся мужлан выводил его из себя. Вдобавок с минуты на минуту к нему могла приехать дама. Наряду со статьёй о Пера он опубликовал во вчерашнем номере лирический панегирик, посвященный одной балерине, подвизавшейся в данный момент на арене цирка, и теперь ждал заслуженной награды.

Наконец Пер откланялся, и Дюринг поспешил в столовую, дверь которой чья-то невидимая рука притворила во время их разговора. Распахнув дверь, Дюринг застыл на пороге от изумления... За накрытым столом сидела Нанни, в широкополой белой шляпке из кружев и с недоеденной редиской в руке. Её постоянная спутница — маленькая, кривобокая Ольга Давидсен — стояла у окна, пунцовая от смущения.

— Позвольте узнать, каким образом проникли высокочтимые дамы в мою столовую? Я не слышал звонка.

— Очень нам нужно звонить! У меня и без того есть ваш ключ, ответила Нанни так вызывающе, что у бедной Ольги дух захватило. Вообще-то говоря, дверь была открыта. Ваша мадам как раз подметала перед входом. Она сказала, что у вас кто-то есть, и мы попросили провести нас сюда... А редиска у вас отменная.

Нанни тщательно порылась в салатнице, выудила оттуда ещё одну редиску, обмакнула её в солонку и вонзила в неё ослепительно белые зубки.

— Ах, фрёкен Нанни, какая вы решительная. Вам известно, кто только что ушёл от

меня?

— Ещё бы. Господин Сидениус. Его голос с другим не спутаешь.

— И вы так спокойно об этом говорите? Приди вы двумя минутами позже, вы бы налетели прямо на него.

— Ну и что? Это было бы очень приятно.

Дюринг погрозил ей пальцем.

— Ах, — гадкая, легкомысленная и очаровательная фрёкен Нанни! Я просто не знаю, что о вас подумать.

— Ну-у, — отозвалась та, окинув взглядом всё убранство стола, — вам надо бы подумать, что я умираю с голоду и была бы рада-радешенька с вами позавтракать... у вас так много вкусного! Ой, паштет из гусиной печёнки! Мой любимый!.. Да, чтоб не забыть о деле... — она встала и вытерла рот салфеткой. — Известно ли вам, что сегодня закрытие летней ярмарки? И не мучит ли вас совесть из-за того, что вы ни разу не догадались пригласить туда двух молодых невинных девушек? Вы ведь знаете, что одних нас туда не пустят мамы.

— Боже мой, ну чего вы там не видали?

— Чего не видали? Ольга, ты слышишь? Господин Дюринг сама наивность. Он ещё спрашивает, чего мы не видали на ярмарке. Мы хотим развлекаться, послушать шарманку, и ещё покататься на карусели, и поесть вафель, и увидеть шпагоглотателя, и посмотреть толстую женщину-чудо...

— А больше вы ничего не хотите?

— Разумеется, хотим! Послушать певиц и потанцевать на лужайке. И ещё я лично хочу надувной шарик, который кричит, и пусть он будет красного цвета, страшный-престрашный, и пусть кричит: «Уйди-уйди».

Прищурив глаза, Дюринг разглядывал волнующуюся грудь и белые руки девушки под прозрачной, лёгкой тканью, потом подошёл вплотную к Нанни и шепнул так, чтобы не слышала Ольга:

— Вы поступили очень благоразумно, прихватив с собой дуэнью. У вас в этом платье такой соблазнительный вид, что...

Нанни не дала ему кончить.

— Ольга, пойдём отсюда, — сказала она. — Господин Дюринг явно забывается! Честь имею...

Она подхватила двумя пальчиками юбку, присела в церемонном книксене и выплыла из комнаты, обняв одной рукой талию своей спутницы.

В дверях она замедлила шаг и бросила через плечо:

— Значит, решено, встречаемся в семь часов на Клампенборгском вокзале... Но учтите, если вы проболтаетесь маме, что мы были у вас, я скажу, что вы все врёте, и в жизни не позволю вам больше целовать себя... кроме как в губы.

— Нанни, Нанни! Опомнись, ты с ума сошла! — запричитала Ольга и силой выволокла подругу из комнаты.

За одиноким завтраком Дюринг дважды осушил бокал шерри и погрузился в размышления. Последнее время молодой жуир начал всерьёз подумывать о женитьбе. В один прекрасный день, подсчитав общую сумму своих долгов, он пришёл к выводу, что сейчас самое время выгодно жениться. Среди многочисленных девиц на выданье, с которыми он на всякий случай флиртовал для этой цели, Нанни считалась вовсе не самой денежной, и потому он не имел на неё особых видов. Но зато она бесспорно самая красивая, самая бойкая, самая дерзкая, — словом, больше всего напоминает тех вольных пташек, общество коих ему пока отнюдь не наскучило.

У дверей снова позвонили и, хотя он на этот раз отдал своей экономке строжайший приказ не впускать никого, кроме рыжекудрой циркачки, из передней донёсся громкий мужской голос, потом в подставку для зонтиков со стуком сунули трость, дверь распахнулась, и глазам Дюринга предстал пожилой мужчина сурового вида и с багровым

лицом — полковник Бьерреgrav собственной персоной.

— Я так и знал, что ты дома. Не вставай, не вставай. Я ведь оторвал тебя от важного дела.

— Приветствую, дядюшка! Прошу оказать мне честь и разделить со мной мою скромную трапезу.

— Нет уж, уволь, я пока не привык питаться на чужой счёт. И потом, я уже часа два назад как отзавтракал.

— Ну, тогда стаканчик вина?

— Да не суетись ты. Я пришёл не ради удовольствия.

— Я уже догадываюсь. Должно быть, у тебя серьёзное дело, раз ты решился прийти ко мне.

— Ты не лишён сообразительности, мой мальчик. Во всяком случае, я не умирал от желания повидаться с тобой. И так, приступим: сегодня утром я случайно увидел в парикмахерской этот бульварный листок, где ты сотрудничаешь, и прочитал там статью о некоем проекте канала. Полагаю, что эта статья родилась на свет не без твоего участия, мне во всяком случае кажется, что я узнал твой нахальный стиль. А теперь нельзя ли мне выяснить, с какой целью написана сия статейка? Сколько мне известно, ты ни единого дня в своей жизни не занимался серьёзными делами, а следовательно, не занимался и гидросооружениями; и хотя я глубоко убеждён, что ты, как правило, пишешь о вещах, о которых не имеешь ни малейшего понятия, в данном конкретном случае мне хотелось бы тебя предостеречь и от души посоветовать тебе прекратить эту дурацкую писанину.

— Да, да, я уже слышал... в статье допущены некоторые неточности, улыбнулся Дюринг.

— Неточности? Друг мой, весь проект от начала до конца — сплошной идиотизм, так что ради себя самого ты не должен был с ним связываться. Ты глубоко ошибаешься, если думаешь услужить таким путём молодому человеку, в лучшем случае он станет ещё безумнее, чем был.

— Ах, так ты его знаешь?

— Смотря как понимать слово «знаешь»! Этот тип мне все уши прожужжал своим дурацким проектом. Одержимый, вот он кто.

— Значит, проку из него не будет?

— Ну, почему же не будет. Чего не скажу, того не скажу. Просто он ещё незрелый юнец, у него не хватило терпения чему-нибудь выучиться толком, а хватает наглости критиковать других... и даже претендовать на роль первооткрывателя. На меньшее он, видите ли, не согласен. А теперь он ещё собирается выпустить целую книгу, как ты пишешь.

— Разве я так написал?

— Конечно! Им лишь бы устроить шумиху и беспорядок! Этот философствующий еврей, доктор Натан, совершенно вскружил головы нашей молодёжи. «Нужно», видите ли, очистить атмосферу, нужно провести реформы во всех областях, нужно бунтовать, нужно...»

— Скажи, пожалуйста, дядя, а может, всё это действительно нужно? Сдаётся мне, ты сам очень резко высказался по поводу национальной спячки и отсутствия творческой инициативы у наших инженеров. Как это было?... Да, вспомнил: ты ведь тоже когда-то издал брошюру, написанную в весьма резких тонах.

— Я — это другое дело, и попрошу избавить меня на будущее от неуместных сравнений. — Лысина полковника налилась кровью. Все обвинения, которые я в своё время по добросовестном изучении вопроса позволил себе выдвинуть против правительства, были оправданны и обоснованны. В те дни оппозиция служила выражением не мальчишеской распушенности, а заботы о будущем Дании со стороны мужей зрелых, преданных отечеству. Это, мой мальчик, далеко не одно и то же.

— А ты уверен, что люди, стоявшие тогда у кормила, расценивали вашу оппозицию именно так?

— Да, уверен, и вообще я не собираюсь спорить с тобой на эту тему. Я забочусь о тебе

и хотел тебя предостеречь от прожектёра, поддерживая которого ты сделаешь себя и свою газету посмешищем в глазах всех сведущих людей. Ты знаешь, я не особо восторгаюсь твоей деятельностью, но надо отдать тебе должное — до сих пор ты как будто не попадал в дурацкое положение. И ещё одно — уж коли я пришёл сюда: мне давно хотелось поговорить с тобой, хотелось всякий раз после прочтения твоей очередной статьи. Скажи мне, Отто, неужели ты, с твоим умом и твоим — в этом тебе нельзя отказать — незаурядным даром журналиста, до сих пор не понял, что обкрадываешь самого себя, сотрудничая в этом беспринципном листке?

— Ты можешь предложить мне что-нибудь более заманчивое, а, дядюшка?

— Пока нет. Но не забывай, что редактор «Данневанга» Хаммер — мой добрый знакомый. Мы частенько толкуем о тебе. Он — как и я — признаёт твой талант стилиста, но сожалеет, что ты растрачиваешь его на недостойные цели. Не исключено... точнее говоря, я могу с полным правом заверить тебя, что ты можешь рассчитывать на весьма лестное назначение в его газете, если, конечно, научишься вести себя поприличнее.

— «Данневанг»! Но это же реакционная газета! И вдобавок вся насквозь пропитанная красным патриотизмом, воинственным пылом и благочестием. Уж не хочешь ли ты, чтобы я изменил своим убеждениям?

— Твоим убеждениям?! Ты бы хоть передо мной не ломался. Я-то тебя, слава богу, знаю. И последнее. Я хочу сделать ещё одно признание. Ты избрал себе профессию с прозорливостью, достойной всяческой похвалы. Журналистика поистине становится трамплином для тех, кто хочет достичь положения в обществе. Ты, конечно, читал, что редактор Лилль назначен нашим послом в Вашингтоне. Совсем недавно другой журналист был произведен в начальники округа. Не знаю, к лучшему ли это, но факт остаётся фактом: правительство очень и очень считается с настоящими, солидными журналистами при новых назначениях и стоит в этом смысле выше предрассудков. Тебе следует над этим задуматься, Отто. Всюду, где есть шансы у твоих коллег, они есть и у тебя в неизмеримо большей степени. Ты носишь имя, которое уважают в армии и ценят при дворе. Я — твой дядя и готов тебя поддержать в любом честном начинании, что тоже немаловажно. Наконец, ты и сам обладаешь свойствами, которые могут тебе весьма пригодиться, к примеру на дипломатическом поприще. Кто знает? Быть может, только от тебя зависит сменить когда-нибудь господина Лилля на посту нашего посла в Вашингтоне.

Дюринг, посмеиваясь, выслушал заверения дяди, потом прищурил глаза и небрежно обронил:

— В Вашингтоне?.. Ну что ж, почему бы нет? В Америке, говорят, прелестные женщины. А кухня — я имею в виду высшие круги — одновременно и французская, и английская. Хорошо, дядя, я подумаю.

Но терпение полковника истощилось. Весь побагровев, он вскочил и зарычал:

— Да как ты смеешь так мне отвечать?

— Прости, дядюшка, но я не могу столь серьёзно относиться к жизни.

— О, ты прав, — отозвался дядя после небольшой паузы, и голос его задрожал от волнения. — Ты не можешь серьёзно относиться к жизни. Для тебя и твоих нечестивых приятелей, материалистов и космополитов, жизнь — это просто плохая или удачная шутка. Страдания родины, беды населения, политические неудачи, война, чума, пожар — для вас это занятная тема, материал для очередного номера, пожива для ваших продажных перьев. Где уж вам серьёзно воспринимать жизнь. Зато и вы не нужны жизни. Можешь не сомневаться! Жизнь ещё откажется от вас... вышвырнет вас на свалку, как ненужную ветошь, подлежащую уничтожению. Можешь не сомневаться!

Дюринг вытянул ноги, сунул руки в карманы и, по-прежнему глядя прямо перед собой узкими, как у змеи, глазами, сказал:

— Поживём — увидим, дядюшка, поживём — увидим.

После завтрака Якоба осталась одна. Все обитатели Сковбаккена разбрелись кто куда: фру Саломон с младшими пошла в лес, Нанни до сих пор не вернулась из города. Всё это



время Якоба сидела у себя наверху. Её терзал очередной приступ меланхолии, сопровождаемый страшной головной болью. Ночи напролёт она не могла сомкнуть глаз из-за физических страданий и волнующих, греховных мыслей, порождённых унижительным желанием. Измученная бессонной ночью, она прилегла на шезлонг и свернулась клубком, подложив под щеку ладонь, полуприкрыв глаза. Комната находилась на втором этаже; сквозь распахнутую балконную дверь виднелись верхушки деревьев и кусок синего неба с лёгкими, как пух, облаками. Глубокая тишина, нарушаемая лишь мягким шелестом листьев, убаюкивала Якобу, навевала ту чуткую полудремоту, когда тело спит, а сознание бодрствует. При малейшем шорохе сон мгновенно отлетал от неё.

— Якоба! Ты где?... Чёрт подери, есть хоть одна живая душа в этом дурацком доме? — донёсся из сада голос дяди Генриха.

Якоба неторопливо приподнялась, несколько мгновений сидела, закрыв лицо руками, потом встала и сошла вниз. Дядю она застала в большой зале. Сперва он раскричался, что его заставили ждать, потом извлёк из кармана пачку бумаг и швырнул её на стол.

— Прошу, — сказал он.

Усталое лицо Якобы оживилось.

— Купил?

— Как ты велела... Только учти, я ни за что не отвечаю. Предупреждал я тебя, чтоб ты не связывалась с этими бумажонками? Предупреждал. Надолго их не станет.

— По тебе вижу, что сегодня они, во всяком случае, поднялись. А что я говорила?

— Что говорила, что говорила, — передразнил он. — Вы, бабё, все какие-то ненормальные. Повезёт вам один раз, вы и воображаете будто впрямь разбираетесь в делах. Сестра твоя куда благоразумнее, она прислушивается к чужим словам и не бросается сломя голову во всякие авантюры.

Якоба небрежно пожала плечами, взяла бумаги — ненадёжные сахарные акции — и сунула их в карман. Втайне от всех Якоба и Нанни поигрывали на бирже, оперируя суммами, полученными на булавки, а дядя Генрих был у них доверенным лицом. Играли обе весьма азартно, но Нанни играла только ради барыша и потому предпочитала действовать потихонечку, с благонадёжными акциями, что приносило хоть небольшой, но верный доход, тогда как Якобу привлекал самый риск и торжество, которое она испытывала, когда, вопреки предостережениям дяди или газет, играла на повышение и выходила из игры победительницей.

Тем временем господин Дельфт извлёк из кипы газет, лежавших на столе, свежий номер «Фалькена», пробежал его глазами и спросил:

— Слушай, ты читала статью Дюринга про этого типа?... Ну про Сидениуса? Ты знаешь, он своего добьётся.

— Ах, Дюринг просто подшучивает над ним.

— Подшучивает? Боюсь, как бы из этих шуток не вышло чего серьёзного. Сидениусу везёт, определённо везёт. Заметь, о нём уже поговаривают на бирже.

Последнее было плодом фантазии господина Дельфта, который вообще с недавних пор не упускал ни одной возможности расхвалить Пера. Как только он догадался, что Пер имеет виды на Якобу, он сразу переменял к лучшему своё мнение о нём и по мере сил старался поддержать его дерзкий замысел. Кроме того, дядя Генрих, неизвестно почему, невзлюбил Эйберта. Он из кожи лез, чтобы очернить его в глазах семьи, но успеха не имел, и при одной мысли о том, что ненавистному Эйберту натянут нос, дядя Генрих готов был плясать от злорадства.

За обедом снова выступила на сцену статья в «Фалькене». На сей раз речь о ней завёл Ивэн, — он только что вернулся из города и был преисполнен самых фантастических представлений о вызванной ею сенсации. По дороге на вокзал он забежал в редакцию к Дюрингу, и тот, не называя имён, рассказал о визите дяди и дал Ивэну понять, что он, Дюринг, слишком многим рискнул ради Ивэна, а потому рассчитывает, при случае, на ответные услуги.

— Ага! Старые черти струхнули! — ликовал Ивэн. — Они надеются заранее разделаться с Сидениусом, если замажут рот газетам. Ничего не выйдет! Дайте ему только собраться с силами! Бог ты мой, как они взвоят!

Никто не поддержал Ивэна. Фру Леа вообще последнее время демонстративно умолкала, стоило кому-нибудь упомянуть имя Сидениуса. Якоба тоже ничего не ответила — всё её внимание было поглощено сидевшим рядом с ней малышом. Но и равнодушие и невнимание её было чисто напускным. У неё кровь прихлынула к щекам, когда она услышала, каким страшным, по словам Ивэна, угрозам подверглась редакция «Фалькена». Она вообще не могла спокойно слышать о каких бы то ни было преследованиях или насилиях, не загоревшись тотчас гневом. Впрочем, неумеренные восторги Ивэна по адресу приятеля быстро охладили её, и дальнейшие славословия она выслушала с гримасой неудовольствия.

Когда перебрались на террасу пить кофе, пришёл Эйберт, и в ту же секунду испарился дядя Генрих, ибо он, если верить его гнусным намёкам, просто «не мог дышать одним воздухом с этим «гниляком». Следом ушла Нанни — она торопилась на вокзал. И, наконец, исчез Ивэн, так как ему не терпелось узнать, откликнулись ли вечерние газеты на статью в «Фалькене».

Эйберт снимал дачу по соседству и после обеда почти каждый день заходил в Сковбаккен. Но сегодня его приход явился для Якобы неожиданностью. Когда залаляли собаки, она решила, что это Пер. Прочитав статью в «Фалькене», она ждала его с минуты на минуту, так как не могла себе представить, что он упустит случай покрасоваться перед публикой со свежим лавровым венком на голове, и уже загодя испытывала к Перу сострадательное презрение. На радостях, она гораздо приветливей, чем обычно, пожала руку Эйберту.

Стареющий жених не без причины выглядел теперь таким довольным и весёлым. Каждый день он получал от Якобы красноречивые доказательства того, что помолвка их — уже почти решенное дело. Так, например, она начала носить восточное кольцо, которое он давным-давно подарил ей ко дню рождения и которое она до сих пор носить не желала. А когда он приводил своих дочерей, она тотчас же отсылала няньку домой и целый день сама возилась с девчурками в саду.

Сейчас они спустились к воде и, оживлённо беседуя, принялись расхаживать по аллее вдоль насыпи. Разговор, как и всегда почти, когда они оставались вдвоём, шёл о политике. На сей раз темой были колониальные завоевания великих держав и связанная с этим гонка вооружений, по поводу чего Эйберт выразил надежду, что Дания проявит достаточно осмотрительности и не станет ввязываться ни в какие рискованные авантюры. Как политический деятель он принадлежал к умеренному направлению и считал своей почётной миссией представлять благоразумие в датской политике. Вопреки своему общественному положению и европейскому образованию, он ни на минуту не переставал ощущать свою неразрывную связь с передовой, свободомыслящей сельской демократией, в которой находила выражение трезвая рассудительность датчан. Правда, беседуя с Якобой, Эйберт старался выглядеть человеком более решительным и мятежным, чем он был на самом деле, чтобы хоть как-то сгладить великое несходство характеров. Якоба же во всех вопросах стояла на крайних позициях. Поэтому она считала, что со стороны Дании очень глупо без борьбы отказаться от мысли соперничать с великими торговыми и промышленными державами, не попытавшись обеспечить себе новые рынки сбыта в дальних странах. Она нередко повторяла, что существование такой карликовой страны, как Дания, само по себе уже нелепица, в дальнейшем же существование такой маленькой и нищей страны просто невозможно. Якоба хотела, чтобы в Дании поднялось движение, ставящее себе целью доказать народу, что маленькое государство может завоевать себе право на жизнь и снискать уважение соседей лишь благодаря богатству, вернее даже — изобилию.

За разговорами не заметили, как начал накрапывать дождик. На закате тучи обложили всё небо, пришлось прятаться под крышу. В зале зажгли лампы, и по просьбе фру Саломон

Эйберт сел к роялю и исполнил несколько «Песен без слов», — их фру Саломон особенно любила. Говоря о незаурядных достоинствах Эйберта, не следовало забывать о его редкостной музыкальности. Он играл очень хорошо, сдержанно и в то же время с большим чувством. Но сегодня в игре его было столько души, столько нежности, что тут уж всякий догадался бы, в чём дело.

Якоба стояла у открытой двери, прижавшись плечом к косяку, и смотрела на дождь, который потоками низвергался с неба. Она была совершенно немзыкальна и, когда играли, предавалась своим мыслям. Напрасно пел о любви рояль под руками Эйберта. Якоба думала о том, что Пер всё-таки не приехал, и значит, она была несправедлива к нему. Ей стало даже совестно. Хвалебные речи о Пере, которых она понаслушалась за день, не прошли для неё совсем бесследно. Теперь Якобе казалось, что она недооценивала Пера и потому слишком строго судила его своеобразную натуру. А вдруг именно в нём заложена та чернозёмная сила, которая однажды сметёт все преграды и поднимет людей на борьбу? Нельзя отрицать, что у него есть дар, свойственный всем прирождённым вождям, — он умеет завоёвывать последователей. Подумать только, он ухитрился запрячь в свою триумфальную колесницу самого дядю Генриха. Она и на себе испытала, какая злая сила исходит от светлых, холодных, как морская волна, глаз Пера. И смелости у него хоть отбавляй. Она до сих пор не может забыть того воскресенья, когда он до смерти перепугал всех своей дурацкой бравадой. Она, как и сейчас, стояла в дверях, смотрела на Зунд и слушала ребячливые выкрики, доносившиеся из купальни, где резвился господин Баллинг и ещё несколько гостей. И вдруг, довольно далеко от берега, она увидела среди вспенившихся волн его темноволосую голову. Она сначала даже не подумала, что это плывёт человек, и уж того меньше, что это может быть Пер. Только когда из купальни его окликнули, она сообразила, кто это. И по сей день ей не забыть ледяного ужаса, который пронизал тогда всё её тело.

Раньше она полагала, что герои будущего делаются из другого материала, более чистого, более благородного. В мечтах своих она видела возрождённую аристократию — аристократию духа, которая освободит человечество с помощью справедливости и красоты. Но как знать, может, крепкие кулаки и широкие плечи куда важнее в борьбе. Может быть, и в самом деле нет другого выхода, и остаётся только безжалостно взорвать преступное ханжеское общество; может быть, миру надо пройти сквозь горнило Страшного суда и очиститься огнём и кровью?

## Глава IX

В августе Пер закончил свой труд и прочёл его Ивэну. Ивэн мало что понял из прочитанного, однако побледнел от восторга и упросил Пера разрешить ему, Ивэну, взять издержки по изданию книги на свой счёт.

Теперь пора было собираться в путь. Пер уже несколько месяцев брал уроки немецкого языка «по общедоступной методе» и рассчитывал недели через две-три быть совершенно готовым к отъезду. Но до этого следовало, в соответствии с намеченным планом, сделать предложение Якобе. Пер решил объясниться в воскресенье, третьего сентября. Он избрал этот день потому, что портной обещал к третьему сшить ему костюм, первый из нескольких, заказанных им. Пер остановился на английском покрое, так как однажды Якоба, возможно без умысла, заметила при нём, что предпочитает английскую моду французской.

Сперва он хотел было дожидаться, когда выйдет книга и в печати появятся одобрительные отзывы, но терпения не хватило, и он решил скорее покончить с тем беспокойством и напряжением, в котором постоянно пребывал из-за мысли о предстоящем сватовстве. Ночи напролёт он теперь не смыкал глаз. Все его счастье зависело от единственного хода; когда однажды в кафе он встретил кавалериста Хансена-Иверсена, считавшего помолвку Якобы с Эйбертом решённым делом, его прямо в жар бросило.

В назначенное воскресенье — погода была великолепная, и вокзал запружен народом — он с утра пораньше вышел из дому, чтобы застать Якобу одну и поговорить с ней, пока не

нахлынут обычные воскресные гости.

Но ему с самого начала не повезло, так как выяснилось, что день он избрал в высшей степени неудачный. Когда часов около двух он достиг Сковбаккена, там было полным-полно гостей по случаю дня рождения третьей дочери Саломонов — пятнадцатилетней Розалии. Помимо огромного количества родственниц и целой толпы пёстрых, как бабочки, подружек Розалии, явились с поздравлениями и просто друзья дома, и в числе последних — долговязый кандидат Баллинг, пиявка от литературы. Потерпев неудачу у Нанни, Баллинг сделал Розалию своей избранницей, которая разделит с ним его будущую славу.

Кроме Баллинга, Пер застал здесь ещё одного знакомого — некоего кандидата Израеля, пожилого холостяка, приват-доцента. Он приходился дальней родней Филиппу Саломону. Это был маленький, беспомощный, бедно одетый человек, с движениями робкими и неуверенными. Руки он всё время прятал в рукава сюртука, а облысевшая голова на тонкой птичьей шее вертелась по сторонам, словно Израель опасался, что мешает кому-нибудь пройти. Пока он не раскрывал рта (а он охотнее слушал, чем говорил), никто бы не мог догадаться, что перед ним тот самый Арон Израель, чья слава в определённых кругах ничуть не уступала славе доктора Натана. Это был скромный учёный, обладающий незаурядными познаниями во всех областях. И, однако, при упоминании имени Арона Израеля люди думали не о его эрудиции. Славой своей он был обязан редкостному бескорыстию, способностью к неповторимому, возвышенному самопожертвованию, какое можно встретить только у евреев. Многочисленные друзья Арона Израеля утверждали, будто душа его так же чиста, как грязен сюртук. Напрасно предлагали ему много раз самые почётные посты в университете, — даже от должности адъюнкта Израель упорно отказывался, боясь отобрать это место у кого-нибудь, кому оно гораздо нужнее. Сам он был человеком довольно состоятельным, но жил очень умеренно, скромно и замкнуто и раздавал тайком большие суммы, главным образом на вспомоществование бедным студентам. Он занимал с двумя пожилыми незамужними сёстрами старомодную квартиру по Свертегаде, и маленькая комнатуха Арона Израеля, все стены которой сверху донизу были заставлены книжными полками, служила излюбленным местом сборищ для его бывших учеников и для других молодых студентов. Они просили у него совета, брали книги и вообще на все лады злоупотребляли его добротой. Большой самобытностью как учёный или педагог он не отличался. Только те, кто судит о человеке прежде всего по душевным качествам, могли сопоставлять Арона Израеля с пламенным Натаном. Сам Арон Израель питал глубочайшее уважение к этой личности, вызывающей столько споров, и с большим жаром обрушивался на тех косных представителей еврейства, кто частью из трусости, частью из зависти — неодобрительно поджимал губы, когда речь заходила о Натане, кто судил о нём на основе маленьких и порой действительно смешных слабостей, которые так часто сопутствуют коронованным властителям духа, и, позванивая бубенцами дурацких колпаков, словно придворные шуты, несут за королём его пурпурную мантию.

Обманутый, как и многие другие, невзрачным видом господина Израеля и не обладая необходимыми предпосылками для того, чтобы по достоинству оценить этого человека, Пер сначала относился к нему свысока. Тем не менее Израель высказывал ему большое участие и всегда внимательно слушал, когда у подвыпившего Пера развяжется, бывало, язык и он примется зычным голосом разглагольствовать о своих грандиозных замыслах. Вот и сегодня — Пер не успел ещё войти в комнату, как к нему робко приблизился господин Израель и завёл с ним беседу о его занятиях.

Якоба всё ещё не показывалась. Она сидела у себя наверху и спустилась вниз только тогда, когда почти все гости разошлись. Её страшили любопытные взгляды и бестактные расспросы тех, кто не мог дожидаться её помолвки с Эйбертом, тем более что последнее слово так до сих пор и не было сказано.

Она сама всячески уклонялась от решительного объяснения. Ей хотелось отложить разговор до тех пор, пока не уедет Пер. К стыду своему, она должна была признать, что Пер куда больше занимает её мысли, чем это пристало женщине, намеренной связать свою



судьбу с другим человеком. Бессонными ночами она лишь огромным усилием воли заставляла себя не думать о нём, но в то же время твёрдо знала, что как только он уедет, кончится и его унижительная, постыдная для неё власть над её душой.

Завидев Пера в новом, английского покроя костюме, она невольно вздрогнула. Твёрдый, испытующий взгляд, каким он встретил её, сразу открыл ей цель его визита. Поэтому сперва она старалась не приближаться к нему, но, сообразив, что выслушать предложение всё равно придётся, и желая наконец разделаться с мучительным ожиданием, решила ускорить ход событий.

Она спустилась в сад и начала прогуливаться по аллее перед домом, полагая, что он не упустит случая разыскать её здесь, где им легче всего поговорить без свидетелей.

И она не обманулась. Через несколько минут раздались торопливые шаги в соседней аллее. От волнения у неё вдруг закружилась голова. Она не могла идти дальше, однако пересилила себя и подошла, словно в поисках защиты, к большой вазе, стоящей на увитом плющом постаменте позади скамьи. Здесь она сделала вид, будто приводит в порядок непокорный побег плюща, но руки у неё дрожали, и когда она услышала шаги за своей спиной, у неё отчаянно заколотилось сердце и перед глазами на тёмном гравии заплясали жаркие огненные круги. Вот уже шаги совсем рядом, и тогда она резко повернулась к нему и смерила его взглядом, полным страха и ненависти.

— Чего вы хотите от меня? — почти выкрикнула она. — Почему вы меня преследуете?

Он почтительно обнажил голову и попросил у неё минуту внимания.

Она, со своей стороны, велела ему быть по возможности кратким, и он ещё одним почтительным поклоном выразил своё согласие.

— Однако у вас очень усталый вид, фрёкен Якоба! Может быть, нам лучше присесть?

Он указал на скамью, которая стояла как раз под вазой, спинкой к постаменту. Якоба ещё раз попросила не задерживать её, но силы ей изменили. Пришлось сесть.

Пер сел на почтительном расстоянии. Не прошло и двух минут, как предложение было сделано по всей форме. Пер сказал всё, что, по имеющимся у него сведениям, положено было говорить в таких случаях. От себя же он добавил следующее:

— Дорогая фрёкен! Поверьте, я не стал бы говорить с вами, если бы мог молчать. Только не подумайте, что это мимолётное, сезонное увлечение... вы можете так подумать, ибо я слишком недолго имею счастье знать вас. Но пусть мы знакомы всего несколько месяцев, в моей судьбе они решающие. Я ведь уже говорил вам, что с того дня, как я впервые посетил ваш дом и впервые увидел вас, для меня началась новая жизнь. Фрёкен Якоба! Люди считают, что я не лишён способностей... я и сам так думаю! Возьму на себя даже смелость утверждать, что я нужен моей родине. Но без вас — я это знаю точно мне ничего не добиться... Я хорошо понимаю, как много вы уже сделали для моего развития. От вашего ответа зависит не только моё личное счастье, но всё моё будущее, всё моё благополучие.

Она дала ему выговориться. Она не могла прервать поток его речей, ибо в глубине души сознавала, что лишь недостойное желание услышать из его уст слова любви заставило её подстроить эту встречу. От звука его голоса она ослабела. Низкий, сильный, мужественный голос покорял и завораживал; Хотя последние слова Пера были до наивности откровенными, наивнее, чем он мог подозревать, Якоба так и не догадалась, что собой он занят куда больше, чем ею.

Обеспокоенный молчанием Якобы, угрюмым и застывшим выражением её лица, Пер продолжал:

— Я понимаю, что с моей стороны дерзко и самонадеянно обращаться к вам с этими словами. Вас окружает поклонение, вы красивы, умны, богаты, а я бедный, никому не известный инженер, у которого за душой нет пока ничего, кроме видов на будущее. Но я не требую от вас окончательного ответа. Подайте мне хоть маленькую надежду, хоть сотую долю надежды, чтоб я мог пуститься с ней в далёкий путь. Положитесь на меня, фрёкен Якоба! Для меня нет ничего невозможного, я на всё пойду, лишь бы завоевать ваше одобрение.



В то время как первая часть речи была тщательно взвешена и продумана, вторую пришлось досочинять на месте; не храни Якоба упорное молчание, он бы не разоткровенничался до такой степени. Но теперь он уже совсем не знал, что бы ещё добавить, и почтительно склонился перед ней, как бы желая этим сказать, что он готов выслушать приговор.

Якоба наконец собралась с силами.

— Говоря по чести, я должна быть вам благодарна за столь лестное мнение. Вообще же я глубоко убеждена, что вы изрядно преувеличиваете свои ко мне чувства. Так или иначе, — заторопилась она, видя, что он собирается возразить, — так или иначе, я считаю дальнейшие разговоры излишними, и вы согласитесь со мной, когда узнаете... что я уже помолвлена.

— Значит, это правда?.. С Эйбертом, да?

— Вы не смеете задавать мне такие вопросы, — отрезала она, после чего встала и ушла. Словно пораженный громом, Пер прирос к скамье и только проводил Якобу тупым взглядом.

На террасе сидела фру Саломон в обществе двух сестёр Арона Израеля — уютных маленьких толстушек мещанского вида. Когда Якоба проходила мимо, с террасы её окликнули, но она сделала вид, будто ничего не слышит, и поднялась к себе. Переступив порог своей комнаты, она сдёрнула перчатку с правой руки и прижала тыльную сторону ладони к щеке. Щёки так и пылали. Грудь у неё высоко вздымалась, ноги подкашивались. Надо же такому случиться! Она чувствовала себя как человек, чудом избежавший смертельной опасности. Рывком сдёрнула другую перчатку, шляпу, швырнула их на кровать, как что-то грязное, непотребное, и вконец обессиленная опустилась в кресло... Как хорошо, что всё уже позади! Больше она его никогда не увидит. Комната поплыла перед её глазами, и она прижала руку к левому боку. Ах, как стучит сердце! Знакомый неугомонный стук! Сколько бурных часов нелёгкого счастья вызывает он в памяти.

Она прикрыла глаза и безвольно отдалась мечтам, погрузилась в мавзолей, где покоились разбитые грёзы любви. Мучимая стыдом, она пыталась объяснить себе странную власть, которую приобрёл над ней этот чужой и неприятный человек: вовсе не он сам, а те воспоминания, которые он пробудил, наполняли её душу непонятной тревогой. Чтобы отогнать образ Пера, она вызвала из небытия манящие тени прошлого, вновь пережила все страдания любви, начиная с первого раза, когда тринадцатилетней девочкой она испытала чувство болезненного наслаждения, и до последнего рокового разочарования, после которого сердце её сжалось в комок, как сжимается в кулак отвергнутая рука.

Ударил гонг к обеду. От неожиданности она вскочила и взглянула на часы. Подумать только, прошло целых два часа, а она до сих пор ещё не переоделась!.. Ладно, сойдёт и так, сил нет переодеться. Да ещё и Эйберт наверняка ждёт её внизу. Она сжала голову ладонями и затихла. За эти два часа она ни разу не вспомнила о нём.

Большая часть утренних гостей уже разошлась. Только близкие подружки новорожденной, кандидат Баллинг да Арон Израель с сёстрами пока ещё оставались здесь. Зачесав кверху свою львиную гриву, Баллинг увивался вокруг Розалии. Розалия, вне себя от радости, стояла посреди комнаты под руку с Филиппом Саломоном, готовая идти к столу и, как королева дня, занять почётное место подле отца. Эйберт и на самом деле уже пришёл. А в противоположном углу комнаты стоял Пер и преспокойно беседовал с Ивэном.

Неудержимый гнев охватил Якобу при виде Пера. Потом она решила, что он, может быть, остался, не желая возбуждать подозрений и давать пищу для сплетен, и, как ни тяжело было ей находиться в одной с ним комнате, она невольно почувствовала к нему признательность за проявленный такт.

Когда садились за стол, она постаралась сесть как можно дальше от него и вообще вела себя так, будто его здесь нет. Однако она не могла не заметить, что он, против обыкновения, очень мало пьёт. Медленно и демонстративно наполнял он свой стакан водой и только чуть-чуть подкрашивал вином. Сразу видно было, что он делает это с умыслом, что он что-то задумал и заранее принимает меры, чтобы его не сочли потом пьяным, Леденящий страх пронзил её. Что ещё выкинет этот сумасшедший?

Но обед прошел очень мирно, а затем общество перебралось в сад; девицы курили пахитоски, мужчины — большие тёмные сигары с изображением Бисмарка на пояске.

Фру Саломон, Эйберт и Арон Израель с сёстрами расположились в закрытой беседке, где хозяйка собственноручно угощала их кофе. Потом к ним присоединилась Якоба. Внезапно в дверях выросла широкоплечая фигура Пера. Лицо у него было беззаботное и весёлое, поза донельзя вызывающая.

— Прошу прощения, господин Сидениус, — обратилась к нему фру Саломон, с некоторых пор весьма резко обращающаяся с нахальным приятелем своего сына. — У нас здесь не курят. Ивэн на берегу, вам сейчас туда подадут кофе.

Пер молча удалился, и Якоба изумлённо взглянула на мать. Хотя она и была признательна за то, что мать спровадила Пера, но этот пренебрежительный тон несколько задел её. Неужели мать догадывается? Вполне возможно. У матери зоркие глаза.

Вообще же Якоба твёрдо решила обо всём рассказать родителям, если только у самого Пера не хватит такта для того, чтобы не навязывать им впредь своё общество. Она пойдёт на всё, лишь бы больше не встречаться с ним. И, прижавшись усталой, больной головой к решетчатой стене беседки, она закрыла глаза, предвкушая мир и покой, который снизойдёт на неё, когда он перестанет у них бывать.

Но в эту самую минуту она услышала его имя. По простоте душевной Арон Израель завёл речь о двухнедельной давности статье в «Фалькене» и весьма восторженно отозвался о «дерзких и вдохновенных замыслах, касающихся судеб нашей страны и нашего народа».

— Конечно... само собой... не мне судить, насколько это осуществимо... — сказал он, как всегда смущенно запинаясь. — Но господин Сидениус всерьёз полагает, что при таком географическом положении и при таких доселе... как бы это сказать получше... доселе неиспользованных... вернее, доселе неучтённых естественных ресурсах, мы имеем исключительные условия для того, чтобы сделаться индустриальной державой первого ранга... Особенно когда современные машины, о которых он говорит... волновые машины и ветряные моторы, или как он их там называет... когда они заработают на полную мощность. Я не осмеливаюсь высказать своё мнение о технической стороне вопроса, но меня чрезвычайно увлекает сама идея... сделать силы природы, которые мы до сих пор считали своими злейшими врагами: западный ветер, волны и ураганы... сделать их источником нашего богатства, неисчерпаемым кладёзем энергии, могущим превратить самые скудные наши земли в цветущее Эльдорадо. Это звучит как сказка.

Слова Арона Израеля вызвали странное замешательство среди слушателей. Эйберт натянуто улыбался. Фру Саломон принялась усиленно потчевать гостей. Кандидат Баллинг, подкравшийся во время разговора, сочувственно смотрел на оратора. Даже старые фрёкен Израель, сёстры Арона, смекнули наконец, что их брат, по неведению, избрал щекотливую тему. Когда он смолк, воцарилась глубокая тишина.

Эйберт счёл своим долгом нарушить молчание.

— Всё сказки да сказки, дорогой мой, сказок у нас на родине хоть отбавляй.

— Слушайте, слушайте! — вырвался львиный рык из груди Баллинга. Стоило Баллингу слышать, что в его присутствии кого-нибудь хвалят, как им немедленно овладевала жажда крови.

Получив такую мощную поддержку, Эйберт продолжал.

— Наш национальный порок в том и состоит, что мы вечно хотим улететь вслед за дикими гусями. Эта страсть нам дорого обошлась как в политическом, так и в финансовом смысле. Натан изрёк вечную истину, когда писал в некрологе об одном из своих знакомых, павшем жертвой несчастного случая: в нашей стране люди рождаются фантазёрами, живут фантазёрами, стареют фантазёрами и умирают фантазёрами.

Арон Израель молча теребил свою редкую бородку. Потом сказал извиняющимся тоном:

— А может, это просто своего рода суеверие? На мой взгляд, беда наших молодых людей... почти всех... в том и состоит, что они слишком — как бы это выразиться, —

слишком тяготеют к земле и не способны взлететь. Как преподаватель я имел возможность весьма досконально изучить наших молодых людей, и меня неоднократно поражало, до чего редко их устремления выходят за узкие рамки обыденной жизни. В девяти случаях из десяти их мечты о будущем не поднимаются выше какой-нибудь весьма скромной должности, поста бургомистра, доходной врачебной практики или удобной пасторской усадьбы на лоне природы. И мне очень интересно... и даже приятно познакомиться с таким молодым человеком, как господин Сидениус, с молодым человеком, который стремится к поистине высоким целям... фантастически высоким даже, если хотите.

— Не будем спорить из-за одного слова, — перебил его Эйберт с неожиданной резкостью, и фру Саломон поспешно предложила гостям выпить ещё кофе, а сёстры Арона Израеля опять попытались знаками унять увлекшегося брата. — Предположим, нас и в самом деле правильнее назвать народом с убогим воображением, нежели фантазёрами. Конечный вывод — увь! будет один и тот же.

Баллинг немедленно подтвердил эти слова подходящей к случаю цитатой:

— Да, мы — туманный народ, смутен наш ум, воля слаба, выпалил он единым духом, не сославшись, однако, на источник. Зато глазами он вращал как одержимый.

Арон Израель скромно подождал, не скажут ли чего другие. Убедившись, что все высказались, он продолжал:

— А так ли плохо, когда молодой человек мечтает? Я хочу сказать... не потому ли великие люди стали великими для нас, что умели мечтать? И вообще — свершилось ли в этом мире что-либо великое, о чём бы заранее никто не мечтал. Вся наша действительность покоится на наших фантазиях и...

— Боже упаси! — засмеялся Эйберт. — Да это совсем другое дело. Когда человек умеет не только мечтать, но и воплощать свои мечты в жизнь...

— Не могу судить, но, по-моему, для человеческой личности нет большой разницы между первым и вторым; разве в мечте, равно как и в желании, и в надежде, которые суть родители мечты, если можно так выразиться, не таится неведомая сила, та, что помогает человеку перешагнуть границы, поставленные перед ним его происхождением, воспитанием, привычками, наследственностью и другими случайностями, и по крайней мере хоть с виду перешагнуть некоторым образом границы самой природы? Даже если господину Сидениусу не удастся осуществить свои дерзкие замыслы, а скорей всего так оно и будет... они всё равно не преминут сыграть свою роль для его личного развития, что, с идеальной точки зрения, и есть самое важное.

— Вы меня извините, господа, — не выдержала фру Саломон. Она не спускала глаз с Якобы и уловила напряжённое внимание, с каким та слушала. — Только не обижайтесь, но мы хотели бы немного прогуляться. Экипаж уже подан. Я даже слышу, как муж щёлкает кнутом.

Арон Израель смутился, все торопливо встали с мест и вышли из беседки. Якоба последовала за всеми в некотором отдалении. Когда она поднялась по мраморной лестнице на веранду, она немного задержалась и, опершись рукой о перила, задумчиво взглянула на море.

Экипаж — это был вместительный шарабан — стоял перед домом, и Филипп Саломон собственной персоной восседал на козлах вместо кучера с двумя младшими из детей. Когда дошло до дела, Розалия и её подружки решили никуда не ездить, а играть в крокет, и кандидат Баллинг, разумеется, остался с ними. Арон Израель и дядя Генрих тоже отказались участвовать в прогулке, опасаясь вечерней сырости. Филипп Саломон осведомился насчёт Нанни, но её нигде не могли сыскать — она ушла сразу после обеда, так как у неё было назначено свидание с Дюрингом на вокзале. Места в шарабане поэтому хватило и для Пера с Ивэном, на что фру Саломон никак не рассчитывала. Она пыталась как-нибудь спроводить их и посоветовала им последовать примеру Баллинга и поухаживать за девушками, но Пер сделал вид, будто не слышит её слов, и решительно — так что все пружины заскрипели — уселся с краю.

Солнце садилось. Небо над лесом окрасилось багрянцем. Стояло полное безветрие. Сперва они ехали вдоль берега, потом свернули на песчаную дорожку под сень ветвей, и Филипп Саломон пустил лошадей шагом.

Разговор не умолкал ни на минуту. Особенно старался Эйберт. Пер, напротив, не проронил ни слова. Он сидел, выпрямившись, и только глаза его беспокойно бегали по сторонам да кровь то прилиwała к щекам, то отливала. С тех пор как Якоба покинула его в тенистой аллее, а боль отказа немного поулеглась, он непрерывно твердил одно и то же: «Только не сдаваться, только не сдаваться». Слишком много надежд было связано с её согласием, чтобы так сразу взять и отступить от всего. Ему казалось, что стройное здание его будущего разом рухнет, если счастье на сей раз изменит ему. Но эти заботы о будущем мало помалу отступали на задний план перед огорчением — или разочарованием — из-за того, что Якоба его не любит. Раньше он не сознавал, как много она сама по себе для него значит. Хотя он видел по-прежнему, что красавицей её не назовёшь, ему невыносима была мысль, что она достанется другому. Самолюбие и уязвленное тщеславие бушевали в нём, а ему казалось, будто он и впрямь сходит с ума от любви. Он впервые понял, что значит слово «боготворить». Обрамлённое тёмными кудрями узкое бледное лицо на фоне багрового неба и величественных мрачных деревьев казалось ему лицом святой, и он содрогался от бешенства, когда думал, что этот размазня Эйберт или другой тип с рыбьей кровью осквернит это прекрасное, гордое, девственно чистое существо, что не он, Пер, заставит загореться земной страстью бездонные, чёрные, как ночь, глаза сивиллы. Нет, не бывать этому! Стиснув зубы, он повторял про себя: «Только не сдаваться. Пришла пора испытать девиз своей жизни: я так хочу! Или со щитом, или на щите».

Он ещё толком не знал, как будет добиваться благосклонности Якобы. Он решил положиться на волю случая, а там действовать по наитию. Впрочем, судьба послала ему пусть маленькое, но торжество. И за столом, и во время прогулки он замечал, что Якоба как-то ёжится от любезностей Эйберта и всячески старается скрыть раздражение, которое вызывает у неё интимный тон Эйберта. Затем он сделал ещё одно наблюдение. Возле одних из ворот, что распахивались перед ними в лесу, продавала цветы бедно одетая женщина: Эйберт купил у неё букет и с каким-то галантным изречением протянул его Якобе. Якоба взяла букет, даже не поблагодарив, и, к великой радости Пера, положила его на колени и за всю дорогу ни разу не понюхала.

Вдали завиднелся Родвад, лес остался позади. Сперва ехали по дороге на Лундтофте, потом Филипп Саломон повернул лошадей влево и — по окольной дороге, через Эрмитажеслеттен, домой.

Вечер уже окончательно вступил в свои права. В низинах и над прудами плыли белые туманы. Всё было тихо. На просторной равнине не слышалось ни единого звука, только где-то вдали, в лесу, пело несколько голосов.

Лошади заржали, дамы плотней закутались в шали и накидки. Разговор, затихший было ненадолго, вновь оживился, когда общество увидело у дороги стадо благородных оленей, мирно щипавших траву. Сёстры Израель при виде оленей вспомнили историю про одного шведского студента из Лунда. Студент этот вызвался на пари догнать стадо таких оленей и голыми руками поймать намеченное животное; целый час гонялся он за ним по лесу, пока не упал мёртвым от разрыва сердца.

— Неужели почтенные дамы искренне верят в эту небылицу? — спросил Эйберт с насмешливой улыбкой. — Помнится, я ещё мальчиком слышал что-то подобное, но, говоря почести, особого доверия это мне не внушает.

Сёстры Израель принялись наперебой клясться и божиться, что всё это чистая правда, — они сами читали про это в газете «Даген».

— При всём моём уважении к вам, мне трудно поверить, — поддразнивал их Эйберт. — Даже не совсем нормальному шведу вряд ли могла взбрести в голову такая дурь, да и то он бы образумился, пока бегал, и тем сберёг бы своё сердце.

Пера рассказ сестёр задел за живое, и он подхватил насмешку Эйберта, как брошенную



перчатку.

— А по-моему, история вполне правдоподобная.

Поскольку он заговорил после долгого и упорного молчания, да вдобавок ещё таким вызывающим тоном, слова его вызвали некоторое замешательство.

— Значит, вы, господин Сидениус, тоже из породы легковверных? — заметил Эйберт.

— Нет, я просто верю, что мужчина, который хоть немножко себя уважает, поставив себе какую-нибудь цель, всегда добьётся своего, чего бы это ни стоило.

Тут он взглянул на Якобу, но она всю дорогу делала вид, будто не замечает его присутствия, и на сей раз тоже смотрела куда-то в сторону.

— Звучит заманчиво и так, знаете ли, по-мужски, — отпарировал Эйберт и, улыбаясь, взглянул на дам. — Одна беда: безжалостная природа установила границы до того непреодолимые, что даже желания уважающего себя мужчины вынуждены пасовать перед ними. А господь бог к тому же снабдил это животное, столь же красивое, сколь и лакомое, четырьмя роскошными длинными ногами, тогда как мы, люди, вынуждены довольствоваться двумя чурбашками, приспособленными более для ходьбы, нежели для бега.

— Речь идёт не только о скорости, но и о выдержке. А выдержка творит чудеса. Словом, господин фабрикант, смеётся тот, кто смеётся последним.

Эйберт поднял брови, он угадал скрытую в словах Пера угрозу. С сострадательным презрением он отвернулся от Пера и ничего не ответил.

— Впрочем, — так начал он, обращаясь к дамам, — я как будто в молодости пережил историю, несколько напоминающую эту, со шведским студентом, хотя моя история и не так трагично кончилась. Помнится, мы с друзьями возвращались из лесу после пикника. У Клампенборга мы наняли карету и поехали вдоль берега домой. Тут один из приятелей, никогда не упускавший случая похвастать своей силой, предложил нам такое пари: последние полмили он будет бежать всё время рядом с каретой и прибудет в Копенгаген одновременно с нами, как бы мы ни погоняли лошадей. Мы, конечно, приняли пари. Едва мы достигли Констанции, он вылез из кареты и пустился бежать. Лошади у нас были совершенные одры, как ни погоняй, они себе трусили рысцой, да и только, так что ничего противоестественного в этих гонках не было, но уже через пять минут мой приятель запыхтел, как кузнечный мех, а через десять и вовсе остановился и торжественно заявил, что дальше бежать не желает, ибо ему «жалко бедных лошадей». Потом, страшно довольный собой, он изрёк ещё несколько не менее справедливых сентенций о том, как низко и аморально издеваться над бессловесными тварями, после чего преспокойно подсел к нам.

Рассказ вызвал всеобщее одобрение. Старые дамы хохотали, а Филипп Саломон обернулся и сказал:

— Если этот человек ещё жив, я, как член правления общества покровительства животным, предложил бы выбить медаль с его изображением.

От злости Пера обдало холодным потом. Он не сомневался, что Эйберт рассказал всю эту историю в пику ему, и хотя Якоба не принимала участия в общем веселье, торжество соперника выводило его из себя, и он втайне готовил страшную месть. Когда старые девицы Израель кончили смеяться, он сказал:

— Мне от души жаль, господин фабрикант, что вы так рано перестали верить в силу воли. Мне бы хотелось задать вам один вопрос: можно ли надеяться, что вы снова обретёте утраченную веру, если кто-нибудь другой выполнит то, что не удалось вашему другу?

Эйберт опять поднял светлые брови.

— Что это значит? Не понимаю.

— Я вас спрашиваю, обретёте ли вы утраченную веру, если кто-нибудь другой выполнит то, что не удалось вашему другу? Если да, то я готов взять это на себя. Прямо тут же, не откладывая.

И, не ожидая ответа, он соскочил на землю и побежал рядом с шарабаном.

Филипп Саломон придержал лошадей и довольно резко сказал:

— Господин Сидениус... попрошу вас... сядьте в карету.



Но Пер с озорным видом откликнулся:

— Не волнуйтесь, господин Саломон. Мне даже полезно поразмяться. Не забывайте, о чём идёт речь. Трудно себе представить, как важно для бога, короля и отечества, чтобы наш депутат фолькетинга от Хольбекского округа снова обрёл веру в человеческую волю. А за моё сердце не беспокойтесь. Оно выдержит.

— Всё равно, господин Сидениус, — сказал Филипп Саломон уже почти повелительно, — я не позволю вам бежать рядом с каретой.

— Коли так, по мне даже лучше немного обогнать вас.

И, нахлобучив шляпу, он припустил со всех ног. Как Филипп Саломон ни погонял лошадей, чтобы догнать Пера, тот через несколько минут скрылся в густом тумане.

— Нет, он становится просто невыносимым, — побагровев от досады, пробормотал Филипп Саломон и ударил по лошадям.

Тут заговорила фру Саломон.

— Не мучь напрасно лошадей, — сказала она мужу. — Господин Сидениус весь вечер чувствовал себя не в своей тарелке и придумал благовидный, хоть и несколько своеобразный предлог покинуть нас. Отсюда можно прямым путём добраться до станции, если идти через лес.

Объяснение её показалось всем вполне правдоподобным: хотя лошади бежали хорошей рысью, Пер не показывался, выбрать путь покороче он не мог — они и так ехали самым коротким, а лес Дюрехавен вдобавок был огорожен со всех сторон.

Девицы Израель так разочаровались в Пера, так разочаровались. Они не могли удержаться и шепнули на ушко фру Саломон, что молодой человек совершенно себя не умет вести. Даже Ивэн и тот осудил поступок Пера, а Эйберт, улыбаясь, позволил себе несколько рискованное замечание о том, какие причины могли побудить Пера так спешно покинуть общество.

Якоба молча глядела на кроваво-красный месяц, взошедший над шведским берегом. По-видимому, весь этот инцидент не произвёл на неё особого впечатления. Однако, в глубине души она чувствовала себя глубоко униженной и одновременно такой свободной, что готова была громко расхохотаться. Сколь возмутительны ни казались ей выходки Пера с тех пор, как она поняла, что является объектом сознательного и методичного преследования, она поистине с замиранием сердца дожидалась бурного взрыва мужской страсти. Но грозу пронесло мимо, всей «чернозёмной силы» только и хватило на глупую мальчишескую выходку.

Тем временем они миновали Спрингфорби и опять поехали вдоль берега. С пролива поднимался лёгкий ветерок, туман рассеялся, и целые полчища мошкары заплясали вокруг лошадиных голов.

До дома было уже рукой подать, как вдруг Филипп Саломон резко осадил лошадей.

— В чем дело? Это не Луиза бежит? Уж не случилось ли чего?

Навстречу им мчалась одна из служанок, и Филипп Саломон ещё издали крикнул:

— Что случилось? В чём дело?

— Ой, ой... это... это... господин Сидениус... — задыхаясь, выпалила девушка.

— А он у нас? — в один голос спросили трое или четверо.

— У нас, у нас. С ним что-то стряслось. Меня послали за доктором.

— Боже праведный, да что с ним такое? — Ивэн побелел как полотно.

— Ой, не знаю. Господину Сидениусу стало дурно, а господин Дюринг дал ему выпить капель, которые стоят у фрёкен, только он навряд ли очнулся.

Филипп Саломон молча прикусил толстую губу и ударил по лошадям. Он тоже побледнел. Бледные и молчаливые они подъехали к дому.

Навстречу им выбежала целая толпа насмерть перепуганных девушек, а в дверях их встретил Арон Израель, Баллинг и Нанни, мгновение спустя выглянул Дюринг, и, наконец, появился сам Пер. Правда, в лице у него не было ни кровинки, а рубаха измята, зато рот растянут чуть не до ушей сияющей улыбкой.

— Как видите, господин фабрикант, я сдержал слово, — торжествующим тоном выкрикнул он, не дожидаясь, пока остановится карета.

— Ах, так это пари! — хором воскликнули девицы и тесным кольцом обступили карету.

— А позвольте узнать, на что вы спорили? — осведомилась Нанни. Она стояла на нижней ступеньке лестницы, и её хитрые глазки перебегали с Эйберта на Якобу и с Якобы на Эйберта.

Ивэн вылетел из шарабана и испуганно схватил Пера за руку.

— Сидениус! Вам же было дурно!

— А, пустяки, лёгкое головокружение. Я сглупил. Мне, как я вижу, вовсе незачем было так торопиться.

Тем временем из шарабана, всё так же молча, выбрались и остальные. Только Филипп Саломон, злобно швырнув конюху вожжи, сказал:

— Пошли Христиана вдогонку за Луизой. Она встретила нас. Скажи, что незачем беспокоить доктора.

Затем всё общество собралось в полутёмном вестибюле, где молодёжь принялась на все лады обсуждать происшествие с тем неумеренным оживлением, которое всегда следует за пережитым страхом. Больше всех говорил Ивэн. Он вдруг пришёл в бурный восторг от геройского поступка своего друга и заставлял Нанни и Дюринга всё с новыми и новыми подробностями рассказывать, как они вышли из лесу, как увидели на крыльце Пера, который не мог вымолвить ни слова, как они вместе прошли в комнаты, где он и упал в обморок.

Эйберт стоял возле вешалки и помогал Якобе раздеться. Когда он робким движением снимал палантин с её дрожащих плеч, глаза его с недоумением остановились на лице Якобы.

— Я совсем замёрзла, — сказала она, пытаясь объяснить неукротимую нервную дрожь, от которой у неё зуб на зуб не попадал, и тотчас пошла к себе наверх.

Хотя Пер смеялся и держал себя так, будто забыл о её существовании, он ни на секунду не выпускал её из виду. Находясь во власти крайнего возбуждения, он дал себе слово сегодня же вечером ещё раз поговорить с ней, пусть даже ему придётся для этого проникнуть в её комнату через балкон. Но, заметив, что Якоба, раздеваясь, положила букет Эйберта на подоконник и потом забыла о нём, Пер немедленно ухватился за этот предлог.

— Фрёкен Якоба, фрёкен Якоба! — крикнул он ей вслед. — Вы забыли свои цветы, — и двумя прыжками взлетел с букетом в руках на лестницу. Но он не успел добежать доверху, Якоба как раз поднялась на последнюю ступеньку и, не оглядываясь, даже не поблагодарив, протянула руку за букетом.

Но букета она не получила. Пер схватил её руку и, убедившись, что наверху никого нет, прижался губами к её ладони. У неё подкосились ноги. Не хватило даже сил вырвать руку. Заметив это, он немедленно очутился рядом с ней и заключил её в свои объятия.

— Вы меня любите? — шептал он, склонившись над ней. — Правда любите? Вы будете моей?

Силы её иссякли. Сладостный трепет пробежал по всему телу, и руки невольно потянулись к его рукам.

— Будете моей? — повторил он. — Отвечайте же.

— Да, да, да, — шептала она, — теряя рассудок от запаха этого потного, разгоряченного тела, и голова её безвольно поникла на его плечо.

— Завтра утром я приеду, и мы подробно поговорим обо всём.

Он ещё раз прижал её к своей груди, гигантскими прыжками спустился по лестнице, и вот уже он как ни в чём не бывало стоит в вестибюле среди других гостей.

Вся эта сцена продолжалась не больше минуты, но как только Пер понял, что победа завоёвана, прежнее спокойствие и выдержка полностью вернулись к нему. Он поболтал с гостями, словно ничего не произошло, а затем проследовал на террасу, где уже был накрыт стол к чаю.

Однако, мало-помалу начали сказываться последствия сегодняшнего напряжения.

Теперь, когда смертельный прыжок остался позади, Пер вообще не понимал, как он мог на него решиться. Когда он мысленно оглядывался на прошлое, у него темнело в глазах, когда глядел в будущее — начинала кружиться голова. Он не смел поверить в случившееся. Да может ли быть, что с денежными заботами покончено раз и навсегда? Что он, Петер Сидениус, сын бедного пастора, станет совладельцем целого миллиона? Да, да, так оно и есть! Волшебная палочка у него в руках. Мир, полный сказочных чудес, распахнут перед ним.

Хотя он без особого труда скрывал своё крайнее возбуждение, многие из присутствующих, и особенно пожилые гости, смекнули, что на лестнице произошло нечто очень важное, — отсутствие Якобы только подтверждало догадки. Поэтому атмосфера за столом делалась всё более гнетущей, а под конец стала и вовсе невыносимой. Мертвенно бледный Эйберт молча бродил по комнате, несколько раз он приближался к Перу с таким видом, что всем делалось жутко. Только кандидат Баллинг, с присущим ему недомыслием, гордо прохаживался по зале и громким голосом толковал о литературе, втайне дожидаясь просьбы усладить общество чтением стихов.

Наконец явилась горничная с долгожданным известием, что экипаж, который должен отвезти гостей на станцию, уже подан, и все поспешно откланялись. Только Эйберт, поскольку ему не нужно было в Копенгаген, немного задержался, надеясь, что, когда уляжется шум, Якоба хоть ненадолго спустится вниз. Но прошло минут десять, Якоба всё не появлялась, и тогда Эйберт тоже встал и молча откланялся.

— Ну, Филипп, что скажешь? — С такими словами фру Саломон обратилась к своему мужу, когда они наконец остались вдвоём.

— Да, Леа, правда твоя. Дальше так нельзя. Это совершенно невменяемый субъект.

— Я же тебя предупреждала.

— Завтра поговорю с Ивэном. Пусть поймёт наконец, что мы не можем принимать у себя этого человека.

— Боюсь, что ты опоздал!.. Ты бы понаблюдал сегодня за Якобой.

Как только экипаж отъехал, Нанни поднялась наверх; она тихонько прошмыгнула к сестриной двери и прислушалась, но внутри всё было тихо. Тогда Нанни заглянула в замочную скважину и увидела, что у Якобы темно. Из этого она заключила, что сестра уже легла, и в полном разочаровании отправилась восвояси.

Но Якоба ещё не ложилась. Она распахнула балконную дверь и в лунном сиянии напряженно прислушивалась к стуку колёс экипажа, который увозил Пера. За последние полчаса лицо её постарело, и на нём появилось какое-то новое выражение, замкнутое и угрюмое. Словно изваяние стояла она, пока стук колёс не замер где-то за лесом.

Потом она вернулась в комнату, притворила за собой дверь, несколько раз прошлась взад-вперёд, села в шезлонг и закрыла лицо ладонями.

Долго-долго сидела она неподвижно, мучимая стыдом и отчаянием. Значит, вот как всё кончилось! Вот куда завело её самоотречение, стоившее таких трудов и усилий. Так гадко, в таком искаженном виде воплотилась в жизнь мечта её юности — мечта о герое-возлюбленном.

Она не пыталась приукрасить причины, которые привели её в объятия Пера, не доказывала себе, что сможет когда-нибудь избавиться от этого чувственного смятения. Нет, она прекрасно сознавала: теперь она всецело в его власти. А если ещё признать к тому же, что все произошло помимо её воли, это только усугубит позор. Спасительного выхода не существует. Судьба её решена. Пусть их свидание заняло всего лишь несколько мгновений, но она покоилась в его объятиях, его губы коснулись её губ, и предчувствие неизведанных наслаждений любви пронзило всё её существо, — можно считать, что наполовину она уже и сейчас принадлежит ему.

В дверь тихо постучали, и Нанни просунула голову в комнату.

— Ах, ах, прошу прощенья, ты, оказывается, мечтаешь при лунном свете?

— Чего тебе надо?

— Ещё раз прошу прощения. Я просто услышала, что ты не спишь... Слушай, у тебя не найдётся несколько лишних шпилек?

— Посмотри сама.

Нанни была в ночной рубашке. Неслышными, кошачьими шагами она шмыгнула через комнату и начала рыться в ящике комода. Потом вдруг повернулась к комоду спиной и села на выдвинутый ящик. Лунный свет проникал сквозь прозрачную ткань рубашки так, что были отчётливо видны все линии её тела.

подавшись вперёд, она спросила вкрадчивым голосом, хотя и не без некоторой робости:

— Разрешите вопросик... вас можно поздравить?

Якоба похолодела.

— С чем поздравить?

— Извини, пожалуйста. Наверно, это страшная тайна. Только на будущее я тебе посоветую лучше хранить свои тайны.

— Тайны? Какие тайны? Ничего не понимаю.

— Ах, не прикидывайся, пожалуйста. Нельзя ли узнать, какие такие дела ты обсуждала на лестнице с господином Сидениусом?

У Якобы при этих словах даже голова закружилась. Сидениус! Ну и имя!.. Фру Сидениус!!! Подумать только!

— А эта гонка дурацкая? — ничтоже сумняшеся продолжала Нанни. — Гм, гм! Мне это сразу показалось очень подозрительно.

Якоба резко выпрямилась.

— По мне, можешь узнать всё хоть сейчас. Да, я помолвлена. Именно с тем, о ком ты только что говорила. Вот и весь секрет, раз уж это тебя так занимает.

Молчание.

— Раз это меня занимает?... А как же иначе? Конечно, я очень рада за тебя.

— Ах, ты очень рада...

— Что у тебя за тон, не пойму? Почему бы мне и не радоваться... Ах да, догадалась... Ты, может, думаешь, что я и сама... Вспомнила, вспомнила, ты ещё дразнила меня Сидениусом. Можешь ни капельки не волноваться. Не спорю, мне всегда очень нравился твой жених, но, на мой взгляд, вы больше подходите друг другу.

Якоба насторожилась.

— Почему ты так думаешь?

— Как бы это тебе объяснить... Ну, вы оба, так сказать, существа высшего полёта, а я, как известно, жалкое, бездумное, заурядное существо, легкомысленная вертушка, — ты сама мне это частенько повторяла. Ну и разговоров же теперь будет... А Эйберт, бедняга Эйберт...

Якоба в нетерпении поднялась с кресла.

— Знаешь, Нанни, уже поздно. Ты совсем раздета, и тебе, наверно, холодно.

— Я тебе мешаю? Боже милостивый, тогда я, конечно, уйду! Тогда я уйду.

Однако она посидела ещё немного, потом встала и той же вкрадчивой, кошачьей походкой, босиком, выскользнула из комнаты. В дверях она ещё раз обернулась и добавила:

— Какая ты всё-таки ломака. Другая бы куда интересней всё рассказывала. А я-то радовалась, что мы с тобой всласть наговоримся. Мне, знаешь ли, давно пора получить несколько наставлений от своей старшей и более опытной сестры на тот случай, если я и сама попаду в такое положение, когда мне придётся подставлять губы какому-нибудь усатому типу.

— Извини меня, но я, право же, очень устала, — перебила её Якоба и начала раздеваться.

— А ещё притворяешься такой святошей, такой недотрогой. Не ври, пожалуйста, что ты сейчас ляжешь... Так я тебе и поверила. Ты сегодня же должна будешь написать ему, излить перед ним в ночной тиши своё сердце, обнять его с помощью пера и чернил и послать

ему утренней почтой тысячу поцелуев. Так вот, детка, я дам тебе ценный совет. Будь для начала чуть посдержаннее. И вообще не теряй головы. Помнишь, что случилось с Ребеккой после обручения? Он её так зацеловал, что ей пришлось красить губы. А насколько я разбираюсь в мужчинах, твой жених — любитель целоваться. Покойной ночи, моя счастливая сестрица! Желаю тебе не слишком приятных снов.

## Глава X

Прошёл день-другой, и Пер сообразил, что, вырвав согласие у Якобы, он ещё очень мало продвинулся вперёд по сравнению с прошлым. Во-первых, и Якоба, и её родители — последние даже «самым категорическим образом» — потребовали, чтобы помолвку пока держали в тайне и, во всяком случае, никому, кроме близких, о ней не рассказывали. Во-вторых, Якоба слишком уж злоупотребляла его терпением: её прихотям и капризам не было конца. Сколько раз бывало, что, когда он приезжал в Сковбаккен, она и вовсе к нему не выходила, под предлогом, что ей нездоровится. И хотя вечерами, когда они оставались вдвоём, она порой с неожиданным пылом принимала его ласки, это не меняло положения в целом. Он достаточно знал женщин, чтобы уловить тесную связь между этими страстными порывами и оскорбительной холодностью, которая за ними следовала, и понял, что дальнейшая уступчивость к добру не приведёт.

И вот через неделю он решил переменить тактику: представился рассеянным и равнодушным, приходил и уходил когда ему вздумается, а потом и вовсе по нескольку дней не казал глаз.

«Непокорных укрощают голодом», — думал он. Сейчас самое время выяснить, есть ли в нём сила, необходимая для того, чтобы властвовать над людьми и подчинять себе их волю.

Когда он пропустил первый день, Якоба облегчённо вздохнула, на второй — удивилась, на третий — забеспокоилась и решила написать ему и узнать, не захворал ли он; но как только она взялась за перо, снизу из сада донёсся его громкий голос. Тут опять вернулось прежнее настроение, и хотя сердце у неё тревожно забилося, она предпочла бы, чтобы Пер очутился где-нибудь подальше. Ей даже видеть его не хотелось. Мать послала к ней наверх кого-то из младших известить о приходе Пера, но она не двинулась с места и на листке бумаги, предназначенном для него, начала писать ничего не значащее письмо своей заграничной подруге.

Лишь через полчаса она сошла вниз. Пер, завидев её, развязно осклабился и даже не потрудился объяснить, почему его так давно не было. Почти весь вечер он проторчал в бильярдной с Ивэном и дядей Генрихом и — по всему было видно — чувствовал себя там как нельзя лучше. После чая он сразу откланялся, так что они за весь вечер не смогли даже поговорить наедине.

Эта ночь явилась переломной в их отношениях. Несколько часов подряд она мерила шагами свою спальню, мучительно борясь с собой. Она доказывала себе, что пришла пора разорвать этот противоестественный, этот недостойный союз, который не только испортил её отношения с родными и друзьями, но и отнимает у неё последние остатки уважения к себе. Под утро она села к столу, чтобы в официальном письме сообщить Перу о своём решении. Но рука её не слушалась. Жажда любви вспыхнула в ней, она отбросила перо и застыла в кресле, закрыв лицо ладонями.

С этой минуты он стал её господином и повелителем. С этой минуты она всецело отдалась своему несчастью, как отдаются неотвратимой судьбе. Пер по-прежнему приходил и уходил когда ему вздумается. Во время слишком долгих отлучек он посылал ей несколько строк с извинением, иногда к записке приложено было несколько цветочков, но почему его так долго не было, он ни разу не объяснял, а Якоба ни разу не спросила.

Как-то раз они с матерью сидели в будуаре, фру Саломон — на своём излюбленном месте, на софе, с шитьём, Якоба — у окна, с газетой. Всё утро она провела у себя в комнате, даже к завтраку не спускалась. Сейчас она молчала и, не поднимая глаз, рассеянно



просматривала газету.

— Ты утром получила письмо от Сидениуса? — спросила мать после долгого молчания и начала рыться в своей корзиночке для шитья.

— Да.

— Он будет сегодня?

— Не знаю.

Снова молчание. Потом фру Саломон, словно собравшись с духом, сложила руки на коленях, внимательно взглянула на дочь и сказала:

— Якоба, детка, садись поближе и давай поговорим с тобой по душам.

Якоба подняла голову, испуганно взглянула на мать, помедлила, потом встала и подошла к ней.

— Чего ты хочешь? — спросила она, забившись в угол софы, подальше от матери, и подперев подбородок рукой.

Фру Саломон взяла её за другую руку и спросила:

— Скажи, Якоба, ты можешь честно ответить мне на один вопрос?

— Ты это о чём?

— Просто так... Не нужно сразу обижаться. Я не стану ничего у тебя выпытывать. Можешь ты честно и откровенно ответить твоей матери на один-единственный вопрос: ты счастлива?

— Станный вопрос, — протянула Якоба, притворившись непонимающей. Она даже попыталась улыбнуться, хоть и побелела как полотно.

— Ничего тут нет странного. Ты знаешь, что у меня нет привычки требовать от детей откровенности в делах любви. Но сейчас мне кажется, я имею право задать такой вопрос. И имею право на честный ответ.

— Нет, ты всё-таки странная, мамочка! Я ведь обручилась с ним по доброй воле. Значит, я должна быть счастлива.

— Ну, коли ты так рассуждаешь, я буду говорить с тобой без обиняков. Видишь ли, примерно час тому назад я поднялась к тебе наверх. Я думала, что ты заболела, раз не сошла к завтраку. А ты куда-то отлучилась. И я случайно увидела на твоём столе письмо от Сидениуса. Ну, само по себе это не удивительно, хотя обычно такие письма не оставляют валяться где попало. Удивительно другое — письмо было не распечатано.

— Ну так что же? — после небольшого молчания спросила Якоба, и рука её, которую всё ещё держала фру Леа, похолодела как лёд.

— Как это «что же»? Послушай, Якоба, конечно я не молодая девушка, но и не так уж стара, чтобы забыть, как ведут себя люди, когда они влюблены. Если девушка, получив в восемь утра письмо от жениха, до двух не удосужилась прочесть его, значит тут не всё ладно.

— Этого тебе не понять. Тут есть свои, особые причины, и я не могу тебе открыть их.

Фру Леа замялась.

— Будь по-твоему, детка. Я говорила, что не хочу ничего у тебя выпытывать, если ты мне честно скажешь, счастлива ли ты? Ты счастлива, Якоба?

— Разумеется, — выдавила из себя Якоба, после чего встала и отняла свою руку.

Мать следила за ней задумчивым взглядом, но тут в жакете и шляпке к ним ворвалась Нанни, совершенно распираемая новостями, и довести до конца начатый разговор не удалось. Фру Саломон взялась за отложенное шитьё, а Якоба вскоре ушла к себе.

Вопрос матери и её сострадательный тон глубоко оскорбили Якобу и наполнили её новой тревогой. Она терпеть не могла, чтоб её жалели другие, и сама не любила себя жалеть. По доброй воле связала она свою судьбу с этим чужим человеком. Значит, и жаловаться нечего.

Торопливо вскрыла она письмо от Пера и пробежала его глазами. В самом деле, нелегко объяснить матери, почему она его не прочла до сих пор. Не было ничего унижительней, чем эти равнодушные, нацарапанные неустойчивым юношеским почерком

писульки, далеко не безупречные в смысле орфографии. Она пыталась внушить себе, что боится их вовсе по другой причине — боится встретить там упоминания о тех проведенных вместе минутах, когда она оказывалась во власти своего чувства, минутах, которые потом наполняли её стыдом и отвращением. Но это была лишь попытка обмануть себя. С каждым новым письмом она лишней раз убеждалась, что её опасения напрасны: ни следа благодарности, ни единого слова любви, тоски, страсти не находила она в этих письмах; и порой, в гневе, она комкала очередное послание и швыряла его в печку.

На сей раз Пер тоже не изменил себе, в записке говорилось только, что сегодня он в Сковбаккен не придет, но к этому посланию, набросанному на оборотной стороне визитной карточки, были приложены какие-то бумаги, оказавшиеся корректурой полемического труда Пера, о котором Ивэн успел раструбить повсюду, как о событии мирового значения. Якоба неохотно взялась за бумаги. Что ей в них? Она до сих пор не особенно верила в таланты Пера и меньше всего — в его умение владеть пером. Куда уж дальше, если человек не способен даже правильно писать на своём родном языке!

Однако, когда она пробежала несколько страниц, щеки у неё запылали. Как ни чужд казался ей предмет статьи, как ни очевидно было, чей слог и стиль Пер взял за образец, Якоба тотчас поняла, сколько нового и свежего в этом понимании природы, сколь заманчива идея поставить силы природы на службу цивилизации. Многое она помнила из его устных высказываний, хотя в своё время — по причине многословия и менторского тона Пера — так и не смогла отыскать в них рациональное зерно. Читая другие места, она узнавала свои собственные мысли и соображения, оброненные в беседах с ним, но всё это никак не снижало общего впечатления, скорее даже наоборот — именно здесь она заново постигала всю самобытность его дарования. Случайно сказанные ею слова приобрели в его устах совершенно новое, неожиданное для неё значение. Беглые замечания, за которыми не крылось никакой серьёзной мысли, превращались под его пером в зримые образы, в законченные картины будущего, поражающие своей смелостью и силой убеждения.

Дочитав корректуру до конца, она ещё долго сидела на прежнем месте и неподвижно смотрела перед собой, опершись щекой на руку. Кто же он, наконец, этот чужой человек, с которым она связала свою судьбу? По правде говоря, она его совсем не знает, ей ничего о нём неизвестно, если не считать тех малоправдоподобных историй, что рассказывал Ивэн и он сам. Какие тайны скрывает в себе его прошлое? Где причина мрачной, холодной ненависти к семье и родительскому дому, о чём он однажды поведал ей?

Не раз охватывало её в эти дни желание поговорить с кем-нибудь из его семьи, прояснить то непонятное, что порой унижало и беспокоило её больше, чем всё остальное, и что от его рассказов становилось только запутаннее. Она знала, что старший брат Пера, юрист по профессии, занимает какой-то пост в одном из официальных учреждений Копенгагена; Пер сам рассказывал, что на днях встретил брата на улице и там — слово за слово — сообщил ему по секрету о своей помолвке. Как ни страшила её мысль говорить о таких вещах с незнакомым человеком, она всё же решила навестить этого брата, ибо он мог пролить свет на интересующие её вопросы, и потому на другой день она утром уехала в город.

Контора тюремного ведомства, где служил Эберхард Сидениус, помещалась в большом, мрачном, грязно-сером здании, фасадом на канал. Якоба заблудилась в лабиринте бесконечных коридоров и набрела, наконец, на дежурную комнату, где двое рассыльных сонного вида, подпирая спинами стенку, тупо созерцали носки своих сапог. На вопрос, как ей найти господина Сидениуса, секретаря экспедиции, последовал краткий ответ:

— Второй этаж, третья дверь направо.

И едва она повернулась к ним спиной, рассыльные обменялись громкими замечаниями:

— Ну и носище!

— Известное дело, еврейка.

На втором этаже, отворив указанную дверь, Якоба очутилась в полутёмной комнате с двумя окнами. Окна выходили во двор, скудно обсаженный деревьями. Возле одного окна, за

сосновой конторкой, стоял Эберхард и что-то строчил. Кроме конторки, в комнате имелось несколько деревянных стульев да висела полка с подшивками дел. Эберхард был в долгополом узком чёрном сюртуке, до блеска заношенном и наглухо застёгнутом, а поскольку с утра прошел небольшой дождь, брюки его были тщательнейшим образом подвёрнуты и открывали взору толстые вязаные носки из серой шерсти и полуботинки на двойной подошве.

Хотя, услышав стук в дверь, Эберхард крикнул: «Войдите»,— он не поднял глаз на Якобу и некоторое время как ни в чём не бывало продолжал писать.

Отчасти по этой причине, отчасти из-за его костюма, Якоба приняла его за простого писца и попросила вызвать к ней господина секретаря экспедиции. Лишь когда он с большим достоинством отложил перо в сторону и поднял на неё свои прозрачные, холодные глаза, она к ужасу своему заметила, что он похож на Пера.

Назвав себя, Якоба заговорила:

— Я знаю, что ваш брат... что Пер... говорил с вами обо мне.

Эберхард, не разжимая губ, указал ей заученным движением руки на один из стульев.

— Быть может, вы и сами поймёте, почему я решила повидать вас, продолжала Якоба, сев на стул. Голос у неё дрожал, сердце бешено колотилось, так что приходилось хвататься за ничего не значащие фразы, чтобы хоть как-то продолжать разговор. — Я знаю, что ваш брат, а мой жених, давно уже находится в весьма далёких отношениях не только с вами, но и со всеми остальными членами семьи. Не мне судить, что тому причиной. Однако, нет нужды доказывать, как глубоко это меня огорчает.

Эберхард словно застыл в своей несколько неестественной позе, облокотившись на конторку и растопырив пальцы, чтобы затенить глаза. Он не перебивал Якобу. Ни один мускул на его лице не дрогнул, хотя он мог прийти в себя от удивления. Он давно уже прослышал краем уха, что брат стал вхож в дом богатого коммерсанта Саломона, но, когда тот рассказал о своей помолвке с дочерью Саломона, не поверил ни единому слову, тем более что Пер просил до поры до времени держать это дело в секрете. Он решил, что за этим наглым хвастовством таится какое-нибудь недавнее поражение. Он-то хорошо знал, что состояние Филиппа Саломона исчисляется в несколько миллионов.

Поэтому теперь он в первую очередь подумал, что эту связь надо разорвать любой ценой. Отнюдь не из стремления напакостить Перу и не зависти ради. Он просто понял, что, получив возможность осуществить свои честолюбивые замыслы, Пер тем самым ещё дальше зайдёт по избранному им пагубному пути, и тогда надо будет на долгие годы распротираться с надеждой наставить его на путь истинный. Всё это время Эберхард куда больше интересовался делами Пера, чем последний мог о том подозревать, и считал, что уже недалёк тот вожденный миг, когда Пер, гонимый стыдом и нуждой, образумится и признаёт свои грехи перед семьёй и родным домом.

— Разрешите задать вам один вопрос, — сказал он, когда Якоба, наконец, умолкла. — Разговор о семейных делах моего брата затеян только по вашему почину?

— Только.

— Брат, может быть, даже и не подозревает, что вы собирались повидать меня?

— Да.

— И, следовательно, вы говорите со мной от своего имени?

Задетая его обращением, Якоба справилась со своей робостью. Тон допроса; к которому прибег Эберхард, ещё больше раззадорил её, и она с достоинством повторила:

— Я ведь уже сказала вам, что сама искала этой встречи, я, а не Пер.

— Я так и думал. Ну-с, к моему глубокому сожалению, вы совершенно правы: в течение ряда лет, а вернее сказать, с самого детства брат отделился от родного дома. Беру на себя смелость утверждать, что с годами он всё более и более упорствовал в этом заблуждении и находил своего рода злобное удовольствие в том, чтобы ни с кем не считаться, и менее всего с теми, к кому он прежде всего должен испытывать благодарность и почтение. Эти попытки окончательно порвать со своей семьёй мы можем наблюдать даже и в

имени его. Вот вы назвали его Пером. А известно ли вам, милостивая государыня, что он сам придумал себе это имя?

— Да, что-то в этом роде я слышала.

— Не скрою от вас своего глубочайшего убеждения (вы ведь сами искали откровенного разговора), что и помолвка с вами есть обдуманый вызов родительскому дому, сознательное отрицание его устоев.

Якоба нахмурила брови.

— Не понимаю, — сказала она.

— Попытаюсь вам растолковать. Вам, надеюсь, известно, что Петер Андреас происходит из христианской семьи. Сам он прекрасно знает, что для его родителей христианство есть единственная сила, правящая миром, и что они не сочтут истинным счастье, даже самое блестящее и ослепительное с виду, если оно не имеет своей основой страх божий.

— Ах так!

Якоба до боли прикусила губу. В спокойных, размеренных периодах Эберхарда всё время звучала та издёвка, которую она только что слышала в коридоре от рассыльных и которая преследовала её всю жизнь.

Она даже поднялась было со стула, чтобы показать Эберхарду всю глубину своего презрения. Но желание узнать ещё что-нибудь о женихе пересилило, она овладела собой и осталась сидеть.

— Я знала, что Пер не разделяет взглядов своей семьи на религию, но скажу вам прямо, я его за это не осуждаю.

— Ну ещё бы.

— И я считаю, что если Пер ни в чём больше не провинился перед своей семьёй, то это его прегрешение легко извинить. Если он не разделяет ваших взглядов на христианство, это вовсе не доказывает наличие у него злого умысла, а если он честно признался в своём несогласии со взглядами семьи, хотя скрывать и лицемерить было бы для него куда выгоднее, то тем больше ему чести.

— Видите ли, фрёкен Саломон, я не вижу смысла заводить спор на эту тему. Скажу только одно: в глазах моих родителей, от чьего имени я сейчас говорю, нет прощения человеку, который закрыл свои уши для голоса истины, а тем более нет прощения Петеру Андреасу, происходящему из семьи, где голос этот сопровождал его с колыбели.

Якоба не отвечала. Она склонила голову и, как всегда при сильном волнении, то вспыхивала, то покрывалась мертвенной бледностью.

Но Эберхард неправильно истолковал и её позу, и её молчание. Он решил, что слова его уже достигли той цели, которую он тайно преследовал, обуреваемый сидениусовским инстинктом самоутверждения: он хотел унижить гордую дочку миллионера, ибо в её глазах ему сразу почудилась скрытая несмешка, а шелковое платье, светлые перчатки и лёгкий запах духов ещё больше-раздразнили его евангельский пыл.

Поэтому он изменил тон и сказал с некоторым даже оттенком участия:

— Мне крайне не хотелось бы оскорблять ваши чувства, но я считаю своим долгом предупредить вас о том, что жизнь моего брата не безупречна и в других отношениях и являет собой печальное свидетельство того, до какой степени он лишён всяких моральных устоев. Глубоко заблуждаются те, кто полагает, будто религиозная сторона жизни выражается только в отношении к делам небесным и не накладывает отпечатка на всю нашу личность. Что до Петера Андреаса, то здесь я не хотел бы вдаваться в подробности. Есть вещи, о которых не принято говорить с дамами, а посему...

— Я догадываюсь, на что вы намекаете. Но именно так неудачно сложившиеся отношения с семьёй и характер общества, которое — отчасти по этой причине — единственно было доступно ему, очень многое объясняют и извиняют в натуре Пера. А помимо всего, то, о чём вы не захотели умолчать, не заслуживает, на мой взгляд, столь сурового осуждения.

— Вы заблуждаетесь, фрёкен Саломон, мы осуждаем не моего брата, а его поступки, его образ жизни.

— Но и в его поступках и в образе жизни мы можем найти многое, что говорит в его пользу. Он проявил способности и достаточно твёрдой воли, чтобы чего-то достичь в своей области. В условиях чрезвычайно трудных и будучи ещё очень молодым он завоевал авторитет среди своих коллег, а сейчас находится на верном пути, чтобы завоевать себе имя.

— Вы, я вижу, и сами не очень во всё это верите. Я знаю, что одна газета писала про некий проект канала — или как-он там называется и пыталась доказать огромную значительность этого проекта. Я знаю далее, что сам Петер Андреас считает себя первооткрывателем и пророком нового времени. Сейчас вообще некоторая часть молодёжи испытывает тягу к бунтарству, тягу, над которой можно бы просто посмеяться, не будь от этого так много пагубы неокрепшим душам. Самое примечательное в идейном поветрии, сотрясающем сейчас известные слои датской молодёжи, то, что скорее всего поддаются ему субъекты наиболее неустойчивые и несамостоятельные, подобно тому как и мякина взлетает выше, чем полновесное зерно. А что до Петера Андреаса, то здесь можно признать с полной уверенностью только одну столь же очевидную, сколь и печальную истину: проучившись целых семь лет, он до сих пор не сдал необходимых экзаменов и не получил никакого другого свидетельства своих успехов, которые хоть в какой-то степени соответствовали бы жертвам, понесённым ради него всей семьёй. Но, повторяю ещё раз, я осуждаю не Петера Андреаса, а его поступки, образ жизни. Самого же Петера мы от души жалеем и, вопреки всему, не теряем надежды, что когда-нибудь добрые начала одержат в нём верх; а где именно наша семья видит единственный возможный для него путь спасения, мне незачем вам объяснять. Но если вас это интересует, а я полагаю, что вы затем и пришли сюда, дабы получить честный и прямой ответ, — я скажу заранее только одно, и, надеюсь, мои слова вас не удивят и вы поймёте меня как должно: родители Петера Андреаса никогда в жизни не одобряют ваш брак.

Якоба поднялась, постояла за спинкой стула, задумчиво трогая зонтиком носок туфли и не глядя на Эберхарда. Потом вдруг вскинула голову и взглянула на него. Следы волнения ещё видны были на её лице, но уже заиграла на губах едва заметная, неуловимая усмешка, и чёрные глаза засияли от счастья.

— Я пришла сюда в надежде достичь примирения, — сказала она. — И это было очень наивно с моей стороны, я теперь сама поняла. Но я ни о чём не жалею. Я получила сведения, которых мне не доставало. И не могу удержаться, чтобы не сказать вам: я уйду отсюда более счастливой, чем пришла.

Не совсем поняв, что она хотела этим сказать, Эберхард попытался возразить ей, но Якоба уже повернулась спиной к нему и, не попрощавшись, ушла.

На улице ей вдруг так мучительно захотелось увидеть Пера, что после короткой борьбы с собой она кликнула извозчика и отправилась в Ньюбодер. Ей казалось, что она не будет знать покоя, пока не покается в своём недоверии и не испросит прощения за невольное предательство, каким по существу явился визит к Эберхарду (теперь она это осознала). До чего хорошо понимала она сейчас Пера, до чего ясно видела, каково ему пришлось в отцовском доме. Слушая этого уверенного в собственной непогрешимости братца, она получила такое наглядное представление о доме Сидениусов, что у неё мороз пробежал по коже.

Пера она на Хьертенсфрюдгаде не застала, он ушёл минут за пять до её прихода. В маленькой комнатке под низким потолком ещё плавали серые клубы дыма от его сигары, когда Трине ввела её туда и оставила одну.

Первым делом Якоба осмотрелась по сторонам. Она разглядывала голые стены, сломанную качалку, пуфик, обитый чёрной клеёнкой, и на короткий миг чувство разочарования из-за неудачного визита сменилось ужасом, ибо эта мрачная каморка напоминала тюремную камеру. Нет, она даже вообразить не могла, что он живёт так бедно и убого. И уже в который раз его стремление выбиться на солнечную сторону жизни предстало



перед ней в новом свете, который многое объяснял и со многим примирял. После такого безрадостного детства, среди такой постыдной нищеты кем ещё может сделаться человек, как не ловцом счастья. Она почувствовала новую, нежную радость при мысли, что достаточно богата и может сделать его счастливым.

С благоговейным любопытством, присущим истинной любви, она подержала в руках все мелочи на его письменном столе и тихонько поставила каждую на прежнее место. Она прошлась по комнате, то и дело останавливаясь под наплывом мыслей. В неодолимой потребности быть поближе к нему, она перетрогала все его вещи. Проходя первый раз мимо заношенного халата, который висел на дверном косяке, она ласково погладила его, проходя второй — закрыла глаза и прижалась к нему щекой, чтобы вдохнуть неповторимый запах, которого ей, не выносившей прежде табачного духа, так недоставало теперь.

Но вошла Трине, и Якоба под села к столу и набросала на оборотной стороне визитной карточки:

«Друг мой! Почему тебя так давно не видно? Целых три дня ты не был у нас. Жду тебя сегодня вечером. Я столько хочу тебе сказать».

Это было её первое письмо к нему. Она сунула карточку в конверт, валявшийся на столе, и надела имя Пера.

Как только Якоба уехала, мадам Олуфсен забарабанила палкой в пол, вызвала наверх Трине и потребовала от неё подробного отчёта. Теперь мадам Олуфсен почти не вставала с постели. После смерти мужа она очень сдала и передвигалась с большим трудом. Но любопытство оказалось сильнее, и, услышав чужой голос внизу в прихожей, она выбралась из постели и заняла наблюдательный пост возле двери на кухню. Через зеркальце на окне залы она провожала взглядом экипаж Якобы, пока тот не скрылся за поворотом на Кунгенсгаде.

Когда спустя часа два Пер вернулся домой и обнаружил письмо от Якобы, самодовольная усмешка тронула его губы. И так, лечение пошло на пользу. Однако, поддаваться рано, пусть лошадка ещё отведает хлыста.

После обеда Якоба два раза сходила на станцию к прибытию поезда из Копенгагена. Когда она второй раз вернулась ни с чем, её ждала телеграмма, где Пер коротко, как всегда, сообщал, что сегодня вечером он, к своему великому сожалению, не сможет быть в Сковбаккене.

Она задумалась с телеграммой в руках.

— Что-то здесь не так, — вдруг громко сказала она. — Не может он из-за работы торчать каждый вечер в городе.

Она побледнела. Неужели всё кончено? Неужели она потеряла его?.. Нет, нет! Не бывать этому. Она напишет ему. Она во всём признается, всё объяснит и попросит прощения за свою холодность и недоверие.

Опустившись в кресло, она закрыла лицо руками и попыталась собраться с мыслями. Она никуда его не отпустит! Она вернёт его, даже если ей придётся умолять на коленях.

Тут дверь притворилась, Розалия просунула голову в щель и сказала:

— Сойди вниз, пожалуйста. Тебя ждёт один господин.

«Эйберт!» — похолодела Якоба.

Её прежний вздыхатель снова Начал бывать у них. Может быть, это недоброе предзнаменование? И надо же ему заявляться именно сейчас!

Сперва она хотела вовсе не выходить к нему, потом решила, что мать заподозрит неладное, если она просидит весь вечер в своей комнате. Может, она уже знает, что Якоба получила телеграмму, и догадывается о её содержании.

Внизу, в сумрачной зале она увидела родителей. Те беседовали с каким-то господином, которого она не могла разглядеть в полутьме. Господин сидел в кресле, спиной к двери, в которую она вошла. Но вот он встал, и, узнав его, она, словно ослеплённая, закрыла глаза руками. Перечитав на досуге её записочку, Пер раскаялся в своей жестокости и решил сделать ей сюрприз. С громким криком Якоба бросилась ему на шею.

— Это ты!

Чуть не полминуты лежала она, обессилив, на его груди. Потом пришла в себя; ей стало стыдно, что она при родителях дала волю своим чувствам. Однако руки Пера она не выпускала, словно боясь потерять его. Мешая слёзы со смехом, она, наконец, взяла его под руку и увлекла за собой в сад.

Филипп Саломон и его жена проводили их глазами, потом переглянулись.

— Ну, Леа, тут ничего не поделаешь, надо покориться судьбе.

Фру Леа молча кивнула.

\* \* \*

Хотя было решено держать помолвку в тайне, через самый непродолжительный срок о ней знал уже весь город. Теперь, когда Якобе не приходилось прятать свои чувства, она больше не могла совладать с ними. Так могла бы радоваться девушка, тайно прижившая ребёнка, а потом вдруг получившая право заявить перед всем миром о своём счастье.

Пер заметил, что в известных кругах очень заинтересовались его персоной. Едва он переступал порог кафе на Кунгенс Нюторв, единственного, где он теперь бывал, посетители начинали шушукаться. Эта странная и непонятная для света связь вызвала бездну сплетен и кривотолков. О молодом искателе счастья, который заграбастал наследство богатого Ниргора, а потом ловко выхватил миллиончик у Филиппа Саломона, рассказывали самые невероятные вещи.

Слух о помолвке дошёл и до прежних соучеников Пера по политехническому институту. Уже статья в «Фалькене» и, главное, известие о предстоящем выходе его книги вызывали здесь самый живой интерес. Пер, оказывается, был среди товарищей вовсе не таким одиноким и непонятным, как ему казалось. Не только беспокойные умы, которым, как и Перу, воздух в аудиториях профессора Сандрупа казался слишком затхлым, но и обыкновенные бездельники, воспринимавшие всякую критику по адресу института как оправдание собственной лени, давным-давно ждали, что Пер как-нибудь отличится. С другой стороны, когда пришла слава, появились и заклятые враги из числа добросовестных карьеристов, которые прежде взирали на Пера со снисходительным презрением. Здесь особенно отличался некий Мариус Йоргенсен, любимчик профессора Сандрупа, — за что Пер в своё время прозвал его «богоугодной таблицей». Этот, подающий надежды, юнец, будущий столп общества, вынашивал теперь план страшной мести, а именно — готовил для «Индустрибладет» уничижительную критику на книгу Пера к моменту её выхода.

Саломоны мало-помалу примирились с мыслью о том, что Пер станет их зятем.

Теперь, пожалуй, недовольнее всех был не кто иной, как дядя Генрих. Хотя Пер давно уже разузнал, как обстоит дело с его «акционерным обществом», господин Дельфт продолжал разыгрывать из себя отца и благодетеля и не раз напоминал ему, что пока предпринят только первый, далеко не самый значительный шаг, а главное ещё впереди. Он вечно делал двусмысленные намёки на вдовствующую баронессу фон Адлерсборг, и Пер, войдя во вкус, охотно выслушивал теперь эти намёки. Он знал, что баронесса до сих пор содержится в лечебнице на юге Германии, и собирался во время путешествия проездом заглянуть туда. Впрочем, у него пока не было других целей, кроме как поддержать знакомство с аристократкой, чтобы потом извлечь из него все возможные выгоды. Однако, в глубине души он был совсем не прочь навсегда отринуть ненавистное имя Сидениус — эту смехотворную поповскую латынь, эти ослиные уши, которые всюду выдавали его происхождение. Барон фон Адлерсборг! А почему бы и нет? Такое имя будет очень неплохо выглядеть на визитной карточке!

Впрочем, с Якобой он своими великими планами не делился, так как полагал, что она совершенно равнодушна к внешним почестям и потому не одобрит его намерений. И не подозревал, бедняга, что Якоба про себя вынашивала ещё более дерзкие и смелые планы их

совместного будущего. Как-то вечером по её просьбе он прочитал ей вслух всю свою работу, и теперь, когда любовь «обострила её слух, каждая фраза звучала для неё победной фанфарой.

Впрочем, у неё хватало ума держать свои наблюдения про себя. Как ни влюблена она была, она не закрывала глаза на многочисленные недостатки Пера и отлично понимала, что его ещё нужно хорошенько пообтесать, прежде чем он сможет во всеоружии начать борьбу, для которой, как теперь и она считала, он избран самой судьбой. Но страсть всё больше и больше овладевала ею. Неисчерпаемый кладёз любви, страстная потребность душой прилепиться к кому-нибудь, потребность, которая с детских лет не приносила ей ничего, кроме унижений, всё это теперь дождалось своего часа. День и ночь она думала только о нём. По утрам она посылала ему свежие цветы, чтобы хоть как-то украсить его убогую каморку. Она заваливала его ненужными подарками, она с утра до вечера ломала голову над тем, как бы порадовать его. Она даже уговорила родителей перебраться в город раньше намеченного срока, чтобы чаще видеть его, чтобы он мог появиться в любую минуту, чтобы ночью быть от него всего в каких-нибудь восьмистах тридцати шагах, — она однажды тайком измерила это расстояние. Но и этого было ей мало. Час спустя после его ухода она могла вдруг сесть к столу и настрочить ему письмо, а то и отправить телеграмму. Вечно ей нужно было что-то срочно сообщить ему или исправить то, что она уже сообщила, но не так как надо, и к Перу летела просьба забыть всё сказанное. Лавина бессознательных уловок — и всё для одной только цели: сказать, что она любит его, что она считает каждую минуту, каждый удар сердца до новой встречи.

«Bonjour, monsieur! — так написала она однажды ранним утром, когда солнце заглянуло в её окно. — Придёшь ли ты сегодня до обеда? Если да, можно бы обойтись и без письма. Но на тебя трудно положиться. Ну почему ты не приехал вчера вечером? Я прождала до десяти, потом легла в прескверном настроении и до одиннадцати всей душой ненавидела тебя. А сегодня прощаю ради прекрасной погоды. Не мог бы ты на один день оставить в покое все свои чертежи и корректуры и приехать часам к двум? В два у нас никого не бывает дома, кроме меня и мамы. Не забывай, что скоро мы будем очень далеко друг от друга, а как только ты уедешь, я уйду в монастырь и буду там коротать вечность, оставшуюся до твоего возвращения».

Пер чувствовал себя эдаким турецким пашой и за месяц прибавил от счастья целых двенадцать фунтов. Однако временами он задыхался в той атмосфере любовной страсти, которой окружала его Якоба. Он мог и сам вспыхивать порою, особенно когда они оставались вдвоём в будуаре, но вечно пылать, как Якоба, он не умел, — это казалось ему слишком утомительным. Выросший в среде, которая безжалостно уродовала и душила всякие проявления чувств, кроме тех, что распускаются в тени и благоухают на сквозняке, он порой испытывал чуть ли не ужас перед её любовью, согретой ярким солнцем. Излияния Якобы повергали его в замешательство, и он частенько выказывал себя весьма нерасторопным кавалером.

Однажды, когда они сумерничали вдвоём, Якоба вдруг обвила руками его шею и сказала:

— Слушай, Пер, тебе не приходило в голову, что ты ни разу не сказал мне, любишь ли ты меня?

— Будто ты так не знаешь.

— Знаю, но мне этого мало. Я хочу услышать своими ушами. Я должна хоть раз услышать, как это звучит, когда возлюбленный говорит, что он любит тебя. Ну скажи сейчас, Пер!

— Но, Якоба, дорогая, я ведь, кажется, сто раз говорил тебе, что...

— Не теми словами. А мне нужны именно те. Ты только подумай — это те самые три слова, которые у нас, женщин, начинают звучать в ушах днём и ночью, во сне и наяву, едва мы вернёмся домой с нашего первого бала. Пер, скажи их мне! Хочешь, я помогу тебе? Тогда повторяй за мной, и у нас получится взаимное объяснение. Ну, начали: «Я...

— Я, — повторил Пер.

— Люблю...

— Ну что за дурацкое ребячество, — перебил её Пер, залившись краской, и зажал ей рот своей рукой. И так как она продолжала умолять его, он рассердился и высвободился из её объятий.

И всё же, хотя он облегчённо вздыхал, когда после бурного прощания в вестибюле выходил на улицу и закуривал сигару, домой, к прерванной работе, его теперь не тянуло, и того меньше — в кафе, где он прежде был великий охотник посидеть. Теперь он предпочитал бесцельно бродить по тихим, безлюдным улицам, бродить, прислушиваясь к своим новым, самому ещё не ясным настроениям. Как и в тот первый раз, когда он нечаянно испил из источника вечности, в нём поднималось могучее, порой пугающее ощущение, будто в его душе рождается чудесный сказочный мир. Но если райские кущи любви, куда завела его славная Франциска, походили скорее на уютный маленький палисадник, где произрастает резеда и левкой и разбиты хорошенькие клумбочки, то теперь судьба бросила его в гулкую пальмовую рощу, величественную, как храм. Предчувствие ещё большего счастья, радости более чистой и возвышенной, нежели та, к которой он стремился ранее, рождалось в этих полуночных бдениях. Он начал понимать, что только женская любовь делает жизнь достаточно полной, что глубокая мудрость таится в сказанных им некогда легкомысленных словах о райском блаженстве поцелуя, которое дарует человеку забвение всех забот и прощение всех грехов.

Однажды, вернувшись домой после ночных странствий, он написал Якобе такое письмо:

«Один человек как-то в шутку назвал меня «Счастливчик Пер». Я и сам никогда не чувствовал себя пасынком судьбы, хотя мне случалось в трудную минуту сетовать на неё за то, что меня угораздило родиться в стране, где давным-давно пасторов сын Адам взял в жены причетникову дочку Еву, и они наплодили два миллиона Сидениусов, которые заполонили весь мир. Но теперь, когда я оглядываюсь на прожитые годы, я вижу, что мой добрый гений всё время незримо хранил меня, и хотя мне не раз случалось вступать на ложный путь и обольщаться мишурным блеском, я увенчан теперь золотой короной победителя: у меня есть ты и есть твоя любовь.

И пока я не отошёл ко сну, мне надо, очень надо обратить к тебе свои мысли и поблагодарить тебя. Ты была моим добрым гением с той самой минуты, как я впервые переступил порог твоего дома, с того дня, который стал поворотным в моей жизни. Позволь мне сказать то, о чём ты совсем недавно просила меня, а я никак не мог решиться, позволь в ночной тиши шепнуть: «Я тебя люблю!»

Но, перечитав письмо утром, на свежую голову, Пер устыдился и сжег его. А вместо него написал новое, где говорил главным образом о своей книге.

«Сил нет, до чего долго печатают у нас книги. Наверно, из-за чертежей: их надо вырезать на дереве. Кстати, знаешь, я задумал переменить название. «Новые времена» как-то не звучит. Пусть она называется «Государство будущего». Правда, это куда лучше?»

Наступил октябрь, сборы подходили к концу. Для начала Пер собирался провести некоторое время в Германии и побывать там в самых известных технических институтах. Затем он хотел познакомиться с грандиозными работами по строительству гидросооружений, которые велись англо-американской фирмой «Блекбурн и Гриз»; будущий тесть обещал дать ему рекомендательные письма. Кроме того, он думал повидать Париж, Лондон, Нью-Йорк и несколько крупнейших городов Америки. Всё путешествие, от начала до конца, должно было занять два года.

Хотя Якоба даже представить себе не могла, как ей жить такой долгий срок без него, она не возражала. Более того, она даже сама прибавила второй год. Пер думал уложиться в половинный срок, но она настоятельно просила его не спешить. Здесь она получила поддержку со стороны отца: он призвал Пера к себе в контору и вручил ему чек на пять тысяч крон, пообещав ровно через год ещё такой же чек.

Среди суеты, вызванной укладкой вещей и закупкой весьма обильной дорожной экипировки, Пера застало письмо от Эберхарда. Брат сообщал, что ему случайно стало известно о намерении Пера отправиться за границу, а потому он считает своим долгом известить Пера о состоянии отца, которое за последнее время настолько ухудшилось, что печальная развязка может наступить с минуты на минуту. Лично он, Эберхард, собирается незамедлительно выехать домой, к смертному одру отца, где, надо полагать, соберутся и все остальные братья и сёстры.

Получив это письмо, Пер целых полдня расхаживал по комнате, не зная, как быть. Самый тон письма показался ему непривычно уважительным, да вдобавок счастье делает человека покладистым. «Теперь никому и в голову не придёт говорить о возвращении блудного сына»,— подумалось ему.

Однако торжество нельзя ещё считать полным. Вот если бы книга вышла, тогда другое дело.

После долгих раздумий он сжёг письмо вместе с остальными старыми бумагами, которые выгреб из всех Ящиков, и даже Якобе ничего не рассказал.

На другой день он выехал в Германию.

## Глава XI

*Берлин, 12 октября*

...А теперь я должен описать тебе свой первый выход в свет, ибо он кажется мне весьма забавным. Тебе уже случалось ездить в Берлин, и поэтому ты знаешь, что дорога туда не из весёлых. Признаюсь честно, что в конце концов я просто заснул и проснулся только тогда, когда наш поезд въехал под своды Штеттинского вокзала. Тут я получил свой чемодан, побрёл к свободной пролётке и сказал извозчику: «Отель Цимермана на Бургштрассе»; это тот отель, который порекомендовал мне твой дядя. Но извозчик выпучил глаза и переспросил на своём берлинском наречии: «Бу'штрассе? Бу'штрассе?» Потом покачал своим пивным котелком и говорит: «Знать не знаю». Подъехали тем временем другие извозчики, наконец, вокруг меня собралась целая толпа. «Бу'штрассе? Бу'штрассе? — переспрашивали все хором и качали своими круглыми головами. — Впервые слышим.» Вот тебе и на! Но вдруг один из них поднял палец и провозгласил: «А-а! Это же Бу-р-р-р-р-г-штрассе». От громового раската этих «р-р-р» я окончательно проснулся и только тут осознал, что нахожусь не у себя дома, а первым итогом моего путешествия был вывод, что даже ютландец, буде он выбрался за границу, должен понатореть в фонетике.

Теперь послушай, что было дальше! Когда коляска остановилась перед отелем Циммермана (замечу в скобках, что это старая грязная коробка со старомодной террасой, выходящей прямо на тротуар), слуга в кожаном фартуке вышел встретить меня. Но что это? Не успел он открыть дверцу коляски, как бросился бежать с воплем: «Герр Циммерман! Герр Циммерман!... К вам господин с орденom!»

Весь дом поднялся на ноги, сам хозяин вылетел ко мне на улицу с непокрытой головой. Ну и картина! Я тем временем изумлённо взглянул на отвороты своего сюртука. В петлице ещё торчала полуоблетевшая роза, которую ты сегодня утром дала мне на прощанье. Кто бы мог подумать, дорогая, что твой последний подарок вызовет такой переполох. Надеюсь, ты себе представляешь, как меня пиняли, когда дело разъяснилось. Но, уж поверь мне, я отомстил за нас обоих. Придя к себе в номер, я начал браниться и трезвонить, как заправский кавалер Большого Креста, а когда слуга поднялся ко мне с книгой для приезжающих, я не мог удержаться и лихо вывел перед своим именем приставку «фон». Не качай головой! Ты бы посмотрела, как это подействовало! Когда я уходил, хозяин стоял в дверях и кланялся так низко, словно хотел поцеловать носки своих сапог. Он собственноручно распахнул передо мной дверь с почтительнейшим возгласом: «Прошу, господин барон!» И так, второй вывод, сделанный мной в тот же день: дворянский титул — есть вещь, которой никак не следует пренебрегать. Впрочем, об этом мне уже говорил твой дядя. Смешно, конечно, но если



хочешь властвовать над людьми, умей использовать их слабости, — вот одно из необходимых условий.

Я уже немножко освоился на Унтер ден Линден, в настоящую минуту я сижу у «Бауэра» и пишу тебе. С улицы доносится шум и рёв, который ещё раз подтверждает, что я нахожусь в мировом центре. У меня такое чувство, будто я попал в самое нутро огромной водяной мельницы. Впрочем, эти города с миллионным населением и есть не что иное, как гигантские турбины, которые затягивают людской поток и, высосав из него всю энергию, извергают его обратно. Что за концентрация жизненной силы! Право же, когда слышишь, как дрожит под ногами земля от высвобожденной энергии двух миллионов человек, тебя охватывает поистине возвышенное чувство. Что за чудеса мы сможем совершить в грядущие столетия, когда научимся накапливать энргию, по сравнению с которой всё, чем мы располагаем теперь, покажется не более как детской игрой. Но на сегодня довольно.

*17 октября*

Я снял две комнаты на Карлштрассе, дом 25 (точный адрес: фрау Кумминах, второй этаж, слева). Пока я решил пожить в Берлине. В здешнем оживлении и шуме есть нечто электризирующее. Я просто физически ощущаю, как воздух большого города заряжает меня громами и молниями. Пр-р-рекрасно! Как мне хотелось бы ниспослать приличную грозу через Балтийское море домой, на наши курятники. Если глядеть отсюда, наши люди и наш образ жизни кажутся вдвойне провинциальными. Местные жители, начиная с подметальщиков улиц, сделаны совсем из другого теста. И даже наши львы с Эстергаде — в них ведь тоже чувствуется ещё деревня-матушка. А если сравнить нашего лейтенанта с немецким офицером в длинном плаще, с большими огненно-красными отворотами, то первый — прости мне боже! — покажется не более как семинаристом, облаченным в военный мундир.

Сегодня я нанёс визит доктору Натану. Он очень мило устроился недалеко от Кенигсплаца и, хоть и преисполнен горестных раздумий, по-видимому, отлично чувствует себя в своём добровольном изгнании. Встретил он меня чрезвычайно приветливо, но — признаюсь честно — мне не понравился. Я пытался познакомить его с содержанием своей книги, но о технике он явно не имеет ни малейшего понятия. Каждую минуту он перебивал меня нелепейшими вопросами. Он даже не совсем ясно представляет себе, что такое турбина. Весь наш разговор сводился к «что вы говорите?» и «да ну!». Это было для меня большим разочарованием. До чего удивительно, что люди вроде Натана — люди, задумавшие на романтических развалинах средневековья построить новое культурное общество, сами толком не сознают, за какое дело они взялись. Они напоминают мне ту категорию архитекторов, получивших университетское образование, которые могут создать проект, порой весьма внушительный с точки зрения художественной, но совершенно не заботятся о том, откуда брать глину, где обжигать кирпич и о многом другом, и, пожалуй, даже с некоторым презрением относятся ко всем этим вопросам. Тут нужны другие силы. Люди, подобные Натану, только мешают. Я припоминаю, как в одной из тех книг, что ты давала мне летом, — уж не его ли это была книга? — я нашел несомненно справедливое высказывание о том, что истинной предпосылкой для Возрождения в XV веке послужило изобретение компаса, ибо оно сделало возможным открытие Америки и облегчало доступ к богатствам ранее открытых колоний, богатства хлынули в обедневшую Европу, омолодили запуганное попами и монахами человечество, пробудили мужество, энергию, жажду приключений и т. д. Но ведь точно так же, на мой взгляд, и внедрение мощных современных механизмов является залогом грядущего культурного прогресса, а те, кто вещает о будущем, не понимая этого, просто пускают мыльные пузыри на потеху поэтам и другим несовершеннолетним.

*19 октября*

...Да, я всё ещё не побывал у дяди твоей матери. Я нарочно откладываю этот визит, пока не освоюсь получше с немецким языком. На днях я проходил мимо его виллы на Тиргартенштрассе — это настоящий дворец. Здесь говорят, что дядя «стоит» пятьдесят

миллионов. Ты должна помочь мне своими наставлениями, как мне там следует вести себя. Что такое «тайный коммерции советник»? Может, его следует называть «ваша светлость»? И расскажи мне немножко о его семье. У него есть жена (или «супруга»?) и дочь. А больше детей нет?

*21 октября*

Сегодня зашёл к «Бауэру», и как ты думаешь, кого я увидел? Кто сидел там в разбойничьей шляпе, сдвинутой на затылок, и с узловатой палкой, зажатой между вытянутыми ногами? Фритьоф! Я его едва узнал, он очень постарел за последнее время, борода поседела, веки опухли и покраснели. Но при всём при том у него очень важный вид; даже здесь, в Берлине, он привлекает внимание. Он приехал сюда из-за своих картин, которые выставлены на продажу. Как художник он тоже имеет успех: газеты много им занимаются. Я в этом мало смыслю, но он потащил меня с собой полюбоваться его картинами, и действительно, среди них есть превосходные вещи. Например, несколько больших полотен, изображающих бурю на Балтийском море. И вот, пока я разглядывал эти картины, меня волновала мысль о том времени, когда хорошо закреплённые железные «поплавки» в тысячу тонн весом (ты знаешь о них из моей книги) протянутся вдоль западного побережья Ютландии и, качаясь на волнах, начнут высасывать всю энергию морского прилива. Я даже спросил Фритьофа, не случилось ли ему, когда он сидел на берегу и рисовал эти волны, горевать при мысли о той массе превосходной энергии, которая тысячелетиями пропадала и продолжает пропадать втуне для человечества и его культуры. Но он тут же завёл старые и нудные жалобы о гнусности индустриализации и об осквернении природы. Тогда я спросил у него, неужели ему и в самом деле не импонирует мысль о том, чтобы обратить все эти потерянные лошадиные силы на пользу обществу, послать их по проводам через всю страну, оделить ими все города, провести их в каждый дом, — так, чтобы морские волны пустили в ход машину швеи из Холстебру и раскатали детскую люльку у матери из Виборга. Ты бы посмотрела при этом на его лицо! «Это ещё что? — заревел он так, что на нас стали оборачиваться. — Вы, мерзавцы, хотите превратить моё море в вьючного осла?»

Его не переубедишь. Мне его даже жалко стало, когда я поглядел на него: стоит человек в мягкой шляпе, в развевающемся галстуке, с узловатой палкой, — и возмущается, как дикарь. Я сказал себе самому: «Вот последний художник!» лет через двадцать таких людей будут сажать в сумасшедшие дома, а после смерти их чучела выставят в музее рядом с мамонтом и трёхгорбым верблюдом...

*23 октября*

Вчера у меня был большой день. Недавно я прочёл в газетах об опытном пуске плотины нового типа, который должен состояться под наблюдением группы приглашенных для этого инженеров возле маленького городка Беркенбрюк, в двух часах езды отсюда. Поскольку мне тоже захотелось присутствовать при пуске, я отправился в датское консульство, твёрдо уверенный, что оно сочтёт своим долгом помочь мне получить приглашение. Но когда я изложил свою просьбу, глаза моего собеседника от удивления стали такими круглыми, каких я не встречал за всю свою жизнь. Ему пришлось даже прислониться к спинке стула, чтобы перевести дух. На его памяти, сказал он, доставали билет в королевский театр одной заезжей актрисе и исхлопотали для каких-то датских учёных право доступа в отдел рукописей, но такое!.. Пожилой мужчина, который вышел из соседней комнаты (вероятно, господин консул собственной персоной), уставился на меня с ещё большим удивлением и по-отечески растолковал мне, что на такого рода любезность не следует рассчитывать в чужой стране, а особенно в Германии, где и вообще-то иностранцев не очень жалуют. Во всяком случае, прежде чем их консульство может что-либо сделать для меня, им необходимо запросить наше министерство, для чего я должен составить письменное ходатайство в двух экземплярах, приложив в нему необходимые рекомендации и свидетельство о сдаче необходимых экзаменов от всех и всяческих учебных заведений, которые я посещал начиная с семилетнего возраста, и т. д., и т. п., — короче говоря, я

почувствовал, что снова попал в добрую старую Данию, в заповедное царство бессмыслицы. Тогда я решил попытаться счастья на свой страх и риск. Вчера утром я первым же поездом выехал в Беркенбрюк, немедленно отыскал главного инженера, который моментально выдал мне пригласительный билет да ещё поблагодарил меня за внимание к их деятельности и предоставил в моё распоряжение все материалы о подготовительных работах.

Попытаюсь объяснить тебе, что я там увидел. Так вот, задача заключается в том, чтобы отремонтировать быки моста, а для этого надо осушить на одном участке русло реки. Сперва хотели просто перегородить реку, как это делают всегда, но здесь слишком сильное течение, и они не смогли бы закрыть плотину, не пустив воду по отводному каналу, а это, при данных условиях, было бы слишком дорого и сложно. Тогда решили (и это-то и есть качественно новое и наиболее интересное), чтобы река сама помогла закрыть плотину: огромный деревянный ящик, соответствующий по размерам отверстию в плотине, спустили в воду с необходимым грузом, а управляли ящиком с берега. Всё сошло превосходно. Когда ящик приблизился к отверстию даже немного раньше, — в плотине что-то подозрительно зашумело, и вода сильно поднялась, но течение всё-таки прибило ящик к отверстию, и он заткнул плотину, как пробка горлышко бутылки. Это была волнующая минута! Мне хотелось бы, чтобы ты своими глазами увидела это. Для полноты эффекта одновременно неподалёку раздались взрывы, — это пробивали временный сток для воды в заболоченное озеро.

Затем подали шампанское в разбитой тут же палатке, и все произносили речи. А потом (смотри, не свались со стула!) я тоже провозгласил здравицу в честь немецкой технической мысли, которая ещё раз блестяще доказала миру своё превосходство. Получилось очень здорово. Конечно, у меня не всё клеилось с языком, но там, где не хватало слов, я выразительно жестикуюлировал. Речь моя вызвала бурю восторга. Люди бросились ко мне со всех сторон, все хотели пожать мою руку, а присутствующие репортёры выудили из меня интервью. В сегодняшнем номере «Тагеблат» ты можешь найти моё имя.

И ещё я познакомился на этой же встрече с профессором Пфефферкорном, который может мне очень пригодиться. Он преподаёт в Берлинском политехническом институте, а кроме того — до чего тесен мир! — хорошо знаком с нашим Ароном Израелем и по этой причине до некоторой степени интересуется жизнью Дании. На прощание он пригласил меня заходить... Ты упрекаешь меня, дорогая, за мои суждения о Натане. Ты, кажется, даже немного обижена тем, что я не признаю его своим духовным руководителем. Отвечу тебе, что я, конечно, очень многим ему обязан, — этого я и не отрицаю. Но, как воспитанник университета, он на всю жизнь останется неисправимым эстетом, не имеющим ни малейшего понятия о практических запросах нашего времени. Когда я недавно пытался дать ему хотя бы поверхностное представление о моём проекте, он почти не дал мне открыть рта. Он тут же заговорил о какой-то пьеске, которую недавно прочёл, о внутренней политике и ещё бог знает о чём. О моём же проекте он только и смог сказать, что находит его «весьма фантастическим». Вот видишь! И такого человека я должен считать своим наставником. Да он не более прогрессивен в своих взглядах, чем Фритьоф, он не имеет ни малейшего представления о том, какие чудеса сулит нам будущее, и о том, что эти чудеса в конце концов перевернут все порядки на земле, включая и политику. «Фантастический»! Живя здесь, я ещё более утвердился в прежнем мнении: для нас всего фантастичнее именно тот факт, что мы с нашими природными богатствами продолжаем влачить жалкое существование безответной Золушки, которое кажется нашим правителям лучшим залогом национальной независимости и естественной почвой для развития нашей культуры. Я лично считаю, что при такой малочисленности у нас есть только одно средство утвердиться среди остальных государств, и это средство — деньги. Помнишь, я писал в своей брошюре: «Существование такой карликовой страны, как Дания, само по себе уже сейчас есть нелепица, в дальнейшем же существование такой маленькой и нищей страны просто невозможно. Мы должны завоевать уважение своими богатствами, а для этого нужны деньги, деньги и ещё раз деньги». Только блеск золота зажжет «свет над страной», о чём так

любит толковать Натан и ему подобные. Культ бедности всегда рано или поздно становится лишь поживой для попов.

Я часто думаю о Венеции, которая была обычным маленьким городом, а стала мировой державой. Города Ертинг или Эсбьерг по отношению к теперешним северным торговым путям занимают такое же центральное положение, какое некогда занимал город каналов. И я мечтаю о Ертинге будущего, где на широких набережных воздвигнутся дворцы торговли с золочеными сводами, где маленькие гондолы с электромоторами заскользят словно ласточки по сверкающей воде каналов.

*25 октября*

Сегодня всего два слова — очень спешу. Я только что от господина коммерции тайного советника и передаю приветы всему вашему семейству. Я застал дома мадам и барышню, и они очень приветливо меня встретили. Твоя кухня на редкость красива, но при этом держится удивительно просто, даже застенчиво. Впрочем, она ведь ещё очень молода. В остальном у них всё чрезвычайно тонко. У каждой двери, через которую я проходил, стоял лакей, принимали меня в известном тебе зимнем саду. Больше всего мы говорили о вас, хотя я, конечно, не рассказывал о наших отношениях и выступал в роли друга дома. У них послезавтра состоится музыкальное суаре, и я приглашен. Они уже разослали около трёхсот приглашений.

Пишу, не снимая пальто, так как собираюсь к Фритьофу. Мы частенько проводим вечера вместе и, несмотря на все наши разногласия, неплохо ладим друг с другом. Фритьоф весьма интересный человек. Он познакомил меня со своими немецкими собратьями по искусству, такими же взбалмошными, как и он сам, но в остальном очень живыми и славными. Не раз случалось, что они находили сходство между мной и Фритьофом. Ну не смешно ли? Однажды меня даже спросили, не брат ли я Фритьофу. Каково?

*27 октября*

Опять очень интересный день. Я, кажется, писал тебе о профессоре Пфефферкорне, преподавателе политехнического института, — словом, о том, что приглашал меня к себе? Сегодня я у него был. Он живёт в Шарлоттенбурге, около института. Институт — это настоящий дворец со статуями и колоннами, и постройка его обошлась, наверно, миллионов в десять. Профессор Пфефферкорн сам водил меня по институту, я видел аудитории, лаборатории и ряд опытных мастерских при институте. Но самое большое впечатление произвели на меня блестяще выполненные модели крупнейших инженерных сооружений мира — мосты, шлюзы, фундаменты и т. п. — целый музей, равного которому, пожалуй, нет на свете. Пфефферкорн обещал мне достать разрешение заниматься здесь, чего, в общем, не так-то просто добиться; я, конечно, в совершенном восторге. Это настоящая сокровищница! А пока я собираюсь прослушать у них несколько лекций; здесь есть профессор Фрейтаг, сравнительно молодой человек, который завоевал широкую известность своим трудом об электромоторах.

В общем, дорогая, я не собираюсь бездельничать. У меня уже руки стосковались по таблицам логарифмов. А книга моя — это ничто или, в лучшем случае, очень мало! Дай только срок! Педант Сандруп и его жалкие помощники с потными руками могут убираться восвояси. Через десять лет у нас будет всё по-другому.

Недавно я взбирался вместе с Фритьофом на башню ратуши, к самому основанию флагштока. Высота её 250 футов. Солнце уже садилось, но воздух был такой прозрачный, что я видел всё окрест мили на две. Во все стороны расходятся ряды высоких домов и длинные улицы, на которых уже зажглись фонари, бегут телеграфные провода, высятся дымовые трубы и залитые электрическим светом вокзалы, куда то и дело прибывают поезда, а совсем далеко — заводские громады, которые, кажется, продолжают город до бесконечности. И я подумал, что всего поколения два тому назад это был довольно невзрачный провинциальный городишко с масляными лампами, дилижансами и т. д., и т. п., и гордое сознание быть человеком на земле настолько овладело мною, что я — к величайшему неудовольствию Фритьофа — подбросил в воздух свою шляпу. Господи



Иисусе, ох уж мне эти люди с их «искусством» на размалёванных полотнах! Я убеждён, что вид залитого электричеством вокзала волнует душу куда больше, чем все мадонны Рафаэля вместе взятые. И если бы я верил в провидение, я бы каждый день падал на колени в дорожную пыль, чтобы выразить свою благодарность за то, что я рождён в это славное столетие, когда человек осознал своё всемогущество и начал преобразовывать землю по своему усмотрению и с таким размахом, о каком сам господь бог не смел и помыслить в своих дерзновеннейших мечтах.

\* \* \*

Когда Пер уехал, когда Якоба уже не находилась под его непосредственным воздействием, а мысль о том, что они не увидятся целый год, лишила её прежней энергии, в её отношении к Перу вкрался некоторый, пусть даже мимолётный, оттенок недовольства. Как только она получила его первое письмо или, точнее, как только собралась отвечать на него, она почувствовала, насколько чужим стал для неё Пер за эти несколько дней. Она, неожиданно для себя, даже не находила, о чём ему писать. Снова проснулось в ней критическое отношение к Перу, снова возродились былые сомнения. Для неё по-прежнему стало сущей мукой читать его мальчишеские письма, где так много говорилось о ненужных ей вещах, так мало — о любви, и совсем ни слова — о тоске по ней.

Но недели две спустя Ивэн встретил на улице Арона Израеля, и тот показал ему письмо, полученное утром от его старого берлинского приятеля, профессора Пфедферкорна, где тот с большой похвалой отзывался о Пера. Ивэн выпросил у него это письмо, вслух зачитал его в гостиной перед родителями, а потом в большом запечатанном конверте переслал Якобе с надписью: «Vive l'empereur!»

В письме говорилось:

«...Я поддерживаю с недавних пор самую тесную связь с твоей страной через посредство одного молодого человека, некоего инженера Сидениуса, который, по его словам, лично знаком с тобой. Он на редкость одарён, и датский народ вправе многого ожидать от него. Я несколько раз беседовал с ним и ознакомился с интересными его идеями, которые заинтересовали и меня. Я не встречал ещё человека, обладающего таким непосредственным, свежим и живым восприятием природы и её чудес. Не буду утверждать, что его образ мыслей полностью мне импонирует: на мой взгляд, он слишком земной, но таким людям принадлежит будущее, о чём нам, старикам, остаётся только вздыхать. Каждое время рождает свои идеалы, и когда я слышу, как твой молодой земляк без страха и сомнений развивает самые смелые планы преобразования общества, преобразования, возможного благодаря всё более полному покорению сил природы, мне кажется, что я вижу перед собой прототип деятеля двадцатого века...»

У Якобы пылали щёки и прерывалось дыхание, когда она читала эти строки. Потом с нею произошло нечто совсем неожиданное: она расплакалась. Она плакала не только от счастья, но и от стыда за свои сомнения и тревоги и за то, что в мыслях своих она вновь предала Пера. «Деятель двадцатого века!» Именно эти слова проливали свет на великие противоречия в характере Пера, оправдывали его слабости, объясняли его силу. Он только первый, ещё неоформленный набросок человека из грядущего поколения гигантов, которое (как он сам писал) должно рано или поздно стать полноправным хозяином земли и переделать её по своему усмотрению; он — это предтеча нового поколения, возвращенный в затхлом комнатном воздухе, под гнетом всех обывательских суеверий, малодушия, тупой покорности — и потому необузданный, своенравный, непочтительный, лишенный веры в какие бы то ни было добрые силы, кроме тех, которые приводят в движение колёса машин. Так чему здесь удивляться? Мечта девятнадцатого столетия о золотом веке, прекрасная надежда, что царство добра и справедливости можно создать одной лишь силой слова и мощью духа, — как поблекла она теперь!



Ещё до отъезда Пера Якоба пыталась хоть немного проникнуть в тайны математики и механики, но тогда это было просто капризом влюбленной женщины, проявлением беспокойного желания повсюду следовать за Пером, — и встретившиеся ей трудности заставили её довольно скоро отказаться от своих попыток. Теперь же она снова с энергией, присущей семитам, принялась за изучение точных наук. Она поняла, что лишь основательное знакомство с ними даст ей важнейшую предпосылку для того, чтобы постичь современное общество и законы его развития. На её столе, заваленном прежде художественными произведениями — чаще всего там лежало раскрытое «Сотворение мира» Эневольдсена со спрятанным между страниц портретом автора, — громоздились теперь учебники по физике, геометрии, динамике, и в своих письмах к Перу она докладывала о своих успехах и спрашивала его советов и указаний.

Их отношения, таким образом, неожиданно изменились. Якоба, убеждённая прежде в своём духовном превосходстве, Якоба, считавшая прежде своим долгом — хоть и несколько неприятным — помочь неотёсанному жениху наверстать то, что было упущено в его восприятии, вдруг почувствовала себя ученицей, которой нужны поддержка и снисхождение. Словно в первую пору своей любви, она по десять раз на дню хваталась за перо, чтобы написать ему — иногда всего лишь одну строчку, — выразить бурную радость от неожиданно найденного решения трудной геометрической задачи или пожаловаться на то, что Пера нет рядом, когда ей так нужна его помощь.

Этот пыл куда больше объяснялся любовью к Перу, чем сама Якоба о том подозревала. Всё, что случалось с нею за день, решительно все, даже мимолётную мысль, которая мелькнула у неё в голове, спешила она поведать Перу, хотя в его письмах не находила ответа на свою доверчивость и нежность. Но с этим она постепенно примирилась. Теперь она поняла, что требует от Пера чувств, которыми его обделила сама природа, и была благодарна ему за одно то, что он и не пытается лицемерить, за то, что он предстал перед ней таким, каким был.

О политике — это был её конек — она тоже писала ему, и главным образом о различных формах рабочего движения, которое неразрывно связано с развитием современной техники. До последнего времени она никак не могла проникнуться интересом Пера к вечным спорам о заработной плате и о власти: весь её аристократизм восставал против этого. Ей всегда внушали опасение недовольные рабочие массы, а их требования, как ей казалось, таили в себе угрозу всему тому, что она ценила так высоко. И только когда она, после долгих сомнений, начала понимать Пера, ей стало понятно в нём и упрямое чувство единства с армией угнетённых рабочих, борющихся за свет, воздух и человечность, — с армией людей двадцатого века.

А между тем дни в Берлине текли своей чередой. Пер поровну делил время и силы между научными занятиями и соблазнами большого города. Каждый день он заводил новые знакомства и повсюду встречал самый дружеский приём. В этом отношении здесь всё было как дома: открытое, живое и улыбающееся лицо Пера, очевидная непосредственность его натуры покоряли сердца и заставляли иногда подозревать о таких достоинствах, какими он на самом деле отроду не обладал. Только здесь он до конца осознал свой редкий дар завоевывать всеобщие симпатии и, не размышляя долго над причиной и не теряя самообладания, использовал этот дар. Одновременно Пер с превеликим тщанием усваивал манеры жителя большого города и уже вполне мог сойти за полноправного обитателя столицы. В остальном же его постигла участь, весьма обычная для людей, попавших за границу: его чисто личные недостатки воспринимались здесь как национальные свойства характера, за которые человека не только нельзя винить, но которые даже сообщают ему известную привлекательность, возбуждая своего рода этнографический интерес.

На большом музыкальном суаре у тайного коммерции советника он сначала затерялся среди расшитых мундиров и бальных туалетов, но в антракте, когда хозяйка дома подозвала его и удостоила беседы вплоть до начала второго отделения. Пер стал предметом всеобщего внимания. Стареющая дама, сильно затянутая и накрашенная, питала слабость к молодым

людям крепкого телосложения и даже не пыталась это скрывать. Но Пер смотрел только на её дочь — полную противоположность матери: тихое, нежное существо девятнадцати лет, она чуть не с ужасом встречала каждого мужчину, который к ней приближался. Подобно матери, она была прекрасно одета и сильно декольтирована, как предписывала придворная мода, но нагота, казалось, тяготила её, и она, насколько могла, прикрывала обнажённую грудь веером.

Перу удалось лишь бегло раскланяться с ней при встрече, и он даже не был уверен, что она узнала его. Её всё время окружали блестящие кавалеры в мундирах, и под конец он отказался от всяких попыток подойти к ней поближе. Но во время концерта он дважды заметил, как она украдкой поглядывает на него, причём, когда он вторично перехватил её взгляд, она поспешно отвела глаза, доказав тем самым, что взгляд этот был не случайным. Пер мог бы поклясться, что она слегка покраснела.

Когда ночью, приятно возбуждённый шампанским, Пер возвращался домой, в его голове роились самые дерзкие мечты. Может быть, здесь стоит попытаться счастья? Ему припомнился рассказ дяди Генриха о бедном австрийце, который сумел жениться в Америке на дочери керосинового короля и стал одним из некоронованных властителей Нового Света. А эта молодая девушка унаследует по крайней мере пятидесятиmillionное состояние. Пятьдесят миллионов и красавица в придачу! Это кого хочешь подстрекнёт!.. Вздор! Безумие!.. А вдруг... До сих пор ему удавалось всё, чего он по-настоящему хотел. Он ни разу ещё не опроверг предсказаний Ивэна: «Пришёл, увидел, победил».

Правда, есть ещё на свете Якоба — он чуть не забыл про неё: это серьёзное препятствие. С другой стороны, неизвестно, обязан ли он связать себя на всю жизнь, когда перед ним неожиданно открываются столь заманчивые перспективы. Имеет ли он, наконец, право отказываться от такого будущего? Справедливо ли это будет по отношению к тому делу, которому он отдаёт все свои силы? Видит бог, как дорога ему Якоба. Он высоко ценит её редкие достоинства, ему будет ужасно тяжело расстаться с ней. Но как можно думать о своих личных чувствах, когда дело касается всеобщего блага? Да Якоба сама должна понять и одобрить его. Пятьдесят миллионов! Эта сумма в такой крохотной стране, как Дания, может доставить её обладателю почти неограниченную власть. Чего только не сделаешь на родине с такими деньгами! Какую помощь можно оказать освободительному движению, которому та же Якоба, больше, чем кто-либо другой, желает успеха и счастья!

Ему не хотелось возвращаться домой, поэтому он отправился на Унтер ден Линден, где в кафе и погребках было ещё довольно много народу. До сих пор Пер по возможности обходил стороной эти фешенебельные рестораны, потому что там всё стоило до чёртиков дорого. При всём своём стремлении казаться светским человеком, он сизмальства не любил сорить деньгами и, сказать по чести, лучше всего чувствовал себя в излюбленном кабачке художников, куда водил его Фритьоф и где можно было получить полуфунтовый бифштекс с яичницей, солидную булку, кусок сыра, две кружки пива и в придачу приветливую улыбку кельнерши всего за две марки. Но в хмельном возбуждении этой ночи он отбросил свои мещанские предрассудки и вошёл в один из самых роскошных офицерских ресторанов, неподалёку от гауптвахты.

Сидя за бутылкой охлаждённого на льду «Vix бага», Пер смотрел, как весело кружатся пары, бряцая саблями и шурша шелком, и продолжал себя уговаривать. Баронский титул, о котором рассказывал ему дядя Генрих, не выходил у него из головы. А вдруг он и впрямь станет бароном! Без знатного имени в этих кругах ничего не добьёшься. Но зато, став бароном, он не побоится никакого соперничества. Правда, по совести говоря, он ещё мало чего сумел достичь — всего лишь один перехваченный взгляд. Но разве он располагал большим, разве он располагал хоть единственным взглядом, когда в своё время обратил взоры на Якобу? Надо только быть смелым и верить в свою счастливую звезду. Недаром же его девиз: «Я так хочу!»

Домой он добрался уже в четвёртом часу, но возбуждение не давало ему заснуть. Он метался по постели, пил воду стакан за стаканом — и всё не мог успокоиться. Не только

фантастические и дерзкие мечты о будущем мешали ему уснуть. Во мраке и одиночестве проснулись другие мысли и волновали его кровь.

Всё время, что он жил в Берлине, его преследовало странное беспокойство, которое, словно тень из сказки Андерсена, появлялось только в тишине, когда кругом никого нет. Это была неотвязная мысль об отце и его возможной смерти. Проще сказать, днём, когда он занимался делом или сидел с друзьями в кафе, эта мысль не волновала его, но стоило ему остаться одному, в чужом городе, особенно по вечерам, когда он возвращался домой в свои пустые и неуютные комнаты на Карлштрассе, призрак снова вставал перед ним. Каждую ночь, пока, сняв пиджак, он стоял перед постелью и заводил часы, он задавал себе один и тот же вопрос: «А вдруг отец сегодня умер?»

Так было и в эту ночь.

Под утро, когда ему наконец удалось задремать, он внезапно вздрогнул, как от толчка. Непонятно откуда донёсся странный звук, будто кто-то постучал в стену. Снова сон отлетел от него. И хотя он был совершенно не суеверен, он не мог отделаться от мысли, что как раз в эту минуту скончался отец.

Утром он послал телеграмму Эберхарду и к обеду получил короткий ответ: «Отец при смерти». Пер взглянул на часы. Через два часа отходил экспресс в Гамбург. На другое утро он будет дома, а вечером сможет выехать обратно. Всего двое суток, зато совесть будет спокойна.

Он помешкал минуту с часами в руке. Потом решительно мотнул головой и принялся укладывать чемодан.

Он сам не до конца сознавал, что гонит его домой; он просто боялся когда-нибудь горько пожалеть о том, что не сказал отцу последнего «прости», — ведь возможность окончательного примирения совершенно исключалась. Его решение было неведомым путём связано с другими мыслями, которые тоже не давали ему уснуть всю ночь, и опять в дело был замешан непреодолимый страх перед призраками прошлого. Подобно первым язычникам, которые, приняв христианство, тайно поклонялись прежним богам, прежде чем решать важные вопросы, Пер хотел жертвой умиловить отцовского бога, прежде чем начать последний и завершающий бой за золотой венец счастья.

Два часа спустя поезд унёс его на север.

## Глава XII

Ночью, когда поезд мчался по Ютландии, Пер без усталости вспоминал, как семь лет тому назад он последний раз так неудачно съездил домой на рождество. До мельчайших подробностей вспоминалась ему эта поездка: тогда был тёмный, ненастный вечер, холодный желтоватый туман окутывал город, и сонно мерцающие фонари казались в тумане ещё унылее. На мокрой платформе стояла его сестра Сигне в куцем старомодном салопе, на руках у неё красовались чёрные шерстяные перчатки, а из-под юбки выглядывали большие ноги в калошах. Пер вспомнил, как рассердился отец, когда узнал, что сын без разрешения устроил себе каникулы, и как сам он огорчился, когда увидел, что в столовой натирают пол и что, значит, все уже отужинали.

Пера даже удивило, что он до сих пор живо помнит все эти мелочи, хотя сейчас они решительно ничего для него не значили. И уж во всяком случае, он не хотел признать, что родительский дом и мрачные воспоминания, вынесенные оттуда, до сих пор имеют над ним какую-то власть. Он готов был согласиться лишь с тем, что мысли о прошлом, которое за последние годы совсем исчезло из его жизни и памяти, сейчас, в порядке исключения, вновь посетили его.

Ранним утром, при ясном октябрьском солнышке, Пер подъехал к маленькому городку.

Появление Пера, вернее его необычный костюм, вызвало на вокзале заметное оживление. На нём было длинное подбитое шелком дорожное пальто мышиного цвета с большим бархатным воротником и обшлагами. На темноволосой, гладко остриженной

голове красовалась шотландская дорожная шапочка, и, наконец, из-под высоко засученных брючек, согласно новейшей моде, выглядывали светло-серые гетры. Чемодан, картонка для шляпы и прочие дорожные аксессуары — всё было первого сорта и все с иголочки.

Какие-то крестьяне в домотканых куртках испуганно посторонились. Пер не без тайного удовольствия услышал их шепот: «Это часом не молодой граф Фрюс?»

Хотя Пер дал телеграмму о выезде, встречать его так никто и не вышел.

«Ну что ж, тем лучше, — подумал Пер, — по крайней мере буду свободен». Он решил снять номер в отеле, что во всех отношениях было бы для него удобнее.

Но не успел он сесть в один из поджидавших у вокзала гостиничных омнибусов, как увидел Эберхарда, который неторопливо выходил из привокзального парка. Пер тут же догадался, что брат, который пуще всего на свете боялся уронить своё достоинство, нарочно пережидал в парке, чтобы сделать вид, будто он очутился здесь совершенно случайно, прогуливаясь, и эта догадка заставила Пера пожать плечами. Подобное высокомерие в былые дни взорвало бы его, теперь же оно вызвало у него только жалость.

Когда Эберхард увидел, что Пер уже сговаривается со служащим из отеля, он явно перепугался и ускорил шаги.

— Ты что, в отеле хочешь остановиться? — спросил он, даже не успев поздороваться.

— Да, — ответил Пер, — при сложившихся обстоятельствах мне не хотелось бы беспокоить домашних.

— Но тебе приготовили комнату, и места у нас много. Мать очень обидится, если ты остановишься в отеле.

— Ну, конечно, раз так... Пришлите мне, пожалуйста, носильщика, обратился Пер к служителю. После этого он спросил у Эберхарда о здоровье отца.

— Он спит со вчерашнего дня. Вообще, он непрерывно дремлет. Последние сутки он почти всё время в забытии.

Из вокзала вышел носильщик в сопровождении служителя, который почтительно снял каскетку перед Пером. Пер бросил ему крону и дал носильщику указания относительно багажа.

Эберхард тем временем отошёл в сторону, он украдкой и с явным беспокойством изучал костюм Пера. Когда он обнаружил гетры, лицо его выразило неопиcуемый ужас.

— Пошли задами, — сказал он и хотел было свернуть на тропинку, которая вела к пасторской усадьбе по окраине города.

Пер запротестовал:

— Тут гораздо дальше, а я устал.

— Ну, как хочешь, — ответил Эберхард, скривив рот. Обычно это у него означало, что он считает ниже своего достоинства вдаваться в пререкания.

Братья молча шли по главной улице.

Встреча с родным городом на первых порах не произвела на Пера сильного впечатления. Узкие и кривые улочки, одноэтажные и изредка двухэтажные дома, бесконечные канавы — всё это казалось ему смешным, чуть ли не игрушечным по сравнению с огромной столицей, из которой он только что приехал. Город постигла та же судьба, что и родительский дом: за последние годы он совсем ушел из его жизни, скрылся с его горизонта. Пер невольно улыбнулся, вспомнив свою прежнюю честолюбивую мечту — вернуться победителем в это воронье гнездо, которое было некогда свидетелем его унижения.

И всё же он узнавал почти всех встречных. Каждый маленький домик, выкрашенный масляной краской, и зеркальце, прибитое у окна гостиной, каждая вывеска над дверью лавки, каждый цеховой герб над воротами оживляли в его воспоминаниях какую-то часть прошлого. Особенно классическая гимназия, которая глядела на улицу приземистым фасадом и высокими стенами, окружавшими площадку для игр, пробудила в его памяти целый рой воспоминаний детства. Там как раз была перемена, и шум ребячьих голосов доносился из-за стены, точно так же, как и в его время. А вокруг города поднимались холмы,



которые он любил мальчиком, и фьорд, и широкая равнина, где он играл в летние дни. Здесь зародились первые робкие мечты о сооружении канала, здесь он впервые по-настоящему понял, какое значение имеет сила ветра, когда запустил в воздух огромного змея и заставил его тянуть игрушечную тележку, груженную камнями. Вдруг словно что-то толкнуло Пера — в открытых дверях школы появился высокий, чуть сутулый человек, и Пер сразу же узнал в нём своего старого учителя математики. Невольно он слегка приподнял шляпу над головой и покраснел от волнения. Он вспомнил, что этот человек, который только что шаркающей походкой равнодушно прошёл мимо, явно не узнав его, этот старый недалёкий учитель в потёртом сюртуке сыграл огромную роль в его жизни, был, можно сказать, его судьбой. Если бы этот человек не убеждал так настойчиво отца, тот никогда не позволил бы Перу уехать в Копенгаген и поступить в политехнический институт. Его отдали бы учиться ремеслу или пристроили бы к какому-нибудь торговому делу. А что было бы тогда?

Эберхард спросил его, как он доехал, но Пер, погруженный в свои мысли, не слышал вопроса. Чувство вечной и неизменной зависимости от этого грязного, жалкого городишки показалось ему унижительным. Особенно возмущало его то, что город, со своей стороны, совершенно от него не зависел. И кривоногий купец Хьертинг, который в холщовой куртке, деревянных башмаках и с выложенной серебром пенковой трубкой стоял у дверей своей лавки, и сонный рыжий парикмахер Зибенхаузен, который — ну точно в былые дни — высунулся из окна и подсматривал за служанками, и городской глашатай, чей барабан и визгливый бабий голос доносился с соседней улицы, — все они что-то значили для него, тогда как он для них ровно ничего не значил.

Но вот уже они свернули на Сидегаде, где находился их дом. Первый же взгляд на мрачные стены со странными, вроде тюремных, воротами, а главное, вид булыжной мостовой, усыпанной стружками, заставил сильнее забиться его сердце. Мысль о предстоящей встрече с матерью, о встрече с отцом, лежащим на смертной одре, вдруг привела его в неожиданное замешательство.

Сестра Сигне встретила его в передней. Она явно была взволнована, но руку ему протянула молча и чуть отвернувшись, словно следом за ним в дом вошёл кто-то, перед кем она должна была опустить глаза.

— Мать прилегла отдохнуть, — сказала Сигне, когда они прошли в столовую, где Пер увидел своих младших братьев-близнецов; они так подросли за время его отсутствия, что Пер еле узнал их. Смущенно, не глядя на него, братья пожали протянутую руку.

Сигне продолжала:

— Мать просила разбудить её, когда ты приедешь, но мне не хотелось бы сейчас её беспокоить. Она всю ночь не сомкнула глаз.

Хотя отец лежал далеко от столовой, в противоположном конце дома, Сигне всё время говорила понизив голос, как всегда говорят в доме, где кто-нибудь тяжело болен. Пер согласился, что, конечно, мать ни в коем случае будить не надо.

Как и семь лет назад, перед ним навалили целую гору бутербродов. Сигне налила ему чашку кофе, и, чтобы не затевать споров, он заставил себя немного поесть, хотя от волнения кусок не шёл ему в горло. С другого конца комнаты близнецы следили за ним большими, любопытными глазами. Сигне спросила:

— Ты, наверно, хочешь посмотреть на отца? Он дремлет со вчерашнего вечера. Сиделка как раз приводит его в порядок. Я пойду спрошу, когда тебе можно будет зайти.

Она тихо вышла и обеими руками прикрыла за собой дверь, чтобы не щёлкнул замок. Эберхард предусмотрительно покинул столовую. Не желая оставаться наедине с незнакомым братом, близнецы тоже исчезли через кухонную дверь.

Пер встал и, не сознавая, что делает, прошёлся по комнате. Потом он остановился перед окном, которое выходило на маленькую лужайку, где росли жалкие деревца, составлявшие весь пасторский сад. Сердце глухо билось в груди, и мысли судорожно металась, ища оправдания.

Но пока он стоял у окна и равнодушно рассматривал маленький, забытый солнцем



садик, сдавленный со всех сторон высокими каменными стенами, он постепенно обрёл прежнее спокойствие духа и утраченную ясность мыслей. Здесь-то и крылось оправдание, которого он искал. Раз он может с таким хладнокровием смотреть на лужайку, где играл ребёнком, значит, он прав. Ни в чём и ни перед кем он не виноват. Ни одно радостное событие, ни одно светлое воспоминание не связано для него с этими стенами, за которыми он как пленник просидел целых пятнадцать лет. Да что там пятнадцать лет! Только сейчас он понял — и незнакомое доселе чувство острой горечи охватило его, — что тень этих стен упала на всю его жизнь и омрачила всякую радость на много лет вперёд.

Он испуганно вздрогнул. Дверь за его спиной тихо отворилась, и вошла Сигне.

— Можешь зайти к нему. Ступай.

Пер миновал маленький полупустой кабинет и гостиную. Дверь спальни была приоткрыта. Сигне на цыпочках подошла к двери, беззвучно распахнула её и подвела Пера к кровати, чуть отодвинутой от стены. В комнате царил полумрак, и в первую минуту Пер ничего не мог разглядеть.

Понемногу он различил на кровати очертания иссохшего лица. Склонённая набок голова глубоко ушла в большую мягкую подушку. Глаза были закрыты: отец спал, и сон его походил на смерть. Мороз пробежал у Пера по коже, но это была не жалость, а просто неприятное чувство, какое неизбежно испытывает при виде умирающего каждый, кто боится смерти. Поняв, что состояние отца делает невозможными какие бы то ни было попытки примирения, Пер почти обрадовался. Больше всего он опасался, что родные непременно заставят его в последнюю минуту мириться с отцом. Он знал, что ему самому решительно нечего сказать отцу, отец же мог бы сказать ему что-нибудь такое, что только ухудшило бы отношения или, даже, привело к новой стычке, совершенно сейчас недопустимой.

Когда глаза его освоились с темнотой, он яснее разглядел измождённое лицо спящего. Волосы отца оставались по-прежнему густыми, но за время болезни совсем побелели. Лицо, напротив, потемнело, приобрело почти бронзовый оттенок, и ни один мускул не двигался на нём, хотя мухи то и дело садились на лоб и щёки. Казалось, вечный покой уже смежил веки больного.

Сиделка, которая до прихода Пера стояла перед умывальником и выжимала губку, вышла из комнаты, захватив с собой таз. Около больного остались близнецы. Все молчали. Сигне опустилась в низкое кресло рядом с постелью. Она сидела сторбившись, руки сложила на коленях и с выражением любви и скорби смотрела на отца. Большие светлые глаза наполнились слезами, губы подёргивались. Изредка она легонько взмахивала рукой над лицом отца, чтобы отогнать докучливых мух.

Вдруг что-то глухо зашуршало, открылась потайная дверь, ведущая в комнату для гостей, и в узком проёме появилась маленькая, согбенная фигурка матери.

На какое-то мгновение она застыла в дверях, одной рукой придерживаясь за дверной косяк, а другой опираясь на чёрную палку. Пер не сразу узнал её. Он помнил мать только лежащей в постели и никогда не думал, что она такая маленькая. К тому же она очень постарела за последние годы. Волосы поседели, черты заострились, а огромное душевное напряжение, которое во время долгой болезни отца почти чудом удерживало её на ногах, придавало лицу и особенно глубоко запавшим и все понимающим глазам непривычную строгость.

Пер растерялся от неожиданности. Взгляд этих глаз, движение протянутых рук, которыми мать словно отталкивала сына, смутили его ещё больше. Ясно было, что она ждёт от него покаянных признаний, и какое-то мгновение они неподвижно стояли друг против друга, словно статуи. Но материнское сердце одержало верх. Слёзы полились по её щекам, она зажала голову Пера между ладонями и поцеловала его в лоб.

Сигне тем временем встала с кресла около кровати и усадила туда мать.

— Значит, ты всё же приехал, Петер Андреас? — сказала мать, полуотвернувшись и заслонив глаза ладонью, словно ей было трудно смотреть на Пера. — Почему же ты не приехал раньше? Теперь, наверно, уже слишком поздно.

Эти слова заставили Пера насторожиться. «Слишком поздно»,— подумал он. Значит, они и в самом деле до последней минуты надеялись на примирение и восприняли его приезд как первый к тому шаг.

Мать заговорила снова, но тут из гостиной вернулась сиделка, а за ней пожилой мужчина.

Это пришёл с обычным дневным визитом домашний врач. По знаку матери Пер и Сигне вышли из спальни, и сиделка притворила за ними дверь.

\* \* \*

В этот день Пер больше не видел матери.

Вообще его приезд не произвёл того впечатления, какое он мог произвести при других обстоятельствах. Мысли родных были заняты болезнью отца, и, хотя все соблюдали полную тишину, в доме не прекращалась суета: то надо было приготовить компресс, то сбежать за лекарством, не говоря уже о том, что жители городка каждую минуту приходили справляться о самочувствии больного. Кроме того, в этот день ожидали приезда ещё одного брата, служившего викарием на острове Фюн, и сестры, которая вышла замуж за врача и жила в маленьком городке на берегу Лимфьорда. Для них тоже надо было приготовить комнаты, так что работы у всех хватало по горло.

Перу отвели его прежнюю комнату в мезонине, здесь он и просидел почти весь день. Сперва тщетно пытался заснуть, чтобы отдохнуть с дороги, потом сел за письмо к Якобе. Приличия ради он решил отказаться от первоначального плана и пробыть здесь до самой смерти отца. Судя по всему, ждать оставалось недолго. Пер был взволнован и подавлен. Правда, он не раскаивался в том, что приехал, но ему хотелось, чтобы всё поскорей осталось позади. Перу только один раз довелось видеть, как умирает человек: это было в Ньюбодере, в тот день, когда старого боцмана принесли с прогулки без сознания. До сих пор не изгладились из памяти мучительные воспоминания. Страх при виде умирающего боцмана и тревога окружающих — всё это не забыто и поныне.

К вечеру приехали двое запоздавших — Томас и Ингрид, последняя с супругом. Томас был румяный, цветущий богослов, человек весьма степенный; за этой степенностью пряталось отзывчивое сердце и какое-то захиревшее честолубие. Ингрид была маленькая самоуверенная провинциалочка, Сидениус до мозга костей, для неё Лёгстер был городом мирового значения только потому, что в нём проживала она сама, её муж и её дети.

За день отец несколько раз открывал глаза, и взгляд у него был совершенно осмысленный, но объяснялся он с большим трудом и через несколько минут снова впадал в забытие.

Потом с вечерним визитом пришёл врач. Выйдя от больного, он сказал Сигне, которая провожала его до передней:

— Не стану скрывать от вас, что ваш отец вряд ли переживёт эту ночь. Надеюсь, вы пошлёте за мной, если потребуется моё присутствие.

Предсказание врача сбылось; Не успели ещё часы пробить два, как всех подняли на ноги: отец отходил. Пер, уставший с дороги и не спавший почти двое суток, забылся тяжелым сном и, когда его разбудили, не сразу понял, где он. Ему как раз снилось, что он в Берлине с Фритьофом и художниками — друзьями Фритьофа. Они только что ввалились в погребок на Лейпцигерштрассе... — как вдруг дверь открылась, вошла Сигне со свечой в руках и попросила его сойти вниз.

Когда Пер сообразил, где он находится и что значат слова сестры, его обдало холодом, переход от беспечной суеты мирового города к тихим словам о смерти был слишком резок даже для человека с его духовным кладом. Уже одевшись, он несколько раз прошёлся взад и вперёд по комнате, чтобы немного успокоиться.

Внизу он застал всех братьев и сестёр, некоторые так и не ложились в постель, а просто

прикорнули — кто в кресле, кто на диване, чтобы быть как можно ближе к отцу, если что-нибудь случится. Гостиная была ярко освещена, и обе створки двери, ведущей в спальню, распахнуты. В спальне горел только маленький ночник. Он стоял на столике у изголовья постели, и слабый свет озарял половину бледного отцовского лица, вторая половина оставалась в тени.

Чтобы отцу было легче дышать, его немного приподняли и подпёрли подушками. Он был в сознании, но ни говорить, ни разомкнуть иссиня чёрные веки уже не мог. Только что он начал прощаться с детьми. Один за другим дети подходили и брали его за руку, тяжело и бессильно лежавшую на одеяле, а мать называла имя подошедшего. Она сидела на низеньком плетёном стуле у изголовья постели.

Перу стало очень не по себе — от этой торжественной сцены, и он надеялся избежать участия в ней. Пока можно было, он держался поодаль, но под конец ему тоже пришлось подойти к постели, и когда он взял уже холодеющую руку отца и услышал, что мать умышленно громким, как ему показалось, голосом назвала его имя, его охватил леденящий ужас, и только сознание, что за ним наблюдают сестры и братья (они все столпились вокруг умирающего), помогло ему ничем не выдать себя. На мгновение у него возникло гнетущее чувство, будто он предстал пред лицо высшего судьи.

Шёл четвёртый час. Ночной сторож показался на тихой улице. Стружки, рассыпанные перед домом, заглушали его шаги. Слышна была только протяжная песня, которая прозвучала как весть свыше о приближении ангела смерти.

*Минует ночь глухая,  
Настанет ясный день,  
Господь оберегает  
Нас от лихих людей.  
Услышь отец, мольбы мои  
И милость мне яви.*

Когда отец попрощался с прислугой, он дал понять движением мускулов лба, что хочет что-то сказать. Шепотом, который разобрала только мать, он попросил детей пропеть псалом. Все собрались в гостиной у фортепьяно и под аккомпанемент Сигне приглушенными голосами пропели несколько строк псалма: «Превыше неба благодать господня».

Кроме матери, в спальне остался один Пер. Попрощавшись с отцом, он забился в тёмный угол, где его никто не видел. Тихие голоса братьев и сестёр доносились к нему, полные спокойной силы, которую даёт несокрушимая вера, полные ликования, словно небо разверзлось над ними и сам господь в неземном сиянии распростёр руки, дабы воспринять просветлённый дух отца, — а он сидел тем временем в одиночестве и силой подавлял в себе желание присоединиться к ним. Всё складывалось совсем иначе, чем он предполагал. У него задрожали губы и глаза наполнились слезами, когда он взглянул на измождённое лицо отца, — оно мирно покоилось на подушке, окружённое, как нимбом, седыми волосами. И Пер, не забывший ещё мучительную сцену смерти боцмана, подумал: значит, истинно верующие умирают так.

Псалом кончился, все друг за дружкой вернулись в спальню. Рот у отца чуть приоткрылся, глаза запали ещё глубже. Вскоре началась агония.

Мать держала правую руку отца и время от времени вытирала платком пот с его лба. По другую сторону постели стояли Эберхард и Сигне — на случай, если понадобится помощь. Остальные, ожидая конца, уселись поодаль, а самые младшие стояли в ногах постели и горестно смотрели на умирающего.

Прошёл час. Снова с тихой улицы донеслась протяжная унылая песня ночного сторожа.

*Ты, вечный в горней сливе,  
Еси на небеси,*

*Будь пастырем для слабых,  
Храни нас и паси.  
Ты нас заботой не оставь.  
Ты нас учи и нами правь.*

В комнате стало совсем тихо. Слышалось только тяжелое дыхание отца, но и оно всё слабело, да изредка раздавалось сдавленное рыдание кого-нибудь из детей.

Время подошло к четырём. Мать совсем сгорбилась и прижалась лбом к неподвижной руке отца, орошая её слезами. Эберхард осторожно взял левую руку отца и начал считать ускользающий пульс, а Сигне с тревогой следила за выражением его лица. Ударили часы в гостиной, и с первым ударом Эберхард взглянул на Сигне, напряженно прислушиваясь. Потом обогнул кровать и тихо подошёл к матери.

— Мама, — сказал он, осторожно тронув её за плечо, — отец скончался.

Все вскочили с мест и плотным кольцом окружили постель. Только мать осталась сидеть. В первую секунду она смотрела на Эберхарда с беспомощной мольбой, потом снова склонилась над рукой умершего и спрятала лицо, словно не решаясь взглянуть в его потухшие глаза. Но тут же подняла голову, молча поглядела на отца и сказала:

— Ну вот, дети, отец ушёл от нас. Но эта разлука, благодарение богу, не навеки. Он просто первым ушёл в наш небесный приют, где мы ещё встретимся с ним, если будет на то милость божья.

В самых волнующих словах поблагодарила она отца за всё, чем он был для них, за верность жене и дому, за любовь и самоотверженность. Словно вспомнив молодость, она трогательно и нежно погладила его седые волосы и поцеловала в лоб.

Тихо шепча молитвы, дети постояли ещё некоторое время вокруг постели. Но как только признаки смерти стали явственно проступать в лице усопшего, Эберхард и Томас заботливо прикрыли тело простынёй, а Сигне увела мать.

Скоро и Пер поднялся к себе. Лампа на столе всё ещё горела. Сквозь незанавешенное окно в комнату пробивались первые проблески дня. Долго стоял Пер у окна и глядел на просыпающийся город. Несколько бледных звёздочек ещё сверкало на небе, а по улицам уже загрохотали деревянные башмаки и колёса телег.

Пока он стоял, в нём созрело убеждение, что все пережитое минувшей ночью должно оставить след в его жизни. Впрочем, ясного отчёта в своих чувствах он себе пока не отдавал. Он был слишком захвачен торжественностью минуты, чтобы спокойно рассуждать.

Наконец, он уселся за стол и достал свой дорожный портфель. Ему хотелось излить душу, и он решил написать Якобе. Вчера он только сообщил ей о прибытии домой. Сегодня он писал так:

«Хочу, не откладывая, известить тебя, что несколько минут тому назад скончался мой отец. Не стану также скрывать: я очень рад, что надумал приехать сюда. Какие бы между нами ни были разногласия, я уверен, что отец всегда действовал из самых лучших побуждений. Умер он очень величественно. Смерть его была прекрасна. Он был в сознании до последней минуты и встретил смерть с удивительной силой духа...»

Рука Пера невольно остановилась. Перечитав написанное, он даже покраснел. Несколько минут смущенно грыз ручку, потом вдруг разорвал письмо и начал новое:

«Дорогой друг! Мне предстоит невесёлая обязанность сообщить тебе, что сегодня утром скончался мой отец. Я успел только попрощаться с ним, как того и хотел. Он был в полном сознании и до последней минуты сохранял спокойствие. Но ничего удивительного здесь нет, ведь вся его жизнь, если можно так выразиться, была непрерывной подготовкой к смерти. Сейчас очень спешу и потому кончаю. Скоро напишу подробнее».

Поставив свою подпись, он задумался, лицо его приняло неуверенное выражение, потом он вдруг решился и приписал: «Возможно, я останусь на похороны».

Пять дней спустя состоялось погребение пастора Сидениуса. Уже с утра во всём городе были приспущены флаги, а длинную улицу, ведущую от церкви до кладбища, к полудню усыпали песком и устлали еловыми ветками. Церковь девушки тоже убрали зеленью за день до похорон, алтарь же и старую обшарпанную купель затащили траурным крепом. В обеих бронзовых люстрах зажгли все двадцать четыре рожка, а когда прихожане после полудня начали заполнять церковь, их встретили приглушённые вздохи органа.

По серьёзным лицам и тишине, водворившейся в церкви, видно было, что не одно праздное любопытство привело сюда столько людей. Судьба пастора Сидениуса — это удел всех великих завоевателей: как только сопротивление врага окончательно сломлено, ненависть тут же сменяется обожанием. И именно те качества покойного (что тоже нередко случается), которые прежде порождали больше всего нареканий, — властность, презрение к исконным обычаям и нравам городка, строжайшая умеренность в одежде и во всем укладе жизни, — впоследствии вызывали самые пылкие восторги как свидетельство апостольского рвения и благочестия. Конечно, и сам пастор Сидениус за эти годы несколько изменился. По мере того, как народ препоручал себя заботам церкви, в характере Сидениуса всё больше брали верх лучшие его стороны — доброта и отзывчивость. В известном смысле он по-прежнему был далёк от своих прихожан: держался в стороне от городского общества, а его собственная дверь была открыта лишь для тех, кто попал в беду, но зато он уже никогда не терял из виду людей, которые хоть один-единственный раз обратились к нему по вопросам веры. И никто ещё не ушёл от него, не почувствовав себя духовно сильнее и богаче. Несмотря на довольно ограниченный кругозор, он был на редкость одарённым человеком, мыслящим и красноречивым, и всегда с увлечением следил за многочисленными и злободневными богословскими спорами, в которых иногда принимал непосредственное участие своим пером. Население городка чувствовало себя польщённым, когда встречало его имя в религиозных журналах и брошюрах, что были теперь почти в любом доме; всё это вместе взятое способствовало перемене отношения к нему — паства наконец поняла, сколь выгодно Сидениус отличается от прочих представителей духовного сословия, от тех изысканно одетых пробстов и консисторских советников, которыми она сама некогда так гордилась.

Ко всему прибавилась долгая болезнь и величественное спокойствие, с которым он переносил страдания и готовился встретить смерть. Свыше полугода он был прикован к постели, всё это время отлично сознавал, что его болезнь неизлечима, и при этом не только не жаловался, но и не позволял другим жалеть его.

— Не смейте так говорить, — строго сказал он однажды человеку, который хотел утешить его, вселив в него надежду на выздоровление. Разве мы не суть чада божьи? Разве не должны мы быть признательны, когда отец наш небесный призывает нас к себе?

На хорах церкви стоял чёрный гроб. Согласно последней воле покойного, гроб был совсем простой, без всяких украшений, если не считать креста из еловых ветвей на крышке. Сидениус всегда страстно восставал против жалкого, по его словам, стремления людей принарядить смерть и «разукрасить добычу червей», как он выражался. Вокруг гроба, словно почётный караул, сидело не меньше полусотни пасторов в полном облачении, а в передних рядах расположились городские власти — чиновники в парадных мундирах, советники муниципалитета, даже гарнизонные офицеры с обнаженными начищенными саблями и ослепительно сверкающими касками на коленях.

Пер со всё возрастающим изумлением оглядывался по сторонам. Он уже успел по множеству отдельных признаков понять, какую победу удалось одержать церкви в этом доселе исполненном мирской суеты городе, но сегодня были окончательно перевёрнуты все его привычные представления об отце и его личной значительности. Одни за другим подходили к гробу пасторы, они возносили хвалу господу и благодарили за усопшего собрата и его славные дела. Когда иссяк поток ораторов, восемь молодых пасторов подняли



гроб на плечи, и вся община пешком прошла за катафалком долгий путь до городского кладбища.

Пер ничего не понимал. Неужели это его отец, тот самый, которого он стыдился в мальчишеские годы, потому что над ним насмехался весь город? Неужели это его отца хоронят теперь, как князя? Неужели это за его гробом идут пешком опечаленные горожане? Это не укладывалось в голову. Неожиданно и постыдно для Пера осуществилось одно из самых его дерзновенных детских мечтаний, восходящих к тем временам, когда он воображал, будто его подменили, а на самом деле он похищенный королевский сын и когда-нибудь вернётся в родной дом и разделит славу отца своего.

На обратном пути Пер оказался рядом с братом Томасом. Томас был в полном облачении, потому что вместе с другими пасторами отпевал отца. Из всех братьев Томас, несмотря на разницу в годах, был ближе всего Перу, быть может потому, что и он, будучи ребёнком, немало настрадавшимся от отцовского деспотизма. В студенческие годы свободные веяния проникли в него куда глубже, чем того хотелось бы отцу, и не по доброй воле надел Томас облачение служителя датской официальной церкви — длинный, чёрный чехол, похожий на саван, который, кстати сказать, никак не гармонировал с его красными щеками и светло-голубыми младенческими глазами.

Пер заметил, что все эти дни, стоило им остаться вдвоём, Томас пытался разбить разделявший их ледок. Но Пер не желал примирения. Он настороженно относился к фарисейской незлобливости брата, хотя в былые дни именно это свойство помогало Томасу завоевать его доверие. И сегодня, возвращаясь с похорон, Пер всячески мешал Томасу разговаривать. Ему было отчего-то не по себе, и он инстинктивно опасался пускаться в разговоры со своим благожелательным родичем.

Пришлось Томасу и на этот раз выбросить из головы задуманный план сближения, и остаток пути они прошли молча.

По возвращении домой все собрались у постели матери — она совсем ослабела и потому не могла пойти на похороны. После чрезмерного напряжения, в котором она жила так долго, сразу же за смертью отца наступил страшный упадок сил, и врач приказал дать ей полный покой. Вот отчего за все эти дни Пер почти не видел матери. Его только один раз позвали к ней, и он просидел несколько минут возле её постели; но у неё хватило сил лишь на то, чтобы задать ему несколько обычных вопросов о том, как он поживает.

Сегодня дело тоже свелось к нескольким ничего не значащим словам и рукопожатию, после чего Пер поднялся к себе наверх и начал укладываться. Ему не терпелось поскорее вырваться отсюда, и он решил уехать вечерним поездом.

Нельзя сказать, чтобы у него были основания в чем-нибудь упрекнуть своих близких. Не только Томас, но и все остальные братья и сёстры по молчаливому уговору старались быть с ним предусмотрительны, насколько это вообще было в их силах или насколько это позволяла им их совесть. Впрочем, Пер почти всё время сидел у себя в комнате или совершал длинные прогулки по городу и окрестностям; так он потратил целые сутки, но воспользовался случаем и побывал на недавно построенном цементном заводе возле Лимфёрда — завод этот давно занимал его.

Ни мать, ни братья, ни сёстры даже не заикнулись о его помолвке, а так как он не допускал и мысли, что Эберхард скрыл это от них, их молчание его озадачивало. С другой стороны, он был доволен, что в разговорах ни разу не было упомянуто имя Якобы, хотя теперь он больше не собирался порывать с нею. Это решение родилось после проведённой дома недели. Он как-то образумился, стал трезвее и рассудительнее. Хмельной задор, который обуревал его, когда он решил пуститься на завоевание золотого трона одного из финансовых королей Европы, выветрился без остатка после ночи, проведённой в мрачной комнате, у постели умирающего отца. Теперь он даже думать об этом забыл. Но именно потому, что он стыдился своей мысленной измены, ему не хотелось ни с кем говорить о Якобе.

В сумерки, когда все опять ушли на кладбище, к могиле отца, и мать, как было

известно Перу, осталась одна, он спустился к ней попрощаться.

— Посиди со мной, сынок, — попросила она жалобным унылым голосом, который он хорошо знал с детства. — Мы с тобой так и не поговорили, а дети мне сказали, что ты уже собираешься уезжать.

— Да, мне пора за работу.

Мать подождала немного, не добавит ли он чего-нибудь ещё. Но, видя по всему, что он не намерен продолжать, заговорила сама:

— За работу?.. Мы даже не знаем, Петер Андреас, что ты делаешь и как живёшь. Ты был, кажется, в Германии... в Берлине?

— Был.

Мать опять подождала, прежде чем сказать:

— Да, мы с отцом понимали, что у тебя, вероятно, богатые покровители, раз ты можешь вести такой образ жизни. Ведь постоянной службы, сколько нам известно, у тебя нет.

Пер наострил уши. Теперь он понял, что мать так ничего и не знает о его помолвке. Значит, домашние скрыли это от матери, хотели избавить её от новых огорчений. А может... может, Эберхард ничего не рассказал ни родителям, ни братьям, ни сёстрам? Вообще, это на него похоже. Но если он и промолчал, то лишь щадя их чувства.

Пока Пер размышлял над этим вопросом, мать выдвинула ящик столика, стоявшего у изголовья постели, и что-то оттуда достала.

— До отъезда ты должен узнать, Петер, что хотел сказать тебе отец, прежде чем навек закрыть глаза. Он свято верил, что когда-нибудь ты образумишься и вступишь на путь смирения. Не проходило и дня, чтобы он не говорил об этом и не вспоминал тебя в своих молитвах. Но недавно, когда он узнал, что ты уехал за границу и что ему уже вряд ли суждено увидеть тебя, он попросил после его смерти послать тебе на память.

И она протянула Перу какой-то маленький предмет, тот самый, что достала из ящика. Это были старинные серебряные часы отца, которыми он очень дорожил и носил, пока не слёг. Он называл их единственным своим сокровищем на земле.

— У этих часов, — продолжала мать, — интересная история. Отец непременно рассказал бы её тебе сам, если бы мог ещё хоть раз поговорить с тобой. Теперь это придётся сделать мне вместо него. Выслушав историю, ты поймёшь, почему отец предназначал часы именно тебе.

Она перевела дыхание и с закрытыми глазами — так обычно лежал отец во время болезни — начала свой рассказ:

— Это случилось в те далёкие времена, когда отец твой был ещё подростком и учился в гимназии. Как-то раз он приехал домой в деревню, провёл там рождественские каникулы и уже собрался было уезжать обратно. Но тут дедушка попросил у него ключ от его чемодана, чтобы, как он сказал, проверить — всё ли хорошенько уложено, не забыто ли чего. Отец твой очень обиделся, — он вообще был крайне вспыльчив в молодости, — и уехал страшно злой, даже не попрощавшись как следует со своим отцом. Но когда вечером он добрался до гимназии и открыл чемодан, то увидел, что все вещи лежат точно в таком же порядке, в каком он сам уложил их. Видно было, что к ним никто не притронулся. Только в углу лежал маленький бумажный свёрток... это оказались часы... те самые, которые ты сейчас держишь в руках. Дедушка решил подарить их твоему отцу и нарочно выдумал этот предлог, чтобы незаметно для отца засунуть часы в чемодан: пусть мальчик порадует, когда вдали от дома начнёт раскладывать вещи. И, поняв это, отец разрыдался; он плакал о собственной неблагодарности, раскаивался в опрометчивом поступке, а потом оделся и в ту же ночь прошёл пешком сорок километров до родного дома и успокоился только тогда, когда хорошенько выплакался на груди у дедушки и попросил у него прощения. Теперь, мой сын, ты понимаешь, почему твой отец всю свою жизнь берёт эти часы как святыню. Помнится, он назвал их однажды божьим даром. Ибо в ту самую ночь, когда дух его смирился и он совершил трудный путь к дому отца своего земного, ему открылся и другой путь — путь к

миру, свету и благостине отца небесного.

Чем дальше шёл рассказ, тем тяжелее и тяжелее становились часы в руке у Пера. Когда мать умолкла, он не проронил ни слова. В комнате совсем стемнело. Мать открыла глаза, но уже не могла разглядеть его лица.

Больше они не разговаривали. Пер вскоре поднялся, и, целуя его в лоб на пощанье, мать шепнула ему:

— Да ниспошлёт тебе господь мир и покой.

Несколько минут спустя Пер ехал к станции. Братья и сёстры успели уже вернуться с кладбища, но Пер поехал один, решительно отвергнув все предложения проводить его.

Когда Сигне час спустя поднялась наверх в его комнату, она увидела на столе часы отца. Пер нарочно положил их на самом видном месте, чтобы их сразу же заметили и чтобы никто не подумал, будто они забыты в спешке.

## Глава XIII

Пер опять вернулся в Берлин, но сразу понял, что беззаботные деньки миновали. Фритьоф за это время уехал домой, и теперь он был один как перст в большом чужом городе. Стояла поздняя осень. Во многих кафе и магазинах с самого утра зажигали свет, целый день с неба сеялась мелкая изморось, а когда дождь припускал всерьёз, на асфальте долго стояли озёра воды. Почти всё время Пер сидел у себя и занимался. Он надеялся напряженной работой заглушить уныние, которое привёз с собой из дому, но даже у себя в комнате он не находил ни покоя, ни уюта. Хозяйка его, фрау Кумминах — маленькая, неряшливая и неумытая женщина с здоровенной опухолью на шее, целые дни варила кислую капусту, у него в комнате дымила печка, а в довершение всего с верхнего этажа, где была швейная мастерская, с утра и до позднего вечера доносилось мерное стрекотание десятка машинок, что порой доводило его до иступления.

Чрезвычайная восприимчивость, которая развилась у Пера за последнее время, помогла ему открыть и теневые стороны жизни большого города. Вскоре после возвращения он на целом ряде мелочей вплотную ознакомился с бытом и нравами миллионного населения, и это знакомство действовало на него самым удручающим образом.

Снимая комнату, он совершенно определённо договорился с хозяйкой, что она не будет пускать других квартирантов, которые могут помешать его работе, и хозяйка самым торжественным образом поклялась ему никого не пускать и даже показала предписание полиции, из коего следовало, что ей разрешается сдавать не больше чем две комнаты — те самые, что она и сдала Перу. К тому же во всей квартире только и было что эти две комнаты да ещё крохотная полутёмная каморка за кухней, куда влезала одна лишь узкая железная койка и где спала фрау Кумминах. Несмотря на всё вышесказанное, спустя несколько дней Перу стало ясно, что в квартире, кроме него, живёт по крайней мере ещё один человек. Несколько раз его будил по ночам мужской кашель, и, прислушавшись, он обнаружил, что кашель доносится из передней, точнее из закутка между её потолком и нишей, заменявшей шкаф. Пер учинил хозяйке допрос с пристрастием, но языкастая старуха клялась и божилась, что на неё возводят напраслину. Когда же в одно воскресное утро Пер застал на кухне молодого бледного паренька, который сидел перед осколком зеркала без пиджака и брился, у хозяйки и тут нашлось объяснение. После этого Пер отказался от дальнейших попыток выяснить истину, хотя теперь он сильно подозревал, что во всех углах и закоулках квартиры ютится не один, а несколько постояльцев. Как-то ночью он услышал одновременно и знакомый кашель, и храп, густой и раскатистый, причём, насколько он мог судить, храп этот доносился не из комнаты хозяйки. Порасспросив людей, Пер узнал, что официальный квартирисьёмщик служит для многих хозяев ширмой, прикрывающей бесконтрольную сдачу жилья всяким бесприютным личностям, которыми кишмя кишит большой город; причём это не какие-нибудь проходимцы или бездельники, те, кому не по карману порядочный ночлег, а публика сравнительно состоятельная: приказчики, фабричный люд, парикмахерские

подмастерья, официанты и тому подобное, то есть те, для кого постоянная квартира была бы излишней роскошью. Свободное время они проводят на улице, в пивных, на танцульках и в публичных домах, им нужно только место, где можно бы ночью вздремнуть несколько часов. Добра у них нет никакого, кроме того, что на них надето, и они свободно кочуют из одной части города в другую. Отчаянная борьба за существование, ни на мгновение не прекращающаяся в больших городах, навязала им этот образ жизни, и очень скоро они привыкли к нему и стали находить его совершенно естественным. Кто привык бродяжить, кто ни с чем и ни с кем не связан, тому легче добыть себе пропитание. Домашний уют, покой, обеспеченное существование — понятия, совершенно чуждые для таких людей, они даже не тоскуют по этим благам. На что им жаловаться? Просто у них другие вкусы, только и всего.

Однажды рано утром Пер услышал, что его хозяйка разговаривает в передней с каким-то мужчиной. Это оказался полицейский, пришедший, чтобы получить сведения о парикмахерском подмастерье, которого ночью доставили в одну из городских больниц и который указал этот адрес как свой «ночной приют». Подмастерье сидел в пивной, но вдруг у него хлынула горлом кровь, и вскоре после прибытия в больницу он скончался. Когда фрау Кумминах, дотоле молчавшая, услышала такие слова, она вдруг обрела дар речи. Что это ещё за выдумки? Полиции ведь отлично известно, что у неё не может быть никаких постояльцев. Какой-то парикмахер! Ну как они могли подумать, что порядочная женщина, у которой самые благородные жильцы, пустит к себе в дом нищего бродягу, грязного оборванца, да ещё ко всему чахоточного, да ещё такого, который подышает прямо на улице!

Пер весь похолодел, услышав это надгробное слово, посвященное его незнакомому сожителю. Что все сказанное относится к молодому человеку, который по ночам обитал где-то в передней под потолком, он ни минуты не сомневался, кстати же, с тех пор он уже ни разу не слышал за стеной знакомого кашля. Пер никак не мог отогнать от себя мысль о том, что ожидает его самого, если он вдруг заболит здесь и ему понадобится уход. Теперь, когда он чувствовал себя не вполне здоровым, для такого беспокойства было тем больше оснований. Он простудился по дороге из дому и никак не мог оправиться в эту мокрень.

Отчасти и по этой причине он так много сидел дома. Он не пытался возобновить знакомство с братьями Фритьофа по искусству, не ходил в кабачок на Лейпцигерштрассе, а обедал в соседнем ресторанчике. У тайного коммерции советника он тоже больше не показывался.

В своём одиночестве Пер почти каждый день писал Якобе, и, хотя он изо всех сил пытался скрыть одолевавшее его беспокойство, каждая строчка писем выдавала его с головой. О себе самом он, против обыкновения, почти ничего не сообщал, Зато наиподробнее образом живописал берлинские обстоятельства или развлекал Якобу сумбурными рассказами о фрау Кумминах, об умершем парикмахере или о вечном и неизменном запахе кислой капусты.

Между тем наступил конец ноября. В один прекрасный день Пер получил через Ивэна письмо от «Блекбурн и Гриз» — той самой английской строительной фирмы, куда Пера порекомендовал тесть. Правда, фирма отнюдь не предлагала ему определённого места, зато она разрешала ему настоящим письмом на практике ознакомиться с изучаемым предметом, понаблюдав за ходом проводимых фирмой ирригационных и мелиоративных работ. Но это и было теперь для него чрезвычайно важно, и он решил немедленно покинуть Берлин. Он и так уже выжал из Берлина всё, что мог, да и перемена воздуха, без сомнения, пошла бы ему на пользу. О самом Дрезде, где велись инженерные работы, он знал только, что это маленький городок в австрийских Альпах. Он решил перезимовать в Дрезде, когда начнётся оттепель, поехать в Вену и Будапешт, а потом к устью Дуная и взглянуть, какие осушительные работы ведутся там. А уж оттуда, через Париж и Лондон, прямым ходом отправиться в Нью-Йорк.

По дороге Пер остановился в Линце, специально, чтобы посмотреть девятисотфутовый виадук. В Линце он прибыл под вечер и отсюда впервые увидел розовато-белые вершины Альп. В лучах заходящего солнца они плыли над вечерним туманом, словно отблеск



минувших времён. На другой день Пер был уже в самом сердце гор; поскольку погода стояла прекрасная и ему вдобавок порядком наскучила болтливая компания путешествующих немцев, которые всячески навязывались в приятели, он сошёл с поезда на маленькой станции и, забыв про мало приспособленное для прогулок время года, провёл остаток дня на свежем воздухе. Ему чудилось, будто его зовёт голос необъятной снежно-каменной пустыни. И этот голос манил всё выше и выше и сулил таинственное освобождение от всего, что доселе тяготило и угнетало его.

Один, без проводника, шёл он туда, куда вела его горная тропинка, которая, извиваясь, карабкалась вверх по голому и крутому склону. На станции его предупреждали, чтобы он никуда не уходил без проводника, но он поборол чувство скованности, охватившее его в этой непривычной обстановке, и смело пустился в путь... Так вот они какие, горы! Он глубоко вдыхал терпкий, холодный воздух, глядел на облака, которые проплывали глубоко под ним в долине, и ощущал такую близость к природе, как никогда в жизни.

Когда он был ребёнком, он любил играть в лесу и на лугу и всегда рвался, туда, чтобы хоть ненадолго почувствовать себя свободным и забыть домашний гнёт. С тех пор ему не случалось бывать так близко к природе. Он торчал у себя дома в Ньюбодере, изучал природу по книгам и картам и кощунственно превращал её в склад материалов для своих преобразовательных устремлений. Природа — это были просто камни и земля, и их полагалось использовать так-то и так-то. При виде какого-нибудь поля он тут же начинал думать про нивелиры и мерные ленты; стоило ему выглянуть из окна вагона, как его фантазия начинала незамедлительно перестраивать проносящуюся мимо местность, прокладывая новые дороги, осушать болота, возводить мосты, и рыть каналы.

Да и теперь не сама красота природы произвела на него такое сильное впечатление. Гармония красок и линий по-прежнему ничего не говорила его сердцу. Но к величию, к таинствам её он стал очень восприимчив сейчас, когда его наполняло непонятное беспокойство. Бесконечная протяженность материи, могущество форм, глубокая, как вечность, тишина вызывала в нём странные, незнакомые ранее мысли и настроения.

А точнее сказать, его занимала даже не столько сама природа, сколько чувства, пробуждаемые ею при полном одиночестве. Он уже поднялся на несколько тысяч футов, впереди расстилалась бескрайняя снежная равнина. Равнина полого поднималась вверх, голая ржаво-серая гряда, подсвеченная лучами уходящего солнца, перерезала её. Пер запыхался от долгого подъёма, он то и дело останавливался, чтобы перевести дух. Пока он стоял, опершись на палку и разглядывал дикую и молчаливую пустыню, он не переставал удивляться своим ощущениям. Он спрашивал себя, почему длительная прогулка среди безжизненных камней в однообразной невозмутимой тишине может так манить и возвышать душу человеческую? Как могло получиться, что одно из проявлений небытия, полное отсутствие звуков наполняет душу торжественным чувством свободы? Быть может, внутренним слухом он всё же улавливает какие-то звуки? И по-своему правы верующие, когда говорят об общении с «потусторонним миром»? Быть может, существуют в мировом пространстве такие звуковые колебания, которые недоступны человеческому уху? И то, что мы называем смертью, не есть ли это просто иная форма бытия, которая доступна лишь непосредственному восприятию пробудившейся «души»?

Пер вспомнил, как один пастор, который произносил речь на могиле его отца, назвал тишину в природе «гласом всевышнего». Этим он хотел объяснить, почему древние пророки в минуты сомнения и бессилия бежали в безлюдную пустыню. Глас всевышнего!..

Всё это правильно в том смысле, что лицом к лицу с мировым пространством, пустым и немим, ум человеческий бывает охвачен той «боязнью пустоты», которую уже наши предки приписывали всему сущему. Боязнь порождает галлюцинации, галлюцинации — новую боязнь, так это и шло сквозь века, пока, наконец, люди не сотворили себе бога и не заселили ад и рай.

Он поднялся ещё шагов на сто и снова остановился, чтобы отдышаться. Куда ни кинешь взгляд — всё та же ледяная пустыня, всё тот же безжизненный покой. Укутанные



снегом каменные громады внушали невольный трепет перед теми силами, которые разгулялись во мраке первобытной ночи, когда создавалась наша мать-земля. И пока Пер предавался созерцанию, у него возникло головокружительное чувство, будто эти далёкие дни вплотную подошли к нему. Время удивительно, непостижимо сжималось, когда он глядел на эти неподвижные, застывшие в равнодушном покое каменные громады, которые оставались такими же голыми и неприступными, как миллион лет тому назад, когда они только что, как сказано в библии, «вышли из рук творца». Творца ли? Раскалённая туманность! Распад солнечной системы!.. А потом? Пустота! Пустота! Ледяной холод! Мёртвая тишина...

Только под вечер возвратился Пер на станцию. Здесь уже начали тревожиться, а в гостинице, где он оставил свои вещи, даже поговаривали о том, чтобы выслать людей на поиски. Он устал после утомительного дня, голова отяжелела от избытка мыслей, и он хотел как можно скорей лечь в постель, но у него нашлось другое занятие. Ещё с утра, сразу по приезде, он заметил, что в городке творится что-то необычное. Ворота гостиницы были увиты зеленью, прислуга совсем сбилась с ног, а хозяин едва урвал свободную минуту, чтобы показать Перу его комнату. Сейчас выяснилось, что сегодня здесь справляют свадьбу. Народу собралось тьма-тьмушая, и его тоже пригласили принять участие в празднестве. Сначала он было отказался, но не успел он ещё подняться к себе, как в дверь постучали, и в комнату вошли, взявшись за руки, две молоденькие девушки. Они низко присели, после чего, подталкивая друг друга локтями и хихикая, наперебой произнесли длинную речь, из которой он разобрал только, что жених и невеста просят оказать им честь и быть их гостем. Ничего не поделаешь. Пришлось идти и всю ночь напролёт есть, пить и танцевать, пока не зашумело в голове.

Конечно, если разобраться, — хозяевам не оставалось ничего другого, как пригласить его, но гостеприимство их превосходило все границы. Мужчины чуть ли не подсовывали ему своих жён, лишь бы угодить гостю. В подворотне, высокой и просторной, как амбар, грохотали под гармонику и цитру подбитые гвоздями сапоги. В зале накрыли два длинных стола. На одном столе лежала целиком зажаренная коза с позолоченными рожками. Вино подавали в больших жестяных кружках. За ночь все перепились, и в отношениях между мужчинами и женщинами стали проскальзывать такие вольности, которые никак не вязались с обилием распятий и образков, украшавших дома и выставленных здесь вдоль всех дорог.

Под конец Пер начал находить вкус в этой деревенской вакханалии. Он вспомнил, как Фритьоф вечно доказывал, будто лишь дети природы знают истинное счастье. Им стоит разок-другой склониться перед парой дощечек, сколоченных крест-накрест, — и вот уже разрешены все загадки жизни, и не о чём больше печалиться и горевать.

Вначале Пер собирался на следующее утро ехать дальше, но прошёл день, потом другой, потом ещё много дней, пока он сдвинулся с места. На свадьбе он познакомился с одной девушкой, из-за которой и застрял здесь. Это была молоденькая крестьянка, довольно плотная и неповоротливая, как это вообще свойственно альпийским женщинам. У неё был забавный вздёрнутый нос и волосы цвета спелой ржи — любимый цвет Пера. Они случайно оказались соседями по скамейке, куда Пер присел, чтобы поглядеть на танцующих. Мало-помалу разговорились. Сперва они почти не понимали друг друга. Это очень смешило обоих, и скоро они подружились. Ей было двадцать два года, жила она поблизости от города, вместе с матерью, которая за несколько монет по двадцать гульденов охотно согласилась закрыть глаза на всё происходящее.

Новая связь захватила Пера, и он с безграничным пылом отдался ей. Дело здесь было, конечно, не в одном только физическом влечении. Как и большинство его чувств, здесь главное шло от ума, а не от сердца, и вдобавок он глубоко стыдился своей неверности Якобе. Но ему просто необходимо было уйти от бесплодных умствований, которые непрестанно терзали его после смерти отца и которые могли (теперь он это осознал) довести его до помешательства. Он понял, что ему надо всеми силами избегать одиночества; когда он не сидел у своей девушки, то спускался в трактир и проводил там время в обществе хозяина и

других обитателей городка. Вино лилось рекой, разговор не умолкал ни на минуту, воздух в комнате синел от табачного дыма, а народу вокруг Пера становилось всё больше и больше, и все новые, самые невероятные слухи о происхождении Пера и его несметных богатствах расходились по городку.

Через неделю он вдруг собрался и поехал дальше. Разгоряченная винными парами толпа провожала его до станции, а белокурая девушка сидела тем временем у себя дома на кровати и горько плакала.

Но тень отца неотступно шла за ним.

\* \* \*

Дрезак лежит в узкой, забытой солнцем расселине. Расселина протянулась мили на полторы, по дну её бежит горный поток, образуя бесчисленное множество маленьких водопадов. Склоны гор по обеим сторонам ущелья поросли лесом чуть не до самого гребня, а с юга горизонт закрывает огромная голая скала ржаво-серого цвета, её снежная вершина почти круглый год окутана облаками, и называется эта скала Хохголлинг. Городок приткнулся как раз у её подножья и состоит из одной-единственной улицы — два ряда деревянных домишек, тесно прижатых друг к другу. По правому берегу потока тянется просёлок, просёлок переходит в улицу, улица без конца петляет и всё время идёт в гору. Чуть пониже городка поток огибает невысокий, сильно выступающий вперёд утёс, здесь высится полуразвалившийся старинный замок, похожий на зуб; в замке разместился суд. А повыше городка вознёсся в небо, как стрела, кроваво-красный шпиль церкви.

Всего лишь девять месяцев тому назад по обе стороны горной реки тянулись тучные луга, а возле самого могучего водопада стояли две лесопилы и одна мельница. Теперь дно расселины превратилось в хаотическое нагромождение сланцевых глыб, куч гравия, обломков скал и поваленных деревьев. Десятки деревьев лежат, задрав корни к небу и уткнувшись верхушками в глинистый ил. Там и сям среди огромных валунов и вывороченных корней торчат ещё кой-какие остатки — то прогнившая балка, то заржавевшие части машины. Всю нижнюю часть городка вместе с железнодорожной станцией смыло в одну весеннюю ночь, когда Хохголлинг после целой недели обложных дождей встряхнул своими снежными кудрями. Вода хлынула так внезапно, что люди повыскакивали из домов в одном белье. Пять человек и с полсотни коров унесло потоком и разбило о скалы.

Только спустя восемь месяцев с грехом пополам удалось расчистить железнодорожную линию. Смытые участки просёлочной дороги на подступах к Дрезаку временно заменили деревянными мостками. Кроме того, произвели несколько взрывов, чтобы заставить реку изменить русло. Здесь намеревались устроить запасной сток, в обход того утёса, на котором лежали развалины замка и который послужил отчасти причиной наводнения. На восстановительных работах было занято до сотни человек, здесь же, в Дрезаке, проживали сейчас три инженера фирмы «Блекбурн и Гриз».

Пер поселился у вдовы шорника, почти в самом центре городка; вдова занимала коричневый бревенчатый домик с черепичной крышей и крытым балконом, который выходил на долину. Пер снял у неё на верхнем этаже две просторные, но тёмные комнаты с низкими потолками и устроился в них по-походному, отчего, разумеется, они не стали уютнее. Несмотря на болезненную любовь к порядку и пристрастие к комфорту, у Пера совершенно отсутствовала способность создавать уют вокруг себя, — казалось, что его внутреннее беспокойство незамедлительно накладывает отпечаток на всякое помещение, куда он въезжает. Из кабинета вела дверь на балкон, здесь он частенько стоял первое время по вечерам, закутавшись в плед, и глядел, как искрятся в лунном свете снежные склоны Хохголлинга по ту сторону мрачного ущелья. Глубоко под ним бушевал во мраке поток. Пер отчётливо различал его стремительный и неровный бег среди нагромождения гранитных

глыб, потому что там и сям его подсвечивали сторожевые огни, зажженные в тех местах, где днём производились взрывы.

Торжественное и в то же время гнетущее чувство бессилия перед лицом могучей природы, возникшее у Пера — при первом взгляде на каменные громады Альп, стало здесь ещё острее. И Пер, победоносно возвестивший в своей книге о том, что человечество, которое было доселе жалким рабом стихий, скоро запряжет гром в свою триумфальную колесницу и будет погонять его бурей вместо бича, теперь, глядя на эти страшные разрушения, не мог не признать, что человечество, как и прежде, всецело зависит от природы. Прожив здесь несколько недель, он написал письмо Якобе, нетерпеливо ожидавшей, когда же он открыто выступит в защиту своей наконец-то опубликованной брошюры, против злобных нападок прессы.

«Ты спрашиваешь, читал ли я «Индустритиденде», и тебя, кажется, удивляет, что я никак не ответил на этот уничижительный приговор моей книге. А почему, собственно, я должен был отвечать? И какое значение может иметь эта критика? Ты пишешь, что ты порадовалась бы, глядя, как я разбиваю своего противника в пух и прах, как его ошибочные расчёты расползаются под моей рукой, словно изъеденный молью чулок. Боюсь, что ты приняла случившееся слишком близко к сердцу. Господи боже мой, ведь речь идёт о самой обыкновенной книге, и вдобавок о такой, которой я и сам теперь не вполне доволен. Кой-какие места представляются мне просто мальчишеством, их бы следовало выпустить. Помимо того — как это ни печально — нельзя не признать, что пока мы лишь в незначительной мере утвердили своё господство над природой; здесь и следует главным образом искать объяснение того факта, что очень многие, даже среди сравнительно образованных людей, видят в природе лишь выражение неизменного могущества и воли вечного творца».

Якоба так и не ответила на это письмо, и Пер больше никогда не заговаривал с ней ни о своей книге, ни о её судьбе. В глубине души он вовсе не был огорчён тем молчанием или, вернее сказать, равнодушием, с каким встретила его книгу печать, если не считать мало популярной «Индустритиденде». И вообще, его зимние письма становились всё реже и раз от раза короче. Он больше писал теперь о погоде, о восстановительных работах и тому подобном, рассказывал всякие события из жизни городка, чаще в юмористическом тоне, призванном скрыть тот нравственный кризис, который он теперь переживал и значение которого он только сейчас осознал до конца.

Да, кстати, и жизнь его была не слишком богата событиями, за исключением таких, о которых он просто стыдился писать. Он ежедневно встречал на работах инженеров фирмы «Блекбурн и Гриз», но пока ещё не сблизился с ними. Это были три невозмутимых любителя виски, они исколесили весь мир вдоль и поперёк и относились к Перу — «гренландцу», как они его окрестили, с обидной снисходительностью, помимо всего прочего и за то, что он из рук вон плохо говорил по-английски. Однако, в отношениях произошла перемена после того, как он отпраздновал вместе с ними сочельник в трактире «Добрый сосед», где они были завсегдатаями. Он так напоил их, что двое тут же заснули мёртвым сном на хозяйской постели, а третьего доставили домой на тачке. Пер решил, что теперь его честь спасена, — и действительно, все три инженера с этого дня начали относиться к нему совсем иначе. Впрочем, он по-прежнему не навязывался к ним в друзья и бывал у «Доброго соседа» лишь изредка.

Долгие зимние вечера он проводил у себя дома за книгами и всякий раз засиживался допоздна. Он снова с чисто ютландской настойчивостью принялся обогащать свой ум познаниями, не имеющими ничего общего с его специальностью; но если год назад он просто хотел получить возможность болтать обо всём на свете и не отставать от запросов времени, то на сей раз им руководило горячее и искреннее стремление приобрести как можно более глубокие и разносторонние знания, как можно более прочные и обоснованные взгляды на жизнь. Читал он теперь по определённой системе. Имея дело с математикой и естественными науками, Пер привык выводить доказательство из непрерывного ряда

рассуждений, поэтому, обнаружив в одной книге ссылку на другую, он обращался к упомянутой и так постепенно прослеживал весь ход развития мысли вплоть до самых древних трудов — пока не отыщется первоначальное обоснование, самое простое и веское доказательство, которое разом уничтожит все сомнения. Чтобы об этом не проведала Якоба, он выписывал книги непосредственно от одного копенгагенского книготорговца, не прибегая, как обычно, к помощи Ивэна, и постепенно на его письменном столе выросла целая библиотека всевозможных трудов по философии, эстетике и теологии.

Но чем больше он читал, тем больше запутывался. Свои неустанные поиски того окончательного, решающего слова, которое навсегда уничтожит суеверные представления о «потустороннем мире», он вёл в полной темноте, ощупью, словно играя в жмурки. Каждый раз, когда ему казалось, что доказательство уже в руках, вдруг раздавался призыв «сюда!» совсем с другого конца созвучного мира идей, или он просто натёкался на глухую стену — какой-нибудь недоступный для него труд древнегреческого или римского философа. Но всё-таки он не терял надежды. Со слепой верой в книгу, которая постепенно развивается у самоучек, Пер иногда по целым дням не выходил из дому, стремясь во что бы то ни стало добиться результата. Надо было поторапливаться! Проходили недели, месяцы, а он дал самому себе твёрдое слово не уезжать из Дрезака, не достигнув полной ясности и твёрдой уверенности.

Как-то вечером, в начале марта, он возвращался домой с одной из рабочих площадок по ту сторону реки. Он очень устал за день и еле волочил ноги в длинных болотных сапогах. В воздухе уже повеяло весной. В горах всё чаще грохотали обвалы, и вода в реке поднялась на несколько футов. Приближалась годовщина наводнения, и Пера, у которого расшатались нервы от бесплодных размышлений и от затворнической жизни среди грозных каменных громад, захватило беспокойство местных жителей. Газеты уже сообщали о нескольких серьёзных обвалах.

Солнце только что скрылось за гребнем горы. В закатных лучах пылала седая вершина Хохголлинга и снежные лавины нависли на его склонах.

На временном мосту, перекинутом через поток, по обыкновению стояла кучка людей с длинными острогами, которыми они вылавливали обломки деревьев, уносимые течением. Пер любил останавливаться здесь и смотреть на «рыбаков»: с непостижимой меткостью попадали они в самые крохотные куски дерева, захваченные пенным водоворотом. Но сегодня он безучастно прошёл мимо и на немецкое «Grus Gott» ответил по-датски: «Добрый вечер».

Мысли его были на родине. Думал он и о том, придёт ли сегодня наконец письмо от Якобы. Уже больше недели он ничего от неё не получал и не мог понять причины этого внезапного молчания. Говоря по чести, он и сам довольно долго не писал ей, для него стало сущей мукой выжимать из себя эти равнодушные, неискренние строки. Но раз он молчит, Якоба тем более должна написать ему. В конце концов он мог заболеть, могло с ним стрястись и что-нибудь похуже, да мало ли отчего он ей не пишет.

— Писем нет? — спросил он хозяйку, старую фрау Баби, которая, завидев Пера из окна, поспешила открыть ему дверь.

— Нет, господин инженер, — ответила она с робким поклоном.

Всё же, войдя в комнату, Пер невольно бросил взгляд на письменный стол, где обычно через день поджидали его продолговатые конверты, надписанные крупным, круглым почерком.

Он равнодушно пожал плечами и принялся расхаживать по комнате, насвистывая и тщетно пытаясь прогнать дурное настроение. Потом молча уселся в старое кресло перед камином, где ярко горели сучковатые поленья. Сумерки сгущались. Темнота подползла к нему из углов уютной комнаты, а он всё сидел, упершись руками в колени, и глядел на огонь.

Молчание Якобы начинало беспокоить его. Уж не заболела ли она? Да нет, в этом случае Ивэн непременно известил бы его. Тут что-то другое. Но что?

Он представил себе Якобу. Сейчас она, может быть, сидит за праздничным столом, в кругу своей семьи. Большой, богато сервированный стол, цветы, неизменные вазы с фруктами, над столом большая, сверкающая люстра... Филипп Саломон, подвязав салфетку, занял место во главе стола, в обитом позолоченной кожей кресле с высокой спинкой. Ивэн, Нанни и другие дети садятся куда попало, без различия возраста и пола... все беззаботно тараторят, перебивая друг друга... только Якоба молчалива и безучастна, серьёзна и бледна, как всегда.

«Мудрая сова» — в шутку называл её отец. «Мадам Задавака» — окрестила её не столь доброжелательная Нанни.

Вдруг новое лицо возникает в этом видении — Эйберт. Пер знал, что прежний поклонник Якобы снова начал бывать у них. Она сама недавно написала Перу об этом. В глубине души она, должно быть, так и не преодолела до конца свою слабость к этому безукоризненно причёсанному апостолу трезвости и воздержания. Если как следует вдуматься, в её последних письмах явно была какая-то недоговоренность, она как будто в чём-то сомневалась или даже что-то скрывала от него. Может быть, она решила порвать с ним и своим молчанием просто хочет подготовить его к разрыву? Что, если так?

Ведь чувства, которые свели их, ни с его, ни с её стороны не были особенно возвышенными и уж никак не объяснялись гармоническим слиянием душ. За последнее время чаще и чаще перед ним с беспощадной ясностью вставала мысль, насколько они разные люди во всех отношениях. Он отлично сознавал, что, если бы даже он мог приневолить себя и поделиться с Якобой тем, что сейчас занимает его, она всё равно бы ничего не поняла. Пер помнил её язвительные насмешки над религиозными исканиями людей. Может, и в самом деле для обеих сторон лучше расстаться именно сейчас, пока не случилось большей беды?

Так он сидел, занятый своими мрачными мыслями, когда дверь тихо отворилась, и в комнату вошла фрау Баби. В лице маленькой женщины, в её фигуре, в робких суетливых движениях было что-то мышинное, и с первого же дня перед ним, как живая, встала Трине, — Трине — «простая душа» из Ньюбодера. Порой ему просто трудно было отделаться от суеверного чувства, будто это и впрямь рабски преданный «дух» его бедной юности заботливо суетится вокруг него, приняв обличье альпийской старушки. Хозяйка хотела зажечь лампу и накрыть стол к ужину, но, увидев при свете камина, что Пер всё ещё сидит в больших, заляпанных грязью сапогах, она сперва прошла в спальню и принесла оттуда его домашние туфли.

— Не желаете ли переобуться, господин инженер? — спросила она и поставила туфли на пол перед ним.

Он не ответил. Лишь когда она зажгла лампу и принялись закрывать ставни, он заметил её. Потом она снова ушла.

Пер остался сидеть у камина. Уронив руки на колени, он глядел в догоравший огонь, и мрачные мысли снова овладели им. Но сейчас он думал уже не о Якобе. Всякий раз в сумерки, стоило ему только дать волю мыслям, они тут же уносили его домой, к матери, к родному дому и к могилке отца. И вдруг словно что-то толкнуло его — так тоже случалось всякий раз, когда он во сне или наяву вспоминал отцовские часы. И хотя теперь он отлично понимал, что в его поведении тогда было не меньше суеверного страха, чем упрямства или вызова, он спешил отогнать от себя эти воспоминания и подумать о чём-нибудь другом.

Пер быстро встал. Фрау Баби поднялась из кухни, неся на подносе ужин.

— Чем вы меня сегодня будете кормить? — спросил он.

— Окорок, господин Пер!

— Вечный окорок, — заворчал он, чтобы дать исход плохому настроению. — Могли бы придумать что-нибудь поновее.

Пока хозяйка расставляла посуду, он вышел на балкон и подставил лицо свежему ветерку, веявшему с Хохголлинга. Уже совсем стемнело. Только на рабочих площадках ещё горело несколько да перед новым зданием вокзала сонно мерцал ряд фонарей.



Было очень тихо. Лишь лёгкий плеск воды да приглушённый расстоянием перестук вагонов нарушал тишину. Один раз донёсся издали грохот обвала. Над горными вершинами нависли тяжелые облака, но над головой Пера небо было звёздное и ясное.

Много раз стоял он здесь по ночам, измученный и подавленный бесплодным чтением, и смотрел на яркий хоровод светил. Иногда он представлял себе, что эти золотые небесные письма и есть решение всех загадок жизни и смерти. Но лишь для тех, кто умеет их прочесть. А какие это таинственные письма! словно в древнейшем, эмблематическом письме, которое знаменовало собой детство человечества, здесь огненным пунктиром были начертаны фигуры зверей: льва, медведя, змеи, быка — весь утерянный рай, первая азбука человечества. А среди диких зверей ярче и отчётливее, чем остальные звёздные картины, сиял знак Креста, окруженный, словно нимбом, Млечным Путём.

Пер вздрогнул: из долины долетел протяжный свисток. Это возвестил о своём приближении скорый поезд с севера. Красные, огненные глаза паровоза прорезали мрак; слышно было, как дали конрпар, и две минуты спустя поезд, словно загнанная лошадь, остановился перед вокзалом. Но стоял он очень недолго. Открылось и снова закрылось несколько вагонных дверей, ударил станционный колокол, и машинист дал гудок к отправлению.

Пер провожал глазами светящийся поезд, пока тот с коротким змеиным шипением не скрылся в туннеле под Хохголлингом. И как не раз уже случалось, Пер подумал, что стоит только захотеть — и всего через несколько часов он очутится за сотни миль от этой каменной клетки, в которой он заперт уже скоро три месяца. На другой день поезд промчит его через северную Италию, светлую и привольную, полную солнечного света и аромата цветов. Он сам себе хозяин, — он не связан никакими обязательствами... Ну, а потом что? Какой прок ехать куда-то дальше, пока он не избавился от кошмара, который сковал все его мысли и отнял у него силу, энергию и способность действовать? Нет, именно здесь, где он начал борьбу, надо довести её до победного конца. Здесь, в мрачном, как могила, ущелье, он разделается со всеми призраками, одолеет их... или сам падёт в бою.

Когда он вернулся в комнату, стол был уже накрыт. Фрау Баби смиренно дожидалась возле стула, чтобы придвинуть его, как только Пер надумает сесть.

— Так и быть, — начал он, честно пытаясь прийти в более весёлое расположение духа. — Приступим с божьей помощью к окороку.

— Вы не гневайтесь, господин инженер, — покаянным тоном начала старушка. — Сейчас так трудно достать свежее мясо.

«И голос как у Трине», — подумал Пер.

— Да вы не принимайте этого так близко к сердцу, — уже совсем благодушно сказал он, — я понимаю, что зря нашумел, но со мной все эти дни творится что-то неладное.

— Я так и думала. Последние дни вы очень плохо выглядите.

— Ах вот оно что-о-о, — протянул он и сразу почувствовал себя хуже. Немного погодя он прокашлялся и заметил при этом, что охрип. Наверно, это всё ещё берлинская простуда даёт себя знать. Придётся поговорить с врачом и проверить лёгкие.

В эту минуту внизу постучали, и фрау Баби спустилась открыть дверь. Потом она вернулась с пылающими щеками и сообщила, что какая-то дама хочет его видеть.

— Дама? — переспросил Пер и отложил вилку. — Это какая-то ошибка, я никого здесь не знаю.

— А она не здешняя. Она, должно быть, приехала поездом.

— Поездом? — переспросил Пер и недоуменно взглянул на хозяйку.

Послышались шаги по лестнице, и на пороге появилась черноволосая улыбающаяся женщина в дорожном костюме. С плеч её ниспадала дорогая накидка.

— Я услышала твой голос, — сказала она. — Добрый вечер! Только не пугайся, пожалуйста.

Пер вскочил.

— Якоба, ты?

— Именно я, — спокойно подтвердила она с тем внешним самообладанием, которое, несмотря на слабые нервы, появлялось у неё в минуты глубокого волнения; а сейчас для такого волнения были свои особые причины, ибо Якоба в глубине души опасалась, что Пер не очень ей обрадуется.

— Но как... откуда?

— Мне, конечно, следовало бы предупредить тебя телеграммой, но с дороги её негде было отправить. А кроме того, мне очень хотелось сделать тебе сюрприз. Я надеялась застать тебя дома... Ну, помоги же мне раздеться наконец. Галантности в тебе ни на грош.

Лишь когда она избавилась от дорожной накидки, сняла шляпу и поправила причёску, совершенно ошарашенный Пер неуверенно обнял её. И хотя вся она трепетала от желания броситься на грудь Перу, она ограничилась тем, что взяла обеими руками его голову и поцеловала в лоб.

— В таких случаях принято говорить: добро пожаловать. Или ты не рад мне?

Пер и на самом деле не мог бы сразу сказать, какого рода чувства вызвал в нём приезд Якобы. Первая мысль его была, что Якоба приехала подсматривать-за ним. Нечистая совесть породила эту мысль. Но теперь, обнимая её и глядя в огромные чёрные глаза, полные любви и преданности, он вдруг всё понял, и в эту минуту словно лопнул железный обруч, сковывавший его грудь. Впервые — со времени его наивной любви к дочери шорника из Кьертеминне — душевное волнение исторгло слёзы из глаз Пера.

— Так вот почему ты не писала?

— А ты ничего не понял?

Взглянув в заблестевшие глаза Пера, Якоба тоже не могла удержаться от слёз, и когда за фрау Баби, догадавшейся наконец, что она здесь лишняя, закрылась дверь, Якоба дала волю своим чувствам. Она страстно обвила руками шею Пера.

— Значит, ты всё-таки немножко скучал по мне... Вот я и приехала. Я с тобой! Сбылось наконец! Это мне не снится! — Закрыв глаза, она прижалась к его груди. — Нет, это не сон. Я слышу, как стучит твоё сердце! Пер, дорогой мой! Друг мой! Мой любимый!

Они долго стояли так, прижавшись друг к другу. Пер молча гладил рукой её волосы. Он всё ещё не находил слов — так сильно он был потрясён и так много вопросов теснилось в его голове. Наконец они настолько пришли в себя, что могли уже связно разговаривать, задавать вопросы и отвечать на них.

— Почему я не известила тебя о выезде? — так начала Якоба, когда они уселись рядышком на деревянный диванчик, держась за руки и каждую минуту прерывая разговор поцелуем. — Да потому, что не могла. Пойми, ведь до самой последней минуты я так и не знала, как всё получится. Задумала-то я это давно: я считала, что непременно должна побывать у тебя, пока ты не забрался ещё дальше... Мне казалось, ты стал очень далёк от меня за эту бесконечную зиму, ты так мало писал о себе — под конец я просто не знала, что и подумать!.. И тогда я сказала отцу и матери, будто хочу навестить Клару Герц в Бреславле, ты ведь знаешь, у меня в Бреславле живёт подруга детства. Родители нашли это вполне естественным, но написать тебе я всё равно не решилась... У меня просто духу не хватило... Тысячи всевозможных причин могли помешать мне... И как раз в самую последнюю минуту — вообрази только мой испуг! — Ивэн заявил, что поедет вместе со мной. От него я кое-как отделалась — и вот я здесь.

Во время её рассказа Пер несколько раз опускал глаза. Он знал чрезмерную правдивость Якобы и догадался (грустные нотки в голосе невольно выдали её), как трудно ей было говорить неправду родителям и домашним. И всем этим она поступилась, все страхи отринула, все опасности и предрассудки презрела — только потому, что поняла, как она здесь нужна.

Он не решался взглянуть на неё, стыдясь своих недавних мыслей о ней.

— А теперь, — робко спросил он, — теперь ты поселишься здесь?

— Дня на два. Больше я просто не могу оставлять домашних без писем. Придётся поехать в Бреславль. Здесь есть какая-нибудь гостиница, где я могла бы снять номер?

— Не надо тебе в гостиницу. Там нехорошо. Оставайся здесь, а я сам на это время перееду туда. Ты уже видела мою хозяйку. Она хорошая женщина и будет заботиться о тебе.

— Ну, как хочешь. А теперь, мой друг, — она с материнской лаской погладила его по волосам, пытаясь заглянуть ему в глаза, — теперь твоя очередь рассказывать. Как тебе здесь живётся? Плохо? Мне кажется, у тебя усталый вид.

Пер смутился и отвёл глаза.

— Да нет, мне хорошо. Конечно, не очень-то весело. Но места здесь в своём роде изумительные. И работа интересная и очень для меня поучительная.

Якоба медленно отвела руку. Воцарилось недолгое молчание. Потом она снова повернулась к Перу и положила руку ему на голову.

— Пер, — спросила она, — почему ты мне не доверяешь? Неужели ты думаешь, что тебе удастся скрыть что-нибудь от меня?.. Нет, не оправдывайся, пожалуйста. Ты должен быть искренним со мной. Почему мы не можем поговорить по душам? Даже если я не всё пойму? Я ведь знаю, вы, христиане, всё равно верующие или неверующие, подвержены всякого рода искушениям, и я уже заранее приготовилась к тому, что и ты их не избежешь. Но так же твёрдо я убеждена, что тебе удастся справиться с ними.

— Ты права, — сказал он, залившись краской стыда, и высвободился из её рук, чтобы встать, — я и в самом деле как-то запутался. — Он пересёк комнату из угла в угол. — Но это смешно. Тут виновато одиночество и проклятая пасторская кровь: целая свора предков церковников вдруг ожила во мне. Но это уже прошло. Уверяю тебя, я опять стал самим собой.

Якоба задумчиво выслушала его, потом вдруг встала и подошла к нему. Вместо ответа она легонько потрепала его по щеке и сказала:

— Хватит на сегодня об этом, мой друг. А теперь слушай! Я застала тебя за ужином, и это очень удачно, ибо теперь я почувствовала, что голодна, как волк. У меня всю дорогу крошки во рту не было. Придётся тебе разделить, свой ужин со мной.

— С удовольствием, дорогая! — воскликнул Пер, довольный переменой темы. — Сейчас я кликну хозяйку. Только бы она сумела приготовить для тебя что-нибудь вкусненькое.

— Мне всё равно. Когда я как следует проголодаюсь, я подобна пламени или свинье — я пожираю всё. Поговори с хозяйкой, а я тем временем приведу себя в порядок. Принеси только мне мой саквояж. Я оставила его внизу под лестницей.

Пер велел заново накрыть на стол и вконец загонял фрау Баби своими распоряжениями. Якоба тем временем была в спальне, и когда она вышла оттуда, Пер заметил, что она уложила маленькие завитки на висках и украсила темно-серое дорожное платье большим отложным воротником, мантилкой из чёрных кружев и маленьким шелковым бантиком. Она вынула из-за пояса букетик фиалок и воткнула его Перу в петлицу. Потом, притянув к себе его голову, осыпала его лицо страстными поцелуями, и оба сели за стол.

Хотя Пер от души радовался приезду Якобы и был глубоко признателен ей, он хранил прежнюю сдержанность. Его угнетало несоответствие между её большой, готовой на все жертвы, свободной от предрассудков любовью и собственными чувствами. Он и раньше не строил себе никаких иллюзий на этот счёт. Как бы ни складывались их отношения, он всегда с предельной точностью сознавал, что именно значит для него Якоба. И хотя однажды ей удалось вызвать у него предчувствие небесных радостей любви, ни тело её, болезненно хрупкое и бессильное, ни вся её своеобразная внешность почти не привлекали Пера. А та страстная глубина, которую она вносила в их отношения, скорее расхолаживала его, чем воспламеняла.

Но теперь, когда они вместе сидели за столом, которому хозяйка по мере своих скромных возможностей постаралась придать праздничный вид — достала ослепительно белую скатерть и зажгла два дряхлых медных канделябра, — он впервые испытал прилив настоящей страсти (хотя отложной воротник решительно не красил Якобу). Но Пер уже давно не видел так близко ни одной молодой женщины, он жил в каменной клетке, как

послушник в монастыре, с головой уйдя в призрачный мир своих умствований. И вот в крови снова вспыхнула жажда жизни; решимость и сила снова вернулись к нему, волнуя ум.

Стакан за стаканом пил он крепкое местное вино. Щёки Якобы тоже понемногу разгорались, и, несмотря на голод, она не раз прерывала трапезу, чтобы произнести очередной тост, чокнуться с Пером или поцеловать его. Когда они наконец встали из-за стола, Пер сказал;

— Ты ведь ещё не видела, как я устроился. Пойдём, посмотришь заодно, какой отсюда вид.

Он набросил на плечи Якобы накидку и вывел её на балкон. Лишь одинокие огоньки мерцали вдоль платформы и в самом городке. Но зато всё небо было густо усеяно звёздами. Облака скатились с горных хребтов в глубокое ущелье и залегли там отдыхать на всю ночь. И только над снежными склонами Хохголлинга плыл лёгкий темноватый дымок.

Пер принялся рассказывать, как много ночей простоял он здесь, ловя чутким ухом голос природы, который слышался ему в сумрачном рокоте потока, как он казался себе последним живым существом на вымершей планете. Но Якоба больше не внимала его словам. Она положила голову к нему на грудь и то и дело прерывала рассказ, молча подставляя губы для поцелуя. Потом и он смолк; они долго стояли так, убаюкивая друг друга в объятиях, теперь они говорили только взглядами и скрепляли этот немой разговор долгими-долгими поцелуями. Вдруг с вершины Хохголлинга донёсся протяжный гул надвигающейся лавины. Пер поднял голову и прислушался, но Якоба не шелохнулась. Даже после того, как он обратил её внимание на этот гул, повторившийся через несколько секунд, она не ответила. Во всём мире она не слышала теперь ничего, кроме биения двух сердец — своего и Пера.

Когда они снова вернулись в комнату, Пер сказал, что уже очень поздно и что ей, наверно, пора отдохнуть. Она промолчала. Чуть смутившись, он прошёл к себе в спальню, чтобы взять оттуда своё бельё и ещё кое-какие мелочи. Когда он вернулся в столовую, оказалось, что Якоба стоит лицом к окну.

— Пойду, что ли, в гостиницу, — сказал он и подошёл к ней попрощаться. Она не обернулась, и он два раза чмокнул её в щёку, не получив ответа. Но когда он совсем уж собрался идти, она удержала его движением руки — молча, но решительно.

Он недоуменно взглянул на неё.

Тут она кивнула на деревянный диван и сказала:

— Ты мог бы спать и здесь. Тогда я была бы ближе к тебе и могла бы ухаживать за тобой. Терпеть не могу гостиниц.

Пер нагнулся к ней. Он всё ещё не был уверен, что правильно понял её, и хотел заглянуть ей в глаза. Но она прижалась к нему и положила его руку себе на сердце.

На другое утро её разбудило яркое солнце, которое сквозь шторы ворвалось к ней в комнату. Она приподнялась на локте и огляделась вокруг удивлёнными, широко раскрытыми глазами. Дверь в другую комнату была приоткрыта, там кто-то ходил на цыпочках, и, услышав шум, она улыбнулась.

— Пер! — весело окликнула она.

При звуке его шагов кровь бросилась ей в лицо. Прежде чем он открыл дверь, она протянула руки ему навстречу.

Осторожно ступая, он подошёл к ней и опустился на колени перед кроватью.

— Ты так сладко спала! — сказал он и взял её за руки.

— Я просто диву даюсь! Последние полгода я вообще ни разу не могла уснуть без снотворного, а тут я даже не помню, что со мной было, когда ты ушёл... А ты? Ты уже одет и уже побывал на улице, я вижу, от твоих волос так хорошо пахнет утренней свежестью.

— Я просто выходил на балкон. Мне не хотелось надолго отлучаться.

— А, теперь понимаю! Значит, это твои шаги я всё время слышала сквозь сон? Ты, должно быть, долго там расхаживал. И совсем не спал. Да? Совсем, совсем? Ни капельки? Бедняжка. Диван, наверное, слишком жёсткий. Так я и знала.

— Нет, не из-за дивана. Видишь ли, Якоба...

— Что такое, друг мой? — только теперь она увидела, как он взволнован, даже расстроен, и ей стало не по себе. — Что случилось?

— Якоба, я хочу тебе исповедаться. Я не буду знать покоя, пока не открою тебе... не скажу тебе честно, что...

Она зажала ему рот ладонью.

— Я знаю всё, что ты хочешь сказать, и не желаю ничего слышать. Прошное забыто, мой Пер!

— Но сможешь ли ты простить меня? Сможешь ли забыть, как я разглагольствовал о любви, а сам терзал твоё сердце и отвечал на твои поцелуи прежде, чем понял, что такое любовь? Ведь так оно и было, должен честно сказать, — лишь сегодня ночью я понял, что такое любовь. И я со стыдом сознаю, как низок я был и как мало разбирался в жизни. Сможешь ли ты простить меня?

— Ах, мой друг, — сказала она, чуть помрачнев, и прижала его голову к своей груди. — Я уже давным-давно всё тебе простила.

\* \* \*

Прошло несколько дней. Якоба и Пер поднимались по крутой тропинке, которая петляла по горному склону, местами поросшему кустарником, местами совсем голому. Был полдень. Солнце пылало на ржаво-серых камнях, весна наполняла воздух густым и смолистым ароматом травы и хвои.

Они находились сейчас на южных склонах Доломитовых Альп. Через день после приезда Якобы они покинули Дрезак, чтобы выйти навстречу лету. Восемь дней они, двое вольных бродяг, прошатались по Эцтальским горам, ночевали в высокогорных гостиницах, покупали у крестьян хлеб и яйца, а жажду утоляли из лесных родников. На третий день Якоба отправила домой письмо, в котором преспокойно сообщала матери, где она находится, и объясняла свой поступок тем, что не могла устоять перед искушением встретить весну раньше всех, а поэтому направилась в Бреславль кружным путём, через Альпы. Не называя прямо имени Пера, она тем не менее писала, чтобы мать не беспокоилась за неё, так как она «обзавелась надёжным попутчиком».

Теперь она медленно и неуверенно карабкалась вверх по извилистой тропинке, одной рукой подбирая юбки, другой опираясь на альпеншток. Пер шёл следом. За плечами он нёс простой зелёный рюкзак, где помещался весь их скарб. Якоба часто останавливалась и поворачивалась к Перу, чтобы обнять и поцеловать его. Оба пообгорели на весеннем солнце, локоны Якобы, обычно так аккуратно уложенные, свисали теперь на уши непокорными прядями, словно у цыганки. Глаза её сияли, губы рдели.

Покорителя вершин из неё не получилось. Каждые полчаса им приходилось отдыхать, через все ручьи Пер переносил её на руках, на всех крутых спусках поддерживал. Но у него и в мыслях не было сетовать. Якоба оказалась легонькой, как пёрышко, и держать её на руках было так приятно. А вдобавок каждая новая остановка в лесу или в долине давала желанный повод для очередной лирической или весёлой любовной сцены, и когда долгий дневной переход оставался позади, память лучше всего сохраняла именно такие сцены.

Для Пера эти дни были вторым рождением и вторым крещением. Жизнь внезапно раскрылась перед ним во всей полноте и красе, он даже и не подозревал, что она может быть так прекрасна. Он ходил словно в хмелю новых откровений, у него пробудились неведомые доселе чувства. Всё, чего он прежде требовал от судьбы, казалось теперь жалким и ничтожным рядом с тем наслаждением, какое дарит один-единственный поцелуй. На Якобу он тоже смотрел теперь совершенно иными глазами. Отныне он любил её как женщину, которая подарила ему новую жизнь, которая раздвинула границы его мира, как женщину, чьи поцелуи; словно заклинания, прогнали с его пути призрак смерти.



Но счастливые дни промелькнули. Опасаясь родителей, Якоба не могла более откладывать грустный миг разлуки. Они решили до вечера пробыть в Ботцене. Оттуда Якоба должна была выехать ночным поездом на север, а Пер вернуться в Дрезак, чтобы уладить там все дела их и затем продолжать путешествие по ранее намеченному плану.

С самого утра оба попритихли. Когда их взгляды встречались, Якоба пыталась улыбнуться, но её порывистые ласки выдавали тревогу и беспокойство. Она ни на минуту не отходила теперь от Пера и медленно брела рядом с ним, прижавшись головой к его плечу, а рука Пера обнимала её стан. Когда они останавливались для поцелуя, она закрывала глаза, чтобы полней насладиться своим недолгим счастьем и сохранить его в тайниках души.

Они подошли к очередному повороту тропинки. Здесь росло несколько чахлах каштанов, которые отбрасывали скудную тень на каменистую землю; здесь они и решили устроить привал. Пер расстелил дорожный плед, и усталая Якоба тут же опустилась на него. И вдруг они спохватились, что начисто забыли про свой завтрак, который лежит в рюкзаке. Тут оба расхохотались и ненадолго выкинули из головы все горести.

Пер расстегнул зелёный парусиновый мешок и начал выкладывать оттуда провизию. В эту минуту он заметил крест, врытый между камнями по ту сторону тропинки. Это был обычный деревянный крест, каких здесь можно встретить великое множество: в два-три локтя высотой, с аляповатым и отталкивающим изображением распятого Спасителя.

— А, чёрт подери! — выругался Пер. — Изволь теперь любоваться на это чучело! Давай лучше уйдём.

— Не надо, — взмолилась Якоба, — мне и с места не подняться, пока я не съем чего-нибудь.

— Ну ладно! В конце мы можем сесть к нему спиной... Нет, Якоба, ты только посмотри, как здесь красиво!

Сев лицом к долине, которая расстилалась под их ногами в солнечном сиянии, они за обе щеки уписывали свой убогий завтрак — чёрствый хлеб, немного сыру и несколько яиц. Пер пристроился подле Якобы на голом камне; покончив с едой, он закурил сигарету, и так они сидели, взявшись за руки, болтали и любовались золотым маревом.

Вдруг Пер поднял голову и прислушался.

— Слышишь? — спросил он.

— Что?

— Неужели не слышишь? Опять колокол!

— Где?

— Где-то в долине.

— Нет... Но я верю тебе... Как далеко ты слышишь!

— Правда, отвратительный звук?.. Даже здесь, в сказочном царстве, и то тебя преследуют мерзкие призраки.

— У тебя на редкость острый слух по части колоколов, — улыбнулась Якоба.

Пер рассказал ей, как он ненавидел этот звук, как боялся его, когда был ещё мальчиком, как этот звук настигал его на всех запретных путях и отдавался в его ушах грозным предостережением. И Якоба ласково сжала его руку и сказала, что и ей этот вечный перезвон тоже казался торжествующей угрозой. Она и сейчас помнит, что совсем ещё крошкой забивалась по воскресеньям в дальний угол, когда начинали благовестить колокола, в самый дальний, чтобы никто не видел, как она плачет от злости; а когда она стала постарше, то частенько, возвращаясь домой из школы, бросала дерзкие взгляды на колокола в гарнизонной церкви, где семьи двух её одноклассниц имели постоянные места, чем и гордились невероятно.

— Смотри, Пер! У нас уже тогда были одинаковые мысли и чувства. Стоит ли удивляться после этого, что мы нашли друг друга.

Он обнял её, и они заговорили о будущем, о приближении нового столетия, когда к человеку вернётся наконец былая свобода духа, когда в нём пробудится былая жажда действия и страсть к приключениям, когда на развалинах храмов воздвигнут алтари силе и

подвигу.

— Знаешь, — сказал Пер, — в последнее время я часто вспоминал историю, которую слышал однажды дома от нашей старой одноглазой няньки. Это история про крестьянского парня, надумавшего стать вольным стрелком. Ты, может, её тоже помнишь?

— Вольным стрелком? Что это такое?

— Значит, не знаешь. Так вот, вольный стрелок — это человек, который стреляет заколдованными пулями и попадает в любую цель с любого расстояния. Но чтобы получить такую волшебную силу, надо выйти в полнолуние на дорожный перекрёсток, где стоит распятие, и пробить пулей грудь Христа... попасть прямо в сердце.

— А-а, так это же опера «Волшебный стрелок».

— Ну да. И вот, когда дошло до дела, у парня из её рассказа не хватило духу. Как только он упрётся прикладом в плечо, чтобы хорошенько прицелиться, у него начинают дрожать пальцы, а как захочет спустить курок, у него немеет вся рука. И до конца своих дней он так и остался самым заурядным горе-охотником. Мне кажется, что эта история даёт наглядную картину людского бессилия перед чудищами суеверия. У человека никогда не хватит решимости для собственной же пользы поразить изображение святого. Чёрт знает что... в самую последнюю минуту всегда являются сомнения. — Он повернулся лицом к распятию и всё более страстно продолжал — Взгляни на это чудосочное божество! Когда наконец у нас достанет смелости выразить ему своё презрение плевком в лицо? Посмотри на него хорошенько, Якоба! Какая наглая кротость! Как он мерзок, выставя напоказ своё поношение. Но его царствию скоро придёт конец. Мы сами будем невольными стрелками. Только стрелять надо заколдованными пулями!.. Гляди!

Он задорно вскочил на ноги, выхватил тяжелый револьвер из висевшей на поясе под курткой кобуры, и не успела ещё Якоба остановить его, как он взвёл курок и с возгласом: «Я провозглашаю приход нового века!» — выстрелил прямо в распятие. Распятие покосилось, в воздух брызнули щепки.

И в эту минуту словно вздох пронёсся по всему миру. Из долины долетел глухой рокот, он становился всё сильнее и раскатился по горам, словно подземный удар грома.

Пер обернулся. Он был бледен как полотно. Но, поняв, в чём дело, разразился неудержимым хохотом. Он вспомнил, что, когда они поднимались, он видел в нескольких местах табличку с надписью на трёх языках: «Не забудь про эхо!»

— Что ж, грохочите, призраки! — задорно крикнул он, снова зарядил револьвер и выстрелил прямо в воздух, так что долина снова наполнилась рёвом и гулом, будто и в самом деле вырвалась на волю свора горных духов.

— Пер, да ты с ума сошёл! — закричала Якоба. Она тоже вскочила и в полном восторге бросилась ему на шею. — Что с тобой творится?

— Я просто убрал тень со своего пути! А теперь пошли, нам пора! Время дорого. Через два часа нам надо уже сидеть в почтовой карете, а через пять — через пять часов мы расстанемся.

— Ах, Пер, давай лучше не думать об этом, — сказала она и, прижавшись головой к его плечу, закрыла глаза.

Так они и шли дальше, рука об руку, навстречу сияющему солнцу, шли медленномедленно, овеванные крепким и пряным ароматом весны.

## Глава XIV

Уже не первый год могучий процесс обновления властно перекраивал жизнь датской столицы. Провинциалы или иностранцы, не бывавшие здесь несколько лет, лишь с великим трудом узнавали город — настолько он разросся, настолько изменил весь свой облик. Докатившаяся из Европы — не без содействия доктора Натана — волна культурного подъёма не только вызвала давно не изведанный духовный расцвет, не только породила революционно настроенную плеяду писателей, учёных и политических деятелей, но и

вывела на арену множество юных дерзновенных умов, которые искали применения своим силам в областях чисто практических. Пер Сидениус был лишь одним из бесконечного ряда честолюбивых и жизнерадостных молодых людей, тех, кого воспламенил предпринимательский дух нового времени и почти сказочное развитие великих индустриальных держав; тех, кого, как утверждали злые языки, «ослепил блеск золота». Пока Пер склонялся, насвистывая, над чертёжной доской в своей убогой нюбодерской каморке, столь же смелые мечтатели восседали — кто на стуле-вертушке в бухгалтерии торгового дома, кто на табуретке за обитой сукном банковской конторкой, кто на последних скамьях в аудитории юридического факультета — и тайно готовились стать у кормила власти. Самым умным и расторопным уже удалось занять видное место в общественной жизни, где дотоле нераздельно властвовала реакционная правительственная партия и скудоумная придворная знать.

Копенгаген стоял на верном пути к скорейшей победе нового времени и духа его. Не только увеличение размеров и быстрый рост населения выдвинул его в ряды крупнейших городов мира. Сама уличная толпа, и характер увеселений, и тон прессы, и стиль светской жизни становились день ото дня всё более европейскими.

Зато в провинции, особенно в маленьких местечках, жизнь текла точно так же — привычная и неизменная. Здесь по-прежнему надо всем царил чиновник в силу полученного им университетского образования, здесь по-прежнему считался героем дня студент, приехавший на каникулы в шелковой шапочке, которая, словно воздушный шар, парила над его кудрявой головой. В провинции казалось совершенно немыслимым, чтобы купца или промышленника, будь он даже могуч, как сам господь бог, возвели при помощи титула статского советника на одну ступень с высокородными слугами государства.

И в деревне не намечалось решительного разрыва с прошлым. Правда, над маслобойными заводиками уже дымили кой-где настоящие заводские трубы, а жнейки и молотилки уже сменили местами косы и цепы, однако, невзирая на все технические новшества, невзирая на рост образования, сельское население беднело день ото дня. Все множилось число закладных на крестьянские усадьбы. И каждый год возрастал ещё на несколько миллионов государственный долг Дании.

Но широкозадый датский крестьянин по-прежнему горделиво проживал на своём хуторе, в неколебимой уверенности, что он-то и есть мозг нации, её первозданная сила, её будущее. Это убеждение в ходе столетий стало национальной догмой, и грундтвигианские школы освятили её. От Скагена до Гесера, от моря и до моря деревня и город объединились в почтительном преклонении перед млеком и мёдом тучных датских нив.

А тем временем реки и фьорды страны мелели да мелели. Древние торговые пути, где ещё в прошлом столетии процветало судоходство, столь оживлённое, что отдельные горожане могли содержать собственную флотилию чуть ли не в двадцать могучих парусников, теперь служили лишь для рыбацких судёнышек. Одни только ветряные мельницы в какой-то мере использовали неисчислимые запасы энергии, которую разносили по стране беспокойные ветры. А вдоль морских берегов вздымались и опадали гребни волн, бесплодно растрачивая свою силу в пустом пространстве. Пока другие нации проливали потоки крови и золота, лишь бы отвоевать кусочек побережья или даже просто какой-нибудь грузовой порт, на целых четыреста километров от Скагена до Эсбьерга — расстояние вдоль Скагеррака — тянулась бесплодная пустыня без единой гавани, не говоря уже о настоящих городах.

Более того, в некоторых местах люди своими же руками помогали разрушительной работе сил природы — запруживали бухты, осушали проливы и озёра, чтобы посеять ещё больше кормовых трав для скота. Там, где некогда тяжело груженные парусники входили в гавань, овеянные ветрами дальних стран, простирались теперь зелёные луга, на которых пасся высокоудойный молочный скот, создавая обманчивую видимость процветания. Если даже в порядке исключения на какой-нибудь из пустошей Ютландии расчищали русло реки, то опять-таки лишь для того, чтобы увеличить площадь посевных земель, умножить число

крестьянских семейств, наплодить ещё больше бедняков — что так язвительно развенчивал Пер в своей маленькой брошюре.

А Копенгаген мало-помалу снимал пенки со всей страны, превращая её в своего рода придаток столицы. Сюда стремилась рабочая сила, ищущая применения, сюда стекались из провинций капиталы в погоне за высокими прибылями.

Лишь то, что непосредственно касалось самого Копенгагена и его судеб, могло сейчас рассчитывать на всеобщий интерес; это и было одной из причин, почему книга Пера, написанная именно с целью расшевелить публику, не привлекла внимания ни в самой столице, ни за её пределами. Не помогли даже усилия его шурина и преданного друга Ивэна, который осаждал многочисленные редакции с призывом ударить в набат. Все, с кем он ни говорил, лишь равнодушно пожимали плечами. Проект канала через Ютландию? Моторы, приводимые в движении силой волн возле мыса Блованс-хук? Нет, это не материал для сенсации. Даже Дюринг, которому не грех бы вести себя более предупредительно, и тот уклонился, под предлогом, что уже имел неприятности из-за статейки, написанной им в своё время по инициативе Ивэна и посвящённой этому вопросу.

Такая же неудача постигла Ивэна и тогда, когда он попытался заинтересовать великими планами своего друга финансистов и предпринимателей, хотя Ивэн не щадил ни ног, ни языка, для того чтобы лично воздействовать на ведущих представителей делового мира, и прежде всего на своего собственного отца, который, однако, самым решительным образом отказался от участия в этом деле.

Филипп Саломон никогда не питал особого доверия к жениху своей дочери, а жена Филиппа, как и в большинстве случаев, разделяла взгляды своего мужа. Хотя никто из них прямо не высказывался по этому поводу, оба про себя не переставали лелеять надежду, что Якоба наконец образумится и своевременно разорвёт связь, которая, по всем расчётам, не принесёт ей ничего, кроме горя и разочарований.

Всё это привело к тому, что в один прекрасный мартовский день, после обеда, за которым Филипп Саломон был, против обыкновения, очень неразговорчив, он пригласил Ивэна к себе, чтобы побеседовать с ним. С утренней почтой фру Саломон получила письмо от Якобы. До сих пор семейство пребывало в уверенности, будто Якоба гостит у своей бреславльской подруги; письмо же пришло из пограничного австрийского городишки, и между строк можно было вычитать, что Якоба встретила там со своим женихом и что они предприняли совместную прогулку в горы.

Филипп Саломон не обмолвился ни единым словом о признаниях Якобы, он с места в карьер заговорил о проекте Пера, осведомившись у Ивэна, как идут дела с созданием акционерного общества по разработке так называемых открытий его друга. Он-де в последнее время ничего об этом не слышал.

Ивэн сморщился и махнул рукой.

— Знаешь, отец, давай лучше поговорим о чём-нибудь другом. Ты спрашиваешь, как идут дела? А как они могут, по-твоему, идти, если те, кого это больше всего касается, проявляют полнейшее равнодушие? Я ведь тебе говорил, что, стоит мне завести речь о Пере, все тут же спрашивают, как к этому относишься ты. Вся биржа прекрасно знает, что Якоба помолвлена с Сидениусом.

— Я и сам об этом думал, — ответил Филипп Саломон с обычным спокойствием, не обращая внимания на взволнованный и даже непочтительный тон сына. Объясни мне, пожалуйста, толком, о какой, собственно, сумме идёт речь?

— Зачем ты спрашиваешь? Ты ведь читал его книгу!

— Конечно, конечно. Но я, помнится, сказал тебе ещё тогда, что не ахти как много уразумел из неё. Может быть, я слишком поспешно перелистал её или просто чего-то не понял. У него ведь очень своеобразная манера писать о подобных вещах. Потому я и решил спросить тебя, не можешь ли ты — совсем вкратце — изложить мне основное содержание книги... дать мне сжатое, но конкретное представление о том, какими соображениями, собственно говоря, руководствуется твой приятель.

Более приятного вопроса отец и не мог задать Ивэну. Ивэн поспешно принёс нужные чертежи и другие бумаги и своей речью на целый час приковал отца к стулу.

Проект Пера, кратко изложенный в брошюре, сводился к следующему.

Посреди пролива Гродюб, там, где он смыкается с Ертингским заливом, расположен пустынный, почти необитаемый остров Лангли. Если смотреть со стороны полуострова Скаллинген, остров предстаёт как длинная, серовато-зелёная цепь дюн, среди которых там и сям мелькают рыбацьи хижины, крытые соломой. Старинный фарватер ведёт вдоль берегов острова до Ертинга. Некогда здесь было самое удобное во всей юго-западной Ютландии место для разгрузки судов, теперь оно не приносит ничего, кроме жалких уловов рыбы, и лишь таможня да несколько больших заброшенных торговых контор напоминает о минувшем величии.

Пер доказывал, что было непростительной ошибкой создавать из Эсбьерга крупный порт, как сделали в конце шестидесятых годов. Он осуждал это мероприятие — отчасти из-за удалённости гавани, главным же образом потому, что Эсбьерг связан с остальной страной лишь железнодорожным сообщением.

Предложение Пера заключалось в том, чтобы перенести южно-ютландский разгрузочный пункт на старое место или чуть севернее, к городку Тарп в устье реки Варде. Отсюда можно наладить пароходное сообщение с центром страны. Русло реки надо углубить и отрегулировать, затем связать его посредством нескольких шлюзов с рекой Вайле и тем самым завершить создание южного канала, из тех двух, которые, согласно его проекту, должны вместе с дельтами обеих рек соединить Северное и Балтийское моря.

Он писал, что лишь после того, как будет проложен по крайней мере один из этих путей, можно будет всерьёз говорить о конкуренции с портовыми городами северной Германии и особенно с Гамбургом, чьё растущее превосходство таит в себе, по его мнению, реальную угрозу для независимости Дании. В борьбе за рынки сбыта, которая — тайно или явно — определяет современную мировую политику, каждое поражение будет становиться из года в год всё более пагубным для Дании, победа же всё более плодотворной по мере того, как европейский центр тяжести благодаря росту политического и культурного значения России будет перемещаться на восток.

Нетрудно понять, что при сложившихся условиях Лангли мог бы занять исключительное положение как перевалочный и разгрузочный пункт. Но Пер стремился создать ещё более благоприятные условия для процветания этого маленького, покрытого дюнами островка. Идея Пера заключалась в том, чтобы устроить открытый порт, освободив суда от обложения таможенным сбором; в своей книге он рисовал фантастическую картину процветания, вызванного этой мерой; какие верфи, доки и пакгаузы вырастут на золотом песке острова, как в дельте реки быстро воздвигнется большой город — северная Венеция. Пропадающая втуне энергия ветра приведёт в движение его усовершенствованные ветряные моторы, а энергия приливов Северного моря пойдёт по проводам через Скаллинген с помощью устройства, которое является совершенно самостоятельным изобретением Пера.

Собственно говоря, именно этой, инженерной частью смелого проекта Ивэн и стремился привлечь на свою сторону деловой мир Копенгагена. Он не мог не видеть, что постройка самого канала есть дело всей нации и осуществление её по плечу лишь целому государству. Что же до механизации и освоения территории острова, равно как и участков в устье реки, то это осуществимо и с помощью частной инициативы, тем более что размах работ можно ограничивать применительно к размеру поддержки, которой они сумеют добиться; а главное, надлежит сообразоваться с тем, что наиболее выгодно на данном этапе. Пер предлагал построить здесь корабельную верфь, шлифовальную мастерскую и гигантскую фабрику, изготавливающую бочки под масло, ибо в настоящее время эту работу выполняют маленькие фабрики, разбросанные по всей стране, и сырьё для них доставляется сухопутным транспортом. Сумму издержек на строительство Пер определил в пять миллионов.

Пока Ивэн развивал эти перспективы перед отцом, лицо последнего принимало всё



более внимательное, можно даже сказать, ошеломлённое выражение. Однако, сын слишком затянул свою речь, поэтому отец через некоторое время прервал его.

— Ну, спасибо, мой друг... В следующий раз мы с тобой потолкуем подробнее. Позволь только задать тебе один вопрос. Как обстоит дело, говоря начистоту, с изобретениями, которые, по словам Сидениуса, ему принадлежат? Патент на них уже получен?

— Мы подавали заявления и здесь и за границей. Со дня на день я жду ответа из комиссии по выдаче патентов.

— Знаешь, Ивэн, мне кажется, вам следовало бы сперва уладить этот вопрос и только потом делать ваш проект достоянием гласности. Пока на руках у вас нет патента, ваше начинание не имеет под собой никакой почвы. Всё, о чём ты говорил, звучит весьма заманчиво, но ведь это не более как воздушные замки. А вот запатентованное изобретение — это уже нечто реальное, независимо от того, имеет оно какое-нибудь значение или нет.

Ивэн заложил руки за голову, откинулся на спинку стула и устремил безнадёжный взгляд в потолок.

— Значит, ты вообще ничего не понял, — сказал он. Затем снова наклонился к столу, положил руки на чертежи Пера, словно защищая их этим жестом от отца, и возвысил голос почти до крика.

— Да ведь фабрики для того и задуманы, чтобы показать значительность наших изобретений. А наличие фабрик в свою очередь потребует сооружения доков, мостов и жилищ для рабочих в устье реки. Всё это неразрывно связано между собой. Это и является самой сильной стороной плана.

— Нет, отчего же, друг мой, я тебя отлично понял. Но при закладке дома следует помнить одно хорошее правило: начинать надо с фундамента, а не с крыши. Никто вам не поверит, что такое огромное строительство затеяно лишь для того, чтобы испытать какой-то механизм... Главное сейчас — как-нибудь начать дело. Начинайте, а уж затем оно разрастётся само собой.

— Вот и всегда так! Как мне это знакомо! Если где-нибудь когда-нибудь рождалась поистине великая идея, её сперва непременно пытались задушить, прежде чем она завоёвывала себе признание. Нам с тобой не стоит больше даже говорить о плане. Ты просто не веришь в Сидениуса. Этим всё сказано.

— При чём тут верить или не верить? Дорогой Ивэн, ну что я понимаю в сооружении каналов и гаваней? И что ты смыслишь в ветряных мельницах? Я повторяю: вы взялись за дело не с того конца. Сначала вы совершили первую ошибку, смешав в одну кучу несвязуемые вещи; затем вторую, — не обзаведясь предварительно патентами. Если бы твой друг мог по меньшей мере сослаться из высказывания известных учёных, которые ознакомились с проектом, это было бы хоть какой-то гарантией его выполнимости. Но ожидать, что люди так прямо и уцепятся за проект никому не известного молодого человека... Это слишком наивно, сын мой.

— Честно говоря, не меньше наивно было бы рассчитывать на поддержку тех людей, по отношению к которым проект является прямым вызовом. Ведь Сидениус и выступает против нашего отечественного бюрократизма и волокиты, вся его книга — это обвинительный акт. И, наконец — могу тебе признаться — он уже давным-давно обращался к нашим так называемым «авторитетам», как к отдельным лицам, так и к официальным учреждениям, но повсюду встречал насмешки или, в лучшем случае, безразличие. Полковник Бьерреграв — ты его знаешь, он дядя Дюринга — посулил однажды опубликовать проект в журнале инженерного общества, но когда дошло до дела, он оробел. Все они на одну статью. Сидениус разоблачил их близорукость, поэтому они сплотились, чтобы уничтожить его. Я точно знаю, что они сходят с ума от злости.

— Так, так, значит вам прежде всего надо тем или иным путём преодолеть сопротивление... Ничего другого вам не останется. Может, твой приятель ещё раз попытает счастья у Бьерреграва, всё-таки Бьерреграв — человек очень влиятельный.

— Не выйдет. Во время разговора, о котором я тебе рассказывал, у них дошло до открытого столкновения, и Сидениус оскорбил полковника.

— Что ж, пусть тогда извинится. Вряд ли Бьерреграу страдает мстительностью.

— Извиняться? Сидениусу? Сразу видно, как мало ты его знаешь. С тем же успехом ты мог бы заставить извиняться русского царя.

— Ну попробуйте что-нибудь другое. Совсем без поддержки таких людей вам не обойтись, могу сказать заранее.

— Слушай, отец, чего ты, собственно, добиваешься? Во всём нашем разговоре нет ни капли смысла, если ты, конечно, нас не поддержишь. Я ведь тебе объяснял, что общее безразличие вызвано прежде всего твоим отношением к делу.

— Потому-то я и хотел с тобой поговорить. Я тебе прямо скажу, что моё отношение к вашей затее не изменилось и вряд ли изменится в будущем. Если бы ты не преклонялся так перед своим приятелем, ты бы и сам увидел, что я не имею права вовлекать нашу фирму в подобные авантюры... И уж во всяком случае не при теперешнем состоянии дел. Но я хочу предложить тебе другое: я предоставлю некоторую сумму в твоё распоряжение... Можешь действовать на свой страх и риск и от своего имени. Ты не раз заявлял, что стремишься к самостоятельной деятельности. Я по некоторым причинам считаю, что сейчас нам представился подходящий случай...

Ивэн прищурился и посмотрел на отца с нескрываемым подозрением. Во всех других отношениях отец и сын питали друг к другу полнейшее доверие, но в делах они не доверяли никому.

— Ты мне займы, что ли, предлагаешь? Или я должен буду возместить расходы фирме?

— Устраивайся, как тебе удобнее. Я предоставляю тебе полнейшую свободу. Что до меня, я жду, пока ты даёшь ход делу. И довольно разговоров, пора действовать.

— Но ты, надеюсь, отдаёшь себе отчёт, что маленькими суммами здесь не обойдёшься? Только чтобы начать, нам нужно несколько сот тысяч.

— Ну, хватит и меньше. И довольно на сегодня. Подумай о моём предложении. А завтра мы обсудим его уже конкретно.

\* \* \*

Дней десять спустя — в начале апреля — вернулась Якоба. После недели, проведенной у подруги в Бреславле, её вдруг неодолимо потянуло домой. Она приехала в страшную метель, и на другой день с самого утра заперлась у себя в комнате и села за письмо Перу.

«...И так, я снова дома и могу, наконец, написать тебе нормальное письмо. Ты, вероятно, уже получил два моих послания из Бреславля. Я предпочла бы, чтобы они не дошли до тебя, ибо меня смущает не только их сумбурная форма (приходилось писать тайком, по ночам, когда я, смертельно усталая, возвращалась из гостей или из театра), но и содержание, сводившееся к многочисленным жалобам, хотя на деле мне хотелось бесконечно и несказанно благодарить тебя, мой любимый, за всё, что мы пережили вместе. Неделя, проведенная в Бреславле, кажется мне каким-то туманным сном; иногда я спрашиваю себя: а точно ли я была в Бреславле? и испытываю даже угрызения совести перед подругой и её мужем, которые изо всех сил старались развлечь меня — приглашали гостей, таскали меня по театрам и концертам, даже на скачки, хотя я их терпеть не могу. Но мысли мои всё время были с тобой, я следовала за тобой в Дрезак и в Аусерхоф и заново переживала всё в прекрасных снах наяву.

Вчера вечером я, наконец, вернулась домой, и мне тут же преподнесли-новость, которая меня чрезвычайно огорчила, хотя я давно была готова к ней. Дело в том, что позавчера состоялась помолвка Нанни с Дюрингом. Я этим крайне недовольна. Дюринг и как журналист, и как человек всегда был мне крайне антипатичен, но сама Нанни, кажется, очень

довольна. Дюринг тоже влюблён сейчас со всем пылом, на какой он только способен. Когда я приехала, он сидел у наших, и ты себе представляешь, каково мне было видеть, что они расположились в кабинете, как когда-то мы с тобой, что они шепчутся там и смеются. Но не стоит предаваться мрачным мыслям. Придёт ещё и наше время. Меня утешает одно: всё-таки миновало уже девять суток с тех пор, как мы расстались, — целых девять суток из бог весть какого числа ночей и дней, которые ещё сменят друг друга, прежде чем я смогу снова обнять тебя.

Где-то ты сейчас? В Вене? Или в Будапеште? Я вижу тебя перед собой увы, даже слишком ясно вижу: ты в коричневой, дорожной куртке, у тебя всё те же чудные румяные щёки, и в мечтах я снова и снова целую их. Я опять видела во сне большой лес возле Лаугендаля. Мне никогда не забыть ни одной минуты из того дивного долгого дня, который мы провели там. Помнишь ли ты птицу, что пела над нашими головами? А отдых у родника, где ты (ты сам так сказал) испил из моих ладоней отпущение былых грехов?.. Но об этом больше ни слова.

Вообще же я рада, что снова вернулась домой и сижу у себя в комнате, окруженная твоими портретами и другими вещами, которые напоминают мне о тебе и которых мне так недоставало в Бреславле. Отныне они вместе с нашими книгами будут мне утешением и прибежищем в моём одиночестве. Попробуй угадать, за какую книгу я взялась прежде всего? За «Краткий курс гидростатики» Паульсена. Ты, верно, помнишь, что ещё зимой по твоему совету я прочитала паульсеновскую «Динамику» и пришла в восторг от его замечательной ясности. Он и в самом деле подлинный поэт, он, по существу, единственный лирик нашего времени. Некоторые страницы, посвященные ускорению, взволновали меня не меньше, чем некогда философские стихи Гёте.

У меня сложилось впечатление, что здесь готовятся какие-то события, касающиеся тебя. Уже вчера Ивэн успел мне шепнуть несколько загадочных слов о «создании акционерного общества», а сегодня, когда я спустилась к чаю, он весьма таинственно прошествовал мимо с роскошным новым портфелем под мышкой. Как только я смогу разузнать ещё что-нибудь, я немедленно сообщу тебе.

Других новостей у меня пока нет. Отец и мать приветливы, как обычно, хотя можно догадаться, что они не в восторге от нашей с тобой встречи. Но это уж их дело. Сегодня очень ласковое солнышко и поют птицы; а ещё вчера всё было совсем по-зимнему, я приехала в страшную метель, какие весной бывают только у нас на севере. На мгновение я даже испугалась, что наш поезд застрянет в сугробах и мне опять придётся провести ночь в деревенском кабачке, но теперь уже без тебя.

Не буду утомлять тебя подробным описанием поездки. Расскажу тебе только об одном дорожном происшествии. Я, конечно, понимаю, насколько незначительно оно само по себе, но после того как я заранее призналась в этом, ты ведь не станешь смеяться над моей болтливостью. Я когда-то рассказывала тебе про сцену на берлинском вокзале, свидетельницей которой я случайно оказалась несколько лет тому назад. Она совершенно потрясла меня, и следы её до сих пор не изгладились из моей памяти. Я имею в виду ужасный приём, оказанный русским евреям — трудолюбивым и достойным людям, которые только из-за своего происхождения были лишены родины и крова, а до того ограблены и ошельмованы или даже изувечены. Их гнали, словно транспорт со скотом, под полицейским надзором, а чернь осыпала их насмешками. Так проехали они через цивилизованную Европу, чтобы искать убежища в полудиких прериях Америки. Ты, верно, помнишь, как я об этом рассказывала.

Так вот, во время теперешней поездки, и опять на берлинском вокзале, мне снова напомнили, что я принадлежу к тому же племени осужденных на вечное изгнание. Я сидела в купе ещё с одной дамой, поезд должен был вот-вот отправиться, но вдруг дверь отворилась, и вошёл какой-то пожилой господин в сопровождении молодого офицера. Как только он увидел моё злосчастное лицо, он тут же выскочил из купе, за ним с угодливым смешком последовал офицер. Проводнику, который хотел закрыть за ними дверь, он громко,

так, чтобы я слышала, объяснил: «Здесь ужасно воняет чесноком!»

Вот, собственно, и всё, и ты, конечно, спросишь, чего ради я непременно хотела тебе об этом рассказать. Пойми же, здесь интересен не столько сам факт, сколько моё отношение к нему. До сих пор оно вызывает у меня своего рода благоговейное удивление. Дело в том, что сколько-нибудь серьёзного впечатления на меня это не произвело. Я лишь слегка расстроилась. Когда ехавшая в том же купе дама после ухода мужчин попыталась завязать со мной беседу, явно затем, чтобы заставить меня позабыть о нанесённом мне оскорблении, я не только не оборвала её, как наверняка сделала бы в прежние годы, но даже пустилась мило болтать как ни в чём не бывало.

Теперь ты понял? Я, которую уже в детстве называли непримиримой, не сумела толком рассердиться. Так на меня повлияло счастье. Слепое и неразумное человечество не вызывает у меня теперь других чувств, кроме бесконечного сострадания, кроме беспредельного всепрощения.

Боже, я начала уже третий лист, а мне всё кажется, что я так и не сказала главного из того, чем полно сердце. Всё равно на сегодня хватит. Я просто не имею права больше отнимать у тебя время, оно нужно тебе самому. Но мне трудно расстаться с тобой. Я знаю, какая пустота возникнет во мне, когда я запечатаю письмо. Ещё один последний поцелуй, и ещё один, самый последний. До свидания».

\* \* \*

Лишь через несколько недель после разговора с отцом Ивэну удалось наконец устроить встречу нескольких финансистов у известного адвоката Макса Бернарда, которого он уже пытался прежде — хотя и безуспешно — склонить на сторону Пера. Адвокат согласился собрать у себя кое-кого из своих деловых знакомых, чтобы дать Ивэну возможность познакомить их с проектом Пера и затем обсудить способы его осуществления.

Невзирая на свои неполные сорок лет и еврейское происхождение, Макс Берnard пользовался уже значительным влиянием в столице. Помимо других заслуг, за ним числилась и следующая: он сыграл роль инициатора в объединении решительных и дерзких предпринимателей, которые за последние десять лет снесли с лица земли старый Копенгаген и отстроили заново, превратив его тем самым из провинциального городишки в большой город европейского масштаба. На этом поприще Берnard успел нажить себе много врагов, но даже враги признавали, что он блестящий делец, что у него замечательно быстрый ум, который не имеет себе равных ни по способности к логическому мышлению, ни по объёму познаний в области юриспруденции и коммерции. Зато друзья его так же без споров соглашались, что у Макса пустое место там, где полагается быть совести, и что он способен хладнокровно поступиться любыми высокими побуждениями ради своих личных выгод.

Всякий раз, когда граждане Дании, взволнованные каким-нибудь очередным крупным банкротством, крахом акционерного общества или самоубийством неудачливого дельца, поднимали голос протеста против духа нового времени, всеобщее возмущение обычно изливалось на Макса Бернарда. Для толпы он был олицетворением общеевропейского падения нравов, поскольку все были убеждены, что за последнее время основной причиной этого падения стало еврейское себялюбие.

Но Берnard был не из тех, кого беспокоит, что о них подумают другие. Напротив, он испытывал даже своего рода удовольствие, видя, с каким испуганным любопытством смотрят на него люди, а особенно женщины, когда он в обычные часы идёт к себе в контору или возвращается из неё. Все с первого взгляда узнавали эту маленькую своеобразную фигурку, изображение которой не сходило со страниц юмористических журналов. Он всегда очень изысканно одевался, ходил чуть наклонившись вперёд, зябко засунув руки в карманы сюртука, и из-под опущенных век разглядывал прохожих угасшим, холодным взглядом.

На деле он был не совсем таким, каким хотел казаться. Люди, знавшие его с детства,

помнили тихого, замкнутого, чуть печального мальчика, вечно сидевшего над книгами; он сторонился своих приятелей, опасаясь обид и каверз, которых он в любую минуту мог ожидать и из-за своей национальности, и из-за маленького роста. Отец его, державший мелочную лавочку в одном из копенгагенских переулков, был недоволен сыном, потому что ради чтения тот пренебрегал торговлей.

Шестнадцать лет от роду Макс отлично сдал приёмные экзамены и поступил на юридический факультет. В те годы он собирался пойти по чиновной части. Он хотел стать судьёй. Преследования, испытанные в детстве, пробудили страсть к справедливости. Красная бархатная мантия Верховного судьи очень рано стала пределом честолюбивых мечтаний мальчика.

Но потом ему намекнули, что, как нехристианин, он не может рассчитывать на судейскую карьеру. То есть прямых указаний на этот счёт нет, но практически его мечта неосуществима. И хотя в конституции сказано, что все граждане наделены равными правами, до сих пор ещё не было случая, чтобы еврей в Дании сделался судьёй.

Став кандидатом прав, он не раз наблюдал, как то один, то другой из его бездарных, но белокурых однокашников легко вступает на путь славы, признания и почестей, а для него не остаётся другого выхода, кроме ненавистной ему коммерции. Чисто семитское чувство собственного достоинства, эта продиктованная гордыней боязнь стать предметом жалости постепенно помогла ему выработать внешнее самообладание. Бывая на людях, он уже в те времена надевал маску холодного, насмешливого европейца, но сердце у него колотилось взволнованно, как у девушки, выехавшей на свой первый бал.

И потому никого не удивило, когда он, получив звание адвоката, немедленно пустился в целый ряд самых рискованных авантур. Учреждение строительных контор и организация акционерных обществ стали его специальностью, и он сразу же вызвал лютую ненависть своих коллег, прибегая к средствам, которые до сих пор считались недозволенными в юридическом мире. Так, например, он по иноземному образцу установил тесный контакт с прессой. Подкупая репортёров и привлекая на свою сторону редакторов и издателей путём предоставления им хорошо оплачиваемых должностей ревизоров или управляющих в многочисленных акционерных обществах, он постепенно сплотил вокруг себя тайный штаб заинтересованных соучастников, с помощью которых обрабатывал общественное мнение и беспощадно преследовал своих противников.

Не прошло и десяти лет, как он стал одним из крупнейших налогоплательщиков города и одним из властелинов датской столицы. Отшумев сколько положено по поводу его недозволенных методов, деловой мир принуждён был склониться перед его талантами, а главное — перед непостижимой удачей, которая сопутствовала почти всем его начинаниям. Если сбросить со счетов несколько старейших, наиболее аристократических торговых домов да ещё один-единственный банк, упорно не желавший вести с ним дела, никто не осмеливался больше противиться его изо дня в день растущему могуществу.

Не надо, однако, думать, что Бернард на этом успокоился и что честолюбие его было удовлетворено. Если раньше он мечтал лишь о сравнительно скромном бытии члена коллегии Верховного суда, то теперь у него появились цели несравненно более грандиозные. Несправедливость только закалила маленького, забитого мальчугана, наделила его волей вождя, вдохнула в него ненасытную жажду власти. Он отчётливо сознавал, что из-за своей национальности никогда не займёт ни одного из тех высоких постов, что казались ему теперь единственно достойными борьбы. Зато в большом штабе приверженцев, которых он с течением времени сумел сплотить вокруг себя и сделать послушными исполнителями своей воли, многие уже достигли постов весьма значительных, — а план его в том и заключался, чтобы хоть через них сосредоточить всю власть в своих руках.

Не удивительно поэтому, что Ивэн изо всех сил старался склонить Бернарда на сторону Пера и что теперь, когда это в общем и целом удалось, считал окончательную победу делом почти решённым.

В числе семи господ, собравшихся по приглашению Макса Бернарда для того, чтобы



обсудить план, был некий банкир Герлов — личный друг и верный соратник Макса, крупный, плотный мужчина. На первый взгляд он казался каким-то вялым и сонным, хотя по части предприимчивости мало чем уступал своему компаньону, а находчивостью и хитростью значительно превосходил его. Биржевики называли Герлова мозгом Макса Бернарда. Именно он выдвигал новые идеи и с разумной осторожностью разрабатывал планы всех общих начинаний, тогда как Макс олицетворял ту негибкую и мужественную силу, которая потребна была для осуществления планов.

Что до личных интересов, то здесь между ними не было ровным счётом ничего общего, но именно потому они так превосходно сработались. Банкир отнюдь не страдал честолюбием. В отличие от Макса Бернарда, который стремился только к власти, он не знал другой цели, кроме наживы, других желаний, кроме желания копить и копить. Он даже не представлял себе, куда ему девать такую уйму денег. Женат он не был, страстишку имел лишь одну и весьма недорогую: забраться после дневных трудов в отдельный кабинет роскошного ресторана и в полном уединении, окружив себя газетами, уничтожить обед из семи-восьми блюд, запивая его, здоровья ради, обыкновенной водой.

Теперь он стоял в большом, прекрасно обставленном кабинете Макса Бернарда, по-бычьему наклонив голову и заложив руки под фалды сюртука; казалось, будто он спит на ходу, — настолько тупыми были глаза, что прятались за стёклами очков. Он говорил с одним из приглашенных. Это был броско разодетый франт, молодой и белокурый, которого хорошо знали все копенгагенские театралы и жители Эстергаде, где он фигурировал под именем «Золочёные рожки». Вообще-то его звали Сивертсен, и он был единственным сыном известного в своё время торговца колониальными товарами. После смерти отца он стал двадцати семи лет от роду обладателем изрядного состояния. Он принадлежал к числу самых одержимых театралов, говорил только о распределении ролей, закулисных интригах и театральной критике. Он был другом Дюринга и, по его словам, «восхищался Дюрингом как джентльменом и как журналистом». Дюринг в своё время свёл его с Максом Бернардом. Понадобилось не много времени для того, чтобы Сивертсен сделался верным рабом Бернарда. Последний по своему усмотрению начал распоряжаться его миллионами, но отнюдь не во вред юному лоботрясу, чья страсть к театру всё равно рано или поздно разорила бы его, ибо он вечно платил чистоганом за высокую честь называть своим приятелем или приятельницей кого-нибудь из питомцев сцены.

В числе приглашённых был далее господин Нэррехаве, чьё имя также неоднократно встречалось среди имён деловых гостей Макса Бернарда. Сам он называл себя «бывшим землевладельцем», и действительно, у него когда-то была собственная усадьба в Ютландии, но с тех пор минуло добрых двадцать лет, и он уже давно вёл весьма беспокойное существование в столице: начал как держатель ссудной кассы и старьёвщик, затем стал маклером по продаже домов и прочей недвижимости и, наконец, перешёл к спекуляции крупного масштаба и сделался заправским капиталистом.

Поначалу он именовался Массен, но, сменив подвальную лавочку на контору, он заодно сменил и фамилию. Зато звание землевладельца, внушающее доверие клиентам, он сохранил вкупе с раскатистым ютландским «р», которое копенгагенцы воспринимали как свидетельство чистосердечия и благонадёжности. Макс Бернард называл его самым пронырливым плутом во всей Дании.

После того как собравшиеся уселись за стол, где уже лежали чертежи и расчёты Пера, Ивэн тотчас получил слово. Публика с благосклонным вниманием слушала кропотливо, до последней мелочи продуманный доклад, во всяком случае первые полчаса. Потом внимание рассеялось, и отставной землевладелец с чисто деревенской бесцеремонностью несколько раз поглядел на часы.

Когда Ивэн довёл свою речь до конца, воцарилось долгое молчание. Все головы повернулись к Макс Бернарду, но тот пока сохранял выжидательную позицию.

Наконец слово взял Герлов, он задал Ивэну ряд вопросов, и мало-помалу разговор стал общим.

Выяснилось, что все присутствующие — так же как и Филипп Саломон считали необходимым заручиться по этому вопросу мнением признанных авторитетов, — чтобы иметь возможность сослаться на него перед лицом общественности. В этой связи было названо несколько имён, и наконец остановились на имени инженер-полковника Бьерреграва, чьё слово в таких делах имело огромный вес.

С великим пылом Ивэн повторил всё то, что он уже выкладывал отцу: неразумно рассчитывать на поддержку со стороны людей, которые и не без оснований — сочтут проект Пера прямым выпадом по своему адресу. А насчёт полковника Бьерреграва он знает совершенно точно, что тот из чисто личных соображений выскажется и против плана, и против его автора.

На это банкир Герлов ответил только, что Бьерреграву, буде они порешат создать акционерное общество, следует предложить место в правлении и что, поскольку все места в правлении должны неплохо оплачиваться, некоторую личную неприязнь удастся легко преодолеть.

— Если более серьёзных затруднений не предвидится, — сухо заключил он, — тогда можно считать дело улаженным.

Электрические машины Пера и прочие изобретения, которые Ивэн назвал эпохальными, не внушили собравшимся никакого доверия. В отличие от Филиппа Саломона, тут главным образом интересовались проектом гавани, и весь вопрос сводился к тому, удастся ли убедить широкую публику, что остров Лангли — самое подходящее место для создания открытого порта. Макс Бернард без обиняков заявил, что только эта часть проекта нуждается в обсуждении. Зато он решительно выступил против тех, кто высказался за дальнейшее сокращение плана, чтобы сделать его более реальным.

— Дальнейшее сокращение было бы равносильно убийству, — сказал он. — Я, со своей стороны, твёрдо убеждён, что проект открытого порта следует осуществить в полном объёме... Это общее дело нации, к которому необходимо привлечь симпатии всего народа, как справедливо выразился господин Саломон... иначе можно с самого начала поставить крест на всей затее.

Ивэн просто диву давался. Зная, что Бернард долго и упорно отказывался ввязываться в эту историю, он даже мечтать не мог о такой безоговорочной поддержке. Да и остальных тоже изумил необычный пыл, с каким Макс Бернард высказался по поводу проекта, на их взгляд крайне сомнительного.

Была здесь, разумеется, тайная подоплёка, объяснявшая, с чего это вдруг Макс Бернард и банкир Герлов воспылали интересом к проекту Пера. Они пронюхали, что один из крупнейших банков, с правлением которого у них шла непрерывная война, тоже собирается финансировать сооружение открытого порта, но не в Ютландии, а в Копенгагене. И приятели просто-напросто задумали обскакать своих соперников, пустив в ход уже разработанный до мелочей план Пера, по поводу которого, не теряя времени, можно было открыть дискуссию в печати. Впрочем, они не надеялись привлечь на свою сторону деловой мир; проект Сидениуса должен был сыграть роль взрывчатки и расколоть на два лагеря сторонников создания открытого порта, ибо интерес к этому мероприятию уже бесспорно существовал среди населения, и противники Макса Бернарда надеялись всецело завоевать его.

После дополнительных переговоров собравшиеся порешили не предпринимать никаких действий до тех пор, пока Бьерреграву не предложат войти в состав правления общества. По получении согласия следует немедленно назначить вторую встречу, чтобы уже вместе с Бьеррегравом продумать, с какого конца приниматься за дело.

\* \* \*

Пер тем временем прибыл в Вену. Недели две он провёл в болотистой дельте Дуная, чтобы ознакомиться с ходом грандиозных работ по регулировке русла и сооружению гавани.

Он разъезжал то верхом, то в лодке, то на разболтанном плоту, разъезжал в любую погоду и зачастую не знал, где ему приклонить голову на ночь. Непривычные тяготы походной жизни вконец измотали его. На другой день после приезда он уже сидел в летнем кафе и мечтал найти собеседника, с которым можно потолковать не только о забивании свай или землечерпалках. С тех пор как уехала Якоба, он, кроме инженеров, никого не видел. Но это была не та, хорошо знакомая ему порода всесторонне образованных инженеров отечественной выпечки, а знатоки техники, порождённые законами конкуренции, люди исключительно компетентные во всём, что непосредственно относится к их узкой специальности, но зато ничего не смыслящие во всех остальных вопросах и лишённые других интересов, кроме тех, которые касались борьбы за существование и их собственного благополучия.

На Дунае отношения с коллегами сложились точно так же, как зимой в Дрезде, где жили три невозмутимых англичанина, любители виски; ни с теми, ни с другими он никак не мог заговорить ни об одном из великих вопросов, занимавших его в ту пору. Среди таких людей он всегда чувствовал себя чужим. Пусть он восхищался их преданностью своему делу, их толковостью, их верой в свои силы, пусть они казались ему образцами, достойными подражания, — всё равно в глубине души он испытывал сострадание к людям, чьи запросы и чаяния никогда не поднимались выше, чем дым их сигар.

Теперь он сидел на террасе кафе с газетой в руках. Пока мысли его уносились к Якобе, отсутствие которой он особенно остро ощущал в этом большом и чужом городе, он, по старой привычке, бездумно пробежал глазами списки вновь прибывших в венские отели — нет ли кого из Дании — и вдруг вздрогнул, наткнувшись на имя баронессы фон Берндт-Адлерсборг.

За минувшую зиму он успел начисто позабыть о ней. Все его теперешние помыслы были так далеки от внешнего блеска и величия, что он уже не помнил, как искуситель дядя Генрих перед поездкой уговаривал его использовать благосклонность несчастной старухи и сделаться бароном.

Но, истосковавшись по людям, которые говорят о простых человеческих делах и вдобавок на его родном языке, он решил навестить баронессу. Она остановилась в одном из самых фешенебельных отелей Вены вместе со своей сестрой, гофегермейстершей фон Пранген. Обе дамы прибыли сюда несколько дней тому назад, проездом в Италию.

Почти годичный курс лечения в немецком санатории явно не принёс большой пользы баронессе. Правда, багровый румянец на её лице несколько поблек, она теперь лучше владела своей мимикой, и руки у неё тоже стали спокойнее, но в разговоре она по-прежнему перескакивала с пятого на десятое, да и умственные способности её не внушали доверия. Столь же неизменной пребыла и её любовь к Перу. Увидев его, она так обрадовалась, что чуть не бросилась ему на шею, и несколько раз во время разговора хватала его руку, чтобы выразить благодарность за визит.

О своём пребывании в санатории старушка не упоминала. Она только сказала, что её «дорогая сестричка» взяла её оттуда и что они собираются в Рим, чтобы — это говорилось таинственным шепотом, когда гофегермейстерша вышла из комнаты, — чтобы добиться аудиенции у папы.

Баронесса тут же начала уговаривать его составить им компанию, а узнав о его намерении завтра же выехать в Париж, она так захныкала, что ему пришлось пообещать ей провести в Вене ещё с неделю, пока они будут здесь.

В тот же день, после обеда, он отправился сопровождать дам на прогулку в Пратер.

В письме к Якобе, где говорилось об этой встрече, он так описывал гофегермейстершу Пранген:

«Сестра баронессы — видная дама, большого роста и соответственной толщины. Лет ей около пятидесяти. В молодости бесспорно была очень хороша собой. До сих пор сохранила сверкающие глаза. По натуре своей более сдержанна, чем баронесса, и не так болтлива. Набожна до чрезвычайности. Вчера мы имели с ней продолжительную и дружественную

беседу о бессмертии души. Сдаётся мне, что она хочет обратить меня в свою веру. Ну что ж, я с удовольствием приму вызов. Она, очевидно, много пережила и передумала и, невзирая на всю свою набожность, не кажется ханжой. Короче говоря, знакомство очень интересное...» Это письмо вызвало у Якобы смутное беспокойство. Она поспешила с ответом, где, впрочем, ни единым словом не обмолвилась ни о гофегермейстерше, ни о её сестре.

«Одно только огорчает меня, когда я думаю о нашей встрече в Дрезде: мы так и не переговорили с тобой обо всём, что занимало и тревожило тебя зимой, после смерти отца. Но дни были слишком коротки, время летело, как птица, и любовь требовала своего. Ты, быть может, скажешь, что здесь и говорить не о чём, что просто одиночество несколько расшатало твои нервы, да пожалуй, так оно и есть. Но все же мы должны теперь (не правда ли?) во всём доверять друг другу, и ты больше не станешь скрывать от меня того, что тебя волнует. Обещай мне это!

У нас здесь начался очередной разгул религиозного фанатизма и нетерпимости. Я, верно, уже писала тебе, что из Германии возвратился Натан, и это событие, как мне кажется, вызвало самую неподдельную панику в христианском стане. В эти дни используется любая возможность обрушить громы и молнии на новое время и апостолов его. Как раз вчера я прочитала в «Берлингске тиденде» статью на три столбца, представляющую собой краткое изложение надгробного слова, произнесенного каким-то настоятелем собора в копенгагенской Церкви богородицы на похоронах некоего советника. Мне даже захотелось послать эту статью тебе. Я в жизни своей не читала ничего более глупого и наглого. Разумеется, святой отец принялся расточать соболезнования по адресу тех «несчастликих», кто лишён надежды на вечное блаженство, тех, для кого смерть есть лишь врата ужаса в бездонное ничто. И попутно — неизбежное, восторженное прославление веры, без которой «жизнь была бы поистине невыносимой». Интересно, откуда он это знает? На себе испытал, что ли? Мой старый дядя Филипп любил говорить, будто он, как и печка, считает, что жизнь это огонь, дым и треск и что «выше трубы ровным счётом ничего нет». Невзирая на это, он был до глубокой старости счастлив и весел. Когда он уже лежал на смертном одре и врачи никак не могли понять, что с ним такое, он насмеялся над ними и утверждал, будто его страшно удручает невозможность узнать, от чего же он, собственно, умрёт. Это не единственный пример. И в нашей собственной семье, и среди моих знакомых я знала очень много неверующих; тем не менее они сумели так гордо и покойно отойти в вечность, что любой настоятель может им только позавидовать. Я часто думаю, что безмерный ужас смерти, выросший первоначально из учения о Страшном суде, не меньше обязан своим происхождением и тому обстоятельству, что христианство, в отличие от других ведущих религий, возникло и развивалось в среде простого и к тому же угнетённого народа. Между страхом смерти и рабским смирением должна существовать связь. Я никогда не забуду того впечатления, которое однажды произвели на меня в немецком музее гипсовые слепки с трупов, найденных при раскопках Помпеи. Были среди них господин и его раб: обоих, очевидно, засыпало горячим пеплом, и они мучились несколько минут, прежде чем задохнуться. Но какая разница в выражении лиц! На лице раба дикий ужас, он опрокинулся на спину, безумно выкатились глаза, брови взметнулись почти до корней волос, толстые губы разорваны воплем, — я живо представила себе, как он кричит, словно недорезанная свинья. Зато другой даже в смерти сохранил царственное величие: глаза закрыты, на красивых, плотно сжатых губах — печать гордого и прекрасного смирения перед неизбежным.

Вот, по-моему, самое серьёзное обвинение против христианства и христианской веры в бессмертии души: оно отнимает у жизни её сокровенный смысл и тем самым лишает её всякой красоты. Если воспринимать наше пребывание на этой земле только как генеральную репетицию перед собственно представлением — куда денется радость жизни? Даже не будь я совершенно убеждена в том, что великий и возвышенный итог всякого бытия есть уничтожение и что человека, богатого духом, узнают именно по тому, насколько охотно он мирится с подобной, проникнутой самоотречением мыслью и насколько способен



воспринимать смерть как гармоническое завершение жизни, не будь я убеждена, что таким путём мы только возвращаем матери-природе те силы, которые до поры до времени бродили в нашем теле, и что христианские мечты о бессмертии и вечном блаженстве являются лишь переделкой наивных верований первобытных народов в загробные торжества, охотничьи и военные, — я бы... постой, что я, собственно, хотела сказать?.. Прости меня, но закончить мне придётся в другой раз. Хотя нет, вспомнила. Я просто хотела сказать, что если бы даже я не считала смерть абсолютным самоотречением, полнейшей отдачей человеческого существа природе и нерасторжимым воссоединением человека с окружающим миром, то и тогда я не желала бы узнать, что станет со мной, когда я покину эту землю и всё, что любила на этой земле. Господи, да ведь никто из нас не смеет и помыслить о том, чтобы провидеть своё земное будущее; боле того, мы радуемся, что извечная мудрость скрыла от нас наши грядущие судьбы. Знай люди хотя бы с некоторой достоверностью, что их ожидает — пусть это будет даже счастье, — тогда жизнь действительно «стала бы невыносимой». То же самое и, конечно, ещё в большей степени относится к «вечной» жизни.

Ах, уж это мне неистребимое богословие! Ещё одно «наследие отцов» эти слова у нас стали знаменем для всех врагов культуры. Как печально, как унижительно, как невыносимо, наконец, что до сих пор надо бороться, надо тратить время и силы на решение простейших вопросов бытия. Неужели до сих пор непонятно, что именно «унаследованное» все мы вместе — христиане и иудеи — должны побороть в себе, хотя бы по той простой причине, что наследование есть дело случая, что мы отлично могли унаследовать что-нибудь другое, что-нибудь совершенно противоположное? До каких пор это будет продолжаться, сколько вреда мы, люди, ещё принесём друг другу, прежде чем догадаемся и сделаем своей единственной религией, единственной заслуживающей доверия догмой твёрдое убеждение в том, что не случайное, не частное, а именно общечеловеческое в нас помогает нам строить не только свою собственную жизнь, но и жизнь наций!..»

\* \* \*

На совещании у Макса Бернарда Ивэну было поручено лично переговорить с полковником Бьеррегравом и попытаться развеять предубеждение последнего как против самого проекта, так и против его молодого автора, предложив Бьерреграву место в правлении общества.

Ивэн не пришёл в восторг от этой дипломатической миссии. Правда, когда речь шла о защите интересов Пера, он не страдал недостатком напористости и несколько раз позволил, образно выражаясь, спустить себя с лестницы ради друга, но старый полковник, неизвестно почему, внушал ему почтение. Ивэн и сам нередко встречал на улице этого маленького человечка с апоплексическим румянцем, и вдобавок немало наслышался о его вспыльчивом и бесцеремонном характере. Дюринг — родной племянник Бьерреграва — с улыбкой рассказывал, что дядя до сих пор приходит в бешенство, едва слышит имя Пера.

Ивэн поделился своими сомнениями с дядей Генрихом, который обычно помогал ему советом при всяких щекотливых okazиях; на сей раз, хотя и после длительных пререканий, он тоже согласился протянуть ему руку помощи.

— Посмотрим, посмотрим, что тут можно сделать. Ваш Бьерреграв мне несколько знаком. Я ему оказывал кой-какие услуги. Стоит мне только намекнуть, и он будет ваш. Чего вам ещё надо?

В этой похвальбе была доля правды: дядя Генрих действительно имел весьма своеобразные связи с Бьеррегравом. Сей мнимый набоб, — хотя он ни за что не признался бы в этом и хотя его родня ничего не подозревала, — занимался втихомолку комиссионной деятельностью, которая служила одним из источников его доходов. В частности, он подвизался на должности агента одной английской фирмы по прокату чугунных и стальных балок и в этом качестве раза два в год является к полковнику с преискурантом фирмы.



Через несколько дней после беседы с Ивэном он снова навестил своего клиента. Прождав чуть не полчаса в передней, он, наконец, получил разрешение войти и застал полковника сильно раскрасневшимся после завтрака и в чрезвычайно приподнятом настроении.

Старый вояка без всякого стеснения ухмыльнулся, завидев маленького, уродливого еврея в серых гетрах, при цилиндре и с парой перчаток в поднятой для приветствия руке, — так на провинциальной сцене принято изображать аристократов.

— Вы опять тут? — С этими словами полковник уселся за свой письменный стол, не предложив, однако, сесть своему гостю. — Ну-с, как делишки, любезнейший изгнанник?

Господин Дельфт вооружился голубоватым моноклем и захихикал, как бы от восхищения. Он чутьём угадал, что атмосфера для переговоров самая подходящая, и был достаточно умён, чтобы не корчить из себя обиженного.

Действительно, после короткой беседы ему удалось вырвать у полковника очередной заказ.

Затем он взял свои бумаги, словно собираясь уходить, надел цилиндр, взмахнул перчатками и вдруг, склонив набок аккуратно причёсанную голову старого шимпанзе, сказал с улыбкой:

— Господин полковник разрешит мне задать один весьма щекотливый вопрос?

— Какой ещё вопрос?

— Приходилось ли уже господину полковнику слышать о большом общенациональном мероприятии, которое как раз вентилируется?

— Ничего я не слышал.

— Так-таки ничего?

— У меня хватает своих дел... я держусь в стороне от всяких авантюр, как вам известно.

Господин Дельфт улыбнулся самым коварным образом. Сделка заключена, пришла пора рассчитываться с полковником за «изгнанника».

— Ах да-да! — он покачал завитой головой. — Времена изменились. Теперь на сцену выходит молодёжь. Старых, испытанных бойцов отшвыривают в сторону... с ними уже никто не желает считаться. Слово принадлежит молодым!..

— Что вы этим хотите сказать? — нетерпеливо перебил полковник с металлическими нотками в голосе.

— Я говорю о грандиозном проекте открытого порта. Проект разработан очень молодым человеком, совсем ещё юношей. Зовут его Сидениус.

— Ах, это тот крикун! — сказал полковник. — Его-то я как раз случайно знаю. В своё время он всех нас обегал со своим «общенациональным начинанием». Люди просто рехнулись, им не терпится поскорее спихнуть куда попало свои гроши; но вряд ли кто-нибудь станет принимать всерьёз фантазии глупого мальчишки.

— Что до презренного металла, то его уже более чем достаточно. Я это знаю наверняка.

— Что вы говорите?

— Дело уже улажено. Ждут только санкции законодательных органов. Вы совершенно правы, господин полковник. Датским денежкам не сидится на месте, они пустились в пляс, и теперь их уже не остановишь, пока не перестанет играть музыка. А помимо того, у господина Сидениуса крупные связи в финансовом мире.

Полковник не ответил. Он нахмурил свои кустистые брови, вся краска со щёк отхлынула к глазам, и они налились кровью, как у быка.

— Значит, правду говорят, что этот несовершеннолетний нахал помолвлен с дочерью Филиппа Саломона? Уж вы-то, Дельфт, должны это знать. Ведь господин Саломон ваш зять.

— О господин полковник! Мои уста немы.

Там, где дело идёт о таинствах любви, моя агентура не работает.

Полковник рассмеялся.

— Да вы просто дипломат!.. Впрочем, какое мне дело. Если людям не терпится

швырнуть свои деньги в воду — пожалуйста. Грешно было бы лишать их такого удовольствия. Приятного аппетита, господа. В заливе Ертинг хватит места для многих тонн золота.

— Ах, как это все справедливо, господин полковник!

— Я лично не желаю вмешиваться в подобные аферы. Я и слушать об этом не желаю. Всего наилучшего, господин Дельфт.

— Честь имею, — ответил маленький еврей с почтительнейшим поклоном.

Полковник остался сидеть за столом, усиленно теребя усы. Подобные новости вызывали у апоплексического старца настоящее бешенство. Некогда, полный молодого задора, он тоже пытался бросить вызов национальной спячке и стать вождём и первооткрывателем в своей сфере, но со временем превратился в самого ожесточённого противника всяческих новшеств. Подобно большинству либералов старой формации, он ненавидел молодых, удачливых новаторов и остро завидовал им, а по отношению к Перу его ненависть приняла характер мании. Одна мысль о том, что всё, чего не сумел добиться он сам, удастся этому неотёсанному мужлану, который осмелился издеваться над ним в его собственном доме, совершенно выводила полковника из себя, тем сильнее, что в глубине души он признавал и выдающиеся способности и беззаветную решимость Пера — свойства, коими природа обделила его самого. В комбинированном проекте открытого порта и канала Бьерреграва улавливал гениальную, пусть и не разработанную до конца идею, которая при умелом подходе могла иметь огромное значение для будущего страны; и если он тем не менее пускал в ход всё своё влияние, лишь бы воспрепятствовать успеху проекта, то потому, что (подобно прочим либералам старой формации) считал или старался из чувства самозащиты убедить себя, будто он борется с новыми веяниями, грозящими развратить народ и уничтожить древние обычаи.

С незапамятных времён за ним упрочилась слава человека, лишённого предрассудков и свободомыслящего, — именно потому и Филипп Саломон и Макс Бернард сразу вспомнили про Бьерреграва, едва лишь речь зашла о том, чтобы найти лицо, достаточно компетентное и в то же время способное поддержать своим именем идеи Пера. К тому же было известно, что Бьерреграва весьма тщеславен и любит деньги, а такому человеку тяжело оставаться посторонним свидетелем, когда на его глазах новым людям удаётся одно начинание за другим, принося им богатство и славу, в то время как его собственное имя всё больше и больше предаётся забвению.

На другой день господин Дельфт нанёс Бьерреграву вторичный визит. Полковнику понадобились некоторые объяснения по поводу размеров стальных рельс, и Дельфт нарочно сослался на отсутствие необходимых таблиц, чтобы под этим предлогом снова прийти к Бьерреграву.

Как и следовало ожидать, полковник сразу завёл речь о проекте и поинтересовался, какие биржевики и финансовые учреждения поддерживают Пера. Господин Дельфт сперва сделал вид, что не понимает вопроса. Потом с улыбкой покачал головой и сказал:

— Ах, господин полковник имеет в виду пресловутый проект Сидениуса? Мне он особого доверия не внушает. Это мертворождённый проект.

— Как на чей взгляд! Но послушайте: не вы ли сами на этом же самом месте рассказывали мне вчера, что автор заручился солидной поддержкой и что вам это совершенно точно известно?

— Припомните, господин полковник, я говорил только о финансовой поддержке. И абсолютно определённо заявил, что теперь дело за одобрением со стороны государства. А такого одобрения им не получить.

— Почему же нет? Если деньги действительно есть, чего ради станет государство возражать?

Господин Дельфт втянул голову в плечи и завертелся, словно от сильного смущения.

— Я думаю, господин полковник поймёт меня и без слов.

— Ну, что там ещё? Что за дьявольская таинственность? О чём вы говорите?

Господин Дельфт ничего не ответил и несколько раз покачал головой. В эту минуту он действительно смахивал на дрессированную обезьяну.

— Ну, выкладывайте же! — рявкнул Бьерреграв.

— Видите ли, господин полковник... Я просто думал... правительство не рискнёт... вот в чём дело.

— Не рискнёт? Почему не рискнёт? Ни черта не понимаю.

— Мне не хотелось бы отнимать время у господина полковника. Разрешите мне откланяться...

— Вздор. Теперь извольте договаривать до конца. Какое обстоятельство может, по-вашему, помешать государству одобрить хороший и разумный план, если деньги для него есть?

— Да именно то, что он хороший и разумный.

— Тыфу ты! У меня уже голова кругом идёт! Объясните толком, в чём дело.

— Короче... если говорить откровенно... вы думаете, господин полковник, что наш южный сосед так легко примирится с возникновением опасного конкурента для Гамбурга? Я лично этого не думаю. Ни за что на свете не примирится.

Полковник откинулся на спинку стула и подбоченился. И без того красное лицо запылало пожаром.

— В жизни не слышал подобного бреда! Как вы только могли додуматься до такой чепухи? Вы утверждаете, будто немцы из-за вашего проекта объявят нам войну? Так, что ли?

— Бог мой, какая там война! Совсем не обязательно объявлять войну. Война не война, а такая, знаете ли, краткая и решительная нота германского правительства правительству Дании... Поверьте, господин полковник, ноты в данном случае будет более чем достаточно.

Полковник молча закрыл глаза и, подперев рукой подбородок, нервно грыз сустав указательного пальца. Господин Дельфт пожал плечами.

— Вот удел малых наций! Приходится перед всеми смиренно гнуть шею... и сносить оскорбления. Это очень-очень обидно, но такова жизнь. Малые должны повиноваться большому, повиноваться и вести себя осторожно, чрезвычайно осторожно, — повторил он, увидев, что одним ударом ему удаётся и потешить собственное злорадство и разбудить желанный боевой дух в старом вояке, до сих пор носящем на теле следы немецких пуль.

Поскольку полковник хранил молчание, господин Дельфт воспользовался случаем и поспешил откланяться.

Он сделал это вовремя. Едва за ним закрылась дверь, полковник вскочил со стула, словно бык, ужаленный оводом. И как всегда, когда под рукой никого больше не оказывалось, полковник помчался из кабинета в гостиную, чтобы отвести душу на собственной жене. Жену пришлось даже-вызывать из кухни. Невзирая на самые слезливые заверения, что без неё пригорит каша, полковник вылил на её голову поток содержащих прямое оскорбление величества выпадов против презренного духа трусости и убожества, который овладел датским народом после войны.

В этот день дядя Генрих обедал у своего зятя, что он, впрочем, делал довольно часто. Когда все встали из-за стола, он отвёл Ивэна в сторону и сказал ему мрачным и смущенным голосом, который появлялся у него всякий раз, когда он в виде исключения оказывал кому-нибудь бескорыстную услугу:

— Ну, дружок, можешь идти к полковнику. Я его подготовил.

Чтобы не вызвать подозрений. Ивэн не сразу пошёл к полковнику, а выждал несколько дней. Он написал Бьерреграву письмо, где просил уделить ему немного времени, дабы он, Ивэн, мог коротко изложить своё дело.

Получив письмо, полковник провёл целый день в мучительнейших раздумьях. Во-первых, уже сам по себе тон письма обезоружил его. Ивэн в высшей степени обладал чисто еврейским умением втереться в доверие к людям, искусно пощекотав их тщеславие, а перед лестью полковник был бессилен. К тому же в самом имени Саломон слышался звон золота, чрезвычайно заманчивый для ушей падкого до денег полковника.

А главное, не в характере полковника было сидеть сложа руки и глядеть, как другие действуют. Несмотря на свои семьдесят лет, полковник сохранил ещё слишком горячую кровь, чтобы по доброй воле уйти на покой. Он никогда не был вполне надёжным приверженцем датских ретроградов. Бунтарский дух юных дней, невзирая на все милости правительства, не до конца выветрился из него. Хотя он раз и навсегда принял негодующую позу по отношению ко всему новому, под налётом зависти и злобы скрывалась тайная симпатия к этому новому. Поскольку он до седых волос остался беспокойным и вспыльчивым человеком, привыкшим резать правду-матку в глаза, всё молодое и дерзкое сохранило большую власть над его душой. Точно так же и к чувству, которое вызывал у него Пер, примешивалась изрядная доля нежности.

Однако, когда несколько дней спустя Ивэн посетил полковника, последний принял его более чем холодно. Лишь дождавшись признания Ивэна, что всё дело зависит только от его решения, полковник счёл момент подходящим для сдачи.

Зато он выдвинул ряд условий, и в числе прочих — немедленное возвращение Пера, ибо прежде чем проект можно будет принять за основу, в нём надо многое изменить.

Далее он заявил, что их совместная работа может быть плодотворной только в том случае, если Пер сам попросит его взять руководство в свои руки и сам сделает шаги к примирению.

Ивэн умолял его отказаться от второго требования. Но в этом вопросе полковник остался непреклонен. Он ещё не забыл, как Пер сказал ему на прощанье: «Когда мы встретимся в следующий раз, господин полковник, вы придёте ко мне, а не я к вам». Не могло же это заносчивое предсказание осуществиться так буквально!

Ивэн пытался добиться ещё кое-каких уступок, но полковник, заметно нервничавший во время всего разговора, перебил его, побагровев от злости:

— Довольно споров, мы уже всё достаточно обсудили.

Тогда Ивэн встал и уныло отправился восвояси.

## Глава XV

К середине апреля Пер оказался в Риме. Он не устоял перед мольбами баронессы, вернее не устоял перед соблазном и дальше общаться с сестрой баронессы, и вызвался сопровождать их.

Он и сам толком не понимал, почему его так привлекает общество пятидесятилетней женщины, седой и расплывшейся. О любви здесь, конечно, не могло быть и речи уже из-за одной разницы в возрасте, хотя нельзя было отрицать, что сестра баронессы всё ещё прекрасно выглядит и сохранила цвет лица, которому могла бы позавидовать не одна молодая девушка. Следовательно, совесть у него была совершенно чиста, и он мог подробно описывать, какое впечатление производит на него эта женщина, не замечая, однако, что Якоба, со своей стороны, ни словом не обмолвилась ни об этом знакомстве, ни о его излияниях.

Пера больше всего привлекало материнское отношение гофегермейстерши к нему. Её трогательная забота об его душевном благополучии тешила те чувства, о существовании которых Пер даже не подозревал. Ко всему присоединялось ещё странное несоответствие между её искренней набожностью и изысканной, даже утончённой элегантностью туалетов и манер, между высокопарными библейскими изречениями, которые она вплетала в каждую беседу с Пером, и очень земной, лукавой усмешкой, которая иногда мимолётно трогала её губы или мелькала в глубине всё ещё ясных тёмно-синих глаз. Благочестивая женщина и светская дама, она оставалась вечной загадкой для Пера.

Находившиеся в Риме датчане немало чесали языки по адресу двух аристократок и их молодого спутника. Особенное любопытство возбуждали отношения Пера и баронессы. Чувство этой дамы к нему за время поездки выросло до размеров робкого и мечтательного преклонения. Стоило кому-нибудь что-нибудь рассказать ей, как она с полными слёз глазами

прерывала рассказчика: «Ах, вам надо бы всё это рассказать господину Сидениусу» или: «Вот обрадуется наш дорогой друг!» По приезде в Рим она первым делом заказала какому-то ваятелю бюст Пера.

Пер отлично понимал, что старая дама сделалась безвольной игрушкой в его руках. Он наиподробнее образом рассказал ей о своих планах, и она тотчас же обещала ему свою поддержку. Когда она услышала о предстоящем создании акционерного общества, призванного осуществить идеи Пера, она пришла в такой восторг, что вызвалась продать одно из своих имений и тем поддержать начинание.

Пер никак не мог решиться извлечь какую-нибудь пользу из слабости несчастной больной женщины. И уж совсем невозможно стало это после того, как он, к своему ужасу, понял причину столь необъяснимой привязанности: оказывается, она считала его побочным сыном своего умершего брата — заблуждение, в котором был нимало повинен и сам Пер. Бывало, забывшись, она называла его «дорогим племянником» или даже «дорогим сыном». Перу такие изъявления чувств были крайне неприятны, но, с другой стороны, он не рисковал заново ворошить глупую историю, чтобы опровергнуть её.

Вдобавок, сама жизнь, новая и непривычная, с каждым днём всё больше его захватывала. Он ехал в Рим без подготовки и без больших надежд и потому избавлен был от тех разочарований, которые на первых порах отравляют жизнь множеству паломников. Жадный до солнца северянин, он безмятежно наслаждался ясным небом и тёплым мягким воздухом. Во время странствий по многочисленным болотам в дельте Дуная он снова простудился и поэтому, находясь в Вене, всё время грустил, как всякий раз, когда ему случалось прихворнуть. Но уже по пути в Италию он словно переродился. Никогда ещё он не был так здоров душой и телом. Лицо его с остроконечной тёмной бородкой загорело до черноты, и от этого глаза казались ещё синее. Когда Пер в новом светло-сером лёгком костюме, красиво облегавшем его сильное тело, прогуливался после обеда по Монте Пинчио со своими дамами, не одна черноокая красавица посылала ему из-за веера горящие взоры.

Длинные разговоры на религиозные темы, которые Пер вёл с гофегермейстершей, оказывали совершенно иное воздействие, чем того хотела последняя. Если Пер в какой-то степени и находил эти беседы занимательными, то именно потому, что они не причиняли ему беспокойства. Всё перечитанное за одинокую зиму в Дрездеке сослужило ему здесь хорошую службу; Пер с удовольствием замечал, что гофегермейстерша в должной мере оценила его образованность по части философии, и радовался своему превосходству во всех спорах.

Несмотря на неуспех своей миссионерской деятельности, гофегермейстерша не выказывала ни малейшего недовольства. Для правоверной христианки она и в самом деле была на редкость свободомыслящая и терпимая особа (как Пер писал о том Якобе), и отношения между ними день ото дня делались всё сердечнее.

Пер остановился не в одном отеле с ними, но приходил к сёстрам каждый день, чтобы сопровождать их во время прогулок или бывать вместе с ними в Скандинавском обществе, где они читали свежие газеты. Тщеславие Пера тешил тот отблеск высокородности, который благодаря соседству двух аристократок падал и на него. Его душу приятно волновали (слегка тревожа совесть) блестящие титулы, какими наделяла его прислуга в отелях и тому подобная публика. Соотечественники же недолго заблуждались насчёт его баронства. Хотя в результате тесного общения с гофегермейстершей он внешне пообтесался, люди по-прежнему угадывали под щегольским фраком домотканую куртку; если сначала у них ещё были какие-то сомнения, то со временем, из-за словоохотливости Пера, они узнали о его жизни и планах куда больше, чем сами того хотели.

Он приехал в Рим не паломничества ради. Мимо музеев он проходил так же равнодушно, как мимо распахнутых церковных дверей, через которые, по мнению обеих дам и других туристов, вели дорога в истинный Рим: четыреста темниц, мрачных, как склепы, пропитанных ладаном, озарённых пламенем восковых свечей и масляных светильников, темниц, где жил неумирающий дух средневековья во всей истовой силе, где среди уличного



шума сохранился мир тишины — преддверие царствия небесного, где не слышно речей, где звучат лишь песнопения и никогда не смолкают молитвы.

А Пера в этом городе городов, в вечном городе, в мавзолее мирового духа манил древний Рим, античные руины. Но и тут его занимали не столько архитектурные красоты, сколько устройство стен, прочность кладки, — словом, та титаническая сила, которая нашла своё выражение в этих двухтысячелетних громадах. И потому его больше всего привлекали термы Каракаллы и Диоклетиана да Колизей. Он мог часами сидеть в пустынном амфитеатре и развлекаться мысленным возведением его, он окружал амфитеатр сетью строительных лесов, расчищал огромную рабочую площадку и заваливал её гигантскими каменными глыбами, на площадке толпились погонщики быков и сотни утомлённых невольников, камень за камнем закладывали они основание Вавилонской башни.

Эти грёзы снова уводили Пера к книгам. Античные колоссы вызывали потребность узнать как можно больше о народе Рима и его судьбах, не ограничиваясь беглыми и полузабытыми сведениями из школьных учебников. В библиотеке Скандинавского общества он взял «Историю Рима» Моммзена и с той энергией, которая временами вспыхивала в нём, одолел толстенную книгу за короткий срок.

Впервые в жизни история овладела его мыслями. До сих пор его взгляд был устремлён вперёд, в долгожданное время больших перемен. Прошое никогда не занимало его. Теперь ему доставляло высочайшее наслаждение сидеть среди развалин на Палатинском холме, прислонившись спиной к нагретому солнцем обломку колонны, и читать о подвигах людей, начавших с этого холма покорение мира. Книги уводили его в глубь веков, за пределы ненавистного христианства, в царство культуры, не осквернённой влиянием той духовной силы, которая, на его взгляд, составляла первейшее проклятие наших дней. В героических фигурах времён Республики он впервые встретил те идеальные характеры, каких тщетно искал прежде. Здесь, в этом деятельном, умном и практического склада народе-язычнике находил он незамутнённые образцы самобытной человеческой природы, то поколение титанов, о котором он мечтал доселе, смутно чувствуя своё с ними родство.

В одном из писем Якобе Пер с восторгом сообщал: «Нигде и никогда я не сознавал так отчётливо, каким преступлением против человечества является вся христианская религия. Нигде и никогда не сознавал с таким стыдом, насколько нам ещё предстоит подняться, чтобы дорасти хотя бы до плеч того поколения, в чьём человеческом величии осмелится усомниться этот бледнолицый, этот незаконнорождённый из Назарета. Знаешь ли ты сказку про короля-горбуна? Поскольку небу однажды было угодно породить величество с кривыми ногами и горбом, в стране издали закон, который перевернул вверх дном все понятия. Малое стали называть большим и кривое — прямым. Стройная спина считалась отныне горбатой, великаны — карликами. И по сей день мы живём в этой безумной стране!»

Дней через десять гофегермейстерша получила телеграмму от мужа: он заболел и просил её приехать. Обе сестры собрались в путь, хотя баронесса похныкала немного по поводу того, что вот она покидает Рим, так и не добившись аудиенции у папы, о которой она всё время мечтала.

Прощание получилось очень сердечное. Гофегермейстерша взяла с Пера обещание непременно навестить их с мужем в Керсхольме, где, кстати, некоторое время поживёт и баронесса. А баронесса, уже сев в поезд, высунулась из окна вагона и со слезами на глазах махала платком и кричала: «До свидания, до свидания».

Перу пришлось некоторое время задержаться в Риме из-за бюста, заказанного его заботливой благотельницей. Да и сам он тоже заинтересовался бюстом. Кроме того, ему некуда было спешить. Чувствовал он себя здесь прекрасно, а слухи о холодной и затянувшейся весне по ту сторону Альп не располагали к отъезду. И, наконец, не выветрилась ещё боязнь одиночества, поэтому и здесь, в Риме, он старался больше бывать на людях.

Ивэн уже намекал, что путешествие, вероятно, придётся прерывать, ибо его присутствие может оказаться необходимым для успеха проекта. В последнем письме Ивэн

прямо спросил, может ли Пер собраться — если понадобится — за один день.

На это письмо Пер просто не ответил. Его начинали раздражать ежедневные послания свояка и вечные расспросы, указания и напоминания. В отношении Пера к тому, что он называл делом всей своей жизни, почти незаметно для него произошла перемена с той самой минуты, когда появилась возможность осуществления этого дела. Проект нисколько не утратил своей ценности в его глазах, но прежний интерес угас, как только проект из революционной идеи превратился в нечто такое, что может ощупывать и обнюхивать любой биржевик и спекулянт. Уже сам тарабарский язык, которым писал Ивэн, этот невразумительный торгашеский жаргон, внушал ему отвращение ко всей затее. Почти в каждом письме были новые оговорки, новые ограничения, призывы к новым уступкам и увёрткам, так что Пер со злости по нескольку дней не отвечал на письма.

Вопиющее несоответствие между мелочными расчётами и величиим ушедших времён, которые теперь занимали все его помыслы, усугубляло мрачную отрешённость Пера. В том последнем письме Ивэн осмелился намекнуть, что не мешало бы обратиться к полковнику Бьерреграву, к человеку, пытавшемуся в своё время уничтожить Пера. Это переполнило чашу терпения. Теперь услужливый свояк получит достойный ответ.

Неприятные вести с родины сделали ещё более привлекательной беззаботную и праздную жизнь в Риме. Пер свёл знакомство со многими соотечественниками, в том числе и с дамами, чьё общество заставило его скоро забыть об отъезде гофегермейстерши. Вечера он обычно проводил с ними в сельских кабаках на окраине города, где, по старинной традиции, собирались скандинавы, чтобы беззаботно предаваться радостям жизни, как это делают истые художники. Здесь бойко поднимались полные бокалы, здесь звучали песни и велись диспуты (в тёплую погоду — без фраков и сюртуков), и Пер наслаждался этой аристократической непринуждённостью. У него всё время было прекрасное настроение. Весна, которую разбудила в нём пылкая преданность Якобы, достигла теперь поры расцвета. Все побегии светлых и радостных чувств начали бурно расти, и окружающие не уставали восторгаться нерастратенной свежестью его души. Он много пил, не пьянея, а иногда на него находило детское озорство, и он развлекал компанию всевозможными дурачествами. Когда поздно ночью они возвращались домой с громким пением. Пер обычно шёл во главе процессии, увенчанный цветами, и тащил под руку пару разомлевших дам — молодых или старых.

Как-то на очередной пирушке он встретил пышноволосого немецкого художника, одного из тех, с кем осенью свёл его в Берлине Фритьоф. В Риме художник вдруг вошёл в моду. Это был маленький низенький человечек, с бородкой, как у Виктора-Эммануила, и на двухдюймовых каблуках. Под торжественный звон бокалов они возобновили старое знакомство, и Пер получил приглашение посетить на другой день мастерскую знаменитости.

Здесь его ждал сюрприз. На мольберте посреди мастерской стоял почти законченный портрет. Портрет изображал во весь рост девушку-еврейку с рыжеватыми волосами; он тотчас же узнал и тонкие черты, и кроткие глаза лани. Это была кузина Якобы, жившая в Берлине, молоденькая дочь тайного коммерции советника, единственная наследница пятидесятимиллионного состояния.

— Она в Риме? — удивился Пер.

— Была. Вчера уехала домой. Значит, вы её знаете?

Пер сказал, что несколько раз бывал в доме её родителей, но в подробности вдаваться не стал. Ему не очень-то хотелось вспоминать свои дерзкие планы завоевания дочери финансового короля, о руке которой мечтала добрая половина немецкой аристократии.

— Как она поживает? Она не замужем? — спрашивал он, не в силах отвести глаз от прелестного лица, глядевшего всё тем же робким, испытующим взглядом, что и в тот музыкальный вечер.

— Нет, замужем. Она приезжала сюда с мужем. Вот везучий болван!

— Как его зовут?

— Бибер. Доктор Бибер.

— Ах да, я встречал его у них. Ну, красотой он в те времена не блистал. Обыкновенный пузан.

— Да уж какая там красота! — воскликнул малорослый гений и рукой, униженной аметистовыми перстнями, подкрутил пушистые концы своей воинственной бородки.

— Он, наверно, и сам богат? — спросил Пер.

— Он-то? Беднее бедного. Вы разве ничего не знали? Прелюбопытная история. Заботливые родители наводнили дом разорившимися баронами и офицерами, чтобы дочь могла сделать приличную партию. Молодёжь мещанского происхождения они и близко не подпускали. А побеспокоиться насчёт толстого Бибера им, конечно, не приходило в голову. Он был ассистентом их домашнего врача. И выбор пал именно на него.

— Да, действительно, — задумчиво пробормотал Пер, не отрывая взгляда от лица молодой женщины.

— Раз вы бывали в их дворце в Тиргартене, вы, вероятно, заметили, что для дочки это была просто позолоченная клетка. Мамаша без всякого стеснения завела себе целый отряд платных любовников, а папаша — заурядный проходимец. Девушка всеми силами старалась вырваться из этого ада вот в чём секрет! Я думаю, что она вышла бы за всякого маломальски приличного человека, который осмелился бы увезти её оттуда.

Пер отвернулся от портрета и пристально поглядел на маленького болтливого художника.

— Так он её увёз, что ли?

— Ну, не буквально увёз. Но он сумел быстро сообразить, что к чему. И, несмотря на уродство, несмотря на бедность и низкое происхождение — отец Бибера был чуть ли не старьёвщик, — у него хватило духу... или веры в собственные силы... правильнее сказать — хватило самонадеянности, чтобы попытаться счастья. А может, он-то сам считает себя красавцем! И, как это ни смешно, он победил... Вы уловили, молодой человек, мудрую насмешку судьбы, которая кроется в этой истории? Понятно ли вам, что в жизни не так уж важно, кто ты такой, а важно, кем ты себя считаешь. Вы полагаете, что капрал Наполеон смог бы стать императором Франции, не овладей им безумная мысль, будто в его жилах течёт древняя кровь французских королей?

С этими словами прославленный, но малорослый гений поднялся на цыпочки и снова запустил руки в свою воинственную бородку. А Пер грустно отвёл глаза и долго сидел молча, погруженный в свои думы.

\* \* \*

Тем временем в Копенгагене обвенчались Нанни и Дюринг. Одновременно Дюринг расстался с «Фалькеном» и занял место главного редактора старой и почтенной газеты «Боргербладет», особенно популярной среди дельцов.

Тесть его, Филипп Саломон, не принимал никакого участия в возвышении Дюринга, последний был всем обязан влиянию адвоката Верховного суда Макса Бернарда. Дюринг входил в число крепостных рабов Бернарда и был одним из тех, на кого возлагались особенно большие надежды благодаря его красивой внешности, умению приспосабливаться и рано проявившемуся презрению ко всем человеческим законам и обычаям. Не без помощи великого человека Дюринг уже двадцати лет от роду занял заметное место среди сотрудников «Фалькена» и, находясь на этом посту, слепым повиновением завоевал полное доверие и даже дружбу своего благодетеля.

Но когда Дюринг сообщил ему о своей помолвке с Нанни, Макс Бернард выказал явное недовольство. Две глубокие морщины пересекли его лицо, и он сказал следующее:

— Она же еврейка! Ах, Дюринг, Дюринг! Вы меня просто изумляете. Я считал вас умнее. Я уже довольно давно обратил ваше внимание на дочь советника Линдхольма. Она и богата, и красива. И вы вполне сумели бы произвести на неё нужное впечатление.

Но в первый раз за всю жизнь Дюринг отказался повиноваться своему господину и повелителю. Он на самом деле был влюблён в Нанни. Перед такими женщинами, как она, он не мог устоять, и это было его единственной слабостью.

Макс Бернард понял, что здесь ему придётся уступить. У него самого оказывалось далеко не каменное сердце при виде красивых женских плеч, и поэтому из всякого рода глупостей он прощал лишь глупости, совершённые во имя женщины. Он ограничился тем, что взял с Дюринга обещание не предавать помолвку гласности, пока он, Бернард, не добьётся для Дюринга более солидного и независимого места в датской журналистике. Недели не прошло, а Дюринг уже занял завидный пост редактора «Боргербладет».

Макс Бернард хотел тем самым обскакать Филиппа Саломона. Он боялся лишиться хотя бы частички своего влияния на Дюринга, если Дюринг получит тот же пост из рук тестя.

И вот Дюринг и Нанни сыграли свадьбу. Сыграли её очень просто, без всякой помпы. В один прекрасный день Нанни вернулась домой из города, ведя под руку новоиспечённого редактора «Боргербладет», и с улыбкой отрекомендовалась своим родителям как фру Дюринг. С утра пораньше они забежали в пропыленный магистрат и там зарегистрировали свой брак, причём только с великим трудом удержались от смеха во время совершения процедуры (как бойко поведала Нанни). Потом они отправились в ресторан и позавтракали вместе с какими-то знакомыми Дюринга, которые случайно оказались в ресторане.

Во время обеда, за столом, накрытым парадно, насколько это позволила спешка, Филипп Саломон провозгласил здравицу в честь своей дочери и её супруга с невольной торжественностью, отличавшейся от весёлой беспечности молодых. Мать тоже была очень растрогана. Как ни старалась стареющая чета под влиянием собственных детей идти в ногу со временем, от такого сюрприза разом слетела вся их напускная любовь к нововведениям. В глубине души они не ждали от будущего ничего хорошего. А больше всего их огорчало своеволие дочерей.

Но мало-помалу общая радость захватила их, и за столом поднялось шумное веселье в честь новобрачных, чему немало способствовали младшие Саломены. Одна только Якоба оставалась мрачной и безучастной. Она, единственная из всех, даже не принарядилась. Её так возмутило легкомыслие Нанни по отношению к святым таинствам любви, что лишь по настоянию матери она вышла к столу. Она пробовала было отговориться, ссылаясь на недомогание. Она и самом деле чувствовала себя не очень хорошо. Несколько раз во время обеда у неё начиналась нервная дрожь и головокружение.

Как только все встали из-за стола, Якоба ушла к себе и больше не показывалась.

Она села за очередное письмо Перу. Другого средства заглушить тоску и унять мучительную ревность, которая подрывала её душевные и физические силы, она не знала.

Определённых подозрений она не питала. Малейшая мысль о его неверности была настолько чужда ей, что ни сухие короткие письма Пера, ни его неуклюжие попытки найти прежний доверительный тон не беспокоили её. Её гордая и целомудренная натура не допускала даже возможности обмана. С той самой минуты, когда они стали принадлежать друг другу, она воспринимала Пера как неотъемлемую частицу самой себя. Она не забыла ещё благодарного и счастливого выражения, которое светилось в глазах Пера, когда он первый раз держал её в своих объятиях. Она хранила это воспоминание как святой залог любви. В тот миг она твёрдо поняла, что она тоже женщина, что она может быть желанной, — хотя прежде она порой готова была сомневаться в этом.

Но стоило ей подумать о тех, с кем ежедневно общается Пер, кому выпало счастье жить рядом с Пером, пожимать его руку, слышать его голос, видеть его улыбку, как в ней поднималась страшная ненависть к этим чужим людям, которым в избытке дано то, о чём она может только мечтать. Она завидовала камням, по которым ступают ноги Пера, воздуху, который ласкает его загорелые щёки. Она ревновала его к официантам, которые его обслуживают, к горничным, которые по утрам убирают его постель, ещё сохранившую запах и тепло его тела.



А в гостинной мать тщетно пыталась тем временем извиниться за Якобу перед Дюрингом и Нанни, которая весьма ядовито прокомментировала уход сестры.

— Она всё время такая расстроенная, — сказала мать. — Я очень беспокоюсь за неё.

Нанни усмехнулась и ничего не ответила. Но, сев в экипаж, чтобы ехать с Дюрингом на его холостяцкую квартиру, где они собирались провести ночь, она потеснее прижалась к нему и сказала:

— А ты смекнул, что творится с Якобой? Ты, наверно, заметил, как она себя вела за столом? Бедняжка лопается от зависти. Она просто с ума сходит, что это не она едет теперь к себе домой со своим драгоценным Пером.

На другой день молодые уезжали за границу на несколько недель. За этот короткий срок они собирались объездить почти всю Европу. Больше всего их привлекала Испания, ибо Нанни хотела во что бы то ни стало посмотреть бой быков.

Поэтому путешествие, главным образом, складывалось из пребывания в купе поездов и в номерах отелей. Но именно такая сумбурная жизнь и бесконечные встречи со всевозможными людьми доставляли больше всего удовольствия молодожёнам. Даже в свой медовый месяц они не искали уединения. Собственно, о настоящих чувствах ни с его, ни с её стороны не могло быть и речи. Через непродолжительное время вся любовь Дюринга свелась к изошрённым ласкам. Относительная невинность Нанни не помешала ей принять ласки мужа с такой охотой, которая мало чем отличалась от порочности.

А по-настоящему супругов связывало самое обыкновенное тщеславие, ибо брак их в равной мере льстил обоим. Дюринг, например, был вне себя от гордости, видя, какое внимание привлекает восточная красота Нанни; гордость усугублялась догадкой, что люди считают их не законными супругами, а любовниками. Он отлично сознавал, что и манерой держаться, и туалетами своими Нанни походит на наиболее шикарных дам полусвета, — собственно, этим она его и взяла. И теперь тщеславие Дюринга приятно щекотали завистливые взгляды, которыми провожали их мужчины даже в греховном Париже.

Нанни, со своей стороны, гордилась элегантной и корректной внешностью мужа. Его невысокая, изящная фигура и лицо, обрамлённое золотистыми волосами, привлекали внимание во всех отелях. Она сама часто говаривала, что он похож на немецкого принца. Радовалась она и тому, что Дюринг не еврей. Нанни нередко жалела о своём происхождении, хотя и пыталась уверить всех и вся в обратном; зато теперь она честно признавалась, что рада-радёшенька навсегда расстаться с именем Саломон и именоваться фру Дюринг.

И наконец, она гордилась мужем потому, что он в качестве редактора имел бесплатный доступ в такие места, куда простые смертные должны были брать билеты, если вообще могли туда проникнуть. Любовь к роскошным и дорогим нарядам Нанни ещё в девичестве сочетала с изрядной скупостью, эту черту она сохранила и в замужестве. Лихие замашки Дюринга вызывали у неё скрытое беспокойство. Всякий раз, когда надо было за что-нибудь платить, она прямо выходила из себя. В любом отеле она по десять раз на дню вызывала горничную, так как вечно меняла туалеты; однако уезжая, ухитрялась вовсе не оставить чаевых или, в лучшем случае, выкладывала на столик полфранка.

Весенние холода и дожди погнали молодую чету на юг. Из Парижа их путь вёл прямо в Мадрид. Но поскольку до них дошли слухи, что в Мадриде вспыхнула холера, они перевалили обратно через Пиренеи и, миновав Французскую Ривьеру, очутились в Италии.

Пер всё ещё жил в Риме. Якоба предупредила его в письме о приезде Дюрингов, хотя ни малейшей надобности в этом не было; датские газеты, которые он регулярно читал в Скандинавском обществе, ежедневно извещали о каждом шаге молодожёнов.

Весьма популярный, но не слишком почтенный театральный рецензент вдруг сделался важным лицом. Ещё не бывало случая, чтобы молодому человеку без всякого диплома; без всякой проверки, человеку, не имевшему даже безупречной репутации, вдруг доверили руководство такой газетой, как «Боргербладет». Макс Бернару и впрямь нелегко было на сей раз добиться своего. Покуда баловень счастья разъезжал по Европе в обитых бархатом купе и наслаждаться ласками своей очаровательной супруги, те из датских газет, которые



Максу Бернарду ещё не удалось прибрать к рукам, начали против него ожесточённую кампанию во имя нравственности. Назначение Дюринга послужило сигналом к новой вспышке никогда не угасавшей вражды между людьми новой и старой формации. Имя Дюринга стало знаменем борьбы, под которым столкнулись предприимчивость и бессилие, высокомерие и хорошо припрятанная зависть. Газетки помельче писали о Дюринге длинные статьи с приложением его фотографий, сатирические листки помещали пёстрые карикатуры на Дюринга, а тем временем тысячеустая молва катилась по стране, изощряясь в самых рассказах об утончённых привычках Дюринга, об атласных стенах его квартиры, об оргиях и разгуле, достойных Сарданапала.

Не удивительно поэтому, что предстоящее прибытие Дюринга и его молодой супруги вызвало большое волнение среди проживающих в Риме датчан. Особенно сильную досаду вызывало у Пера добродетельное возмущение дам, усиленно занимавшихся делами популярной четы. Пер никогда не унижался до того, чтобы завидовать чужому счастью, так как он считал себя избранной, исключительной личностью, стоящей выше всякого соперничества. Правда, и бродячая жизнь, за последние полгода развившая в нём чувство самоанализа и сравнения, которые он невольно делал, знакомясь со все новыми и новыми людьми, понаторевшими в светской жизни, и визит к маленькому художнику, и рассказ последнего о сказочном успехе доктора Бибера — всё это убедило Пера, что в его характере есть досадные слабости, которые надо преодолеть. Растущая изо дня в день слава Дюринга усиливала настроение, овладевшее им в мастерской художника и управлявшее теперь его поступками. Оно сопровождало его всю дорогу как тайное сознание собственного бессилия. Даже в Риме, предаваясь самому необузданному веселью, он чувствовал в душе скрытую грусть.

Случайно услышав в Скандинавском обществе, что новобрачные ожидаются в Риме дневным поездом, он после некоторого колебания решил встретить их на вокзале. Он убеждал себя, что коль скоро они с Дюрингом стали свояками, то для семейного мира им лучше быть в дружбе. На самом же деле он просто боялся, что, если будет держаться холодно и неприветливо, все сразу догадаются, что его просто мучает зависть.

И так, обзаведясь дешёвым букетом для Нанни, он встретил их на вокзале и поздравил с приездом в Рим. Маленький проворный редактор, как всегда, был сама предупредительность. Он пробормотал слова благодарности и пожал великодушно протянутую руку Пера с улыбкой, которую, по счастью, заметила одна лишь Нанни.

Сама Нанни выказала при встрече неподдельную радость, называла Пера зятем, передала ему приветы от Якобы и всех домашних. Позже они встретились ещё раз, так как уговорились пообедать вместе во французском ресторане.

После обеда Дюринг утратил всякую общительность и откровенно зевал, прикрывая рот холёной рукой. Зато Нанни не умолкала ни на минуту; она щебетала без передышки и изо всех сил старалась занять Пера, чтобы он не заметил бестактности её супруга.

Потом они отправились пить кофе в открытое кафе на Пьяцца Колонна. Здесь, как и повсюду, Нанни привлекла всеобщее внимание своей красотой, своей развязностью и своим туалетом. Она была вся в белом от кружевной шляпки до туфель с бантиками. Лёгкая ткань колыхалась вокруг её пышного стана, словно лебяжий пух.

Пер не мог прийти в себя от изумления, до того ослепительно красивой показалась ему Нанни. Он успел почти позабыть, как она хороша.

Сидя против неё за круглым столиком кафе, он не раз украдкой поглядывал на её обнажённую шею и пышную грудь, и ему невольно вспомнилось, как в своё время он чуть не сделал ей предложение, причём тогда Нанни скорее всего ответила бы согласием.

Когда маленькая компания рассталась поздно вечером, было решено, что на следующее утро Пер заедет в отель за Нанни и будет весь день развлекать её, поскольку Дюрингу необходимо побывать в датском консульстве, чтобы собрать материал об экономической жизни Италии для путевых заметок, которые он собирался послать в свою новую газету. Такой план предложила сама Нанни, и Дюринг с присущей ему галантной невозмутимостью

немедленно согласился.

Перед свадьбой молодые супруги поставили друг другу единственное условие: каждый сохраняет в браке полную свободу. Малейшая попытка одного из супругов ограничить независимость другого, особенно в отношениях к особам другого пола, рассматривается как достаточный повод для развода.

Когда Пер на другой день в назначенный час зашёл за Нанни, он уже не застал Дюринга. Нанни была готова к выходу и ждала его, нарядившись в свой вчерашний белый туалет. Она встала из-за накрытого к завтраку столика (завтрак, состоял только из чашки шоколада и бисквитов) и без лишних слов, даже не поздоровавшись, спросила: «Ну-с, чем же мы займёмся? Сегодня я решила хорошенько повеселиться».

Пер рассказал, что на соседней площади, мимо которой он сейчас проходил, открылся большой базар, где продают всякое старьё и рухлядь, свезенные со всех концов Рима. Узнав о базаре, Нанни пожелала немедля отправиться туда. Возможность увидеть такое обилие всякого барахла чрезвычайно её вдохновила. А потом (добавила Нанни) они наймут экипаж и объедут город, чтобы осмотреть «достопримечательности».

Окинув напоследок внимательным взглядом обе комнаты номера, Нанни сунула в рот Перу миндальное печенье, и они отправились в путь.

Ещё издали они услышали доносившийся с рыночной площади шум и гам; на подступах к площади Нанни попросила Пера взять её под руку. У неё несколько поубавилось храбрости, когда она увидела густую толпу и узкие проходы между рядами палаток. Боязливо косилась она на подозрительных оборванцев, которые со всех сторон стекались к площади или теснились вокруг старья, наваленного ворохом прямо на мостовой. Твёрдо убеждённая в нечистоплотности римского простонародья, Нанни сразу подобрала юбки, и чем дальше они углублялись в толкучку, тем выше задирали их над своими белыми туфельками.

Сегодня она показалась Перу ещё более очаровательной. У него начала кружиться голова оттого, что он вёл её под руку, и оттого, что она, как бы в поисках защиты, прижималась к нему всем телом, когда какая-нибудь особенно оборванная или даже полуголая фигура вырастала перед ними и начинала расхваливать свой товар. Сначала он не знал, как ему держаться с ней, и был даже несколько смущён её бесцеремонностью «на правах свояченицы». Но потом он отбросил всякие мысли о Якобе и отдался минутному настроению.

Да и нельзя было заботиться о приличиях в такой давке. То плечом, а то и всем телом Перу приходилось защищать её от толчков и ударов. Наконец, он предложил ей выбраться из толпы, но об этом она и слышать не пожелала. Несмотря на смертельный страх, который внушали ей весёлые оборванцы, всё теснее обступавшие их, несмотря на шум, на резкий запах чеснока и пота, она чувствовала себя превосходно и без умолку, немножко истерически, смеялась, словно от щекотки.

— До чего мне весело! — заявила она в самой густой толчее. — Отто, наверно, сюда, в жизни не затащить.

Вдруг перед палаткой, мимо которой они проходили, поднялась страшная суматоха. Здесь сцепились два парня; и вокруг них, словно вокруг арены, тотчас же собралось плотное кольцо любопытных.

Пер хотел увести Нанни, но она упёрлась и молча подтащила его поближе к месту сражения и поднялась на цыпочки, чтобы лучше видеть.

Бойцы набросились друг на друга с чисто итальянским пылом. Они изо всех сил размахивали кулаками, чёрные глаза сверкали, красные губы изрыгали брань и проклятья, которые далеко разносились по площади.

Пера несколько смутило волнение Нанни. Она то краснела, то бледнела, и губы у неё дрожали. Судя по всему, она совершенно забыла, что рядом с ней стоит не Дюринг, — так крепко прижималась она к Перу всякий раз, когда над толпой взлетали кулаки.

— А вдруг они вытащат кинжалы? — шепнула она.

Пер засмеялся. Он частенько наблюдал здесь подобные уличные сценки, и всякий раз ему казалось, будто темпераментные борцы схватились не на жизнь, а на смерть, в действительности же они просто, как артисты, упивались героическими жестами и расходились, не причинив друг другу никакого вреда и ограничивались потоком отборных ругательств.

Так было и здесь. Когда страсти достигли наивысшего накала, бой вдруг прекратился, и оба противника медленно побрели восвояси, сопровождаемые, как настоящие артисты, шумными овациями зрителей.

— Как? Уже всё? — Нанни с разочарованием поглядела на Пера.

— Представьте себе! У нас в Дании дерутся интереснее, — ответил Пер и решительно потянул её прочь, чтобы выбраться из толпы раньше, чем начнут расходиться зрители.

С великим трудом достигли они, наконец, края площади, где можно было продвигаться свободнее. Но вдруг Нанни остановилась и почти закричала:

— Да, но мы же ничего не купили! — и безжалостно потащила его обратно. Уцепившись за Пера, она протолкалась к ветхому деревянному лотку, где торговали поддельными древностями. Бандитского вида старик, заросший седой щетиной до самой шеи, тонкой, словно у птицы, приветствовал Нанни с восточной угодливостью. И Нанни тут же, не торгуясь, за чудовищную цену приобрела серебряный кубок и золотую пряжку, без всяких церемоний предоставив Перу расплачиваться.

Затем она изъявила готовность осматривать город. Пер нанял карету, и они поехали.

Начали с Пьяцца дель Пополо, как того потребовала Нанни, потому что когда-то она прочла роман под таким названием, потом через Монте Пинчио спустились по улице Греориана, подъехали к Квириналу и дальше вверх и вниз по холмам, мимо терм Диоклетиана, Мимо Капитолия и Форума.

Кучеру велели ехать побыстрей. Они нигде не останавливались; Нанни вполне довольствовалась тем, что можно увидеть мимоездом в театральный бинокль. Она не забывала издавать, где положено, восторженные восклицания, но на самом деле была занята исключительно своей персоной, — вернее, тем впечатлением, какое она производит на своего спутника.

К её чувствам с давних пор примешивалась изрядная толика злости. Она так и не смогла простить Перу, что он предпочёл ей другую, и всё время искала подходящего случая для мести. Этот случай, как она думала, наконец представился. Вот почему она пустила в ход все свои чары с той самой минуты, как вышла из поезда.

Мысли о Якобе не смущали её. Как особа избалованная, Нанни не могла простить сводной сестре, что та не разделяет всеобщего восхищения да ещё смеет говорить ей прямо в лицо, что она неискреннее существо и помешалась на желании нравиться всем и всякому. Кроме того, Нанни не страдала большой щепетильностью в выборе средств, когда хотела удовлетворить своё желание или просто каприз. Хотя отец искренне считал её «образцовым ребёнком», поскольку она всегда отличалась завидным здоровьем, Нанни не знала большего удовольствия, чем сделать какую-нибудь гадость. Уже на школьной скамье она умела искусно напасть своим одноклассникам, а чуть только подросла и приобрела округлые формы, увлеклась новым видом спорта — сорила женихов с невестками, заставляя девушек терзаться ревностью. Козни Нанни были тем опаснее, что она по скудости воображения не могла заранее представить себе размеров причиняемого ею зла. Как ребёнок поджигает дом соседа, чтобы полюбоваться искрами, и не видит в том большой беды, так и она сама потом ахала, видя, что натворила.

Однако теперь, оказавшись наедине с Пером, она опять испытала то же самое чувство, от которого ни разу в его присутствии не могла отделаться: Пер внушал ей странную робость. Она не забыла ещё, что в своё время он скорее, чем кто бы то ни было, мог прибрать её к рукам, и это лишало её обычной уверенности. Особенно насторожилась она, когда Пер, со своей стороны, стал напористее и даже предпринял ряд атак. Она решила, что он, конечно, не случайно так сильно сжал её локоть, подсаживая её в карету. И потом, он несколько раз

довольно близко придвигался к ней — она даже отодвинулась, чтобы не касаться его при толчках. Хотя ухаживания Пера вызывали у неё чувство глубокого удовлетворения, особенно когда она думала о Якобе, её всё же несколько беспокоило, что они вот-вот поменяются ролями и из охотника она станет дичью.

Но при всём том она не умолкала ни на секунду, то и дело обмахивалась веером из перьев и вызывающе посмеивалась. Пантеон, арка Тита, колонна Траяна — всё проплывало мимо, не производя на неё ни малейшего впечатления.

Лишь вид Колизея несколько расшевелил её. Она даже решила покинуть уютное место и вышла из экипажа — осматривать арену.

— Вообще-то я должна бы сейчас быть в Мадриде и любоваться боем быков, тараторила она своим, вывезенным с Эстергаде говорком, увлекая за собой Пера в сумрачные, прохладные переходы, которые вели к центру огромного и пустынного каменного котла. — Но противная холера помешала нам. Ужасно, ужасно досадно!

В то время как Пер чувствовал невольное благоговение при виде памятника седой старины, Нанни продолжала трещать. Даже на дне гигантской жертвенной чаши, где пролилось некогда так много крови, она щебетала без передышки. Подняв к глазам бинокль, она обводила взглядом ряды скамей, поднимающихся к небу, и думала про себя, что лучше бы ей, пожалуй, было надеть муслиновое в цветочках платье и к нему красную шелковую испанскую накидку. Кавалерист Иверсен чуть не сошёл с ума, когда незадолго до отъезда увидел её в театре в этом наряде.

Пер принялся объяснять ей устройство амфитеатра, указал приподнятые ложи императора и весталок, описал, как арену заполняли водой и разыгрывали на ней морские бои и битвы с водяными чудовищами, и Нанни под конец начала прислушиваться. Особенно заинтересовали её решётчатые ворота, через которые, бряцая оружием, проходили гладиаторы, чтобы убивать или быть убитыми на потеху толпе. Она даже вспомнила одну картину, где изображён гладиатор, — кругом переполненные ряды амфитеатра, а посередине стоит могучий борец, состоящий, наверно, из одних мускулов и совершенно голый, если не считать блестящего шлема на голове и узкой набедренной повязки. Когда она кончила школу, эта картина висела в окне книжной лавки на Эстергаде, и она нарочно старалась лишний раз пройти мимо. Нанни живо вообразила, что на том самом месте, где она стоит сейчас, стоял некогда такой же высокий, мускулистый голый мужчина, упершись ногой в окровавленный труп поверженного врага, и с улыбкой принимал рукоплескания императора и восторги огромной толпы; ноздри Нанни невольно раздулись и сладострастная дрожь пробежала по её спине: то же самое, вероятно, испытывали и весталки в белоснежных одеяниях, почуяв запах крови.

Когда она, немного погодя, снова взяла Пера под руку, чтобы вернуться к карете, взгляд её украдкой скользнул по его фигуре, и ненадолго она притихла.

Пер предложил забыть про оставшиеся достопримечательности и подняться на какой-нибудь холм, чтобы глотнуть свежего воздуха. Нанни после некоторого колебания согласилась, и кучер получил приказ переехать через Тибр. По знаменитой извилистой дороге они поднялись на Яникул, откуда открылся великолепный вид на город, необозримые просторы Кампаньи и сверкающие вдали вершины Альбанских гор.

Здесь неожиданно разговорился Пер. Нанни сидела почти всё время, отвернувшись от него, и делала вид, будто внимательно слушает его рассказы о различных строениях, башни и купола которых пронзал золотисто-жёлтый туман, окутавший город. Прежнее беспокойство сменилось здесь, на безлюдном холме, неподдельным страхом. Стоило Перу чуть пошевелинуться, как Нанни нервно вздрагивала. Потом она вдруг заявила, что устала и хочет домой.

Пер пытался отговорить её, но Нанни была неумолима. Она приказала кучеру поворачивать и везти её в отель.

У дверей отеля они расстались. Дюринг уже давно возвратился из консульства. Он сидел без сюртука за столом и что-то писал. Проходя мимо, Нанни могла видеть только



склонённый затылок мужа и узкую спину, и её поразило, до чего пожилым, даже старым выглядит он со спины.

— А, вот и ты! — сказал он и кивнул ей через плечо.

Его спокойный голос взбесил её. Она коротко ответила:

— Да, это я, — сняла перчатки и швырнула их на диван.

— Ну, славно повеселилась? — невозмутимо продолжал он.

— Роскошно! Потрясающе! Ещё немного, и я вообще никогда не вернулась бы домой.

— Да ну! Интересно, интересно! Ты извинишь меня? Мне осталось совсем немного.

— Ну разумеется.

Дюринг молча продолжал писать, а Нанни, сорвав с головы шляпку, опустилась в кресло на другом конце комнаты. Она полагала, будто муж её не видит, и даже не подозревала, что муж, не меняя позы, может наблюдать за ней в зеркало и что он поровну делит своё внимание между игрой её лица и бойко написанной, невзирая на отвлекающие обстоятельства, статьёй, где он со знанием дела, серьёзным менторским тоном давал читателям «Боргербладет» краткий обзор экономической жизни Италии.

С полчаса в комнате царила тишина. Нанни всё не могла забыть про поражение, которое опять нанёс ей Пер. Она не понимала своей собственной слабости и считала её нестерпимо унижительной. Нет, с ней определённо творится что-то неладное. Ещё в Париже она заметила, что перестала быть прежней Нанни. Не знай она наверняка, что это совершенно исключено, она приписала бы всё беременности. По утрам она часто вставала с мучительной головной болью и страшным головокружением. А причудливые капризы, одолевавшие её! А ужасные сны, — она даже не решалась рассказывать их мужу, настолько они были непристойны...

За четыре-пять дней, которые молодая чета провела в Риме, Пер ещё несколько раз встречался с ними и, судя по всему, его весьма откровенное ухаживание не производило на супруга ни малейшего впечатления. Дюринг относился к нему по-прежнему, с чуть снисходительной учтивостью, но наученная горьким опытом Нанни сама старалась не оставаться наедине с Пером.

Лишь в день отъезда, уже на вокзале, Нанни снова отбросила свою сдержанность. Она не только недвусмысленно пожала на прощанье руку Пера, но перед самым отправлением поезда, стоя у открытого окна купе, с неподражаемым мастерством актрисы бросила на Пера страстный взгляд своих очаровательных глазок, — взгляд, яснее всяких слов говоривший, что в последнюю минуту чувство, с которым она долго и тайно боролась, пересилило её.

В руках у неё был небольшой букет красивых и дорогих цветов — прощальный подарок Пера. И вот, когда поезд тронулся, она уронила на платформу полураспустившуюся розу. Со стороны это выглядело как случайность, но с таким же успехом можно было счесть это и тайным признанием, прекрасным залогом любви.

Пер нагнулся за цветком, не зная, что и думать. Когда он снова поднял голову, в окне уже никого не было. Он провожал вагон глазами, но поезд скрылся из виду, а Нанни так и не выглянула.

Бесцельно проскитавшись весь день по окрестностям Рима, он только к вечеру вернулся домой. В этот день он твёрдо решил порвать с Якобой.

Собственно, такая мысль уже давно приходила ему в голову. Пока он жил здесь, Якоба становилась ему всё более чужой. С каждым днём он дальше отходил от неё. Ему стало ясно, насколько разные они люди и насколько Якоба с её странной и нетерпимой натурой не приспособлена к бесшабашной жизни в своё удовольствие, которая ему, Перу, всегда казалась конечной целью нового Возрождения и всю прелесть которой он полностью осознавал только здесь. Факельные шествия и звон кимвалов должны распугать доморощенную чертовщину. Но, чтобы помочь ему наполнить ликованием собственную жизнь, потребна скорее женщина типа Нанни.

Помимо всего, Якоба была не так уж молода. Его всегда удручало, что она на целый год старше его, а из-за болезненной хрупкости она не выглядела ни на один день моложе



своих лет. И её типично еврейское лицо начало постепенно раздражать его. Когда она в письме рассказала ему, как её по дороге из Бреславля домой оскорбили два немца, его это неприятно поразило, хотя сама Якоба повествовала о случившемся тоном неоспоримого превосходства.

И всё-таки его и сейчас не удивляло, что в своё время он предпочёл Якобу сестре. Он хорошо помнил, при каких обстоятельствах родилось это увлечение; помнил зимний вечер в доме Саломонов, когда Нанни только что вернулась из гостей и взгляд его невольно перебежал с затянутой в шелка празднично сияющей Нанни на Якобу: та сидела над книгой, серьёзная, в чёрном платье, задумчиво подперев рукой подбородок; вспоминая обо всём этом, Пер понял, что и в тот раз он опять стал жертвой сокровенных побуждений, наследственной тяги к Целомудрию, склонности к мрачному самоотречению, которые и прежде не раз непостижимым путём определяли его жизнь и его поступки.

Пер прекрасно сознавал, что разрыв глубоко оскорбит Якобу и причинит ей великую боль. Но ведь не может же он загубить всю свою жизнь из-за одного необдуманного шага? Да и вообще на карту поставлены вещи посерьёзнее, чем женские слёзы. Перед ним стоит такая грандиозная задача, что он просто не имеет права пренебрегать своим редким даром — подчинять своей воле других людей, а особенно женщин. Больше он не намерен себя связывать. В том и беда, что до сих пор он не использовал без оглядки заложенные в нём силы.

Но теперь, наконец, надо поднимать паруса. От Ивэна как раз пришла срочная депеша, в которой он призывал Пера немедленно вернуться домой, чтобы принять личное участие в обсуждении проекта. Обычно Пер по несколько дней не отвечал на письма. Теперь он безотлагательно сообщил о своём приезде. Заманчивый призыв в глазах Нанни увлекал его. Кроме того, было ясно, что настало время действовать. Пора взять управление в свои руки.

Прежде всего нужно, по возможности, бережно подготовить Якобу к предстоящему разрыву. Надо убедить её, что при таком характере, как у него, для неё самой лучше всего расстаться с ним, пока не поздно. Но подобные вещи не делаются сразу. Надо осторожно приучить её к мысли о разлуке, чтобы они могли расстаться друзьями, без горечи и упрёков.

Ему тоже не так-то уж легко отказаться от неё, он обязан ей бесконечно многим, но свою свободу он не отдаст даже ей, ибо он не имеет права рисковать своим будущим. Пора наконец доказать, что он недаром побывал на родине Цезаря, что он выучился прямым путём идти к утверждению своей воли через мутный Рубикон сомнений. И так, *Jacta est alea* — жребий брошен!

## Книга вторая

### Глава XVI

Рано утром, за несколько дней до возвращения Пера, на квартире у адвоката Верховного суда Макса Бернарда собрались те же самые финансисты, которые уже собирались однажды, чтобы обсудить возможность создания открытого порта на западном побережье Ютландии.

Ивэн тоже явился на встречу, хотя и с весьма унылым видом. Пока остальные господа оживленно беседовали, стоя у окна, Ивэн одиноко расхаживал по комнате и нервно перебирал лежащие на столе газеты и книги.

Его крайне удручала неудавшаяся попытка свести Бьерреграва с Пером. Конечно, он и сам не рассчитывал, что Пер сразу пойдет на примирение, но в ответном письме последний так отозвался о полковнике, что это вообще убивало всякую надежду. С отличавшей все его итальянские письма развязностью Пер заполнил полстраницы ироническими замечаниями по адресу полковника и посоветовал выкрасить полковника зеленой краской и вывесить его на колокольне церкви Спасителя «для всеобщего устрашения».

Но Ивэн был в ту пору глух к таким перлам остроумия, тем более что оно казалось неискренним. Он не понимал равнодушия, с каким Пер начал вдруг относиться к своему проекту и судьбам его. Когда Ивэн сообщил ему радостное известие о благосклонной поддержке Макса Бернарда и выразил надежду сколотить в скором времени общество из людей, располагающих большими средствами, Пер коротко ответил:

«Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам».

После того, как все расселись вокруг стола, где уже были разложены чертежи, карты, сметы и т. п., Макс Бернард открыл переговоры и сообщил, что, к великому сожалению, господину Саломону так и не удалось ликвидировать разногласия между полковником Бьеррегравом и господином Сидениусом и потом, рассчитывать на сотрудничество полковника пока нельзя. Следовательно, собравшимся необходимо занять более определенную позицию по данному вопросу, дабы достигнуть окончательного соглашения о составе правления создаваемого общества.

Сразу после него взял слово Ивэн и напомнил присутствующим, что он уже в прошлый раз позволил себе усомниться в возможности сотрудничества между молодым творцом гениального проекта и инженером старой школы. Поэтому он настоятельно просит, невзирая на отрицательный результат его переговоров с полковником, не терять веры в начатое дело. Он лично убежден, что исключительное значение проекта само собой станет понятно широким кругам даже без помощи завистливых устаревших авторитетов, стоит только с должной энергией взяться за дело, и что, если помещать достаточно объявлений — а может, и каким-нибудь иным путем, — им удастся добиться поддержки прессы.

Макс Бернард на это ответил, что он глубоко убежден в огромном влиянии прессы, но отнюдь не убежден в способности широкой публики здраво судить о вещах. Его слова вызвали общий смех. Далее он сказал, что не разделяет точки зрения Ивэна на создавшееся положение и на возможность добиться желанного сотрудничества. Правда, полковник Бьерреграв ясно пообещал им свое содействие и поставил только одно, довольно разумное и скромное, условие, но условие-то до сих пор не выполнено. Поэтому он, Макс Бернард, предлагает еще раз обратиться к господину Сидениусу с более конкретно сформулированным требованием и предложить последнему как можно быстрее устранить чисто личные разногласия между ним и полковником Бьеррегравом.

Ивэн отбивался изо всех сил. Он подчеркнул, что дело вовсе не сводится к устранению личной неприязни. Конфликт здесь гораздо глубже. Это еще одна вспышка извечного спора между старшим и младшим поколением. Полковник Бьерреграв и господин Сидениус и как инженеры, и как люди придерживаются совершенно разных точек зрения, и тут уже ничего не поделаешь.

Макс Бернард перебил его и сказал, что присутствующие здесь господа вряд ли намерены углубляться в теоретические дебри, ибо это решительно никому не нужно. Поскольку все твердо убеждены, что полковник Бьерреграв именно тот человек, который может оказать начинанию необходимую поддержку, и поскольку полковник уже изъявил согласие оказать ее, всякому здравомыслящему человеку должно быть ясно, как следует поступить в данном случае.

Прочие полностью присоединились к мнению Макса Бернарда. И так как тем самым вопрос считался решенным, они перешли к обсуждению курса акций и состояния денежного рынка.

Наконец Макс Бернард заявил, что отныне общество можно считать учрежденным и желательно, чтобы соответствующее сообщение как можно скорей появилось в печати. Несмотря на то, что все присутствующие (за исключением банкира Герлова — доверенного лица Макса Бернарда и молодого Сивертсена — бернардовского подголоска) весьма неодобрительно отнеслись к идее опередить ход событий, уже на другое утро большинство копенгагенских газет вышло с хвалебной статьей о проекте Пера под многообещающим заголовком «Грандиозное общенациональное начинание».

Имя Пера в статье не упоминалось, да и сама статья носила довольно поверхностный

характер и начиналась словами: «На бирже ходят слухи...» Но уже через день те же самые газеты сообщили, что проект поддержан «рядом известных деятелей и высоко уважаемых финансовых учреждений».

Если Макс Бернард поспешил привлечь внимание общественности к проекту, в который он сам почти не верил и который он собирался предать забвению, как только тот сослужит свою службу, то с одной лишь целью: он надеялся таким путем задуть копенгагенский проект еще в зародыше. Он и не назвал газетам имя Пера как раз потому, что желал по возможности дольше скрывать, о каком именно плане идет речь. Ко всему, он совершенно не верил в Пера как в завоевателя, поскольку вообще не испытывал большой любви к отпрыскам датского духовенства. Он однажды видел Пера у Саломонов, и Ивэн тогда всячески старался свести их, но Макс живо смекнул, что этот горластый и самодовольный, словно семинарист, юноша сделан не из того материала, какой ему нужен.

Он даже собирался в случае необходимости совершенно отстранить Пера и заменить его человеком более покладистым; у него уже был такой на примете — некий инженер Стейнер, недавно выступивший в провинциальной газете с другим проектом открытого порта в западной Ютландии; хотя проект был явно заимствован, чтобы не сказать прямо — похищен у Пера, но в отдельных деталях он носил совершенно самостоятельный характер и, уж во всяком случае, отлично годился для выполнения предназначенной ему роли.

\* \* \*

Уже в первых числах мая, несмотря на ветреную и сырую весну, семейство Саломонов переехало в Сковбаккен.

Такая спешка получилась из-за Якобы: она сама изъявила желание как можно скорее перебраться на дачу. Ее привлекала не только сельская тишина, но и свежий воздух и возможность совершать длительные прогулки. Прежде она, вопреки многочисленным недугам, никогда не заботилась о своем здоровье, так как не верила в исцеление, теперь же она начала относиться к себе с преувеличенной бережностью. Обретая цель жизни, она загорелась надеждой, что ее бедное хрупкое тело тоже станет когда-нибудь здоровым и сильным.

Среди многочисленных книг и журналов, загромождавших ее стол, можно было теперь обнаружить медицинские труды и журналы по вопросам гигиены, которые она усердно штудировала. Она предпринимала героические попытки закаляться по-спартански: обливалась ледяной водой и много ходила пешком. Еще в Копенгагене она начала совершать по утрам, даже в дождь и слякоть, прогулки до Лангенлинии и обратно к великому удовольствию всех знакомых с Бредгаде: прикинув к окнам, они глядели, как ровно в девять Якоба размеренным шагом проходит мимо них, раскрыв свой зонтик.

Но эти усилия ни к чему не привели. Все видели, что она угасает день ото дня. Слишком глубокая тоска терзала ее. Под конец ей стал невыносим самый вид людей. И ночи были нескончаемы, как вечность. Легкое жужжание мухи могло вырвать ее из самого глубокого сна.

Однако, настроение у нее портилось редко.

Как ее письма к Перу не содержали ни единой жалобы, так и она — даже в самые тяжелые минуты — была исполнена надежд. С детских лет она настолько привыкла ко всяческим болезням, что они давно уже перестали влиять на ее душевное состояние. Зато другие, тайные заботы угнетали ее.

С каждым днем она все больше убеждалась в том, что беременна. Новые признаки укрепили ее подозрения, хотя матери, когда та начала задавать ей весьма щекотливые вопросы, она, благоразумия ради, отвечала отрицательно. Однако в письмах к Перу она ни словом не заикнулась об этом, тем более что ничего не могла пока сказать с уверенностью, так как у нее и раньше наблюдались некоторые неправильности в работе организма. Даже

мысль о будущем материнстве пугала ее лишь постольку, поскольку она сомневалась, хватит ли у нее сил родить ребенка. Изредка эта мысль озаряла ее слабым отблеском радости, скупой и грустной, как лучи осеннего солнца. Но, в общем, беременность занимала ее куда меньше, чем того можно было ожидать. Всякий раз, стоило ей только вспомнить о своем состоянии, думы ее тотчас устремлялись к Перу. Гораздо сильнее и мучительнее была неодолимая, безысходная ревность.

С тех пор, как решено было вызвать Пера домой, она жила в вечном беспокойстве, однако она ни единым словом не пыталась повлиять на Пера, хотя Ивэн неоднократно о том ходатайствовал. Правда, в глубине души и она не понимала, почему Пер так надолго застрял в Риме, — городе, который первоначально вообще не входил в его маршрут, и где ему, с точки зрения профессиональной, нечего было делать. Если остановка, как он о том писал, и на самом деле была только за недоконченным бюстом, это казалось ей по меньшей мере непростительным легкомыслием.

К тому же, за последние дни она получила от него два на редкость бессвязных письма, — не то чтобы неласковых, скорее наоборот, но письма эти навели ее на серьезные размышления. Впрочем, как только пришла телеграмма, извещающая о скором приезде Пера, все страхи исчезли. Чтобы побыть одной, Якоба ушла в лес. Первый раз за всю жизнь она пожалела, что не верит в бога и некому вознести благодарность и хвалу.

В тот день, когда ждали Пера, она поднялась еще на рассвете и оделась с тем присущим ей спокойствием и самообладанием, которое появлялось у нее в минуты сильнейших душевных потрясений. За несколько часов до того, как ехать на станцию, она была уже совсем готова. Пер прибывал утренним скорым, и она боялась опоздать.

В последние дни установилась хорошая погода. И утром, когда она ехала к поезду, солнце сияло совсем по-летнему.

А Пер тем временем уже вступил в пределы родной земли, — поезд вез его по Зеландии. Настроение у него было неуверенное. Уезжая из Рима, он твердо решил расторгнуть помолвку, но так и не осмелился сообщить о своем решении; поэтому беспокойство не оставляло его все время, пока он укладывал вещи и собирался в путь. И вот он надумал задержаться по дороге в Мюнхене или Берлине и здесь как следует собраться с мыслями.

Но чем дальше он продвигался на север, тем с большей силой пробуждались воспоминания, особенно при виде поросших лесом гор, которые всего лишь несколько месяцев назад были райским приютом их любви. Когда поезд перевалил через Альпы, он всю ночь просидел у окна купе, глядя на озаренные луной склоны. Он узнал лесистый хребет со снежной вершиной, который они с Якобой видели издали во время своих прогулок... и на сердце у него стало очень тяжело.

Тогда он начал торговаться с самим собой. С неосознанным фарисейством истинного Сидениуса он пытался оправдать свою слабость соображениями чисто практического порядка. Он спрашивал себя: разумно ли именно теперь порывать связь, которая может сослужить неоценимую службу в несомненно предстоящих ему боях? Может ли он, взвесив все «за» и «против», отказаться от поддержки, которая всегда будет обеспечена ему со стороны семейства Саломонов? А это единственное соображение, коим сейчас надлежит руководствоваться. Впереди борьба — до полной победы или до полного поражения. У него давно уже чешутся руки начать борьбу. Когда он проезжал мимо немецких городов, полных фабричного грохота, городов с огромными вокзалами и лесом заводских труб, им овладело лихорадочное нетерпение, страстная жажда скорей приняться за работу после римского безделья. Можно ли найти ему оправдание, — так спрашивал он себя, если он поставит на карту дело всей своей жизни или хотя бы только подвергнет его риску ради смазливой бабенки?

У него было достаточно времени для таких раздумий — почти трое суток вез его поезд по Европе. Ни в Мюнхене, ни в Берлине Пер не задержался. Он пересилил себя. Пока ему следует остерегаться всего, что может отсрочить успех его дела или затруднить

окончательную победу. Сейчас все надо принести в жертву делу — все, даже радости любви. Если Якоба и не совсем та женщина, какая ему нужна, все равно — сейчас разумнее не отказываться от однажды сделанного выбора. А с семейным счастьем будь что будет. Люди, которым судьба вверила большое дело, не подвластны обычным обывательским законам. В сердечных делах они, подобно лицам королевской фамилии, должны подчинять личные чувства высшим целям.

Поезд уже въехал под своды копенгагенского вокзала, а Пер все еще пребывал в состоянии мучительной раздвоенности. Но тут произошло нечто совсем неожиданное.

Когда он увидел Якобу — она стояла на платформе и отыскивала его глазами в окнах проплывающих мимо вагонов, — в нем произошел внезапный перелом и теплая волна подкатила к сердцу. Он невольно высунулся из окна и замахал шляпой.

Кстати сказать, Якоба сегодня отлично выглядела. На ней была новая летняя шляпка с широкими полями, которая ей очень шла. От волнения и утреннего холода щеки ее разрумянились. Светлое легкое платье с накидкой из шелковых кружев красиво обрисовывало стройную фигуру... И все это вместе взятое весьма польстило тщеславию Пера — основному чувству в той сложной смеси чувств, из которых складывалось его отношение к Якобе.

Он выскочил из вагона и, хотя на перроне было много народу, немедленно взял ее под руку, не подумав даже, что помолвка их пока считается тайной; рука об руку прошли они через зал ожидания. Он никак не мог опомниться от удивления, видя, что Якоба так помолодела и похорошела и даже меньше похожа на еврейку, чем ему казалось после встречи с Нанни.

Якоба от радости не могла вымолвить ни слова. Но взгляд ее не отрывался от его лица, и когда они пробирались сквозь толпу, у нее так колотилось сердце, что даже Пер, державший ее под руку, слышал его стук. Он улыбался и глядел ей в глаза. Глаза тоже вызвали много нежных воспоминаний. Пер прижал к себе локоть Якобы и шепнул: «Милая...»

Потом они сели в закрытую карету. Якоба бросилась к нему на грудь, и Пер забыл про все сомненья. Карета катила быстро, и не успели они опомниться, как она уже остановилась перед отелем.

Якоба ждала в карете, пока Пер заказывал номер и наскоро приводил себя в порядок после дороги. Затем оба поехали на дачу в той же карете. Решили обойтись без поезда — им слишком много хотелось сказать друг другу, и поэтому они избегали чужих ушей.

Выехав на идущую вдоль берега дорогу, остановились и откинули верх кареты. Жарко припекало полуденное солнце, и воздух был неподвижен.

Пер глубоко дышал. Все его существо было охвачено блаженным чувством свободы после долгих мук в смирительной рубашке сомнений, а сердце переполняла благодарность Якобе за то, что своей красотой и радостью при встрече она полностью оправдала его. Отрадно было сознавать, что жизненный путь угадан безошибочно и честно. Усилия, необходимые для того, чтобы прийти к окончательной сделке со своей совестью, оказались не так уже велики, как он хотел себя убедить. А до чего приятно было чувствовать, что ты снова дома и вокруг тебя звучит родная речь. Рука Якобы лежала в его руке. При взгляде на распутившиеся листья, на парусники, бороздившие залив, Пера охватило чувство благодушия. Вид флага, развевавшегося над какой-то виллой, окончательно растрогал его.

— Господи, наш старый Дапнеброг! — воскликнул он.

Но тут Якоба заговорила о Дюрингах.

— Они только вчера вернулись. Исколесли весь свет. Да, ты ведь встречался с ними в Италии. Как тебе показались их отношения?

— Отношения? Откуда мне знать?

— Я думаю, они уже надоели друг другу. Нанни, во всяком случае, такая же попрыгунья, как и прежде. Она сегодня придет к обеду. Она говорила, что будет рада освежить в беседе с тобой свои итальянские впечатления.



Пер выслушал все это, не глядя на Якобу; при последних словах он даже попытался улыбнуться, но ничего не сказал и искусно переменял тему разговора.

Нанни действительно явилась к обеду, точнее сказать — через полчаса после того, как все сели за стол, и исчезла, не дожидаясь кофе, спешила куда-то в гости. У нее, судя по всему, было превосходное настроение, и выглядела она просто ослепительно в цветастом желтом платье и испанской мантилье из огненно-красного шелка.

Однако критицизм, которым заранее вооружился Пер, сумел отыскать в ней уязвимые места. Особенно несносной ему показалась манера Нанни болтать без передышки. Тогда, в Риме, ее копенгагенский говорок напоминал ему родину, здесь — раздражал. Пер не без удовольствия отметил, что Нанни попросту вульгарна.

И все же он облегченно вздохнул, когда она ушла. Пока она сидела за столом, ему стоило больших усилий сохранить спокойствие и не выдать себя перед Якобой.

Но и после ухода Нанни он не испытал полного удовлетворения. Хотя на оказанную ему встречу жаловаться не приходилось (Филипп Саломон велел даже в честь торжественного события подать к столу шампанское), радость возвращения после первых минут непонятно почему померкла, оставив чуть грустное чувство то ли утраты, то ли пустоты, — он и сам толком не знал какое.

Собственно, как он вспомнил теперь, это настроение было не ново. Хотя ему и нравилось бывать в гостях у будущего тестя, чувствовать себя здесь совсем как дома он не мог.

В образе жизни Саломонов, в обращении членов семьи друг с другом было что-то глубоко ему чуждое. Отнюдь не типично еврейское, не ветхозаветное отталкивало его (семейство Саломонов и их знакомые вообще этим не отличались). Скорее слишком современный, слишком европеизированный тон дома порой действовал на него как ушат холодной воды. Когда после обеда явились, по обыкновению, друзья с окрестных вилл (главным образом евреи), Перу вдруг показалось, что он снова очутился за границей.

Они с Якобой сошли в сад. Рука в руке прогуливались по аллее у самой воды, где меньше было риска наткнуться на гостей.

Впрочем, Якобе теперь не было нужды таиться от всего света. На днях в Сковбаккене ожидался большой прием по поводу бракосочетания Нанни и Дюринга, и Якоба знала, что родители хотят воспользоваться случаем, чтобы огласить заодно и ее помолвку. Особенно на этом настаивала мать, она даже прямо говорила, что не грех бы им тоже подумать о свадьбе. Якоба для того и увела Пера в сад, чтобы потолковать с ним об этом и, кстати, сообщить ему о своей беременности, которая уже не вызывала у нее никаких сомнений.

Но разговор Якоба начала не сразу, сперва она просто брела по дорожке, склонив голову ему на плечо и то и дело подставляя ему губы для поцелуя. Пер отвечал на ее пылкие ласки с некоторой робостью. Он понял, что Нанни до сих пор не безразлична ему. Всякий раз, когда губы Якобы касались его губ, тень Нанни вставала между ними и смущала его.

Невольно заразившись сдержанностью Пера, Якоба решила повременить с признанием, тем более что она совершенно не представляла себе, как к этому отнесется Пер. Под конец она вообще решила дожидаться более благоприятного момента, когда они опять будут всецело принадлежать друг другу.

Тут она снова остановилась и, прижимая руку Пера к своему сердцу, попросила его на другой день никуда с утра не уходить: она сама приедет к нему в отель.

Пер сперва сделал вид, будто не понимает, о чем идет речь, и сказал:

— Увы, дорогая, это невозможно! Я как раз обещал через Ивэна быть к десяти часам на деловой встрече у Макса Бернарда. Пора приниматься за работу!

— Ну значит не с утра, а попозже. Когда тебе будет удобно.

— Нет, так нельзя. Здесь мы должны соблюдать осторожность.

Она с удивлением взглянула на него. Смешок, которым Пер сопровождал свои слова, показался ей оскорбительным.

Она побрела дальше, не возобновляя прерванного разговора.

Аллея кончилась, они вышли на берег. Здесь, у самой воды, стояла скамейка под грибом. Солнце только что зашло, и под небом, затянутым розовыми облачками, Зунд отливал металлическим блеском. Сверкали высокие песчаные берега острова Вен. Из Дюрехавсна доносился тот неумолчный шум, что надолго остается в лесу, даже когда все ветры давно уже улеглись на покой. Если не считать этого шума, вокруг было тихо. Они могли отчетливо слышать плеск весел с далекой-далекой лодки.

Чтобы избежать неприятных расспросов, Пер принялся бросать в воду камешки. На это он еще с детства был великий мастер, и его порадовало, что после столь длительного перерыва он не забыл свой бросок. Якоба, чуть подавшись вперед и подперши ладонями подбородок, наблюдала за ним. Всякий раз, когда Пер после удачного броска поворачивался к ней, ища одобрения, она улыбалась и кивала ему, но стоило ему отвернуться, как лицо ее опять становилось серьезным и задумчивым лицом человека, погруженного в свои мысли.

— Видела?.. Целых восемь кругов! — ликовал Пер.

Он очень увлекся своим занятием и заботливо отбирал подходящие камни, потом даже снял для удобства сюртук. Радость возвращения, померкшая было среди людей, вновь вернулась к нему на пустынном берегу. Мягкий шорох волн, набегающих на песчаный берег, глухой плеск весел невидимой лодки, неумолчный шум леса за спиной — все-все ласкало слух и наполняло радостью сердце Пера. Он не стал ничего объяснять Якобе, но ему казалось, что эти звуки сливаются в милое и родное «добро пожаловать», которого ему так не доставало прежде.

\* \* \*

Пер условился с Ивэном, что тот на другое утро зайдет к нему в отель и они вместе отправятся к Максу Бернару, куда обещали явиться и другие заинтересованные лица. Уставший с дороги, утомленный множеством противоречивых впечатлений дня, Пер рано отклонялся в Сковбаккене, а дома тотчас же лег, заснул глубоким сном и проснулся только от трамвайных звонков.

Когда он немного пришел в себя и сообразил, где находится и какие важные дела ему предстоят, сон тотчас же отлетел от него, и он поспешно встал.

Несмотря на известную неприязнь к этим незнакомым ему дельцам, которым он должен теперь во всем довериться и ради которых должен поступиться какой-то частью своего «я», он горел желанием начать работу; своим присутствием он надеялся вселить больше храбрости в нерешительных и лишенных фантазии биржевиков, дать им более ясное представление о стоящих перед ними задачах.

Подвешивая зеркало для бритья на оконный переплет, Пер глянул на площадь перед отелем, увидел проходивших внизу людей, да так и застыл с кисточкой в руках. Это был так называемый Сенной рынок, — длинная площадь неправильной формы, она как бы олицетворяла незавершенность и запущенность, свойственные всему городу. Между наскоро возведенных «палаццо», ничем не отличавшихся по стилю от современных европейских кафе, громоздились остатки старинного крепостного вала, и на нем — уцелевший кусок аллеи с раскидистыми вековыми деревьями; в одном месте этот совершенно сельский пейзаж дополняла ветряная мельница, и тень ее крыльев при каждом обороте перечерчивала каменную мостовую.

Резкий солнечный свет заливал большую площадь, все еще мокрую и грязную после ночного дождя. Был тот шумный утренний час, когда центр города с его магазинами, конторами, школами и модными мастерскими всасывает население из пригородов. Сплошной поток людей вливался через Вестербру и растекался по двум рядам булыжника, проложенным по грязи.

«Датский народ!.. Сидениусы мои дорогие!» — подумал Пер, улыбаясь этим приземистым — если смотреть сверху — фигуркам, из которых каждая казалась ему

знакомой и все походили друг на друга, как близнецы.

Пер задумался.

Итак, он может взяться за осуществление своего великого преобразовательного плана. Как-то даже трудно себе представить. После долгих лет сомнений, раздумий, после долгих приготовлений и тщетных надежд, наконец-то сегодня, четырнадцатого мая, будет заложен первый камень в основание нового царства, которое рождалось из хаоса мыслей с самого детства, с одиннадцати лет. А под окном течет ничего не подозревающая толпа — сырье для будущей Дании, мертвая глина, которую он, подобно богу, должен лепить по образу и подобию своему и вдохнуть в нее жизнь.

Пер снова улыбнулся и начал намыливать щеки. Теперь он понимал, что во всем этом есть какая-то доля безумия, но безумие не пугало его. Напротив, приятно и успокоительно было сознавать, что есть в тебе этакая сумасшедшинка, о которой еще в Риме говорил маленький, преисполненный житейской мудрости художник, — та самая, без которой ни один человек не мог бы одержать ни одной сколько-нибудь значительной победы над себе подобными.

Покончив с бритьем, Пер позвонил горничной, и та принесла ему свежие газеты и утренний кофе. Он был голоден, а вид стола, уставленного настоящими датскими кушаньями, раздразнил аппетит. До чего вкусными показались ему и черный хлеб, и соленое масло, которых он не пробовал много месяцев подряд.

Пер давно уже не ел с таким удовольствием. Зато газеты он просмотрел весьма небрежно. Внутренние дела страны его мало занимали, статьи о театре, литературе и выставках он, по старой привычке, пропускал.

Вдруг Пера словно что-то толкнуло, и лицо у него мгновенно окаменело. Взгляд его случайно упал на объявление, где упоминалось имя его сестры Сигне: «Уроки музыки для начинающих», — так начиналось объявление; под именем Сигне был указан адрес — где-то в районе Вестербру, на одной из узких улочек, у начала Гамле Кунгевей.

Живя в Италии, Пер совершенно забыл про свою семью. Правда, несколько раз (как и в Дрезде) он просыпался среди ночи от какого-то толчка, и это означало, что ему приснилось, будто он снова живет в пасторском доме; но наяву за последние месяцы он ни разу не вспоминал о родных. Умышленно — словно в молодые годы — он отвратил свое сердце от этих воспоминаний; но теперь уже не из духа противоречия и не из чувства неприязни — нет, он просто понял, как необходимо для него сейчас (и как было необходимо прежде) освободиться от всякого рода семейных уз, чтобы тем надежнее сохранить свою независимость. Он пытался оправдать себя тем, что следует заповеди Христа: оставить отца своего и мать свою и последовать внутреннему зову души, дабы вступить на путь совершенствования.

Пер не мог оторвать глаз от маленького объявления. Он вспомнил, что еще когда хоронили отца, шел разговор о том, чтобы ради близнецов переселиться в Копенгаген к началу апреля.

Один из них устроился на работу к копенгагенскому аптекарю, другой — в книжную лавку; а теперь, значит, почти вся семья перебралась сюда.

Тут к нему постучали, и в номер, словно пушечное ядро, ворвался Ивэн с огромным портфелем под мышкой.

Он принес цветы и привет от Якобы, присовокупив к нему, по собственной инициативе, привет от родителей, чтобы тем самым дать Перу понять, что старики очень рады его приезду; кстати, он отнюдь не преувеличивал. Филипп Саломон действительно был весьма приятно удивлен переменами, которые произошли в Пера.

— А теперь за дело! — нетерпеливо перебил его Пер и вскочил со стула; он был еще без сюртука и в домашних туфлях.

— За дело-то, за дело! — уныло повторил Ивэн и повалился в кресло, держась одной рукой за шею, словно его вдруг начал душить воротник. Он не знал, с чего начать, как ознакомить Пера с положением дел и как подготовить его к безоговорочному требованию,

которое будет выдвинуто на предстоящей встрече.

Чтобы выиграть время, он начал пересказывать уже изложенный в письмах отчет о первой встрече и о различных мнениях по поводу проекта.

Пер время от времени бурчал себе под нос какое-нибудь замечание. Он снова устроился перед зеркалом, тщательно вывязывал галстук и не уделял особого внимания Ивэну. Мысли его все время обращались к матери. У него просто не укладывалось в голове, что она живет в том же городе — даже где-то поблизости, может всего в какой-нибудь тысяче шагов.

— Позволь задать тебе один вопрос, — начал Ивэн после некоторого молчания донельзя жалобным голосом.

— Задавай.

— Скажи... как бы... вот бы... я хочу спросить, мог ли бы ты помириться с Бьеррегравом?

Пер медленно повернулся к нему. В первую минуту он не знал, разозлиться или обратить все в шутку. Потом избрал последнее.

— Слушай, дитя мое, — ответил он, снова повернувшись к зеркалу. — Я думаю, что вы все немножко помешались на этом старом хрыче. Он вбил вам в голову, что вы без него не обойдетесь. Так вот, кланяйтесь ему от моего имени и передайте, пусть-ка он катится... и так далее. Только, пожалуйста, не пугайся. Если собака лает, значит она боится укусить.

— Конечно... до некоторой степени... разумеется, ты прав, — ответил Ивэн. — Само собой... если так рассуждать... глупо придавать его поддержке решающее значение. Но, с другой стороны, поскольку наших дорогих единомышленников нельзя разуверить в совершенной необходимости Бьерреграва и поскольку он сам вызвался помочь нашему начинанию... нос одним условием, следовательно...

— Что следовательно?

— Ничего, я просто думал, — Ивэн скорчился как от колик, — я просто думал, что ради пользы дела... если бы ты согласился на такую... такую уступку, которой он... он требует.

— Все вздор, мой милый. Ты просто не понимаешь, о чем говоришь. Теперь я сам буду иметь дело с вышеупомянутыми единомышленниками; не так уж они, надеюсь, глупы, чтобы не понять, что я не хочу и не могу согласиться ни на какую опеку.

— Об этом никто и не говорит, дорогой мой! Они только ради широкой публики хотели заручиться его именем. Я могу гарантировать тебе самый любезный прием Бьерреграва. С тех пор как газеты опубликовали сообщение о твоём проекте, он от волнения мечется как курица с яйцом. Мне дядя рассказывал.

— А мне плевать. Я не желаю больше слышать об этом.

— Выслушай еще одно слово! Ты знаешь, обычно я всячески поддерживаю твоё стремление к независимости. Но здесь — ты уж прости, пожалуйста, — здесь ты не прав. Особенно в том, что касается Макса Бернарда...

Но при упоминании этого имени у Пера лопнуло последнее терпение. Он резко повернулся к Ивэну и сказал:

— Оставь меня в покое с вашим Бернардом! В конце концов я здесь решаю, черт побери! И ни о чем не заботься. А теперь пошли.

Когда полчаса спустя они появились в элегантном, обставленном на парижский манер кабинете Макса Бернарда, там уже все были в сборе, кроме банкира Герлова и самого хозяина. Собравшиеся столпились возле одного из высоких окон кабинета и встретили Пера с типичным для биржевиков холодным высокомерием.

Пера это на какое-то мгновение обескуражило. Он ждал не такой встречи. Скорее, он опасался, что они все полезут к нему с непрошеными любезностями, потому что надеются понажить на его проекте. А они вместо того еле-еле ответили на его поклон. Да ко всему еще «бывший землевладелец» весьма бесцеремонно выпучил на него свои пороссячие глазки с белыми ресницами и, здороваясь, даже не вынул рук из карманов.

Пер смерил его взглядом и, обернувшись к Ивэну, который ведал церемонией знакомства, сказал:

— Я что-то не расслышал имени этого господина.

— Господин Нэррехаве, — шепнул Ивэн, переминаясь с ноги на ногу. Он был совершенно сражен вызывающим поведением друга перед лицом людей, от которых зависела его судьба.

— Ах, вот как, — протянул Пер и, в свою очередь, уставился на дородного землевладельца, пока тот, побагровев, не повернулся спиной к Перу с презрительным фырканьем. Впрочем руки из карманов он все-таки вынул и заложил за спину, под полы сюртука.

А дело объяснялось просто: все эти господа очень и очень сомневались, разумно ли они поступили, обещав поддержать своим именем авантюру, которая не внушала им ни малейшего доверия и в которую они ввязались только из-за своей несокрушимой веры в Макса Бернарда. Многие считали Пера ловким пройдохой, сумевшим — вот редкая удача! — обвести вокруг пальца самого Макса Бернарда. И беспокоились они лишь о том, как бы покрасивее выпутаться из этой истории, не прогневав Макса Бернарда.

Но тут из соседней комнаты появился сам Берnard вместе с банкиром Герловым. Все уселись вокруг большого стола посреди комнаты, после чего медленно, со скрипом начались переговоры. Сперва речь, однако, шла о вещах, почти не имеющих касательства к проекту Пера. Одни возобновили прерванный ранее разговор, другие вообще без всякой связи толковали о делах, им интересных, обсуждали биржевые новости, передавали всевозможные сплетни, а молодой Сивертсен даже начал рассказывать своему соседу анекдот об одной из популярных копенгагенских актрис.

Максу Бернardu пришлось несколько раз постучать линейкой по столу, чтобы призвать собравшихся как можно скорее перейти к делу.

— Итак, господа, мы находимся в Ертингском заливе. Попытаемся же превратить в акции наше всеми воспетое Северное море! — начал он тем шутливым тоном, каким всегда начинал переговоры, даже самые важные.

Ивэн вертелся как на углях. Он украдкой грустно поглядывал на свояка. Тот сидел, откинувшись на спинку стула, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Правда, Пер отвечал пока — хоть и очень коротко и неприветливо — на изредка задаваемые ему вопросы, но при этом так трясся от злости. Сперва он пытался отнестись ко всему происходящему свысока. Он говорил себе, что ничего другого и не ожидал от людей, которые откровенно интересуются только барышами. Но долго сдерживаться он не умел. К тому же, он все еще не мог опомниться, с тех пор как узнал о переезде родных в Копенгаген. Хотя он и не думал об этом, все равно оставалось какое-то неосознанное гнетущее чувство, от которого он раздражался еще больше. Ему очень хотелось просто встать и уйти.

Когда он видел, как эти биржевые акулы снисходительно, небрежно и бестолково говорят о деле, которое столько лет занимало все его помыслы, составляло всю его жизнь, ему казалось, что они его самого обнюхивают и ощупывают.

Пер не замечал неотступного, внимательного взгляда с того конца стола, где, облокотившись о ручку кресла и подперев красивой белой рукой темноволосую голову, сидел Макс Берnard. Под глазами его легли синеватые тени, тяжелые припухшие веки были привычно полуопущены, так что никто не видел, куда смотрит Макс Берnard; а смотрел он на одного Пера.

Внимание Бернарда привлекли стиснутые зубы и жилы, набухшие на высоком, выпуклом лбу Пера, ибо именно Берnard нередко говаривал, что в своем завещании назначит премию тому, у кого окажется хоть сколько-нибудь необычная голова среди скопления круглоголовых, именуемого датской нацией.

Бернарда поразила яркая и вполне европейская внешность Пера, совершенно не соответствовавшая тому представлению, которое сложилось у него после их первой встречи в доме Филиппа Саломона. Там Пер показался ему неаппетитной помесью семинариста с



прихлебателем. Неужели он так ошибся? Неужели датское пасторство породило в порядке исключения настоящего мужчину?

Непримиримость, с какой Пер относился к Бьерреграву, предстала теперь перед ним в новом свете. И он впервые задумался: а стоит ли ему ввязываться в это дело? Ничто не страшило Бернарда до такой степени, как люди, чью волю он не мог подчинить своей.

Из-за некоторой двусмысленности занимаемого им положения, он видел врага и соперника во всяком, кто не хотел склониться перед ним. И чем больше он разглядывал Пера, тем ясней ему становилось, что это человек опасный и потому его надо как можно скорей обезвредить или вообще убрать с дороги. Ведь уже есть на примете подходящая кандидатура — пронырливый инженер Стейнер; а поскольку у него хватило предусмотрительности ни разу не упомянуть имя Пера в связи с проектом, подмену можно совершить так, чтобы публика ничего не узнала.

Тем временем разговор зашел о том, как добиться поддержки со стороны печати. Банкир Герлов отеческим тоном сказал, что Перу следует не мешкая побывать в нескольких редакциях как столичных, так и провинциальных газет. Он перечислил названия некоторых крупных изданий и порекомендовал предварительно заручиться необходимыми полномочиями, чтобы посулить газетам некоторые суммы на объявления. «Кое-где к этому очень благосклонно относятся», — пошутил он.

Пер сделал вид, будто ничего не слышит, и даже отвернулся.

Но тут слово взял Макс Бернард. Он всецело присоединился к предложению своего друга и, кроме того, поднял вопрос о полковнике Бьерреграве. Привычным шутливым тоном он сказал Перу:

— Очень неприятно, что вы с полковником, если верить слухам, когда-то вцепились друг другу в волосы, — конечно, не в прямом смысле, ибо полковник, как и большинство полковников — увы! — лыс.

Кругом заулыбались; молодой Сивертсен издал нечто вроде ослиного крика, а у Пера побелели губы.

— Как я уже сказал, это крайне неприятно, — продолжал Макс Бернард, — ибо полковник Бьерреграв — один из наших наиболее уважаемых специалистов и мог бы принести делу максимум пользы, не говоря уже о том, что он крайне неудобен, я бы даже сказал — опасен в качестве противника. Вам, вероятно, известно, что мы уже добились согласия полковника участвовать в работе, при условии, что первые шаги к установлению контакта будут сделаны именно вами; учитывая его возраст и общественное положение, это требование вряд ли можно назвать чрезмерным.

Все устремили взгляд на Пера, потому что его поведение вызывало среди них скрытую растерянность. И ответ Пера не заставил себя долго ждать.

— Я решительно протестую против какой бы то ни было опеки, — начал он, — я разработал план без посторонней помощи и впредь тоже не желаю обзаводиться сотрудниками.

Ивэн так и ахнул. Да и прочие были совершенно потрясены: настолько дико им показалось, что нашелся человек, и вдобавок молодой и никому не известный, который дерзнул открыто воспротивиться намерениям Макса Бернарда. И с самого Макса Бернарда чуть было не упала маска шутливости. Однако, он успел подхватить ее на лету и, чтобы помочь Перу исправить допущенную бестактность, сказал с улыбкой:

— Господин Сидениус, по-видимому, встал сегодня не с той ноги! — Потом, обернувшись к Перу, добавил: — Как вы можете столь непримиримо относиться к старому, почтенному человеку, к ветерану войны и защитнику родины? Да таких людей целовать надо!

Помня свои обязанности, господин Сивертсен пронзительно расхохотался, но вдруг умолк и поперхнулся, так как заметил, что остальные сохраняют полную серьезность. Тут Пер совершенно перестал владеть собой. Он ударил кулаком по столу и, весь побелев, поднялся с места.

— Я хочу напомнить господам присутствующим, что я нужен им, а не наоборот. И посему считаю, что условия здесь выдвигаю я, а не вы и никто другой.

Он сел среди ледяного молчания. Все взоры обратились к Макс Бернару, но тот по-прежнему сидел, подперев голову рукой и полускрыв глаза. На его бескровном лице появилось то зловещее, застывшее выражение, которое появлялось каждый раз, когда он мысленно выносил кому-нибудь смертный приговор. Он успел обменяться быстрым взглядом с Герловым. Герлов положил руки на стол, его крупная тяжелая голова свесилась на грудь, словно он дремал сидя, на деле же он был весь внимание и едва заметным утвердительным кивком решил судьбу Пера.

— Итак, вы намерены, — с хорошо разыгранным равнодушием начал Макс Бернард, не идти на уступки, угодные полковнику Бьерреграву, а следовательно и нам.

— Да, намерен.

— Это ваш окончательный ответ?

— Да, окончательный.

— Ну, что ж, господа, больше говорить не о чем. Поскольку наше предложение не принято, мы умываем руки. Я вряд ли ошибусь, если скажу, что мы и раньше относились к этому делу без особого воодушевления, а посему нет нужды сетовать по поводу прискорбных результатов.

С этими словами Макс Бернард встал. За ним поднялись и остальные, облегченно вздыхая, ибо так неожиданно просто удалось развязаться с мертворожденным, на их взгляд, проектом. Лишь немногие были недовольны столь стремительным исходом дела. И пуще всех — землевладелец Нэррехаве, на которого Пер произвел большое впечатление. Когда Пер, наспех попрощавшись, в сопровождении Ивэна пулей вылетел из комнаты, Нэррехаве проводил его взглядом своих свиних глазок.

Как только за Пером закрылась дверь, Макс Бернард заговорил снова:

— Нет нужды убеждать вас, что я вовсе не собираюсь отказываться от проекта открытого порта. Я даже могу вам сообщить, что в самом ближайшем будущем мы займемся другим и — как мне кажется — гораздо более разумным проектом. Итак, до скорой встречи, господа.

\* \* \*

Тем временем Якоба в подавленном настроении прогуливалась по Сковбаккену. Напряжение последних дней, когда она считала часы, отделяющие ее от встречи с Пером, оказалось чрезмерным и сменилось полным упадком сил. Да и встреча ее разочаровала куда больше, чем она признавалась самой себе.

Ее не покидала мысль, что Пер очень переменялся. Он стал выдержаннее, собраннее, но эта перемена, так обрадовавшая старших Саломонов, только огорчила ее, потому что напоминала о странном тоне его последних писем из Италии. Если новая манера держаться — не более как напускная развязность, она с этим быстро справится, потому что Пера такая развязность ничуть не красит. Она любила его неотесанным медведем, каким он был, когда они познакомились, каким был и два месяца назад, в Лаугенвальде. Всякий раз, когда они вместе бывали на людях, Якоба с тайным трепетом ждала, что вот-вот Пер надерзит или досадит кому-нибудь, но мученичество ее было добровольным, и она не желала отказываться от него. Она словно боялась, что разлюбит Пера, когда люди по достоинству оценят его. Пока Якоба предавалась своим невеселым думам, вернулся Ивэн. Она с матерью сидела в беседке, когда он ворвался к ним с неизменным портфелем под мышкой и сообщил о результатах встречи у Макса Бернарда.

Выслушав Ивэна, Якоба сперва даже рассмеялась. Случившееся неожиданно показалось ей страстным протестом против всего, что она передумала, а вид ошеломленной матери и чуть не плачущего брата даже доставил ей некоторое удовлетворение. Теперь она

снова узнавала в Пере своего прежнего дикаря.

Но радость длилась недолго, скоро и Якоба помрачнела. Поразмыслив толком и выслушав от Ивэна рассказ, как необдуманно и безрассудно вел себя Пер, она рассердилась еще сильнее, чем Ивэн и мать, и ощутила жгучий стыд за Пера. Она не столько думала о том, что Перу — а следовательно, и ей — теперь предстоит (хотя перспектива опять жить одними надеждами на будущее при ее положении казалась мало заманчивой), сколько сердилась из-за проявленного Пером равнодушия ко всему, что сделал отец, и особенно Ивэн, ради него.

После обеда Пер прислал телеграмму, что собирается быть у них. Она пошла лесом встречать его, и уже издали он с улыбкой закричал ей:

— Слышала новость? Я, по примеру Христа, изгнал торгашей из храма.

Это начало еще больше огорчило Якобу, хотя она отлично поняла, что Пер таким способом стремится скрыть свое смущение. Если бы Пер обнял ее и остановил поцелуями поток упреков, — о, тогда она тотчас бы простила ему все и забыла все свои горести на его груди. Но ничего подобного Пер не сделал. Он сразу прочел неодобрение на ее лице, и, хотя сам был несколько огорошен печальными результатами переговоров, на которые он возлагал такие надежды, немой укор Якобы обидел его и показался ему несправедливым. Он ждал, что уж она-то полностью поймет его и оценит значение того вызова, который он бросил биржевым воротилам, ибо она всегда с горечью говорила об этих бессовестных вымогателях и возмущалась тем, что человек, подобный Максу Бернарду, может стать одним из столпов современного общества.

Но после первой же неудачи оказалось, что и Якоба ничуть не лучше, чем остальные, подумал Пер с горечью. В ней тоже жив торгашеский дух и дожидается только удобного случая, чтобы одолеть ее гордость. У евреев тоже есть свои идолы: самые свободомыслящие из них и те исполнены суеверного преклонения перед звоном золота и всегда пребудут рабами золотого тельца.

Они дошли до опушки леса. Несмотря на усталость, Якоба не хотела сразу идти домой и села на скамью под деревом. Она отодвинулась и подобрала юбку, словно приглашая Пера занять место рядом с ней. Но Пер не стал садиться. Он продолжал расхаживать перед скамьей, засунув кончики пальцев в жилетные карманы, и пытался объяснить мотивы, которые побудили его поступить именно так, а не иначе. Якоба откинулась на спинку скамьи и положила на нее руку. Провожая глазами каждое движение Пера, она опять подумала о том, как он изменился. «Что могло с ним произойти?» — размышляла она, и впервые в ее пытливых черных глазах мелькнула тень недоверия. Не утаил ли он от нее что-нибудь такое, чем и объясняется его странная несдержанность? Может, и его вчерашняя замкнутость и сегодняшняя раздражительность имеют одну и ту же основу?.. А его последние итальянские письма?.. И почему он так долго раздумывал, прежде чем вернуться?

Она провела рукой по нахмуренному лбу, словно желая отогнать мрачные мысли. Она ни в чем не хотела подозревать его.

— Больше всего мне жаль Ивэна, — сказала она, чуть отвернувшись. — Просто трогательно, до чего он старался. Я думаю, он вряд ли бы хлопотал больше, даже если бы речь шла о его собственном будущем.

Сперва Пер не хотел ей отвечать. Его начинали мало-помалу раздражать вечные разговоры о заслугах Ивэна, которым сам он не придавал особого значения.

— Досадно, досадно. Мне и впрямь очень жаль твоего брата... но тут уж ничего не попишешь. Ивэн должен был с самого начала понять, что меня не следует сводить с такими людьми.

— Ты ведь сам его уполномочил.

— Да, но я не знал их. А ты бы видела это мещанское высокомерие: они все сидели с таким видом, будто оказывают мне величайшую честь, согласившись нагреть руки на моем проекте. Если люди нового времени именно таковы, то мы попали из огня в полымя.

— Как же ты теперь намерен поступить? — спросила Якоба после недолгого молчания.

— Очень просто: продолжать начатое дело. Доказывать, писать, бить в набат, покуда

народ не услышит меня. Не с одними же биржевыми акулами мне разговаривать. Подумай только, у них хватило наглости предложить мне, чтобы я расшаркивался перед редакторами газет! Ну что ты скажешь? Унижаться перед писаками дюринговского уровня!

— Ну и что же?

Он внезапно остановился и с нескрываемым удивлением посмотрел на нее.

— Ты это, кажется, одобряешь?

— Если бы это пошло на пользу делу, в чем я не сомневаюсь, почему бы тебе и не походить по редакциям?

— Ты серьезно так думаешь? Нет, сегодня ты меня просто изумляешь.

— Я думаю, что если человеку надо заручиться поддержкой, необходимой ему по тем или иным причинам, с его стороны будет очень неглупо, если он для начала признает власть тех, кому она действительно принадлежит, не вдаваясь при этом в подробности, как и каким путем они ее получили.

— Извини, пожалуйста, но я придерживаюсь другой точки зрения насчет обязанностей человека по отношению к себе самому. Я вообще не понимаю, почему поклоняться золотому тельцу менее позорно, чем поклоняться распятию? А после сегодняшней истории у меня такое отвращение ко всяким деловым махинациям, что вряд ли оно скоро пройдет.

Якоба ничего не ответила. Ее мучило, что Пер только и думает, как бы лучше оправдаться. Ей хотелось, чтобы он прекратил свои объяснения, которые в ее глазах были лишь уловкой, лишь судорожной попыткой убедить самого себя.

Но Пер не умолкал. Очевидное и полное неодобрение Якобы, явный отказ понять те причины, которые заставили его взбунтоваться, и, наконец, собственное бессилие, неспособность объяснить и Якобе, и себе самому внутренние мотивы, побудившие его поступить именно так, — все это вместе взятое подстрекало его к бою.

— Меня просто умиляют твои восторги по адресу Макса Бернарда и всей его клиники. Это у тебя что-то новое. Надеюсь, это не результат сегодняшних событий?

— Будем считать, что последнего я просто не слышала, — ответила Якоба с неизменным спокойствием, но очень серьезно. — Прежде всего, я вообще не припомню, когда это я выражала восторги, а тем более по адресу Макса Бернарда, хотя я и полагаю, что сам он несколько лучше, чем его репутация. Я случайно узнала, что он тайком занимается благотворительностью и помогает нескольким бедным еврейским семьям в Копенгагене.

— Вероятно, чтобы искупить то зло, какое он причинил сотням семейств по всей стране. У него, наверно, немало загубленных судеб на совести.

— Ну да, ведь он воитель. Говорят, он даже сказал однажды: «Война — это мое ремесло». Он беспощаден и непримирим, а временами даже жесток. Поэтому в свое время я серьезно задумывалась над его все растущим могуществом, тут ты совершенно прав. Но может быть, я его ошибочно понимала и вообще недооценивала таких людей. Может быть, именно такие люди и нужны в стране, где постепенно начинают забывать, как выглядит настоящий, волевой человек.

— Ах, значит он вообще идеал и наставник для нас всех?

— Возможно. Во всяком случае — завоеватель. В нем есть что-то от Цезаря.

— А скажи-ка, сколько самоубийств, как говорят, произошло по его вине?

— Глупая болтовня.

— Но ты ведь должна признать...

— Ну а если даже так? Именно шум, который поднимается всякий раз, когда он использует свою власть, чтобы обезвредить очередного противника или продвинуть соратника, яснее ясного доказывает, с каким трудом до нашей публики доходит тот факт, что если ты принимаешь цель, то должен принять и средства, а не препираться без конца с самим собой и другими.

Пер молча поглядел на Якобу. Слова ее подействовали совсем иначе, чем она того хотела или могла предложить.

— Ишь какая ты прыткая! — сказал он, с трудом удержавшись от грубости. Ему

хотелось сказать ей, что коль скоро он начнет руководствоваться идеями, которые она так рьяно проповедует, то сегодня они разговаривают в последний раз. Но сказал он только, что не ей поучать его именно в этом вопросе. Ибо он может заверить ее, что со своей стороны, неоднократно имел случай взвесить цель и средства, и даже в вопросах более значительных, нежели сегодняшних. Вообще же против выдвинутого ею положения возразить нечего; его только удивляет, как она могла докатиться до того, чтобы защищать проходимца, подобного Максу Бернарду, человека, чьи низменные намерения сводятся к одному: удовлетворить дешевую жажду власти или, точнее говоря, набить карман; защищать проходимца, который каждым своим поступком лишь доказывает, что он просто зловредный и гнусный... — Тут Пер хотел было сказать «еврей», но вовремя спохватился и сказал: «биржевой разбойник».

— Однако, я допускаю, — добавил он, пожав плечами, и отвернулся, — я допускаю, что в тебе от природы заложены предпосылки для того, чтобы защищать таких людей. А у меня их, к сожалению, нет.

Якоба метнула на него быстрый взгляд, но промолчала и снова отвела глаза.

— Впрочем, как я уже говорил вначале, — продолжал Пер, — вся эта история не стоит такого шума. Ты воспринимаешь ее до смешного серьезно. У тебя вообще появилась роковая слабость к контурнам.

— Не к контурнам, Пер, а к котурнам.

— Не умничай, пожалуйста, хоть сегодня.

— Нет уж, изволь говорить, как положено. Еще не хватало, чтобы ты занялся преобразованиями в области орфографии.

Так и пошло. Одно горькое и оскорбительное слово влекло за собой другое, пока Якоба вдруг не закрыла глаза рукой и не заставила себя успокоиться. Нет, нет! Она ни в чем не хочет подозревать его. Она отвратит слух свой от голоса ревности. Она не желает думать об опасности.

Якоба встала и, взяв в свои руки голову Пера, заставила его посмотреть ей прямо в глаза.

— Пер, — сказала она, — ну как нам с тобой не стыдно? Лучше поцелуй меня, и забудем все злые слова, которые мы наговорили друг другу. Ты можешь даже сказать, что во всем виновата я, только будь опять хорошим. И давай пообещаем друг другу, что ничего подобного с нами больше не случится. Хорошо? Тогда поклянемся!

Пер сразу размяк. В эти дни он не мог устоять перед ласковым словом.

— Ты права. Мы ведем себя глупо. Но я так надеялся, что уж ты-то наверняка одобришь мое поведение. Я знаю, что теперь мне еще больше, чем прежде, нужна будет твоя поддержка и понимание.

— В этом тебе никогда не будет отказа, — сказала Якоба.

И они скрепили примирение долгим поцелуем.

\* \* \*

За обедом в Сковбаккене царил весьма подавленное настроение. Филипп Саломон еще в городе узнал, чем кончилось дело, и за столом не произнес ни слова. Да и вообще в этот день говорили мало, и только веселая болтовня малышей немножко смягчала общую напряженность.

Пер сидел во всеоружии, на лице его была написана готовность к бою. По тому, как отнеслись к происшедшему Ивэн и Якоба, он понял, что и старики потребуют объяснений и, может быть, даже сошлутся на свои права, ибо в последнее время он жил на их счет. Поэтому он держался настороже, твердо решив отучить кого бы то ни было вмешиваться в его дела.

Но прибегать к самообороне ему не понадобилось: Филипп Саломон, раз и навсегда определивший свой взгляд на самого Пера и на его преобразовательные идеи, по счастью



удержался от искушения прочитать Перу небольшую лекцию о том, что считается в деловом мире допустимым, а что нет. И даже будущая теща не проронила ни единого слова о случившемся. После обеда Якоба и Пер спустились в сад. Они шли под руку, но, несмотря на состоявшееся в лесу примирение, прежняя близость не возвращалась. Боясь сказать что-нибудь такое, от чего снова вспыхнет спор, они скрывали свои истинные мысли и болтали о всяких пустяках. Поэтому Якоба никак не могла заставить себя заговорить об оглашении их помолвки, а еще меньше — сказать о своем положении; Пер, со своей стороны, никак не мог рассказать о переезде его семьи в Копенгаген, хотя это событие, несмотря на все тревожения дня, по-прежнему занимало его.

Вдобавок, он боялся, что в Сковбаккен явится Нанни: за столом говорили, что Нанни, в расчете на завтрашний прием, может приехать вечером и заночевать здесь. Поэтому Пер все время прислушивался к доносившимся из дома звукам и прилагал огромные усилия, чтобы скрыть свое беспокойство от Якобы. Потом они уселись на укрытой от ветра скамье, возле самой воды. В это же время и на этой же скамье они сидели вчера, но сегодня все вокруг выглядело совсем иначе. К северу резко и отчетливо выступали очертания обоих берегов пролива. Остров Вен рисовался так ясно, что видно было, как разбиваются волны о песчаные берега, озаренные солнцем. Ветер дул с запада и вдоль побережья Зеландии, водная гладь казалась совершенно спокойной, а на прибрежных отмелях она была совсем как зеркало и отражала сады окрестных вилл и мостки купален. Зато подальше, на глубоких местах, ходили темно-синие волны с белыми гребешками. Там, приспустив паруса, кружило несколько лодок. Зеленый грузовой пароходик неумоимо полз по проливу и хриплым гудком распугивал лодки. Густой черный дым, облаком повисший над пароходиком, поглощал солнечные лучи и отбрасывал на воду длинную мрачную тень.

При взгляде на этот красочный морской пейзаж Пер невольно вспомнил Фритьофа. Он мысленно перенесся в Берлин, где проводил веселые вечера с безумным художником и его сумасшедшими братьями по искусству в уютном кабачке на Лейпцигерштрассе.

Он и сам не мог бы сказать, что так привлекает его в этих людях и почему он тоскует по ним сейчас. Фритьофа он считал заурядным шутом, а потому большое и волнующее искусство Фритьофа было для него книгой за семью печатями. Ему ничуть не льстило, что приятели Фритьофа обнаружили сходство между ними и даже считали их родственниками.

Лишь смутно он догадывался, что его привлекает именно пресловутое непостоянство, именно прихотливая произвольность всех мыслей и поступков Фритьофа, в противовес застывшей однобокости и несокрушимой узости взглядов Якобы и всего саломновского семейства. В Сковбаккене заранее были готовы суждения на все случаи жизни в устойчивой, определенной, даже заостреннейшей форме, — и это как-то соответствовало самому духу светлых, красиво обставленных, но ничего не говорящих сердцу комнат, тогда как Фритьоф в любой день мог выдвинуть новую точку зрения, совершенно противоположную вчерашней, и защищать ее столь же убежденно и, даже, с еще большим жаром.

Саломоновское семейство, невзирая на некоторую тягу к экстравагантности, всегда твердо придерживалось той стороны жизни, какую принято именовать благоразумной, тогда как бродячий дух Фритьофа исколесил все пути и перепутья бытия, не раз терпел поражение как на его светлых, так и на темных сторонах, чтобы обрести счастье в самой своей неутомимости.

Наконец, Пер заговорил о Фритьофе, и Якоба сказала, что несколько дней тому назад встретила его на Эстергаде.

— Так он здесь? — с внезапным воодушевлением вскричал Пер. — Он же говорил осенью, что собирается в Испанию, да там и засядет навсегда. Он же ненавидит Данию и называет ее «новой Идеей».

— Послушать его, так он вообще не прочь объездить все страны мира и обосноваться в каждой из них, — а сам боится отъехать от Копенгагена дальше чем на день езды. Ты, верно, и не знаешь, что он опять стал восторженным сторонником прогресса и, даже, произносит революционные речи.

— Да что ты говоришь?

— С тех пор как немцы расхвалили его, он и у нас снова вошел в моду. Но антисемитизм у него бесследно исчез. Маркус Леви недавно купил ряд картин Фритьофа для своего собрания, на двадцать тысяч крон, кажется, так что теперь от Фритьофа не услышишь ничего, кроме восхвалений еврейской предприимчивости и благ, приносимых развитием индустрии.

Пер громко расхохотался.

— Да, на него это похоже! Я его встретил осенью в Берлине и, несмотря на его вечную браваду, душевно привязался к нему. Но мне и впрямь трудно сообразить, где в Фритьофе начинается собственно человек и кончается комедиант, буйн, скандалист и позер.

— Собственно человек в нем нигде и не начинается, он художник с головы до пят.

— Да, может быть, в этом и кроется разгадка. Так или иначе, Фритьоф — явление необычайное. Я припоминаю один вечер в блаженной памяти «Котле». Фритьоф тогда продал свою картину и по этому поводу поил шампанским целую ораву каких-то случайных людей. До того он целый день прошатался по городу. Когда наступила ночь, хозяин отказался нас обслуживать. И тут Фритьоф вышел из себя. Я не забуду это роскошное зрелище до конца своих дней. Фритьоф запустил руку в карман и разбросал по всему залу целую пригоршню золотых. Поднялась страшная суматоха, потом деньги подобрали, и мы насилу увели его домой. Но тут-то и начинается самое интересное. От хозяина я потом узнал, что Фритьоф приходил к нему на следующее утро, — трезвый как стеклышко, — и весьма доверительно поинтересовался, не находил ли кто-нибудь при утренней уборке двадцатикроновую монету. У него недостает именно такой суммы, а он-де ясно видел, когда швырял золотые на пол, что один из них закатился под плевательницу. Кстати сказать, монету там и обнаружили. Короче говоря, хотя с виду Фритьоф совершенно ничего не соображал и буйствовал во всю мочь, он ни на секунду не забывал о подсчете и следил за каждой монетой. Ну что ты скажешь? Можно подумать, будто он просто притворился пьяным. Но это не так. В нем словно уживается целый десяток людей, и все разные. А может, так обстоит дело не только с Фритьофом, но и с другими, — во всяком случае, у нас, северян.

Якоба не откликнулась. Еще когда Пер жил в Берлине, ее немного огорчало его явное увлечение Фритьофом, ибо Фритьоф казался ей глупцом и негодяем, трагикомическим Фальстафом, которого расточительная природа, словно в насмешку, наделила творческим даром. Якоба признавала и талант, и неподражаемое мастерство Фритьофа, но не считала талант достаточным оправданием личных недостатков. Напротив, Она полагала, что выдающиеся способности обязывают, что снисходительность, с какой люди относятся к недостаткам Фритьофа, умаляет истинное величие искусства и принижает его.

Как и накануне, Пер рано отклонялся; он устал. И Якоба даже не пыталась удерживать его. Нанни еще до сих пор не показывалась, но она могла приехать с последним поездом, — потому-то Пер заблаговременно исчез.

Но пока он добирался до Копенгагена, наступил поздний вечер. На Сенной рынок спустились сумерки, улицы окутала густая тьма. С одной стороны светилась вереница окон кафе в новом здании, отделанном с показной роскошью; с другой — призрачно маячила на бледном небе ветряная мельница. Если глядеть снизу, она напоминала большую, грузную ведьму, которая, простерши руки, предавала проклятью новый город.

Пер не сразу пошел домой. Невзирая на усталость, он последовал желанию, которое целый день таилось за его мыслями и заботами и дожидалось только удобного момента, чтобы завладеть им. Медленно — будто не по своей воле — он прошел по Вестсербругаде, окаймленной двумя рядами фонарей и по вечернему оживленной.

Возле Багерстраде он свернул с Вестсербругаде и углубился в тихие кварталы, прилегающие к Гамле Кунгевей. И вот уже он очутился на углу улицы, где жила его мать.

На случай если встретится кто-нибудь из семьи, он поднял воротник пальто и низко надвинул шляпу на лоб. Пока, правда, не видно было ни души. Сперва он пошел по той стороне улицы, где должен был находиться дом, а найдя его, перешел на другую сторону и

спрятался в тени.

Отсюда он хорошенько разглядел ничем не примечательное, невзрачное четырехэтажное здание, поделенное на маленькие, трех-четырёхкомнатные квартирki. Глаза его тотчас обежали ряд окон второго этажа, слева от входной двери, но ничего, кроме забрызганных краской стекол, он не увидел. Наверное, он что-то напутал. В квартире на втором этаже явно никто не жил — там шел ремонт. Потом он сообразил, как расположена лестница, и рассудил, что дверь, находящаяся, согласно газетному объявлению, «налево», должна оказаться справа от подъезда, если смотреть с улицы.

Там, куда переключал его взор, за одним окном виднелся слабый свет. Рядом, в соседней комнате, шторы не были спущены и на потолок падала узкая полоска света, — значит, дверь в освещенную комнату была неплотно прикрыта. Но напрасно силился он разглядеть еще что-нибудь, какую-нибудь мелочь, без которой мысль о том, что его мать действительно живет в этом чужом доме, по-прежнему как-то не укладывалась в голове.

И вдруг на подоконнике между цветочными горшками он разглядел один знакомый предмет, при виде которого кровь прихлынула к сердцу. Он узнал принадлежащую матери шкатулку для ниток — маленькую, круглую, — он помнил ее с детских лет, но тогда она ему казалась страшно глубокой и вместительной.

Минуту спустя за шторой мелькнула чья-то тень.

«Может быть, это мать», — подумал он и вдруг задрожал от ночного холода.

Через несколько минут опять мелькнула та же тень, но так быстро и смутно, что он даже не мог определить, кто это — мужчина или женщина. Тут донеслись голоса какой-то развеселой компании, и Пер ушел.

Медленно вернулся он в город прежним путем.

Но уже возле самого отеля он, несмотря на мучительную усталость, вдруг почувствовал такую неохоту возвращаться в непривычную, чужую комнату, такую боязнь одиночества, что в дверях круто повернул и направился через всю площадь к кафе. В кафе он заказал кружку пива, забился в угол и попытался собраться с мыслями.

Только теперь, окончательно взвесив все события дня, теперь, когда вопрос о том, как быть, уже нельзя было отогнать громкими фразами, Пер до конца понял, какие трудности уготовил он себе. Пришлось даже согласиться, что Якоба и ее домашние не зря приняли все случившееся так близко к сердцу. Снова у него нет твердой почвы под ногами, снова вокруг него пустота, и выхода не видно. Есть, правда, один выход — полковник Бьерреgrav. Есть даже и другой, в случае самой крайней необходимости — слабоумная баронесса.

Иначе говоря, надо либо, по примеру Дюринга и ему подобных, пожертвовать своей независимостью, обесплодить собственное «я», сделаться евнухом на службе у толпы, либо пойти в ученье Максу Бернарду, сознательно наметить себе жертву и хладнокровно обобрать ее. И здесь Якоба права. Третьего пути нет. «Если ты принимаешь цель, прими и средства».

Увы, никуда не денешься — он не годится на роль покорителя мира, как думал раньше. Он не смог принудить себя заплатить за большое счастье настоящую цену. Или — правильное сказать — со славой и властью произошло то же самое, что и с прочими, особенно воспетыми радостями и соблазнами жизни: на близком расстоянии они утратили в его глазах свою привлекательность. Цена за них оказалась непомерно высока.

Ему вспомнился другой человек... покойный Ниргор. Как он сказал в ночь перед смертью в своей пророческой речи?

Но тут распахнулась стеклянная дверь, и в кафе вошел верзила двухметрового роста, седобородый, в светлом пальто, вскинув на плечо палку, словно меч. Это был Фритьоф!

От радости Пер чуть не окликнул его через весь зал. Но когда он уже хотел встать, чтобы Фритьоф поскорей увидел его, им вдруг овладели сомнения, и он остался на своем месте, даже взял газету и спрятался за ней, пока Фритьоф не прошел в соседний зал.

Спрятался он со стыда. Ему пришло в голову, что, рассказав о своих собственных успехах, Фритьоф благосклонно поинтересуется судьбой его планов, а это будет очень неприятно, потому что во время их берлинских споров он, Пер, весьма неосторожно

похвалялся тем, какой интерес вызвали его идеи и какие надежды возлагают на них в компетентных кругах.

Тут ему стало ясно, что оставаться в Копенгагене, где на каждом шагу угрожают подобные встречи, просто нельзя. Мысль о празднестве, предстоящем на другой день в Сковбаккене, куда Саломоны созвали чуть не всю родню и всех знакомых, наполнила его неподдельным ужасом. Ежедневное общение с родителями Якобы при данных обстоятельствах вряд ли доставит ему особенное удовольствие, и вообще — ему здесь больше нечего делать. А борьбу, которую он задумал начать, опубликовав новую полемическую брошюру или ряд газетных статей, можно с таким же и даже с большим успехом вести из-за границы. К тому же эта история с Нанни... Да и мать, как на грех, именно сейчас вздумала перебраться в Копенгаген.

Необходимо уехать. И как можно скорей. Надо будет завтра же поговорить с Якобой. Кстати, он с самого начала не собирался здесь задерживаться.

Пер допил пиво и вышел.

Выйдя из шумного и залитого светом кафе на большую пустынную площадь, он невольно глянул на старую мельницу и, сам того не замечая, на мгновение остановился среди площади, охваченный грустью, которая, казалось, исходит от этого призрака старины.

Потом медленно побрел в отель.

## Глава XVII

Филипп Саломон не часто устраивал у себя званые вечера, но уж ежели устраивал, все делалось на широкую ногу. Ивэн — неизменный распорядитель семейных торжеств — в таких случаях еще задолго до предполагаемого события разрабатывал программу праздника и представлял ее родителям на утверждение; всякий раз он придумывал какой-нибудь сюрприз, от которого, по его словам, зависел весь успех: иногда это было на редкость роскошное цветочное убранство, иногда — неожиданная идея по части десерта или котильона, когда замыслился настоящий бал.

На этот раз он просто превзошел себя. Надеясь, что праздник, кроме чествования вернувшихся домой новобрачных, явится одновременно триумфом грандиозного плана Пера, он задумал иллюминировать весь сад и устроить фейерверк, чему, однако, решительно воспротивился Филипп Саломон. Ивэну разрешили только развесить фонари на деревьях вдоль берега, что, по его мнению, должно было дать потрясающий эффект. И еще он припас один грандиозный сюрприз, назвав его *le clou*. Праздничное убранство комнат еще не было завершено, а члены семьи заперлись в своих спальнях, занятые переодеванием, когда в Сковбаккен приехал Пер. Он забыл справиться, на какое время назначено торжество, и имел неосторожность явиться часом раньше срока.

Настроение у Пера уже загодя было прескверное. Вернувшись вчера поздно вечером домой, он нашел у себя в номере на столе большой рулон бумаги: Макс Бернард вернул ему все чертежи и сметы, полученные в свое время через Ивэна. Несмотря на усталость и на поздний час, Пер с боязливым любопытством развернул рулон и углубился в изучение стопки листков, из которых многие уже пожелтели от времени и которых он давным-давно не держал в руках. Пролетела минута, другая, и он с головой ушел в это занятие. Весь проект, последние годы занимавший его лишь как расплывчатая идея, предстал теперь в новом свете при взгляде на эти полузабытые расчеты, на заботливо выполненные чертежи шлюзов, на фермы мостов, на дамбы, на тщательно выписанные ряды цифр и головоломные диаграммы — на все плоды дерзновенных мечтаний его юных лет.

Почти благоговейное изумление овладело им. Он начал уважать самого себя. Какое богатство мысли! Какой размах! С каждым листом, который он вынимал из пачки, росло его восхищение собой, но... одновременно крепла тайная мысль, что теперь ему далеко до прежнего Пера.

Держа перед глазами последний чертеж, он погрузился в мрачные раздумья.



Припомнилась ему крохотная комнатуха в Ньюбодере, бедный рабочий кабинет юных дней, где, весело насвистывая, он склонялся над чертежной доской, хотя временами у него даже не хватало денег на хлеб. Эти воспоминания пробудили тоску по невозвратной поре нищеты и несокрушимой жизнерадостности, той поре, когда угрызения совести не разрушали по ночам воздушные замки, воздвигнутые за день, когда каждая неудача только побуждала продолжать начатое дело, ибо усиливала горделивое сознание, что вот-де тебя не признают и не ценят; той поре, когда он, невзирая на голод, долги и залатанные штаны, каждый вечер ложился в постель королем, каждое утро вставал с постели богом.

С утра он снова засел за чертежи. Но первые восторги при ближайшем рассмотрении несколько поостыли. На основе возросшего опыта, приобретенного во время путешествия, ему нетрудно было найти в проекте уязвимые места и, даже, просто ошибочные положения, — и это открытие встревожило его. Вера в себя, испытывавшая за последнее время столько ударов, совсем пошатнулась. Весь день он проторчал дома, охваченный лихорадочным желанием все изменить и исправить. Под конец он вообще не оставил от всего проекта камня на камне, но ни одна новая и хорошая идея, вопреки всем усилиям, так и не осенила его. Покалывание в голове и в кончиках пальцев, возникавшее обычно от наплыва мыслей всякий раз, когда он сидел над чертежами, сегодня не появлялось.

В первый раз им по-настоящему овладело чувство бессилия и наполнило душу ужасом, подобным ужасу смерти.

С мрачным видом Пер нетерпеливо мерил шагами террасу и мечтал очутиться где-нибудь подальше отсюда. Впрочем, выглядел он весьма нарядно и элегантно. На нем был модный фрак с белым атласным жилетом и расшитой манишкой, украшенной двумя бриллиантовыми запонками (подарок Якобы).

Остриженные под машинку волосы тускло поблескивали словно черный бархат, сзади они были подбриты по новой европейской моде, оставляя открытыми затылок и шею. Маленькие усики он по-офицерски закрутил кверху, а от бороды, непрерывно укорачиваемой во время заграничных странствий, остался только клинышек под нижней губой.

Вдруг в зале послышался шелест шелка. Пер обернулся и увидел Нанни, — она стояла в дверях, чуть подавшись вперед, и оглядывала террасу.

Нанни отлично знала, что Пер уже здесь. Из окна своей комнаты она видела, как он въехал в ворота, и поторопилась закончить свой туалет, чтобы спуститься вниз немного раньше других. Она вошла в залу несколько минут тому назад, но сперва стояла там у окна и молча разглядывала Пера, не решаясь подойти к нему, — она его по-прежнему побаивалась.

Наконец, она выглянула на террасу, с нарочито рассеянным видом кивнула Перу и тут же скрылась, словно не найдя того, кто был ей нужен.

Пер остановился и поглядел ей вслед. Его тоже охватила странная робость. За весь этот день он ни разу не вспомнил о Нанни.

Пораздумав, он последовал за ней. Он решил, наконец, выяснить отношения.

— Вы что-нибудь ищете? Я не мог бы вам помочь?

— Да нет, спасибо, — ответила Нанни, притворяясь, будто и на самом деле что-то ищет. — Я просто не знаю, куда девала свои перчатки. Но это пустяки. Я уже взяла у Якобы другие. Судя по всему, мы приехали что называется вовремя.

— Да, я уже торчу здесь целый час.

— Ах, бедняжка, — сказала она и участливо посмотрела на него через обнаженное плечо.

Какое-то мгновение Пер колебался, потом решительно подошел к Нанни, поклонился, с насмешливой учтивостью предложил ей руку и сказал:

— Ну-с, поскольку гости начали собираться, я осмелюсь покорнейше просить...

Она быстро и испуганно взглянула на него, притворяясь, будто видит в его словах какой-то скрытый смысл. Потом с усталой гримаской раскрыла веер, словно решив не давать хода подозрениям, приняла предложенную руку и, глядя в сторону, сказала:



— Вы правы. Давайте делать вид, что мы уже начали веселиться.

— Милостивая государыня, мне кажется, вы сегодня не в настроении, — ответил он, когда они перешли в соседнюю комнату, кабинет в стиле рококо, отделанный белым лаком и позолотой. — Вы чем-нибудь огорчены?

— Ничего подобного. Просто мне хочется, чтобы этот мерзкий день поскорей остался позади.

— Почему же?

— Терпеть не могу званных вечеров.

— Да ну? Вы меня изумляете. Это у вас что-то новое.

— Возможно. Но и я теперь не та. Я ведь стала замужней дамой. Не успеешь оглянуться, как станешь бабушкой.

— Ну, чтобы получить это звание, необходимо предварительно выполнить кой-какие формальности. Не хотите ли присесть? — Он остановился перед маленькой кушеткой, обтянутой шелком, и указал на нее Нанни. — Или, быть может, вы боитесь измять платье до прихода гостей? — добавил он, заметив ее нерешительность.

И еще раз она сбила его с толку, взглянув на него так, словно в его словах скрывался тайный и дерзкий намек. Ничего не ответив, она села в уголок и раскинула юбку по всей кушетке.

— Не смешно ли, — спросил он, довольно бесцеремонно устраиваясь рядом с ней, — и не странно ли, что мы всего восемь дней тому назад расстались в Риме?

— Что не тут странного?

— У вас нет такого чувства, будто с той минуты, когда мы сказали друг другу «до свиданья», прошла целая вечность? Вы помните Рим... и римский вокзал?

Нанни сделала вид, что буквально ничего не понимает — ну ни словечка, и отрицательно покачала головой.

— Я о нем и не думала.

— Правда, не думали?

— Разумеется. А вообще-то мне Рим совсем не понравился.

— Да ну? Тот, кто видел вас там, ни за что бы этого не сказал.

— Не сказал бы? Возможно, возможно.

— Короче говоря, вы рады, что вернулись домой?

— Рада? — Нанни отвернулась, как-то устало и покорно пожимая плечами. — По-моему, всюду одинаково гадко. А дома всего хуже.

Пер расхохотался.

— С вами сегодня просто невозможно говорить. Кто вас...

— Да, так что я хотела сказать? — перебила его Нанни с притворным волнением. — Вам-то в Риме было претотлично. Мне казалось, что вы в совершенном восторге от него.

— До известной степени. Но, признаюсь честно: с тех пор как вы — и, разумеется, ваш муж — покинули Рим, он утратил большую часть своего обаяния. Я ведь тоже уехал оттуда через несколько дней.

Услышав это, Нанни промолчала, устремила взгляд на свой веер, и искусно сделанная грустная усмешка тронула ее губы. Потом она медленно вскинула на Пера свои очаровательные глаза и наградила его одним из тех нежных и многозначительных взглядов, которые действовали на него как немая ласка.

Тут Пер не на шутку встревожился. Нанни снова вскружила ему голову. Правда, она потрудились сегодня на славу, чтобы выжать из своей красоты все возможное и невозможное. Она вырядилась в свой любимый цвет — ослепительный золотисто-желтый, который очень шел к восточному типу ее лица и черным волосам; волосы она зачесала кверху и, как заправская японка, заколола их на макушке высоким черепаховым гребнем. На обнаженной сверх меры груди колыхались две темно-красные розы.

Пер крепился изо всех сил, чтобы не показаться нахальным. Нанни это сразу заметила и заняла оборонительную позицию, ибо не могла за себя ручаться. Она чувствовала, что игра

становится все более рискованной. Но теперь это ничуть не смущало ее, а даже наоборот — приятно щекотало нервы. Кстати, особой опасности она не предвидела. Правда, временами ее охватывало неодолимое желание обвить руками шею Пера и прижаться к его алым губам, но воли себе она не давала. Уж слишком она дорожила сознанием собственного превосходства. Мысль о том, чтобы всерьез изменить Дюрингу, даже не приходила ей в голову. Она могла сколько угодно злиться на него за его истинное или кажущееся равнодушие, она даже не боялась сказать об этом ему в глаза, но она слишком ценила общественное положение Дюринга, чтобы рисковать своим. Сердце ее ширилось от гордости, когда она видела, как вся столица, начиная от министров и кончая популярными певичками, заискивает перед Дюрингом; она рассчитывала добиться очень и очень многого в качестве жены такого человека.

Впрочем, начатую однажды с Пером игру она возобновила не совсем без задних мыслей. У нее были для этого весьма веские и убедительные причины. Она знала по опыту, что, если мужчина забирает над ней чересчур большую власть, надо постараться завлечь его к краю пропасти, окончательно вскружить ему голову — и в ту же самую секунду пройдет ее собственное увлечение; прихоть будет полностью удовлетворена, и она сможет спокойно наблюдать, как он томится.

Их спугнули экономка и горничная, которым надо было прибраться в кабинете. Пер опять отодвинулся подальше от Нанни и завел разговор о безобидных предметах.

И вдруг, еще раньше чем прислуга вышла из комнаты, Нанни спохватилась:

— А где это пропадет Якоба? Она ведь знает, что вы приехали. И когда я заходила к ней, она была почти готова.

Пер ничего не ответил. Он решительно не хотел касаться этой темы.

Нанни, однако, продолжала:

— Вы будете восхищены, когда ее увидите.

Она великолепно выглядит в своем новом платье. Уж не вы ли посоветовали Якобе надеть его?

— Я? Не-ет! — пробормотал Пер, невольно заливаясь краской.

— Ах да! Якоба заказала его еще до вашего приезда, но она, конечно, сообразовалась с вашим вкусом. Разве она вам ничего не говорила?

— Нет, что-то не припоминаю.

— Значит, вас ждет сюрприз.

Пер и тут ничего не ответил. Он вдруг погрузился в свои мысли, не сводя, впрочем, красноречивого взгляда с Нанни. Все, что было в нем от бунтаря и завоевателя, внезапно пробудилось при виде этой обворожительной женщины. И плохое настроение, и недовольство собой, которое он хотел заглушить, — все это побуждало его теперь пуститься в новое рискованное приключение. Он потянулся к Нанни, как к наркотику, способному вернуть ему душевное равновесие; он понял, что только она может напоить его тем крепким и хмельным напитком самозабвения, который ему нужен. С Якобой не приходится считаться перед лицом высшей цели: вновь обрести силы для работы и борьбы. Избрав ее своей законной супругой, он, подобно лицам королевской фамилии, исполнил свой долг и выдвинул политические соображения на первое место, зато потом, подобно им же, он имеет право не быть излишне строгим в вопросах супружеской верности. Более того, сама Якоба толкнула его на это: «Кто принимает цель, должен принять и средства», — так она сказала.

После ухода прислуги он опять придвинулся поближе к Нанни; завел разговор о Риме, об их прощании и дерзко положил руку на спинку дивана позади Нанни. И тут повторилась та же история, что и в Риме, во время прогулки на Яникул: Неожиданная атака Пера лишила Нанни уверенности в себе, и она испуганно отодвинулась подальше.

Да и взгляд Пера разбудил в ней неприятные воспоминания об одном сне, который она видела, возвращаясь домой из Италии... об одном из тех тяжелых непристойных снов, после которых она всегда просыпалась с ужасной головной болью. Она как раз побывала в зоологическом саду, где ей очень понравился большой, ослепительно желтый тигр. Так вот

этот тигр подполз к ее постели, и начал играть с ней и ласкать ее своими мягкими лапами. Под конец он всей тяжестью навалился ей на грудь, и в его взгляде она вдруг узнала упорный и неотступный взгляд Пера...

— Вы помните, как из вашего букета выпала роза, когда поезд тронулся? — спросил Пер. — Я ее поднял, спрятал и храню до сих пор.

— Господи! Было что хранить!

— А как же иначе? Не забывайте, что она выпала из таких прелестных ручек.

Сам того не ведая, Пер сделал ей лучший комплимент из всех возможных. Руки Нанни были ее уязвимым местом. Назвать их просто некрасивыми было бы несправедливо, но в глубине души Нанни не могла не признаться себе самой, что пальцы все-таки чуть коротковаты.

— Поберегите свои комплименты для Якобы, — отрезала она и снова переменяла позу, тщетно пытаясь уклониться от его взгляда.

— Почему же? — спросил он и очертя голову ринулся в атаку. — Разве грешно сказать очаровательной женщине, что она очаровательна? И неужели, дорогая свояченица, я должен скрывать от вас, что считаю вас самой красивой и самой опасной из всех женщин, каких я когда-либо встречал? Зачем скрывать? Вы сами отлично знаете... По молодости лет я когда-то строил самые дерзкие планы... вы не могли этого не заметить. Ну, не будем ворошить старые грехи. Вы меня отвергли. Пришлось примириться со своей судьбой. Вы были слишком хороши для меня.

Румянец на щеках Нанни несколько поблек. Пер постепенно оттеснил ее в самый угол дивана, откуда она, словно загипнотизированная, глядела на него.

Но Пер и сам вдруг решил не проявлять излишней поспешности. Ему показалось — и это было правдой, — что в ее глазах блеснула ненависть, и он с ужасом представил себе, как все может кончиться, если атака не удастся.

Но тут Нанни сама бросилась ему на шею и пылко поцеловала прямо в губы.

Все это продолжалось не больше секунды. Не успел еще он опомниться, как Нанни вскочила с дивана и подбежала к окну. Возле окна она остановилась спиной к Перу и прижала руки к лицу, словно только что получила пощечину.

И сразу из вестибюля послышался начальственный голос Ивэн, вслед за тем и он сам, словно заводная кукла, прокатился по комнате на своих быстрых ножках. С видом полководца, выстраивающего армию для решительного удара, он вихрем пронесся мимо, за ним следовал его штаб — двое наемных слуг в ливреях и декоратор в широкой блузе.

Заметив Нанни и Пера, которые, вопреки программе праздника, уединились в кабинете, он замедлил шаги.

— Прием будет в салоне, — возвестил он и покатился дальше; помощники хихикали и переглядывались за его спиной.

Ни Нанни, ни Пер не шелохнулись. Потом Пер встал, все еще не собравшись с мыслями.

При звуке его шагов она повернулась к нему и остановила его взглядом. Взгляд был несчастный и пристыженный, однако он самым категорическим образом запрещал Перу подойти ближе. Когда из залы донеслись голоса, она побелела от испуга и, наклонив голову, быстро прошмыгнула мимо него.

В дверях она задержалась, посмотрела на него и сказала, понизив голос и до самых глаз закрыв лицо веером:

— Если вы осмелитесь сказать кому-нибудь хоть слово про свое поведение, тогда...

— Что тогда?.. Что тогда Нанни? — спросил ее Пер, пылая от нетерпения.

— Тогда, — и ее бархатные глаза многообещающе глянули на него, — тогда мы ни за что не станем настоящими друзьями.

Она сложила веер и исчезла.

Голоса, потревожившие их, принадлежали Филиппу Саломону и его жене. Старики под руку прогуливались по зале; мудрый и опытный делец таял от восхищения, любуясь на свою Леа, одетую в дорогое платье винно-красного цвета с великолепными кружевами. Но при виде выходящего из кабинета Пера улыбка исчезла с его лица.

Он вспомнил, что ему предстоит тягостная обязанность во всеуслышание заявить о помолвке своей дочери с этим, на его взгляд, ничтожным и никуда не годным человеком. Он еще вчера собирался поговорить об этом с Пером, но, узнав про его подвиги у Макса Бернарда, так и не нашел в себе решимости начать разговор. Теперь старика не покидало то же самое чувство. Он даже не мог заставить себя протянуть руку будущему зятю, да и выражение лица Пера не располагало к этому.

Опять вихрем пронесся Ивэн, на сей раз желая убедиться, что все домашние в сборе. Первая карета уже остановилась у подъезда. Незадолго до этого прибежали младшие дети, одетые в белое. Пришла Розалия. А вот Якоба все еще не показывалась. У нее произошла некоторая заминка с туалетом. Не имея привычки заниматься своими нарядами, она так неумело прилаживала корсаж, что совсем запуталась и под конец вынуждена была кликнуть на помощь горничную.

Пока она сошла вниз, съехалось уже не меньше половины гостей.

Нанни старалась держаться как можно ближе к Перу, чтобы понаблюдать за выражением его лица в тот момент, когда он увидит Якобу; взрыв столь искусно заложенной ею мины доставил ей величайшее удовольствие: при виде Якобы Пер побелел от злости.

Якобе пришла в голову несчастная мысль сшить себе платье с довольно большим декольте, хотя такой фасон ей совершенно не шел. Подъем чувств, с каким она ожидала своего жениха, и счастливые воспоминания об их встрече в Дрезаке побудили ее сделать столь необдуманный шаг, чем она уязвила Пера в самое чувствительное место. Он заметил, что какие-то господа ухмыльнулись при появлении Якобы, и сначала даже не хотел глядеть в ее сторону.

А тем временем все новые гости входили в зал из большого вестибюля, где горничные и специально нанятые лакеи помогали им раздеваться.

Карета за каретой уже подъезжала к устланному коврами подъезду, а вдоль берега вытянулась длинная вереница наемных и собственных экипажей, шажком и с бесчисленными остановками приближавшихся к вилле.

В зале и в двух прилегающих к ней гостиных собралось до ста человек.

Главным образом здесь были представители финансового мира, о чем нетрудно было догадаться при взгляде на туалеты дам и их брильянты, но попадались среди гостей также университетские профессора, врачи, художники и писатели. В манере держаться и вести разговор, равно как и в покрое дамских платьев, сказывалось несомненное влияние европейской свободы от предрассудков. Большинство молодых дам разodelось совсем по-бальному, ибо предстояли танцы, но и более пожилые, особенно еврейки, героически выставили напоказ с помощью своих портных ровно столько прелестей, сколько дозволялось требованиями моды и характером сборища.

Все члены несостоявшегося акционерного общества по созданию открытого порта были приглашены к Саломонам, но большинство ответило отказом, чего, собственно, и ожидал Ивэн, учитывая события вчерашнего дня. Явился только отставной землевладелец, господин Нэррехаве, чей деревенский вид, большая золотая цепь на шее и сапоги на двойной подошве вызвали большой интерес среди элегантно публики.

Ивэн случайно видел, как Нэррехаве подъехал к дому вместе с известным светским львом, адвокатом Верховного суда Хасселагером, и это неожиданное соседство крайне его удивило, хотя он отлично знал о связях Нэррехаве с видными представителями датской адвокатуры. У него тотчас мелькнула мысль, что оба они имеют виды на Пера. Он помнил, какое неудовольствие высказывал Нэррехаве по поводу внезапного срыва переговоров; что

до адвоката, то последний принадлежал к той категории молодых и смелых дельцов, которые во всем следовали примеру Макса Бернарда, и потому вполне естественно было предположить, что одного из них соблазнила возможность довершить дело, оказавшееся не по силам самому патрону. Не обладая теми качествами, которые привели к власти Макса Бернарда, кроме одной разве беспринципности, Хасселагер, благодаря элегантному виду и умению держать себя в обществе, уже заставил столицу говорить о себе, как о человек с большим будущим.

Из обычных гостей — так называемых «ежевоскресных» — Ивэн увидел Арона Израеля и возвышающегося над всеми кандидата Баллинга, литературоведа и великого знатока по части цитат, чей ненасытный ум напоминал тощих коров фараоновых, которые пожрали своих тучных товарок, не став от этого толще. Арон Израель, как человек нервный и робкий, забился в угол, где многочисленные друзья все равно тотчас же отыскиали его. Баллинг, напротив, занял самое видное место — прислонился к дверному косяку, но, невзирая на непомерный рост, выпученные глаза и интересную катаральную бледность, Баллинга постигла та же участь, что и его литературные опусы, — он остался незамеченным. Даже Розалия, очень в свое время польщенная ухаживаниями Баллинга, прошла мимо в обнимку с подругой, не заметив его. А ведь у этой маленькой, тоненькой девочки, которой едва сравнялось шестнадцать лет, хотя и вырядилась она как взрослая дама, были весьма зоркие глаза.

Зато Пер стал предметом пристального внимания, более пристального, чем ему того хотелось бы.

Его мускулистая фигура и загорелое лицо выгодно выделялись среди по-зимнему бледных лиц домоседов, которые всю жизнь торчат в четырех стенах. К тому же многие были уже осведомлены об его отношениях к семейству Саломонов, а видеть ни разу не видели. Тех, кто знал понаслышке Пера или его книгу, поразила его молодость. Кроме того, они ожидали встретить худосочного поэта, и теперь очень удивились, увидев человека с наружностью бойца и первооткрывателя.

Но никто, конечно, не привлекал такого внимания, как доктор Натан. Он стоял на террасе, окруженный целой толпой восхищенных дам и мужчин, они весело смеялись и вообще вели себя весьма шумно. Вся эта публика выпытывала мнение доктора Натана о недавно вышедшей, но уже на шумевшей поэме под названием «Битва Иакова». Автором ее был Поуль Бергер — молодой бледнолицый поэт, некогда частый гость в доме Саломонов, один из многочисленных и неудачливых вздыхателей Нанни.

До последнего времени Бергер, как поэт, принадлежал к плеяде вольных умов, которая сгруппировалась вокруг доктора Натана и прикрывалась его авторитетом. Стихи Бергера обнаруживали тонкое чувство языка, достойное самого Эневольдсена, но слишком рано в них начало сказываться досадное и угрожающее отсутствие собственного лица. У своего наставника он научился терпеливо возиться с каждой рифмой и выкручивать каждый эпитет; в маленьких сборниках, что год от года становились все тоньше, он снова и снова пересказывал в поэтической форме печальную историю своей юности, причем стихи его, подобно большинству поэтических произведений того времени, являли собой поразительную смесь анемичной романтики и полнокровного натурализма, а по тону — судорожное метание между заунывными воплями и истерическим богоборчеством. Кончилось это тем, что год назад Бергер издал книгу, которую даже его друзья и доброжелатели не могли похвалить, и это оказалось выше его слабых сил. Он внезапно исчез из Копенгагена, и долгое время о нем никто ничего не знал. Потом разнесся слух, что он укрылся в маленьком ютландском селении, живет там затворником в бедном домишке, порвал всякие связи с окружающим миром и денно и ночно размышляет над своей судьбой. Оттуда он и прислал на шумевшую книгу, где сразу в предисловии публично заклеил свое мятежное прошлое и возвестил всему свету, что после тяжелой душевной борьбы обрел счастье и покой в христианском смирении и кротости.

Прежние друзья не верили в искренность его обращения, тогда как доктор Натан со



своей стороны доказывал, что подобный приступ благочестия вполне может возникнуть из уязвленного авторского самолюбия, из желания отомстить, из неудовлетворенной страсти. Более того, на его взгляд, история такого обращения даже типична, — тут доктор Натан, ко всеобщему восторгу, пытался доказать свое мнение ссылками на ряд поучительных примеров, почерпнутых из признаний отцов церкви и даже у Грундтвига.

Сама поэма лучше всего доказывала значение перелома, совершившегося в душе автора и в его мастерстве. Каждая страница объемистой книги свидетельствовала о смятении духа, о необычной силе и глубине чувства, переданного с поэтической прямоотой и силой. Десять песен, составляющих поэму, одна за другой разворачивали печальные картины, и перед читателем вставали пустынные и сумрачные пейзажи Ютландии, однообразная и безрадостная жизнь народа, которая стала жизнью поэта, и все это верное до мельчайших деталей изображение было как бы пронизано внутренним светом невидимого мира.

Всего удивительней казалось людям, что Бергер, умевший до сих пор лишь беспомощно перебирать струны своей души, обретая утраченную детскую веру, обрел вместе с ней и свой собственный голос — голос настоящего мужчины, идущий из самого сердца, полный мрака и металла, голос из глубин... из подземного царства.

Но тут толпа засуетилась, слуги распахнули двери в столовую, и гости начали рассаживаться вокруг стола.

\* \* \*

Перед тем как сесть за стол, Филипп Саломон через Ивэна передал Перу, что считает момент наиболее подходящим для оглашения помолвки. С Якобой он уже предварительно переговорил об этом и, поскольку она ничего не ответила, счел ее молчание знаком согласия. А на самом деле Якоба просто его не слышала. Ее занимала одна мысль: чему приписать перемену в отношении Пера к ней.

Загадка разъяснилась очень скоро. Хотя Пер усердно занялся бутылками, он, однако, не сумел скрыть своего волнения. Наискось через стол сидела Нанни и развлекалась с каким-то незнакомым ему господином. Рядом с ней, разумеется, сидел ее муж, но она вовремя позаботилась усадить с другой стороны одного из своих поклонников, в данном случае бывшего кавалерийского офицера, а ныне агента страхового общества Хансена-Иверсена; с ним-то она и беседовала все время.

Время от времени она нежно прижималась щекой к плечу мужа с очевидным намерением укротить его. Но Дюринг, судя по всему, не имел к супруге никаких претензий и отвечал на ее нежности благосклонным подмигиванием.

Дело не в том, что Дюринг был так недогадлив, как полагала Нанни, — просто он знал, что она не употребит во зло свою свободу, чтобы тайно перешагнуть установленные им границы. Ближе изучив ее натуру (особенно после того, как он для полного спокойствия раздражил ее честолюбие и раскрыл перед ней ослепительные перспективы, где фигурировали дворцовые залы), он твердо уверовал, что она побоится даже малейшего намека на скандал. Как ни велико окажется искушение, она будет вести себя словно в магазине, где ей приглянулась какая-нибудь вещичка — начнет с вождением вертеть и ощупывать ее, но едва лишь речь пойдет о том, что расплачиваться нужно ей самой, преспокойно положит обратно.

Нанни ни разу не взглянула на Пера. Напрасно ждал он, что ему подарят хотя бы беглый успокоительный взгляд. Она его совершенно не замечала.

Он, конечно, допускал, что флирт с Иверсеном может оказаться чистым притворством, маскировкой, но это его никак не утешало: ведь тем самым она в корне отметала не раз мелькавшую у него со времени их прощания в Риме мысль о том, будто с ее стороны здесь замешано серьезное чувство. Это открытие сильно остудило его завоевательный пыл. Кстати, ее веселость не казалась напускной, и Пер не на шутку разгневался.

Впрочем, для гнева нашлась и другая причина.

Едва Филипп Саломон провозгласил здравицу в честь новобрачных, он поднялся во второй раз, чтобы огласить помолвку. Старик постарался быть по возможности кратким, но тем не менее — пусть многие давно уже все знали — его слова вызвали общее оживление.

Пер поднялся с бокалом в руке, чтобы ответить на поздравления, и, хотя воздух был буквально насыщен его именем, ему не давала покоя мысль, что весь шум поднят ради будущего мужа Якобы, ради будущего зятя Филиппа Саломона, а не ради самого Пера Сидениуса. Эта мысль разбудила сидениусовское самолюбие и отнюдь не усилила его нежные чувства к собравшимся. Острее чем когда бы то ни было ощутил он унаследованную от своей семьи неприязнь к этим благополучным людям, которые живут в свое удовольствие и еще вдобавок величают себя хорошим обществом. Гул сотни голосов, перемежаемый иностранной речью, напоминал ему трескотню попугаев. Давно уже миновало то время, когда его ослеплял блеск богатства. Отвращение росло с каждой минутой. Великолепные цветы, украшавшие стол (по его подсчетам они стоили не одну сотню крон), массивные серебряные приборы, изысканная сервировка, ливрейные лакеи и безостановочное мелькание тарелок — все это, по мнению Пера, лишь свидетельствовало о чисто еврейском бахвальстве.

Подзадоренный смехом Нанни, который уже начал перекрывать все голоса, Пер решил сорвать злость на Якобе и прямо сказал ей, что находит их званый вечер нелепым и вычурным.

Якоба не ответила. С той минуты, как у нее возникли подозрения относительно сестры, она вообще не разговаривала с Пером.

Явное увлечение Нанни отставным кавалеристом не могло обмануть ее. Она хорошо изучила свою сестру и знала, что той доставляет особенное удовольствие в любовных забавах возбуждать ревность своих обожателей. Знала, что Нанни из чистой трусости, боясь оказаться во власти своих чувств, предпочитает создавать вокруг себя надежную защиту из поклонников.

Правда, Якоба не догадывалась, что дело зашло так далеко. Зато она понимала другое: родственные чувства не могут служить препятствием для Нанни. Нанни даже сознательно постарается завлечь в свои сети именно жениха сестры. Только теперь Якоба догадалась, что, когда Нанни после возвращения из Рима немедленно принялась рассказывать о своей встрече с Пером, в ее глазах светилось скрытое торжество.

Но Якоба не выдала себя ни жестом, ни словом. С тем исключительным самообладанием, которое развилось у нее из-за слабости здоровья с самых детских лет, она спокойно разыгрывала роль счастливой невесты. Хотя все звуки и краски доходили до нее как сквозь густой туман, хотя ее не покидало ощущение, будто пол качается под ее ногами, как в сильный шторм на корабле, по ней бы никто ничего не заметил, кроме того разве, что она выглядит усталой и кажется чуть бледнее, чем обычно. И только перед ним она не могла притворяться. Каждый раз, когда он обращался к ней, она отворачивалась. Ее терзал его голос. Когда его рукав едва касался ее руки, у нее мурашки пробегали по спине.

По счастью, у нее было немного времени для размышлений. Не успевала она предаться мрачным мыслям, как кто-нибудь из друзей или знакомых обращался к ней, чтобы выпить с ней и с ее женихом. Потом с той же просьбой к ним обратилась Нанни, и при этом она в первый раз за весь вечер взглянула на Пера. С бесцеремонностью, от которой его бросило в дрожь, она закивала, заулыбалась обоим и подняла свой бокал:

— Ваше здоровье, дорогой зятек!.. Поздравляю, Якоба!

«Ну и наглая же баба!» — подумал Пер. Он весь побагровел и изо всех сил старался не встретиться с ней взглядом.

Якоба, напротив, весьма спокойно поднесла бокал к губам, хотя и не стала пить. Боясь прочитать торжество в глазах сестры, она даже ответила на ее кивок.

А тем временем Пер и его новаторские идеи стали основной темой разговоров за столом, особенно среди тех, кто сидел далеко от него. Всего внимательнее разглядывали

нового зятя дамы; его суровый и мрачный вид, сдержанность, с какой он отвечал даже на самые дружественный тосты и здравицы, только увеличивали то уважение, которое с самого начала вызвал его мужественный облик.

— Да, эти Сидениусы — народ с характером, — произнес кто-то неподалеку от Филиппа Саломона, но он сделал вид, будто ничего не слышит, хотя эти слова явно были адресованы ему.

Зато нашелся среди гостей другой человек — пожилой, сутулый, седобородый господин (он тоже сидел во главе стола), на которого эти слова произвели сильное впечатление. То был известный статский советник Эриксен, один из городских богачей, может быть даже самый богатый человек во всем городе, и вдобавок — филантроп большого размаха. Еще до того, как сесть за стол, адвокат Хасселагср говорил с ним о Пере и пытался заинтересовать его планами последнего, поскольку советник ничего прежде не знал о них или, в лучшем случае, знал только понаслышке. Поэтому теперь он испытующе разглядывал Пера и внимательно прислушивался ко всему, что говорилось среди гостей о молодом человеке и его почтенном семействе.

За десертом Филипп Саломон в третий раз встал с бокалом в руках. Не затем, однако, — как он сообщил к вящему веселью всех собравшихся, чтобы выдать замуж еще одну дочь, а затем, чтобы провозгласить здравицу в честь доктора Натана и приветствовать его возвращение из длительной заграничной поездки, которая, по счастью, только крепче привязала его к родной стране и к ее молодежи. Тост был принят с бурным одобрением. Многие гости, в том числе и дамы, вскочили со своих мест и столпились вокруг доктора, желая чокнуться с ним.

— Он совсем не изменился, — слышалось за столом. — Да нет, волосы начали седеть. — Пустое, это его ничуть не старит.

Как же он, собственно, выглядел, этот осыпaeмый самыми пышными почестями и подвергающийся самым ожесточенным нападкам человек, тот, кто больше всех потрудился для будущего Дании, тот, кто своей ораторской и писательской деятельностью заложил основу для духовного подъема, равного которому не знали в Дании со времен Реформации?

Он был маленького роста и считался некрасивым, во всяком случае имел неправильные черты лица, — хотя судить о внешности Натана представлялось делом непростым, ибо лицо его вечно менялось, отражая все внутренние побуждения в самой необузданной мимике, которой он с годами стал сознательно злоупотреблять. Красивее всего казался он, когда слушал. Тогда лицо Натана оживлялось чувствами, преобладавшими в его характере, — его любовью к искусству и страстной, неутолимой жаждой знаний. Но в собраниях, подобных сегодняшнему, это выражение не часто появлялось на его лице, ибо здесь он предпочитал говорить сам. Наряду с блистательным умением слушать у Натана до старости сохранилась почти девичья любовь к болтовне, походившей временами на обычное злословие и не свободной от ехидства. Эта-то несдержанность и вносила в отношение к нему больше недоброжелательности и неприязни, чем он сам о том догадывался. Мало-помалу от него отошли даже близкие друзья и союзники, ибо он оскорблял их нордические представления о мужском достоинстве. Натура Натана была настолько инородной, настолько не поддавалась сопоставлению с национальным датским характером, что ему волей-неволей приходилось вечно вступать в конфликты, тем более неизбежные, что, в отличие от других еврейских писателей, выступавших до него в датской литературе, он не старался ни приспособиться к чуждым ему нравам и условиям, ни возбуждать интерес, отстранившись от толпы с истинно фарисейским: «Что мне до вас?» Он раз и навсегда уверовал в свое неотъемлемое право быть глашатаем нации. Он рано понял, что призван сыграть в жизни нации выдающуюся роль и что именно его инородное происхождение позволит ему рассматривать датскую жизнь с некоторого расстояния и беспристрастно судить о ней.

К тому же весь склад мыслей Натана не был типичным для датчанина или немца. Его взрастила романская культура, а преклонение Натана перед французской утонченностью, которое сопутствовало ему с юных лет и проявлялось даже в чисто внешней эlegantности,

вызывало известное недоверие среди соотечественников и, главным образом, среди мужей науки. Самые ожесточенные противники Натана сгруппировались в стенах университета. Красиво уложенные волосы, ослепительно белая манишка, выхоленная наружность — именно так, по мнению профессоров-богословов старой закваски, должен был выглядеть шарлатан.

Но все это еще не объясняло потрясающего, буквально сокрушительного размаха его деятельности. Обладая поистине блестящими способностями, он не был тем, что люди привыкли называть словом «гений», он не обладал духом созидательным, не казался первооткрывателем; по сравнению с такими самобытными умами Дании, как Грундтвиг или Кьеркегор, ему недоставало оригинальности. Он был слишком непостоянен, чтобы выработать самостоятельное мировоззрение, слишком жизнелюбив и избалован, чтобы упорно, как паук, вы ткать свое собственное индивидуальное содержание, которое даже личностям менее одаренным помогает порой совершать незаурядные открытия. Неутомимые искания уподобляли его скорее золотой труженице пчелке, которая и в ясные дни, и в ненастье порхает над цветущими лугами человеческого духа и, наполнив медом хоботок, неизменно возвращается в свой улей. Он успевал объять литературу всех времен и народов, словно у него была сотня глаз, и с безошибочным инстинктом выхватывал все то, что могло вызвать интерес у него на родине, а потом умно, мастерски создавал на этой основе эликсир. То горький, то сладкий и пряный, он придавал датской молодежи новые силы. Историю человеческого духа на протяжении столетий Натан умел изложить на нескольких страницах, да так, что она обретала напряженность и глубину драмы. Самые запутанные философские рассуждения он умел осветить одной-двумя яркими вспышками так искусно, что даже отъявленные тупицы и те понимали, о чем идет речь.

Великое искусство популяризатора и объясняло загадку, почему Натан приобрел столь исключительную власть над умами молодежи. Он покорял умы не только своими силами, большую службу сослужила Натану та черта национального характера, которую никто еще не использовал без успеха и с которой сам он, впрочем, ожесточенно боролся, — ленивое датское спокойствие. Никогда прежде учащаяся молодежь не имела возможности так легко и живо усваивать знания. Человек мог развалиться на диване с длинной трубкой в зубах, а тем временем перед ним вставали, как живые, величайшие деятели литературы, и содержание их произведений передавалось ему до того наглядно, будто он сам перечитал и продумал их все, что, кстати сказать, после знакомства со статьями доктора Натана казалось многим совершенно излишним. Приговоры и суждения Натана принимались всеми беспрекословно, потому что всякий считал их своими собственными. Люди проникались его сугубо личными чувствами и настроениями, делили его по-восточному пламенные симпатии и антипатии и сознавали, как волшебным образом обогащается их внутренний мир. Никогда еще университетская молодежь не была исполнена такой отваги, такого стремления к свободе. Даже самые отчаянные тугодумы — студенты из крестьян горели жаждой великих свершений, когда, провалявшись несколько часов на диване за чтением Натановых трудов, вставали, чтобы еще раз набить трубку.

Однако, к чему-нибудь более серьезному, чем мгновенная вспышка, все это не приводило, и отдача часто получалась куда сильнее, чем сам выстрел. Поуль Бергер был далеко не единственным, чье увлечение Натаном и боевое крещение духа послужили подготовкой к религиозному возрождению. Да иначе и быть не могло. Когда сознание пробуждалось к духовной жизни и со всей серьезностью начинало стремиться вглубь, оно не находило иной возделанной почвы, куда можно пустить корни, кроме религии. Вся культура народа была так или иначе связана с церковью. И там, где кончалась поверхность, оказывалось либо средневековье, либо вообще пустота.

Поэтому влияние Натана можно было в известном смысле лучше всего проследить на его противниках. Во многих из них ему удалось зажечь настоящую страсть, тот фанатический пыл, который он тщетно пытался вызвать у своих сторонников. В столице возврат к религии не давал себя знать так сильно — уж слишком были заняты все умы

бурным расцветом деловой жизни. Зато в провинции, особенно в деревне, тяга к религии все крепла, сосредоточиваясь вокруг пасторских усадеб и Высших народных школ, как войско вокруг своих крепостей.

\* \* \*

Когда всё встали из-за стола, Пер и Якоба устроили своего рода прием в одном из уголков залы, где только что зажгли большую хрустальную люстру.

Одним из первых подошел с поздравлениями и рукопожатиями землевладелец Нэррехаве. Отыскав в своем голосе самые сердечные и раскатистые «р», хитрый ютландец выразил глубочайшее сожаление по поводу инцидента, имевшего место вчера у Макса Бернарда, и заверил, что он, Нэррехаве, со своей стороны, никоим образом не согласен с подобной оценкой «ситуации».

Его слова влетали Перу в одно ухо и вылетали в другое. Он не выпускал из виду Нанни: та стояла в противоположном углу залы и кокетничала со своими поклонниками, которые тесным кольцом обступили ее. Хотя Пер твердо решил больше не думать о ней, он, тем не менее, не мог оторвать от нее глаз. Он видел, как кавалерист Иверсен принес из вестибюля горностаевую пелерину и с нарочитой медлительностью нежно накинул ее на плечи Нанни, как он непременно хотел застегнуть крючки пелерины, чего она ему, конечно, не позволила и даже ударила его по пальцам. Но тотчас же после этого она мирно приняла предложенную им руку и вместе с ним направилась в сад, где уже собралось несколько молодых людей, чтобы выпить кофе в норвежской беседке.

А землевладелец Нэррехаве тем временем продолжал свою речь, и Пер, наконец, догадался, что Нэррехаве хочет заставить его разговориться по поводу событий вчерашнего дня, чтобы выпытать его дальнейшие планы и виды на будущее. Не желая показать Нэррехаве, что у него вовсе нет никаких планов, Пер отвечал ему очень сдержанно и немногословно, но это только разжигало любопытство ютландца, и он из кожи лез, лишь бы до чего-нибудь договориться.

Наконец, он оставил Пера в покое, но на его место откуда-то со стороны, из группы поздравителей, окруживших Якобу, тут же явился другой собеседник. На сей раз это был Арон Израэль. Маленький, робкий и нескладный человек, кабинетный ученый, исполненный наивного восхищения перед всем, чего он не понимал и, особенно, перед практической деятельностью, он уже довольно долго кружил неподалеку от Пера, дожидаясь удобного момента, чтобы подойти и поздравить его, никому не помешав при этом. За свое долготерпение он вознаградил себя тем, что, ухватив, наконец, руку Пера, зажал ее между своими и долго не выпускал.

— ...Я хотел бы также, господин Сидениус, воспользоваться случаем и от души поблагодарить вас за вашу брошюру, вышедшую прошлой зимой. Это был поистине взрыв бомбы, террористический акт своего рода, совершенный, однако, на благо человечества. Я отлично понимаю, что вас нисколько не интересует мое мнение о вашей книге, мнение лица непосвященного, и все же я не могу удержаться и должен сказать вам, что, несмотря на ряд слишком сильных выражений, которые, без сомнения, могут отпугнуть, она очень меня порадовала.

Пер нерешительно посмотрел на маленького человечка. Правда, тот был не единственным из гостей, кто завел речь об его брошюре и наговорил по этому поводу комплиментов. Но похвалы других Пер считал просто светской любезностью, тогда как в искренности Арона Израэля он не сомневался. Вдобавок, он много слышал об этом скромном ученом, о его страстных поисках правды, обо всех его идейных устремлениях. Уже не первый раз Арон Израэль выказывал живой интерес к Перу и к его передовым идеям.

Пер ответил — и это была чистая правда, — что его вообще удивляет, как брошюра могла попасться на глаза Арону Израэлю. Ведь большим успехом она не пользовалась.



Журналы не проронили о ней ни словечка, газеты же как раз в дни ее выхода были чрезвычайно заняты недавно возникшим планом переноса сада Тиволи на другое место.

— Я обратил на нее особенное внимание, — ответил Арон Израэль, у меня было даже искушение написать вам. Ведь вы, я думаю, знаете, что у нас есть люди, которых порадовала и вдохновила ваша возвышенная и смелая вера в творческие возможности человечества, ваша идея грядущего покорения природы. Да, да, именно вдохновила. Я не случайно употребил это слово. На мой взгляд, ваша книга относится к подлинно просветительной литературе, на меня она произвела впечатление весеннего ветра, вызывающего легкое головокружение, но зато полного благодатной свежести. Я от души желаю, чтобы наша чудесная молодежь по достоинству оценила ваше евангелие природы, ибо она относится к естественным наукам с непонятным пренебрежением и именно потому так легко разочаровывается в жизни.

Пер покраснел и осторожно высвободил Руку.

Вот и всегда так. При всей своей самоуверенности, при всех мечтах о славе и почестях, он крайне смущался, стоило кому-нибудь от души похвалить его. Кроме того, он сейчас, естественно, предпочитал не вдаваться в серьезные рассуждения о своем проекте и потому решил переменить тему.

Но Арон Израэль был слишком увлечен разговором. Он завел речь о Натане, деятельность которого Пер трактовал в своей книге весьма пренебрежительно, ибо в пору ее написания от души презирал всякого рода эстетов. Арон Израэль сказал, что, хотя лично ему доктор Натан внушает глубочайшее восхищение, нельзя не согласиться, что недостаток у последнего знаний в области естественных и технических наук есть весьма серьезный изъян, могущий сыграть роковую роль для той части датской молодежи, чьим вдохновителем является Натан. Было бы куда лучше, если бы усилия Натана вызвали к жизни больше людей действия и меньше почитателей прекрасного. Здесь необходимо по возможности скорее наверстать упущенное, а для разрешения такой задачи, величайшей, быть может, из задач нашего времени, автор «Государства будущего» — это говорится не ради лести — располагает, судя по всему, незаурядными способностями. Подростающее поколение ждет еще своего грядущего вождя, человека, способного разбудить его. Трон пустует. Остается только разыскать избранника королевской крови...

Тут ему пришлось замолчать. В зале неожиданно воцарилась тишина. Какой-то господин с пышной шевелюрой уселся за большой рояль и ударил по клавишам, а Ивэн, сияя как медный грош, подвел к пианисту высокую пышногрудую особу.

Это и был тот самый сюрприз, который Ивэн называл *le clou*. Дама — известная певица Королевской оперы — милостиво согласилась принять приглашение на сегодняшнее суаре и пропеть, когда встанут из-за стола (разумеется, за весьма солидный гонорар), две песни и еще одну на «бис», каковая честь — что было отлично известно большинству присутствующих — выпадала доселе лишь на долю самых богатых и знатных аристократических семейств.

Пер совершенно не понимал камерного пения и попытался улизнуть. Он видел, как некоторые из гостей — те, кого манил уют курительной комнаты, — успешно пробираются вдоль стен. Но Пер сидел слишком далеко от выхода. Не успел он достичь дверей, как по залу пронесся патетический вскрик и сразу же после этого замирающее пианиссимо, которое заставило его остановиться и признать себя побежденным.

Впрочем, пения он почти не слушал, в его ушах все еще звучали слова Арона Израэля, вызывая легкое головокружение. Не есть ли это перст судьбы, что именно сейчас, когда сам он перестал считать себя избранником, его одарили таким восторженным доверием? Он весь похолодел, едва этот странный маленький человек пророчески заявил о «пустующем троне». Самая гордая мечта юных дней, давно уже позабытая, после этих слов воротилась к нему, словно вспугнутый орел в свое гнездо.

Он очнулся от своих мыслей лишь после того, как смолкло пение и кругом по знаку Ивэна, словно град, раскатились аплодисменты. А очнувшись, тут же вспомнил про Нанни,

которая все еще не вернулась со своим кавалером. «Должно быть, им не скучно», — угрюмо подумал он, чувствуя сильное искушение спуститься в сад и поглядеть, что же они там делают в темноте.

В дверях он столкнулся с дядей Генрихом. По случаю сегодняшнего торжества старый щеголь тщательно уложил волосы и, всем на зависть, воткнул в галстук свою булавку с огромным фальшивым брильянтом, который сверкал, словно королевский дар.

Пер хотел было проскочить мимо Генриха. Со времени своего возвращения он по возможности старался не попадаться на глаза этому злому демону саломоновского дома; Генрих, как и прежде, разыгрывал перед ним отца и благодетеля, но до оглашения помолвки Пер должен был все сносить безропотно, ибо опасался его острого языка.

Дядя Генрих тут же задержал его и с таинственным подмигиванием отвел в сторону.

— Скажу вам мимоходом одно словечко, дорогой друг. Но прежде всего примите мои почтительнейшие compliments. Все получается как нельзя лучше.

— Простите, вы о чем? — спросил Пер, тщетно пытаясь скрыть раздражение.

— То есть как о чем?.. Ах, так!.. Вы собираетесь ломать комедию даже передо мной. Не стоит труда, мой милый, — видит бог, я хорошо вас знаю. Но вы не смущайтесь. И не выходите из своей роли, — это, пожалуй, будет всего умней. Ваш серьезный вид, доложу я вам, производит потрясающее впечатление. Бог ты мой, до чего вы меня позабавили! Все в один голос твердят, что вы настоящий мужчина. Со смеху умрешь! Вот и продолжайте в том же духе. Поводите-ка их всех за нос. Пустите им пыль в глаза. Валяйте, валяйте, чтобы я мог вас хоть немного уважать!

Пер с отвращением взглянул на маленького уродца: тот явно хватил за столом лишнего, и из глаз у него, как у василиска, прямо струилась злость.

Приемы в доме Саломонов всегда вызывали у лжедиректора сильное разлитие желчи, потому что ни один из гостей не желал с ним знаться. А всего презрительнее относились к нему биржевики.

— Про что это вы толкуете? — спросил Пер. — Если вы хотите что-нибудь сказать, так поторапливайтесь.

— Ваш покорнейший слуга! Наипокорнейший! Говоря с вами, я невольно вспоминаю пьесу, которую я видел когда-то на сцене Королевского театра... преглупая, про рыцарей, со всякими рифмами и вздором. И был там один молодой человек, совершенное ничтожество, неудачник, но стоило ему открыть рот, как все просто сходили с ума. Дамы вешались ему на шею, и сам король ошалел от восторга и назначил его своим министром. Оказывается, все дело было в какой-то штучке, волшебной, разумеется, — он тайно носил ее при себе, вот она-то и привлекала к нему все сердца. Вам, мой милый, наверно, досталось в наследство кольцо этого юноши, а? Вы сами, что об этом думаете? Не успел вернуться из путешествия, как уже закатил скандал, да такой, что нам остается только сгореть со стыда. И сегодня он тем не менее герой дня и делает карьеру. Впрочем, вы, почтеннейший, конечно, считаете, что так оно и должно быть.

«Не мешало бы осадить его», — подумал Пер, но тут его осенила весьма забавная идея. Не стоит, пусть себе злится. Пусть Генрих останется его придворным шутом. Его искренняя недоброжелательность доставит ему, Перу, не одну приятную минуту среди шумного маскарада, именуемого жизнью.

И потом, он покровительственно возложил руку на подбитое ватой плечо старой обезьяны и сказал:

— Ну, ладно, любезнейший дядюшка. Если вы хотите сказать еще что-нибудь, выкладывайте, да поскорей. Я спешу.

— Тогда слушайте. Известно ли вам, что, пользуясь вашим именем, они собираются сколотить новое общество? Вы ведь знаете эту деревенщину, этого толстяка, который присутствует на нашем вечере в своих вонючих сапогах — его зовут Нэррехаве. Я видел, как он разговаривал с вами. Вы ничего не заметили?

— Н-ет. Ничего особенного.

— Конечно, ничего. Но дело обстоит именно так. Он да еще тот долговязый вертопрах — адвокат Хасселагер, уже выпустили щупальца. Я сам наблюдал за ними. Я недавно видел, как они оба разговаривали с этим болваном, статским советником Эриксенем. Они с ним носятся, прямо сил нет, и называют его рыцарем и патриотом, а все потому, что он умеет пустить слезу, едва слышит болтовню о национальном возрождении, о любви к отечеству или о духовном подъеме... психопат эдакий!.. Я сразу смекнул, что они чешут языки на ваш счет, и пристроился поблизости, чтобы послушать краешком уха их разговор. По-моему, рыбка клюнула. Статский советник внимательно слушал. Они его явно обработали. Поэтому я заявляю: не натворите глупостей. Не теряйте времени, цепляйтесь всеми когтями. Такой удобный случай вам вряд ли скоро представится.

Сначала Пер ничего не ответил. Он не особенно доверял чужим наблюдениям, но после вдохновляющего разговора с Ароном Израелем слова дяди Генриха произвели на него известное впечатление.

— И это все, что вы хотели сказать? — спросил он.

— Нет, не все.

— Значит, есть еще что-нибудь?

— Да... но вы вряд ли догадаетесь, о чем идет речь, — сказал он, подмигивая, и сделал длинную паузу, чтобы подстрекнуть любопытство Пера. — Когда я сегодня днем прогуливался по Виммельскафт, я встретил знаете кого? Полковника Бьерреграва.

Заслышав это имя, Пер вздрогнул.

— Значит, вы с ним разговаривали?

— Ясное дело, разговаривал.

— И, наверно, рассказали, что произошло вчера у Макса Бернарда?

— Разумеется.

— Ну... а он что?

— Он уже все знал.

— Ах, так. От кого же?

— Вот этого он мне не сказал. Но потом я и сам догадался. Он обронил два словечка про Нэррехаве да еще спросил меня — эдак; знаете ли, мимоходом, знаком ли я с ним и что он собой представляет. А тот — хитрая бестия! — уже вчера побывал у полковника и наговорил ему всякой всячины. Я вам повторяю: полковник знал решительно все, что произошло у Макса. И — представьте себе — ему понравилось ваше поведение. Честное слово — накажи меня бог! — он просто был вне себя от восторга, что вы осмелились выложить Максу всю правду в глаза. Он охотно увидел бы всех наших молодых еврейских крикунов на виселице, — бог благослови его за это! У него прямо засверкали глаза. «Перед таким парнем, — сказал он, — я готов снять шляпу...» Я сразу догадался, что он неспроста говорит мне об этом. Он явно рассчитывал, что я передам его слова вам. Он хочет вас умаслить, понимаете? Он рассчитывает прийти к соглашению. «Этот человек мне по душе, — сказал он. — Теперь наша собственная, полная сил датская молодежь требует себе места под солнцем, потом она вышвырнет всякий чужеземный сброд, которому позволили расплодиться у нас в стране». Так он сказал, слово в слово. Забавно, не правда ли? И здорово сказано!

Погруженный в свои мысли, Пер ничего не ответил.

— Ну, как же после этого не назвать вас счастливчиком? Чем больше глупостей вы делаете, тем больше ваш успех!..

Стоявшие неподалеку гости зашикали на них. Певица взяла другой нотный лист, и в большой зале стало тихо, как в церкви.

Пер избавился, наконец, от Генриха и выскользнул из залы. Он миновал гостиную, потом вышел в вестибюль. Распахнутая дверь вела отсюда в библиотеку и через нее — в бильярдную. Обе комнаты служили сейчас курительной. Из библиотеки, где группа весьма шумных господ вела оживленную беседу, тянулось облако дыма от гаванских сигар. Перу, стоявшему в вестибюле, курильщиков не было видно, но голоса их почти заглушали музыку.

И вдруг, не доходя до раскрытой двери библиотеки, Пер остановился. Он услышал, как кто-то произнес его имя. Сердце у него забилося, щеки вспыхнули, он подошел поближе и прислушался. Оказывается, спор шел о нем. Страсти разгорелись из-за его проекта. Двое спорящих наперебой уверяли, что нельзя ущемлять интересы Копенгагена ради интересов всей страны, третий человек с очень звучным голосом — возражал, что его лично в данном проекте как раз и привлекает решительный отказ от местничества, которое уже нанесло стране невозместимый ущерб и удалило ее от европейских деловых центров гораздо больше, чем к тому вынуждало географическое положение.

Дальше Пер слушать не захотел. Он тихонько повернулся и пошел обратно в пустую гостиную. Здесь он постоял немного в задумчивости у окна, глядя на проселочную дорогу, на лес и не совсем еще погасшее небо.

Вот, наконец, наступило и его время! Ему пришло в голову (тут он иронически улыбнулся), что теперешнее положение точно соответствует его старым расчетам, где он учитывал возможный эффект того события, которое произошло сегодня вечером. Действительно, оглашение помолвки упрочило и закрепило его «счастье». Он получил официальное право на позлащенный терновый венец славы.

В зале снова градом рассыпались хлопки, и одновременно все зашевелилось — гости стали разбредаться по дому. У Пера кружилась голова от жары, от приторного запаха духов, поэтому он не хотел смешиваться с толпой. Повинуясь внезапному решению, он вернулся в вестибюль, разыскал шляпу и пальто на переполненной вешалке и вышел на дорогу.

Вечер был по-летнему теплый. Слева шумел лес, справа лежал пролив, и над ним, словно дымок, клубился туман. Несколько раз Пер останавливался и глубоко вдыхал росистый вечерний воздух, который приятно освежал его разгоряченное тело. Шляпу он так и держал в руках, а длинное пальто в спешке накинул на плечи, и оно развевалось, как плащ художника.

Он думал о том, что пора снова всерьез взяться за разработку проекта. Теперь ему наверняка удастся устранить все недостатки.

Причиной неудач, преследовавших его с утра, послужило, быть может, плохое настроение. Завтра все будет гораздо лучше.

На повороте дороги, у самой воды, он остановился. Перед ним меж уходящих во тьму берегов расстилалась ровная гладь пролива, а над ней простерлось безоблачное небо.

Несколько минут он стоял неподвижно, прислушиваясь к мягкому всплеску прибоя, и снова, как в день возвращения, когда они сидели здесь вместе с Якобой, однообразный плеск, звучащий в глубокой тишине, словно приветливый лепет вечности, наполнил его душу странным очарованием.

Звезды тоже, казалось, жили своей таинственной жизнью. Особенно одна, маленькая и очень яркая, мерцала прямо над островом Вен так ласково, будто узнала Пера и о чем-то хотела напомнить ему. — Разве ты не помнишь?... давно... давным-давно... далеко-далеко отсюда... в мировом пространстве...»

Стук колес — то возвращались из города загулявшие дачники — вернул его к действительности. И тут он увидел загадочную игру света, которая в первую минуту ошеломила, потом даже испугала его. Но скоро он сообразил, что это светящиеся шары Ивэна, отражаясь в зеркальной глади, создают впечатление огненных столбов. А чуть повыше, сквозь темные купы деревьев он разглядел огни залитой светом виллы. И все это вместе в тиши летнего вечера напомнило ему сияющий сказочный дворец, где живут феи.

Вдруг он спохватился, что для того вышел в сад, чтобы выследить Нанни и ее кавалера. А тут он совсем забыл про нее и несколько не был этим огорчен. «Бог с ней, пусть достается ему», — подумал Пер. Так он распрощался и с Нанни, и со всеми тревожными любови.

Перед лицом беспредельного мирового пространства суетная любовная возня людей показалась ему жалкой и пошлой, вызывала даже чувство гадливости.

Пер прошел еще немного, и тишина уступила место шумному оживлению — здесь начинался дачный поселок, а хорошая погода выманила жителей поселка из под крыш в сады

и на веранды.

Но Перу хотелось тишины. Он повернулся и медленно побрел назад.

Проходя мимо дачи, из которой доносилась музыка, он невольно остановился и бросил взгляд вверх высокой терновой изгороди, отделявшей сад от проезжей дороги. За изгородью, в глубине старого сада, приютился небольшой домик под соломенной крышей, где весело шумела группа молодых людей.

Там, судя по всему, тоже отмечали какой-то семейный праздник, но сразу бросалось в глаза, как непохоже это сборище на то, которое он только что покинул. Здесь на всех дамах тоже были светлые платья, но более скромного покроя, не изобличавшие светского презрения к условностям, и игра, в которую здесь играли, тоже была своя, старая и вполне невинная, — игра в прятки. Какой-то студент присел под деревом, накрыл глаза своей белой фуражкой и начал считать, а остальные, крадучись, проскользнули по мосткам и лужайкам и попрятались за кустами. Через открытую дверь веранды виднелся накрытый стол и за ним два пожилых господина с трубками в зубах. На одном была ермолка, что довершало общее впечатление бюргерской добропорядочности, простоты и уюта. Из этой-то двери и доносилась музыка, которая привлекла его внимание, — жалобные, надтреснутые звуки старенького, расстроенного фортепьяно, вроде того, на каком играла в родительском доме сестра Сигне. Он никогда не мог без волнения слушать эти звуки.

Из-за дома вышли, обнявшись, две молодые девушки. Они уселись в мечтательных позах на ступеньках веранды и залюбовались звездным небом. К ним подсело еще несколько дам, запыхавшихся от игры в прятки, — и постепенно на ступеньках собралась целая стайка одетых в белое фигур. Все смотрели на небо и обмахивались носовыми платками.

— Ох, если бы звездочка упала, — сказала одна.

— А что бы ты задумала? — спросила другая.

— Ни за что не скажу.

— А мне вы тоже не скажете, фрёкен Йенсен? — спросил студент; вместе с остальными мужчинами он устроился прямо на лужайке перед домом.

— Н-не знаю... конечно... если вы пообещаете никому не рассказывать...

— Клянусь! — воскликнул он и, растопырив пальцы, положил руку на сердце. — Итак, что вы хотели пожелать?

— Я хотела пожелать, чтобы... чтобы у меня не подгорела завтра каша.

Взрыв хохота и аплодисменты всех присутствующих. Но тут кто-то спросил:

— А не спеть ли нам?

— Да, детки, спойте, — сказала пожилая дама, которая появилась в дверях как раз при этих словах.

— Вы спойте, а мы тем временем подадим сладкое.

Пер и не заметил, что за ним наблюдает одинокая пара, которая все еще продолжала бродить по саду, тщательно выбирая дорожки потемнее. Вдруг перед ним по другую сторону изгороди выросла мужская фигура; подошедший снял шляпу и с иронической вежливостью поинтересовался, кого, собственно, дожидается Пер.

Пришлось уйти.

Но, отойдя шагов на сто, Пер остановился и снова прислушался. В саду запели, он узнал слова и мелодию известной песни — летом, на воздухе, ее часто певали его братья и сестры.

*Покой и тишь царят в полях,  
И вечер настает,  
Смеется месяц в облаках,  
Звезда звезду зовет.*

Пер стоял, затаив дыхание. Никогда, думалось ему, он не слышал таких хороших голосов. Может быть, причиной тому был глубокий покой летнего вечера. Несмотря на



расстояние, он отчетливо различал каждое слово, каждый звук. В этом было что-то почти сверхъестественное. Казалось, поет сама земля вокруг него, поет дорога под его ногами, словло там сокрыт подземный хор.

И заключил простор морской  
В объятья небосвод.  
На бреге дальнем страж ночной  
Хвалу творцу поет.

Пер закрыл глаза. Острая боль обожгла его. Звуки песни пробудили живой отголосок в заповедных тайниках души.

И на земле и в небесах  
Такая благодать!  
А сердце — словно на часах,  
Не хочет отдыхать.

\* \* \*

А в Сковбаккене между тем начались танцы. Правда, после столь плотного обеда одна лишь молодежь не боялась резких движений.

Более пожилые разбрелись по комнатам или, рассевшись вдоль стен залы, наблюдали за танцующими.

Оживление, схлынувшее было после концерта, снова овладело гостями, когда заиграла музыка, а в курительной были поданы крепкие напитки.

Через кабинет вихрем пронесся по направлению к танцевальной зале доктор Натан под руку с двумя дамами — самыми молодыми и красивыми на сегодняшнем вечере. Нигде, пожалуй, сей замечательный человек не был достоин большего восхищения, нежели на светских раутах. Сколько бы он ни проработал будь то днем или ночью, пусть даже в его кабинете до рассвета не гасла лампа, — он не ведал усталости и отдавался веселью с чисто юношеским пылом и страстью. Ему не приходилось искусственно подбадривать и возбуждать себя. Откровенное и глубокое презрение к людям, выработавшееся у доктора с годами, не могло пересилить в нем любовь к жизни. Сверкающие огнями залы, красивые женщины, улыбки и цветы всегда радостно волновали его. Где бы и когда бы вы ни увидели его, доктор Натан неизменно рассказывал, объяснял и убеждал. В обществе, равно как и в литературе, доктор был сущим магом и покорителем сердец; полный дерзкого высокомерия, он в то же время всячески старался не произвести плохого впечатления. Даже мнение самого ничтожного студентишки тревожило его. В своих трудах он мог отпускать любые насмешки по поводу жизни и житейской суеты, однако, стоило ему на деле столкнуться с жизнью, как она немедленно завладевала им. Даже самые непривлекательные стороны бытия манили его, настолько щедрая и многогранная натура была у этого коренного горожанина, рожденного в самом сердце столицы, выросшего на булыжных мостовых. Так на каменистой почве юга вырастает кактус с огненными цветами.

Именно эта искрящаяся, бурная любовь к жизни делала Натана явлением совершенно необычайным для такой отсталой крестьянской страны, как Дания. В литературном оркестре современности, где слышались голоса всех инструментов, от трубы Страшного суда до ярмарочного барабана и благочестивого перезвона церковных колоколов, голос Натана звучал, как голос самой природы, манящий и пугающий в то же время. Когда седой, с козлиной бородкой, чуть прихрамывающий доктор промчался в танцевальную залу, ведя за собой двух молоденьких краснеющих девушек, он казался живым воплощением Пана,

великого бога лесов. В глазах молодежи он и был Паном с волшебной свирелью, своей игрой он увлекал даже малодушных к источникам вечной юности и на какое-то мгновение заставил пуститься в пляс неповоротливых и косноязычных датчан.

Среди зрителей в зале находилась и Якоба. Она так и осталась на прежнем месте, потому что музыка и танцы были ей приятны — они позволяли ни о чем не думать. Рядом с ней сидел кандидат Баллинг и толковал о Поуле Бергере.

Якоба его почти не слушала. Взгляд ее тревожно блуждал по зале в поисках Пера. Но Пера нигде не было, тогда как золотисто-желтое платье Нанни то и дело мелькало среди танцующих. Якоба решила, что он застрял в курительной, и хотела только одного — чтобы он там подольше оставался. Она боялась, что придет и пригласит ее танцевать и что она не сумеет совладать с собой, если он предпримет какую-нибудь попытку к примирению.

Впрочем, долговязый литератор, сидевший рядом с ней, решительно не замечал ее отсутствующего вида. Он, по обыкновению, был и сам очень рассеян и каждую минуту умолкал и вертел головой во все стороны, прислушиваясь к разговорам окружающих. Баллинг принадлежал к числу тех датчан молодого поколения, которые сначала были и благопристойны и добродушны, затем, под воздействием доктора Натана, исполнились львиной отваги, но вскоре осознали свои заблуждения, не найдя, однако, в себе достаточного мужества открыто признать и: не говоря уж о том, чтобы — как Поуль Бергер — стяжать славу Иуды во стане врагов. Такие люди в рядах победоносной армии прогресса подобны невыявленным дезертирам; из страха они следуют за знаменем армии, но в душе радуются каждому ее поражению.

Будучи до известной степени жертвой собственной порядочности, Баллинг считал себя фигурой трагической, и когда в дверях показался со своими дамами вождь победителей — доктор Натан, лицо Баллинга вспыхнуло от злости.

Снова среди танцующих показалась Нанни в золотых одеждах баядерки. Она тоже искала глазами Пера и тоже тщетно глядела по сторонам, не понимая, куда он делся. Хотя держалась она весьма вызывающе, ей весь вечер было очень не по себе из-за сцены, разыгравшейся в кабинете. Все ее прежнее поведение сводилось к одной цели: сбить с толку Пера и самой позабыть обо всем, но теперь ее мучила мысль, что онахватила через край и что Пер из мести начнет трезвонить о случившемся направо и налево.

А тем временем вернулся Пер. Снимая в вестибюле пальто, он бросил взгляд в распахнутую дверь битком набитой курительной и случайно увидел там Дюринга, который сидел в кругу известных биржевиков.

В свое время Дюринг создал себе имя, выступая против общественного мнения, затем он с присущей ему находчивостью переметнулся и счел более выгодным говорить и писать именно то, что публика — и особенно биржевики — больше всего хотела услышать сейчас. Его путевые записки о финансовой жизни Франции и Италии имели шумный успех в деловом мире и стяжали Дюрингу репутацию исключительно сведущего человека. В своих записках он превозносил солидность и добропорядочность датской торговли, резко отличающие ее от зарубежной, и было единогласно признано, что Дюринг имеет все основания руководить крупной экономической газетой. Его статьи обнаруживали такое серьезное отношение к делу, такое чувство ответственности, каких трудно было ожидать от бывшего театрального рецензента в «Фалькене». Поэтому назначение его на пост главного редактора, вызывавшее сначала яростные нападки, теперь все воспринимали как лишнее доказательство гениальной способности Макса Бернарда подбирать нужных людей и находить для каждого из них самое подходящее место.

Пер хотел было присоединиться к курильщикам, чтобы отогнать мрачные мысли и с помощью стакана виски прийти в настроение более уместное при данных обстоятельствах. Но, завидев короля прессы в кольце поклонников, он потерял всякую охоту подлаживаться к обстоятельствам, повернулся и пошел дальше.

На лице его еще сохранился слабый отблеск иного, более счастливого мира. Но, пробираясь по переполненным и душным комнатам, глядя на разгоряченные лица и

безостановочное судорожное движение вееров, он снова помрачнел. Вдобавок ему резал глаза яркий свет люстр. Переход от тишины сельского вечера к шуму и гаму большого общества совершенно ошеломил его. Ему казалось, будто он попал в самое нутро грохочущей электрической машины со сверхмощным напряжением.

В дверях залы он остановился и посмотрел на танцующих. За это время число их заметно увеличилось. Кое-кто из пожилых тоже решил поразмять ноги.

И вдруг теплая волна прилила к сердцу Пера. Среди шумной суеты он увидел Якобу. Она сидела у противоположной стены, на том самом месте, где он час тому назад оставил ее. Да, подумалось ему, только рядом с ней он может чувствовать себя спокойно. И не темный ненадежный инстинкт, а сама воля к жизни заставила его выбрать Якобу еще задолго до того, как он в полной мере и по достоинству сумел оценить ее. Его поразило, что и она среди этой суеты кажется чужой. По всей вероятности, она и не танцевала: веер и перчатки по-прежнему лежали у нее на коленях.

Словно откровение явилось Перу при этом зрелище. Никогда раньше он с такой силой не сознавал, насколько глубока их внутренняя связь, не понимал, что любовь Якобы есть пока единственно надежное завоевание, которое принесла ему погоня за счастьем в царстве приключений.

Отныне он сумеет по-настоящему ценить свое сокровище! Будто отблеск рассвета упал на Пера, когда он углубился в немое созерцание ее тонкого, умного, бледного лица с тяжелыми веками, с энергическим, хотя и непередаваемо женственным разрезом рта. А ее злосчастное платье — теперь даже оно вызывало у него умиление, именно потому, что она так некстати его надела.

Он хотел как можно скорей пробраться к Якобе, но тут под руку со своими кавалером примчалась Нанни, разгоряченная танцами.

— Ну где вы пропадаете, негодный? Все дамы только о том и мечтают, чтобы потанцевать с женихом, а он, видите ли, взял да скрылся! Это просто наглость с вашей стороны.

Пер холодно взглянул на нее.

— Я чрезвычайно сожалею, но Якоба устала, поэтому я сегодня тоже не буду танцевать.

С этими словами он повернулся к ней спиной, а Нанни расхохоталась, пытаясь скрыть свою ярость.

— Пошли, выпьем чего-нибудь холодненького, — сказала она и удалилась со своим — кавалером. — Ну и грубияна подцепила моя сестрица. Вы не находите?

Якоба увидела Пера, как только он показался в дверях, и, хотя она отвернулась, она не могла не заметить сценки, которая разыгралась между Пером и Нанни. Теперь, глядя, как он спешит к ней, она поняла, что стала свидетельницей решительного разрыва.

Пер дружески кивнул ей и опустился на стул, с которого только что встал кандидат Баллинг. Потом он придвинулся поближе и сжал ее руку, лежавшую на подлокотнике кресла. И Якоба не отняла руки. Просто не смогла отнять — так ее покорила эта немая мольба о прощении. Но ответить на его пожатие она тоже не смогла, как не смогла заставить себя посмотреть ему в глаза, чего он, без сомнения, ожидал. Гордость ее слишком страдала от сознания, что она не может устоять перед его лаской.

— Какие у тебя холодные руки, — сказал он. — Ты, верно, озябла. Принести тебе шаль?

— Нет. Мне тепло.

— А из дверей не дует?

— Нет, не замечаю.

— Но все-таки, может, ты хочешь...

— Нет, нет, ничего не хочу.

— Ну, как тебе угодно, дружок!

Голос у нее был усталый, в ответах сквозило некоторое раздражение, но Пер этого не

замечал. Поглаживая пальцы Якобы, он прижал ее руку к своей груди. Одновременно он придвинулся к ней еще ближе, теперь их плечи тоже доверчиво соприкоснулись. Когда она хотела высвободить руку, он удержал ее. Голосом, которым он говорил с ней в те памятные ночи, от которого кровь прихлынула к ее щекам, шепнул:

— Дружок мой, дорогой дружок! — И немного спустя — Ты танцевала?

Она отрицательно качнула головой.

— А хочешь?

— Нет, ничуть... Я очень устала, — добавила она после небольшого молчания, опасаясь, что Пер ложно истолкует ее отказ.

— Тогда я предложу тебе вот что. Сегодня чудесная погода. И не холодно. Совсем как летом. Давай погуляем по саду?

Она не сразу ответила, и он продолжал:

— Я думаю, тебе станет лучше на свежем воздухе. И потом, я должен кое-что сказать тебе.

Тут она впервые за весь вечер взглянула на него, правда, отсутствующим взглядом, — мысли ее были далеко. Но тон его — искренний и теплый — она уловила.

Она встала, и, когда Пер принес ей накидку, а себе пальто, они отправились в сад.

На террасе, куда танцующие выходили освежиться, царило шумное оживление.

Гости толпились вокруг столов, где были расставлены прохладительные напитки, мороженое и всевозможные сладости. Здесь, под открытым небом, находилась и Нанни со своим кавалером. Она только было собралась выкушать порцию фруктового мороженого, как вдруг заметила, что Пер и Якоба под руку прошли мимо нее и спустились по мраморной лестнице.

«Ну, сейчас он ей все выложит», — молнией сверкнуло у нее в уме. И губы ее побелели от страха, ненависти и разочарования.

Она отставила вазочку с недоеденным мороженым и вернулась в залу. «Нет! мысленно продолжала она, кружась по зале со своим партнером. — Якобе недолго радоваться. Уж об этом-то она, Нанни, позаботится. Воевать так воевать!»

Пер и Якоба прошли через весь сад и сели у самой воды на укромную скамью. Здесь они сидели обычно, если хотели, чтобы им никто не мешал. Теперь, когда вокруг никого не было, Якоба перестала сопротивляться. Пер обнял ее за плечи, и она прижалась к нему и положила голову ему на грудь.

Они сидели тихо-тихо. У их ног сонно шумели волны, и отблеск светящихся шаров Ивэна дробился в воде, словно там проплывали косяки золотых рыбок.

— Тебе не холодно? — спросил Пер, плотнее укутывая ее меховой накидкой.

— Нет, нет, ничуть, — ответила она снова с некоторой досадой.

Словно продолжая вчерашний разговор, начатый на этой же скамье, Пер рассказал, как в ходе наблюдений над гостями он пришел к выводу, что отечественные прогрессисты начинают вырождаться. Во всяком случае, от восхищения, которое они вызывали у него в былые дни, не осталось и следа. Он должен целиком согласиться со всем тем, что она писала или говорила ему: общество, где лица, подобные, например, Дюрингу, могут играть ведущую роль, само подписало свой приговор. Ему ясно, что если в Дании еще и можно надеяться на прогресс и торжество свободных идей, то для этого на сцену должны выйти другие силы — люди в полном смысле слова, глубокие и благородные натуры, жизненная цель которых не ограничивается повседневной охотой за деньгами, женщинами или знаками отличия.

Он развивал этот взгляд с присущим ему красноречием. Но Якоба почти не слушала его. Все серьезные и прочувствованные слова скользили мимо ее ушей, словно шелест листьев.

Зато когда он к концу своей речи попросил у нее поцелуя в знак полного примирения, она его тотчас же услышала, быстро подняла голову и подставила ему губы, как человек, изнывающий от жажды и желающий лишь одного — поскорей утолить ее.

## Глава XVIII

Проснувшись на другое утро, Пер почувствовал себя не совсем хорошо. Он, по привычке, много ворочался во сне, сбросил одеяло и очень озяб.

Когда он попытался сесть, что-то больно укололо его в грудь, и одновременно сердце сжалось от страха. Он уже знал эту боль. Она не раз беспокоила его за время путешествия, особенно в Вене, после утомительных поездок на лодке через дельту Дуная. Питая известное недоверие к иностранным врачам, а главное, боясь услышать страшную правду, он до сих пор не обращался за советом. Но теперь пора было всерьез заняться своим здоровьем. Он позвонил горничной и попросил пригласить к нему известного специалиста, главного врача одной из копенгагенских больниц.

Врач явился лишь через несколько часов, и этих нескольких часов одинокого ожидания с лихвой хватило Перу для того, чтобы вообразить, будто эти приступы, с каждым разом все более мучительные, являются предвестниками смерти.

Умереть так рано? Двадцати четырех лет от роду? Не завершив главного дела своей жизни, вернее — даже не начав его? Бессмысленно и нелогично, как бессмысленна и нелогична сама жизнь!

Давно миновало то время, когда он беспечно тратил свое здоровье и посылал вызов смерти, в твердом убеждении, что он не может умереть, так как мир без него не обойдется, так как его способности и силы нужны для процветания отечества. Теперь он понимал, что природа достаточно богата и может позволить себе некоторую расточительность, что гораздо более значительные таланты сошли в могилу, так и не развернувшись. Косая ни у кого не станет спрашивать разрешения. Солнце одинаково светит и правым и виноватым, а Костлявая, с пустыми глазницами, хватает без разбору избранных и не избранных, ничуть не считаясь с приносимой ими пользой.

Правда, ужас, который вызывала у него прежде мысль о небытии, был теперь не так силен. Лежа в роскошной постели под пестрым шелковым одеялом и готовясь выслушать смертный приговор, он был сравнительно спокоен и тверд. Выпадали у него минуты такой усталости, когда он, даже не испытывая никакой боли, почти мирился с мыслью об уходе из жизни и тем самым об избавлении от бессмысленных трудов и забот. Грохот телег на площади под окнами, лязг трамвая, предстоящие переговоры с глупыми и наглыми дельцами все это наполняло его в такие минуты непередаваемым отвращением.

Но шли часы, и все труднее становилось ему бороться со страхом. От щемящего чувства заброшенности он обливался холодным потом. Подумать только, ему суждено умереть в полном одиночестве!

Чтобы отогнать мрачные мысли, он хотел было заняться чтением. Как раз вчера он распаковал книги, привезенные из путешествия, главным образом, большие и дорогие издания по вопросам техники, но среди них было несколько книг общего характера, приобретенных зимой за время пребывания в Дрездеке и позднее — в Риме.

Из последних он отложил однотомник избранных произведений греческих и римских философов на немецком языке. Эта книга уже однажды послужила ему утешением в подобных обстоятельствах.

Но не успел он по-настоящему углубиться в книгу, как пришел врач. Это был маленький седобородый человечек. Без лишних слов он уселся на стул возле постели. Сперва он учинил Перу форменный допрос, затем, с явным недоверием, приступил к собственному осмотру. Выстукав грудь и спину, он заявил:

— Не имеем ли мы дело с заболеванием легких? В настоящее время у меня нет оснований так думать. Легкие у вас как кузнечные мехи... Где у вас болит?

Пер указал место в правом боку чуть пониже последнего ребра.

— Вот здесь? Пойдите-ка, ведь сначала вы говорили, что у вас боли в левом боку.

— Когда как.



— Гм, гм, а если я вот так нажимаю, вам очень больно?

— Да нет, не сказал бы.

— И вы ничего особенного не замечаете?

— Нет.

— Может, у вас вообще теперь ничего не болит?

Пер признал, что мучительная боль, которая сжимала грудную клетку, теперь действительно прошла. Он снова мог глубоко вздохнуть, не чувствуя при этом колотья в боку.

Доктор ничего не ответил и принялся исследовать нижнюю часть тела и ноги.

— Ну-с, легкие у вас в порядке, — повторил он, закончив исследование, — менять их, во всяком случае, я вам не советую. А вот мышцы у вас дрябленькие, вздутые. Да и сердцу не грех бы быть покрепче. Скажите-ка мне, как вы обычно проводите день? Занимаетесь ли вы гимнастикой? Принимаете ли по утрам холодный душ? Это вам совершенно необходимо. И еще упражнения с гирями. Нет ничего лучше, как утречком натошак поработать с парочкой четырех килограммовых гирь. Вы должны заставить свою почтеннейшую кровь обращаться чуть побыстрее; других болезней у вас нет, но и этого в вашем возрасте за глаза хватит. Вылежите несколько дней и приведите в порядок нервы.

Вообще же я бы посоветовал вам получше следить за здоровьем, ибо при всем своем крепком сложении вы обнаруживаете некоторую склонность к... к... как бы это красивее выразиться — ну, к таким маленьким, знаете ли, выкрутасам, вроде боли, которая сегодня поутру навестила вас. Все сие, однако, легко объяснить. Значит, так: сперва вы трое-четверо суток тряслись в поезде, где толком не ели и не спали, затем по возвращении, о чем я узнал из ваших же слов, сразу начались дела, суета, светская жизнь — вот вам и достаточное объяснение, когда мы имеем дело со вскормленной кашами отечественной породой, хоть она и считается образцом силы.

Последнее он добавил со злобной усмешкой в маленьких, чуть раскосых глазках, но этого Пер не заметил. Он и вообще почти не слушал врача. Как только он убедился, что не носит в своем теле туберкулезных бацилл, он сразу же почувствовал себя гораздо лучше и желал только поскорее избавиться от несносного говоруна.

Сразу же после ухода врача он встал. Воспрянув духом, погулял по комнате, мурлыкая песенку, потом оделся, позавтракал с большим аппетитом и сел к письменному столу. В нем снова проснулась жажда действия. Он извлек свои чертежи, измерительные приборы, таблицы и другие пособия. Осталось только поддать жару. Полный вперед!

Приготовив все для работы, он вдруг наткнулся на книгу, которую начал читать перед приходом врача. Он тогда сунул ее между чертежами, а теперь, откладывая в сторону, не устоял перед искушением и заглянул в нее. Там, где он кончил читать, стояла отметка; это была душевная беседа Сократа с учениками о смерти, записанная Платоном незадолго до казни великого наставника. Взгляд Пера упал на те строки, где Сократ уподобляет тело человеческое тяжелому, клейкому тесту, которым облеплена душа и которое повинно в том, что человек никогда не может вполне овладеть предметом своих устремлений, если не считать целей низменных и грубых.

«Ибо тело причиняет нам тысячи забот. Оно наполняет нас страстями и нечистыми помыслами, страхами, тревогами и суетой... Погоня за богатством есть источник всех зол, но и деньги нужны нам лишь ради тела, ради заботы о нем. Допустим, что мы, наконец, ублажили свое тело и хотим перейти к мыслям о возвышенном, — все равно оно мешает нам думать, порождает беспокойство и смятение, смущает нас, по его вине мы не в силах разглядеть истину... В нашей жизни мы приближаемся к познанию лишь тогда, когда мы не думаем о своем теле и уделяем не больше времени, чем нужно для удовлетворения самых насущных потребностей, — то есть когда мы не даем ему завладеть нашими помыслами...»

Пер уронил книгу и несколько минут сидел, задумчиво глядя прямо перед собой и сдвинув брови.

«Удивительно, — подумал он, — эти слова, сказанные за четыреста лет до рождества

Христова, словно списаны из какого-нибудь современного трактата о христианстве!»

Он дочитал страницу до конца, перевернул, прочел следующую, потом еще одну... и уже не мог оторваться. Эта исполненная глубокой мысли игра фантазии со сверхъестественными силами проникла в самые сокровенные тайники его души, наполнила ее волнением. Давно уже миновал полдень, когда он, наконец, вернулся к своим чертежам и расчетам.

Но сегодня работа не клеилась точно так же, как и вчера. Несмотря на все усилия, он не мог сосредоточиться. И это он — человек, который доселе не мог равнодушно увидеть чистый лист бумаги, человек, для которого главная трудность всегда состояла в умении правильно выхватить нужную мысль из целой кучи мыслей, осаждавших его во время работы! Теперь же он вообще не мог настроиться на деловой лад. События, не имевшие к нему ни малейшего отношения — любой крик на улице, любой звонок в коридоре, отвлекали его от работы и мешали ему.

И сегодня дело кончилось так же, как вчера: в болезненном возбуждении он решил, что весь проект никуда не годится, закрыл лицо руками и отдался мрачному и безнадежному отчаянию.

Но тут он вдруг вспомнил про профессора Пфефферкона, который весьма им интересовался, когда он был в Берлине.

В свое время он по просьбе Пфефферкона выслал ему письменное изложение своих идей; признательный профессор ответил длинным письмом. Его-то Пер и отыскал среди бумаг:

«...что же до вашего гидравлического мотора, то тут я должен высказаться весьма осторожно. Вы вступили на совершенно непроторенную дорогу, и вполне естественно, что первые шаги вы делаете еще не совсем уверенно.

Впрочем, я, кажется, во время нашей встречи говорил вам, что американцы уже производили кое-какие опыты в этом направлении и что они продолжают стремиться к достижению этой поистине великой и заманчивой цели: подчинить неисчерпаемую мощь океана человеческой воле. То, что вас тоже увлекла такая идея, лишь делает вам честь, но может ли путь, вами избранный, привести к желанной цели, об этом я, как уже было сказано выше, умолчу. Зато, внимательно ознакомившись с вашей новой системой регулировки ветряного двигателя, я могу смело сказать, что это чрезвычайно счастливая мысль. Идея применения рычага и противовеса мне очень и очень по душе. И средства, вами указанные, заслуживают всяческого одобрения. Но, я думаю, вы и сами не считаете, что вам удалось найти окончательное и бесповоротное решение большой и серьезной проблемы, имеющей огромное значение для всех стран, бедных водной энергией, и в первую очередь — для стран равнинного рельефа. Ни к одной другой области, кроме технической, не применимо в подобной степени правило о том, что окончательная победа достигается путем бесконечного ряда мелких усовершенствований, и вы наверняка не удовлетворитесь уже достигнутым. Я и впредь намерен с величайшим интересом следить за вашим развитием, насколько мне позволят обстоятельства, и самые большие надежды я возлагаю на результаты ваших последующих опытов в этой же области. О своих незаурядных способностях вы и сами прекрасно осведомлены, и вы многого сумеете добиться, особенно если вам удастся в дальнейшем слить воедино свое редкостное умение охватывать предмет в целом с более глубоким проникновением в детали, к чему юность склонна относиться с некоторым пренебрежением, но что на деле служит основой истинно глубоких и верных выводов. Если мне не изменяет память, вы собирались во время вашего путешествия посетить также и Северную Америку. Эту мысль можно только приветствовать. Там вы скорей, чем где бы то ни было, получите возможность обогатить свои познания в чисто практическом смысле. Я подразумеваю не одну только технику, — ведь мы стали учениками Нового Света и в целом ряде других областей. Прежде всего вы постигнете в этой стране великих открытий, как самые блистательные результаты достигаются с помощью самых ничтожных средств».

Старое полузабытое письмо...

Получив его, Пер даже не обрадовался — оно показалось ему не слишком лестным, зато как оно подбодрило его теперь! Он тут же решил, что надо немедленно сняться с якоря и продолжить свою образовательную поездку. Дела свои он решил снова передоверить Ивэну, возложив на него ведение всех и всяческих переговоров. А он тем временем потихонечку уедет, и на сей раз — прямо в Америку. Не следует вновь поддаваться соблазнам Старого Света.

Под вечер он отправился в Сковбаккен, чтобы обо всем переговорить с Якобой. Когда он приехал, Якоба была в саду. Она сидела возле беседки на скамье, озаренной солнечными лучам.

К ней сразу донесся с террасы голос Пера, но она осталась на прежнем месте и ни единым звуком не выдала своего присутствия. Когда он, наконец, разыскал ее, она подставила ему щеку для поцелуя, хотя он искал губы. Она даже не могла поблагодарить его за цветы, которые он ей принес, — именно потому, что он так явно ждал благодарности.

Весь день она провела словно скованная тяжелой дремотой и тщетно пыталась забыть случившееся. Она всегда любила ясность, но теперь, в отношении к Перу, впервые изменила себе, умышленно закрывая глаза на правду, если правда грозила разрушить ее счастье. Подобно человеку, который, проснувшись среди сладкого сна, переворачивается на другой бок, чтобы досмотреть сон до конца, Якоба с каким-то иступлением отдавалась самообману.

Пер не мог заставить себя сразу сказать ей, что они опять должны расстаться. Да и само решение уехать недешево ему стоило. Он устал от бродячей жизни, а то обстоятельство, что ему с трудом даются иностранные языки — на одном лишь немецком он мог изъясняться более или менее сносно, — тоже усиливало нежелание трогаться с места. Да и Якобу ему было тяжело покинуть, особенно теперь, когда они сумели достичь полной искренности и вновь обрели друг друга. Но ничего не поделаешь — раз надо, значит надо.

Сначала он был слишком занят своими мыслями, чтобы уловить перемену в Якобе. Но, сидя рядом с ней и раздумывая над тем, как бы осторожнее сообщить о своем решении, он увидел, что она поспешно стирает что-то со щеки. Выглядело это так, будто она сгоняет муху, но Пер успел заметить, что она смахнула слезу.

Он был потрясен. Он никогда еще не видел ее слез.

— Дорогая, спросил он, — что с тобой? Что-нибудь случилось?

— Нет, нет, ничего... Просто нервы, — сказала она и отвела его руку, когда он пытался обнять ее.

— А ты не больна?

— Ну конечно, нет. Я же сказала, что это ровно ничего не значит. Давай пройдемся. Я что-то озябла.

Он тотчас же вскочил (его предупредительность сегодня просто терзала ее), и они медленно побрели вдоль берега. Тут только Пер заметил, какой у нее больной и измученный вид, и его решимость заметно поколебалась.

И вдруг сквозь мрачное настроение пробилась блестящая, ослепительная идея. Как один-единственный солнечный луч, пройдя через облако, меняет все вокруг, так и эта мысль мгновенно озарила его существование. Ведь Якоба может поехать вместе с ним. Они могут немедленно пожениться, и Якоба поедет с ним, не таясь перед богом и людьми. Как только он не подумал об этом раньше! Дорожные трудности, сутолока гостиниц, одиночество — все то, что так пугало его, сулило теперь сплошную радость и ликование. Он уже знал по опыту, какой бесподобный спутник может получиться из Якобы — бесстрашный, нетребовательный, по-матерински заботливый и вдобавок свободно владеющий несколькими иностранными языками.

— Якоба! Якоба! — Он остановился прямо посреди садовой дорожки и, прежде чем она успела помешать ему, крепко обнял ее. А потом рассказал обо всем, что он пережил и передумал со вчерашнего дня и какие планы родились у него касательно их будущего.

Якоба долго молчала, склонив голову к нему на плечо в счастливом забытии, губы и щеки у нее побледнели от волнения. Она отлично знала, что не хочет, да и не может поехать

с ним. В ее теперешнем состоянии было бы безумием уезжать так далеко. Пер рассчитывал пробыть в отлучке около полугода, уезжать на меньший срок просто не стоило. И, значит, она будет для него тяжелой обузой.

— Но ты мне не отвечаешь, — сказал он, когда они вышли на свое любимое место у самой воды, откуда открывался вид на Зунд и на залитый солнцем шведский берег. — Тебе не нравится мое предложение?

— Не знаю даже, что и сказать, — ответила Якоба. Она сидела, подавшись вперед, глядя в сторону и облокотясь на одну руку, — другую руку Пер не выпускал из своих. — Я понимаю, что тебе надо ехать. Я даже сама об этом думала... И все же, дорогой, я через Атлантический океан не поеду!

— Но почему? Когда я с тобой, ты можешь быть абсолютно спокойна. Я буду очень заботиться о тебе. Или ты просто боишься ехать по морю?

— Да, это тоже. Так что лучше я останусь дома и буду ждать тебя. Но если ты считаешь, что мы должны пожениться до твоего отъезда, тут я с тобой согласна. Это будет разумно по многим соображениям.

— И, не успев по-настоящему стать мужем и женой, мы опять разлучимся? Да ты смеешься, что ли? Это было бы самой чудовищной жестокостью. Я просто не узнаю тебя, Якоба. Откуда у тебя взялись такие мысли? Ты не можешь так думать. Да?

Она только молча кивнула.

— Я не верю тебе, Якоба. Ты стала такая странная за последнее время. Что ты скрываешь от меня?

— Ничего, друг мой, — ответила она, судорожно сжимая его руку. Сейчас еще меньше, чем когда бы то ни было, она могла открыть ему всю правду. Она не решалась. Она больше не строила себе никаких иллюзий относительно его характера и боялась, что, узнав он о ее состоянии, он под этим предлогом немедленно отложит путешествие, а то и вовсе от него откажется. А иметь это на своей совести она не хотела. Она отлично понимала, насколько важно для него побывать именно в Америке, и это сейчас интересовало ее как никогда. Раньше она могла довольствоваться одной лишь его любовью, теперь, когда она уже не ждала, что его любовь даст ей всю полноту счастья, она невольно искала какого-то возмещения в той степени, в какой убавилась его любовь.

— Слушай, — наконец перебила она Пера, который все еще пытался уговорить ее. — У меня есть другая мысль. Ты можешь ехать через Англию, тогда и я поеду с тобой. Неделю мы проведем в Лондоне и неделю где-нибудь в деревне или на побережье. А в Ливерпуле мы расстанемся. Ну, что ты на это скажешь?

— Разумеется, это лучше, чем совсем ничего. Будем надеяться, что до Ливерпуля ты обдумаешься.

— Не надейся. И прежде всего из-за тебя же! Подумай и о том, что, когда ты вернешься, нам уже нельзя будет жить в отеле. Надо будет завести собственную квартиру. А с этим у меня хватит возни до самого твоего возвращения.

— Да, это разумно. Ты права, Якоба, права, как всегда. Милый мой дружок, я заранее радуюсь своему возвращению!.. Подумать только: наш дом!.. Пусть даже не очень роскошный, верно? И где-нибудь за городом, на лоне природы, с видом на лес и на побережье. Ну как? И мы вдвоем, только вдвоем!

В порыве нежности он опять прижал ее к себе, и она утомленно склонила голову к нему на плечо и закрыла глаза.

— Смотри, — продолжал он, — до чего, в сущности, все ничтожно и незначительно по сравнению с теми благами, которые, так сказать, едины для всех — бедных и богатых — и которые сами собой произрастают из бытия, словно плоды на дереве. Нет, в распределении ценностей что-то обстоит явно не так даже в современном обществе. Хорошо хоть, что я вовремя понял это. Не то я совсем увяз бы в трясине.

Якоба опять встревожилась. Хотя Пер по сути дела повторял ее собственные слова — вернее, именно потому, что она когда-то мечтала услышать их из его уст, — они теперь

испугали ее. За это время она сама очень изменилась. И больше всего изменились ее взгляды на так называемые «жизненные ценности» за последние несколько дней.

— Мне кажется, ты неверно расцениваешь обстоятельства, — сказала она с непривычной суровостью в голосе.

— Так оглянись же хорошенько вокруг и попробуй после этого утверждать, что для нового общества своекорыстие, тщеславие, жестокость, властолюбие не являются такими же краугольными камнями, как прежде.

— А почему бы им не быть краугольными камнями?

— Ты спрашиваешь почему?

— Да, именно, почему? Коль скоро подобные качества составляют те движущие силы, которые побуждают человечество идти вперед? Потому-то и не следует осуждать их так строго, как нам того хотелось бы.

Пер рассмеялся. Он принял ее слова за шутку.

— Уж не думаешь ли ты, что они достойны похвалы?

— Не знаю, не знаю. Но ведь не от них же одних зависит благоденствие человечества?

Только теперь по ее тону Пер понял, что она говорит вполне серьезно. Но ему не хотелось ссориться с ней, и поэтому он обратил все в шутку.

— Ну, что бы я ни сказал, ты будешь сегодня обязательно говорить наперекор, пусть это даже противоречит твоему собственному мнению.

Якоба промолчала. Она тоже не испытывала ни малейшего желания возобновлять спор. И оба принялись строить планы поездки и разрабатывать маршрут.

\* \* \*

Война, которую при активной поддержке дюринговской газеты «Боргербладет» вел Макс Бернард против сторонников копенгагенского открытого порта, завершилась в эти дни самым неожиданным для всех образом. Бернарду удалось вывести своих врагов из равновесия. И действительно, они затеяли весьма рискованное дело, требовавшее больших вложений, авторитет же «Боргербладет» среди биржевиков, против всякого вероятия, возростал при новом редакторе с каждым днем. Да и другие газеты, так или иначе подвластные Макс Бернарду, изо всех сил старались посеять недоверие к их идее. Чтобы не потерпеть окончательного поражения на предстоящем учредительном собрании акционерного общества, крупные воротилы решили поклониться в ноги ненавистному адвокату и предложить ему пост в правлении.

К такому исходу и вела вся тактика Макса Бернарда, поэтому он принял пост не моргнув глазом. На случившемся в те дни юбилейном банкете было заключено торжественное перемирие между Максом Бернардом и его старым врагом, некогда всемогущим директором банка, заключено и публично скреплено, поскольку директор самым демонстративным образом попросил Макса Бернарда оказать ему честь и выпить с ним, — об этом знаменательном событии на другой день подробно сообщали все городские газеты, а «Боргербладет» даже поместила статью под заголовком: «Исторический момент».

Добытая победа имела огромное значение для Макса Бернарда. Ему удалось раз и навсегда доказать общественности, что без него нигде не обойтись, что даже крупнейшие биржевые воротилы не могут предпринять ни одного шага, не заручившись его поддержкой. Ивэн чуть не упал в обморок, когда узнал сногшибательную новость. Он решил, что теперь всякая надежда осуществить замыслы Пера потеряна на долгие времена; в припадке ярости он истерически кричал о предательстве и убийстве из-за угла.

Пер только пожимал плечами.

— Я же тебе говорил, — сказал он Якобе, которую тоже удручал такой поворот дела. — Ну, теперь ты согласна, что твой господин Макс несколько чересчур пронырлив и мне просто повезло, что я не попался на удочку к этому субъекту, а то быть бы мне в



дураках... Нет, нет, я еще раз утверждаю, что нужно могучее движение, чтобы искоренить этих грызунов из общественной жизни. Не то само понятие честности пойдет насмарку.

Якобу передернуло, но возражать она не стала. Пока не имело смысла возобновлять старый спор. Все надежды она возлагала теперь на поездку в Америку, а кроме того, она старалась сдерживаться и не давать ходу критическому отношению к Перу, твердо решив любить его как прежде.

Впрочем, очень скоро выяснилось, что Ивэн слишком мрачно смотрит на будущее. Новая победа Макса Бернарда вызвала большое оживление в стане его завистников и скрытых недоброжелателей. Не последнее место занимал среди них землевладелец Нэррехаве, который считал, что Бернард попросту его продал. Подобно адвокату Хасселагеру, он вдруг начал усиленно интересоваться проектом Пера; к этим двум по собственной инициативе и безоговорочно присоединился полковник Бьерреграв.

Чувство справедливости и патриотизм пересилили у старика обиду. Застарелая ненависть к евреям разгорелась в нем с новой силой, ибо для старого рубаки национализм стал второй религией. Каждый еврей, даже родившийся здесь, казался ему лишь наполовину ассимилировавшимся немцем, питающим тайные симпатии к исконному врагу Дании. Он был твердо убежден — впрочем, не без оснований, — что в Копенгагене почти все торговцы оптовики еврейского происхождения не более как агенты немецких фирм и что именно на деньги еврейских банков Гамбурга и Берлина была проведена перестройка столицы по последнему слову архитектуры. Немецкие миллионы проникли в провинцию, докатились до зажиточных крестьянских дворов и отсюда, изнутри, тайными путями, продолжают завоевание страны, начатое при помощи пушек. В проекте Пера его поэтому особенно привлекало то обстоятельство, что данный проект прежде всего представлял собой попытку утвердить экономическую независимость страны по отношению к могучему соседу, тогда как копенгагенский порт, при наличии узкого и мелкого фарватера, никак, с его точки зрения, не мог привлечь к себе суда всех наций.

Вот почему Бьерреграв решил сам сделать первые шаги к примирению. Он хотел забыть старые счеты, а высокомерие, которое проявил Пер при их роковой последней встрече около года тому назад, только подзадоривало полковника. Уверовав, что именно Пер призван спасти отечество, Бьерреграв испытывал даже своего рода религиозное умиление при мысли о том, что пророчество Пера исполнится теперь самым буквальным образом.

А тем временем Пер сидел у себя в отеле и готовился к отъезду. Непрерывно работал он и над чертежами. Он надеялся, что успеет внести самые необходимые изменения, на худой конец хотя бы в проекте гавани, и потому старался изо всех сил. Он вставал с зарей и почти весь день не выходил из дому. Но прежнего полета мыслей он уже не чувствовал. Работа продвигалась туго и медленно, малейший звук, доносившийся из коридора или с площади, приостанавливал ее.

Случалось, что вместо таблицы логарифмов ему попадалась под руку какая-нибудь историческая или популярная философская брошюрка из его дрезакской библиотечки — они лежали вперемешку с другими книгами на письменном столе. Он не мог удержаться от искушения и начинал перелистывать брошюрку. Дело кончалось тем, что он углублялся в постороннее чтение, не имеющее ничего общего с его проектом. Тут ему не мешал ни уличный шум, ни звонки в коридоре. Не замечая, как летит время, он сидел, уткнувшись в книгу, и часами даже не поднимал головы.

\* \* \*

Как-то раз, часов около девяти утра, когда Пер сидел за своим письменным столом, в дверь к нему постучали. Пер сразу узнал стук Ивэна и поспешно спрятал под бумаги книжку, которую читал до его прихода. Он опять соблазнился очередной брошюркой из купленных в Дрезаке. Когда свояк ворвался в комнату, Пер сидел, откинувшись на спинку стула, и

смущенно улыбался, как человек, внезапно уличенный в тайном пороке.

— Ну, что новенького? — такими словами встретил Пер Ивэна.

— Очередные махинации! Первокласное надувательство! Вот, посмотри!

С этими словами Ивэн извлек из портфеля (портфель постепенно сделался неотъемлемой частью своего хозяина) свежий номер одной из наименее значительных городских газет.

— Полюбуйся!

Под заголовком «Новая страна» газета поместила обстоятельную передовицу о датском судоходстве. Передовица, по словам газеты, представляла собой извлечение из ряда статей некоего инженера Стейнера, опубликованных ранее в провинциальной печати, и посвящена была рассмотрению проекта, упорно именуемого «проектом Стейнера», тогда как на самом деле этот проект, если не считать нескольких, совершенно незначительных изменений, с первого до последнего слова принадлежал Перу.

— Ну, что скажешь? — спросил Ивэн и поглядел на Пера; у того во время чтения вся краска сбежала с лица. — Это же форменный грабеж! Ты хоть его знаешь?

Пер покачал головой.

— Надо немедленно разузнать, кто он! — продолжал Ивэн. — Что ты намерен предпринять?

— Ничего, — ответил Пер после минутного размышления и вернул ему газету.

— То есть как ничего? Его надо обезвредить. Ты должен защищаться. Ты должен отстаивать свои права.

— Защищаться? — переспросил Пер, закипая от злости.

— Да, да, ты уж извини меня, что я так говорю, но ты не имеешь права столь легкомысленно относиться к делу. Это опасно для тебя. Не забывай, что у тебя много врагов и завистников, и они только порадуются, если тебя оттеснят на задний план ради человека, который будет пожинать лавры, добытые твоим трудом и твоим гением.

— Не стоит! От меня не очень-то просто отделаться... А хоть бы и так! Последнюю фразу он добавил, отдавая дань тому настроению, из которого его вырвал неожиданный приход Ивэна, и при этом глубокая тень скользнула по его лицу. — Мне уже надоело воевать со всяким сбродом. Если мне вечно придется иметь дело с толпой, поневоле спросишь самого себя, стоит ли игра свеч. Кстати, чтобы переменить материю: ты знаешь, что мы с твоей сестрой решили в самом ближайшем будущем пожениться?

— Да, отец и мать что-то такое рассказывали.

— И, говоря по совести, это сейчас занимает меня куда больше, чем болтовня всех газет всего мира вместе взятых. Скажи мне, уж раз ты здесь: ты не знаешь точно, какие бумаги и документы надо оформить, чтобы вступить в брак по всем правилам?

— Разве у тебя ничего не готово? А я-то думал...

— Да, я сглупил, конечно. Забыл... то есть, вернее, ты забыл — я просто не в состоянии говорить со всякими чинушами, они так задирают нос, что я тотчас теряю власть над собой и повсюду устраиваю скандалы. Не будешь ли ты так любезен сделать все необходимое вместо меня? Я, например, знаю, что надо обратиться в какое-то отделение магистрата. И наверняка надо что-то официально заявлять. Одним словом, чертова карусель.

Ивэн уже привык быть на побегушках у Пера, а потому без долгих раздумий согласился на его просьбу. Зато он вырвал у Пера клятвенное обещание не спускать глаз со Стейнера и принять решительные меры, если кто-нибудь хоть один-единственный раз во всеуслышание назовет этого подозрительного господина автором проекта.

Он уже зажал свой портфель по мышкой и взялся было за ручку двери, но вдруг повернулся к Перу, который по-прежнему сидел за своим столом, и сказал:

— Да, вот еще что... Скажи, пожалуйста, у вас в семье звали кого-нибудь Кристина-Маргарета? Вдова пастора?

Пер вздрогнул. Так звали его мать.

— Нет! — ответил он растерянно. — А почему ты спрашиваешь?

— Просто так, — смущенно ответил Ивэн. Он всегда смущался, когда ему доводилось заговорить с Пером о его семействе. — Я случайно прочел в «Берлингске тиденде» извещение о смерти и фамилию Сидениус. Ну, всего хорошего. Днем увидимся.

После ухода Ивэна Пер несколько минут просидел неподвижно. Когда он, наконец, встал со стула и потянулся к электрическому звонку, у него потемнело в глазах. Но в то же время он не мог избавиться и от чувства досады. Только этого еще не хватало! И как раз теперь!.. Вот уж не повезет так не повезет!

— Принесите мне, пожалуйста, утренний выпуск «Берлингске тиденде», — сказал он вошедшей горничной.

Когда он развернул газету и в длинном столбце извещений о смерти увидел набранное жирным шрифтом имя своей матери, бледность залила его щеки. Там стояло:

«Наша дорогая мать Кристина-Маргарета Сидениус, вдова пастора Иоганна Сидениуса, обрела сегодня вечный покой».

Извещение было подписано: «осиротевшие дети». На эти слова Пер смотрел до тех пор, пока у него не зарябило в глазах, а буквы не начали расплываться.

Подумать только, всего еще несколько дней назад, ночью, он стоял под окнами ее квартиры; мороз пробежал у него по коже, когда он сообразил, что, может быть, именно в эту ночь она боролась со смертью. Ведь он видел у них свет, и за шторами двигались тени.

«Так-то так, но какой толк был бы, если бы я даже зашел туда?» — пытался Пер утешить себя. О настоящем примирении не могло быть и речи, не говоря уж о тех уступках, которые одни лишь могли успокоить мать. Может, даже к лучшему, что она полагала, будто он в отъезде; может, и ему повезло, что он не знал о ее состоянии. Чего доброго он согласился бы ради ее спокойствия разыграть перед ней фальшивую сцену, а потом не мог бы без стыда вспомнить о ней. Бедная мать! Она принадлежала к числу людей, запуганных жизнью. За долгие годы, которые прикованная к постели мать провела в темной комнате, она стала воплощенная забота и горесть. И смерть, наверняка, казалась ей избавлением.

Пер начал ходить по комнате, чтобы привести мысли в относительный порядок. Он не привык к сильным волнениям и инстинктивно опасался их. Потом вспомнил про Якобу — она ждет его к назначенному часу в Сковбаккене. Что же делать? Он чувствовал, что не сможет спокойно сидеть там и как ни в чем не бывало разговаривать о предстоящей поездке или о каком-нибудь другом деле; да еще вдобавок его терзали угрызения совести: ведь он так до сих пор и не сказал Якобе, что его семья переехала сюда.

Он сел за стол и наскоро набросал несколько строк. Пусть она не ждет его, писал он, по обыкновению ссылаясь на занятость, как на самую уважительную причину. В самом конце он добавил, что его мать, по сообщению «Берлингске тиденде», скончалась в Копенгагене.

Потом он снова вызвал звонком горничную и попросил отправить письмо с посыльным. Но тут им овладело прежнее беспокойство. Он несколько раз садился за стол, пытаясь работать, и опять вставал. Он не мог усидеть на месте, а цифры и расчеты совершенно не шли на ум. Хотя он даже сжимал голову ладонями, пытаясь сосредоточиться на работе, мысли упорно кружились вокруг одного и того же: лицо матери, воспоминания детства, горькое чувство непоправимости — он так теперь и не узнает ничего о ее последних днях. Желание поговорить с кем-нибудь, кто знал ее, под конец целиком овладело им.

Тогда он бросил работу, оделся, вышел на улицу и позавтракал в первом попавшемся ресторане. Потом забрел в городской парк, чтобы немножко рассеяться среди людей и послушать военный оркестр.

Когда он под вечер вернулся домой с прогулки, портье сообщил ему, что его дожидается какая-то дама. Кровь волной прихлынула к сердцу: в первую минуту он подумал, что это, должно быть, одна из его сестер каким-то путем проведала о его возвращении, узнала адрес и пришла сообщить о смерти матери.

Ему и в голову не пришло, что это может быть Якоба. Мысли его были совсем далеки от нее, он даже разозлился, когда вошел к себе и она поднялась ему навстречу со стула, стоявшего у окна.

Удивление и разочарование до того ясно читались на его лице, что Якоба никак не могла не заметить этого. Но она была готова к неласковому приему. Она хорошо знала Пера. Она и прежде сталкивалась с его брюзгливой грубостью, которой он прикрывался всякий раз, когда у него было тяжело на сердце.

Знала она также, какая нужна гибкость, сколько тайных путей нужно пройти, чтобы завоевать его доверие, до чего трудно даже ей добиться от него полной искренности, когда речь идет о его семействе. Без тени обиды она подошла к нему, притянула к себе обеими руками его голову и поцеловала в лоб.

— Пойми, я не могла усидеть дома после твоего письма. Я должна была повидать тебя. Дорогой мой, как я понимаю твою горе. Я сама плакала — ведь это наше общее горе.

Пер недоверчиво покосился на нее и пробормотал какие-то слова вроде того, что для него мать умерла уже давно и, значит, теперь, по сути дела, ничего не изменилось.

— Нет, дорогой, так говорят, чтобы утешить себя. Я-то хорошо понимаю, чего ты лишился. Зачем скрывать это?.. Подумать только, что твоя мать жила здесь, в Копенгагене! И ты мне ничего об этом не говорил! Ах, Пер, Пер, перестанешь ли ты наконец таиться от меня хоть теперь, когда мы больше всего нужны друг другу? Или ты, быть может, сам ничего не знал?

Высвобождаясь из ее рук, Пер ответил, что все время собирался рассказать ей, но стоило им встретиться, как разговор немедленно заходил совсем о другом, а потом уже он забывал о своем намерении.

— Тогда давай поговорим сейчас, — сказала она. — Только сядем сперва. Мне опять так много надо у тебя спросить.

Она сняла накидку, отложила в сторону шляпу и перчатки.

— Ты знал, что мать больна?

— Ничего я не знал. Здоровье-то у нее уже давно было неважное.

— И ты не искал ее и не видел никого из братьев и сестер? — спросила она и, забывшись в угол дивана, испытующе поглядела на него.

— Нет, — ответил Пер, вешая дрожащими руками ее накидку на дверной косяк.

— А как ты узнал, что они перебрались в Копенгаген?

— Я случайно прочел в газете объявление о том, что моя сестра дает уроки музыки. Вообще-то разговор об этом шел сразу после смерти отца. Они хотели переезжать из-за младших братьев, которые нашли здесь работу.

Он уселся на стул чуть поодаль от нее. Она подперла рукой щеку и задумалась, глядя прямо перед собой. Потом спросила:

— Знаешь что? Если бы я знала, что твоя мать живет так недалеко от меня, я непременно пошла бы к ней. Особенно, когда я вернулась из поездки и чувствовала себя невыносимо одинокой и так хотела найти человека, с которым можно было отвести душу и поговорить о тебе. Как ты думаешь, она приняла бы меня?

— Не знаю.

— Да, конечно, приняла бы. Я просто убеждена в этом... и убеждена, что она смогла бы понять нас.

— Разве ты забыла, как точно с теми же намерениями побывала у Эберхарда? Ничего, кроме разочарования, это тебе не принесло.

Якоба ответила не сразу. И не потому, что забыла о своем визите к Эберхарду. Воспоминания о неприятной сцене в неудобной, промозглой и пустой конторе за последнее время нередко посещали и даже тревожили ее, потому что она все чаще и чаще замечала сходство Пера с братом.

— Ну, братья и сестры — совсем другое дело, — сказала она, откидывая со лба прядь волос; этим движением она словно отгоняла какую-то докучную мысль. — По своей семье знаю. Но родная мать тебе всегда протянет руку или, на худой конец, хоть палец, как бы далеко ты ни отошел от нее. И я не могу поверить, чтобы мы с твоей матерью не нашли общего языка, хотя мы были настолько несхожи друг с другом, как только могут быть

несхожи два человека.

— Вот здесь ты права.

— Кроме того, я уверена, что в конце концов мы поняли бы друг друга. Из того немногого, что ты о ней рассказал, я создала себе образ человека очень мне приятного. Я, кажется, так и вижу ее перед собой. Маленького роста, верно? А глаза совсем не такие, как у вас с братом... потемнее? Вы все, пожалуй, больше похожи на отца. Ходила она с палочкой, когда вставала с постели. Моя бабушка — тоже; вероятно, поэтому я и представляю себе так отчетливо твою мать. И при всей физической слабости она обладала очень сильной волей. Как трогательно и как замечательно, что она годами вела такой большой дом, не вставая с постели, что горе не помешало ей смотреть за всеми, что ее бережливость помогла сохранить ваше имущество. Подумай, каково матери с целой кучей маленьких детей пролежать в постели восемь лет! Ко всему еще, отец, по твоим словам, был тяжелым, нетерпимым человеком. Да это и понятно: достатка вы никогда не знали. И все же ни единой жалобы! Я вспоминаю, как ты мне рассказывал, что ответила твоя мать человеку, который вздумал жалеть ее. «Не надо жалеть меня, пожалейте лучше моего мужа и моих детей». Какой прекрасный и возвышенный ответ!

Всю эту тираду Пер выслушал, облокотившись о колени и нервно постукивая пальцами одной руки о костяшки пальцев другой. Потом вдруг поднялся и заходил по комнате.

— Ну и хватит, — перебил он Якобу. — Что прошло, то прошло. И не стоит рассуждать о том, чего не было.

Он подошел к окну и взглянул на площадь; тени от домов стали по-вечернему длинные. В лучах заката старая мельница высилась на развалинах крепостного вала, посылая прощальный привет уходящему солнцу.

— Ты прав, — не сразу отозвалась Якоба. — Что прошло, то прошло... Скажи только, ты мне не откажешь, если я попрошу у тебя несколько старых писем твоей матери? Мы редко говорили о твоей семье, но все же мне кажется большим упущением, что я так мало о ней знаю.

Сперва он сделал вид, будто вообще не расслышал ее просьбы. Когда же она повторила ее, коротко ответил:

— Нет у меня никаких писем.

— Конечно, конечно, я знаю, что за последние годы ты с ней не переписывался. Но я имею в виду прошлое, когда ты только что приехал сюда. Тогда ведь она изредка писала тебе, ты сам рассказывал. И если бы ты позволил мне перечитать вместе с тобой эти письма, я была бы очень рада.

— Ничего не выйдет... у меня их нет.

— А куда они делись?

— Куда делись? Я их тут же сжигал.

— Ах, Пер, Пер, ну как ты мог... — Она не договорила.

Пер вытащил носовой платок и вытер себе лицо, словно ему вдруг стало жарко, но Якоба увидела, как что-то блеснуло у него на ресницах, и поняла, что он плачет и хочет скрыть это.

Еще ни разу не видела она, чтобы он поддавался какому-нибудь чувству; первым ее побуждением было подойти к нему и обнять его. Но разум и опыт подсказали ей, что она не должна так поступать, а должна, напротив, сделать вид, будто ничего не заметила. Кроме того, волнение Пера вызвало у нее неясную тревогу и одновременно пробудило ревность.

Поэтому она не шевельнулась, пока Пер сам не отошел от окна. Тут только она приблизилась к нему и взяла его под руку; несколько минут они молча ходили рядышком взад и вперед по комнате.

Да, Якоба отлично понимала, что меньше всего годится сейчас на роль чьей бы то ни было утешительницы, — она и сама чувствовала себя очень неуверенно. Когда она думала о предстоящей разлуке, выдержка изменяла ей. Если бы она, по крайней мере, могла открыться Перу. Она изо дня в день вела отчаянную борьбу с собой, чтобы ничего не выдать, она сотни



раз напоминала себе, как много будет поставлено на карту, если она посвятит его в свою великую тайну прежде, чем Атлантический океан разделит их.

Не одни только предстоящие роды наполняли ее страхом и беспокойством.

Ее мало-помалу начала тревожить мысль о тех кривотолках, которые неизбежно возникнут, как только она — слишком рано — разрешится от бремени. В этом смысле она стала совсем другой после возвращения Пера. Раньше она очень гордилась его любовью и потому ничуть не тревожилась, что их тайная связь недолго останется тайной. Теперь, когда она более трезво смотрела на своего суженого, гордость ее страдала при мысли о том, что она скоро станет предметом сплетен и пересудов.

Не столько ради себя, сколько ради отца с матерью она решила, проводив Пера, не возвращаться домой, а переехать куда-нибудь в Германию, может быть к своей бреславльской подруге, и рожать там. Но стоило ей вспомнить, что до ожидаемого события осталось еще больше шести месяцев, она просто приходила в отчаяние. И все же она, не моргнув глазом, снесла бы что угодно, сохрани она то безграничное доверие к Перу, какое было у нее два месяца тому назад, когда они расставались в Тироле. Однако, после случая с Нанни, всякая уверенность покинула ее, и ей повсюду мерещилась опасность. А отказаться от Пера она сейчас тоже никак не могла. Отлично видя все его недостатки, она ничуть не меньше любила его, чем в те времена, когда к ее чувствам не примешивалось ни капли осуждения. Порой ее охватывала такая тоска по Перу, которую она сама считала болезненной и ненормальной. Поэтому она приучилась скрывать свои чувства и вела себя сдержанно, даже когда оставалась наедине с Пером. Иногда со стороны могло показаться, будто она просто капризничает. И в то же время Пер до такой степени полонил ее сердце, что она могла бы простить ему все на свете.

Пер вдруг остановился и взглянул на часы.

— Тебе не пора на вокзал?.. Только, пожалуйста, не думай, будто я гоню тебя. Я, право же, очень благодарен тебе за то, что ты пришла. Но ты не любишь поздно возвращаться домой, а сейчас уже восемь.

Она посмотрела ему в лицо, все еще бледное и искаженное.

— А ты что будешь делать?

— Сяду работать... Взгляни на стол. Как видишь, меня ждет куча неотложных дел. Нельзя терять времени.

— Нет, нет, — сказала Якоба и крепко обняла его, словно желая оградить от опасности. — Тебе нельзя оставаться одному. Можешь отдохнуть раз в жизни. Да и стоит ли тебе садиться за работу? Ты все равно не сможешь отогнать грустные мысли, если будешь здесь один.

— Так ты останешься у меня?

— Нет... не сегодня... и не здесь, — покраснела Якоба. — Здесь так неудобно. Но ты поедешь к нам, слышишь? И заночуешь у нас. Комнаты для гостей всегда стоят наготове, и ты не причинишь никому ни малейшего беспокойства, а родители будут тронуты, если ты лично сообщишь им о смерти матери. Кстати, ты просто обязан так поступить. Идем, Пер, идем же. Завтра мы пойдем гулять в лес, далеко-далеко, и забудем все свои горести!

Утро встретило их пробуждение прекрасной солнечной погодой. Было уже довольно поздно, когда они спустились в столовую к чаю. Наскоро перекусили, потом, взявшись за руки, вышли в сад. Вчера вечером оба долго не могли сомкнуть глаз. Мысль о том, что они в эту светлую весеннюю ночь находятся так близко друг от друга, не давала им покоя. Наконец, все в доме заснуло, и остаток ночи они провели вместе. Друг подле друга искали они желанного забвения от всех забот и печалей. Теперь они гуляли по зеленому саду, где капли росы падали с ветвей и листьев. В первой половине дня, когда все семейство, за исключением фру Леа, разъезжалось по своим делам, здесь воцарялись райская тишина и покой. И в лесу, куда они забрели из сада, все было совсем не так, как днем, когда по дороге мчались в клубах пыли экипажи и на каждой скамейке кто-нибудь сидел. Сейчас по лесу

разносились одни лишь птичьи голоса. За все время они встретили только старичка, которого везли в кресле на колесиках; старичок ласково кивнул им, когда они проходили мимо.

Но Пер мало-помалу опять забеспокоился. Еще гуляя по саду, он стал каким-то рассеянным и все время напоминал, что ему надо быть в городе не позже двух часов, так как он должен навести справки относительно своего проекта в одном учреждении, работающем лишь до трех.

Сразу же после второго завтрака Пер уехал. В городе он нанял экипаж и направился в то ведомство, где служил его брат Эберхард. Он велел кучеру подождать и скрылся в подъезде большого грязно-серого здания, вытянувшегося вдоль мутного канала.

С тех пор, как Якоба год тому назад побывала в этом подъезде, кипучая деятельность Эберхарда и высоко развитое чувство долга были вознаграждены еще одним маленьким продвижением по бесконечной лестнице званий и чинов. На его прежнем месте за конторкой, у самой двери, стоял теперь другой — юный и подающий надежды хранитель традиций величественного государственного механизма, а сам Эберхард получил в свое распоряжение хотя и небольшой, но собственный кабинет с настоящим письменным столом и креслом. Впрочем, его черный сюртук с необычайно узкими рукавами, залоснившийся на локтях и спине от многолетнего прилежания, остался прежним. Галстук и башмаки Эберхард тоже не стал менять, невзирая на повышение по службе.

Когда Пер вошел, Эберхард сидел за столом и оттачивал карандаш с тем добросовестным тщанием и даже скрупулезностью, с какими принято оттачивать карандаши лишь в присутственных местах. Но, услышав через неплотно прикрытую дверь, как в прихожей кто-то негромко назвал его имя, он поспешно спрятал перочинный нож и схватил со стола какой-то объемистый документ.

С достоинством откинувшись на спинку кресла, он поднес бумагу к глазам и в такой позе ожидал появления посетителя.

— Войдите, — сказал он повелительным голосом, когда в дверь постучали, и одновременно поднял глаза над краем бумаги.

При появлении Пера он так удивился, что даже не успел притвориться равнодушным. С видом человека, наткнувшегося на привидение, он медленно поднялся, и чуть не полминуты братья молча глядели друг на друга.

Тут только Перу бросилось в глаза, до чего Эберхард похож на покойного отца именно сейчас, когда он стоит, дрожа от волнения и опираясь рукою на крышку стола. Застывшие складки в уголках рта, выбритый подбородок, старомодные узенькие бакенбарды, покрасневшие веки, неподвижный взгляд, негнущаяся спина — все это живо напомнило Перу отца, каким он его знал с детских лет.

Пер решил притворить дверь, чтобы они могли побеседовать без помех, и опустился на диван как раз против двери. Эберхард тоже сел.

— Причина моего визита тебе, вероятно, ясна, — начал Пер. — Я прочел в газете о смерти матери.

— Да, — ответил Эберхард после паузы и с явным усилием. — Мы думали, что ты еще за границей.

— Я вернулся с неделю тому назад.

— Ах, так! Значит, ты здесь уже давненько. Но, может быть, ты не знал, что мать переехала в Копенгаген?

— Вообще-то знал, — ответил Пер, глядя в сторону, и тут же спросил, долго ли мать болела.

Эберхард не спешил с ответом. Наконец, решившись, он после долгих размышлений, сообщил, что мать умерла скоропостижно и неожиданно для них всех.

— Славу богу, она не испытывала сильных страданий. Кроме обычной слабости, мы ничего не замечали вплоть до самых последних минут. Правда, она жаловалась, что ей трудно дышать, и беспокойно спала, но все это можно было легко объяснить ее прежним недомоганием, к которому мы уже привыкли. Утром, когда Сигне причесывала ее, она —

чуть нетерпеливо — просила Сигне поторапливаться, потому что очень устала и хочет заснуть. Когда Сигне минут через десять заглянула к ней, она уже не могла говорить, только глаза открыла несколько раз, словно прощаясь, и отошла в вечность.

Последние слова Эберхард произнес несколько рассеянным тоном. Едва прошло чувство внезапности и улеглось первое волнение, Эберхард, как обычно, начал исподтишка разглядывать костюм Пера. Искоса, быстрыми взглядами он изучал шелковые отвороты его сюртука, перчатки, остроносые парижские башмаки и брильянтовые запонки на манишке. После чего возобновил свое повествование:

— Конечно, нельзя сказать, что мы совсем не были подготовлены к такому исходу, да и она сама тоже это понимала. Слишком долго она болела. У нее как будто было даже предчувствие близкой смерти. Она не только оставила точные и подробные распоряжения касательно похорон и раздела имущества, она даже написала прощальные письма тем из детей, кого не было с ней рядом. Есть письмо и для тебя... И запечатанный сверток. — Последнее было сказано после точно рассчитанной паузы, причем Эберхард бросил быстрый взгляд на Пера, чтобы узнать, какое действие возымело его сообщение. Затем он продолжал:

— Пока и то, и другое хранится у Сигне. Как я уже говорил, мы думали, что ты за границей, и даже не пытались переправить это тебе. А теперь уж и не знаю, как быть. Может, ты сам зайдешь за письмом? Ты застанешь нас всех в сборе. Ингрид и Томас тоже приехали, чтобы принять участие в похоронах. Хоронить ее мы решили рядом с могилой отца. Гроб отвезем на пароходе. Пароход отправляется завтра днем. А до этого мы хотим устроить небольшие семейные поминки у гроба, и, раз уж мы теперь знаем, что ты вернулся, нас очень огорчило бы твое отсутствие, — я смело могу сказать это от имени всей семьи. Вечером мы уедем поездом. Так распорядилась мать ради Сигне и Ингрид — они плохо переносят качку, а мать хотела, чтобы все были в сборе. Но мы приедем заблаговременно и сможем встретить гроб матери и вообще подготовить все необходимое для погребения. Гроб прямо с парохода доставят в церковь, а на следующий день состоятся тихие и скромные похороны. Мать решительно на этом настаивала.

Пер промолчал. Ни словом, ни взглядом не выдал он того, что творилось в его душе. Когда несколько минут спустя он собрался уходить, Эберхард спросил его почти дружески:

— А сам-то ты как поживаешь? Уезжать не думаешь?

— Думаю. Я скоро уезжаю в Америку. У меня там дела. А до отъезда я женюсь. Как ты знаешь, я помолвлен с дочерью Филиппа Саломона.

На сей раз ничего не ответил Эберхард. Невольно покосившись на брильянтовые запонки Пера, он опустил взгляд.

Пер встал.

— Да, я забыл сказать, — с видимым усилием проговорил Эберхард. — Поминки мы назначили на половину четвертого. Значит, если ты хочешь, чтобы мы все собрались вместе, то...

Пер покачал головой.

— Я считаю, что мне по ряду соображений лучше не приходить, — ответил он. — В частности, я не хотел бы нигде показываться без своей невесты, а ее присутствие здесь вряд ли будет уместно, к тому же я не уверен, что ее ожидает хороший прием.

Эберхард не ответил. Лицо его опять застыло, и на нем нельзя было прочесть, какое смятение охватило Эберхарда при одной лишь мысли о том, что к гробу его родной матери придет чужая светская дама, да еще вдобавок еврейка.

Пер откланялся и ушел.

В подъезде он встретил двух молодых людей. Они шли размеренным солдатским шагом, но при виде Пера сбились с ноги и так поспешно шарахнулись в сторону, что Пер невольно взглянул на них. Он увидел двух желторотых юнцов лет шестнадцати — семнадцати, провинциального, даже деревенского вида; из-под широкополых войлочных шляп грудтвиgianского образца выбивались длинные волосы.

Пер сразу узнал их: это были его младшие братья-близнецы. Они шли к Эберхарду.

Они тоже его узнали, что можно было понять с первого взгляда. Оба испуганно посмотрели друг на друга и вспыхнули от смущения.

Пер остановил их. В том, как они робко метнулись от него, были что-то трогательное. Ему даже стало совестно. Настроен он был весьма миролюбиво, а встреча с Эберхардом не утолила его потребности примириться с родней и тем самым хоть как-нибудь искупить свою вину перед матерью.

— Добрый день, — сказал он, протягивая им руку. Они не без колебаний решились пожать ее. — Вы к Эберхарду?

— Да, — в один голос ответили оба.

— Я как раз от него. Хотел узнать поподробнее о смерти матери.

При этих словах братья молча опустили глаза, и один начал ковырять носком башмака каменный пол.

Пер прочел упрек в их смущенном молчании; он нахмурил брови, хотя в глубине души совсем не рассердился. Весь боевой пыл, вся злость, которая поднялась в нем во время разговора с Эберхардом, растаяла при виде этих близнецов, столь безыскусно олицетворявших счастливую простоту и невинность родного дома. Хотя они выглядели очень по-деревенски — или, вернее, именно потому, — Перу очень хотелось притянуть к себе их головы и крепко расцеловать, так что он еле удержался от искушения.

Однако при всем желании душевно поговорить с братьями, он решительно не знал, что им сказать. Они держались очень отчужденно, и его общество явно стесняло их.

Тогда он еще раз взял их за руки, кивнул на карету, ожидавшую его у дверей, бросил несколько слов о своей работе и предстоящем отъезде и распрощался.

Но в карете волнение одолело его. Вместо того чтобы, как было обещано Якобе, вернуться в Сковбаккен и поспеть к обеду, он поехал домой. Он чувствовал глубокий внутренний разлад, и тут уж Якоба ничем не могла помочь.

В отеле портье подал ему визитную карточку. Пер прочел: «К. Ф. Бьерреграв, инженер-полковник в отставке».

— Он сам здесь был?

— Да, с час тому назад. Наверно, он что-нибудь написал на обороте.

Пер перевернул карточку и прочел: «Старый ветеран желает вам счастья и удачи в вашей патриотической борьбе».

У Пера даже голова закружилась. Он так и застыл с карточкой в руках и печально улыбнулся. Хотя сам он уже давным-давно забыл свое надменное пророчество, в теперешней сумятице чувств приветствие полковника показалось ему рукой божественного провидения, лишний раз доказывая нерушимость его сверхъестественного, непостижимого сговора со счастьем.

Пер взглянул на часы. Еще можно успеть на поезд так, чтобы быть в Сковбаккене к обеду.

— А помнишь, — сказал он Якобе, едва только они остались одни, — вы с Ивэном упрекали меня за мое поведение у Макса Бернарда именно из-за полковника Бьеррегравы, да еще как упрекали.

— Не будем говорить об этом, — беспокойно перебила она.

— Нет, будем... Вот, смотри-ка. — И он протянул ей визитную карточку полковника.

— Он был у тебя?

— Да. Прочитай-ка на обороте! Ну, что ты скажешь?

Якоба действительно не знала, что сказать. Она была просто ошеломлена. С улыбкой — почти испуганной — она положила руки на его плечи и сказала:

— Знаешь, Пер, ты просто колдун.

\* \* \*

На другое утро Пер отправился в гавань и разыскал там пароход, который, по его предположениям, должен был доставить тело матери в Ютландию. Из беседы со штурманом он выяснил, что их пароход действительно подрядился отвезти гроб, и, кроме того, узнал, на какой час назначена погрузка.

В бельэтаже дома, как раз против гавани, помещалось убогое кафе. Пер сразу приметил это кафе и незадолго до назначенного часа занял там столик у самого окна. Он заказал стакан пива и, закрывшись газетой, поджидал с бьющимся сердцем прибытия катафалка.

За окном припустил веселый летний дождик. Тем не менее на площади перед гаванью среди мешков, бочек и ящиков жизнь была ключом. До отплытия оставалось совсем мало времени. Со всех сторон подъезжали тяжелые подводы и скапливались вокруг подъемного крана, дожидаясь разгрузки. Лязгали и фыркали паровые лебедки; огромные ящики, железные балки, мешки с мукой, бочки с керосином взлетали со дна подвод, какое-то мгновение парили над открытым люком и затем исчезали в бездонной утробе корабля. Потом стали грузить здоровенную свинью, что стоило всем больших мучений. Двое тащили ее за уши, третий стоял сзади и упорно крутил свиной хвостик, словно ручку шарманки. Тем не менее свинья решительно не желала двигаться с места. Дождь и суета настроили всех на веселый лад, и упрямая свинья, которая визжала так, словно молила о заступничестве все земные и небесные силы, вызывала бурное ликование окружающих. Наконец, ее заставили взойти на трап, и она галопом промчалась по нему и исчезла под баком. Потом сцепились между собой два возчика, которые наехали друг на друга среди штабелей груза. Оба не могли податься ни взад, ни вперед и только было перешли в рукопашную, как появился полицейский, откатил несколько бочек и освободил проезд.

Дождь мало-помалу утих, но над городом по-прежнему тяжело нависло черное небо, и на фоне его вырисовывалась возле Кристиансхавна красная крыша пакгауза.

Вдруг Пер заметил похоронные дроги, какие обычно нанимают, когда надо перевезти тело из дома в церковь или часовню. На козлах рядом с кучером сидел человек в рабочем костюме. Дроги остановились неподалеку от парохода. Следом подъехала карета, из которой вышли четыре человека — все его братья. Первым появился Эберхард, в цилиндре, обвитом крепом, в подвернутых узких брюках и с зонтиком; зонтик он тотчас же раскрыл, хотя дождь уже кончился. За Эберхардом вышел краснощекий Томас, викарий, и, наконец, младшие — близнецы.

Лебедка как раз поднимала с подводы последние тюки. Когда подвода отъехала, кучер катафалка тронул лошадей, чтобы подать его поближе к пароходу. Но по команде штурмана, который с капитанского мостика руководил погрузкой, катафалк остановился. Кучеру велели подождать. На пароход как раз грузили молодую, необъезженную лошадь, а это требовало времени. Сперва ее просто пытались втянуть на трап, как незадолго до того свинью, и поначалу все как будто шло гладко. Хотя бедняжка дрожала и хрипела от страха, так что из ноздрей у нее показалась розовая пена, ее заставили ступить на трап передними ногами, но в эту самую минуту один из буксирных пароходиков, которые непрерывно сновали взад-вперед по гавани, как на грех вздумал дать гудок. Тут лошадь совсем взбесилась. Пришлось поднимать ее на пароход, будто мертвый груз. Повернули стрелу корабельного крана, и она повисла над площадью, а животное тем временем втянули не то в станок, не то в загон высотой в человеческий рост и склоченный из толстых брусьев; по размерам в нем как раз хватило места для лошади. Под увесистые железные балки, выступавшие над верхним краем загона, подвели цепи. После этого начали крутить лебедку, и лошадь, оторвавшись от земли, сразу окаменела — медленно поплыла над головами грузчиков и опустилась на палубу.

Во время суматохи Пер не сводил глаз с катафалка. Он вообще не заметил всей этой сцены, хотя она привлекла целую толпу зевак. Только теперь подали знак кучеру, и он продвинулся вперед. Эберхард и остальные братья шли за гробом.

Мужчина в рабочем костюме, сидевший на козлах, уже подошел к мосткам, перекинутым над люком, где он и еще несколько человек принялись возиться с деревянным ящиком, локтя в три длиной. На крышке ящика был проставлен знак оплаты за фрахт.



Поспешно открыли катафалк, и показался плоский, без цветов и украшений, гроб. Двое грузчиков хотели пособить, но Томас не подпустил их. Он сам вместе с братьями перенес гроб в открытый ящик. Теперь ящик был заполнен почти целиком. В незанятое пространство напихали соломы, закрыли ящик крышкой и закрутили ее.

Некрашенный и не струганый ящик с драгоценным грузом стоял на мостовой, ничем почти не отличаясь от других ящиков и тюков, заполнивших мокрую от дождя палубу. А когда катафалк уехал, тут уж и вовсе никто бы не сказал, что эти доски со знаком фрахта скрывали целый угасший мир, человека, мать, чья жизнь была и богаче, и глубже, и содержательней, чем жизнь многих. Рабочие захватили ящик крюком, и по знаку машиниста лебедки ящик взмыл над землей, как взмывали до него мешки и бочки. Над открытым люком ящик застыл на мгновение, раздался крик «майна» и старая жена ютландского пастора, под лязг стальных тросов и шипение пара, заняла место между ящиками пива, бутылками водки и бочонками сахарного песка.

Лицо Пера, глядевшего в окно кафе, бледнело все больше и больше. Официант, давно уже не спускавший глаз со странного посетителя, который сидел совсем тихо и даже не прикоснулся к пиву, испуганно подскочил с вопросом:

— Вы не больны?

Пер недоуменно взглянул на него. Он совсем забыл, где находится; ему вдруг почудилось, что пол под ним вздыбился, а стены падают прямо на него.

— Принесите коньяку, — попросил он, потом выпил две рюмки подряд, и щеки его чуть порозовели. В ту минуту, когда тело его матери повисло над землей, будто обычный тюк с товаром, все потемнело вокруг него, и, словно при блеске молнии, он увидел внезапно обнажившиеся глубины бытия; там было мрачно и холодно, там была скованная вечным сном равнодушная ледяная пустыня, вроде той, которую он видел, первый раз очутившись в Альпах.

Когда он снова смог взглянуть на корабль, там уже шла полным ходом погрузка мешков и бочек.

На набережной стояли братья, а рядом с ними тот самый человек в рабочей блузе. Эберхард добросовестно отсчитывал деньги в его протянутую руку. Получив их, рабочий несколько помешкал, явно рассчитывая на чаевые, но ничего не дождался. А братья спокойным, размеренным шагом удалились один за другим.

Пер все сидел. Он не мог уйти, хотя стал предметом живейшего внимания остальных посетителей. Он хотел до последней минуты быть рядом с матерью. Страшно было подумать, что она останется одна-одинешенька, всеми забытая и покинутая. И вдруг у него мелькнула спасительная мысль: ему вовсе незачем расставаться с ней на этом берегу. Он может последовать за ней, и никто не узнает этого, он может тайно сопровождать ее, как почетный караул, может пересечь ночь Каттегат, рано утром сойти с парохода у любой пристани в устье фьорда, а потом около полудня добраться до ближайшей железнодорожной станции на восточном побережье Ютландии и уже к вечеру вернуться в Копенгаген.

Он взглянул на часы. До отплытия оставалось неполных два часа, значит не могло быть и речи о том, чтобы лично известить Якобу — единственного человека, которому следовало знать об этой поездке. Ничего не поделаешь, придется просто написать ей.

Но когда, вернувшись домой, он обмакнул перо в чернильницу, ему стало ясно, как трудно при такой спешке вразумительно объяснить в письме причины своего поступка. Поэтому он велел принести телеграфный бланк и набросал коротко самое необходимое, после чего принялся укладывать чемоданчик. Но тут вдруг вспомнил про полковника Бьерреграва, да так и застыл с парой сапог в руках.

Скорей всего полковник уже сегодня ждет ответного визита. Отложить визит хотя бы на несколько дней — это бестактность, которая нарушит отношения, могущие сослужить ему сейчас неоценимую службу. Что же делать?.. Ничего другого не остается, надо написать и полковнику. И так: «Ввиду безотлагательной поездки...»

Немного спустя Пер уже сидел в карете и ехал по направлению к гавани.

Переезжая через Зунд, он вдруг сообразил, что, раз уж он попадет в Ютландию, можно заодно побывать и в Керсхольме и навестить, как было обещано, баронессу и гофегермейстершу. Его охватила настоящая тоска по двум старым приятельницам, так по-матерински к нему относившимся, а кроме того, у него была и задняя мысль весьма практического свойства. С самого возвращения в Данию его не переставала мучить постоянная зависимость от будущих тестя и тещи, которые по-прежнему оставались чужими для него людьми. Правда, Филипп Саломон ни разу ни единым словом не обмолвился об их денежных взаимоотношениях, но тем не менее зависеть от него Перу было крайне неприятно. И, кроме того, если ехать в Америку, опять нужно занимать деньги, для чего и может пригодиться баронесса, ибо последняя по собственной инициативе предлагала, вернее, даже навязывала ему денежную помощь.

\* \* \*

Когда телеграмму Пера принесли в Сковбаккен, Якоба сидела у себя наверху. Нимало не подозревая о мыслях, которые весь день занимали Пера, она после завтрака отправилась в город за покупками и заодно думала побывать у него в отеле. Когда портье сказал ей, что Пера нет дома, она смутилась, ничего не велела передать и даже не оставила своей карточки. После этого она некоторое время разъезжала по городу, втайне надеясь встретить Пера и одновременно боясь этого, ибо знала, как неприятны ему такие случайные встречи. Наконец, дождь прогнал ее домой.

Но и дома она не находила себе места. За последние дни на нее напала странная суетливость, которая заставляла ее некстати браться за никому ненужные дела. Мысли ее были заняты только подготовкой к совместной поездке в Англию. Все, что не имело прямого отношения к их «второму свадебному путешествию», как она про себя его именовала, Якоба старалась выкинуть из головы, чтобы никакие страхи, никакие заботы или тревоги не бросили тени на их обновленную близость. В те две коротеньких недели, которые им всего-то и суждено провести вместе, они будут жить одной любовью и для одной любви. Она должна до конца утолить пламенную жажду жизни, пока не настали черные дни.

Получив телеграмму, Якоба побледнела, невольно охваченная мрачным предчувствием, которое уже секунду спустя показалось ей беспричинным. Собственно говоря, в поступке Пера не было ничего необычного. Она убеждала себя, что с его стороны вполне естественно и даже похвально отдать своей матери последний долг. К тому же, через каких-нибудь два дня они опять будут вместе.

И все же, когда она перечитала телеграмму, страх вновь охватил ее. Теперь уже, сколько она ни вчитывалась в скупые строки, она с каждым разом все больше и больше вычитывала между строк. Чуть не каждое из двадцати слов вызывало у нее вопрос. Как ему пришла в голову эта мысль? Не виделся ли он с кем-нибудь из родных? Почему он дал телеграмму в самую последнюю минуту? Почему уехал не попрощавшись?..

Она сидела, подперев голову рукой и уронив телеграмму на колени. Уже смеркалось, сумерки ползли из всех углов маленькой комнаты, и от этого тяжелые предчувствия становились все более зловещими.

Она думала о том, как много он скрывает от нее, несмотря на все ее мольбы быть доверчивее и откровеннее, и как мало она знает о его заботах, его планах, его замыслах; думала и спрашивала себя: удастся ли когда-нибудь преодолеть эту скрытность, непостоянство и замкнутость, которые причиняют ей столько страданий?

...А в зале тем временем веселье было в полном разгаре. В гости к Саломонам приехали знакомые с близлежащих вилл, и Нанни, всегда привозившая из города кучу самых свежих новостей, руководила беседой. Она без умолку хохотала, правда, несколько натянуто, так как была чрезвычайно разочарована, не застав здесь Пера.

Впрочем, за последнее время ей вообще не везло в этом смысле, так как Пер бывал в

Сковбаккене крайне нерегулярно. Хотя она заранее производила сложные расчеты, чтобы не упустить его, она либо являлась тотчас после его отъезда, либо бывала вынуждена уехать как раз перед его приездом. Под конец, она буквально заболела от мучительного желания увидеть Пера. О мести она уже больше не думала. По поведению Якобы она заключила, что Пер ни в чем не покаялся, и после этого Нанни честно призналась себе, что просто-напросто влюблена в него. Своим молчанием, которое она приписывала исключительно заботам Пера о ее благе и которое, как ей казалось, свидетельствует о тайной нежности, он целиком завоевал ее крохотное сердечко.

Ее больше не пугала мысль о том, чтобы ради Пера поставить на карту и свое замужество, и все честолюбивые мечты, с ним связанные. Теперь она не побоялась бы даже вступить со своей сестрой в самую ожесточенную борьбу. Когда она услышала об их предстоящей свадьбе, это только подхлестнуло ее хищнические устремления. Она не хотела уступать Якобе этого обаятельного, красивого, статного мужчину с алыми губами. Вспоминая о прикосновении этих губ, она просто изнывала от страсти.

И вот сегодня он опять не явился!

Не одна только Нанни с нетерпением ожидала его. Ивэн тоже беспокойно сновал взад-вперед по террасе и то и дело поглядывал на часы.

У Ивэна были весьма важные новости. Он получил письмо от адвоката Хасселагсра, в котором тот просил сообщить ему адрес Пера, так как они совместно с землевладельцем Нэррехаве и другими господами хотели завтра же побывать у него. Ивэн надеялся застать здесь Пера именно в это время; но, узнав о телеграмме, понял, что это сулит неудачу, и поспешил на станцию, рассчитывая разыскать Пера в городе.

Уже совсем стемнело. Вошла экономка и закрыла двери в сад, потом на столах и консолях расставили зажженные лампы.

Якоба не появлялась. Даже когда подали чай, она не сошла вниз, хотя ее настойчиво звали. Нанни, тоже прослышавшая о телеграмме, восприняла это как доброе предзнаменование. И так, свадьба расстроилась! Родители стараются не говорить об этом, значит и они не верят в предстоящую свадьбу.

Некоторое время развлекались музыкой, а когда пробило одиннадцать, гости стали разъезжаться. Однако, Нанни на сей раз дерзнула пренебречь категорическим запрещением Дюринга и заночевала в Сковбаккене, ибо надеялась, что уж на другое-то утро Пер непременно придет.

В эту минуту вернулся из города Ивэн с растерянным выражением лица. Когда все гости разошлись, он спросил у Нанни и родителей:

— Якоба не выходила сегодня?

— Нет, а что?

— Сидениус уехал.

— Уехал? Куда?

— Куда-то в Ютландию. В отеле сказали, что он вернется через несколько дней.

— Ах да, он уехал на похороны, — сказала фру Леа. Вот о чем он, вероятно, сообщил Якобе.

— Ты права, но все-таки это очень странно... уехать вот так, не сказав ни слова. И уехать именно сейчас, — добавил Ивэн и поведал семейству о письме, которое получил от Хасселагсера, и о визите полковника, который так и остался без ответа.

Фру Саломон вопросительно взглянула на мужа, но тот промолчал. Он поставил себе за правило не высказываться по адресу своего будущего зятя. Поэтому он только покачал головой и сказал:

— Ну, детки, пора спать!

\* \* \*

Пароход, на котором плыл Пер, давно уже вышел в открытое море.

Словно исполинский саркофаг, скользил его огромный черный корпус по спокойной глади моря, в туманной мгле белой ночи, а клубы дыма окутывали его траурным крепом. Черное, затянутое облаками небо тяжело нависало над ним. Но кое-где сквозь разрывы облаков проглядывали робкие звездочки, — словно глаза ангелов, провожали они траурное шествие.

Пер одиноко сидел на средней палубе, закутавшись в пальто и глядя на воду. Он постарался устроиться как можно ближе к тому месту, где стоял гроб матери.

Остальные пассажиры мало-помалу отошли ко сну. Давно уже смолкли голоса в каютах и кубрике.

По капитанскому мостику быстрыми шагами расхаживал вахтенный штурман, на корме через равные промежутки били склянки. А кроме них, ни звука не было слышно на большом корабле, если не считать размеренного стука работающих машин и корабельного винта да время от времени скрежета кочегарских лопат.

На юго-западе вспыхнул над горизонтом Гессельский маяк.

Вскоре сменилась вахта на капитанском мостике и у рулевого колеса; Пер заметил, что при смене первый и второй штурман говорили о чем-то, понизив голос.

И опять кругом воцарилась глубокая тишина и покой.

Но сам он не помышлял о сне. Он хотел быть как можно ближе к матери. Да и все равно он не смог бы сейчас заснуть.

...Как много воспоминаний детства вставало перед ним в эту ночь, когда он неподвижно глядел на светящуюся поверхность моря. До сих пор он ни разу еще не пытался создать себе четкого и законченного представления о своей матери. Как сама она при жизни оставалась в тени из-за властной фигуры отца, так и воспоминания о ней были омрачены неприятным чувством, с которым Пер вспоминал его. Лучше всего Пер помнил ее в долгие годы болезни. Обычно, если он во сне или наяву думал о ней (это случалось гораздо чаще, чем он сам сознавал), он всякий раз представлял себе, как она лежит в постели, в полутемной спальне, где всегда приспущены зеленые шторы, а сам он или кто-нибудь из братьев и сестер сидит возле постели и растирает ее больные ноги. Но в последние дни на него нахлынули воспоминания о том времени, когда она по утрам и перед сном умывала младшеньких, одевала и раздевала их, когда она штопала и латала платье средних, когда проверяла уроки и писала прописи вместе со старшими, когда по ночам, в длинном белом одеянии, она обходила детские комнаты — там поправит подушку, тут взобьет перину, а то проведет удивительно нежной рукой по волосам, если спросонья кто-нибудь вытаращит на нее глазенки или перевернется с боку на бок.

Ясней всего он запомнил мать в военный год; сам он тогда был слишком мал, чтобы понять все ужасы войны, а беспокойство и беспорядок, связанные с войной, только забавляли его. На много месяцев город заняли немецкие войска, они шагали по улицам с музыкой, и во главе каждого полка выступал рослый барабанщик, они выстраивались всем напоказ в манеже или на базарной площади. Даже пасторский дом и тот вечно кишел солдатами, иногда их набиралось добрых два десятка, да при них еще семь-восемь лошадей. Лошади стояли в торфяном сарае, по утрам их выводили в сад и чистили под наблюдением офицера. Хозяевам дома оставили лишь несколько комнат, и дети путались у всех под ногами. Его, Пера, это все очень развлекало. А еду им приправляли патокой, потому что масла не было!.. Теперь он сообразил, что мать тогда ждала ребенка — двенадцатого ребенка, готовилась двенадцатый раз вступить в единоборство со смертью. Но и этого мало. Некоторые из детей заболели, а трехлетняя девочка умерла в страшных мучениях. Как ему рассказывали впоследствии, в ту минуту, когда ганноверский полк покидал город, а другой входил в него, девочка испустила последний вздох на руках у матери.

Диво ли, что мать после всего этого стала воплощенной скорбью? Да и вообще младшее поколение, которое вырастало в пору внешне куда более мирную и спокойную, зачастую несправедливо осуждало уныние и вечную неуверенность старшего, которое

вынесло на своих плечах все тяготы и горести войны. Скорей надо было удивляться тому, что мать не сломилась окончательно под бременем пережитого. Даже Якоба, сама немало выстрадавшая, не могла понять, откуда его мать черпала сверхчеловеческие силы, чтобы при своей телесной немощи вытерпеть все тяжелые удары судьбы, не позволив себе ни единой жалобы.

Вот именно, откуда? Какая внутренняя сила помогла людям старшего поколения сносить жизненные невзгоды, тревоги военных лет, тупое, подобное смерти, оцепенение послевоенных, пройти сквозь все кровавые события, символом которых стало хождение матери по мукам, глубоко потрясающее сердца?

Что до нее самой, мать никогда не задумывалась над ответом. Пер помнил слова, к которым она то и дело обращалась:

*Во всем, что совершила я.  
Заслуга, господи, твоя.*

...Пер вздрогнул от холода, поднялся и начал расхаживать по длинной дорожке, протянутой через палубу. Однако ноги были тяжелы, словно мешки с песком, а голова так гудела от забот последних дней, что ему снова пришлось сесть.

В эту минуту с капитанского мостика сошел штурман и остановился неподалеку, явно намереваясь завести разговор. Он показал Перу рыбацкие лодки, покачивавшиеся со спущенными парусами на легкой зыби, и объяснил, что рыбаки ходили за камбалой, а теперь плывут обратно по течению, которое возникает южнее, на песчаных отмелях, окружающих остров Анхальт.

Пер коротко отвечал: «Да, да».

Он вдруг вспомнил про письмо, оставленное ему матерью, и про сверток, где, без сомнения, лежат отцовские часы. Он никак не мог решиться прочитать это письмо. Он и рад бы убедиться, что мать все-таки хоть немножко понимала его, но взгляд Эберхарда при их вчерашней встрече не предвещал ничего хорошего.

Он снова встал, мучительное беспокойство не давало ему усидеть на месте.

— Вы бы лучше легли, — сказал штурман и подошел поближе, засунув руки в карманы. — Шататься по палубе до чертиков холодно.

Непочтительный тон и вся поза штурмана заставили Пера сжать кулаки. Он уже хотел было как следует осадить грубияна, но тут только сообразил, что его подозревают в желании покончить жизнь самоубийством и что именно об этом шел тихий разговор при смене вахты.

Тогда Пер, без обиняков, спросил штурмана, не думает ли тот, что он намерен прыгнуть за борт.

— Ну, уж коли вы сами об этом заговорили, я признаюсь вам, что кой-какое подозрение на этот счет у нас было. Такое нередко случается, а от шумихи, которая потом поднимается, от допросов и тому подобной дряни нам, честно говоря, радости мало. Да вот нынешней осенью, как раз в этом месте один утопился.

— А кто?

— Да палубный пассажир какой-то, из Хорсенса. Говорят, ему здорово не повезло в жизни. Мы успели только шапку увидеть, и больше ничего. Пошел рыб кормить.

Пер невольно опустил глаза, потом пожелал штурману спокойной ночи и сошел вниз. Несколько часов он провалялся в душной каюте среди храпящих и стонущих людей, а сон так и не приходил к нему. Мысли не давали покоя. Он сознавал, что этой ночью в нем совершается давно уже подготовленное духовное возрождение. Перед ним в туманной мгле уже вставал новый мир, но пока он почти не различал дороги туда. Все, что лежало позади, ушло в Небытие. В образе старой недужной женщины ему открылась сила, рядом с которой вся мощь Цезаря казалась ничтожной и жалкой, — открылась сила и величие в страдании, в отречении, в самопожертвовании.

Подложив руки под голову, он вглядывался в полумрак широко открытыми глазами,



полный страх перед той душевной борьбой, которая ему предстоит. Но он не чувствовал себя подавленным. К своему великому удивлению, он даже не завидовал людям, спокойно храпевшим вокруг него под воздействием того снотворного, которое зовется чистой совестью. В его тоске и раскаянии было нечто высокое и радостное, как в муках роженицы возвещающих о появлении на свет новой жизни с новыми чаяниями и надеждами.

Когда забрезжило утро, Пер покинул судно на первой же пристани в устье фьорда. С вершины холма он провожал пароход глазами — тот долго шел среди лугов по извилистому фьорду. Тем же путем, восемь лет тому назад, Пер уезжал из дому, полный юношеской отваги и радужных надежд. Подумать только: целых восемь лет! И ведь ему на самом деле везло. Он действительно покорил королевство, которое хотел покорить и корона которого была создана для него.

Капли росы, словно слезы, оседали на ресницах, а он все глядел на саркофаг, плывущий среди покрытых цветами лугов, глядел, пока он не скрылся в золотом предрассветном тумане, словно призрак в заоблачном царстве.

## Глава XIX

В одном из самых приветливых уголков восточной Ютландии, в низине, стоит большой замок; темно-красные стены и уступы фронтона делают его похожим на монастырь. Это Керсхольм. Он расположен на самом краю долины, которая, словно могучий зеленый поток, извивается среди холмов, покрытых лесами и пашнями.

По дну ее протекает смирная речушка — жалкие остатки обширной водной глади, занимавшей некогда всю долину в добрую милю шириной. Теперь, пока не подойдешь вплотную к берегу, реки вообще не видно. Перед глазами расстилается зеленая равнина, и на ней кое-где канавы да не просыхающие лужи. Даже не верится, что в былые дни среди этих берегов катились высокие волны. Там, где теперь робко порхают над камышом певчие птички, коричневые и серые, некогда горделиво парили на сверкающих серебром крыльях большие морские чайки. Там, где теперь землекопы и поденщики благоговейно жуют ломти хлеба с салом, некогда сходили на сушу с орошенных кровью кораблей опьяненные битвой корсары и торжествующе тащили домой богатую добычу.

А на холмах, где среди ржаных полей теперь шумят светлые и веселые рощи, некогда простирались дремучие леса, и в лунные морозные ночи там завывали волки. Даже много спустя, когда низина поднялась и по старому дну фьорда прошел мирный плуг землепашца, лес по-прежнему оставался прибежищем для всяких удальцов и лихих людей. Здесь заливались охотничьи рога важных господ, когда они скакали, усадив на луку седла самое смерть, и кровавый след тянулся за ними сквозь чащу. Здесь бушевала непогода — словно тысячеголосый рев наполнял воздух, и слышался в нем зловещий отзвук глухих раскатов моря, наполнявших душу человека священным ужасом.

Но мало-помалу лес был вытеснен с плодородных земель. Безоружные пришельцы построили себе жилье и насадили сады, чтобы в уединении пожинать плоды земные. По дороге, отмеченной распятиями и статуями святых, пришли с юга люди в длинных одеяниях и сандалиях на босу ногу, — и вскоре первый колокол возвестил древней земле викингов: «На земле мир, в человецех благоволение». Шли годы. Со всех сторон мирный топор крестьянина вгрызался в лесную тьму, где в покинутых орлами гнездах теперь каркали вороны.

Миновали века. С цветущих полей и лугов дары родной земли потекли через пороги жилищ избранных сынов человечества, накапливались в хлевах и амбарах, заполняли житницы и кладовые монастырей и господских усадеб свежим мясом и сладким, как мед, пивом и, наконец, порождали жир и густую кровь под рясой монаха и блестящей кольчугой рыцаря. Но едва лишь у благочестивого инок заводился лишний жирок, им тотчас овладевали плотские вожеления. У него возникала потребность вступить в брак, он даже почитал своей святой обязанностью сделаться отцом семейства и, откинув пустые мечты,

разделить жизненные блага с прочими сынами Адама. Церковь породнилась с мирянами. И тогда из сандалий и суровых покаянных одежд, подпоясанных пеньковым вервием, словно из кокона, вылупился первый пастор Сидениус с белыми брыжжами и с целым выводком детей.

Рыцарь тоже мало-помалу переходил к мирному существованию. Благодетельный закон ревностно охранял унаследованные богатства, а приключения и беспокойная жизнь с каждым днем манила все меньше и меньше. Потомок грозных викингов превращался в скотопромышленника и землевладельца при шляпе с перьями и в бархатных штанах. Высокий, дородный и полный сил, скакал он на своем иноходце как живое воплощение отечественного плодородия.

Встречались среди них люди вроде господина Лаве Эскесена-Брука, которые судились и ссорились с половиной Ютландии, или такие, как известный рыцарь Олуф Педерсен-Гюлленстерн, которого родные сестры — фру Эльсеба и фрёкен Лена, — не вытерпев, обвинили на виборгском ландтинге в «тяжких злодеяниях и несправедливости, учиненной по отношению к ним, ибо он избивал их самих, их слуг, угрожал им огнестрельным оружием и обнаженным мечом, разорял их дома и силой отобрал у них все состояние». Вот какие это были люди. Жажда подвигов, засевшая в их пиратской крови, и независимый дух выродились у них в бычье высокомерие и охоту поиздеваться над своими ближними. А встречались и люди, подобные Йоргену Арфельду; у этого дикое буйство предков сменилось иступленным религиозным фанатизмом — своего рода благочестивым садизмом. Он приказал провести тайные слуховые трубы от подземелий своего замка к жилым комнатам, чтобы тешить свою душу дикими воплями истязуемых ведьм и прочих слуг дьявола, которых во славу милосердного господина нашего Иисуса Христа до смерти пытали в сырых и мрачных подземельях.

\* \* \*

А теперь среди холмов распростерлась в пустынном однообразии и покое тучная равнина без тропинок и дорог, без единого деревца или дома. Если не подгадать к сенокосу, можно часами идти по ней вдоль извилистого русла реки и не встретить ни живой души, не услышать никаких звуков, кроме плеска воды да мерного перестука редких поездов, когда они пробегают через дальний мост.

Ходили здесь когда-то крутобокие парусники — жалкие остатки прежнего флота; каких-нибудь десять лет назад они создавали на реке некоторое оживление, но теперь от парусников и следа не осталось. За несколько недель от силы увидишь одно из этих длинных тупоносых судов, которые с грузом обычно оседают так глубоко, что матросы, подталкивающие их шестами против течения, должны скакать по поручням, чтобы не замочить ног.

Чуть почаще наткнешься здесь на людей; вооружившись длинными удочками, они с философским спокойствием истинных датчан сидят на берегу и жуют табак. Попадаются даже охотники на угрей — иногда мужчины, иногда женщины. Стоя по пояс в воде, они поднимают стаи угрей с взбаламученного илистого дна.

И, наконец, здесь можно встретить одинокого охотника; местное население старательно обходит его стороной. Это долговязый, тощий и мрачный субъект в высоких болотных сапогах, ходит он, втянув голову в плечи, и вид у него какой-то запуганный. На приветствия он обычно не отвечает. Цвет лица у него мертвенно-бледный, нос приплюснутый, рта не видно под всклоченной бородой. Это и есть сам владелец Керсхольма — гофегермейстер фон Пранген.

Пока две его пятнистые собаки, тьявка, носятся по лугу и время от времени с плеском исчезают в камышах, сам он медленно шагает напрямиком. Ружье празднично болтается за плечами, руки засунутые в косые карманы долгополой охотничьей куртки. Всякий поймет: человек вышел не столько ради охоты, сколько ради того, чтобы остаться наедине с самим

собой и со своими мрачными мыслями.

Люди, населяющие долину, частенько гадают, о чем бы это мог подумать господин гофегермейстер. Его всегда было не легко раскусить. Похоже, будто в нем живут два разных человека. Молчальник, прячущий глаза от людей, перерождается порой в говорливого собеседника и хвастуна, набитого самыми нелепыми рассказами: ни дать ни взять барон Мюнхгаузен. Одно время полагали, что он стал таким задумчивым из-за своей жены. Теперь считают, что все дело в бесконечных тяжбах, которые он вечно с кем-нибудь ведет и которые почти всегда проигрывает. Толкуют и про какую-то желудочную болезнь, — и в самом деле, из Керсхольма нередко посылают на станцию в аптеку за лекарством.

Как ни странно, гофегермейстер и сам, пожалуй, не сумел бы объяснить, отчего он такой угрюмый. Он мог преспокойно сидеть в своем кабинете, глядя, как расплываются на солнце кольца дыма из трубки, и вдруг тоска охватывала его и омрачала ясный день. Тогда он начинал размышлять, в чем тут дело; и чем больше он размышлял, тем глубже погружался в пучину отчаяния.

Слух о том, что на гофегермейстера опять «нашло», тотчас же растекался по конюшням и амбарам Керсхольма, и, где только ни появлялась его голенастая фигура, все старались отойти на почтительное расстояние. В такие минуты даже храброго человека невольно брала оторопь: он видел огромные черные глазницы и окаменевший затылок, как у быка, упершегося рогами в забор.

Супруга гофегермейстера, женщина умная, слишком ценила свою независимость, чтобы считаться с его настроениями, и потому обычно держала себя как ни в чем не бывало. Она знала по опыту, что всякая попытка как-то повлиять на него только ухудшит дело. Мрачное настроение требовало определенного срока, по истечении которого оно уходило так же бесследно и внезапно, как и пришло. За семейными трапезами, когда гофегермейстер открывал рот только затем, чтобы проглотить очередной кусок, беседу поддерживала сама гофегермейстерша, причем она старалась смягчить неукротимый нрав супруга, заказывая к обеду его любимые блюда. Дело в том, что гофегермейстер очень любил покушать, и даже самая жестокая хандра не портила ему аппетита. Огромные порции рисовой каши со сладким пивом, жареное мясо с яблочным соусом, ливерная колбаса с тушеной капустой и прочие яства исчезали в его желудке, как в кладовой у пастора.

После еды он обычно ретировался в свою комнату, отделенную от гостиной маленьким залцем. Но гофегермейстерша с величайшей расторопностью всегда устраивала так, чтобы он не мог запереть за собой двери, да и вообще не давала ему слишком откровенно уединяться на глазах у прислуги. Она знала, что о ее прошлом и об их браке болтают много лишнего. Были у нее и другие причины, чтобы стараться сохранять между мужем и собой полное доверие.

Гофегермейстерше перевалило уже за тридцать, когда она стала женой господина Прангена, в то время помещика средней руки. Этот брак вызвал насмешки и даже недоумение в ее кругу, где если и слышали о Прангене, то лишь как о человеке, прославившемся своей бездарностью и нелепейшими рассказами. И уже тогда людская молва очень занималась ее прошлым. Поговаривали, что ее красота в свое время заставила вспылать страстью одно весьма высокопоставленное лицо, но привело ли упомянутое обстоятельство к более близким отношениям, этого — увы! — никто толком не знал. Тем не менее слушатели получали истинное наслаждение, когда помещик Пранген, будучи в приподнятом настроении, начинал хвалиться связями своей супруги при дворе.

Да и после замужества ее образ жизни давал немало пищи для разговоров. Поскольку она частенько уезжала либо в Копенгаген, либо за границу — на воды, ее имя связывали то с одним, то с другим из представителей земельной аристократии, питающих слабость к прекрасному полу. Толком никто по-прежнему ничего не знал, — так искусно умела она пустить погоню по ложному следу; а муж ее был всецело поглощен сутяжничеством и несварением желудка и потому никогда, если не считать крайне редких случаев, не питал подозрений по адресу жены.

В молодости гофегермейстерша весьма легкомысленно относилась к своим супружеским обязанностям. Она для того и вышла за Прангена, чтобы сделать его ширмой для прикрытия своих романов. Тогда она оправдывала собственное легкомыслие тем, что и муж тоже не остался в накладке от их брака: она сумела выхлопотать ему титул несравненно более высокий, чем тот, на который он мог рассчитывать по своему рождению, образованию и доходам.

Но потом годы дали себя знать, улегся жар в крови, и запоздалое раскаяние предъявило счет с поистине ростовщическими процентами. Под старость гофегермейстерша пылко увлеклась религией. Она подпала под влияние некоего Бломберга, пастора в соседнем приходе. Он не принадлежал к числу тех исступленных проповедников карающего господа, которые тогда встречались весьма нередко и которые пытались воскресить средневековые. Бломберг, напротив, был весьма простой и очень человечный священник, он терпеть не мог экстаза и напыщенности и являл собой образец бодрого духом утешителя, проповедника будничного евангелия, которое не требовало от человека невыполнимых жертв в повседневной жизни и потому завоевало много сторонников.

Гофегермейстерша была несказанно благодарна пастору за то, что он сравнительно легко и безболезненно помог ей снять с себя бремя грехов. Она просто влюбилась в это новоявленное христианство, столь трогательно неприхотливое. Правда, иногда ей трудновато казалось соблюдать часы молитвы, не сразу удавалось найти правильный, по-детски доверчивый тон в обращении к всевышнему, но зато она пристально следила за всеми интересными событиями, касающимися церкви. Комнаты ее были завалены книгами религиозного содержания и богословскими журналами, она даже участвовала в религиозных дебатах в узком кругу, причем все более и более открыто выступала миссионером бломберговской веры.

Пыталась она воздействовать и на собственного мужа. Невзирая на напускное безразличие, она очень страдала от его переменчивого нрава. В вопросах религии господин гофегермейстер был человеком весьма косным, но она все же надеялась со временем побороть его равнодушие, приобщить его к утешению и радостям живой веры и тем самым вознаградить за свою неверность.

\* \* \*

Вот в этом доме и у этих людей решил Пер искать прибежища после того, как ночью тайно проводил гроб с телом матери через Каттегат. Рано утром Пер сошел с парохода в устье фьорда, а в полдень, измученный физически и нравственно, уже подъезжал к Керсхольму.

Здесь его встретил чрезвычайно радушный прием и не только со стороны гофегермейстерши и ее сестры, баронессы, которая до сих пор гостила в Керсхольме, но и со стороны самого хозяина, ибо последний только что получил сообщение, что он с блеском выиграл процесс по поводу одной придорожной канавы. Не часто его притязания кончались так удачно, зато уж если это случалось, гофегермейстер себя не помнил от восторга.

Чтобы тотчас же ввести Пера в курс событий, гофегермейстер затащил его к себе и, воспользовавшись удобным случаем, подробно рассказал ему про три других процесса, которые ему случилось выиграть в своей жизни и из которых один, по словам гофсгермейстера, представлял собой дело настолько необычное и запутанное, что Верховный суд заседал из-за него целых три дня.

Мысли Пера все еще кружили у гроба матери, и он радовался возможности молча отдаваться им.

Гофегермейстер не привык к таким терпеливым слушателям и потом сообщил супруге, что ее молодой друг очень и очень мил. Когда за обедом Пер заговорил о дне своего предстоящего отъезда, гофегермейстер чуть ли не более рьяно, чем другие, начал

уговаривать его хорошенько отдохнуть в Керсхольме именно теперь, когда наступило долгожданное лето.

Уговорить Пера оказалось совсем нетрудно. Тем более что в Копенгаген его ничуть не тянуло. И где еще, думал он, можно найти более подходящее место, чтобы преодолеть духовный кризис, приближение которого он предчувствовал? Ему отвели спокойную уютную комнату во флигеле главного здания. Окна выходили в парк, и аллея высоких густолистных каштанов затеняла дневной свет. Посреди комнаты на выскобленном добела полу стоял квадратный дубовый стол с массивными круглыми ножками и вокруг него — четыре стула с высокими спинками. За ширмой Помещалась кровать под надежной охраной высокой старинной печки, которая сияла в своем углу, словно рыцарь, закованный в латы. В простенке между окнами висела заставленная книгами полка.

Комната сразу ему приглянулась — она выгодно отличалась от пронумерованных и однообразных гостиничных апартаментов, на пребывание в которых так долго обрекала его судьба. Зеленоватый полумрак хорошо гармонировал с его собственным настроением, — именно такой тайничок, такое монашеское уединение было ему сейчас нужней всего. Особенно порадовали книги: он успел прочитать на многих корешках заглавия проповедей и других работ по теологии, о которых ему с таким жаром в свое время говорила гофегермейстерша.

Он отправил телеграмму в копенгагенский отель с просьбой переслать сюда часть его вещей. Якобе он написал подробное письмо, где пытался объяснить внезапный порыв, заставивший его последовать за телом матери, и сообщал, что воспользовался этим случаем и сдержал давнее обещание навестить своих знакомых, спутниц по Италии. Относительно сроков своей задержки в Керсхольме он пока сообщал только, что ему надо отдохнуть и набраться сил перед новой поездкой. Он решил, что подробные объяснения будут излишни, ибо Якоба не способна понять на основе одного письма истинные мотивы его поступков. Так что с подробностями придется повременить. Ничего не поделаешь: они с Якобой произросли на разной духовной почве, отсюда и невосполнимая ущербность в их отношениях. Какие бы героические усилия ни прилагали обе стороны, такое глубокое несходство натур решительно исключает подлинную близость.

Под вечер, отправив письмо, Пер сразу же заметно успокоился. На закате, сидя в гостиной с дамами, он уже чувствовал себя в этой непривычной обстановке совершенно как дома — покойно и уютно. Он и не пытался объяснить причину этого впечатления, тут все слилось воедино: и низкие сумрачные, но просторные комнаты, и отблеск последних лучей на оконных стеклах, и самый воздух — чуть затхлый и со слабой примесью кухонного чада, — словом, все, решительно все по-матерински ласкало его сердце.

Гофегермейстер пристроился было возле них, но вдруг вскочил со страшным грохотом и, что-то напевая, направился через зал к себе, оставив все двери настежь. Потом из его комнаты донесся шум, лязг, стук распахнутого окна. И вдруг трубный зов валторны огласил горы и доли.

Среди смехотворных фантазий, с помощью которых гофегермейстер поддерживал в себе самоуверенность, была и следующая: он считал себя непревзойденным мастером игры на духовых инструментах. Для начала он протрубил несколько охотничьих сигналов — из лесу ответило эхо, словно отголосок седой старины, когда предки гофегермейстера продирались сквозь чащу и кровавый след тянулся за ними по траве. За охотничьими сигналами последовал ряд патриотических маршей, после чего исполнителя охватила меланхолическая чувствительность, которая являет собой истинную поэзию простых сердец. Звучала эта поэзия чудовищно. В заключение была исполнена мелодия: «Ах, как прекрасно идти вдвоем!» Чтобы наилучшим образом передать щемящую задушевность этого старинного гимна во славу семейного очага, гофегермейстер начал трубить так громко и фальшиво, да еще с такими заунывными переливами, что Пер уставился в пол, боясь расхохотаться. Гофегермейстерша, напротив, задумчиво подперла рукой подбородок и смотрела в окно с нежной, кроткой и невинной улыбкой.



Так, в приятном обществе хозяев усадьбы протекло несколько дней. Гофегермейстер пребывал в отменном расположении духа и показывал Перу свои владения. После обеда Пер прогуливался по живописным окрестностям с обеими дамами, а иногда один или в сопровождении управляющего — молодого человека одних с ним лет.

Потребовалось не много времени для того, чтобы Пер окреп физически. Лицо у него снова покрылось бронзовым загаром, как тогда, когда он вернулся из Италии, и это очень красило его. О своих отношениях с Саломонами он старался говорить поменьше, что не преминула заметить гофегермейстерша, а заметив, и сама перестала касаться этой темы. О своей матери и о том, что, собственно, побудило его приехать в Ютландию, он тоже предпочитал не говорить, так как до сих пор полагал, будто обе дамы невесть что воображают о его таинственном происхождении. Но очень скоро он понял, что гофегермейстерша уже выведала все о его семейном положении и что справки она, по-видимому, наводила у пастора Бломберга, о котором отзывалась с таким почтением и который, судя по всему, лично знал его отца.

Внесение ясности в запутанный вопрос очень обрадовало Пера, и он испытывал большую благодарность к хозяйке, не терзавшей его разговорами на эту тему. Теперь ему хотелось только уладить с такой же легкостью и другое деликатное дело: занять у хозяев денег.

Сперва Пер думал обратиться к баронессе, с этим он ехал сюда, но от этой мысли вскоре пришлось отказаться. Правда, старая дама сама в первый же день снова предложила ему какую угодно поддержку и даже заявила о намерении сделать Пера своим наследником, но его удерживало то же чувство, что и в Риме: он не хотел ловить несчастную слабоумную старуху на слове. Он даже избегал оставаться наедине с ней, так как тон ее тут же делался пугающе интимным. Подперев двумя пальцами маленькую, убранную кружевами голову, баронесса в самых выпрненных словах заводи́ла речь о своем покойном брате, а кончала декламацией стихов Герца, Карла Багера и, особенно, Палудана Мюллера, чью «Танцовщицу» она знала наизусть, вплоть до списка опечаток.

Поневоле пришлось возложить все упования на гофегермейстера и его супругу. С последней он чувствовал себя более непринужденно, особенно когда управляющий рассказал ему все, что знал о прошлом гофегермейстерши. После этого рассказа Пер лучше понял, чем так привлекла его гофегермейстерша в Италии. Понял и ее легкую задумчивость, и терпимость, обличавшую весьма отрадное снисхождение к слабостям нашей грешной плоти.

Он, однако, ни минуты не сомневался в искренности ее благочестия, а потому верил и в другие добрые свойства ее души и надеялся при ее содействии заинтересовать гофегермейстера и прочих представителей местной знати своим проектом. От этих людей он принял бы помощь без всякого смущения, тогда как к своему тестю он раз и навсегда решил не обращаться больше за поддержкой. Все, что после свадьбы, вероятно, выделят Якобе в качестве приданого или под каким-нибудь другим соусом, поступит в ее полное распоряжение. Впредь никто не посмеет сказать ему, будто он живет на подачки Филиппа Саломона.

Но пока он еще не улучил подходящего момента, чтобы завести разговор о займе. Слишком многое занимало его и в нем самом, и в окружающем мире. Прежде всего, природа. За три дня он только и успел сообщить гофегермейстерше, что при первой же возможности хочет съездить в Америку, чтобы пополнить там свое образование.

Погода стояла по-настоящему летняя, была та пора, которая больше всего красила эту местность. Леса и поля сверкали свежей зеленью, а луга превратились в сплошной цветочный ковер. С управляющим именем они стали почти друзьями. Пер охотно проводил часы послеобеденного отдыха в комнате управляющего, расположенной в обособленном флигеле при службах. В одно из окон комнаты видна была маслобойня, где, подоткнув подолы, сновали доярки с жестяными ведрами, другое окно выходило на тот уголок двора, где за навозной кучей случали с коровами огромных керсхольмских быков-медалистов.

Вытянувшись на диване, с сигарой в зубах, Пер развлекался немудреной деревенской болтовней о всякой всячине или играл с черным пуделем — собакой управляющего — и ее щенками. Управляющий был невозмутимый ютландец, из породы людей, которые при всем своем добродушии любят позлословить о том, что привыкли уважать другие. Про кого, бывало, ни зайдет речь, он тут же выставит этого человека в смешном виде — и вовсе не по злобе, а просто ради красного словца. Пер находил удовольствие в его обществе, беспечная болтовня среди сельской суеты разгоняла мрачные мысли, с которыми он приехал сюда.

Непостижимо очарования была полна и река, ведь ее воды всего за пятьдесят-шестьдесят километров отсюда с плеском набегали на прогнившие сваи пристани в его родном городке, ведь ее скрытые топи и непроходимые заросли камыша были утехой его детских лет. Когда Перу удалось однажды разыскать на берегу под навесом лодку, в нем проснулась былая тяга к рыбной ловле. При содействии управляющего он собрал всю необходимую снасть и с тех пор ежедневно, вооружившись удочками, пропадал несколько часов на реке.

Но дни шли, а религиозный перелом, которого он ожидал с лихорадочным волнением, так и не наступал. Весь заряд, накопленный в ту памятную ночь на борту парохода, от беззаботной жизни исчез без следа. Религиозные трактаты гофегермейстерши так и стояли нетронутыми на полке. Пер весь день проводил на ногах, а когда он к вечеру возвращался домой и зажигал лампу, чтобы посидеть за книгой, ему удавалось пробежать глазами всего несколько строк, и тут же сладостная дремота нисходила на него и гнала в постель.

Он начал даже слегка скучать по Якобе. Сидя в лодке, жарясь на солнышке или валяясь в тени на излюбленной опушке леса, Пер хотел временами, чтобы она оказалась рядом и поделила с ним блаженство летних дней. Ей наверняка было бы полезно очистить легкие от песчаной береговой пыли, в последнее время у нее был очень болезненный вид. С другой стороны, если подать ей эту мысль, она скорей всего откажется. Ей вряд ли придется по вкусу растительная жизнь, которую ведет он. Валяться на траве, подложив руки под голову, и предоставить мыслям вольно плыть вслед за облаками по бездонной синеве неба, чувствовать, что сам ты растворяешься в беспредельности, — этого удовольствия Якоба никогда не понимала. Он вспомнил, как однажды в одном из писем она писала, что дух ее беспокоен, словно море. Она была права.

Немало способствовала хорошему настроению и непринужденность, отличавшая здешний уклад жизни. Эта непринужденность сказывалась и в одежде. Гофегермейстер с утра бродил по комнатам в охотничьих сапогах и не менял платья даже к обеду. Сама гофегермейстерша у себя дома тоже не слишком-то заботилась о своем туалете. Эта деревенская простота совершенно покорила Пера, которого крайне тяготило педантическое соблюдение этикета и вечные переодевания как в доме тестя, так и во время путешествий.

...Однажды ясным летним днем, вернувшись домой с удочками на плече, он застал гофегермейстершу в обществе какой-то молодой блондинки. На блондинке было светлое платье в синюю полоску. Дамы шли по длинной тополевой аллее, ведущей от луга к парку перед главным зданием. Они шли обнявшись, и чем-то напоминали любящую пару.

— Инженер Сидениус из Копенгагена — фрекен Бломберг, — бегло представила их друг другу гофегермейстерша и добавила, что сам пастор Бломберг сидит сейчас у ее супруга и, без сомнения, будет рад познакомиться с Пером.

Пер выругался про себя, проходя через парк в свою комнату. Он решил, что теперь безмятежные дни миновали. Пастор, с которым, судя по всему, очень считались в этом доме, был ему заранее антипатичен. Только потом Пер сообразил, кто это такой. Ему уже приходилось читать в газетах о Бломберге как о талантливом представителе одного из многочисленных направлений современной церкви. Пер смутно припоминал также, что деятельность Бломберга была предметом споров у них в доме, поскольку его брат Томас, викарий, слишком уж горячо ратовал за учение Бломберга, а отцу это пришлось не по вкусу.

Охотнее все он переждал бы у себя, пока пастор уйдет, но предложение гофегермейстерши познакомиться с пастором, несмотря на чрезвычайно любезный тон,

звучало не так, чтобы им можно было пренебречь.

Он, действительно, застал пастора у гофегермейстера; они сидели за столом друг против друга в облаках табачного дыма и пили кофе. Как только Пер появился в дверях, разговор тотчас же смолк, и стало ясно, что до его прихода речь шла именно о нем.

С самого начала Пера слегка удивила внешность Бломберга. После всего, что ему наговорили в Керсхольме о великом церковном реформаторе и о его борьбе за то, что принято называть более человеческим взглядом на божественные явления, Пер представлял себе пастора эдаким скандинавским апостолом, христианским викингом, а вместо того увидел перед собой маленького, толстенького человечка с пухлыми щеками, который по виду ничем не отличался от любого датского священника, добродушного и разговорчивого. Борода и шевелюра, напоминавшие паклю, обрамляли большое лицо, на котором светилась, словно капли воды, пара ясных голубых глаз, и мирный небосвод отражался в них. И в одежде Бломберга (на нем была короткая куртка из черного ластика), и в том, как он сидел, непринужденно развалился в кресле и дымя изжеванной сигарой, сквозило явное желание отринуть все признаки сана, той «преподобности», над которой он, к великой досаде своих коллег, позволял себе весьма непочтительно подсмеиваться. И все же с первого взгляда любому наблюдателю становилось ясно, что перед ним духовное лицо. Весь облик Бломберга излучал слишком много характерной патриаршей самонадеянности и сознания собственного превосходства, которые присущи каждому священнослужителю, так же как запах плесени, невзирая на все новейшие отопительные и вентиляционные ухищрения, присущи всем церквям.

Пастор Бломберг не без труда приподнялся навстречу Перу и с деревенской сердечностью пожал его руку.

— Так, так, — сказал он, бесцеремонно разглядывая Пера. — Добро пожаловать в наши края, господин инженер.

Что-то покровительственное или, скорее, сочувственное в его тоне заставило Пера насторожиться.

— Имя Сидениус, разумеется, знакомо мне, — продолжал пастор. — Не говоря уже о вас лично, ваш батюшка был лицом, весьма уважаемым в нашем сословии. Хотя мы столько лет были, если можно так выразиться, соседями, я не знал его лично. Мы не сходились с ним в понимании блага церкви, но тем не менее я глубоко чтил покойного. Это был неутомимый труженик.

Пер ничего не ответил, пастор снова сел, и с минуту все хранили молчание. Затем пастор обратился к гофегермейстеру и завел разговор о местных делах.

Пер примостился у окна и закурил сигарету. Он сидел вполборота к собеседникам и смотрел на большой газон перед домом, посреди которого красовались позолоченные солнечные часы.

Взгляд его упал на гофегермейстершу и давешнюю девушку; они вышли из аллеи и присели на скамью в тени раскидистого бука, по другую сторону газона. Гофегермейстерша закрыла зонтик, а ее спутница положила на скамью подле себя свою широкополую соломенную шляпу и отбросила со лба локон.

Пер решил получше разглядеть пасторскую дочку. Ей можно было дать лет восемнадцать — девятнадцать, и ничем, кроме светлых волос, она не походила на отца.

Высокого роста, даже чуть долговязая, но хорошо сложенная девушка. Толком разглядеть на таком расстоянии ее лицо Перу не удалось, но в общем она показалась ему очень привлекательной. Она сидела в тени дерева, чуть наклонившись вперед и положив ногу на ногу; в руках она вертела сорванный цветок, вдыхая время от времени его аромат, и вид у нее был очень мечтательный. Рядом с пышной гофегермейстершей, чью высокую грудь, словно стальной панцирь, плотно обтягивал блестящий серый шелк, девушка в воздушном платье казалась почти бесплотной.

Пер подумал, что она ему кого-то напоминает. Эта мысль мелькнула у него, еще когда он встретил ее в аллее. Стройная, как лань, с копной светлых, почти серебристых волос и

покатыми плечами — она показалась ему давно знакомой, и это настроило его на грустный лад.

Пастор тем временем встал, собираясь уходить. Он сказал, что хочет навестить по соседству больного, одного из приходских пастухов, которого забодал разъяренный бык. А на обратном пути он зайдет за дочерью. Прощаясь с Пером, пастор опять простодушно оглядел его и сказал, что, ежели Перу доведется когда-нибудь проходить мимо пасторской усадьбы в Бэструпе, он, пастор, будет очень рад его повидать.

— Я знаю, — бойко добавил он, — что молодые копенгагенцы в наши дни считают церковь храмом мракобесия, а дом пастора — преддверием его. Но быть может, мы не так уж плохи, как нас хочет изобразить ваша копенгагенская печать и литература. Впрочем, судите сами.

Несмотря на покровительственный тон пастора, Пер счел теперь нужным пожать его руку и даже пробормотал какие-то слова благодарности. Внешность дочери невольно расположила его к этому самоуверенному человечку.

Гофегермейстер пошел провожать пастора. А Пер надел свою соломенную шляпу, привезенную из Италии, и двинулся через веранду. На ступеньках веранды он остановился и принялся созерцать небо, словно и не подозревая о присутствии дам.

Гофегермейстерша окликнула его.

— Угадайте, на кого вы похожи, по мнению фрёкен Бломберг? — спросила она.

Девушка вспыхнула, как огонь, и пыталась зажать рот гофегермейстерше свободной рукой, — другую та держала у себя на коленях.

— Душенька, а почему об этом нельзя говорить? По-моему, это очень мило. Фрёкен Бломберг находит, что вы похожи на набоба. И она права, сегодня у вас и в самом деле какой-то экзотический вид.

— На набоба? — повторил Пер и окинул взглядом свой светло-желтый фланелевый костюм, также вывезенный из Италии и надетый сегодня впервые, по причине сильной жары. — Вы мне, разумеется, льстите. Увы, у меня не хватает миллионов для полного набобства.

— Они еще у вас будут, — с легкой досадой отпарировала гофегермейстерша.

Слова вырвались у нее почти против воли. Она тут же пожалела о сказанном и переменяла тему, любезно пригласив Пера сесть рядом с ними, — в траве около скамейки как раз лежал раскладной стул.

Впрочем, Перу достаточно было и этих мимолетных слов — у него сразу испортилось настроение. Он понял, что до его появления речь шла о его помолвке и что они, конечно, не забыли пересчитать капиталы его тестя. По видимому, люди просто не отделяли одно от другого. Тут он сообразил, что сравнение с набобом вовсе не было комплиментом в устах фрёкен Бломберг.

Он присел около скамейки и принялся разглядывать девушку. Теперь, вблизи, он мог более пристально рассмотреть и, как знаток, оценить ее внешность. Впрочем, недостатков он нашел немного. Невзирая на мрачное настроение, Пер искренне удивился, как это он с самого начала не разглядел, до чего она хороша. Какие ясные и невинные глаза! А какой красивый рот, с каким нежным изгибом; быть может, чуть маловат и бледен, но зато чист и свеж, словно цветок.

Разговор зашел о том несчастном случае, про который ему только что сообщил пастор. В выражениях, подозрительно напоминавших стиль отца, молодая девушка рассказала о «заслуживающем глубочайшего сожаления человеке», у которого так изранен живот, что доктор не надеется на его выздоровление. Но Пер слушал ее рассеянно. Он вдруг сообразил, кого она ему напоминает. Конечно же, Франциску, его возлюбленную из Ньюбодера. «Господи боже ты мой! — подумал он с внезапным приливом нежности. — Как много лет прошло с тех пор!»

Дамы продолжали оживленно беседовать, а Пер на какое-то время целиком отдался воспоминаниям. Но при этом он не сводил глаз с пасторской дочки, хотя та ни разу не

взглянула на него и, казалось, даже не подозревала, что за ней наблюдают.

«Да, — думал Пер про себя, — сходство разительное. Рост и осанка почти те же. Но у фрёкен Бломберг безусловно более тонкие черты лица, более стройная фигура, — это, так сказать, Франциска в исправленном издании. И мимика тоже напоминает Франциску: всякий раз, когда фрёкен Бломберг улыбается, она проводит кончиком языка по верхней губе, словно слизывая улыбку».

— Становится свежо, дружок, ты, может, что-нибудь накинешь на плечи? — С таким вопросом обратилась к девушке гофегермейстерша.

Солнце скрылось за деревьями парка. Здесь, под густой листвой, от земли потянуло сыростью.

— Мне вовсе не холодно. Я так уютно устроилась, — ответила та, обрадовавшись, что гофегермейстерша погладила ее по руке.

— А шаль все-таки не мешало бы накинуть. Ты, верно, оставила ее в гостиной.

Пер встал.

— Я принесу, — сказал он.

Но тут девушка вскочила со скамьи.

— Вам ее не найти, — выпалила она и, словно боясь, что он последует за ней, торопливо пошла по лужайке.

— Правда, она милочка?.. — спросила гофегермейстерша, когда девушка скрылась из виду и Пер снова сел на свое место.

— Очень недурна, — коротко ответил Пер.

— Это, конечно, тоже верно. А характер просто превосходный, такой открытый и прямой. Но, к сожалению, здоровье неважное.

— Разве она больна?

— Она всю зиму пролежала в тифу. По ее собственным словам, смерть была ей целых три месяца ближе, чем жизнь. А разве по ней этого не видно?

— Конечно, в ней есть что-то неземное, но сказать, чтобы у нее был болезненный вид...

— Да слава богу, самое страшное уже позади, а остальное довершит лето. Милое дитя, она такое утешение для всех нас, и сама она так признательна за то, что живет на земле, — на это способен лишь тот, кто чуть не расстался с жизнью в молодые годы и кто вдобавок умеет принимать жизнь как великую милость господню. Так-то, господин Сидениус.

Пер отвел взгляд. Последнее время он начал смущаться, когда гофегермейстерша заводила речь о религии.

— Фрёкен Бломберг, судя по всему, очень к вам привязана, — заметил он, желая переменить тему.

— Да, милое дитя любит бывать у нас. Она говорит, что ей очень хорошо в Керсхольме. Жизнь в доме ее родителей, как мне кажется, несколько однообразна для такой молоденькой девушки. Но вообще у них там очень славно. Вам бы следовало как-нибудь зайти к пастору Бломбергу. Ему наверняка будет приятно поговорить с вами.

На тропинке показался садовник. Он остановился в нескольких шагах от скамейки.

— В чем дело, Петерсен? — спросила гофегермейстерша.

Сдернув с головы шапку, садовник подошел чуть поближе. Оказывается, он хотел просить ее милость, когда им будет удобно, оказать ему честь и заглянуть на минуточку в огород.

— Сейчас приду, — ответила гофегермейстерша. Судя по ее обращению с садовником, она, вероятно, считала своими братьями во Христе всех, кроме собственных слуг.

Немного спустя она встала и ушла.

Девушка тем временем вернулась и ужасно огорчилась, увидев, что ее оставляют наедине с Пером. Она судорожно вцепилась обеими руками в скамейку, краснела и бледнела и, наконец, прежде чем гофегермейстерша скрылась из виду, окликнула ее и попросила разрешения идти вместе с ней.



Гофегермейстерша не успела и рта раскрыть, как девушка вскочила и бросилась за ней. — Тебе ведь нельзя бегать, — остановила ее гофегермейстерша.

Пер взглядел ей вслед через плечо, и легкая тень скользнула по его лицу.

Ее странная робость пробудила в нем мрачные воспоминания. Вот так же избегали оставаться с ним наедине его братья и сестры, особенно в те дни, когда отец за утренней или дневной молитвой отчитывал его. Да и совсем недавно, когда он наткнулся на близнецов, произошло то же самое — они очень смутились и не решались даже поднять глаз.

Набоб! Не от большого уважения эта девчонка назвала его так. И убежала, словно он не человек, а сам Князь Тьмы. Ну так что же? Стоит ли всерьез беспокоиться из-за того, что думает о нем дочка какого-то пастора? С каких это пор его интересует мнение окружающих? Когда он успел так низко пасть? Или причина в другом? Разве он сам не начал стыдиться своей вечной, неустанной погони за счастьем?

Но не стоит вдаваться в подобные размышления. Надо как можно скорее избавиться от излишней чувствительности, за последнее время он и так целиком оказался во власти прихотливой смены настроений. Пора покончить с ничегонеделанием и снова взяться за работу. А если он в чем и согрешил перед людьми или самим собой, то борьбой своей, беззаветным усердием и просто горячим желанием принести за свою жизнь как можно больше добра и пользы он постарается заслужить оправдание, пусть даже ему не суждено одерживать громкие победы.

В доме распахнули окно.

Это баронесса пробудилась от долгого послеобеденного сна. Немного спустя она вышла на веранду, живописно накинув кружевную мантилью, которая, на испанский манер, была приколата сзади к волосам. Лицо свое баронесса обильно покрыла пудрой, как всегда делала под вечер, чтобы скрыть красные пятна, проступавшие на нем за день.

Пер тотчас же скрылся. Не желая оставаться наедине с полубезумной женщиной, он потихоньку выбрался из парка и зашагал по проселку мимо полей и лугов, к лесу.

Стоял тихий и светлый летний вечер, один из тех вечеров, в которых, несмотря на весь их покой, есть что-то зловещее. Молчаливая, пустынная, лишенная теней равнина распростерлась под потухшим, без луны и без звезд, небом. Как-то незаметно село солнце, и над горизонтом осталась только красноватая дымка. На небе не было ни единого облачка, которое могло бы уловить встающие из-за горизонта лучи и отбросить их на землю, как последний привет уходящего дня. Только кое-где на холмах загорелись оконные стекла — и больше ничего.

Но едва лишь солнце зашло, в речной долине началась своя таинственная жизнь. Серая мгла стала окутывать луга, и скоро вся широкая долина утонула в туманном море. Казалось, будто с наступлением ночи движимый какой-то таинственной силой фьорд завладел старым руслом. Словно бурный прибой, словно призрачное море, разлился меж холмами бледный туман.

И вдруг все ожило. Рогатая голова вынырнула из тумана и замычала. Рядом с ней возникла в тумане верхняя часть человеческого туловища, снизу туловище напоминало зверя и кончалось задранной хвостом. Вскоре целое скопище рогатых голов обступило Пера, животные вытягивали шеи, и пар вырывался из их ноздрей. Человек размахивал чем-то над головой и издавал хриплые крики. Невольно приходил на ум бой кентавра с морскими чудовищами. А на самом деле это просто возвращалось домой керсхольмское стадо в триста коров, и гнал его пастух с кнутом за плечами. С дороги казалось, будто коровы не идут, а плывут. Только их головы да спины покачивались над поверхностью призрачного моря.

Пер присел отдохнуть на скамью, что стояла под деревом у придорожной канавы. Заложив руки за голову, он провожал стадо глазами, куда оно не скрылось в тумане. Стаи ворон пролетали над его головой к лесу и с радостным карканьем кружились возле своих гнезд. Где-то поблизости благодушно квакала лягушка. И ничто больше не нарушало тишину.

Чувство одиночества охватило Пера. Ему вспомнились слова писания: «Лисы имеют

норы, птицы имеют гнезда». А у него самого нет на всей земле места, к которому привязывали бы его добрые или яркие воспоминания. И, думая о предстоящем путешествии, он понял, что ему все равно, где ни находиться. Среди Атлантического океана или в прериях Южной Америки он будет не более одинок, чем здесь, в самом сердце своей родины.

И тут же память подсказала другое изречение, и дрожь пробежала по его телу. Это было библейское проклятие, которым когда-то проклинал его отец:

«Изгнанником и скитальцем будет на земле тот, кто противится господу».

И слова отца сбылись: его сын разделил участь Каина.

Снова перед глазами Пера встал пленительный образ Франциски, и маленькие домики Ньюбодера, выкрашенные в желтый цвет, и зеленые садики за просмоленными изгородями. Как он любил ее, если вдуматься. Не так-то просто было ему отказаться от ее любви, свежей, будто сама весна. Конечно — Пер хорошо это сознавал, — он ничего не проиграл. Якоба неизмеримо более интересный человек, и значение Якобы для его развития трудно переоценить. Но был ли в их отношениях хоть краткий миг, в который они безраздельно принадлежали друг другу не только телом, но и душой? Когда же он для сравнения вспомнил о том, как они с Франциской катались в сумерках на лодке по золотистой глади озера, не ведая никаких желаний, или о проникнутых грустью минутах веселого прощания под сенью деревьев у Эстерволле, ему показалось, что тогда-то и промелькнули самые счастливые дни во всей его бурной и безрадостной юности. Замужем ли она? Кто, как не Франциска, заслужила хорошего мужа? Может, в эту минуту, где-нибудь в глуши, она — счастливая супруга и мать — подносит к груди ребенка? Пер подумал, что в Ньюбодере, пожалуй, можно узнать, живет ли она по-прежнему со своими родителями в Кьертеминне и что вообще с ней случилось. Правда, старый дом на Хьертен-сфрюдсгаде уже опустел: мадам Олуфсен, проводив своего боцмана в «последний рейс», и сама этой осенью последовала за ним. Впрочем, там, вероятно, и без того найдется, кого расспросить.

Снова стая ворон пролетела над его головой и с восторженным карканьем скрылась в лесу. И тут же со стороны Керсхольма послышался скрип колес и стук копыт. Коляска с опущенным верхом, запряженная парой сытых чалых лошадок, взбиралась на холм, который круто поднимался как раз возле той скамьи, где сидел Пер.

Когда он сообразил, что это, должно быть, едет пастор Бломберг, он встал со скамьи и пошел в том же направлении, надеясь, что со спины пастор его вряд ли узнает.

Но он просчитался. Едва коляска поравнялась с ним, пастор велел остановиться и приветливо замахал ему рукой.

— Нет, вы только посмотрите! Господин мечтатель ходит и размышляет о будущем в вечерней тишине! Здесь красиво, не правда ли? Мы как раз только что говорили об этом с дочкой. Недаром же старые народные предания, — а в них некоторым образом слышен голос самой природы, — населены всякими сказочными существами. В вечерах, подобных сегодняшнему, действительно есть что-то волшебное, колдовское, так сказать. Видно, мы, люди, по сию пору не утратили вкуса ко всему таинственному в природе, если даже современный инженер в наш передовой и прозаический век способен поддаваться ее чарам.

Лукавая усмешка пастора совершенно искупила его грубоватую прямоту. Обратившись к дочери (рядом с отцом она явно чувствовала себя уверенней и даже поглядывала на Пера с выражением некоторого превосходства), пастор продолжал:

— Послушай, дочка!.. Этот инженер и меня ввел в искушение. Мне тоже захотелось поразмять ноги. Ты ведь все равно собиралась взять у лавочника наши покупки. Поезжай-ка вперед, а потом подожди меня. Вы, надеюсь, не возражаете, чтобы я ненадолго составил вам компанию?

Пер пробормотал что-то вроде «боже упаси», и пастор — хоть и не без труда — вылез из экипажа.

— В наш головокружительный век пара мы слишком мало времени уделяем столь полезному для здоровья моциону. — С этими словами пастор решительно двинулся вперед, словно желая пробудить задремавшие было в нем молодые силы. — Наши железные дороги,

к которым я, впрочем, отношусь чрезвычайно одобрительно, обрекают нас на измену природе, делают нас глухими к ее материнскому зову. Когда я вижу, как это длинное черное чудовище, свистя и шипя, пересекает зеленую грудь земли, я всякий раз невольно вспоминаю про змея в раю! В былые дни, когда мне приходилось бывать по делам в городе, я часто совершал этот путь на своих двоих, чтобы не гонять лошадей арендатора, двадцать километров туда, двадцать обратно в один день. И никогда время не тянулось для меня так медленно, как теперь, когда поезд доставляет меня в город за каких-нибудь полчаса. Я просто выхожу из себя от нетерпения, стоит ему запоздать на несколько минут. Раньше люди не имели привычки то и дело доставать часы из кармана, а время узнавали по солнцу, на котором нет секундной стрелки. Зато когда отмахиваешь по холодку десяток километров, до чего приятно присесть и перекусить под стогом сена или у обочины дороги. Современным молодым людям никогда не понять, какое это неповторимое, я бы даже сказал, духовное наслаждение — съесть на лоне природы кусок хлеба с сыром под аккомпанемент жаворонка, скворца и чибиса. Хотя я и стал толстяком в летах, все равно временами меня охватывает самая настоящая тоска по проселочным дорогам. Посидишь вот так у себя дома, забившись в угол, ошалеешь от книг и газет — и до чего же хорошо после этого выйти и проветриться. Чувствуешь, как душа у тебя потягивается, словно человек, который очнулся от страшного сна и увидел в окошко, что на дворе сияет солнце и поют птицы. Да вы только послушайте, — вдруг воскликнул он, остановившись, и положил руку на плечо Пера. — Послушайте. Слышите жаворонка? Он поет в честь ушедшего солнца. — Целую минуту пастор стоял неподвижно и с умилением прислушивался. — Какая прелесть! Кажется, будто это напевает женщина, чтобы не расплакаться после ухода возлюбленного. А вы заметили, господин инженер, сколько глубокой мудрости выражает песня этого крохотного певца? Мы не напрасно внимаем его радостям и печалям. Признаюсь честно, что нехитрая песня жаворонка больше говорит моему сердцу и уму, чем набитые всяким вздором фолианты на моей книжной полке. Только обещайте никому этого не рассказывать, — внезапно добавил он с улыбкой и похлопал Пера по плечу. — Мои возлюбленные коллеги никогда не простят мне такой ереси.

Он громко засмеялся собственной шутке и пошел дальше.

Польщенный доверительным тоном пастора, Пер начал поддаваться обаянию его личности. Надо отдать справедливость гофегермейстерше, которая утверждала, будто пастор Бломберг ни капли не похож на обычного начетчика, а есть нечто совершенно самобытное.

Пройдя несколько шагов, пастор опять остановился и широким жестом указал Перу на расстилающийся перед ними пейзаж. Вечер уже целиком вступил в свои права. Первые звездочки поблескивали там и сям на зеленовато-синем небе.

— Способны ли вы, господин инженер, честно и откровенно ответить мне на один вопрос? Когда вы в такой вечер любуетесь на нашу чудесную зеленую землю, можете ли вы всерьез хотеть, чтобы дым и копоть осквернили ее? Я знаком с вашим проектом уничтожения нашей национальной идиллии. Признаюсь прямо, я сам не читал еще вашего труда, но госпожа гофегермейстерша ознакомила меня с вашими идеями, и я нахожу их чрезвычайно характерными для нашего времени. Вот мне и хочется спросить вас, неужели вы всерьез убеждены, будто наша река станет приятнее для взгляда, если по ней поплывут паровые чудовища, а на ее зеленых берегах задымят фабрики? Я думаю не об одной лишь красоте, поверьте. Я не беспочвенный мечтатель и отлично понимаю, что соображения чисто эстетические должны подчиняться практическим запросам. Но здесь, мне кажется, на каргу поставлены более высокие ценности... Видите домик на холме? Ну этот, из трубы которого идет дым? Там живут мои знакомые. Они из бедняков, каких у нас в стране насчитывается до четверти миллиона. Зарботков едва-едва хватает на пропитание и одежду, — и все же, узнай вы этих людей поближе, вы позавидовали бы их жизнерадостности. Муж и жена вместе работают в поле, ребятишки целый день гоняют на свежем воздухе. Есть у них старая клячонка да корова, и они считают себя богачами. Неужели вы искренне хотите заставить этого человека надрываться у станка в вонючем и темном цеху, а жену и детей загнать куда-

нибудь на седьмой — восьмой этаж рабочей казармы? Отвечайте, но только честно.

Пера начали мало-помалу раздражать назойливые расспросы пастора. К тому же, он и сам в последнее время стал сомневаться в правильности намеченного им пути, — и все это вместе взятое заставило его ответить несколько вызывающим тоном:

— Не понимаю, какое значение здесь могут иметь мои личные или чьи бы то ни было пожелания? Прогресс идет своим путем, не спрашивая нашего согласия, и, хотим мы того или нет, нам приходится приспосабливать свой образ жизни и свои привычки к его требованиям. Противиться этому — значит впустую расходовать время и силы.

— Да, отвечаете вы довольно категорично. Но даже если ваши идеи справедливы, мы все равно успели бы приобщиться в свой срок к этому хваленому прогрессу.

— Не думаю. Я считаю, что именно сейчас самое время и что потом будет слишком поздно. Статистические выкладки неопровержимо доказывают, что благосостояние страны падает из года в год. Можно как угодно относиться к той идиллии, которую вы, господин пастор, только что нарисовали, но ясно одно: идиллия ваша покоится на очень шаткой основе, отчего она, по сути дела, перестает быть идиллией.

— Так-то так, — уклончиво ответил пастор и снова пустился в путь. — Наверно, и в самом деле для нашего сельского хозяйства настали неблагоприятные времена. Но все же...

— Ничуть не бывало, лучших времен для европейского земледелия и ожидать нельзя. Просто этот род занятий сам по себе устарел применительно к цивилизованным странам. Пройдет небольшой срок, и слово «крестьянин» вообще станет в европейских языках устаревшим понятием.

— Ну как вы можете так говорить? Для меня это все звучит словно бред безумца. Да ведь именно высокий уровень развития нашего сельского хозяйства приводит в восхищение весь мир. Об этом чуть ли не каждый день пишут наши газеты.

Пер ответил со снисходительной усмешкой:

— Да, но к такому восхищению не примешивается ни капли зависти. Ведь ни для кого не секрет, что в нашей собственной стране — в нашей прекрасной, зеленой стране, как вы изволили выразиться, господин пастор, — со всей ее живностью, со всеми постройками нам принадлежит от силы половина богатств. А вторая половина за последние двадцать лет перешла в руки промышленного капитала индустриальных держав, главным образом Германии. Печально, но факт, что во всей стране не найдешь, или почти не найдешь, усадеб и вообще предприятий, львиная доля которых не принадлежит иностранцам. Наши банки и акционерные общества по кусочкам распродали страну иностранным капиталистам, да так, что невольно, как я писал в своей книге, вспоминается позорная эпоха правления Христофора Второго.

— Ну, ну! Только спокойно, — перебил его пастор и принужденно улыбнулся. — Ваше пристрастие вас слишком далеко заводит, молодой человек!

— Ничуть! Стоит взять в руки любую из немецких газет и пробежать глазами биржевой бюллетень, чтобы убедиться, насколько значительные интересы немецкого капитала в нашей стране и как бдительно немцы следят за своими капиталовложениями. Меня поистине обуял ужас, когда я недавно, находясь в Германии, как-то развернул газету и увидел, что в биржевом бюллетене опубликованы данные обо всех ютландских акционерных обществах, обо всех сберегательных кассах, вплоть до мельчайших. Это кого хочешь наведет на размышления.

— Подумать только! Неужто и в самом деле так далеко зашло?! — воскликнул пастор после небольшой паузы, означавшей, что он находит все сказанное заслуживающим особого и самого пристального внимания. — Вы, следовательно, считаете, что даже материальное благополучие датского народа покоится на отживших догмах и представлениях, которые подрывают его силы? Вполне возможно! Пожалуй, и в самом деле бок о бок с борьбой за духовное раскрепощение должна идти борьба за экономический прогресс. Поистине прекрасная мысль! Но тогда действительно незачем взывать к вашему милосердию. Я вовсе не боюсь свежего ветра. Надо пожертвовать тем, что более не служит жизни, как бы дорого



оно ни было нашему сердцу. А кроме того, нам остается в утешение мысль, что самые грандиозные, самые всеобъемлющие преобразования не в силах уничтожить истинные и непреходящие ценности. Не говоря уже о том, что и в мрачную эпоху торжества паровых двигателей мы все равно остаемся детьми господ бога нашего, — безразлично, признаем мы это или нет. Да и все наши сокровенные чувства не зависят от внешних перемен. Благодарение богу, жизнь может распускаться пышным цветом и в мрачной каморке на каком-нибудь чердаке. Счастье любви, радости семейной жизни сопутствуют человеку и на задних дворах, как бы грязны эти дворы ни были. А все происходящее есть не более как смена декораций в нескончаемом мировом действе. Наконец, и мы сами остаемся неизменными во все времена и эпохи.

Уверенный тон, каким пастор произнес свой монолог, заставил Пера сострадательно улыбнуться. Он отлично понимал, что пастор заблуждается. Он достаточно наблюдал за ходом развития цивилизации, чтобы понять, что изменение внешней среды, порожаемое «грохотом машинных колес» на потребу человеку, постепенно изменяет и самое человеческую природу. Он рассказал пастору про ту отчаянную борьбу за существование, которую изо дня в день ведет население больших промышленных городов, про борьбу, которую он мог наблюдать на всем своем пути, и особенно в Берлине. Он рассказал о бродячей армии наемных рабочих — мужчин и женщин, для которых слова «домашний очаг», «семья», «обеспеченность», «уют», лишены всякого смысла, о людях, у которых где-то среди этого необозримого житейского моря есть какая-то конура, достаточная как раз для того, чтобы вместить спящего человека. Все остальное свободное от работы время они проводят на улице, в пивных или других заведениях того же рода, а кончают свою жизнь как безымянные тени, на больничной койке под номером таким-то.

Но пастор уже не слушал его. Он почувствовал, что разговор принял неблагоприятный для него оборот, и, как всегда, когда в споре ему случалось нарваться на человека, превосходящего его своей осведомленностью, он просто перестал внимать речам своего собеседника.

Немного помолчав, он остановился и сказал, что не хочет уводить Пера слишком далеко от дома, что они дошли как раз до границы прихода и что теперь им самое время попрощаться.

Расставаясь, пастор повторил свое приглашение навестить его.

— Там мы сможем продолжить наш разговор. А теперь вам надо поторапливаться к ужину. Вы, должно быть, уже заметили, сколь ревностно относится гофегермейстер к приему пищи, ха-ха-ха!

## Глава XX

За неделю, проведенную в Керсхольме, Пер не получал никаких вестей от Якобы. Хотя он каждый день писал ей, подробно докладывая о своем житье-бытье, она хранила молчание.

На то были свои причины. Как только Якоба получила первое письмо из Керсхольма, она поняла, что никогда больше не увидит Пера. Она спросила себя: не лучше ли будет для них обоих раз и навсегда порвать отношения? Она смертельно устала бороться с этой чужой, скрытой, загадочной силой, которая столько раз уводила от нее Пера, даже в те мгновения, когда, как ей казалось, он был крепко-накрепко прикован ее любовью.

Она даже не знала, удалось ли бы ей отвоевать его. На его собственную способность противостоять враждебной силе она давно уже не полагалась. Она видела Пера таким, как он есть. Ту сторону его существа, понять которую было в ее власти, она уже изучила досконально и не поддавалась больше на присущее любви стремление все приукрашивать и возвышать. При всем богатстве своей натуры, Пер оставался в ее глазах человеком, лишенным страсти, лишенным инстинкта самосохранения. Или, правильнее сказать, он взял у страсти лишь негативные, теневые стороны: упрямство, эгоизм, своенравие, отказавшись от глубины и силы чувства, от всепоглощающей тоски, от душевного жара, от пламени,



закаляющего и очищающего.

А коли так, стоит ли продолжать борьбу? В эти дни она не раз вспоминала, как Пер однажды полушутя сравнил себя со сказочным гномом, который надумал пожить среди людей, вылез на землю через кротовую норку, но не смог вынести солнечного света и юркнул обратно под землю. Теперь только ей стало ясно, что это сравнение было гораздо глубже, чем она думала или, вернее, хотела думать.

Да, он существо из совсем другого мира, где светит совсем другое солнце. При всем несходстве — истинном или мнимом — со своими современниками, при всей самобытности, он остается подлинным сыном своей страны, сыном датского народа с холодной кровью, пустыми глазами и робким сердцем. Все они — гномы, которые начинают чихать от одного лишь взгляда на солнце, которые оживают лишь с наступлением сумерек, когда взбираются на свой холмик, чтобы под напевы скрипки или перезвон церковных колоколов породить таинственную игру света на вечерних облаках над лугами, одетыми туманом, на радость и утешение смятенной душе человеческой... Карликовый народец — с большой головой мудреца и слабеньким тельцем ребенка... Ночной народец, который слышит, как растет трава и как вздыхают цветы, но с первым криком петуха снова заползает под землю.

Наконец, молчание Якобы начало беспокоить Пера. Он понимал, что она вправе сердиться на него за столь длительное отсутствие, для которого, кстати сказать, не было теперь никаких причин. Ей он объяснял, что поводом для задержки служат не улаженные до сих пор денежные дела. Каждое утро он давал себе слово переговорить с гофегермейстершей или ее мужем, но как только доходило до дела, он не знал с чего начать. Он много рассказывал супругам о своих планах, и они как будто проявляли к ним искренний интерес, но заикнуться о займе он все-таки не мог. Он боялся, что эта просьба заставит их насторожиться, так как они вряд ли способны понять те чувства, которые мешают ему брать деньги у тестя.

Поэтому он оставил вопрос открытым до отъезда, а самый отъезд откладывал со дня на день. Он даже чисто физически превосходно чувствовал себя в Керсхольме, а мысль о предстоящем путешествии в другую часть света вдвойне затрудняла разлуку с этими местами.

Почти весь день он проводил на свежем воздухе. Вокруг было много нового, занимательного и много давно знакомого, но по-новому интересного.

Он очень пристрастился к ужению рыбы и все время просиживал на реке с удочкой в руках — не столько ради рыбы, сколько ради удовольствия, которое доставляло ему это занятие. Ничем не нарушаемая тишина, успокоительное бульканье воды под лодкой, широкие ржаво-зеленые листья водорослей, тихо и легко трепетавшие в проточной струе, — зачарованный мир, непонятная, загадочная жизнь, словно погруженная в беспокойный сон. Пер часто вспоминал слова пастора Бломберга о глубине жизненной мудрости, разлитой в природе, и о том, что постичь ее можно, слушая простую песенку жаворонка. И действительно, в такие минуты он невольно чувствовал какую-то таинственную связь со всем сущим на земле. Это страстное слияние с природой оплодотворяло его ум. Живее работала фантазия, рождались новые идеи. Как будто первозданная сила жизни нежно к ласково изливалась золотым животворным дождем на буйную поросль мыслей.

Быть может, дело просто в том, думалось ему, что голоса природы приносят нам весть от непреходящего в нашем бытии. Целые народы могли вымереть и города рассыпаться в прах, а вода под лодкой журчит точно так же, как журчала она под челном первого обитателя земли, журчит и будет журчать до скончания века не только на земном шаре, но и на всех небесных телах, где есть вода и есть ухо, способное воспринять ее журчание. Поистине, голос природы уводит нашу мысль прямо к истокам жизни, к самой вечности.

Для Пера все это было чудесным духовным откровением. Он припомнил, что однажды уже испытывал подобное чувство. Это случилось тогда, когда он, путешествуя по Швейцарии, впервые увидел Альпы. Залитая солнцем белоснежная гряда высилась на горизонте, словно отблеск утра вселенной. Но тогда этот вид вызвал в нем какое-то

непонятное беспокойство. Он еще не открыл в себе «шестое чувство», которое роднит человека с глубинами вечности. Зато теперь, когда он неподвижно сидел в лодке и глядел на игру красноватых струй, всецело отдавшись власти быстротекущего мгновения, он переставал ощущать свое тело, и перед ним впервые открывался смысл таких слов, как «царствие небесное» и «блаженство». Словно душа его, отрешившись от всего земного, поднималась на самую высокую, самую чистую ступень бытия.

Сколь жалкими и ничтожными казались в такие минуты все человеческие заботы и устремления! Каким убогим и суетным выглядело все перед этим прекрасным чувством слияния с природой! И земная жизнь — иступленная погоня за «счастьем» — утрачивала всякий смысл, становилась вдруг какой-то поддельной и призрачной, — не жизнь, а игра бесплотных теней!

Пришло письмо от Ивэна: Якоба дала ему адрес Пера. В своем письме шурин сообщал, что с большим нетерпением ожидает его возвращения, ибо у него, вопреки всему, снова появились надежды на благоприятный исход дела. Адвокат Хасселагер и коммерсант Нэррехаве все время этим занимаются; а недовольство копенгагенским проектом принимает все больший размах, особенно в провинции. Далее Ивэн советовал Перу не упускать случая и сделать ряд докладов о своем проекте в наиболее крупных городах Ютландии. Это будет как нельзя более кстати, ибо, насколько удалось выяснить, таинственный инженер Стейнер тоже разъезжает сейчас по Ютландии и трезвонит о своем проекте в местных объединениях предпринимателей.

Письмо Ивэна, словно нож, вскрыло застарелый нарыв. Перу, наконец, стало ясно, что там, где речь идет о практическом осуществлении какой-нибудь идеи, он в первооткрыватели не годится. Скандал у Макса Бернарда не был случайностью. И стычка с полковником Бьеррегравом тоже весьма показательна в этом смысле. Чисто организационная сторона инженерной практики всегда была ему глубоко чужда. Он, Пер, — изобретатель, техник, — все что угодно, только не делец.

Вечером того же дня он отправил письмо Якобе, где подробно излагал свои взгляды на этот предмет. Одновременно он сообщал ей, что при существующих обстоятельствах считает наиболее благоразумным держаться подальше от Копенгагена, пока не истечет двухнедельный срок, необходимый для оформления всех документов к их предстоящей свадьбе.

«Что до моего комбинированного проекта по сооружению канала и гавани, то я лично с этим разделался, — писал он. — Предоставляю датской нации право использовать его по собственному усмотрению, я же все свои силы обращаю на решение очередной задачи — на дальнейшее совершенствование ветряных и водяных двигателей, что, кстати, рекомендовал мне и профессор Пфефферкорн и чему очень поможет предстоящая поездка в Америку. Быть может, ты, как и встарь, начнешь меня убеждать, будто столь непочтительное отношение к власти денег идет мне же во вред. Теперь это ничего не изменит. Признаюсь прямо, во мне нет должного тщеславия, или, правильнее сказать, честолубия, и потому я вряд ли смогу переломить себя в данном вопросе. Это недостаток, разумеется, но не такой уж страшный. Впрочем, я завтра же утром напишу твоему брату и официально передоверю ему защиту моих интересов во время моего отсутствия. Более надежного человека найти трудно!»

На этот раз Якоба ответила. Ни словом не касаясь причин столь долгого молчания, ни разу не упомянув о предстоящем бракосочетании и о подготовке к путешествию, она язвительно обрушивалась на решение, к которому пришел Пер в ходе своего «развития».

«Тебе, по твоим словам, недостает тщеславия, — писала она в конце письма. — Ты бьешь себя кулаком в грудь и возносишь хвалы создателю за то, что ты не похож на нас, грешных. Господи, да неужто и эти жалкие остатки нашей гордости внушают тебе недоверие? Я сама когда-то была очень воинственно настроена по этой части, но с годами я обрела необходимую трезвость. Вообще говоря, мой взгляд на людей становится все более и более старомодным. Взять хотя бы такие презренные вещи, как ордена и титулы, — теперь я начинаю понимать, как много значат подобные глупости для человеческого благополучия.

Поучительно бывает наблюдать, до чего деятельным становится вдруг какой-нибудь лоботряс, когда перед ним открывается возможность заработать орден Рыцарского креста. А датский народ еще не может позволить себе поступиться хоть одним из стимулов «наращивания силы» — выражение, к которому ты весьма часто прибегал в былые дни и которое мне тоже представляется теперь очень удачным. У нас в Сковбаккене служил однажды пьяница садовник. Так вот, когда у него появилась надежда — всего только слабая надежда — занять пост председателя в местном обществе трезвости, он перестал пить, чего нельзя было добиться ни угрозами, ни посулами. Из сказанного можно заключить, что столь презируемый порок, так тщеславие, может иногда содействовать нравственному совершенствованию. Будь я поэтом, я слагала бы оды в честь тщеславия. Будь я священнослужителем все равно с брыжжами или в сутане, — я исключила бы тщеславие из списка человеческих грехов: их там и без того предостаточно».

Пер несколько раз перечитал письмо, прежде чем смысл написанного дошел до него. Он не узнавал Якобу. Какой странный тон! И всего обиднее, что это случилось именно сейчас, когда он испытывает радостное облегчение, сумев наконец разобраться в себе самом, в тех чертах своей натуры, которые причинили и ему и окружающим так много горестей.

В первую минуту его охватило такое раздражение, что он решил немедленно сесть за ответное письмо и хорошенько отчитать Якобу. Потом одумался. Хотя религиозный пыл его уже поутих, следы нового умонастроения все же давали себя знать то в непривычной кротости, то в неустанном стремлении судить себя все более строгим судом. Случай с Якобой — наиболее яркий тому пример. Пер сказал себе, что по отношению к ней он должен быть особенно снисходительным. Он причинил ей слишком много зла, слишком часто бывал несправедлив, и теперь должен исправить содеянное. Надо только радоваться, что представился повод на деле доказать ей свою готовность принести искупительную жертву.

\* \* \*

Через несколько дней после того, как пастор и его дочь побывали в Керсхольме, гофегермейстерша предложила после обеда прогуляться до Бэструпа, с тем чтобы нанести пастору ответный визит. Большой охоты навещать пастора Пер не испытывал, но возражать не стал. Гофегермейстер тоже вызвался сопровождать их, но, когда подали экипаж, он вдруг передумал. На него опять нашел очередной приступ тупой меланхолии, и гофегермейстерша пускала в ход все свое искусство, чтобы хоть как-нибудь сгладить впечатление от злобных капризов мужа.

Беседы с управляющим своевременно подготовили Пера к причудам хозяина. И тем не менее он не понимал, как следует истолковывать косые взгляды гофегермейстера. Не значат ли они, что он, Пер, злоупотребил гостеприимством хозяев? Он воспользовался случаем и во время прогулки завел об этом разговор с гофегермейстершей. Но та напрямик заявила ему, что если он сейчас уедет, то оба они — она и ее муж — подумают, будто ему просто не понравилось в Керсхольме, и станут глубоко раскаиваться в том, что пригласили его к себе.

Пера очень обрадовала эта энергичная отповедь, ибо, помимо всего прочего, она давала ему законное оправдание в глазах Якобы.

От Керсхольма до Бэструпа было километров пять-шесть. Дорога круто взбиралась на холмы и покорно повторяла все изгибы старого русла. Погода была тихая, на небе кое-где громоздились облака, так что солнце не слепило глаза. С одной стороны открывался вид на зеленую долину и извилистую речушку, с другой — на разбросанные там и сям рощицы, над которыми кружились тучи ворон.

Потрясенная красотой пейзажа, баронесса вдруг стала читать стихи:

*Смотри, как птичья стая.  
Просторы покоряя.*

*Кружится в выси голубой  
И славу красоте земной  
Поет не умолкая.*

Вскоре они миновали маленькое селенье Боруп с церковью, которая считалась приходской церковью керсхольмских господ. Над Борупом тоже кружились тучи птиц, что свидетельствовало о редкостном плодородии почвы. Целые полчища воробьев суетились в дорожной пыли, стаи скворцов облепили верхушку деревьев.

Вдоль дороги выстроился ряд лачуг под соломенными крышами, являя взору вопиющую нищету. Позади них тянулись крестьянские дома, утопавшие в зелени старых яблоневых садов и с гнездом аиста на каждой крыше. Пер знал это село вдоль и поперек. Ежедневно он бывал здесь, когда ходил гулять, и порой останавливался поболтать с людьми. Он впервые так близко столкнулся с обитателями деревни, и его очень занимали их рассказы о своем житье-бытье. Крестьян, к его великому удивлению, ничуть не смущала мысль о том, что их усадьбы заложены и перезаложены. Они показывали ему свои владения с таким довольным видом, будто и думать забыли, что вся эта благодать, в сущности, давно уже им не принадлежит. А ведь многие из них имели предков, у которых на дне сундука была припрятана не одна тысяча серебряных талеров. Теперь же здесь говорили только о том, у кого сколько долгов.

Немного поодаль, на склоне, там, где опять начинались поля, притаилась за покосившимся забором еще одна усадьба. С дороги видны были только три закопченные трубы да верхушки деревьев. Здесь жил пастор Фьялтринг, уже немолодой человек, о котором в Керсхольме отзывались весьма презрительно. Гофегермейстерша прямо заявила, что если судить по образу жизни и поведению пастора, то он, мягко выражаясь, «не в своем уме».

Большинство местных жителей, как и керсхольмские господа, предпочли стать прихожанами пастора Бломберга.

Пер завел речь о Фьялтринге, ему казалось удивительным, как это они ни разу не встретили старика во время своих прогулок. Но гофегермейстерша отвечала, что тут нет ничего удивительного. Пастор Фьялтринг очень редко покидает свою нору до наступления сумерек. Он, как сова, боится света, это дух тьмы, и здесь его недолюбливают.

— Он что, недостаточно благочестив? — осторожно осведомился Пер. — Сколько мне помнится, я слышал, будто он, напротив, до крайности ортодоксален.

— Да, на кафедре-то он ортодоксален, а в душе — отступник и богохульник. Он сказал однажды кому-то из своих прихожан: «Я верую равно и в господа и в дьявола, не могу только решить, кто из них мне противнее». Вы слышали что-нибудь подобное?

— Как же такой человек может быть священнослужителем?

— Это-то и есть самое возмутительное. Впрочем, у него хватает ума вести свои мерзкие речи без посторонних свидетелей. А проповеди у него самые правверные, хотя и до безумия скучные и тривиальные.

Стоявшие у колодца женщины дружелюбно поклонились им. Гофегермейстерша, которая любила при всяком удобном случае подчеркнуть свою любовь к простому народу, велела кучеру остановиться и задала женщинам несколько вопросов об их детишках. Затем поехали дальше.

За селом дорога снова пошла под уклон, лошади затрусили веселой рысцой, и минут через десять — пятнадцать впереди показались дома Бэструпа, живописно разбросанные у подножья лесистого холма.

Все пасторское семейство собралось на поляне за садом, была устроена спортивная площадка для молодежи. Трое белокурых мальчуганов от десяти до шестнадцати лет, скинув куртки, играли в мяч. Пастор руководил игрой и кричал громче всех при каждом метком ударе. Тут же стояла его жена и держала за руку маленькую девчушку. Фрёкен Ингер, самая старшая из пасторских детей, сидела в сторонке у пруда, с раскрытой книгой на коленях.

Никто не слышал, как они подъехали. Гофегермейстерша не велела докладывать о себе, а вышла из экипажа и направилась прямо на поляну, чтобы устроить Бломбергам сюрприз.

Первой увидела их фрёкен Ингер. С радостным криком бросилась она на шею гофегермейстерше. Все семейство было приятно изумлено и очень сердечно встретило гостей.

Пастор похлопал Пера по плечу и сказал: «Добро пожаловать».

— А вы увлекаетесь спортом, господин инженер? — спросил он далее, сняв большую соломенную шляпу и утирая пот со лба носовым платком. — Великолепное занятие! В этом смысле мы, старики, многое упустили. А теперь я уже слишком стар, чтобы как следует заняться спортом. Приходится довольствоваться ролью зрителя. Но даже это действует очень благотворно. У меня словно крепнут мускулы, когда я смотрю, как резвится молодежь. Я уже не могу обходиться без такой зарядки.

И с бодрым смехом маленький человечек увел все общество в сад, величественно вышагивая впереди в белой полотняной блузе и брюках, которые едва доставали до щиколоток.

Все расселись, кто на скамейке, кто на стульях, в тени дома, у дверей террасы. Тут же накрыли стол, чтобы на лоне природы попить кофейку из сияющего медного кофейника да еще со сдобными булочками. Фрёкен Ингер очень грациозно хлопотала у стола. Пер про себя подумал, что, наверно, она и сама хорошо это создает.

Как часто бывает, когда женщины по-деревенски непринужденно соберутся поболтать за чашкой кофе, разговор вскоре перешел на всякие домашние дела. Даже пастор высказал несколько шуточных замечаний по поводу варки варенья и печения пирогов, пока его не позвали в дом: пришел какой-то человек, который хотел с ним поговорить.

Когда выяснилось, что сегодняшние булочки пекла самолично фрёкен Ингер, баронесса и гофегермейстерша рассыпались в похвалах, а пасторша, благосклонно выслушав похвалы, потрепала дочку по щеке и назвала ее умницей.

Девушка равнодушно принимала все эти излияния, а когда мать потрепала ее по щеке, даже слегка надулась. Пер подумал, что ее, должно быть, крайне избаловали. Но тем не менее она была очень и очень мила. Сегодня она показалась ему еще привлекательней, чем в первый раз, когда он видел ее в сумрачном керсхольмском парке. Теперь, при свете дня, в белом фартучке, за разливанием кофе, она ничуть не походила на неземное создание. И никакого сходства с Франциской не осталось.

Ради Пера гофегермейстерша несколько раз пыталась переменить тему и заводила речь о Копенгагене. Но Пер сегодня был не в ударе, а пасторша всякий раз с поспешностью, несколько даже демонстративной, возвращалась к домашним делам. Пасторша была высокая, стройная дама со следами аристократической утонченности. Нетрудно было догадаться, что внешностью дочка удалась в нее. К Перу она, в отличие от самого пастора, отнеслась крайне сдержанно. Не то чтобы она вела себя невежливо, но за все время она не сказала ему ни единого слова, и потому гофегермейстерша, желая сгладить неприятное впечатление, всячески пыталась втянуть его в разговор.

Потом, по предложению хозяйки, все встали, чтобы осмотреть большой ухоженный сад. Пер тоже встал, хотя охотнее всего остался бы на месте. Ему было не по себе в этом обществе и не терпелось вернуться домой.

Три дамы завели оживленный разговор. Пер шел следом за ними с фрёкен Ингер и не мог придумать, о чем ему говорить. Обычно такой красноречивый, он не умел найти правильный тон в беседе с этой провинциальной барышней. Она же, напротив, держалась у себя дома гораздо свободнее. Она как будто стала здесь старше и больше походила на взрослую даму. И в этом новом качестве она, судя по всему, считала себя обязанной поддерживать светскую беседу, что и делала с большим достоинством.

— Вы, верно, часто бываете в Керсхольме? — сказал Пер, чтобы хоть что-нибудь сказать.

— Гораздо реже, чем мне хотелось бы. Но до Керсхольма довольно далеко, а коляска



не всегда в моем распоряжении.

— Вы очень привязаны к гофегермейстерше?

— Да, — отрезала Ингер.

Вероятно, тема казалась ей неподходящей для обсуждения с малознакомым человеком.

— Вы как-будто познакомились с гофегермейстершей в Италии? — переменяла она разговор.

— Да, в Италии.

— Интересно, должно быть, так попутешествовать, — заметила она и рассказала, что тоже давно собирается вместе с родителями в Швейцарию. Но у отца вечно нет времени; прихожане не могут надолго оставаться без него. Его еле-еле отпустили на недельку в Копенгаген.

Пер заметил, что она словно становится выше ростом, когда говорит об отце. Это напомнило Перу его собственную сестру Сигне, и сам не зная почему, он улыбнулся.

На высоте человеческого роста он вдруг увидел железный крюк красного цвета, прибитый к стволу растущего у тропинки дерева.

— Это для чего? Чтобы вешаться? — Пер остановился возле крюка и начал его рассматривать.

Фрёкен Ингер против воли рассмеялась и показала железное кольцо, которое на длинной бечевке свисало с дерева по другую сторону тропинки. Оказалось, что есть такая игра. Смысл ее заключается в том, чтобы набросить кольцо на крюк.

Перу захотелось попробовать свои силы. «Так хоть время убьешь», — подумал он про себя.

Но ему не повезло.

— Тут нужна практика, — сказал он после нескольких неудачных попыток и попросил фрёкен Ингер показать, как надо браться за дело. — Вы ведь наверняка великий специалист.

Ингер замялась, но искушение блеснуть было слишком велико. Кольцо, брошенное ее рукой, описало красивую дугу и, плавно скользя вниз, достигло цели, — так молодая девушка, играя в горелки, мчитя прямо в объятия своего возлюбленного.

Перу игра очень понравилась. Он решил снова попытать счастья. Но у него опять ничего не вышло.

— Нет, не получается. Покажите еще раз, — сказал он и протянул ей кольцо.

Ингер снова поддалась на его уговоры, хотя она уже несколько раз бросала выразительные взгляды в сторону дам, ушедших тем временем довольно далеко. Это ли ее смутило или тут была другая причина, но только на сей раз выдержка ей изменила. Бросок — и мимо. Ингер покраснела, долго прицеливалась и снова метнула кольцо. И снова промахнулась.

Видя, как близко к сердцу она приняла свою неудачу, Пер не осмелился открыто торжествовать. Даже когда она промахнулась в четвертый, а потом и в пятый раз, он ничего не сказал.

Хотя Ингер восприняла эту снисходительность как новое унижение, Пер все-таки завоевал своим молчанием какой-то уголок в ее сердце. И поскольку кольцо все так же продолжало лететь мимо цели, Ингер под конец рассмеялась, обозвала себя неуклюжей душой и пришла в еще больший азарт.

В это время вернулись дамы. Ни Пер, ни Ингер не слышали, как они подошли и остановились у них за спиной.

— Ингер, — довольно нелюбезно окликнула ее пасторша. — Ступай посмотри, как там малыши, — и, обращаясь к остальным, добавила — А нам, пожалуй, пора пройти в комнаты.

В дверях их встретил пастор Бломберг с трубкой в зубах.

— А, господин инженер! Я как раз собрался вас разыскивать. Вы небось соскучились без курева. Пошли ко мне. Там мы не будем смущать дам всякими премудростями, — сказал он и, резво повернувшись, залился веселым смехом.

Чтобы попасть в кабинет Бломберга, им пришлось пройти через весь дом, и Пер успел

по достоинству оценить солидный уют, царивший здесь. Перед ним было настоящее жилье датского пастора, символ незыблемости и постоянства. Тяжелая, громоздкая мебель красного дерева, сработанная на веки вечные, темными глыбами высилась у стен. Фру Бломберг происходила из весьма состоятельной чиновничьей семьи. У нее даже был в роду один камергер, начальник целого округа, и при каждом удобном случае она любила вспоминать об этом обстоятельстве. Что до родословной самого пастора Бломберга, то о ней здесь говорили неохотно, и сам пастор меньше всех. Прихожане знали только, что отец Бломберга учительствовал где-то в глухой провинции, да и по выговору пастора можно было догадаться, что он родом с островов.

Комната пастора находилась на другом конце дома, это был настоящий кабинет «богослова-мыслителя». Вдоль стен тянулись набитые книгами шкафы, которые немало способствуют усилению авторитета церкви среди простого народа, хотя по большей части они служат лишь для прикрытия самого вопиющего невежества.

Но здесь дело обстояло иначе. Конечно, пастора Бломберга нельзя было назвать человеком ученым, но читал он много и питал к книжной премудрости куда больше пристрастия, чем сам в том сознавался. Он считал для себя делом чести следить за всеми новыми веяниями, но усваивал из них только то, что могло обогатить его ум, не поколебав веры. Тут в нем было что-то от иезуита. Как и все церковное направление, к которому он принадлежал, Бломберг тайно вкушал плоды современной науки, но считал своим долгом открыто чернить ее в глазах прихожан. Впрочем, логически ясный и последовательный строй мышления был чужд ему. Это был человек чувства, и, поскольку обстоятельства его жизни складывались на редкость гармонично, он не имел повода судить себя более строгим судом. В молодости, правда, ему докучали низменные заботы о хлебе насущном, затем он получил несколько чувствительных щелчков при продвижении по служебной лестнице, и до сих пор — хотя прихожане просто молились на него и он приобрел широкую известность — Бломберга грызло неудовлетворенное честолюбие. Но более серьезным испытаниям жизнь его не подвергала, а неприятности, непосредственно его не касавшиеся, с легкостью отскакивали от него благодаря счастливому складу его натуры.

Именно это невозмутимое благодушие и создало ему славу среди верующих датчан, переживавших сейчас смутное время. Та буря, та божья гроза, которую новейшая критика библии подняла во многих умах, совсем его не коснулась; он так мало разделял все страхи и тревоги, с какими сторонники религии вели борьбу против науки, что считал это болезненным явлением, а то и просто притворством. Его собственной религией было христианство, применяющееся к обстановке, христианство, доверяющее лишь голосу сердца да народной мудрости; своим кредо он избрал поэзию настроения и привнес в нее столько свежести, что у людей порой захватывало дух.

Не успел Пер усесться на диван и закурить сигару, как пастор, пристроившись в кресле у окна, разразился целым потоком слов. Он рассказал несколько занимательных историй о своих прихожанах, и Перу, как и в прошлый раз, польстила искренность и прямота пастора; тот говорил с ним, будто со своим ровесником.

Пер был бы куда меньше польщен, если бы знал, что пастор вел себя так по уговору с гофегермейстершей: обуреваемая миссионерским пылом, она обратила внимание на Пера как на человека, который «не глух к голосу религии». И потому, не теряя времени даром, пастор снова вернулся к их первому разговору, ибо в прошлый раз его не удалось довести до конца из-за недостаточной подготовленности одной стороны.

Сегодня пастор был во всеоружии. Для начала он спросил, как могло случиться, что Пер в столь юном возрасте взялся за выполнение столь практических и утилитарных задач, вроде улучшения экономических условий страны. Пер охотно рассказал, что помнит у себя тягу к этим вопросам еще с раннего детства, что возникла она после войны и продиктована прежде всего впечатлениями, вынесенными из родительского дома. Далее, занявшись серьезным изучением этих вопросов, он детально ознакомился с развитием промышленности и транспорта в других странах, а уж тут сравнения напрашивались сами собой.

— Да, конечно, — сказал пастор. — Сравнение между маленькой родиной и чудесами большого мира часто печалит нас в молодости. Думаю, впрочем, что и труды Натана тоже сыграли здесь свою роль, как уже сыграли для великого множества людей, увлеченных прогрессом. Разве я не прав?

Пер пытался возразить. Ведь Натан — чистейшей воды эстет. Эта фигура завершает определенный период в развитии цивилизации, и если его можно причислить к творцам нового времени, но только в том смысле, что он подготовил для него почву. Но понять новое время он не может.

— Ах, вот вы как думаете? Гм, гм! — Пастор усиленно задымил своей трубкой и умолк. То, что учение Натана можно считать уже пройденным этапом, явилось для него полной неожиданностью и сбilo его с толку. И хотя ему очень бы хотелось поговорить об этом, он счел за благо не вдаваться в подробности, опасаясь новых неожиданностей.

— Значит, вы все же признаете, что Натан имел огромное влияние на развитие современной молодежи? — продолжал пастор, в соответствии с заранее намеченным планом беседы. — Меня, с моей стороны, больше всего, разумеется, занимает религиозная сторона дела. Так, например, я думаю, что даже вы несколько отошли от церкви, хотя вы и сын пастора, и что Натан в известной мере несет ответственность за это.

Пер не стал спорить, однако повторил, что труды Натана только подкрепили те взгляды, которые начали у него складываться еще в родительском доме.

— Подумать только! Неужели вы так рано отбились от божьего стада?

— Вот именно! — вызывающе сказал Пер.

Пастор скорбно покачал головой.

— Ах, ах! Тем хуже, тем хуже. Как я уже говорил вам при первой встрече, я не знал лично вашего покойного батюшку, но мне известно, что у него был несколько узкий и односторонний взгляд на многие жизненные явления, как у всякого лютеранина старого закала. Ох, уж эта мне ложно понятая правоверность! Тяжким кошмаром нависла она над церковью и жильем человеческим; множество молодых умов, пылких и прекрасных, лишилось из-за нее духовного приюта. Когда человек, подобный Натану, человек одаренный и красноречивый, своими книгами убеждает молодежь в том, что церковь божья есть храм обветшалый, дело неизбежно кончается полным отрицанием и ниспровержением всего сущего. Ах, как мне это понятно!

Пер не отвечал. Ему не совсем нравилось направление, которое принял разговор. Но тут пастор опять заговорил о Натане — и на сей раз очень почтительно. Он сожалел лишь, что такой талантливый, такой образованный человек занял резко враждебную позицию по отношению к христианству, и добавил, что в этом немало повинны крайние проявления фанатизма и здесь, и за границей.

— Впрочем, — продолжал пастор, — Натан и сам не без греха, он и сам несет часть вины за ошибочный взгляд на величайшую духовную силу из всех, какие знал мир. Так бывает со всяким, кто пытается критиковать христианство с научных позиций: они сами не могут избавиться от односторонности и, отрицая, скатываются к догматизму. Беда их не столько в том, что они признают главенство ума, сколько в том, что ни один из своих постулатов они не домысливают до логического конца. Когда, — к примеру, современная наука провозглашает себя натуралистической, или, другими словами, признает реально существующим лишь то, что поддается расщеплению на отдельные атомы, обладающие известными физическими или химическими свойствами, то тем самым она дает крайне неполное представление о природе и прячется за школярской терминологией, ничего никому не объясняющей. Мы, поистине живущие среди природы и с природой, никак не можем принять этот узкий образ мыслей. Ибо мы знаем и неоднократно убеждались на собственном опыте, что у природы есть своя душа, что за видимыми предметами и механическими силами, воздействующими на наши чувства, скрывается дух природы, который говорит так много нашему сердцу. И когда ухо наше научилось воспринимать голос природы, мы уже ничего, кроме него, не слышим, он доходит до нас и в грозном реве бури, и в легком

дуновении ветерка. Причем, мы не просто слышим голос природы, мы даже начинаем понимать ее язык. Ибо устами природы говорит дух вечности, который жив и в нас самих. Когда мы гуляем по лесу и ловим чутким ухом шелест листвы над головой или внимаем журчанию ручейка, пусть тогда новейшие исследователи дадут нам научное толкование этих звуков, пусть объясняют их распространением звуковых волн или падением капель воды под воздействием силы тяжести, — пусть их; но если они при этом будут думать, что тем самым хоть что-нибудь объяснили нам, мы скажем в ответ: «Нет, погоди, любезнейший! В твоём объяснении кое-чего не хватает. Не хватает главного. Все твои вычисления не могут объяснить непередаваемую задушевность, почти сестринскую ласку, какая слышится нам в лепете журчащей струи, когда мы одиноки». Ведь нас не пугает, когда такие с виду неодушевленные предметы вдруг обретают свой язык; и не оскорбляет, если веселый родничок, вдруг став фамильярным, обращается к нам на «ты». Напротив, в чувстве единения с природой есть что-то успокоительное и близкое. Но не служит ли сказанное лучшим доказательством того, что за всем разнообразием видимого мира скрывается нечто единое, некое общее начало вещей и явлений? И что прекрасное мечтательное чувство, которое в такие минуты овладевает нами, есть лишь тоска по родине? А ежели все тот же ученый физик попытается разъять это чувство и обозначить его как совокупность механических или химических сил, как эдакое проявление первичной материи, я снова скажу ему: «Брось свои книги, оставь свою лабораторию и черпай мудрость в живой природе!» Пусть и он послушает, как журчит ручеек в лесу. Пусть он сходит туда как-нибудь вечером, когда у него будет невесело на сердце, — и, если живые чувства в нем еще не совсем заглохли, он увидит в песне ручейка открытый путь к глубинам бесконечности, лесенку, которая связывает настоящее с вечным, бездушный прах с нетленным духом, смерть с обновлением. Он поймет, что еще не перерезана пуповина между ним и творцом всего сущего, что именно через нее в минуты раздумий, в часы молитвы притекает к нам животворная сила от вечного источника жизни, который мы, христиане, называем нашим богом и хранителем, отцом нашим милосердным.

Пер не проронил ни слова. Его начал раздражать чересчур уж нравоучительный тон пастора, но он не нашелся, что возразить, да к тому же кое в чем пастор лишь ясно выразил его, Пера, собственные и до сих пор неясные чувства — результат обновленной близости к природе.

Тем временем Бломберг продолжал:

— Но то, что справедливо по отношению к духу природы, справедливо и по отношению к духу истории — другому могучему источнику нашего познания. История также поддерживает в истинном христианине надежду и веру, если только он, подобно некоторым архивным крысам, не увязает в мелочах и не теряет за ними перспективу. Даже та пресловутая критика, которой подверглись древние труды отцов церкви с точки зрения исторической и чисто языковой, даже эта критика, кажущаяся на первый взгляд такой уничижительной, лишь укрепила веру в людях, в тех, кто за учением видит жизнь и за буквой — дух. А если в церковь таким путем проникнет больше света и воздуха — ну что ж, тем лучше для церкви; весна именно так и начинается. Вся эта догматическая схема есть лишь внешность, лишь оболочка, если она лопнет, под ней откроется истинное ядро веры. И так во всем. Нам, христианам, нечего бояться науки; более того, можно смело предсказать, что именно с этой стороны придет к нам поддержка в борьбе за истину. Иначе и быть не должно. Куда ни глянь... взять хотя бы недавно доказанную физиками теорию о том, что в природе ничто, ни один атом не исчезает бесследно (хотя очень часто мы готовы подумать обратное), а просто переходит в другое состояние. Приведу пример. В поле горит костер. Нам кажется, будто целая куча хвороста обращается в ничто и от нее остается лишь горстка золы. На деле же все происходит совсем иначе. Просто с помощью огня топливо принимает другую форму, невидимую для человеческого глаза. Но не есть ли это лучшее подтверждение христианской веры в бессмертие души? Возьмем другой пример — новейшую теорию наследственности. Вспомним утверждение врачей о том, что

определенные болезни передаются из рода в род, и сравним это со словами писания: «Наказывать детей за вину отцов до третьего и четвертого колена». Еще один пример, из области экономических и политических наук. Обратимся к девизу социал-демократической партии: свобода, равенство и братство! Но ведь то же гласят и первые законы христианского общества, непогрешимость которых лишней раз подтверждается здесь наукой. Всюду, где ведутся серьезные изыскания, мы заново открываем истины, которым уже тысячи лет тому назад поклонялись верующие. Не дает ли нам это право говорить о божественном провидении? И будет ли преувеличением сказать, что чада Христовы сидели как избранные у ног господина и своим детским разумом легко постигали премудрость, до которой величайшие умы нашего времени добрались только с большим трудом, после множества поисков и роковых ошибок?

Пастор хотел продолжать свою речь, но за дверью послышались шаги, в комнату заглянула Ингер и сообщила, что баронесса с гофегермейстершей собираются домой.

— Ну-с, тогда на сегодня хватит, — сказал пастор и встал с кресла. Положив руку на плечо Пера, он доверительно добавил: — Наша беседа доставила мне истинное наслаждение. Надеюсь, нам еще удастся продолжить ее. Наши взгляды, как мне теперь кажется, не столь уж различны, чтобы нам нельзя было найти общий язык.

Но едва лишь они вошли в гостиную, где их ожидали дамы, к дому подъехала чья-то коляска.

— А, это советник, — сообщила стоявшая у окна Ингер. — С ним Лиза и Герда.

Советник юстиции Клаусен, управляющий графским имением, что находилось неподалеку от Бэструпа, был одним из самых рьяных поклонников Бломберга во всей округе и, вдобавок, одним из близких приятелей гофегермейстерши. Поэтому, когда выяснилось, что советник и его семейство намерены провести у Бломберга весь вечер, баронесса и гофегермейстерша поддались на уговоры и решили отложить свой отъезд. Пера тоже просили остаться, и он не рискнул возражать, хотя предпочел бы уехать немедленно. Его слишком взволновала беседа с пастором. Правда, пастор, по сути дела, не сказал ничего нового, но самый тон его, преданность идее и присущий ему душевный жар глубоко взволновали Пера и пробудили в нем былые сомнения.

Советник оказался щупленьким человечком с большими бакенбардами и в золотых очках, зато супруга его, напротив, представляла собой огромную тушу; она продолжала пыхтеть и сопеть чуть не целый час после того, как они вошли в дом и уселись. А дочери были молоденькие девушки, приблизительно одних лет с Ингер.

Ужинали в саду. За столом велась оживленная беседа. Зашла речь и о пасторе Фьялтринге. Советник привез новую — совсем уж из ряда вон! — историю об этом отступнике и богохульнике в облачении священнослужителя. Мало того что он ведет постыднейший образ жизни со спившейся женщиной, у него и характер, как все говорят, такой неустойчивый и слабый, что он даже сам не может разобраться, во что же он, собственно, верит.

— И вот один из чрезвычайно достойных молодых людей, сторонников пастора Бломберга, — продолжал советник, — недавно обратился к Фьялтрингу за каким-то делом, они разговорились, и Фьялтринг посоветовал ему предаваться всякого рода излишествами. «Вам надо побольше грешить, — прямо так и отрезал. — А если вы будете жить, как теперь, вам никогда не стать убежденным христианином».

Возмущенные дамы заохали и заохали, а пастор Бломберг кротко покачал головой и сказал:

— Он просто очень несчастный человек.

Но тут ударил колокол на белой колокольне, которая виднелась за садом в красном отблеске вечерней зари. Оглушительный звук испугал гостей, не привыкших слышать колокол так близко. Пастор Бломберг, явно не желавший говорить далее о Фьялтринге, рассмеялся и сказал, что колокольный звон тоже, в сущности, вещь довольно безответственная и что комиссии по здравоохранению следовало бы запретить его.



На это гофегермейстерша возразила, что на расстоянии вечерний звон звучит очень красиво и служит возвышенным целям, что он словно призывает нас привести в порядок свои мысли после дневной суеты. Но пастор не терпел возражений, особенно со стороны своих приверженцев. Хотя он сказал насчет колоколов просто так, для красного словца, коим в подражание Лютеру любил уснащать свою речь, он дал настоящую отповедь гофегермейстерше.

Ему-де не нужны подобные напоминания. Становиться на молитву по команде слуга покорный! В этом есть что-то католическое, что-то глубоко ему антипатичное. Как будто у бога есть приемные часы, словно у врача или адвоката. А что до всякой символики, то это звучит немного по-детски, когда, например, солнце называют золотыми часами господа бога. Это, если хотите знать, почти кощунство.

Желая просто отчитать гофегермейстершу, пастор разразился целой речью, в ходе которой незначительный вопрос вырос в проблему мирового масштаба, в проблему правильного отношения человека к богу.

А ужин тем временем подходил к концу. Девушки встали из-за стола и разбрелись по саду. Обе барышни Клаусен были хорошенькие, свеженькие брюнетки, особенно старшая — настоящая дочь Евы с задорными, сверкающими глазами.

Когда со стола убрали, Бломберг предложил спеть. Позвали из сада девушек, а пасторша прошла на террасу, к роялю.

*Покой и тишь царят в полях,  
И вечер настает.*

Из сада донесся шелест. В орешнике завел свою песню дрозд, голос природы смешался с нестройным пением людей.

*Смеется месяц в облаках,  
Звезда звезду зовет.*

Девушки в светлых платьях расположились на ступеньках террасы; задорно звенели их чистые, высокие голоса, а пастор и советник вторили басом. Советник скрестил руки на груди, нахмурил брови и разевал рот, как рыба. Дамы сидели за столом и вразнобой подпевали, изрядно фальшивя. Зато пасторша, у которой оказался сильный, хорошо поставленный голос, взяла на себя ведущую партию.

*И заключил простор морской  
В объятья небосвод.*

И только Пер даже не подтягивал, хотя вряд ли кто из поющих испытывал такое глубокое волнение, как он. Он вспомнил, при каких обстоятельствах слышал эту песню в последний раз. Он стоял за живой изгородью чужого сада и очень хотел туда войти. Теперь он, так сказать, проник за изгородь, но по-прежнему чувствует себя незванным гостем. Вечная история. Всюду, где царит дух сидениусовского дома, он будет чувствовать себя изгоем и отщепенцем.

Допели до конца, пастор молитвенно сложил руки и прочитал «Отче наш», затем спели еще несколько песен, и, наконец, к дому подали экипажи.

Когда все разъехались, пастор раскурил свою трубку, усеялся с женой на террасе и завел разговор об их сегодняшних гостях. Тут же была Ингер. Она уже пожелала отцу и матери покойной ночи и собиралась идти спать, но, заслышав имя Пера, сделала вид, будто роется в нотах.

Пастор Бломберг с большим почтением отозвался о Пера и о его способностях, весьма решительно похвалил он и внешность Пера; но тут пасторша вдруг забеспокоилась:

— Что ты здесь делаешь, детка?.. Тебе пора спать.

На обратном пути Пер всю дорогу молчал, и гофегермейстерша, разгадав причину этого молчания, не стала его тормозить и заговорила с сестрой о домашних делах.

За Борупом им повстречался высокий худой человек, шагавший по обочине дороги. Пер его не заметил, но гофегермейстерша схватила сестру за руку:

— Смотри, вот пастор Фьялтринг!

Пер выглянул из экипажа и различил в темноте очертания высокой фигуры.

— Это и есть безумный пастор? — спросил он.

— Да, сейчас как раз его время. Говорят, что иногда он всю ночь напролет разгуливает по проселку.

Пер снова погрузился в молчание. Вспоминая одинокого, не знающего покоя человека на обочине дороги, он вдруг похолодел от ужаса. Зловещие слова библейского проклятия: «Изгнанником и скитальцем будешь ты на земле», властный голос отца снова зазвучал в ушах. И ему почудилось, что он заглянул в собственное будущее.

\* \* \*

На другое утро Пер решил, наконец, серьезно заняться книгами, которыми снабдила его гофегермейстерша. Выбрал он для начала сборник проповедей пастора Бломберга «Путь к господу» и, несмотря на сильный ветер, отправился с книгой в лес. В лесу отыскал свое любимое местечко на опушке и расположился так, чтобы деревья за спиной защищали его от ветра, а впереди открывался вид на реку и луга и на крутой противоположный берег, поросший кустарником.

Обстановка как нельзя больше подходила для чтения выбранной книги. В проповедях пастора Бломберга многое напоминало о таком вот истинно датском летнем пейзаже: прохладный день с чистым воздухом, синим небом, с подсвеченными солнцем облаками, с птичьим пением, в которое вплетается изредка мычание заблудившегося тельца, а кругом — буйная зелень, мягкие, нерезкие линии, и простор, и ровный, однообразный горизонт. В проповедях своих пастор Бломберг искусно пользовался и литературной, и народной речью. В этом смысле он целиком принадлежал к тому церковному направлению, которое было возвращено на грундтвиgianских псалмах и потому никогда не утрачивало поэтического характера.

Но больше всего привлекала Пера вовсе не манера изложения. Красоты образной речи не волновали его, привыкшего к чеканному языку математики и общественных наук. За красивыми словами он всегда искал точных доказательств, прослеживал развитие мысли, чтобы постичь, наконец, великое таинство жизни, ибо в последнее время оно представлялось ему до ужаса туманно и расплывчато.

Две беседы с пастором дали Перу представление о христианстве Бломберга, совсем непохожем на ту веру, в которой взрастили его самого. Он сейчас только начал понимать, как далеко ушли даже сами церковники от мрачной ортодоксальности прошлого, от религии правоверных, которые предавали проклятию человеческую плоть и распинали на кресте человеческий разум, которые подвергали душу средневековым пыткам и оставляли ей в утешение лишь туманную мечту о райском блаженстве. Нет, в новой религии не было ничего, что могло бы отпугнуть мысль или возмутить сердце, ничего сокрытого в облаках размышлений или неясных предчувствий. И, прежде всего, здесь не приходилось преодолевать никаких противоречий. Тайна бытия оказывалась на поверку простой и ясной. Все было на своем месте, все вытекало одно из другого, и главное — все было чудесным образом приспособлено к запросам и потребностям самого человека. Дьявола преспокойно забросили подальше в чулан, как плод больной фантазии монахов. Учение о вечном проклятии и первородном грехе объявили учением варварским и отвратительным, ибо оно противоречило христианскому представлению о боге как о всеблагом отце. О потустороннем

старались говорить по возможности мало. А самое главное, по этому учению человеку надлежало мирно и благочестиво идти предначертанным путем, сохраняя детскую веру в милосердие отца небесного.

Все это прозвучало для Пера радостным откровением. Пришлось согласиться, что гофегермейстерша совершенно справедливо утверждала, будто не знает ничего более успокоительного, нежели проповеди Бломберга. Гнетущая тяжесть, завладевшая им со вчерашнего вечера и не покидавшая его даже во сне, теперь исчезла.

Наконец он закрыл книгу, подложил руки под голову и погрузился в созерцание лугов и полей. Он испытывал сейчас чувство человека, которого еще недавно тревожила мысль о предстоящем ему трудном и опасном ночном путешествии по бурному морю в неизвестную страну. И вот человек просыпается утром и видит, что путешествие окончено, что буря улеглась и берега чужой страны приветливо встают перед ним в солнечном свете и в зелени лесов. Пер признался себе, что если последнее время он противился приближению нравственного кризиса, то делал это не столько из страха перед возможными угрызениями совести, сколько из опасения попасть после такого душевного переворота в новые, непривычные условия. Теперь он совершенно успокоился. Ибо здесь от человека прежде всего требовали того строгого и последовательного самосовершенствования, в котором Пер уже давно упражнялся по доброй воле.

За завтраком гофегермейстерша рассказала ему, что в лесу состоится большое народное гулянье и пастор Бломберг произнесет проповедь. Она сговорилась с юстиции советником и с пасторским семейством встретиться там. Баронесса, надо думать, тоже поедет. Так вот, не хочет ли он, Пер, составить им компанию.

Пер ответил, что с удовольствием послушает пастора Бломберга, и это соответствовало истине. О том, что ему будет приятно увидеть девушек, он промолчал, кстати, он и сам лишь сейчас это сообразил. Со вчерашнего вечера он не вспоминал про них, да и вчера как будто совсем ими не занимался. Но, неведомо для себя, он все время о них думал. Как глаза его, независимо от его воли, пристально следили за тремя стройными фигурками в светлых платьях, когда те, взявшись за руки, бродили по зеленой лужайке, так и душа его где-то в самых своих тайниках живо хранили эту картину, хотя занят он был, казалось, только самим собой.

В четыре часа к дому подали ландо, и после небольшой проволочки — баронесса, по обыкновению, никак не могла кончить сборы — отправились в путь. В последнюю минуту гофегермейстер тоже решил ехать с ними, и по пути он всячески старался вытравить из памяти присутствующих все свои прегрешения за последние дни.

Приблизительно через час они прибыли к месту гулянья — на лужайку в глубокой, укрытой от ветра лощине. Несколько сот крестьян — мужчин и женщин — собралось перед разукрашенной флагами трибуной. Они уже начали петь псалмы. Появление знатных господ вызвало у присутствующих живой интерес, к которому, однако, не примешивалось ни малейшей почтительности, скорей даже напротив: когда долговязый гофегермейстер, в охотничьей куртке и в шляпе с тетеревиным пером, провел своих дам к расставленным перед трибуной стульям для избранных прихожан, там и сям раздались смешки.

Пер чуть поотстал от своих спутников. Его несколько смутил вид большой толпы, да и не хотелось забираться в самую гущу. Еще издали он увидел советника: тот приветливо кивал вновь прибывшим. Там же по соседству он обнаружил коричневую фетровую шляпу Бломберга и надменно вскинутую голову пасторши. А вот Ингер и ее подружек он отыскал не сразу. Только заметив, как гофегермейстерша с кем-то раскланялась, он последил за направлением ее взгляда и увидел на опушке три девичьи фигурки в летних платьицах.

Но вот пение смолкло, и на трибуну поднялся пастор Бломберг.

Он начал с восхваления родного языка, сказал, что это язык самого сердца, в противовес иностранным, которые могут служить лишь средством общения, но не более того. Если уподобить родной язык материнской груди, питающей наш ум, то можно смело сказать, что с молоком матери мы всасываем самое душу нации. В языке народа

сосредоточены все сокровища народного духа, накопленные отцами и праотцами нашими, они дошли до нас через множество поколений и воспитывают нас по образу и подобию наших предков. Потому-то мы должны чтить родной язык и хранить его в неприкосновенности. Подобно тому как мы огораживаем родник, из коего утоляем телесную жажду, дабы ничто не замутило его, так — и даже в еще большей степени — должны мы блюсти чистоту родника, питающего наш дух, блюсти чистоту слова. Но если мы прислушаемся к повседневной народной речи, мы увидим, что она крайне засорена, что в ней очень много скверны, причем речь сельского жителя окажется вряд ли многим лучше, чем речь горожанина. Стоит ему только раскрыть рот, как оттуда сразу начинают сыпаться двусмысленности и грязные намеки, подобно тому как в известной сказке из рта принцессы выпалились жабы. И тут перед нами стоит большая, быть может даже величайшая, задача нашего времени. Прежде всего он, пастор, взывает к молодежи, ведь у нее еще не так глубоко укоренилась пагубная привычка к сквернословию. Надо создать целое движение, которое привьет народу вкус к, так сказать, гигиене души, ибо она важна для человека не меньше — если не больше, — чем забота о теле и его запросах. Все лучшие силы народа должны объединиться, чтобы спасти молодежь от растления словом, кое денно и ночью грозит ей.

Сначала Пер слушал весьма прилежно, потом, когда тон пастора сделался слишком уж назидательным, внимание его отвлеклось. Сыграло свою роль и присутствие молодых девушек, и вообще новизна всего происходящего. Перу еще не доводилось бывать на народных собраниях, и потому слушатели занимали его ничуть не меньше, чем оратор. Он разглядывал тесные ряды крепко сбитых фигур. Все лица выражали живейшее внимание, искренний интерес, и тут только Пер осознал, с каким духовным движением свела его судьба.

Он неоднократно слышал разговоры о грундтвигианском возрождении с его идеей культуры глубоко народной и национальной, в противовес международному характеру науки, но, поскольку само понятие «крестьянин» казалось ему устаревшим, он считал излишней тратой времени ближе знакомиться с грундтвигианством, несмотря на весь размах этого движения. В столичных кругах, где ему приходилось вращаться, о грундтвигианстве тоже говорилось обычно со снисходительной усмешкой.

Пер невольно сравнил датских крестьян с крестьянами австрийскими и итальянскими, которых он немало повидал во время своего путешествия, и пришел к выводу, что ему нечего стыдиться своих соотечественников. Как не похожи эти пытливые, искренне заинтересованные слушатели на толпу заспанных тирольских крестьян, которых по воскресеньям священники гонят, словно стадо баранов, через весь Дрезак на молитву. Да и с прежними датскими крестьянами, которых он помнит со времен своего детства, когда они по базарным дням наезжали в город, теперешних нельзя даже ставить рядом. Здесь чувствуется несомненное развитие, так сказать духовное раскрепощение, шедшее бок о бок с его собственным развитием и приведшее к таким счастливым результатам.

Тут только он понял то удивительное спокойствие, какое сохраняли эти крестьяне, невзирая на все растущее бремя многочисленных закладных. Взамен материальных ценностей они получили ценности духовные, неизмеримо более высокие. А из стремления идти наперекор духу времени и утвердить себя как ведущую силу нации возникло тесное единение, чувство общности, которое и делало их сильными и независимыми.

Когда пастор Бломберг закончил проповедь и собравшиеся пропели еще несколько псалмов, на трибуну поднялся распорядитель праздника, белокурый крестьянский парень, и с улыбкой объявил получасовой перерыв на обед, после чего выступит заведующий школой, Броагер.

Крестьяне разбрелись по лужайке. Те, кому пришлось стоять во время доклада, сели на траву.

Пер подошел к Ингер и ее подружкам. Девушки хотели было присоединиться к остальным, но Пер предложил им погулять во время перерыва по лесу. Обе барышни

Клаусен тотчас же согласилась, но Ингер замялась. Она нерешительно покосилась в сторону трибуны, возле которой ее мать беседовала с гофегермейстершей. Ингер походила на мать не только наружностью, но и мелочным стремлением во всем соблюдать внешние приличия, чем всегда отличалось провинциальное дворянство. Тут старшая из сестер Клаусен, пышногрудая Герда, решительно взяла Ингер под руку, подхватила с другой стороны свою младшую сестру и потащила их за собой.

Надо сказать, что живые карие глаза фрёкен Герды почти все время неотступно следили за Пером. Под напускной мужской грубоватостью скрывалось чисто женское восхищение. Сестра Герды, почти еще дитя, невольно заразилась ее настроением и со смехом вцепилась в руку Герды, как шаловливая школьница.

Но Пера занимала одна лишь Ингер. Сестры, при ближайшем знакомстве, оказались особами весьма вульгарными, и он был почти уверен, что Ингер стыдится их. Во всяком случае, она шла не поднимая глаз и с каждой новой глупостью своих подружек становилась все молчаливей и молчаливей.

Он еще в прошлый раз заметил, какая у нее благородная осанка по сравнению с дочерьми советника, как женственно, с каким достоинством она держит голову, словно хочет поднять ее над всем низменным, грязным, грубым. Теперь он понял, что при первом взгляде она напомнила ему Франциску не столько внешними чертами, сколько общим впечатлением целомудренной свежести. Вся она излучала прохладную чистоту, напоминающую аромат степной розы. Пер не забыл еще, что Франциска вспыхивала при малейшем намеке на взаимоотношения полов, тогда как Якоба... да, конечно, у той все это выглядело иначе. Нельзя отрицать, что недостаток стыдливости у Якобы всегда отталкивал его, что необузданная страстность, с какой она отдавалась своей любви, всегда казалась ему безвкусной.

Тем временем они вышли из лесу. Перед ними возвышался огромный каменистый холм, голый, покрытый скудной зеленью, которая кое-где перемежалась темными зарослями вереска. Это был знаменитый Ролльский холм, самая высокая точка во всей округе, откуда открывался вид, по крайней мере, на двадцатую часть Ютландии.

Хотя девицы Клаусен мало-помалу сообразили, что они здесь лишние, они и виду не подали и не выказали ни малейшей обиды. Скорей даже наоборот. Как истые ютландки, они мстили за недостаток внимания самой развязной непринужденностью.

— А ну, кто первый? — выкрикнула Герда и помчалась вверх по холму. За ней полетела младшая. Ветром у нее сорвало шляпу с головы, и обе взапуски понеслись вниз догонять ее.

Ингер хотела было побежать за ними, но Пер вспомнил, как гофегермейстерша просила ее не бегать, и потому начал всячески ее отговаривать:

— Не забывайте, фрёкен Ингер, что вы совсем недавно выздоровели и вам нельзя переутомляться.

Эта трогательная забота помогла Перу — хоть сам он и не ведал о том — завоевать еще один уголок в неприступном сердце Ингер. Она уже настолько поправилась, что ей доставляло удовольствие казаться более слабой, чем она была на самом деле. Впрочем, она заявила, что непременно желает взобраться на холм, и, когда Пер предложил ей опереться по крайней мере на его руку, даже слушать не захотела. Она-де превосходно себя чувствует, и бояться совершенно нечего.

Тем не менее Пер шел за ней по пятам, чтобы подхватить ее, если она споткнется. Там, где подъем стал слишком крутым, она оперлась на предложенную руку. После долгих раздумий она решила, что в этом нет ничего неприличного, тем более что Пер помолвлен. А потом ей и в самом деле понравилось, когда с его помощью она легко, словно перышко, взлетела по крутому склону.

Пер все время порывался рассказать ей, что просидел целое утро над проповедями ее отца и что они доставили ему огромное удовольствие. Но он боялся, не сочтет ли она его слова за пустую любезность, и потому промолчал. Он только сказал, что ему было



чрезвычайно приятно побывать у них в гостях. Ингер приняла это как нечто само собой разумеющееся.

Она запыхалась и остановилась, чтобы отдышаться. Шляпу держала в руке, и тонкие светлые волосы сияющим ореолом окружали ее голову. «Вылитая Франциска, — опять подумалось Перу. — Франциска в облагороженном виде».

Сестры Клаусен тем временем уже давным-давно взобрались на самый верх. Они стояли рядышком, придерживая руками шляпы, а ветер раздувал их юбки, словно хотел сорвать с девушек одежду. Увидев, что Ингер и Пер опять тронулись с места, младшая сказала:

— Ты только посмотри, как они плетутся.

— Беда с этой Ингер, — ответила фрёкен Герда, — стоит кому-нибудь чуть повнимательнее взглянуть на нее, как она сразу же начинает ломаться.

— Зато он очень красивый, ничего не скажешь, — заметила младшая.

— Красивый? По-моему, он просто урод.

— А вот и неправда. Ты ведь сама вчера говорила...

— Я? Да ты с ума сошла! Ты только погляди на его глаза! Прямо как плошки!

Наконец, Ингер и Пер тоже достигли вершины, и все четверо принялись любоваться прославленным видом. Потом девушки начали считать колокольни. В самую ясную погоду отсюда полагалось видеть ровно тридцать пять колоколен. Сестры Клаусен знали, как называется любая, но Пер глядел только на те, которые показывала ему Ингер.

— Ай-яй-яй! Так это Теберуп? Что, что? Не Теберуп?.. Как вы сказали? Ах, Рамлев! — Пер говорил таким тоном, будто все эти имена будили в нем дорогие воспоминания.

Сестры украдкой подталкивали друг друга. Впрочем, они почти не слышали, кто что говорит, — так шумел здесь ветер; поэтому очень скоро они решили спуститься.

Когда лес снова сомкнулся вокруг них, девушки остановились, чтобы привести себя в порядок. Ветер немилосердно обошелся с их прическами, особенно он растрепал Ингер. Она даже сняла перчатки, пытаясь хоть немножко пригладить волосы. Булавку от шляпы она сунула в рот, а перчатки дала поддержать Перу, потому что подружки были заняты собственными волосами. При этом она ровным счетом ничего не думала, но сестры сразу переглянулись, да и потом, на обратном пути, то и дело подталкивали друг друга локтем.

Когда они наконец добрались до лужайки, там уже шло второе отделение. На трибуне стоял высокий, серьезного вида мужчина с темными волосами и бородкой. Это был Броагер, заведующий Высшей народной школой, находившейся неподалеку отсюда, и соперник пастора Бломберга в деле снискания любви народной, особенно среди молодежи.

Девушки тихонько прокрались на прежнее место под деревьями, и Ингер покосилась на свою мать. Прогулка затянулась несколько дольше, чем она рассчитывала, и это ее смущало. По счастью, мать, кажется, даже не заметила ее отсутствия, она спокойно сидела на своем месте и была, по-видимому, целиком поглощена выступлением Броагера.

Так оно и оказалось на самом деле. Пасторша бдительно охраняла авторитет своего мужа как признанного оратора. Хотя по ней ничего нельзя было заметить, она очень волновалась всякий раз, когда кто-нибудь, а особенно заведующий школой, делал при ней доклад. Вот почему она, невзирая даже на присутствие Пера, совсем забыла, что ей надо следить за дочерью.

Те же чувства обуревали и самого пастора Бломберга. Он, разумеется, выражал шумный восторг, слушая речи других ораторов, и, разумеется, громче всех смеялся при каждой их остроте, но кровь предательски прилиwała к его щекам, когда он замечал, что еще чье-то выступление, кроме его собственного, имеет успех.

Затем опять пропели несколько псалмов, и на этом праздник кончился. Пока подавали экипажи, стоявшие чуть поодаль в лесу, гофегермейстерша и Ингер, взявшись под руку, отошли в сторонку. Гофегермейстерша сказала:

— Я видела, вы ходили гулять с господином Сидениусом?

— Да, мы прошли до Ролльского холма. А что, разве это дурно? — Ингер боязливо

поглядела на свою собеседницу.

— Та расхохоталась.

— Нет, что же дурного.

— Тем более что он помолвлен.

— Конечно.

— Просто удивительно, но по нему совсем незаметно, что он помолвлен.

— Да, эта помолвка немногого стоит.

Ингер остановилась и почти с ужасом взглянула на гофегермейстершу.

— Что вы говорите?!

— Никаких подробностей я, конечно, не знаю. Но мне кажется, будто он и сам не рад, что связался со своей невестой. Ведь она еврейка.

Ингер притихла. Знать бы это раньше! Ей вдруг стало очень стыдно, когда она вспомнила, как свободно обращалась с Пером.

Тут их окликнули, потому что подали экипажи. Пастор и пасторша уже уселись в свою открытую коляску, и пастор выражал явное нетерпение, так что долго прощаться не пришлось.

Когда Ингер села подле родителей и хотела надеть перчатки, она никак не могла их найти и вдруг с ужасом вспомнила, что забыла взять перчатки у Пера, который, должно быть по рассеянности, сунул их к себе в карман.

Еще можно было спросить про перчатки, еще не подали коляску гофегермейстерше, но Ингер чувствовала себя такой виноватой, что не осмелилась и рта раскрыть, чтобы не вызвать у матери никаких подозрений. Она не рискнула даже оглянуться на прощанье и по дороге домой тщательно прятала руки под кожаный фартук коляски.

Не успели они миновать лужайку, как пасторша сказала мужу:

— По-моему, Броагер сегодня был не в ударе.

— Да, мне его просто жаль. Абсолютно не в ударе, — ответил пастор, покачивая головой, и через несколько минут повторил — Нет, нет, не в ударе, — хотя разговор шел уже о чем-то другом.

На обратном пути Пер с большой похвалой отзывался обо всем виденном и слышанном. Только про Ингер он не сказал ни слова. Гофегермейстерша это заметила и не преминула сделать некоторые выводы. Удобно откинувшись на спинку сиденья, она отдалась сладким мечтам.

Солнце зашло. Когда они подъехали к дому, было уже совсем темно.

Колеса гулко загрохотали по мостику перед воротами усадьбы. Пер хорошо знал этот звук, а при виде гостеприимно освещенных окон его охватило странное, непривычное чувство.

В это мгновение — впервые за всю жизнь — ему показалось, что он обрел, наконец, место, с которым связан, как с родным домом. Словно в подтверждение этих слов, к нему бросилась собака управляющего. Она начала прыгать вокруг Пера и радостно лизать его руку. У бедняжки отобрали щенят, и она перенесла на Пера всю свою любовь. Растроганный Пер наклонился и погладил собаку.

Однако, радость его сразу же омрачилась: он с горечью вспомнил о предстоящей разлуке. Теперь он просто не представлял себе, как сможет уехать отсюда. Но тут уж ничего не поделаешь. Надо уезжать, и уезжать поскорей. Он и так провел здесь почти две недели.

Открыв дверь своей комнаты, Пер вздрогнул: на столе лежало письмо. Пер испугался, решив, что письмо от Якобы. Поэтому он не торопился вскрыть его. Лишь узнав каракули Ивэна, он облегченно вздохнул, хотя тягостное чувство осталось. Почерк шурина безжалостно напомнил ему, что денежный вопрос до сих пор не улажен. Эта неприятная мысль и без того донимала Пера, особенно по вечерам, перед сном.

Он так и не стал открывать письмо — дела могут подождать до утра. Он совсем уже было собрался идти в гостиную, как вдруг обнаружил в кармане маленький светло-серый комочек. Это были перчатки Ингер, мягкие, замшевые, почти неношенные.

Не совсем без задней мысли оставил он их у себя. Ему доставляло непонятную радость держать в руках вещь, принадлежащую Ингер, а когда они второпях прощались, он уже забыл про них.

Пер бережно расправил перчатки, долго-долго разглядывал их, потом поднес к лицу, жадно вдохнул аромат и невесело улыбнулся. Вот и желанный повод, чтобы завтра же снова побывать у Бломбергов... Или не стоит? Может, гораздо разумнее оставить все, как есть? Если он будет чаще видаться с Ингер, он еще чего доброго не на шутку влюбится в нее. Пер снова почувствовал себя достойным сыном Адама. Ну влюбится, а дальше что? Он не имеет права на новую любовь. Все отведенные ему радости жизни он уже исчерпал, если считать, что он вообще когда-нибудь знал эти радости.

## Глава XXI

Наступила та пора, когда дачная жизнь в окрестностях Копенгагена, на берегу Зунда, становится с каждым днем все заманчивее и увлекательнее. Сонливое состояние, в котором пребывают разморенные летним зноем жители «медвежьих углов», неведомо обитателям здешних мест. Рядом бьется пульс огромного города, железные дороги подхватывают это биение и сообщают его неодушевленной природе. Большие корабли то и дело пристают к берегу, накренившись на один бок под тяжестью живого груза. Поезда чуть не километровой длины останавливаются возле каждого полустанка и изрыгают бурный людской поток, а люди — кто на колесах, кто пешком — разносят столичный шум по дремучим лесам северной Зеландии.

И только в Сковбаккене царило подавленное настроение. Филипп Саломон и фру Леа вели нескончаемые и малоприятные разговоры о своих детях.

Их беспокоила не только судьба Якобы. Выходки Нанни за последнее время тоже наводили на самые невеселые размышления.

Эта прелестная особа, отвергнутая Пером, решила из уязвленного самолюбия утешиться со своим прежним поклонником Хансеном-Иверсеном, а поскольку ей действительно надо было забыть про свое поражение, она затеяла самый рискованный флирт и отдавалась ему с большим пылом. Но — увы! — оказалось, что отставной кавалерист с лихими усиками совсем не столь волевая личность, как можно было предположить. Короче, в один прекрасный день он, выйдя от нее, отправился домой и пустил себе пулю в лоб. Он оставил письмо, где объяснял всему миру истинную причину своей смерти и торжественно предавал Нанни проклятию.

Только благодаря видному положению Дюринга дело удалось замять. Чтобы положить конец всяким сплетням, Дюринг стал всюду, где только можно, появляться, как примерный супруг, под руку с Нанни, и с улыбочкой сетовал в частных разговорах на то, что нынче очень опасно иметь жену, глаза которой не только внешне похожи на пистолетные дула, но и действительно могут убивать наповал. Дома, без свидетелей, он учинил своей жене строжайший допрос и завершил его полновесной оплеухой, к чему Нанни отнеслась довольно кротко. Она даже решила, что дешево отделалась, ибо в первый момент эта история до смерти напугала ее; более того — неожиданно для себя она пылко влюбилась в своего супруга, стала на некоторое время его покорной рабой и весьма охотно, заручившись богатым опытом, удовлетворяла все его прихоти.

Но не в силах Дюринга было замазать рты окружающим: все новые толки о причине самоубийства Иверсена возникали то там, то здесь. Копенгагенская молва, которая летом тоже перебралась за город, усиленно занималась последним письмом Иверсена. Теперь, когда Филипп Саломон вечером вместе с женой совершал обычную прогулку по берегу в своей поистине царской коляске, раскланиваясь с друзьями и недоброжелателями, за его спиной поднимался оживленный шепоток. Некоторые никак не могли простить Нанни ее красоту, и уже по одной этой причине добродетель Нанни слишком охотно бралась под сомнение в замкнутом мирке Бредгаде, где, словно в провинциальных городишках, люди

знали друг о друге все, вплоть до цвета нижнего белья.

Сами родители очень строго осудили поведение дочери. Филипп Саломон даже счел необходимым извиниться за нее перед Дюрингом от имени всей семьи. Единственным человеком, кто пытался хоть сколько-нибудь защитить Нанни от нападков, оказалась, как ни странно, Якоба. Прежде столь беспощадная к сестре, она теперь лишь пожимала плечами по поводу всей этой шумихи, ибо решительно не видела никаких причин для такой убийственной серьезности. Жизнь — настоящая жизнь — требует жертв, говорила она. И если жить как следует, надо всегда быть готовым пролить свою кровь.

Вообще Якоба очень изменилась за последнее время. Лицо ее не выражало больше скрытого беспокойства, беспокойство сменилось усталым и неестественным равнодушием прежних дней. Если кто-нибудь спрашивал ее о здоровье, она неизменно отвечала, что чувствует себя превосходно. О женихе своем она говорила все реже, но когда родители заводили речь о предстоящей свадьбе, она им не перечила. В то же время она поговаривала о своем намерении еще раз съездить к бреславльской подруге. Так что истинных ее планов не мог понять никто.

Вернее, сыскался один человек, который хоть чуточку понимал Якобу, — это была ее сестра Розалия. Комната Розалии находилась рядом с комнатой Якобы, и как-то ночью Розалия услышала за стеной всхлипывания. Она решила, что Якобе стало нехорошо, и вскочила с постели. Но дверь в комнату Якобы оказалась на запоре, и впустить сестру та не пожелала. Наутро Якоба заявила, что у нее среди ночи страшно разболелись зубы. Однако, Розалия давно вышла из детского возраста, она сама, идя по стопам Нанни, начала охоту в заповедных рощах любви, и охоту весьма успешную: она уже подстрелила первую дичь. Совсем недавно ей объяснился в любви кандидат Баллинг, и Розалия для смеху сделала вид, что ровным счетом ничего не поняла из его объяснения, чем и заставила долговязое явление литературы изнывать от страха и неизвестности.

Больше всего угнетало Якобу то, что она никак не могла решиться окончательно порвать с Пером. Мысль эта неотступно терзала ее и порой доводила до желания покончить с собой. Она уже давным-давно поняла, в чем дело, и давным-давно догадалась, что здесь замешана другая женщина, но откладывала решающее слово со дня на день. До такого унижения, до такого позора доводит любовь — чувство, которое ей некогда казалось самым святым и светлым на земле.

Одно только утешало ее: она так и не рассказала Перу о своем состоянии. Самую драгоценную тайну она ему не доверила. Пусть ничто не омрачает ее материнство, пусть минует ее самое тяжкое унижение: стать жертвой его жалости.

Теперь она подолгу не отвечала на его письма, да и читать их заставляла себя с большим трудом. Непонятное увлечение каким-то пастором вызывало у нее только сострадание. В одном из последних писем Пер даже посоветовал ей ознакомиться с произведениями этого человека (что она, кстати сказать, давно сделала без всяких советов). И когда Пер опять завел речь о проповедях упомянутого пастора, явно надеясь, что, начитавшись проповедей, Якоба проникнется христианским мировоззрением, это так ее раздосадовало, что она решила ответить незамедлительно. Наконец-то ей представилась возможность, не унизив себя, отвести душу, и хотя, как и в предыдущих письмах, она ни словом не коснулась их отношений, весь ее тон, все ее слова служили подготовкой к окончательному разрыву.

«До сих пор я не испытывала ни малейшего желания последовать совету, который ты настойчиво даешь мне в твоих письмах, и заняться вопросом, снова, судя по всему, очень тебя занимающему, а именно — твоим отношением к христианству. Надеюсь, тебе ясно, что мое молчание вовсе не проистекает из недостатка заинтересованности. Просто я все больше и больше убеждаюсь, что бывают такие случаи, когда всякие споры бесполезны. В таких делах, как вопросы веры, мы обычно не поддаемся на уговоры. Мы держимся той или иной веры, смотря по обстоятельствам. Орган приятия веры так же развивается по законам природы, как и сердце и почки, и потому всякая попытка насильственно повлиять на него и

заставить человека, например, переменить веру, всосанную с молоком матери, приводит лишь к ослаблению всего организма.

В моем последнем письме я смогла между строк прочесть прямой вопрос, на него-то я и хочу ответить, хотя бы для того, чтобы ты не принял мое молчание за знак согласия. ##такой же мере как твое, обусловлено моим происхождением и моим воспитанием. Я была еще совсем ребенком, когда преследования, которым до самого последнего времени христианская церковь подвергала мой народ, пробудили во мне мстительные чувства. И все же я могла бы предать все это забвению, если бы видела, что церковь приносит благо другим людям. Но сколько Я ни вчитываюсь в тысячелетнюю историю церкви, я нахожу под маской благочестия все то же стремление деспотически и вероломно разделаться со своими противниками и полнейшее нежелание ограничивать себя в выборе средств, лишь бы удовлетворить ненасытную жажду власти. Ни одно идеологическое движение ни разу еще не стремилось до такой степени сыграть на худших, низменных свойствах человеческой природы. Потому — и именно потому — христианство так распространилось по земле.

Для меня непонятно одно, и это, пожалуй, всего непонятнее: как могут порядочные люди, люди, много перечитавшие и передумавшие, без отвращения относиться к религии, под чьей сенью пышным цветом расцветали самый гнусный деспотизм, самое беспросветное невежество, самые мерзкие злодеяния, — расцветали или, во всяком случае, пользовались попустительством церкви, — тогда как все здоровые, отважные, гордые порывы, призванные вести человечество к свету, к справедливости, к счастью, находили в лице религии коварного, завистливого и неумолимого врага. Если даже Реформация кое-что и подправила, то эти поправки большого значения не имеют, а многочисленные религиозные школы и секты, которые на первый взгляд стремятся достичь дружеского понимания со всеми инакомыслящими, не внушают мне особого доверия, скорее наоборот. У протестантизма тоже есть свои иезуиты, проявляющие в трудные времена напускную широту взглядов, чтобы отвлечь внимание людей от своих вынужденных признаний. Этот парадокс стар, как само христианство. Еще на заре дней своих христианство ловко утверждало свое влияние во всех странах, воспринимая те языческие обычаи и представления, с которыми оно не могло сладить; так и в наше время, едва лишь запахнет опасностью, оно умеет хитренько поддаться под запросы времени и объявить себя сторонником науки и человечности. И если, несмотря на все это, христианская церковь продолжает утверждать, будто она и есть обладательница единственной, неизменной, богоданной истины, то это просто лицемерие, равного которому еще не знал свет.

Однако, я вовсе не так уже непримиримо настроена. Мне хочется верить, что достичь взаимопонимания можно, ибо христианство содержит ряд идей, несомненно важных для людского блага. Но я могу протянуть руку церкви лишь при одном условии: она должна заниматься только своими делами и быть честной. И еще одно: чтобы я могла поверить в искренность ее обращения, церковь должна придерживаться тех же правил, выполнения которых она требует от чад своих. «Пусть старый грешник прикроет лик свой, — как сказано в писании, — пусть он перед всем народом покается в грехах своих». Вот с чего следует начать! На коленях, на коленях перед человечеством, чьей доверчивостью она так долго злоупотребляла, должна церковь покаяться в содеянном, на коленях перед истиной, которую она подавляла, перед справедливостью, которой она завязывала глаза, должна церковь просить прощения за свое прошлое. И только тогда, — но ни секундой ранее, — может она рассчитывать на доверие со стороны тех, кто поистине творит жизнь и хранит свет».

\* \* \*

В Керсхольме дни тянулись с тем деревенским однообразием, которое делает время быстротекущим, а жизнь — краткой. И снова настало воскресенье, и снова господа решили, как обычно, съездить в Бэstrup и послушать проповедь пастора Бломберга.



Помня отзывы Пера после народного праздника, на который они ездили вместе, гофегермейстерша и сегодня рассчитывала на его общество. Он и впрямь был не прочь поехать, так как надеялся лишний раз повидать Ингер. Но заставить себя принять участие в богослужении по всей форме, то есть с пением псалмов, и с «Отче наш», и с благословением паствы, он не мог. Как раз накануне вечером пришло письмо от Якобы, и страстный тон письма вновь оживил в его душе былые сомнения.

Когда все уехали, он почувствовал себя бесконечно одиноким. Побродил по саду, взобрался на насыпь возле ограды, сел на стоявшую там скамейку и начал глядеть вниз.

Кругом — вблизи и вдали — вызванивали колокола. В тишине их звон разносился далеко-далеко. Даже бэструпский колокол был слышен отсюда. Он призывал не втуне. На дороге, огибавшей усадьбу, одна за другой мелькали повозки с принарядившимися крестьянами, и все они ехали в Бэструп. Пер провожал их глазами, пока они не исчезли за борупским холмом. Когда последняя повозка скрылась из виду, ему показалось, будто вся округа вымерла, будто все жители ее разом перекочевали в другую страну, а он остался здесь один-одинешенек.

Воскресной неприкаянности, хорошо знакомой по детским годам, Пер не испытывал с тех самых пор, как он стал вхож в дом своего будущего тестя и узнал тот мир, для которого звон колоколов был лишь пустым звуком. И все же ему не хотелось бы сейчас очутиться в Сковбаккене. Без всякой горечи думал он о пестрой толпе веселых, одетых по последней моде светских дам и господ, чье присутствие сообщает воскресенью праздничную окраску.

Колокола смолкали один за другим. Чувство покинутости стало еще острее. Где-то далеко прогрохотала телега, и звук этот как-то неправдоподобно отдался в его ушах, словно долетел из другого мира. Ему чудилось, что он уже умер, сошел в царство теней и слышит, как шумят живые над его могилой.

Снова вспомнилось письмо Якобы. Теперь он знал, что ей ответить. Торжественная тишина воскресного полудня, праздничные одежды крестьян, разукрашенные повозки, тысячи тысяч покидают в эту минуту родной кров, чтобы с надеждой обратиться к церкви, которая одна может ниспослать им новые силы для повседневной борьбы за существование, — это и есть убедительнейшее возражение самой жизни на слова Якобы. Допустим (так напишет он ей), допустим, церковь действительно имеет на своей совести тяжкие преступления (кстати сказать, он и сам так думает), но разве церковь не искупила с лихвой все свои грехи тем добром, которое она сделала людям? Как метко выразился пастор Бломберг во время своей воскресной проповеди в лесу, у скандинавов и вообще у германцев есть особые основания воздавать почести христианской религии, ибо именно она вывела их из состояния варварства. Она определила их духовный склад, так сказать, от самой колыбели, она явилась тем, образно выражаясь, материнским молоком, которое навсегда примешалось к их крови.

Впрочем, к чему все эти исторические экскурсы и ссылки? Еще в ту ночь, когда он, провожая тело матери, сидел на борту парохода, он понял, что христианство есть подлинный источник человеческих сил, раз оно смогло наделить таким негибимым духом его старую больную мать. Даже если считать прекрасной мечтой веру в милосердное правление отца нашего небесного, то и тогда надо признать, что в тысячах и тысячах случаев эта вера уже сыграла свою положительную роль для блага человечества. Да и как можно в этом сомневаться? Разве сам он мог бы так долго поддерживать в себе волю к жизни и жизненные силы без потусторонней поддержки? Разве не узнаем мы каждый божий день о том, что прежние отступники снова припадают к стопам нашего небесного утешителя?

Среди книг и журналов, которыми регулярно снабжала Пера гофегермейстерша, ему попала «Битва Иакова» Поуля Бергера. Пер много слышал о ней еще в Копенгагене, но прочесть эту книгу ему не довелось. Поэма-исповедь, искусно стилизованная в духе Ветхого завета, произвела на Пера сильное впечатление. В одной из песен, где автор открыто выступал против идеологического направления, вывезенного из-за границы Натаном, он сравнивал это направление с весенним дождем, ибо после весенних дождей идут в рост даже

травы, не приносящие плодов, придавая скудному песчаному полю обманчивую видимость изобилия.

«Но вот подходит летняя засуха, близится сбор урожая — и где вы тогда, лишенные корней всходы, что тянулись вдоль всех дорог, расцвечивали землю тысячами красок и сушили человеку райские блага? Сам ваш пустой колос свидетельствует против вас. То же солнце, под лучами которого пышнее произрастают здоровые побеги, иссушает вас; и еще задолго до прихода осени буря развеет вас по ветру, ибо единая награда грешнику — смерть. Но благо тому, кто в пору весеннего расцвета смиренно проникнет корнями в недра земные, где бьет источник вечной жизни».

Именно эти слова сильнее всего поразили воображение Пера, он даже запомнил их наизусть. Когда он прочел их в первый раз, ему показалось, будто он увидел надпись на собственном надгробии. Именно такое увядание души мучило его за последние годы — медленно и необратимо убывала сила, иссякали способности, хотя он не хотел признаваться в этом даже себе самому.

«Итак, прости-прощай бесплодно растраченное время. Пустыня осталась позади, окончены годы скитаний. Райская обитель моих предков открылась мне; ослепленный горным светом, я в мольбе и раскаянии преклоняю колена у врат ее».

Пер закрыл лицо ладонями и несколько минут сидел неподвижно. Он спрашивал себя: не ложное ли чувство гордости все еще мешает ему примириться с богом своих отцов? Не в том ли все дело, что у него попросту не хватает духу, чтобы склонить покорную голову перед силой, некогда им отрицаемой? Смирение — одно из тяжких библейских слов, великое значение которых он лишь теперь начал постигать. Быть смиренным — вот величайший искуc, вот назначенная небом цена за душевное спокойствие.

Он поднял голову и прислушался. Все еще звонит колокол в Борупе. До борупской церкви от силы два километра, значит еще можно поспеть к началу проповеди.

И все же он мешкал. Потом решительно вскочил и размашисто зашагал по дороге, огибающей сад. Он действительно успел добраться до церкви, прежде чем пастор поднялся на кафедру. Сквозь распахнутые двери доносилось пение. Он остановился на пороге и послушал. Странная робость, охватившая его, имела, по сути дела, очень мало общего с благочестием и того меньше — со смирением. Держась за дверную ручку, он все еще мешкал. В завершающую минуту потребовалось усилие воли. Он должен был сопротивляться до последнего, чтобы обращение было полным и окончательным.

Он сел на заднюю скамью, поближе к двери; теперь, когда он, наконец, занял место, а собравшиеся удовлетворили свое любопытство, несколько раз покосившись в его сторону, он быстро успокоился.

Да и не такой здесь собрался народ, при виде которого можно пребывать в торжественном волнении. Сам пастор стоял перед алтарем и сморкался с величайшей обстоятельностью. Для этой цели он повернулся спиной к своей пастве. Паства сия состояла из какого-нибудь десятка старичков и старушек с тупыми лицами. Особенно скудно был представлен здесь сильный пол. Пение тоже вряд ли могло пробудить в душе благоговейный трепет. Лишь несколько старушек дребезжащими голосами тянули псалом. Да и сама церковь была низкая, приземистая, вроде подвала. На стенах проступали пятна сырости и зеленела плесень. В воздухе стоял кисловатый запах белил. На пюпитре, под носом у Пера, лежал толстый слой известковой пыли.

Но вот священник взошел на кафедру под синим навесом, и тут только Пер догадался, что угодил на проповедь пресловутого пастора Фьялтринга. Это был представительный бледный мужчина, с правильными чертами лица и серебряными, гладко зачесанными назад волосами. Ничего демонического в его внешности Пер не обнаружил. Гладко выбритое лицо, рот великоват, но красиво очерчен, большие темные глаза. Общее благоприятное впечатление дополняла полная достоинства осанка, уверенные, медлительные движения; лишь изредка лицо пастора невольно — и, должно быть, болезненно подергивалось.

После краткой вступительной молитвы он взял с кафедры евангелие, чтобы прочитать

воскресный текст. Тут он заметил Пера, умолк и с откровенным удивлением оглядел его, потом спохватился и начал читать.

Затем последовала проповедь, которая длилась почти целый час. Проповедь была как две капли воды похожа на все остальные канонические проповеди, в ней шла речь о грехе и о благодати, об искуплении и опять о грехе и вечных адских муках. Пер умирал со скуки. Настроение было вконец испорчено. Теперь ему стало ясно, что уж если он не поехал в Бэструп, надо было сидеть дома.

Поэтому он очень обрадовался, когда служба подошла к концу, и тотчас же покинул церковь. Пристыженный, сердясь на самого себя, он поспешил домой. И так, первая вылазка в церковь кончилась весьма плачевно, и он дал себе слово никому ничего не рассказывать.

Чтобы как-нибудь убить время до возвращения хозяев, он отправился к управляющему имением выкурить трубочку-другую. Среди деревенских привычек, которые завелись у него в Керсхольме, было пристрастие к трубкам с длинным чубуком и большой головкой: такие можно набить один раз и потом курить чуть не полдня. Свою трубку он повесил в комнате управляющего, куда частенько забегал днем.

— Скажите, что вы, собственно, имеете против Бломберга? — спросил Пер после того, как они всласть побеседовали о посторонних предметах.

— Я-то?

— Ну да, вы. Вы, помнится, однажды говорили о нем что-то нехорошее.

Управляющий ухмыльнулся в свою спутанную бороду.

— Нет уж, боже меня сохрани сказать худое слово об их непогрешимом святейшестве. Я еще пока не сошел с ума.

— И все же вы что-то говорили.

— Ах да, наверно, я просто удивлялся, как это он может допустить, чтобы его родной отец умирал с голоду.

— Разве у него еще жив отец?

— А то как же! Живет где-то в Зеландии. Он там хуже нищего. Обовшивел, весь в коросте. Вот и все; и мне кажется, что Бломбергу не грех бы взять старика к себе и успокоить его старость.

— Нет, тут что-то не так. Может, он пьяница? Или у пастора просто не хватает денег помогать отцу?

— Ну, нельзя сказать, что у него каждый шиллинг на счету. Он знает, где можно пожить, когда деньги подходят к концу. Здешние крестьяне бегают за ним, как малые дети за матерью.

— То есть как пожить?

— Да очень просто. Вот в прошлом году понадобилось ему сменить свой выезд. Он и закинь удочку, что вот-де он не может здесь дольше оставаться и ради детей должен найти приход побогаче. Народ перепугался до смерти; сложились между собой, так что достало и на лошадок, и на коляску. А он даже спасибо не сказал. Он считает, что так оно и должно быть. Вы знаете, как называет его пастор Фьялtring?

— Нет, не знаю.

— Купчиной.

— Почему?

— Сам не понимаю, но название, по-моему, подходящее.

Пер молча провожал глазами дым своей трубки.

— А как вы находите его дочь? — спросил он после некоторой паузы.

Управляющий еще раз ухмыльнулся.

— Дочь у него премиленькая.

— И только-то?

— Ну, пусть красивая.

— Одним словом, первый сорт! Вы, кажется, любите так выражаться?

— Правда ваша, только уж больно она зад выставляет.

Пер невольно нахмурил брови. Сегодня тон управляющего раздражал его. Парень, оказывается, себе на уме и куда злее, чем можно предположить с первого взгляда. А про пастора Бломберга — это скорей всего сплошная клевета.

Но тут застучали колеса подъехавшего экипажа. Пер встал и вышел из комнаты не попрощавшись.

Гофегермейстерша поджидала его в самом восторженном настроении.

— Ах, господин Сидениус, господин Сидениус! Сколько вы потеряли! Пастор Бломберг сегодня просто превзошел самого себя.

Но Пер уже ничего не слышал, потому что рядом с ней он увидел Ингер и так растерялся и обрадовался, что покраснел, как мальчишка.

— А теперь прошу к столу! — пригласила гофегермейстерша, обнимая Ингер за талию. При этом она глянула на Пера, словно желая возбудить его ревность. Муж уже ждет нас в столовой.

\* \* \*

На сей раз Ингер, против обыкновения, ни за что не хотела ехать в Керсхольм. После пресловутого праздника в лесу пасторша имела с дочерью разговор, в котором настойчиво предостерегала от более близкого знакомства с Пером. Чтобы не огорчать ее, Ингер согласилась поехать с одним условием: хозяева не станут удерживать ее до вечера. Было решено, что Бломберги сами заедут после обеда за дочерью.

А решила она посетить Керсхольм до отъезда Пера только из-за перчаток: послать кого-нибудь за ними она не рискнула, а получить их обратно хотела во что бы то ни стало. Ее просто терзала мысль, что у нее завелась общая тайна с этим чужим человеком и что ее вещь оказалась у него в руках, валяется где-нибудь на столе, а то и вовсе засунута в карман, как некий сувенир.

И не успели они остаться вдвоем после завтрака, как Ингер тут же выложила свою просьбу.

Пер ответил не сразу. В глубине души он надеялся, что она позволит ему оставить драгоценный залог у себя на память, но не мог решиться сказать об этом. Уж слишком серьезно она глядела, и, как он заметил еще раньше, во всем ее облике было что-то такое, от чего приготовленные любезности застывали на языке.

Поэтому он молча кивнул и пошел к себе за перчатками.

Когда он вернулся, он опять застал ее одну — гофегермейстерша куда-то испарилась сразу же после завтрака — и на сей раз рискнул предложить ей небольшую прогулку по саду. Ингер подумала, подумала и решила, что отказаться будет как-то невежливо. Она только старалась не уходить далеко от веранды, чтобы гофегермейстерша сразу их увидела, когда вернется.

Настоящего разговора они не вели. Каждый был слишком занят собственными мыслями. Пер, как только увидел Ингер, сразу понял, что он влюблен в нее, и поэтому держался замкнуто и даже грубо. Ингер, со своей стороны, размышляла о сведениях, которые сообщила ей по пути гофегермейстерша, а именно о том, что у господина Сидениуса последние дни очень мрачное настроение и что это скорей всего связано с его злосчастной помолвкой. Она еще во время завтрака несколько раз украдкой покосилась на него и заметила, что он и в самом деле плохо выглядит. В глубине души ей даже стало жаль его. Она представить себе не могла ничего ужаснее, чем связать себя с человеком, которого ты не только не любишь, но и не уважаешь.

— Может, в поле будет посвежей? — спросил Пер, останавливаясь у садовой калитки. — Под деревьями сегодня очень душно, да и мошара вас донимает, как я вижу.

Все это было вполне справедливо, и Ингер не нашлась, что возразить. Она махнула рукой на гофегермейстершу, вернее — просто забыла про нее. Ко всему, Пер с такой светски непринужденной и холодной любезностью распахнул перед ней калитку и пропустил ее

вперед, что она просто не смогла отказать ему.

Они вышли на маленький лужок, который полого спускался в долину. Налетел ветер. Он взметнул вихрь пыли и погнал его перед собой по дороге. Облака рассеялись, но воздух по-прежнему был душный и тяжелый.

— Вы не устали? — спросил Пер. — А то давайте сядем. Трава совсем сухая, и здесь дует хоть какой-то ветерок.

Ингер почувствовала, что она и в самом деле устала, а потом после недолгих раздумий присела на откосе, тщательно упрятав ноги под юбку.

Это стыдливое движение подействовала на Пера, словно порыв ветра, который раздувает крохотный огонек в бушующее пламя. Только сейчас он понял, как сильно охватившее его чувство, как глубоко запечатлен в его сердце чистый образ Ингер. Ингер задумчиво жевала травинку и смотрела вниз, на долину. Она опустила мягкие поля своей большой соломенной шляпы и прижала их к ушам, так что у нее получилось что-то вроде чепчика. Шляпу иначе снесло бы ветром, да к тому же она отлично сознавала, что это ей к лицу. Ее отец однажды в шутку сказал, что при такой шляпе ей не хватает только увитого цветами посоха да беленького ягненка на поводке, и тогда она будет вылитая принцесса в костюме пастушки, — а такого рода замечания она хорошо запоминала.

Пер сел чуть поодаль и нарочно заставлял себя глядеть в другую сторону.

«Да, пора уезжать, — сказал он себе, — и чем скорей, тем лучше. Не стоит делать из себя посмешище и изображать при всем честном народе жертву неразделенной любви».

Как только они сели, разговор окончательно оборвался. Это произошло вовсе не потому, что Ингер испугалась, оставшись наедине с ним; угрызения совести давно уже перестали мучить ее, а когда она вспомнила предостережения своей матери, ей становилось даже обидно за Пера — так безукоризненно он сегодня держался. Но вся обстановка представлялась ей настолько рискованной, что ей чудилось, будто земля уходит у нее из-под ног.

Пер принялся рассказывать о своих странствиях по белу свету. Эта тема всегда его выручала, когда он не знал, о чем говорить. Но Ингер его не слушала. Ей пришли на ум забытые слова гофегермейстерши: та утверждала, что Пер великий женолюб и что эта страсть не мало ему навредила. Ингер истолковала ее слова по своему. Она решила, что невеста Пера не только богата, но и хороша собой. Впрочем, она так думала и до разговора с гофегермейстершей. Неизвестно почему, но она представить себе не могла, что он способен жениться только ради денег.

Пер снова украдкой покосился на нее. Она все так же не выпускала травинки изо рта и все так же глядела вниз, на покрытую цветами долину. При этом она чуть подалась вперед и слегка приподняла одно колено, чтобы опереться на него рукой. Глаза ее щурились от яркого солнца.

— Я вам не надоел? — спросил он после непродолжительно молчания.

При звуке его голоса она слегка вздрогнула и покраснела.

Но тут оба услышали, что во двор въехал экипаж.

— Надеюсь, это не за вами? — испугался он.

— Разумеется, за мной, — ответила она, вставая. — Пора идти.

Впрочем, особой поспешности на обратном пути она не проявляла. Заметив возле калитки красивые ромашки, она начала собирать букет.

Отчасти в этом крылся вызов матери, но прежде всего в этом отражалась порядочность Ингер: не чувствуя за собой никакой вины, она не хотела утаивать от родителей, с кем гуляла.

Пер не последовал за ней. У него сейчас было неподходящее настроение для светских разговоров. Возле веранды они простились, после чего он прошел в свою комнату, имевшую отдельный вход.

Здесь он принялся расхаживать взад и вперед, чтобы собраться с мыслями и немного успокоиться. Надо немедленно уезжать отсюда. Но куда? Разве после всего случившегося



можно вернуться к Якобе? Разве он не обязан, как честный человек, прямо сказать ей, что полюбил другую? А дальше что?

Имеет ли он право порвать с Якобой и со всем ее семейством? Ведь ему нужны деньги. Даже больше чем нужны. Пусть они презренные, грязные, мерзкие — все равно. От мысли перехватить у здешних хозяев пришлось отказаться. Правда, он ни разу прямо не попросил дать ему займы, но однажды с горя он так ясно намекнул на свое безденежье, что гофегермейстер мог бы понять намек, если бы захотел.

Он подошел к окну и, заложив руки за спину, глядел, как играет солнечный луч в густой и темной листве каштанов.

Так или иначе, а он обязан вернуться в Копенгаген. Хорошо, допустим он вернулся, но — он только сейчас это понял — там его отношениям с Якобой грозит другая опасность. Там он опять встретит Нанни, и еще не известно, чем эта встреча кончится. Он не часто вспоминал ее здесь, в Керсхольме, и все же он не забыл ее. Не раз и не два просыпался он среди ночи от весьма недвусмысленных снов и, к своему великому стыду, всякий раз обнаруживал, что ему снились именно объятья Нанни.

По-прежнему будоражил кровь поцелуй, который она тогда, как заправская кокетка, подарила ему, а в будущем у него тоже не было никаких оснований рассчитывать на свою выдержку. Когда он представлял себе, как она идет навстречу ему своей некрасивой, вразвалочку, походкой, как призывно, по-бабьи, покачивает бедрами и заманчиво улыбается, как смотрит искоса, и взгляд ее бесстыднее всякой ласки, — когда он представлял себе все это, в ушах его снова раздавался шелест ее шелковых юбок и чудилось, будто они с дерзкой откровенностью нашептывают ему, что именно здесь следует искать забвения той новой любви, в которой он никогда и никому не посмеет признаться.

Он прижал руку к глазам. Перед ним встало видение: грядущие дни, словно темные волны, набегают на него и, пенясь, смыкаются над его головой...

Он отошел от окна и снова начал мерить комнату шагами — взад и вперед, взад и вперед. Руки снова заложил за спину, голову наклонил — усталая, поникшая, печальная фигура.

На столе лежала раскрытая книга. Это была поэма Поуля Бергера. Книга, к которой он теперь прибегал в трудные минуты, ибо ему казалось, что она всегда умеет объяснить его состояние.

Он взял книгу, опустил в большое кресло и раскрыл на закладке:

«Я подобен голодному, который бежит от пищи, больному, который не зовет лекаря. Взгляни, уже наступил вечер, и давно улеглись все ветры, но в мое сердце, как и прежде, нет покоя.

Я сижу на вершине и смотрю, как солнце медленно садится в море. Словно золотые часы, повисло оно на синем небосводе, и воздух полон их звоном. Слышишь ли ты звон, который доносится с неба? То не звон часов, то поют ангелы! Так почему же я не склоняю головы? Почему руки мои не сложены для молитвы? Почему я не преклоняю колен, почему не взываю: «Отче!»? Потому что я не умею молиться. И все же я верю — нет, не просто верю, а твердо знаю, ибо моя душа подсказала мне это, — знаю, что один лишь бог может даровать мне утешение. Если ты видишь, как увядает твоя жизнь, безрадостно и бесплодно, он — и только он — даст ей всю полноту плодородия. Если ты вздыхаешь стесненным сердцем под бременем дней своих, он — и только он — превратит тяжкое иго в легкие крылья за плечами твоими».

\* \* \*

Чета Бломбергов не имела намерения долго засиживаться в Керсхольме, но гофегермейстерше удалось — без особых, впрочем, трудов — уговорить гостей отобедать с ними. Перед обедом вся компания отправилась в поле посмотреть хлеба. Ингер тоже пошла

вместе со всеми и, против обыкновения, ни на шаг не отставала от матери.

Пер так и не показался, и ни сам пастор, ни его жена о нем не спрашивали.

Но они не забыли о его существовании. Несколько затянувшееся пребывание Пера в Керсхольме уже начало возбуждать в округе различные толки. Ходили сплетни, будто молодой человек забрал большую власть над керсхольмскими господами — не только над обеими дамами, но и над самим гофегермейстером.

Во всех этих слухах была доля истины. Дело обстояло следующим образом:

Много лет подряд гофегермейстер носился с проектом осушения заболоченной низменности, которая лежала среди холмов и занимала изрядную часть его земли. Как-то раз за послеобеденным кофе он поделился своими планами с Пером и сказал, что пора наконец всерьез взяться за дело и что он хочет вызвать землемера, чтобы разметить участок и произвести необходимые расчеты. Истомившись от длительного безделья и, кроме того, желая хоть как-то отблагодарить хозяев за гостеприимство, Пер предложил свои услуги, а гофегермейстер — суший крестьянин в душе — любил, где можно обойтись без затрат, особенно если речь шла о грошах, и потому с восторгом принял его предложение.

Необходимые землемерные инструменты оказались под рукой, и за каких-нибудь два-три дня все довольно объемистые расчеты были выполнены.

Но во время работы Пера осенила новая идея: а что, если полностью перепланировать водоснабжение не только на землях Керсхольма, но и по всей округе, что составляло несколько тысяч десятин. Наполовину в шутку, наполовину всерьез — и не без задней мысли перехватить под этим предлогом взаймы (из последнего, впрочем, ничего не вышло) — Пер как-то вечером поведал свои замыслы гофегермейстеру, и тот, хотя и не отличался особой сообразительностью, все же понял, какие блага сулит ему осуществление этих планов. С той неисчерпаемой изобретательностью, которая составляла самую яркую сторону дарования Пера и которая в минуты взлетов придавала ему силу подлинного гения, он рассчитал, как с помощью хитро задуманной «перепланировки речного русла» понизить уровень подпочвенных вод на несколько дюймов и тем самым, при сравнительно небольших затратах, превратить большие участки бросовой, заболоченной земли в цветущие, плодородные нивы.

С чисто торгашеской хитростью гофегермейстер сперва сделал вид, будто не находит в этой идее ничего заманчивого, но на самом деле она так захватила его, что он теперь по вечерам долго не мог заснуть. Чем больше он размышлял о проекте, тем яснее ему становилось, как много значит этот проект не только для Керсхольма, но и для всей округи. А пуще всего тешила его мысль о том, что точно такая же идея — приходила когда-то в голову и ему самому, так что честь открытия можно будет с полным правом приписать себе.

Ровно в шесть, минута в минуту, гонг позвал к столу. Если не считать этой пунктуальности, здешние обеды носили тот же отпечаток безалаберности, что и вся жизнь Керсхольма. Невзирая на воскресный день и присутствие гостей, хозяин вышел к столу в своей расхожей охотничьей куртке и в застегнутом чуть не под горло жилете. Супруга его, правда, вырядилась в шелка с множеством буфов, воланов и бантов, но всякий мог сразу догадаться, что она просто донашивает дома старое вечернее платье. Сервировка тоже не отличалась роскошью, да и скатерть не блистала чистотой. На столе стояла единственная ваза с цветами, а посуда была разрозненная и дешевая.

За первым блюдом гофегермейстер говорил очень мало, зато жевал и пил с большим усердием. Кроме того, он устроил себе следующее невинное развлечение: стоило Бломбергу отвлечься, как гофегермейстер тут же коварно подливал ему вина. Кончилось это тем, что лица у обоих запылали, как факелы. А когда даже сама баронесса, проповедовавшая абсолютное воздержание, но подозрительно раскрасневшаяся под толстым слоем белил еще задолго до обеда, — словом, когда сама баронесса «поддалась на уговоры» и осушила несколько стаканчиков шерри, беседа за столом сделалась весьма и весьма оживленной.

За этим оживлением никто не мешал Перу предаваться невеселым думам. Одна только Ингер заметила его странную рассеянность. Ингер (хоть она никак не желала этого)

досталось место возле Пера, и ей пришлось довольствоваться исключительно его обществом, поскольку с другой стороны сидел ее собственный отец.

Наискось через стол восседала мать и исподтишка наблюдала за дочерью и Пером, пока бурное веселье, проявляемое супругом, не заставило ее переменить объект наблюдений.

Рассеянность Пера очень забавляла Ингер. Она, конечно, даже не догадывалась, отчего он вдруг помрачнел, и с чисто детской непосредственностью развлекалась, глядя, каких усилий стоит ему собраться с мыслями, чтобы выполнить какую-нибудь пустяковую просьбу, например передать ей солонку или принять у нее тарелку со студнем. В начале обеда ей было очень весело, и кончиком языка она то и дело проводила по верхней губе: это движение обычно сопровождало каждую ее улыбку.

Потом ей пришло в голову, что скорей всего Пер за то время, пока они не виделись, получил какое-нибудь неприятное известие, может быть, письмо от невесты. От этих мыслей кончик языка спрятался очень надолго.

И вдруг, в конце обеда, Пер, ко всеобщему удивлению, постучал по своему стакану и попросил у присутствующих минутку внимания: он-де хочет воспользоваться случаем, чтобы отблагодарить хозяев за гостеприимство, которым он так долго — даже слишком долго — наслаждался здесь, в Керсхольме.

— Неужели вы хотите уехать? — испуганно воскликнула гофегермейстерша, быстро глянув на Ингер.

— Не хочу, но что поделаешь! Я должен, наконец, отправиться туда, куда призывает меня мой долг, — на другой берег Атлантического океана. А кроме того, я и так слишком долго злоупотреблял терпением любезных хозяев.

— Какой вздор! Как вам не стыдно! Никуда вы не уедете! — разволновалась гофегермейстерша. Супруг ее, несколько отуманенный винными парами, вторил ей, как эхо.

Пер легким наклоном головы поблагодарил их и продолжал:

— Как ни тяжело мне покидать Керсхольм, который стал для меня родным домом, я все же должен проститься с ним. Но я не могу уехать, не сказав перед отъездом, что увезу из Керсхольма самые дорогие для меня воспоминания, и — если мне будет дозволено — я хотел бы горячо поблагодарить и бэstrupского пастора. Позвольте же мне, господин Бломберг, от всей души сказать вам спасибо за ваши поучительнейшие беседы! Я не буду здесь подробно рассказывать, как много они значили для меня, но поверьте, что я никогда их не забуду.

Несмотря на все любезные заверения Пера, гофегермейстерша не на шутку расстроилась. Нет, не о таком конце она мечтала. Надо сделать все возможное, чтобы он никуда не уехал. Она еще потолкует с ним наедине. Она не упустит случая насладиться торжеством блонберговского учения, торжеством, которое она так долго и так тщательно готовила. Только добившись полного обращения Пера, она будет удовлетворена.

А награду за его обращение она уже припасла — при этой мысли гофегермейстерша нелепо взглянула на Ингер.

На пасторскую семью спич Пера произвел очень благоприятное впечатление. Даже непреклонная пасторша смягчилась. Теперь, когда она знала, что Пер все равно скоро уедет, она невольно стала относиться к нему более снисходительно.

Ингер порядком струхнула, когда Пер встал. «Чего это он?» — подумалось ей. Его мрачная задумчивость начала мало-помалу тревожить ее: такое неуютное чувство, вероятно, испытывает человек, который стоит рядом с заряженной пушкой. Когда она поняла, что он просто хочет произнести спич, у нее отлегло от сердца, ибо это, как ей казалось, вполне объясняет, почему он все время сидел с таким отсутствующим видом. Но тут сыскался новый повод для страхов. Едва Пер начал говорить, она очень забеспокоилась, как бы он не сказал чего-нибудь лишнего, но, заметив, с каким вкусом и тактом он выбирает выражения, она облегченно вздохнула.

Само сообщение Пера не показалось ей неожиданным. Она давно знала, что он со дня на день может уехать. Но теперь она окончательно убедилась в прежнем предположении:

конечно же, он получил письмо от невесты, и оно-то и заставило его поспешить с отъездом. Может, там прямо так и написано, чтобы он немедленно вернулся в Копенгаген. Эта еврейка, наверно, вертит им, как хочет. Бедный, бедный Пер! По его лицу никак не скажешь, что ему безумно хочется видеть свою невесту. Ингер чуть не до слез стало жаль Пера. Хотя, с другой стороны, непонятно, как он мог себя связать по рукам и ногам, зная, что ничего, кроме горя, это ему не принесет. Тут может быть только одна причина: его невеста не только красива и богата, но еще вдобавок умеет завлекать мужчин, как умеют все такие дамы. Гофегермейстерша как-то рассказывала, что Пер связался с этой женщиной, сам того не желая. Очень может быть, ведь он такой доверчивый.

Затем гости поблагодарили хозяйку, та сказала: «На здоровье!» — и все встали из-за стола.

Пер склонился перед Ингер в церемоннейшем поклоне, и она ответила ему небрежным кивком. Но тут же вдруг бросилась на шею отцу и, вопреки обыкновению, при всех крепко расцеловала его.

Среди общего послеобеденного веселья это неожиданное изъятие дочерней нежности прошло незамеченным. Отец добродушно потрепал Ингер по волосам и сказал: «Ай да дочка!» И только у Пера замерло сердце и на несколько секунд потемнело в глазах.

Ни на одно мгновение он до сих пор не осмеливался подумать, что может рассчитывать на ответную любовь. Неожиданная выходка Ингер пробудила в нем смутные надежды и сразу распахнула перед ним и врата рая и врата ада.

В саду накрыли стол для кофе, но дело обернулось так, что пасторской семье пришлось поторопиться с отъездом. Гофегермейстер, на беду, велел подать коньяк и ликер, и хотя пастор, к своему ужасу, заметил, что он и так выпил больше чем следует и решительно отказывался от вина, гофегермейстер опять наполнил обе рюмки и коварно подсунул их Бломбергу на подносе. Спустя некоторое время он увидел, что рюмки пусты, и чуть не захрюкал от радости. Спьяну он и не заметил, что сам, увлекшись разговором, выпил и ту, и другую. Восторг гофегермейстера достиг такой степени, что он захихикал вслух, а его выпцветшие глазки, хоть и не без труда, отыскивали Пера, чтобы найти понимающего свидетеля такого триумфа. Но Пер, даже не пригубивший своего стакана, ничего не видел и не слышал.

Бломберг велел запрягать, и гофегермейстерша, огорченная до глубины души поведением своего мужа и зная, чем все это кончится, не стала удерживать гостей. Пастор не на шутку разозлился. Если он не подал виду, то потому лишь, что раз и навсегда положил себе за правило не замечать некоторых изъянов в моральном облике гофегермейстера. Отчасти он поступал так ради гофегермейстерши, отчасти потому, что, будучи трезвым и расчетливым человеком, не мог не понимать, как важно, чтобы прихожане считали его благодетельным провидением для керсхольмских господ.

Слуга доложил, что экипаж подан.

Первыми поднялись из-за стола дамы. Ингер вообще от кофе отказалась. Она углубилась в сад, сказав матери, что идет искать четырехлистный клевер, но на самом деле ей просто не хотелось ни с кем разговаривать. И вообще она с большим нетерпением ожидала отъезда.

Хотя Пер подсаживал ее в коляску, она даже не взглянула на него, а прощаясь, не подала ему руки, тогда как родители расстались с ним очень сердечно.

Во время предотъездной суеты гофегермейстер, покачиваясь, стоял на верхней ступеньке крыльца, махал вслед гостям носовым платком и злорадно скалил зубы, ибо был убежден, что пастор еле держится на ногах.

Пер ушел к себе. У него от волнения кружилась голова, так что, войдя в комнату, он должен был сразу присесть. В комнате было уже почти совсем темно. Багровый свет гаснущей зари пробивался сквозь купы каштанов, бросая отблески на потолок и стены.

Пер сидел в большом кресле у стола, закрыв лицо ладонями. В нем царил страшное, неведомое доселе смятение. Сперва он пытался уговорить себя, что просто ничего не понял,

что все это — игра больного воображения. Но спокойствие не приходило. Одна лишь мысль о том, что он может быть любим ответно, сводила его с ума. Словно небесный свет блеснул перед ним как раз в ту минуту, когда вечная тьма готова была поглотить его.

Он прижал руку к глазам, стараясь сдержать слезы. Вот и настал час возмездия. Суд божий поразил его, злая судьба Каина, одинокие скитания в пустыне отныне станут его уделом. И ему даже не на что роптать. Находясь в здравом уме и твердой памяти, он продал свою душу за блага земные. Сделка со счастьем, выпавшим на его долю, оказалась союзом, заключенным с самим сатаной. И сатана честно выполнил условия договора. Золото, почести, радости плотской любви — все земные наслаждения были повергнуты к его ногам. Оставалось только нагибаться и подбирать их.

Пер вскочил, схватившись руками за голову. Нет, это неправда! Господь не допустит. Так ли уже велики его прегрешения? Да, у него были ошибки, но за них он готов нести заслуженную кару. С холодным расчетом продал он и душевное спокойствие, и материнскую любовь, и отцовское благословение, и родину, положил на забрызганный кровью алтарь суетного честолюбия духовную общность со своей землей, своим народом, своим поколением. И это не единственная жертва! В иступленной погоне за призраком он омрачал жизнь других людей, он приносил одно лишь горе своим родителям, одни лишь заботы своим братьям и сестрам, он стал позором и разочарованием для своих друзей и доброжелателей. А как он обманул Якобу!..

Он не мог больше противиться мучительным укорам совести. Тяжело опустил он на край постели и, рыдая, закрыл лицо руками.

«Господи, господи! Я заслужил твой справедливый гнев. Я все заслужил, все, все!»

\* \* \*

В эту ночь он решительно и до конца порвал с прошлым и отдал себя во власть бога своих отцов. Целую ночь он лежал без сна, мысленно перебирая свою жизнь, и сознание собственной вины все больше тяготило его. Чувство греховности породило смирение, которого ему не доставало еще сегодня днем. Смирение вылилось в молитву.

Лишь под утро он немного успокоился, и когда слуга принес чай, он крепко спал.

Первое, о чем он подумал, проснувшись, было письмо — ненаписанное письмо к Якобе. Одним из выводов сегодняшней ночи было решение немедленно разорвать связь, которая не принесет обеим сторонам ничего, кроме горя. Здесь не понадобится длинных объяснений. Последние письма Якобы убедительно доказывают, что она готова к разрыву и даже сама желает его.

Одевшись, он тотчас же сел за стол и достал письменные принадлежности. Выразить все передуманное на бумаге оказалось не так-то легко. О том, как он обрел бога, Пер, когда дошло до дела, не решился писать подробно: это было новое, непривычное для него чувство, и он свято хранил его про себя. Он ограничился лишь несколькими поверхностными замечаниями об отсутствии общности мировоззрения, без чего немыслима счастливая семейная жизнь, и заверил Якобу, что он с тяжелым сердцем и лишь после длительной борьбы разрывает союз, столь ему дорогой.

Несколько раз он переписывал письмо, пока оно, наконец, не удовлетворило его. Желая избавить Якобу от незаслуженных оскорблений, он с величайшей тщательностью выбирал каждое слово и вину за ошибку, которая в свое время свела их, целиком брал на себя.

Днем, отправив письмо, он отдыхал в беседке, где сидела и гофегермейстерша с вышиваньем. Она просила его подержать моток ниток, и разговор некоторое время вертелся вокруг предметов безразличных, но Перу вдруг захотелось рассказать ей все как есть, начистоту, и он сообщил о расторжении своей помолвки.

Она пожелала ему счастья и сказала, что всегда этого ждала.

— А что вы намерены делать теперь? — спросила она после недолгой паузы. — Ведь



тем самым вы, сколько мне известно, отказываетесь от значительного состояния?

Пер ответил, что это обстоятельство бесспорно повлияет на его положение и заставит изменить образ жизни. В частности, он решил отменить поездку в Америку, по крайней мере на некоторый срок.

— Очень разумно с вашей стороны, — сказала гофегермейстерша. — Эта поездка никогда не вызывала у меня особого восторга. Довольно вы пошатались по белу свету за последние годы. Знаете, что я собиралась вам предложить? Вы ведь говорили с мужем о какой-то там перестройке водооросительной системы, о том, чтобы пустить реку по новому руслу, или как это у вас называется... Насколько мне известно, мужа очень заинтересовала ваша мысль, и мне лично она тоже кажется осуществимой. А раз так, вам, быть может, стоит обосноваться здесь и возглавить строительные работы, пока не отыщется ничего более для вас подходящего. Вам ведь здесь нравится, к тому же у вас здесь есть... друзья. Они будут рады, если вы поживете в Керсхольме подольше.

У Пера засияли глаза. Он понял ее слова как невольно сорвавшийся намек на чувства Ингер к нему. Ведь Ингер всегда всем с ней делится, и вряд ли гофегермейстерша стала бы заводить этот разговор, считай она, что Ингер предпочла бы никогда больше не видеть его.

Да и вообще предложение гофегермейстерши пришлось ему по душе. Он нуждался именно в такой уединенной жизни, чтобы обрести утраченное равновесие. И заработать немного ему бы тоже не грех. Для него будет делом чести как можно скорей расплатиться с Филиппом Саломоном и с Ивэном.

— Если вы ничего не имеете против, — продолжала гофегермейстерша, — я сегодня же поговорю об этом с мужем. Вам лучше всего ни во что не вмешиваться, пока заинтересованные стороны не придут к соглашению, а потому вы можете спокойно отлучиться. Я надеюсь, что все разногласия будут очень скоро улажены, и тогда мы снова увидим вас.

Отъезд свой Пер назначил на завтрашнее утро.

Впрочем, он собирался в Копенгаген не прямо, а хотел по пути заехать к себе на родину и, перед тем как начать новую жизнь, поклониться дорогим могилам, чтобы доказать самому себе полную искренность своего обращения. Заодно он принял решение и по другому вопросу, занимавшему его в последнее время. Как ни грустно, у него до сих пор нет настоящего диплома. Родителей, помнится, больше всего огорчало именно то, что он не завершил своего образования. И все, с кем ни заговори, узнав, что он инженер, первым делом спрашивали, окончил ли он политехнический институт. Он теперь и сам осознал, что при отсутствии официальных аттестаций ему будет очень нелегко получить постоянное и хорошо оплачиваемое место, где он сможет спокойно продолжать свои изыскания. Особенно теперь, когда личность его не светит отраженным светом саломоновских миллионов, ему просто не обойтись без той респектабельности, которую придает наличие диплома.

Желая как можно скорей наверстать упущенное, Пер решил сдать экзамен на землемера, или, вернее, подвергнуться дополнительному испытанию, которое достаточно для человека с незаконченным политехническим образованием, чтобы получить место окружного инспектора по землеустройству. На всю подготовку, если как следует поднажать, уйдет не больше чем полгода, а средства к жизни можно либо занять, либо взять как аванс у Хасселагера или еще у кого-нибудь из дельцов, заинтересованных в осуществлении его проекта.

После обеда он предпринял долгую прогулку, чтобы попрощаться с этими местами. Вот уже несколько дней очень парило, и ждали грозы. Небо было затянуто облаками, на северо-западе среди черных туч пылал багровый шар солнца, словно оплывала в подсвечнике чадающая свеча.

На вершине холма, откуда видна была церковь в Бэртрупе и пасторский сад, Пера застал дождь. Несколько тяжелых, крупных капель упали на его шляпу. Он поднял голову. Синяя молния на мгновение разорвала завесу облаков и сотрясла землю. И тут же на Пера низверглись потоки воды. Бежать не имело смысла: он слишком далеко ушел от Керсхольма.

Поэтому он решил спрятаться в открытом — без передней стены, сарае, куда во время сенокоса сгребали сено. Подгоняемый ветром, он припустил со всех ног и добежал до сарая как раз в то мгновение, когда новый удар грома оглушил его.

Оказалось, что не только он искал здесь убежища. В полумраке сарая он разглядел высокого худого человека в долгополом сером сюртуке и старомодной шляпе с широкими полями и высокой тульей. Это был пастор Фьялtring.

Пер растерянно поздоровался, потом они обменялись несколькими словами по поводу грозы. Пастора явно не слишком обрадовала эта встреча. Он чуть отвернулся и провел рукой по подбородку — невольный жест человека, который стыдится своей небритой физиономии. И действительно, когда глаза Пера освоились с темнотой, он заметил, что и подбородок и щеки пастора покрыты густой щетиной. И вообще пастор казался каким-то заброшенным и одичалым. Но больше всего поразила Пера голова Фьялtringа: она вся была обмотана черным шелковым фуляром, концы которого торчали из-под шляпы, и это обстоятельство, вероятно, тоже крайне смущало беднягу. Во всяком случае, он только чуть приподнял шляпу, здороваясь с Пером, хотя в остальном держался чрезвычайно любезно.

На западе новая молния прорезала облака, и снова сильный удар грома сотряс землю.

— Боюсь, она ударила где-то возле Бэструпа, — заволновался Пер.

— Вы здесь не совсем чужой, как я вижу, — ответил пастор.

— Да, я живу здесь уже несколько недель.

— Скажите, я ошибаюсь, или вы действительно были один раз в борупской церкви?

Тут Пер представился и рассказал, что гостит в Керсхольме у гофегермейстерши.

— Я, кажется, что-то слышал о вас. Вы ведь инженер, верно?

Пер утвердительно кивнул.

— Да, мы живем в такое время, когда хозяевами жизни становятся люди техники или, вольном переводе, мастера на все руки, — снова заговорил Фьялtring, немного помолчав. — Просто оторопь берет, когда видишь, как пароходы и поезда лишают нашу планету всякой значительности в наших собственных глазах. Расстояние между странами становится все меньше, а в один прекрасный день оно, пожалуй, вообще исчезнет.

— Вполне вероятно.

— Быть может, наступит такой день, когда машины свяжут нас с луной и со звездами. С точки зрения физики, это вполне допустимо, и тогда мы будем знать тайны мироздания, как содержимое своего кармана. Но вот расстояние от носа до рта пребудет неизменным, над этим человек не властен, — добавил пастор после непродолжительной паузы.

Пер невольно улыбнулся. Ему вдруг стало жаль пастора, потому что тот явно был не в себе.

Опять потолковали о погоде, о том, как внезапно разразилась гроза, о показаниях барометра и тому подобных вещах. Когда эта тема была исчерпана, а дождь все не унимался, пастор снова завел речь о современном господстве техники.

— Здесь одно время думали прокладывать железную дорогу. В наши дни было бы неплохо, если бы к каждому двору вела железнодорожная ветка. Сколько мне известно, план этот до сих пор не предан забвению.

Пер коротко отвечал, что всемерное развитие путей сообщения есть жизненно важное условие нашего времени.

Пастор задумался. Он по-прежнему смотрел куда-то в сторону, на косые струи дождя.

— Жизненно важное? — повторил он со слабой улыбкой. — А что теперь считается не жизненно важным? Врачи и инженеры, преподаватели и военные — каждый ратует за свое. Не постигла бы нас участь людей апоплексического сложения. Ведь они, как известно, умирают от избытка крови.

— Ну вряд ли датчанам непосредственно угрожает такая опасность. Сперва надо еще возместить то, чего мы лишились в шестьдесят четвертом.

— Возместить, — протянул пастор, по-прежнему не глядя на Пера, и в его глазах полыхнули синие огоньки, словно отблеск молний, все еще бороздивших западную часть

небосклона. — А я считаю, что нас до сих пор питают те духовные силы, которые рождаются у народа в годину бедствий. Было мгновение, когда почти все мы осознали, что в мире нет ничего жизненно важного, кроме милости господней.

Пер не без смущения ответил старой поговоркой: «На бога надейся, а сам не плошай». Но пастор только покачал головой.

— Ну, божью помощь не назовешь помощью в обычном смысле слова.

— Однако, выбрались же мы тогда из разрухи?

— А кто сказал, что нам помог бог? Если судить по результатам, то скорее всего надо приписать случившееся вмешательству дьявола.

Пер решил, что не стоит заводить спор с этим безумцем. Но в пасторском осуждении нового времени прозвучали нотки, которые затронули его как представителя этого времени, и потому он счел своим долгом защищаться. Он сказал, что страх божий, поддерживавший народ Дании в несчастье и превращавший слабых в героев (тут Пер снова с волнением вспомнил свою мать), что этот страх не оставил народ и в дни мира и что именно ему мы обязаны возрождением страны — во всяком случае, за пределами столицы.

Но пастор бесцеремонно перебил Пера, заметив, что слова «страх божий» вообще неприменимы к христианам наших дней, ибо сейчас принято по-панибратски брать господя под ручку, а то и вовсе в детском порыве любви бросаться ему на шею. Явно подразумевая Бломберга, он что-то съязвил насчет «уютного христианства Вартовской молельни» — христианства, которое вскоре сделается истинной религией страны, ибо со своим лексиконом, словно подслушанным в детской комнате, со своим поэтическим сюсюканьем оно просто создано для такого народа, как датчане, для народа, отыскивающего идиллию даже в религии и возмещающего лирикой недостаток веры.

— Вот вы говорили про военные годы. Но вы слишком молоды, чтобы помнить это время. Иначе вы сами со вздохом сожаления о невозвратно ушедшем вспомняли бы порой годину великих испытаний. Кто пережил военное время, кто был свидетелем великого мужества, беззаветного самоотречения, готовности на любые жертвы, на любые муки — всех свойств, которые перед лицом общей беды рождались даже среди слабых духом, тот понял... или просто почувствовал, каких высот способен достигать дух народа. Можно лишь пожалеть о том, что тогда не было завершено уничтожение национального языка. Теперь нам остается только ждать, пока господь в своем божественном милосердии уничтожит национальные границы внутри германской расы и мы мало-помалу окончательно растворимся в ней. Ибо судьба нации сходна с судьбой отдельного человека: душа ее обретает свободу лишь после смерти.

Было время, когда избранным народом считались греки, и бог гласил их устами. Потом мы искали божественные откровения в безыскусной мудрости пастушеских племен Израиля. Настанет день, когда мы, северогерманская раса, с нашим лютеранским варварством коснемся покровов вечности.

Пер удивленно взглянул на него, и пастор, перехватив этот взгляд, оборвал на полуслове, словно испугался или просто пожалел, что так разоткровенничался. Он замолк и, хотя дождь не унимался, торопливо кивнув Перу, поспешил прочь.

За ужином, все еще находясь под впечатлением этой встречи, Пер подробнее расспросил гофегермейстершу о Фьялтринге. Помимо всего, его очень заинтересовало, зачем это пастор обвязывает голову.

— У него страшные боли в затылке, — объяснила гофегермейстерша. — И потом, он считает, будто у него опухоль в мозгу. Что ни говори, а жалко его.

## Глава XXII

Якоба заперлась у себя в комнате. Она сидела за секретером, опершись головой на руку, и задумчиво смотрела, как раскачиваются на ветру верхушки деревьев. Ее огромные глаза горели лихорадочным блеском, грудь порывисто вздымалась. Перед ней лежало

письмо Пера (его принесли с утренней почтой) — послание, написанное каллиграфическим почерком на четырех страницах, без единой пометки, шедевр искусства чистописания. Она прочла письмо всего два раза, но уже выучила его наизусть.

Она не знала, о чем больше жалеть: то ли о неимоверных усилиях, которые он явно затратил, подбирая эти витиеватые обороты, то ли о лицемерии, с помощью которого он пытался скрыть и от нее и от себя самого истинную причину их разрыва. Ведь надо же до последней минуты проявлять такое отсутствие решимости, такое неумение взглянуть правде в глаза! Чего бы она ни отдала, лишь бы он хоть теперь, один-единственный раз был честным до конца и открыто признался ей, что полюбил другую. Так вот нет же! Видно, дьявольская изворотливость крепко засела у него в крови. Ну что поделаешь, если человек боится дневного света. Это у него наследство от Сидениусов. Он не признает естественных чувств в неприукрашенном виде. Раньше забота о будущем человечества и процветании родной страны прикрывала самое обыкновенное себялюбие, теперь религия должна замаскировать малодушие и жалкое подобие тоски по родине.

Ну, хватит! Она встала и закинула руки за голову. Что толку изводить себя бесплодными размышлениями!

И без того она столько времени думала о нем — пора и отдохнуть. Ее мыслям незачем больше блуждать в затхлом воздухе, которым дышит он. Она свободна. На всех сердечных тревожениях можно поставить крест. Жалкий, бесцветный роман окончен.

Вот только известить родителей — прочь отсюда! Мешкать нельзя. Судя по всему, Пер собирается в Копенгаген, чтобы привести в порядок свои дела. Страшно и подумать, что она где-нибудь, прямо среди улицы, рискует наткнуться на него. Вдобавок ей с каждым днем становится все труднее скрывать свое положение. Очень может быть, что мать уже кое о чем догадывается, а она предпочла бы обойтись без объяснений, по крайней мере сейчас. Поэтому надо уезжать не откладывая. Все уже готово в дорогу, задерживаться не из-за чего.

Тут Якоба вспомнила, что именно в это время мать легче всего застать одну. Розалия купается вместе с малышами, а отец и Ивэн давно уехали в город.

Мать сидела в гостиной за швейной машинкой, окруженная горами простынного полотна, которое она собиралась подрубить.

— Все-то ты в хлопотах, мамочка, — начала Якоба и поцеловала ее в лоб. — То сидишь за счетами, то еще что-нибудь придумашь.

Ее тон сразу же заставил мать насторожиться. Но она не подала и виду и даже потрепала дочь по щеке со словами:

— Да, девочка. В мое время работа была единственным средством, которое помогало нам скоротать жизнь... Впрочем, другого, по-моему, до сих пор не придумали.

И она снова принялась крутить машинку.

Фру Леа начала надевать для работы очки и вообще сильно постарела за последний год.

Якоба молча прошла по комнате, взяла со стола газету, положила ее обратно, потом села в кресло, поближе к матери.

— Мама, — сказала она, — я как-то тебе говорила, что мне, может, еще захочется погостить у Ребекки в Бреславле. Вот мне и захотелось. Но у меня слишком рано в этом году кончились деньги. Ты не могла бы попросить отца, чтобы он мне добавил немного?

— Отчего же нет, — нерешительно отвечала мать. — А когда ты думаешь ехать?

— Как можно скорее. Хоть завтра.

Мать остановила машинку и взглянула на дочь в упор.

— Значит, ты уедешь одна?

— Да.

— А свадьба?

Якоба опустила голову. Она не вынесла взгляда матери — уж слишком большими и черными казались ее глаза за стеклами очков.

— Видишь ли, — она замялась, разглядывая свои руки, — видишь ли, раз уж пришлось к слову, могу тебе сообщить, что моя помолвка расторгнута.

Воцарилось долгое молчание.

— Так вот почему к тебе последние дни нельзя было подступиться?

— Разве нельзя было? Тогда прости меня.

Мать встала, подошла к Якобе и, зажав между ладонями ее лицо, заставила ее поднять голову.

— А других секретов, дочурка, у тебя нет?

— Об этом ты не должна меня спрашивать, — ответила Якоба со слезами на глазах. — Ты ведь сама учила меня: о своей любви не рассказывают.

Мать несколько растерялась; потом выпустила из рук голову Якобы и отошла.

— Сколь же денег тебе понадобится? — Отойдя в другой конец комнаты, она начала что-то переключать на столе. Казалось, после слов Якобы ей не сидится на месте.

Якоба назвала довольно крупную сумму.

Мать снова взглянула на нее.

— Значит, ты уедешь надолго?

— Да, ты ведь сама понимаешь, что мне не очень теперь будет весело дома. Расторгнутая помолвка всегда поднимает целую бурю сплетен. Мне жаль, что я навлекая столько неприятностей на вас с папой, но, если можно, простите меня.

— Ну, нас твоя помолвка никогда особенно не радовала. Однако мы считали... — Заметив нетерпение дочери, фру Леа оборвала на полуслове. С этой минуты разговор шел о вопросах чисто хозяйственных — что взять с собой в дорогу, чего не брать.

Вернувшись к себе, Якоба начала тотчас же укладывать вещи в чемодан и прятать те, которые она не хотела брать с собой. Впрочем, сборы и без того были почти закончены.

Якоба давно уже втайне готовилась к отъезду, быть может последнему отъезду из родного дома. Она сложила в аккуратные стопки письма подруг, перевязала и запечатала сургучом, написав сверху имена отправительниц, чтобы их не перепутали, если она и на самом деле не вернется домой. То же сделала она и с письмами Пера. Выводя на пачке «Сидениус», она улыбнулась, несмотря на мрачное настроение. Вот уже поистине господь избавил: ей не придется носить это варварское имя.

Незадолго до обеда ее позвали к отцу. Тот дождался за закрытой дверью в библиотеке. Увидев Якобу, он молча поцеловал ее в лоб и сразу заговорил о финансовой стороне дела. Про Пера он даже и не вспомнил.

— Как ты думаешь, сколько тебе понадобится? — спросил он, извлекая из кармана записную книжку.

Якоба назвала сумму гораздо меньшую, чем та, которую она упомянула в разговоре с матерью. Ей страшно стало, что отец тоже начнет выпрашивать, надолго ли она уезжает.

Но отец ничего не стал спрашивать, он просто молча проставил в записной книжке сумму, удвоив ее по собственному почину.

— Завтра я принесу тебе готовый аккредитив.

За обедом Якоба из всех сил старалась казаться очень оживленной, впрочем, она и на самом деле была гораздо веселее и спокойнее, чем в последнее время. Рассеялся удушливый туман неопределенности. Если бы она могла вдобавок отогнать от себя мысль, что едет навстречу смерти, она была бы почти счастлива.

Но мысли о смерти завладели всем ее существом. Каждую минуту у нее кровь застыла в жилах от страха. Поэтому она и не решилась ни в чем признаться матери. А то мать тоже начала бы тревожиться. Своим напускным весельем Якоба надеялась усыпить все ее подозрения.

Родители держали себя весьма спокойно. Зато Ивэн был совершенно убит. Он, сопровождавший обычно каждый проглоченный кусок длинной тирадой, за весь обед не проронил ни слова.

После обеда он сразу же прошел в библиотеку. Отец уже сидел там и что-то писал.

— Я не помешаю?

— Нет, ты пришел как раз вовремя. Я только что хотел послать за тобой. У тебя какие-



нибудь неприятности?

— Те же, что и у тебя. Я получил письмо от Сидениуса — несколько слов, — оно касается твоих с ним финансовых взаимоотношений. Он просит меня сообщить тебе, что он намерен вернуть свой долг до последнего эре и просит лишь о некоторой отсрочке.

Филипп Саломон ничего не ответил. Он не мог заставить себя произнести имя Пера.

— Нет, я звал тебя не за этим, — сказал он и взял со стола записку, которую только что составил.

— Сделай одолжение, возьми это и немедленно поезжай в город. И смотри, чтобы отпечатали по возможности скорей. Как ты видишь, это извещение для наших знакомых. Прикинь по пути, сколько экземпляров понадобится. Но пусть не мешкают: их надо разослать самое позднее завтра с вечерней почтой.

Вот что стояло в записке: «Филипп Саломон и его супруга настоящим извещают о расторжении помолвки между их дочерью Якобой и господином П. Сидениусом, инженером».

Как раз в тот самый вечер, когда это извещение разошлось по обширному кругу саломоновских знакомых, Пер, прогостив целые сутки в родном городе, среди необозримых лугов, выехал в Копенгаген.

На родине его никто не узнал, сам он тоже не стал никого разыскивать и провел все время наедине со своими невеселыми думами. На сей раз город встретил Пера совсем не так, как в день смерти отца. Тогда вся это провинциальная невзрачность — кривые улочки, жалкие лавчонки казались Перу чуть смешными и в то же время будили сострадание. За годы, прошедшие с того дня, Пер осознал, что духовная связь его с родным городом никогда не порывалась, и по мере того как воспоминания детства занимали все большее место в его внутренней жизни, чувство, которое он испытывал к родным местам, приобретало характер молитвенного преклонения. Из Берлина и Тироля, из Рима и Копенгагена мысли его совершали паломничество в этот уголок земли, где скрещивались неведомые нити его судьбы, скрещивались, бежали дальше, исчезали в бесконечности. Маленький городок, окруженный лугами, затерявшимся среди высоких холмов, стал для него вратами, через которые проходил путь к началу всех вещей и явлений.

И все же он не сразу решился посетить знакомые места. Больше всего пугала предстоящая встреча с Сидегаде — улицей, где стоял их дом. Несмотря на искреннюю готовность смириться, прошлое еще слишком сильно владело душой Пера. Он не мог отделаться от мрачных воспоминаний, связанных с этим большим угрюмым строением и тюремными стенами, окружавшими его. Даже на кладбище, возле родных могил, сердце его не исполнилось настоящей сыновней благодарностью. Когда он увидел тяжелый надгробный камень, который община поставила на отцовской могиле, в нем ожил былой дух протеста.

Правда, теперь он никого не винил в том, что с детских лет жизнь его омрачали тени прошлого, но мозг неотступно сверлила мысль: как хорошо могло бы все сложиться, не будь отец и мать настолько скованы предрассудками своего времени в вопросах религии или в любых других. От какого множества ошибок и постыдных падений был бы он избавлен, если бы еще ребенком познал то человеческое, благодостное восприятие бога, которое теперь распахнуло его сердце для величайшего из всех доступных человеку чувств.

И что всего хуже: ведь потери, которые он понес, невозвратимы. Чувство одиночества и духовной нищеты, терзающее его сейчас, не покинет его до гроба. Пусть его будущее сложится теперь как угодно счастливо, пусть даже осуществится прекрасная мечта о любви, унесенная из Бэструпа, все равно, в том уголке сердца, где другие хранят самые светлые воспоминания, останется пустота. Ибо только тот поистине нищ, у кого нет даже воспоминаний о безоблачном детстве.

Вечером, когда Пер, вернувшись в отель, сидел за чашкой кофе с бутербродами, случилось нечто непредвиденное.

Вместе с ужином кельнер подал ему газету, в том числе одну местную, название которой он помнил еще с малых лет и потому решил заглянуть в нее. Раздел «Вести из

столицы» на первой полосе газеты извещал своих читателей о последних событиях, занимающих умы копенгагенцев. Здесь вперемежку шли придворные новости, театральная хроника, сплетни из жизни Тиволи и цирка. И среди всей этой мешанины Пер наткнулся на заметку о «нашумевшем самоубийстве одного из представителей светского общества». Молодой человек, подающий надежды, кавалерийский офицер в отставке, лишил себя жизни при весьма романтических обстоятельствах. Он, как сообщалось в газете, любил и был уверен в ответной любви. Предмет его страсти — молодая, недавно вступившая в брак дама из еврейской финансовой аристократии. Когда же оказалось, что его надежды тщетны, он, вернувшись домой с дарованного ему свидания, тотчас же пустил себе пулю в лоб.

Пер то краснел, то бледнел, читая это сообщение. Хотя газета не называла имен и он ничего не слыхал раньше о смерти кавалериста Иверсена, он сразу догадался, что речь идет о нем и о Нанни... о той самой Нанни, чьи обнаженные руки всего лишь несколько недель назад обвивали его шею! Он дочитал все до конца, хотя порой ему чудилось, будто по его спине извивается холодная, как лед, змея. Газета наиподробнее образом, совершенно в духе времени, излагала все детали самоубийства. Добросовестно составленная заметка не щадила своих читателей: она пространно живописала заплеванной, грязный пол, на котором лежало тело, диван, куда его перенесли, скатерть, всю в пятнах брызнувшего мозга. Правда, содержание последнего письма самоубийцы не приводилось полностью, но сделанных намеков с лихвой хватало для того, чтобы удовлетворить любопытство толпы, не нарушая при этом той неприкосновенности частной жизни, которую гарантирует нам закон.

После этого Перу уже кусок не шел в горло, и он вернулся к себе в номер. Но сколько он ни расхаживал из угла в угол, гнетущие мысли не проходили. У него в глазах темнело, когда он думал, что едва не угодил в сети этой женщины, что он, а не Иверсен мог оказаться сейчас жертвой падких до скандалов писак, если бы он не...

Да, именно — если бы!

При этих словах он остановился, приоткрылась дверь в какой-то тайничок его души, и потоки света, хлынувшие туда, озарили призрачные, забытые картины прошлого. Вот он видит себя в ту ночь, когда он спасется бегством из постели фру Энгельгард, охваченный непреодолимым отвращением к тем радостям, которые дарят продажные женщины. Вот другой случай, из еще более далекого прошлого, когда он был совсем мальчиком и его завлекли черные глаза маленькой побирушки, живущей у Рийсагеров. Тогда, тоже в решающую минуту, его спасло чувство стыда, вызванное в нем гадкими словами и телодвижениями испорченной девчонки. И еще много-много раз он мог стать добычей порока и скверны, если бы... да, если бы в самых глубинах его души не жил инстинктивный, подсознательный страх перед грехом, если бы через посредство своих родителей, и особенно отца — отпрыска древнего пасторского рода, — он не заключил договора со спасительными силами жизни, хотя в гордыне своей он и пытался отрицать их существование. Духовное наследие Сидениусов, которое он считал проклятием всей своей жизни, оказалось именно тем спасительным амулетом, тем знаком благодати, что тайно снизошла на него. Вот благодаря чему с ним не страшилось еще худших бед.

Но эта прирожденная воля к свободе, эта жажда самосохранения, действующая независимо от всех религиозных учений, не есть ли она дыхание самого господя, библейский «святой дух», христианский ангел-хранитель, который незримо бдит над ним, который всякий раз удерживал его от последнего шага в пропасть, который невредимым провел его сквозь все искусы жизни?

Пер подсел к окну, выходящему в тихий, безлюдный переулок. Высунувшись из окна, он разглядывал скопление крыш и белых труб, залитых лучами уходящего солнца. Только теперь он до конца понял самого себя, понял, что творилось с ним в последние дни. Уже в Керсхольме он почувствовал себя христианином, но там он склонился скорее перед голосом неумолимой совести, чем перед свидетельством ума и сердца. Лишь в этот миг вера снизошла к нему как свет познания, разгоняющий тучи сомнений. Когда он, подперев голову рукой, смотрел на золотисто-багряное вечернее небо, в его душе свершилось великое чудо,

которое уже давно готовилось исподволь, — в нем родился новый человек.

Значит, он все-таки наследный принц! Венец бытия, сыновнее единство с богом вечным и неизменным даровано ему при рождении; все подлинные ценности мира: покой сердца, гармония ума, радость жизни, презрение к смерти — все они достались ему в наследство.

Когда он поутру снова отправился на кладбище, тени прошлого больше не преграждали ему путь. Именно в том уголке сердца, который доселе казался ему пустым и мрачным, засияли теперь золотые россыпи наследственных богатств, сокровища веры, собранные благочестивыми праотцами, ревностно сберегаемые, переходящие из поколения в поколение, приумноженные в годы лишений силой собственной воли.

Пер опустился на маленькую скамеечку возле могилы. На могильном камне сверкало высеченное золотыми буквами имя отца — «Иоганн Сидениус». Стояло чудесное августовское утро, тихое и солнечное. Он был здесь совсем один. На просторном, огороженном высокими стенами кладбище не было ни души.

В воздухе протянулись переливчатые нити паутины — вестники бабьего лета, они оплели серебром кусты и деревья; на каждой чашечке цветка, на каждой травинке повисли тяжелые золотые капли росы. Верхушки старых пирамидальных тополей в широкой аллее чуть шелестели от ветра, а внизу, возле самых могил, не колыхался ни один листок. Тишина стояла такая глубокая, будто ее породила сама вечность.

Больше часу просидел Пер, никем не тревожимый, в радостном и торжественном волнении, целиком отдавшись неведомому доселе чувству умиротворенности и внутреннего покоя. Даже мысли об Ингер отошли в эти минуты на задний план. Зато о Якобе он вспоминал — и не раз. Теперь, найдя путь к спасению, он не мог не тревожиться о тех, кто не видит исхода своим горестям. Впрочем, для Якобы вряд ли осталась какая-нибудь надежда. Она принадлежит к народу, который возвел свое отступничество и отрицание в жизненный принцип. Но для датской молодежи, совращенной, с пути истинного, час спасения близок. И на нее снизойдет то же ясное, солнечное мироощущение, которое озарило теперь и его бытие. Он вспомнил пророческие слова из исповеди Поуля Бергера:

«Миновала ночь, развеялся мрак; божий день снова наполняет покоем и счастьем всех, кто хочет молиться. Как дикие утки в полете вытягивают шею, заведя издали за бесплодными горами морские просторы, как солдаты после утомительного дневного перехода, опаленные солнцем, покрытые дорожной пылью, припадают к роднику, чтобы испытать животворной влаги, — так и ты, о человечество, утолишь свою жажду, у вновь обретенного источника благодати».

\* \* \*

Разрыв между Якобой и ее женихом вызвал величайшее волнение среди многочисленных знакомых. Событие обсуждали даже на бирже. Пер вторично сделался предметом пересудов благодаря своей связи с домом Саломонов. Люди задавали друг другу вопрос: что же мог натворить молодой человек, если Саломоны сочли разрыв необходимым? Целую неделю имя его было у всех на устах, к чему он так в свое время стремился.

Нанни, уже вполне оправившаяся после всех страхов, вызванных самоубийством Иверсена, не щадила сил, чтобы просветить публику. Она быстро смекнула, что к чему, и с удовольствием выкладывала всем и каждому, что бедненькую Якобу подло обманули. Нарядившись в божественное летнее платье с белыми, как символ невинности, газовыми рукавами и украсив шляпку ангельскими крылышками, Нанни порхала из дома в дом и под страшным секретом, который, как она надеется, «не выйдет из этих стен», сообщала решительно всем, что жених сестры — ах, негодяй! — вместо того чтобы ехать в Америку, приволокнулся за какой-то крестьянкой. Подумать только! Простая коровница! Возведя очи горе она декламировала:

*Он грусть позабыл, он счастье нашел  
На дне суповой кастрюли.*

Какими-то путями достигли эти слухи и ушей полковника Бьерреграва. Старый вояка совсем было решил поддержать Пера в борьбе за осуществление его грандиозных замыслов и даже, если понадобится, лично выступить в защиту Пера и против копенгагенского проекта. Но дни шли, а его никто ни о чем не просил, и полковник опять начал сомневаться. Его возмущало неразумие, с каким Пер вышел из борьбы и удалился от дел именно тогда, когда его присутствие было более всего необходимо. Сначала Бьерреграв счел это очередным проявлением юношеского высокомерия, потом сообразил, что причина тут гораздо серьезнее, а когда он услышал о расторжении помолвки, то и вовсе расстроился.

Якоба между тем без всякого шума покинула родительский дом. Пер не успел еще вернуться в Копенгаген, а она уже находилась на пути в Берлин. После долгого, подобного заточению, одиночества в Сковбаккене ей даже скучная дорога показалась занимательной. А когда вечером она ехала со Штеттинского вокзала в Центральотель и шум огромного города захлестнул ее, словно волны прилива, она испытала радостное возбуждение. Оживленная толпа на Фридрихштрассе, призрачный свет электрических фонарей, длинные ряды экипажей, цокот лошадиных копыт по асфальту, лязг вагонов надземки над головой и, наконец, огромное здание отеля, где люди снуют взад-вперед, словно пчелы в улье, где на лестницах и в коридорах слышится речь на всех языках мира, от всего этого измученное сердце Якобы вспыхнуло болезненной жаждой жизни.

Ей казалось, что вот наконец-то она вернулась под родной кров. Здесь, среди бушующего людского моря, она чувствовала себя в полной безопасности. Конечно, она сознавала, как много зла таят его мрачные глубины, как много потерпевших крушение пошло ко дну и засосано илом. Она знала огромную беспомощную армию бедняков, без которой не обходится ни один большой город, знала серое лицо и пустые глазницы нищеты, рядом с которой сельская бедность, упитанная и краснощекая, кажется почти богатством. Но что ей в том! Даже жалкое бездомное существование, которое влачат отверженные большого города, казалось ей теперь в тысячу раз богаче и полноценнее, чем сонное прозябание крестьянина, и она прекрасно понимала, почему эти люди, несмотря на голод и нужду, продолжают цепляться за камни городской мостовой, покуда сама смерть не разомкнет их руки. Большому городу присуще очарование моря. А бурное кипение морских волн подобно отчаянной борьбе за жизнь, дикой суе, непрерывной цепи падений и взлетов, когда людям до последней минуты чудятся безграничные неизведанные возможности.

Снова и снова мысли Якобы возвращались к ребенку. Она надеялась, что он, если пойдет в своих северных предков, не будет ни капли похож на тех черноземных, привязанных к своему плетню людишек, для которых и белый свет и счастье кончаются там, где скрывается из глаз дым родного очага. Надеялась, что ее ребенок станет истинным сыном моря, вольным викингем, одержимым жаждой борьбы, которая сродни вечному беспокойству в ее собственной еврейской крови, сродни вечной тяге к странствиям, тем неустанным, тем целеустремленным порывам, которые уже многих мужчин и женщин из ее рода сделали идейными вождями человечества.

С каждым днем она все больше понимала конечный вывод земной мудрости: счастье можно обрести лишь в борьбе, — хотя бы потому, что борьба дарит самое глубокое забвение. Жизнь подобна войне: кто находится в самой гуще боя, тот меньше всего думает об опасности, меньше всего боится крови. Лишь у трусов дрожат колени, лишь на побледневших лицах мародеров написаны ужасы битвы.

## Глава XXIII

Приехав в Копенгаген, Пер сразу же принялся улаживать квартирные и денежные дела, чтобы потом спокойно засесть за работу. Он решил попросить займы у адвоката Верховного суда Хасселагера тысячи полторы — этого хватило бы по меньшей мере на год. Хотя и противно было одолажаться у людей, чей образ жизни и вечную погоню за наживой он теперь так глубоко презирал, но другого выхода он не видел. К тому же лишним временем он не располагал: ему не терпелось опять взяться за дело.

В качестве обеспечения он собирался предложить два наконец-то полученных патента на модели ветряного и водяного двигателей, один патент он получил здесь, другой — за границей. Правда, охотников на эти изобретения до сих пор не нашлось, да и сам Пер не делал тайны из того, что большого значения они не имеют. Он считал конструкцию законченной только наполовину, но руководствовался тем, что Хасселагер, как человек достаточно пронырливый и хитрый и вдобавок понимающий всю значительность его проекта, сумеет как-нибудь не упустить своей выгоды, оказав ему денежную поддержку.

И действительно, Хасселагер принял его с безукоризненной любезностью, но вел себя весьма сдержанно, так как день тому назад узнал о расторжении помолвки. Потолковали о планах Пера, о перспективах, в частности о дальнейшем усовершенствовании его изобретений, и Пер счел своим долгом говорить вполне откровенно. Но когда под конец он прямо попросил у Хасселагера займы, тот вдруг скис и с подкупающей обходительностью истинного копенгагенца начал сетовать на то, что вряд ли сможет удовлетворить просьбу Пера, что он принципиально никому не одалживает денег без предоставления достаточных гарантий. Это, так сказать, деловое правило, которого каждый юрист должен неукоснительно придерживаться, если не хочет, чтобы его заподозрили в недозволенных махинациях.

Тогда Пер спросил, стоит ли попытаться счастья у других людей, тоже интересующихся проектом, но не связанных подобного рода соображениями; и Хасселагер после короткого раздумья ответил, как и следовало ожидать, что таких людей найдется сколько угодно. Этот рослый, полнокровный, белокурый датчанин по своей хватке весьма успешно подражал Максу Бернарду и не боялся самых рискованных финансовых операций, но если дело доходило до кровопролития, он, не обладая бесстрашием анемичного Макса Бернарда, предоставлял другим добывать жертву. В данном случае он сослался на землевладельца Нэррехаве, к которому, впрочем, Пер пошел бы и без его советов. Уже на следующий день Пер отправился в Фредериксберг, где на убранной соответственно с доходами и вкусами хозяина вилле проживал под маской скромного хлебопашца аферист и делец.

Плотный и неуклюжий ютландец тоже прослышал краем уха о расторжении помолвки, но не захотел верить своим ушам, а потому принял Пера с наиприветливейшей улыбкой и долго тряс его руку своей теплой и липкой рукой. Но едва Пер изложил свою просьбу, Нэррехаве смолк; его маленькие свиные глазки украдкой отыскивали обручальное кольцо на правой руке Пера. Чем дольше говорил Пер, тем величественнее разваливался Нэррехаве в своем позолоченном кресле. Под конец он скрестил руки на груди и тоном, не допускающим возражений, заявил, что просит не впутывать его в эту историю.

Пер начал терять терпение. Он напомнил своему собеседнику, что тот сам не далее как минувшей весной совместно с Хасселагером предложил ему свою поддержку, и в такой форме, которая делает сегодняшнюю просьбу вполне естественной и закономерной. Но землевладелец невозмутимо покачал головой и повторил на своем провинциальном наречии:

— Меня в это дело не впутывайте, нечего тут!

Пер не удовлетворился подобным ответом и потребовал объяснений. С той деревенской бесцеремонностью, на которую и рассчитывал Хасселагер, землевладелец Нэррехаве отвечал, что «ситуация» (любимое слово Нэррехаве) коренным образом изменилась, с тех пор как Пер — в чем нет теперь ни малейших сомнений — не является более будущим зятем Филиппа Саломона. Одновременно он выразил свое удивление по поводу разрыва с эдакими богачами и даже пытался выведать причины. Но тут Пер встал с



таким выражением, что Нэррехаве оборвал свои расспросы на полуслове, и в упор спросил:

— Короче говоря, вы отказываетесь дать мне взаймы?

Землевладелец опять заколебался. Уверенный тон Пера всколыхнул в нем остатки бывшего уважения, которое он почувствовал к Перу после достопамятного сближения у Макса Бернарда. Он сложил на животе свои жирные ручки и вертел большими пальцами, а маленькие пороссячи глазки пытливо смотрели на Пера, пока их владелец взвешивал про себя все «за» и «против» этого предприятия.

— Нет, — словно выстрелил он после недолгих размышлений. — Знать ничего не желаю.

Не успел он кончить, как Пер схватил свою шляпу и опрометью бросился вон.

На улице он немного успокоился. Ведь если поразмыслить здраво, у него нет никаких оснований жаловаться. Он принимал участие в дикой пляске вокруг золотого тельца. Диво ли, что телец, долго не получая жертвоприношений, начал бодаться?

Но что теперь делать? Деньги нужны до зарезу. У него еле-еле наберется наличными сотня крон.

Пер пошел в парк. Он долго сидел на скамейке и все ломал голову в поисках выхода. Изобретательностью, выгодно отличавшая его как инженера, не покинула его и в этих тяжелых обстоятельствах. Когда час спустя он встал со скамьи и отправился домой, в его голове уже созрел план. Он просто-напросто пойдет к полковнику Бьерреграву, кстати, он так и не нанес ему до сих пор ответного визита. Пер не собирался просить денег у самого полковника; полковник просто должен будет замолвить за него словечко перед статским советником Эриксом, известным меценатом, с которым он встречался в доме Саломонов. Раньше Эриксен, насколько Перу было известно, охотно оказывал поддержку людям такой специальности. Пер и сам бы обратился к Эриксену, но не мог сделать этого именно потому, что они познакомились в доме бывшего тестя. И вдобавок, вообще не слишком-то приятно просить взаймы у малознакомого человека.

Во второй половине дня Пер уже сидел в кабинете полковника Бьерреграва на том же плетеном диванчике, где три года назад с таким жаром развивал перед хозяином свои планы. Полковник сидел за письменным столом, чуть откинувшись назад, и поверх очков разглядывал Пера полусочувственно, полуиспытующе. От своего племянника Дюринга Бьерреграв уже слышал, что Пер и его невеста не сошлись в вопросах религии. Хотя он — а как же иначе! — считал эту причину весьма и весьма уважительной, он все же смотрел на Пера как на человека, который от несчастий повредился в уме.

Пер начал с извинения за то, что он так замешкался с ответным визитом, но у него были, как он выразился, личные причины, в силу каковых он хотел пожить некоторое время вдали от Копенгагена.

Благосклонное молчание полковника показывало, что объяснение признано удовлетворительным.

После этого Пер прямо заговорил о своих денежных затруднениях и рассказал Бьерреграву, как он намерен выпутываться из них. У него, Пера, есть основания полагать, что при любезном содействии господина полковника он может рассчитывать на поддержку статского советника Эриксона, тем более что Эриксен наслышан о нем из других источников и заранее расположен к нему.

Хотя полковник для себя уже бесповоротно решил не связываться с этим делом, он тем не менее изъявил готовность посодействовать Перу, разузнать, что и как, а потом известить его. Он считал, что Пер явно не в себе, а потому с ним лучше не спорить. Пер стал каким-то возбужденным и не в меру болтливым. Тревоги последних дней и радость, которую он испытывал, сбросив с себя прежнюю оболочку, вызвали у него наивное желание с кем-нибудь пооткровенничать. И не только в этом он изменился. Он побледнел, осунулся, и глубокие тени легли у него под глазами. Вдобавок он, еще в Керсхольме, отпустил бороду и длинные волосы, а его платье и обороты речи выдавали стремление опроститься в духе евангельской народности.

Когда он ушел, полковник некоторое время сидел погруженный в мрачное раздумье. «Вот бедняга, — думалось полковнику, — его песенка спета. А ведь какие были способности! Да что там способности — гениальный был человек!» Правда, в душе полковник порадовался, что те преобразования, которые в свое время не удались ему, не удаются и другому. Но если судить с точки зрения интересов отечества, радоваться было совершенно нечему. Полковник возлагал на Пера большие надежды. Он видел в нем провозвестника нового расцвета черноземных, первозданных сил датской нации, он ждал, что люди, подобные Перу, освободят страну от засилья евреев и прочих полунемцев, воспользовавшихся усталостью народа после войны, чтобы захватить власть в стране.

Тут Бьерреграва вспомнил про своего племянника, который как раз на днях выкинул очередной фокус. Чтобы заручиться поддержкой дюринговской газеты, правление одного из крупнейших акционерных обществ избрало Дюринга своим членом. Это давало ему возможность ежегодно получать без всяких забот несколько тысяч крон. Малый того и гляди скоро пролезет в ригсдаг. Это исключительное везение порой заставляло Бьерреграва усомниться в существовании высшей справедливости. Человек, не знающий чувства любви к родине, ни во что не верящий, не способный к настоящему труду, безостановочно поднимался вверх по лестнице почестей, успеха и славы, тогда как люди истинно достойные, так сказать прирожденные вожди, обладающие силой, здоровьем и преданные своей родине, прозябали в безвестности. Впрочем, в Дании всегда так было. Поколение за поколением вырастало цветущее, ясноглазое, вольнолюбивое и сильное. Поколение за поколением сходило в гроб надломленное, согнутое, побежденное. Словно тайная болезнь подтачивала силы нации, истощала лучшую часть молодежи и оставляла страну беззащитной перед вражеским нашествием.

\* \* \*

Пер снял комнату у старушки вдовы в особняке, на одной из тихих улочек за фредериксбергским парком. Он поселился на окраине, не только чтобы жить поближе к Высшей сельскохозяйственной школе, где намеревался прослушать курс лекций, но и потому, что хотел как можно реже показываться на Бредгаде и во всех прочих местах, связанных с неприятными воспоминаниями. Старушка сдала ему маленькую, убого обставленную мансарду, и Пер, как водится, палец о палец не ударил, чтобы сделать ее хоть чуточку поуютнее. Он думал только об одном: подготовиться к экзамену, сдать его и уехать обратно.

Не сомневаясь, что полковник сдержит свое слово и что денежные дела так или иначе уладятся, Пер распорядился переслать ему из отеля все книги, чертежи и прочее добро, которое хранилось там во время его отсутствия. Но книги и чертежи пришлось снова запрятать: он ничем не мог заниматься, кроме подготовки к слушанию лекций, а лекции начинались первого сентября. Вот когда будет сдан экзамен и доведен до конца проект осушительных работ в Керсхольме, которому суждено скоро воплотиться в жизнь, — о, тогда он возьмется за дело по-настоящему. У него уже есть несколько неплохих мыслей по дальнейшему усовершенствованию водяных и ветряных двигателей. А такая работа имеет огромные преимущества, в отличие, например, от проекта канала: ее можно осуществить одному, сохраняя полную независимость, ни у кого не одоляясь, а главное — не связываясь с такими личностями, как Макс Бернард или Нэррехаве. В деревне он наверняка получит возможность производить практические испытания, без чего ему в дальнейшем не обойтись. Надо будет построить несколько опытных моделей... Впрочем, пока об этом рано думать. Один из профессоров, к которому он обратился, чтобы с его помощью наметить план занятий, сказал, что подготовка займет у него года полтора, не меньше. Но про себя Пер решил, что уложится и в половинный срок. Для этого он снова выдвинул пламенный лозунг молодых лет: я так хочу.

И вот он снова сидит в бедной маленькой каморке и снова борется за жизнь и за будущее счастье. Точно так же вставал он спозаранку в Пюбодере и вместо петуха его будил фабричный гудок, и свет в его окне гас тогда, когда весь тихий пригород уже давно спал крепким сном. И хотя цель его, по-прежнему грандиозная, уже утратила свой былой сказочный ореол, он принялся за работу с необычайным жаром и упорством. Теперь ему не мешали внезапные мучительные приступы малодушия, столь докучавшие в прошлом. Он не ждал больших барышей от своего изобретения, он вообще не думал о деньгах. Достаточной наградой для него была мысль о том, что он трудится на благо человечества. Лично для себя он хотел только одного: получить благодаря этой работе возможность жить бесхитростной, здоровой, трудовой жизнью в любви и согласии с той, по ком тоскует его сердце.

Но пока он еще не осмеливался строить никаких планов, связанных с его любовью к Ингер. Когда мысли его устремлялись в Бэstrup, ангел с огненным мечом преграждал им путь. С этим следовало повременить. Он еще недостойн райского блаженства. Теперь, когда он полностью осознал глубину своего падения, ему часто казалось, что он вообще не имеет права на счастье. Он не смеет взглянуть в лицо невинности и чистоте — такова заслуженная им кара. Он должен таить свои надежды от людских глаз, как прячет грабитель свой потайной фонарь. Он должен быть счастлив одним лишь созерцанием Ингер. Перед его отъездом из Керсхольма гофегермейстерша спросила, не хочет ли он провести у них рождество, и добавила с подбадривающей усмешкой, что у Бломбергов тоже наверняка будут ему очень рады.

В первое же воскресенье после своего приезда в Копенгаген Пер отправился в Вартовскую молельню. Стоял ясный погожий день, и Пер загодя вышел из дому, чтобы не тратить лишних денег на дорогу. Но, очутившись среди шумной и веселой толпы людей, которые собрались провести воскресенье на лоне природы, он все-таки решил ехать трамваем.

Он добрался до Лэнгангстредзе за четверть часа до начала службы, но маленький зал был уже набит битком. Здесь, в скромном молитвенном доме грундтвиgianской общины всегда было полно народу, тогда как даже в самых больших церквях города служба шла при полупустых скамьях. Правда, давно уже миновало то время, когда здесь звучал голос великого отца церкви, самого Грундтвига, но его дух еще витал над этим домом, и верующие стекались сюда со всех концов страны, словно к святым местам, где господь, по преданию, явился народу своему в Неопалимой купине.

Пер не без труда отыскал стоячее место у стены. Из длинного ряда окон на противоположной стене падали широкие полосы света, окружая, словно нимбом, головы сидящих вдоль прохода. Из этих освещенных голов одна то и дело оборачивалась в сторону Пера, но он этого не замечал. Только когда запели второй псалом, Пер почувствовал этот пристальный взгляд, увидел светлые глаза под темными сросшимися бровями и вздрогнул, узнав свою сестру Сигне. Рядом сидели младшие братья-близнецы, тесно прижавшись друг к другу и глядя в общий молитвенник. Они его, судя по всему, пока не заметили.

Вся кровь бросилась ему в лицо, он даже не сразу сумел ответить на кивок сестры. Ему и в голову не приходило, что он может встретить здесь кого-нибудь из родных. И вообще он совсем забыл, что рискует попасться на глаза знакомым. Сигне, напротив, держалась как ни в чем не бывало. Не прерывая пения, она спокойно кивнула ему еще раз с таким видом, будто она из воскресенья в воскресенье ждала, когда он наконец придет сюда.

Правда, на другой же день после прибытия в Копенгаген Пер отправился на Кунгевей, чтобы повидать родных, но, не застав никого дома, почувствовал большое облегчение и вторичной попытки предпринимать не стал. Он не знал, как сказать им о том, что его помолвка расторгнута, и вообще обо всем, что с ним произошло за это время. Он боялся прочесть в их глазах торжество победителей; именно это торжество он искал теперь и на лице сестры.

Пение окончилось, пастор взшел на кафедру. Но Пер уже не мог сосредоточиться. Второй выход в церковь оказался не более удачным, чем первый, в Борупе. Как он ни

старался собрать воедино свои мысли, они непослушно разбрелись в стороны.

К тому же он вдруг плохо себя почувствовал. Все последние дни ему нездоровилось. Опять вернулись прежние боли под ложечкой, беспокойный сон, ночные кошмары. Спертый воздух переполненный молельни, солнце, резавшее глаза, долгое стояние на ногах, неизбежная встреча с Сигне и братьями — от всего этого у него закружилась голова. На какое-то мгновение ему показалось, что он вот-вот потеряет сознание. Когда он после службы встретился с родными у дверей церкви, ему было уже не на шутку плохо. Сигне сразу это заметила и спросила, что с ним. И вдруг все поплыло перед глазами Пера, он успел добежать до каморки привратника и упал там в обморок.

Когда он очнулся, братья отвели его к экипажу. Он слышал, как Сигне приказала кучеру ехать на Кунгевей, на их квартиру, и даже не пытался возражать. Он смертельно устал, силы покинули его, и ему казалось, что он умирает. Как только его уложили в постель, он тотчас уснул.

Проснувшись через несколько часов, он увидел себя в полутемной низкой комнате с одним окном, на котором была спущена гардина. Он не сразу сообразил, где находится, и испуганно оглядывался по сторонам. Вот принадлежавший матери секретер красного дерева с круглыми белыми пластинками вокруг каждой замочной скважины; пластинки таращатся, словно удивленные глаза. Вот плетеный стул, что стоял когда-то у постели умирающего отца. И пуфик с ручной вышивкой на сиденье, мать еще так берегла его. А на полочке под зеркалом лежит, как и в прежние годы, большая африканская раковина, изнутри она ярко-красного цвета, и в ней звучит угрюмый напев моря... таинственный, призрачный шум... Как часто, еще ребенком, подносил он эту раковину к уху и с удивлением внимал странным звукам. Быть может, тогда впервые и зародилась в нем мечта о сказочном великолепии далеких, неведомых стран.

Пер глубоко вздохнул с чувством радостного облегчения. Вот он и дома. Окончилась безумная погоня за несбыточными снами. Он вернулся в царство действительности, и под ногами у него снова твердая почва родины.

Дверь в соседнюю комнату была чуть приоткрыта, оттуда доносились тихие голоса. Они звучали так уютно, так по-домашнему. В столовой пробили старые часы... рассыпались серебром три ясных, чистых удара. Какие знакомые звуки! Словно из длинного свитка времен выплыла и развернулась ничем не замутненная картина детства. Он вспомнил, как еще совсем крошкой благоговейно прислушивался к бою часов; они добросовестно провожали ударом каждый час, канувший в вечность, — так звонит церковный колокол над телом усопшего. Потом, став постарше, он раздумывал: а не возносится ли в небо вместе с этими серебряными, ясными звуками душа истекшего часа? Даже много-много спустя, когда мысли его из заоблачных высот вернулись на землю, размеренный, предостерегающий бой часов всегда настраивал его на торжественный лад. Чувство молитвенного преклонения перед уходящим в небытие временем не покидало его. И сейчас, уже взрослым человеком, он воспринимал бой часов как благу ю весть самой вечности.

Вдруг он вспомнил про письмо, которое оставила ему мать. Целое лето оно не выходило у него из головы и наполняло душу тревожным ожиданием. Он не мог решиться написать, чтобы ему выслали письмо, и в то же время страстно желал прочесть его. Теперь, чувствуя себя достаточно подготовленным, он решил попросить письмо у сестры. Он понял, что боязнь услышать осуждение матери тайно руководила им в его борьбе с силами тьмы. Из гроба мать протянула ему руку помощи, помогла сделать первый, самый трудный шаг на пути к спасению, шаг, стоивший ему таких огромных усилий.

Он хотел было позвать Сигне, но у входных дверей раздался звонок, и вслед за звонком из соседней комнаты донесся голос Эберхарда.

Некоторое время Пер лежал молча и слушал этот голос, так странно напоминавший голос отца. Разговаривая, брат расхаживал по комнате, тоже совсем как отец, так что даже страшно становилось. Еще он слышал, как Сигне рассказывает ему о случившемся, и хотя оба говорили вполголоса, Пер все же сумел кое-что разобрать. Эберхард сердито отчитывал

сестру за ее поступок. «Лучше бы отправить его в больницу, — сказал он. — Когда не знаешь толком, чем человек болен, больница — это самый разумный выход. Может, у него вообще какая-нибудь заразная болезнь. А уж коли привезли сюда, надо было немедленно послать за врачом».

Пер повернулся на другой бок: ему расхотелось слушать дальше. Чувство протеста начало пересиливать его кроткое и умиротворенное настроение. Но потом он сказал себе, что брат прав. Как бы то ни было, примирение надо довести до конца. Сейчас — или никогда. Настало время на деле доказать искренность своего покаяния.

— Эберхард! — позвал он.

Брат вошел к нему. Следом за ним вошла Сигне и остановилась в ногах кровати.

— Я думаю, вам нечего тревожиться, — поспешно сказал Пер, делая над собой усилие. — Ничего страшного у меня нет. Просто я переутомился в последнее время. Теперь мне уже опять хорошо.

— Да ты совсем не плохо выглядишь, — сказал Эберхард дружелюбным и участливым тоном и первый протянул ему руку. — Но обморок — вещь серьезная, что ни говори.

— Нет, нет, просто мне было не по себе. Больше ничего. Да еще как на грех солнце светило прямо в глаза, а я этого не выношу. Теперь я себя опять превосходно чувствую.

— А я все-таки продолжаю настаивать, чтобы вызвали врача. Если врач дома, он может быть здесь через несколько минут.

— Ну, раз это вас успокоит, я, разумеется, согласен. Но я уже говорил, что мое недомогание ничего общего с настоящей болезнью не имеет. Во всем виновато солнце... или, может быть, спертый воздух.

— Ну, не будем сами отыскивать причину, — уклончиво сказал Эберхард. — Даже если ты прав, врач скорее разберется в этом, чем мы с тобой.

Несмотря на все благие намерения, Пер исподтишка покосился на брата, ожидая увидеть на его лице самое для себя страшное — выражение торжества. Но Эберхард стоял спиной к свету, да вдобавок его лицо с сильно развитой нижней челюстью, еще больше, чем лицо Сигне, напоминало застывшую маску. Вся жизнь сосредоточилась в одних глазах.

Пер повторил, что их воля для него закон и что он просит лишь об одном: послать за профессором Ларсеном, к которому он уже обращался при подобных обстоятельствах.

Но оба они, и Эберхард и Сигне, встретили его просьбу в штыки. Они переглянулись, и Эберхард сказал:

— У нас есть домашний врач. Он, правда, не профессор, но мы ему вполне доверяем.

— Он и маму лечил, — вставила Сигне.

Пер не сразу их понял. Он повторил, что ему будет очень неприятно, если его начнет осматривать другой врач, а не тот, который уже видел его и поэтому скорее может судить о его состоянии.

Но Эберхард был неумолим.

— Твои отношения с профессором Ларсеном — это твое дело. Но нам просто неудобно обойти нашего врача, тем более что у нас нет никаких причин не доверять ему. Кстати, твой профессор в эти часы, наверно, и не принимает никого, кроме своих постоянных пациентов. Так что, хотя бы поэтому...

Тут только Пер сообразил, что они решили, будто он некстати напустил на себя важность и хочет похвастаться своими светскими замашками. Это подозрение обидело его. Он сказал, что если им так уж неприятно видеть профессора Ларсена, то он просто встанет и уедет.

Когда Эберхард понял, что Пер и не думает уступать, он с недовольным видом вышел из комнаты, чтобы послать служанку за профессором.

Сигне хотела выйти следом, но Пер удержал ее.

— Слушай, Сигне, — сказал он, — у тебя письмо, которое оставила мне мать?

— Дать его тебе сейчас?

— Да, пожалуйста. Даже удивительно, что я могу его прочесть там, где оно написано.



Сигне молча достала связку ключей, выдвинула один из ящичков секретера и вернулась с запечатанным письмом и с маленьким пакетиком, где лежали отцовские часы.

Пер решился распечатать письмо только после того, как Сигне вышла. Все поплыло у него перед глазами, когда он увидел знакомый почерк надписи, сделанную дрожащей, неуверенной рукой матери: «Сыну моему Петеру Андреасу — пусть он прочтет эти строки в тихую минуту». Пер взломал печать и приступил к чтению:

«Во имя Иисуса Христа, да святится имя его. Сын мой, я пишу тебе, наверно, в последний раз перед тем как мои глаза сомкнутся навек; пишу, чтобы воззвать к твоему сердцу, которое ты отвратил не только от своей матери, не только от своего отца, почившего в бозе, не только от всех, кто по-человечески близок тебе, но и от господа бога нашего, всеблагого и всемогущего. Я пишу тебе, хоть и не знаю, где ты сейчас и что с тобой. Ты вечно скрываешься от нас, верно, у тебя есть для этого свои причины. Твои братья и сестры говорят мне, будто ты сейчас во Франции или в Америке. Но где бы ты ни был, ты не на стезе господней — это я знаю твердо. Ты предпочел склониться под бременем дел мирских, а ведь сказано в писании, что для того, кто ожесточился в грехе и неверии, мудрость евангелия сокрыта до конца дней его.

В одной из своих проповедей твой отец однажды нарисовал картину жизни безбожника, он сравнил ее с заточением в темном подземелье, куда не проникает ни один луч света и где нет иного выхода, кроме двери, предательски ведущей в бездонную пропасть. Мой несчастный сын! Быть может, правдивость этой картины тронет тебя, быть может, до тебя дойдет истинный смысл слов: если мы живем лишь ради своей плоти, мы обречены на смерть, но если мы смогли умертвить свою плоть ради души, тогда мы будем жить вечно. Коль скоро ты способен сам ужаснуться своему падению, значит для тебя еще есть надежда, значит ты можешь еще найти путь к спасению, отойти от зла и молить господу о прощении во имя крови, пролитой Христом.

Мне еще многое хотелось бы сказать тебе, сын мой, но рука моя устала и глаза ослабели. Выслушай последнее слово твоей матери, сказанное в этой быстротекущей жизни. Склонись пред господом богом нашим со смирением в сердце, и святой дух снизойдет на тебя волей нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа. Милосердный преклонит свое ухо к тебе, и тебя минет опасность — в день Страшного суда, восстав от смертного сна, услышать слова, ужаснее которых нет ничего на свете: «Изыди от меня, нечестивый, я не знаю тебя».

Когда через полчаса в комнату заглянул Эберхард, чтобы передать Перу ответ профессора, тот все еще лежал с письмом матери в руках. Смущенный неожиданным появлением брата, Пер поспешно сунул письмо под одеяло.

Эберхард, однако, остановился в дверях.

— Ну-с, я оказался прав, — сообщил он торжествующим тоном. — Жозефина была у профессора, и он велел сказать, что больше сегодня выезжать с визитами не будет, разве что попадетсЯ какой-нибудь очень тяжелый случай. А вот завтра, если нужно, он с удовольствием побывает у тебя.

Пер молча кивнул. Он не слушал брата и не понял, о чем тот говорит. Не сразу дошел до него скрытый смысл слов Эберхарда: тот явно хотел, чтобы Пер отказался от своей затеи с профессором. Лишь когда брат, круто повернувшись, сердито захлопнул за собой дверь, Пер полностью пришел в себя.

Он и сам не понял, почему у него так испортилось настроение после материнского письма. Он заранее знал, что найдет там строгое, беспощадное осуждение, и потому самый смысл письма ничуть не взволновал его. Он даже пожалел о том, что это прощальное послание вообще попало к нему в руки.

Впрочем, в своем разочаровании он обвинял лишь себя самого. Он упрекал себя в том, что не выполнил данного в приписке указания. Ему не следовало читать письма, пока он не остыл после маленькой стычки с Эберхардом и Сигне. Надо спрятать письмо подальше и перечитать еще раз, когда он будет один у себя дома, в «тихую минуту». Здесь ему мешали и Сигне, и один из близнецов: они то и дело заглядывали в комнату, явно желая посмотреть,

как подействует на него чтение.

Часы в гостиной пробили четыре. Пер с беспокойством подумал о том, чем может кончиться этот день. Правда, и Сигне и близнецы после обеда изо всех сил старались, чтобы ему было хорошо и не скучно, но Пера потянуло домой, в мирную тишину его каморки.

Вечером еще раз пришел Эберхард. Он пока жил отдельно и навещал семью раз в день, часов около трех, как повелось еще при жизни матери. Пера тронуло, что, невзирая на их размолвку, брат решил сделать долгий путь из Кристиансхавна нарочно для того, чтобы узнать, как он себя чувствует.

Но разговора по душам так и не получилось. Пер никак не мог уяснить себе, что они вообще знают о его разрыве с Якобой. Правда, он несколько раз пытался выпытать кое-что у Сигне, но та с видимым смущением тотчас же переводила речь на другое. У Пера сложилось впечатление, что и брат и сестра, при всей их заботливости, держатся настороже и склонны истолковать любое, самое невинное его замечание как попытку прихвастнуть своим прошлым и своим высокими связями.

И он был не так уж далек от истины. Ни Эберхард, ни Сигне не очень-то верили в искренность его обращения, он казался им недостаточно смирившимся. Они прослышали стороной, что Пер расторг свою помолвку с дочерью богача еврея, и возлагали большие надежды на этот шаг, но в чем тут дело и как все получилось, они толком не знали, а Сигне даже и не хотела ничего знать, так как ее вообще ничего в жизни Пера не занимало, кроме того, что касалось сугубо домашних дел и вопросов веры.

На другое утро приехал с визитом профессор. Маленький человечек затасканного и даже неопрятного вида держался в первую минуту брюзгливо и неприветливо. Он решительно не желал припомнить, что уже знаком с Пером, и для начала заявил, что он сам болен и не должен бы выходить из дому. Землистый цвет лица и огромные черные мешки под глазами подтверждали его слова.

Закончив осмотр, он стал поприветливее. Уселся возле постели и сказал:

— Что вы, собственно, хотите узнать у меня? Едите вы слишком много, а кровообращение у вас никудышное. Но об этом я уже говорил вам в тот раз.

Пер высказал предположение, что такие внезапные припадки должны иметь какую-нибудь более конкретную причину. Больным он себя не чувствует и сложение у него — что греха таить — хорошее и сильное.

— Сильное? Вы имеете в виду черноземную силу?.. Впрочем, если вас лично оно устраивает... Но я посоветовал бы вам не предъявлять слишком высоких требований к своей черноземной силе. Она их не выдержит. Это я вам тоже говорил. Мы, датчане, с нашими желудками, которые испокон века растянуты от обилия каш и супов, просто не успеваем за стремительным бегом времени. Мы похожи на крестьянских лошадок — они еще кое-как могут по старинке трусить рысцей, отгоняя хвостом мух, но для настоящей скачки они не годятся. Сегодня, почтеннейший, ширина плеч не принимается в расчет. И стройные бедра тоже. Сегодня нам нужно железо в крови и фосфор в мозгу. И еще нужны нервы, не окончательно заплывшие жиром, дорогой мой! В общем, как я уже говорил, не надейтесь на свое сложение: особенно тут хвалиться нечем!

— А мне именно сейчас нужна максимальная работоспособность, — сказал Пер и попросил профессора назначить ему наиболее подходящие в данных условиях средства для укрепления здоровья.

Но профессор грустно покачал головой.

— Для укрепления? Таких не знаю.

— Да, но когда я беседовал с вами в прошлый раз, вы порекомендовали мне гимнастику, холодный душ, короче — всестороннее закаливание организма.

— Ну, порекомендовал... Надо же было что-нибудь вам прописать. Тем более что повредить это не может. Впрочем, вам было бы куда полезнее, если бы подобной закалкой в свое время занялись ваши уважаемые деды и прадеды. Ибо теперь мы расплачиваемся за грехи наших дорогих покойников — за пуховые перины, за пропотевшее, круглый год не

сняемое шерстяное белье, за мучные супы, нюхательный табак и за всю их затворническую жизнь книжных червей. Ведь вы, разумеется, сын пастора. А я по личному опыту знаю, чем потчуют многочисленных чад и домочадцев в этих идиллических усадьбах, где вместо мяса частенько подают на стол молитву. Ну-с, а холодные обливания вы по крайней мере делали регулярно?

Пер сослался на условия, которые никак не позволяли ему в последнее время заниматься систематическим закаливанием.

— Скажите лучше честно, что вы боитесь холодной воды. Это я могу понять. Ничего приятного тут нет, если только вы с детства не привыкли обливаться холодной водой. А теперь, почтеннейший, извольте разинуть рот: я посмотрю ваше горло.

Пер открыл рот.

— Ну, так я и знал. Половины коренных зубов не хватает. Вы, вероятно, уже в весьма зрелом возрасте ознакомились с таким продуктом цивилизации, как зубная щетка. Со мной это тоже произошло, когда мне уже перевалило за двадцать. А до того времени я, идя по стопам своего папаша, с утра полоскал рот хорошей порцией «Отче наш». Впрочем, не будем вспоминать старые грехи, — вдруг прервал он себя на полуслове и, сморщившись, прижал ладонь к левому боку.

Пер мог бы всерьез рассердиться на эту тираду, если бы не понял с первого взгляда, что перед ним измученный, смертельно больной человек, который сам не слышит, что говорит. По той же причине он не очень испугался мрачных прогнозов; он видел, что профессор больше думал о своем собственном состоянии, нежели о состоянии своего пациента.

Но все же Пер задал еще один, последний вопрос. Он сказал, что жизнь в городе, как ему кажется, вредна для его здоровья. Так вот, не думает ли профессор, что ему полезнее было бы на будущее поселиться в деревне?

— Ну еще бы! Разумеется, перебирайтесь на травку. Да поскорей! Только там мы у себя дома. Каменные мостовые не для нашего поколения. Может, и не для следующего. Ну-с, а пока полежите денек-другой и приведите в порядок ваши почтенные нервы. Могу посоветовать вам еще бромистый калий — по столовой ложке перед сном. А вообще, дорогой брат по несчастью, давайте более терпеливо относиться ко всем выкрутасам наших растянутых кишок. Когда мы попадем на тот свет, они вряд ли будут нас донимать.

\* \* \*

Пер не хотел долго залеживаться в постели; уже на другое утро он встал, а еще через сутки вернулся домой. До начала занятий оставались считанные дни, и он опять с головой ушел в работу.

Однако, совет врача больше считаться со своим здоровьем не пропал даром. Работал он по-прежнему — семь-восемь часов, но время распределил более разумно: каждый день ходил гулять и, как заправский старый холостяк, развлекался, с интересом наблюдая за жизнью улицы. Впрочем, за пределы Фредериксберга он выходил только раз в неделю — по воскресеньям, когда ездил в церковь. При этом он старался по возможности не бывать в восточной части города, чтобы не встретить кого-нибудь из однокашников или просто знакомых. Один раз в трамвае как раз против него сел его бывший соученик. Он долго с неуверенной улыбкой присматривался к Перу и, судя по всему, явно старался вспомнить, где они могли встречаться. Пер испугался, что его узнают, и поспешил выйти из вагона на несколько остановок раньше, чем следовало. С новыми однокурсниками в Высшей сельскохозяйственной школе он знакомства не заводил. Изредка он навещал родных, один раз к нему даже зашел Эберхард с ответным визитом, но настоящего сближения так и не получилось, поскольку он теперь и сам этого избегал. Осторожности ради он больше не ходил в Вартовскую молельню, а искал, где посвободнее, чтобы не пришлось снова стоять во время службы. К тому же он не считал себя чистопробным «грундтвигианцем» и даже не

знал толком, что значит «грундтвигианец» применительно к религии, — так что и в этом он оставался искателем-одиначкой. А письмо матери, которое он перечитывал в разных настроениях, лишь усиливало неуверенность и давало новый повод для раздумий. Неприятное чувство, с каким он впервые прочел его, не проходило, и, наконец, он заставил себя совсем не вспоминать о письме, чтобы снова не сделаться жертвой сомнений.

Наступила осень. Дикий виноград одел багрянцем стены загородных вилл, на сумрачной воде каналов колыхались красные и желтые листья. Перу очень нравился этот тихий, задумчивый парк; от его квартиры было сюда рукой подать. Больше всего он любил гулять в парке по утрам, пока густая толпа не запрудит аллеи. Ночной холодок поднимается со светлых лужаек, роса подернула траву серебряной паутиной, белые лебеди тихо скользят по темной воде канала, словно заколдованные принцессы из волшебной сказки.

Потом аллеи парка заполнялись гуляющими, и в течение дня здесь можно было наблюдать любопытные сценки; их прихотливая смена воссоздавала в миниатюре картину всей человеческой жизни. С самого утра парк наводняли одинокие дамы и господа, в большинстве своем люди пожилые, гулявшие, судя по выражению их лиц, вовсе не для собственного удовольствия. Это было время тихого созерцания, когда коммерсант с апоплексическим затылком расплачивался за чрезмерную обильность вчерашнего обеда и за излишек выпитого шампанского, когда нервическая дамочка после бессонной ночи давала себе клятвенное обещание вырвать из сердца свою преступную любовь, по милости которой недогадливый домашний врач прописал ей усиленный курс в Карлсбаде. И вдруг парк разом оживал. Из всех домов высыпали школьники и стекались по тропинкам к главной аллее. С очередным ударом часов картина опять менялась. После завтрака на каменные плиты вступали старички пенсионеры, обитатели ближайшего квартала. Самые старые или самые дряхлые разъезжали в креслах на колесиках. И одновременно здесь появлялись малыши, самые крохотные из них — в колясках. Час, когда младенчество и старость обменивались улыбками в аллеях парка, составлял, так сказать, идиллическую вершину в бесконечной смене картин. Порой гуляющие собирались вокруг маленькой церкви. Похороны или крестины — все одинаково возбуждало их любопытство. В середине дня к услугам гуляющих было новое развлечение — свадьбы. Как только запряженная белыми лошадьми карета с невестой показывалась в конце аллеи, даже самые дряхлые старички торопливо семенили к церкви. Но когда последние кареты с шумливыми свадебными гостями отъезжали в сторону города, им на смену являлись совсем другие кареты — с гостями безгласными и бледными. То были низкие, наглухо закрытые черные катафалки, которые с наступлением сумерек развозили по кладбищенским часовням на западной окраине города тела усопших. Непрерывной чередой съезжались они из больниц, из частных домов, иногда без всякого сопровождения, а иногда в сопровождении одной-единственной кареты. И в это же самое время за длинной, белой кладбищенской оградой вспыхивала яркими огнями вереница второразрядных загородных садов и увеселительных заведений. Распахивались двери кабаре, гремели духовые оркестры, крутились карусели, а трамваи и omnibusы выплескивали в кильватер смерти ораву шумных, веселых копенгагенцев, молодых и жадных до жизни. Лишь далеко за полночь все смолкало. Гасли огни в аллеях, последняя карета с замешкавшейся парочкой отъезжала в сторону города. Теперь ничто не нарушало тишины, кроме хриплого боя заржавленных церковных часов. Да еще из зоологического сада время от времени доносился тоскливый рев: то несчастному льву за железной решеткой снилась родная пустыня.

Все эти наблюдения очень развлекали Пера во время прогулок. Одиночество сделало его как никогда восприимчивым. Мелочи обыденной жизни, которые раньше ускользали от его внимания, теперь живо занимали его воображение и мысли.

Тем временем дни шли за днями, а ответа от Бьерреграва все не было. Это начало тревожить Пера. Денег у него не осталось, пришлось даже заложить кое-что из одежды, чтобы уплатить за слушание лекций. Желая напомнить о своем существовании, Пер написал Бьерреграву письмо и на следующий день получил ответ, где полковник коротко сообщал,



что, по здоровом размышлении, не считает для себя возможным выполнить просьбу, с которой к нему обратились.

Пер так и застыл с письмом в руке. Он не сразу понял, что его провели. Потом отложил письмо в сторону. Собственно говоря, на полковника и сердиться-то не за что. Как аукнется, так и откликнется. Он ругал только себя самого, ибо, оберегая свою гордость от мелочных уколов, он хотел подослать вместо себя другого. Ясное дело, кому приятно просить денег у незнакомого человека. А для него, мечтавшего некогда стать владыкой и повелителем своих современников, просто страшно ходить и попрошайничать. Но он заслужил такую кару. Бог не простил богохульства. Бог не захотел избавить его от унижительного нищенства. Он должен полной мерой искупить прежние грехи.

Контора статского советника Эриксена помещалась на Хэйбруиладс, во втором этаже большого углового дома, выходящего на канал. Пер долго расхаживал перед подъездом, чтобы продумать, с чего начать разговор и как вообще вести себя у Эриксена. Уже поднявшись наверх, он еще раз остановился. В полутемном зале, угол которого был срезан шкафом, за столами работало человек двадцать. К Перу подскочил молодой конторщик и осведомился, чего он желает. Пер ответил, что ему нужно переговорить со статским советником Эриксеном.

Конторщик в изумлении смерил его взглядом.

Статского советника сейчас нет. Господин советник уехал за границу и вернется не раньше чем через несколько месяцев. Не может ли он, конторщик, быть чем-нибудь полезен?

Но Пер уже направился к двери. Чтобы не называть себя, он поторопился уйти без объяснений.

Очутившись на улице, он подумал: «Как же теперь?»

Перед ним в щедрых лучах сентябрьского солнца пестрел цветами и фруктами базар. Торговки с Амагера в ушастьях чепцах, рассевшись между корзинами, зазывали покупателей; садоводы выстроились в ряд со своими тележками; торговля шла бойко, под шум, крик и споры. При виде этой картины осеннего изобилия к сердцу Пера подкатило неиспытанное доселе чувство страха — страха не перед муками душевными, а перед муками телесными, перед бичами повседневной жизни — голодом, холодом, грязью. Мелькнула мысль, что распродажа платья даст ему от силы десять — двенадцать крон. Их хватит на одну неделю; ну, допустим, даже на две. А потом что?

Усилием воли Пер заставил себя сдвинуться с места и медленно побрел домой. Значит, надо искать другой выход, падать духом нельзя.

Какие бы трудности ни ожидали его, какие бы унижения ему ни пришлось стерпеть, он ни в чем не раскаивается и не желает преклоняться, как встарь, перед властелином нашего мира. Ведь для него не новость, что прийти к богу можно, только очистившись страданием; об этом он вдоволь наслышался еще в детстве, когда сидел на скамеечке у постели матери. Если теперь он все же содрогнулся перед перспективой на самом деле пострадать во имя веры, то потому лишь, что всегда полагал, будто о страдании говорится для красного словца. И в этом заблуждении есть доля правды. Ведь недаром же пастор Бломберг находит такие прочувствованные и пламенные выражения, когда вещает о благах и радостях жизни в боге, но как только речь заходит о жертвах и страданиях, красноречие ему изменяет. Пора уже понять, что слова о тернистом пути и об израненных ногах не преувеличение. Он не боится предстоящих лишений, ибо понял, что только так можно приблизиться к богу, только так можно постичь истину, ныне еще скрытую для него и страшную именно своей непостижимостью.

Но как ни крути, а средства к жизни надо где-то раздобыть. Он на мгновение подумал о семействе фон Пранген. Нет, не подходит. Что угодно, только не они. Сдержанностью эти люди не отличаются, и вся история неизбежно дойдет до ушей Ингер и ее родителей. Что подумают Бломберги, когда узнают, что Пер не нашел иного способа отблагодарить гофегермейстера за гостеприимство, кроме как попросить у него взаймы? И второе: результаты попытки, которую он уже предпринимал однажды, неопровержимо доказывают,



что просить бесполезно, пока не принят окончательно его проект осушительных работ и пока сам он не утвержден в должности инспектора. Но что же тогда делать? Посылать Эриксену письмо не имеет смысла, а переуступить два своих патента какому-нибудь техническому бюро в Копенгагене он уже пытался, но безуспешно.

Поэтому Пер решил, что со временем все как-нибудь образуется, а пока надо продать или заложить остатки лишнего гардероба и тому подобные предметы роскоши, без которых он отлично может обойтись. Он рассчитывал, что проект его примут в самом недалеком будущем, а тогда он сразу же потребует аванс. Когда он письменно поблагодарил гофегермейстершу за гостеприимство, она ответила ему письмом, где, правда, лишь бегло упоминала про обещанную должность, однако сообщала, что полна в этом отношении самых радужных надежд и повторяла свое приглашение провести рождество у них в Керсхольме.

Миновало несколько недель. Шел уже октябрь, а никаких надежд на спасение все еще не было. Но Пер не унывал и по-прежнему надеялся, что ему непременно повезет. Он просто не мог поверить, что бог захочет еще глубже повергнуть его в прах. Чтобы денег подольше хватило на ученье, он начал отказывать себе даже в еде. Главное сейчас — продержаться по крайней мере до сдачи экзамена. Тогда он сумеет хоть куда-нибудь устроиться или стать землемером с частной практикой и выждать, пока придет его время. Но без диплома, без денег и без связей он только и может, что умереть с голоду или наняться в чернорабочие.

Мрачные, ненастные осенние дни проходили в беспокойстве и напряжении. По утрам, когда разносили почту, Пер не отрывался от окна, ожидая, не покажется ли красная форма почтальона. Спасение должно было прийти из Ютландии. Теперь он регулярно переписывался с гофегермейстершей. Та с превеликим удовольствием взяла на себя роль посредницы между Пером и пасторской усадьбой в Бэструпе. Правда, она ни разу не передала ему привета от Ингер, но зато ясно давала ему понять, что он не забыт и что они с этой юной особой часто о нем вспоминают. О проекте осушительных работ она тоже писала в каждом письме, но раз от разу все более и более сдержанно. Там состоялись два заседания пайщиков, и ее муж рьяно взялся за дело. «Но, как ни жаль, им не удалось достичь единодушия, — сообщила наконец гофегермейстерша, — так что прогнозы пока весьма неблагоприятные».

И, словно в довершение всех бед, Пер сразу же после этого получил другое, заказное письмо; оно долго плутало, отыскивая его, побывало даже в Керсхольме. Письмо было из Рима, от того молодого ваятеля, который по заказу баронессы лепил его бюст. Ваятель сообщал, что бюст выполнен в мраморе, что он уже готов и в любую минуту может быть выслан заказчику. Далее он писал, что недавно отправил это известие баронессе и вежливо намекнул на свое желание получить обещанный гонорар, но, к его величайшему удивлению, управляющий имениями баронессы в Швеции вернул ему это извещение с припиской, что ее милость не может припомнить, делала ли она подобный заказ, да и вообще она не имела на это права, не испросив согласия у своих опекунов. В силу всего вышеизложенного, ваятель просил Пера, как человека причастного к этому, замолвить за него словечко и помочь ему получить крайне для него необходимые деньги.

Пера неприятно взволновало это письмо, не столько из-за содержащейся в нем просьбы, сколько из-за воспоминаний о том времени, которое, как ему казалось, было временем его глубочайшего падения. Он вспыхнул от стыда, представив себе этот бюст с наглым и неестественным выражением эдакого повелителя. Как ему хотелось бы иметь возможность лично расплатиться с ваятелем, чтобы затем попросить его изломать «произведение искусства» на мелкие куски и осколками, словно щебенкой, вымостить дорогу, — то есть употребить хоть на какое-нибудь дело. Но — увы! — любезное письмо пришлось оставить пока без ответа; обращаться по этому поводу к гофегермейстерше или ее мужу было опасно, — это могло повредить делу, от которого в настоящий момент зависело все его благополучие. Они способны ложно истолковать подобное вмешательство; в дела баронессы, тем более что гофегермейстерша ни разу не говорила ему открыто о слабоумии своей сестры.

Миновало еще несколько недель. В конце ноября он очутился на грани катастрофы. Из гардероба его исчезала одна вещь за другой, уже была продана большая часть книг; даже брильянтовые запонки, которые когда-то подарила ему Якоба и которые он собирался при первом же случае вернуть ей, и те пришлось продать по бросовой цене. Подходил срок платить за квартиру, а он и без того задолжал хозяйну кабачка, где столовался.

Беспокойство мешало ему работать. Вдобавок он был изнурен постоянным недоеданием. Впервые в жизни на его щеках не осталось и следов румянца. К родным он не ходил. Он сам понимал, что выглядит прескверно, и боялся назойливых расспросов.

Тогда он решил еще раз попытаться счастья у статского советника Эриксона, но с тем же успехом: советник, как оказалось, в дороге заболел и вернется не раньше рождества. Оставалось последнее средство — обратиться за деньгами к ростовщику. Он просмотрел все газеты, отыскал в них несколько схожих, набранных мелким шрифтом объявлений, посредством которых эти благодетели человечества ежедневно напоминали о своем существовании. Пер остановился на некоем Сэндергоре; это имя внушало ему доверие, потому что у них в городке жила когда-то очень приличная старушка-пирожница, и ее тоже звали Сэндергор. Зная, что этот народ в основном бывает дома по вечерам, когда стемнеет, Пер в шестом часу собрался и поехал в город.

Господин Сэндергор, именовавший себя посредником по финансовым операциям, жил возле собора, на одной из тех тихих улочек, по которым сто раз на дню проходят занятые люди для сокращения пути, хоть вряд ли кто-нибудь знает, как они называются. Перу несколько раз пришлось спрашивать дорогу у прохожих и читать таблички с названиями, пока он, наконец, не нашел то, что ему нужно. Это был узенький пустынный переулок, в переулке горел один-единственный фонарь, как раз против того дома, который он искал. Тогда он перешел на другую сторону и взглянул на окна второго этажа, где, согласно адресу, проживал господин Сэндергор. Весь этаж был в три окна, в окнах горел свет. Следовательно, хозяин был дома.

Дверь открыла рыженькая девчушка лет шести — семи. То есть не открыла, а чуть приоткрыла, не снимая цепочки, и выглянула в щель своими синими кукольными глазницами. Не разобрав, чего надо Перу, она совсем по-детски предложила поговорить лучше с ее папой. Потом встала на цыпочки, отперла дверь и провела его в гостиную, ничем не примечательную мещанскую гостиную, каких полно в Копенгагене: коврик под столом, картинки на стенах, альбом и дешевые безделушки на этажерке. Пер был приятно поражен: здесь все выглядело очень уютно, по-домашнему. На письменном столе у окна стояла лампа с красным абажуром из папиросной бумаги. Среди многочисленных портретов над диваном Пер увидел портрет пастора в полном облачении и снимок сельской церкви. Но тут из соседней комнаты появился сам господин Сэндергор собственной персоной. Это был высокий плотный мужчина с окладистой рыжей бородой, в которой кое-где пробивалась седина. Держался он сперва чуть неуверенно, так как явно не мог с первого взгляда определить, что за человек его посетитель, ибо тот стоял в полумраке возле дверей. Да Пер и сам понимал, что его густая черная борода и длинный, наглухо застегнутый плащ придают ему при данных обстоятельствах вид несколько необычный. Наконец, господин Сэндергор предложил ему сесть и спросил, чем может служить. Оба сели.

Господин Сэндергор, судя по всему, только что отужинал. Он еще даже не прожевал до конца последний кусок, и от него сильно пахло сыром. Пер сразу взял быка за рога: сказал, сколько ему нужно, коснулся своих видов на будущее и гарантий, которые он может представить, а кроме того, так как упомянутые гарантии сводились всего лишь к двум патентам, вызвался застраховать свою жизнь на сумму, соответствующую размерам займа. Господин Сэндергор промолчал. Он сидел у стола в кресле и теперь, когда Пер разглядел его при свете лампы, производил уже не столь благоприятное впечатление. Красные пятна на лице, дряблые обвисшие щеки и какие-то желтоватые глаза с пронзительным, выпытывающим взглядом. За ужином он, надо полагать, закусил более чем основательно. Весь его огромный живот колыхался из-за отрыжки, что, однако, ничуть его не смущало.

Молчание Сэндергора показалось Перу благоприятным знаком, и он принялся выяснять условия займа. Но вместо того, чтобы отвечать ему, Сэндергор вдруг спросил, может ли Пер найти поручителей.

— Поручителей? А разве без поручительства нельзя?

Наивность Пера вызвала у господина Сэндергора недоверчивую усмешку.

— Значит, вы об этом даже не подумали? А какие-то гарантии все-таки нужны. Если у вас действительно такие великолепные виды на будущее, как вы мне о том говорите, вам, вероятно, не стоит большого труда заручиться одним или двумя именами... Сколько вы хотели занять?

— Тысячу.

— А на какой срок?

— Я думал на год. За год я наверняка сумею вернуть и эту сумму, и все причитающиеся проценты.

— Проценты выплачиваются вперед, — небрежно обронил господин Сэндергор и взял со стола большую книгу. Это был адресный справочник по Копенгагену.

Тем временем рыжеволосая девчушка, та самая, что открывала дверь, вошла в комнату, волоча за собой куклу. Она прижалась к отцу, и тот с гордостью потрепал своей жирной рукой ее огненно-красные кудряшки. Потом он отпустил дочь, чтобы всецело заняться справочником, но она тут же вскарабкалась к нему на колени и окинула Пера самодовольным и дерзким взглядом избалованного ребенка.

— Я что-то не нахожу здесь вашего имени, — сказал Сэндергор, перелистав справочник.

— А я последние годы жил за границей, — объяснил Пер.

— Ах так, за границей.

Желтые глаза с подозрением оторвались от книги, потом снова уткнулись в нее.

— Здесь есть какой-то Б. Сидениус, бывший пастор. Это не ваш родственник?

— Нет.

— Вот еще один — Ф. Сидениус, бухгалтер. А этот?

— Нет.

— Потом Э. Сидениус, королевский уполномоченный, это тоже не ваш родственник?

Пер ответил не сразу.

— Мой.

— Вероятно, даже близкий родственник?

— Брат.

— Неужели же вы не можете взять поручительство у него? Тогда все будет в порядке.

— Нет, не могу, — растерянно ответил Пер.

— Так-так, значит, не можете. — Желтые глаза снова выглянули из-за края книги. — У вас, верно, не слишком-то близкие отношения с упомянутым господином.

— Близкие или неблизкие, но о таких услугах я его просить не могу.

— Не можете? Ну что ж, тогда у нас с вами дело не пойдет, — сказал господин Сэндергор уже совершенно другим тоном и захлопнул справочник.

Последовало недолгое молчание. Пер продолжал сидеть. Он боялся уйти отсюда без всякой надежды. Уличный мрак, одиночество убогой каморки встали перед ним словно разверстая пасть ада. Но все равно, просить Эберхарда... нет, ни за что! Это совершенно исключено.

Он сказал Сэндергору, что готов помириться на пятистах кронах, пусть даже меньше, а он может представить в залог оставшееся у него носильное платье и книги. Но господин Сэндергор уже почувствовал себя полным хозяином положения. Он перебил его, весьма бесцеремонно пробормотав что-то о людях, которые воображают, будто им станут давать деньги просто так, за красивые глаза. Подумаешь, надежды на будущее! Этого еще не хватало! Да так каждый-всякий заявится прямо с улицы и потребует денег. Вот подайте сюда солидных поручителей или благонадежный залог, — а нет, так и толковать не о чем.

Пришлось уйти. Домой не тянуло. Беспорядочные мысли роем кружились в голове у Пера. Что же теперь будет? Страшная борьба происходила в его душе. Вся его гордость призывала: «Тебя постигла справедливая кара. Ты должен был искупить свои грехи, так искупай же. Настал час испытания. Вот твое игольное ушко! Пройди сквозь него, и душа твоя обретет покой».

Ноги сами занесли Пера на Кунгенс Нюторв... Здесь было очень шумно и весело, невзирая на грязь и туман. Многочисленные экипажи пересекали площадь во всех направлениях. Из лоджий театра струились потоки света. Отель «Англетер» на другой стороне площади тоже был залит огнями, витрины магазинов и уличные фонари рассыпали по мокрой мостовой золотые блики. То ли Пер совсем отвык от городской суеты, то ли нервы у него были натянуты до предела, только он на мгновение остановился как вкопанный.

Земля дрожала под его ногами, уши словно залило свинцом. Окрик «Берегись!» заставила его очнуться. Какая-то карета проехала так близко, что колеса задели полы его плаща и обдали его жидкой грязью. При свете фонаря он разглядел внутри кареты расфранченную чету. На даме было голубое шелковое платье, в ушах искрились брильянты. На мужчине красовался мундир, грудь которого был густо усыпана орденами. Другая карета промчалась с противоположной стороны. Там сидела развеселая молодая парочка.

Пер уходил все дальше и дальше от своего дома. Словно рука искусителя незримо увлекала безвольное тело на Стуре Кунгенсгаде, потом дальше, — туда, где жил его бывший тесть. Внутренний голос взывал: «Поверни назад! Остановись, пока не поздно! Ты идешь навстречу своей гибели». А Пер все шел да шел.

Вот он уже завернул за угол, вот уже очутился на тихой улочке, где находилось знакомое «палаццо». Вот он уже стоит в тени напротив дома. У Саломонов, очевидно, был прием: сквозь тяжелые шелковые занавеси пробивался свет люстр.

Не желая привлекать внимания, он прошел было чуть дальше по Бредгаде, но потом вернулся. И снова душа его возропала против бога и снова внутренний голос сказал: «Вот чем я пожертвовал ради тебя! Словно бездомный пес, стою я, продрогший, в уличной грязи, а ты даже сейчас не хочешь явить мне свое милосердие».

Тут он плотнее прижался к стене. В «палаццо» распахнулась дверь, и оттуда вышел какой-то человек под зонтиком. Кто бы это мог быть? Это не Ивэн — у того такая торопливая походка, Может быть, Эйберт? Прежний поклонник Якобы? Смешная, непонятная ревность овладела им. Вдруг луч света выхватил из тьмы горбатый нос, седую козлиную бородку, большие, с вывернутыми ступнями, ноги. Да это же Арон Израель!..

Словно вспышка молнии озарила Пера! Вот откуда придет спасение! Арон Израель поможет! Как он не подумал раньше! «Арон Израель у нас сама доброта, воплощенная в человеческом облике». Для него не имеет значения, что Пер больше не зять Филиппа Саломона. Он и до помолвки относился к Перу с большим участием и так искренне верил в его планы. Ему можно выложить всю правду.

Пер шел следом за маленьким человеком по Стуре Кунгенсгаде. Голос его совести по-прежнему властно призывал: «Ступай к себе! Теперь не поможет чужая доброта. Ты знаешь теперь, чего хочет от тебя бог. Исполни предначертанное. Не уклоняйся. С каждым днем все настойчивее будет звучать в твоих ушах воля божья. Ты должен либо исполнить ее, либо снова ожесточить свое сердце. Иначе тебе не знать покоя. Не откладывай свершения. Во имя своей гордости, которую ты так щадишь, — только во имя твоей гордости не поддавайся новому искушению! Поторопись! Бог ждет!»

Пер замедлил шаги. Выйдя на Кунгенс Нюторв, он прекратил преследование. Словно приговоренный к смерти, провожал он глазами маленького человечка. Тот вступил в полосу света от больших башенных часов, миновал ее и исчез за углом Грэннегаде.

И тогда Пер медленно поплелся к себе, в Фредериксберг. Домой он добрался после девяти. Света зажигать не стал. Ложиться тоже не стал. В глубокой тьме сел к столу и, закрыв лицо руками, просидел неподвижно полночи.

На другое утро он пошел к Эберхарду. Брат ничем не облегчил ему трудное признание. Он выслушал его молча, с непроницаемым лицом и не захотел избавить его ни от единой подробности. Но зато и помочь не отказался. Правда, ни о каких поручительствах он даже разговаривать не стал и вообще испросил себе некоторый срок, чтобы все как следует взвесить и посоветоваться с домашними, ибо если они сообща дадут ему взаймы, это, как он выразился, будет больше всего соответствовать воле покойных родителей.

Пер не пытался возражать. Все вдруг стало ему глубоко безразлично. Ни покоя, ни блаженства, которые он мечтал обрести в унижении, почему-то не было. Скорее даже наоборот. Никогда он не ощущал такой удручающей пустоты, никогда еще не казалось ему, что все силы добра покинули его.

## Глава XXIV

Когда до Бэструпа дошли слухи о том, что Пер расторг свою помолвку с дочерью копенгагенского богача, пасторша не на шутку всполошилась. Узнав, что Пер собирается на рождество в Керсхольм, она как-то вечером, уже в постели, открыто поведала мужу о своих опасениях и предложила на это время куда-нибудь услать Ингер. Но пастор и слушать ее не захотел. Его, разумеется, тоже не слишком соблазняла перспектива выдать свою дочь за человека с таким прошлым, но, по его словам, было бы грешно брать на себя роль провидения. К тому же сей молодой человек осознал свои ошибки, а в том, что его обращение искренне, нетрудно убедиться: недаром же он ради спасения души пожертвовал материальными благами.

— Мы не имеем права применять силу в делах веры. А любовь та же вера. Впрочем, я собираюсь как-нибудь потолковать с Ингер. Пусть знает, что мы вовсе не заставляем ее неволить свое сердце. Это повысит у нее чувство ответственности.

Сначала Ингер не сообразила, что расторгнутая помолвка имеет какое-то отношение к ней. Хотя она слишком даже хорошо знала себе цену, на сей раз она приписала все случившееся исключительно знакомству Пера с ее отцом. Потом уже приятельницы Ингер, девицы Клаусен, направили ее мысли по верному следу, и с тех пор, вспоминая, какое богатство отверг Пер единственно ради нее, она испытывала приятное волнение.

Ее собственные чувства пока еще оставались для нее загадкой. Во всяком случае, пламенной любви к Перу она не испытывала. Думая о нем, она видела перед собой только его глаза, потому что, когда он впервые побывал у них в Бэструпе, ее отец сказал, будто взгляд Пера подобен открытому берегу моря, где залитые солнцем чайки кружат над ушедшими глубоко в песок обломками кораблей, «напоминая о зимнем мраке и бурях весеннего равноденствия». Сравнение поразило ее тогда, ибо она не поняла его смысла. Но теперь, поняв, она только и думала что об этих неярких, грустных глазах морехода. И все же прошлое, о котором рассказывали глаза Пера, ставило неодолимую преграду для ее чувств. Поллюбить человека, который уже с кем-то был помолвлен! Нет, это казалось ей совершенно невозможным. Правда, она ни разу не видела бывшей невесты Пера и, кроме того, знала, каким он был несчастным и измученным, пока не расторг помолвку, и это несколько меняло положение.

Она считала, что он ей нравится, но не знала, сможет ли когда-нибудь по-настоящему привязаться к нему, сможет ли полюбить его, — не знала, ибо имела самые смутные представления о любви. Правда, подружки услужливо старались просветить ее. Пышная Герда с одинаковой готовностью делилась и собственным опытом, и сведениями о таинствах любви, почерпнутыми у других. Но Ингер не внимала ее рассказам: так далека была она от подобных дел.

Тем сильнее она удивилась, когда в один прекрасный день, недели за две до рождества, оставшись наедине с ней, отец вдруг заговорил о Пере и о его предполагаемом приезде к ним.

— Тебе, вероятно, известно, детка, что господин Сидениус расторг свою помолвку, и я



хочу прямо спросить у тебя: не лучше ли тебе, принимая во внимание то, как люди могут расценить этот шаг, вообще избегать встреч с ним у нас дома? Только отвечай мне всю правду.

Вопрос отца показался Ингер замаскированным сватовством. Она подумала, что родители, должно быть, получили письмо от Пера, и эта мысль привела ее в такое замешательство, что она вообще ничего не ответила.

Но для пастора Бломберга молчание Ингер и ее внезапно запывавшие щеки были достаточным ответом. Вечером он поделился своим открытием с женой и опять повторил: «Ни малейшего нажима на девочку. Будем надеяться, что господь благословит выбор, который сделает ее сердечко, благословит и приведет ее к счастью». На слова жены, что Пер не имеет никакого положения, никаких видов на будущее и не сможет прокормить семью, пастор бодро отвечал, что и в этом отношении господь не оставит их; при этом он имел в виду намеченную перепланировку речного русла, которая бесспорно сулила Перу солидный доход.

На деле же перспективы в этом смысле были весьма и весьма мрачные. За осень гофегермейстер несколько раз собирал будущих пайщиков, но достигнуть согласия пока не удалось. Всего насчитывалось две-три сотни хозяев, мелких и крупных, чьи интересы затрагивал этот проект, а без единодушного их одобрения нельзя было сделать ни одного шага. Хотя каждый пайщик в глубине души был уверен, что предложенная перепланировка сулит ему изрядную выгоду, он либо выступал против проекта, либо, в лучшем случае, держался уклончиво — из опасения, что его брат, или сосед, или зять наживется больше, чем он сам, или понесет меньшие расходы. Вдобавок пайщики не могли допустить, чтобы честь такого важного начинания досталась гофегермейстеру. Поэтому зажиточные крестьяне вообще перестали ездить на собрания, и тем самым план был окончательно похоронен.

Но тут, неожиданно для всех, за дело взялся сам пастор Бломберг. Обладая завидной способностью считать удовлетворение своих личных нужд делом первостепенной важности для всего прихода, он решил, как он выразился в беседе с супругой, с корнем вырвать эту ядовитую крапиву, служащую печальным доказательством того, что даже в обществе свободном, в обществе, очищенном силой духа, могут пышно произрастать сорняки недоверия и взаимной вражды. Сначала пастор под шумок пытался обработать тех, от чьего согласия в первую очередь зависел благоприятный исход дела. Встретив отпор, он рассвирепел и перешел в открытое наступление. На большом съезде верующих, где собралась вся его паства, он произнес пламенную речь, в которой коснулся проекта, а затем в сильных и образных выражениях разгромил узкособственническое себялюбие, которое встает на пути прогресса, ведущего ко всеобщему благополучию и, тем самым, к процветанию истинно богоугодной жизни, здоровой, счастливой и честной.

Его выступление ошеломило присутствующих, а у многих даже вызвало сильное неудовольствие: во-первых, потому, что такие речи были неуместны на собрании верующих; во-вторых же, потому, что кой до кого уже дошли слухи о предстоящем бракосочетании Ингер с молодым творцом упомянутого проекта. Но Бломберг держался как ни в чем не бывало. Не первый раз он слишком смелой речью навлекал на себя недолговечный гнев своих прихожан. Он сознавал свою власть над ними и не мешал им брюзжать сколько душе угодно. Все равно, той цели, что он ставил перед собой для начала, ему достичь удалось: он вдохнул новую жизнь в дело, от которого, на его взгляд, зависело теперь благоденствие всей округи. В крестьянских усадьбах и в хижинах арендаторов обсуждали речь пастора, а тем самым возобновилось и обсуждение проекта.

\* \* \*

За день до рождества Пер приехал в Керсхольм. Там все оставалось по-старому, только уехала баронесса, да лицо гофегермейстера, больше чем когда бы то ни было, напоминало

жухлый кленовый лист. Все так же тянуло из кухни торфяным дымком, и этот запах показался Перу бесконечно родным и близким.

Гофегермейстерше сразу бросилось в глаза, что Пер очень изменился, и не только внешне. Она смекнула, что у него, должно быть, были какие-нибудь серьезные затруднения, но, несмотря на все материнское участие, с помощью которого она старалась выведать подробности, Пер упорно отмалчивался, чем в конце концов даже обидел ее.

В первый день рождества Пер вместе с ней отправился в бэstrupскую церковь. Гофегермейстер прихворнул и потому остался дома. Когда они добрались до церкви, прихожане уже начали петь псалмы. Засунув руку в карман сюртука, пастор Бломберг разгуливал взад-вперед по проходу, могучим голосом пел псалом и одновременно раскланивался с друзьями и знакомыми. Время от времени он останавливался возле лестницы, ведущей на хоры, благосклонным взором окидывал битком набитую церковь, и лицо его озарялось радостным умилением.

Пер тотчас отыскал взглядом Ингер, та сидела по другую сторону прохода, подле своей матери. Она была в черном, и это придавало ее нежному, тонкому облику неповторимую прелесть. Она ни разу не подняла глаза от молитвенника. Даже когда шелест шелка возвестил о прибытии гофегермейстерши, а фру Бломберг повернулась к вошедшим и кивнула им, Ингер продолжала глядеть в молитвенник, но щеки ее залила краска, и Пер, у которого были кое-какие основания подозревать, что она догадывается о его присутствии, воспринял это как знак одержанной им победы. Сердце у него заколотилось в тревожном ожидании.

Едва служба кончилась, Пера, гофегермейстершу и еще несколько человек из находившихся в церкви пригласили на чашку кофе к пастору. Такие приглашения от имени пастора стали местным обычаем; прихожане вели строжайший учет, кого и сколько раз удостоили этой чести. У пастора Пер застал четырех крестьян с супругами. На всех лицах, правда, по-разному, была написана одна и та же мысль; в своем приходе они самые почтенные, известные и зажиточные персоны. Перу и в голову не пришло, что пастор Бломберг пригласил этих людей нарочно ради него. Хотя он с необычным рвением старался их всех поскорей перезнакомить, о перепланировке речного русла никто речи не заводил, да и вся церемония «кофепития» заняла от силы полчаса: пастор спешил на внеочередное праздничное богослужение и сам намекнул гостям, что им пора уходить.

Сперва уехали крестьяне, потом гофегермейстерша с Пером. Ингер снова облегченно вздохнула.

Она все время очень боялась остаться наедине с Пером, так как почему-то вбила себе в голову, что Пер писал ее родителям и загодя заручился их согласием. Однако, для себя самой она все еще не решила проклятый вопрос: любит она Пера или нет. Точнее сказать, она по неопытности просто не могла разобраться, можно ли называть любовью то чувство, которое она испытывает к Перу. Ей нравилось, что он не похож на других. Тот, кому суждено стать ее мужем, ни за что не должен быть похож на других. Далее, она не сомневалась, что он по натуре очень добрый человек и будет заботиться о ней. И потом — ведь от себя самой не скроешь, что в ожидании его приезда она не спала ночи напролет. Еще сегодня, как раз перед тем как идти в церковь, у нее от волнения даже разболелся живот. Но можно ли все это считать любовью, неизвестно.

Пока Пер сидел у них, она была почти уверена, что никакой любви у нее и в помине нет. Он очень изменился внешне и — хотя это его красило, ничего не скажешь, — стал каким-то чужим и непривычным. Но когда он ушел, дома стало тоскливо и пусто, и весь остаток дня она прямо места себе не находила. Она бродила из комнаты в комнату, пересаживалась со стула на стул и горько сожалела о том, что вообще узнала Пера. Непривычное, неведомое доселе смятение мучило ее. Под конец она забилась в свою комнату, под села к окну и с тоской глядела, как садится солнце, заливая багрянцем белые от инея деревья. Она думала о романтическом, легендарном герое; при встрече Пер так живо вызвал у нее в памяти этого героя, что потом она уже не могла отделаться от первого

впечатления. Замкнутый и молчаливый, своим бледным лицом, черной окладистой бородой, а главное удивительными глазами морехода, он походил на «Летучего голландца» — такого, каким он выведен в опере, которую она год тому назад слушала в Копенгагене. Особенно запомнился ей величественный пролог, когда многострадальный моряк-скиталец, обреченный всю жизнь не знать родного гнезда и гонимый этим проклятием, пытается укрыться от шторма в шхерах Норвегии. Потом, под приглушенный и замедленный грохот литавр, он заходит в бедную рыбацкую хижину и видит там молодую девушку, дочь хозяина. Та одиноко сидит за прялкой и поет. И тут, уронив голову на руку, Ингер подумала, что она любит, конечно же, любит Пера, хотя любовь и не принесла ей счастья.

Она надеялась, что на следующий день все решится. Ее пригласили вместе с родителями в Керсхольм и больше никого, насколько ей было известно, не ждали. Но рано утром из Керсхольма прискакал гонец с известием, что приглашение отменяется, поскольку опасно заболел гофегермейстер: среди ночи его скрутила застарелая болезнь желудка.

Днем в сопровождении Пера приехала сама гофегермейстерша, чтобы извиниться за свой отказ. Она помянула вчерашний визит четырех крестьян и заявила, что с некоторых пор опять возобновились разговоры о том, чтобы провести еще одну встречу лиц, заинтересованных в перепланировке речного русла, чему она от души рада.

— Тем самым дело будет улажено. А мы сможем и дальше наслаждаться обществом господина Сидениуса.

Пастор Бломберг во время этой беседы спокойно расхаживал по комнате, заложив руки за спину. При последних словах гофегермейстерши он вдруг остановился с крайне серьезным видом.

— Вы правы, — сказал он, — я тоже не теряю надежды, что дух взаимопонимания, наконец, победит в этом вопросе.

Пасторша промолчала. Зато гофегермейстерша с каждой минутой становилась всё разговорчивей. Оказалось, что она до мельчайших деталей продумала будущее Пера.

— Вы ведь помните возле станции такую хорошенькую усадьбу? Вдова пастора Петерсена умерла, и усадьба сейчас свободна. Более подходящего жилья для господина Сидениуса не придумаешь. Вид у неё снаружи чудесный, прибавьте к этому еще очаровательный сад и всевозможные удобства. А какое расположение!

Ингер встала. Болтовня гофегермейстерши возмутила ее. Она отлично понимала, с какой целью все это говорится, и вообще за последнее время она сильно охладела к своей приятельнице. Во-первых, она поняла, что гофегермейстерша давно уже всеми правдами и неправдами старается выдать ее за Пера. А во-вторых, начинала догадываться, что под столь рьяными заботами о благе Пера скрывалось не просто хорошее отношение, ибо временами гофегермейстерша слишком уж неумеренно расхваливала Пера.

После кофе все общество предприняло небольшую прогулку по саду и дальше, до холмов, но Перу так и не удалось поговорить с Ингер наедине. Пасторша не спускала с них глаз, а когда они вернулись домой, к крыльцу уже была подана коляска. Гофегермейстерша торопилась к больному мужу, а Перу никто не предложил остаться.

На прощанье гофегермейстерша обняла Ингер и хотела поцеловать ее в губы, но Ингер увернулась и подставила ухо. Ласки, которым она прежде так радовалась, теперь не вызывали у нее ничего, кроме отвращения.

Прошло еще несколько дней, а влюбленным так ни разу и не удалось встретиться. Гофегермейстерша была прикована к постели больного мужа, а из-за нее Перу тоже пришлось отказаться от местных рождественских увеселений. Впрочем, он жалел только об одном: о том, что ему нельзя видеться с Ингер. Он знал, что Ингер как первая красавица и как дочь пастора Бломберга, всегда оказывается в центре молодой компании, что она бессменная королева в рождественских шествиях и сказочная принцесса в старинных танцах, которые, — как он уже не раз слышал летом, — снова входят здесь в моду. И хотя он знал также, что молодых мужчин здесь можно пересчитать по пальцам, да и те либо деревенские увальни-сыновья богатых хуторян, либо желторотые студентики, он все же очень

тревожился, и время для него тянулось мучительно долго. Бородач-управляющий не раз приглашал Пера на охоту, но охота больше не занимала его. Почти все время он безвыходно сидел дома, втайне надеясь, что, быть может, Ингер придет к ним в гости. Ни планы гофегермейстерши о том, как устроить его будущее, ни даже возобновившиеся переговоры о проекте почти не волновали его, вернее волновали лишь постольку, поскольку он мог рассчитывать на любовь Ингер.

В его комнате, как и в первый приезд, висела полка, тесно уставленная книгами. К ним-то он и прибегал в своем уединении. Но на сей раз он предпочитал развлекательную литературу — романы, пьесы, рассказы — и читал, чтобы убить время и заглушить тоску. Кроме того, с тех пор как ему пришлось пойти на поклон к родным, чтобы искупить былые грехи, он побаивался книг религиозного содержания. Тот бог, которого он познал этой осенью, не имел ничего общего с обольстительным образом всеблагого, милосердного утешителя, каким он представлял в трудах Бломберга. Правда, несколько раз он в них заглянул, но они вызвали у него то же разочарование, что и во время рождественской проповеди пастора. Мысли его уже не находили успокоения в этих гладких и красноречивых, но таких избитых рассуждениях о жизни и смерти, о грехе и благодати. В поисках бога он перешагнул ту ступень, когда человека удовлетворяют подобные рассуждения, говорящие лишь сердцу и ничего не дающие уму. Теперь он жаждал пищи для ума, теперь он хотел найти истину, а Бломберг предлагал ему цветочки вместо хлеба насущного. Поэтому Пер решил дать передышку своим мыслям. Он устал от бесплодных поисков. На некоторое время следовало закрыть врата потустороннего мира и думать лишь о жребии, ему уготованном, ибо от этого зависела вся его судьба и все счастье в этой быстротекущей жизни.

Раньше он и помыслить не смел о том, чтобы сделать предложение Ингер до того, как сдаст экзамен и получит хорошее место или, по крайней мере, займет виды на обеспеченное, безбедное существование. Но теперь, когда он с минуты на минуту ожидал ее появления, терзаясь ревностью и тоской, в нем вдруг проснулась былая отвага, и он решил добиться ответа сразу, как только останется наедине с ней.

Наконец, за день до Нового года ему удалось побывать в Бэструпе. Он знал, что оттуда несколько раз присылали человека справиться о здоровье гофегермейстера, и, поскольку утром появились симптомы, доказывающие, что дело идет на поправку, он спросил за завтраком, не следует ли ему съездить в Бэструп и сообщить пасторскому семейству радостную новость.

Гофегермейстерша отвечала с улыбкой:

— Долго же вы придумывали повод, — и в голосе ее послышались игривые нотки, которые уже несколько раз заставляли Пера умолкать посреди разговора.

Он выехал сразу же после завтрака. Он знал, что у пастора садятся обедать в три часа, и точно высчитал, что от часу до двух Ингер легче всего застать одну в гостиной. Мать в эту пору возится на кухне, отец сидит у себя в кабинете. А кстати, от часу до двух Ингер занимается музыкой и — как человек долга — делает это, по словам гофегермейстерши, круглый год, не пропуская ни единого дня, за исключением больших церковных праздников.

Чтобы прийти незаметно, он даже отказался от предложенной ему коляски, к тому же погода была превосходная, дорога хорошая, а ему после долгого сидения взаперти хотелось подышать воздухом. Зимнее солнце изборозило длинными тенями морозную землю, по полям кое-где бродили суягные овцы и щипали сухую траву. На душе у него было спокойно, до того спокойно, что он сам себе удивлялся. Со странным, почти благоговейным умилением прислушивался он к звуку своих шагов по скованной морозом земле — гулких, размеренных, сидениусовских шагов. Казалось, будто есть в этом звуке что-то такое, что связывает его с безвозвратно отлетевшей порой, откуда неведомыми путями сила вливается в тело, покой — в мысли, надежда — в душу.

Все вышло, разумеется, совсем не так, как он рассчитывал. Не успев еще открыть калитку, он сразу увидел фру Бломберг; она стояла посреди двора и кормила кур. Крайне

сдержанно поблагодарив за добрые вести, она пригласила его войти. Ингер действительно сидела в гостиной за роялем, но мамаша ни на секунду не оставляла их одних, а потому разговор вертелся исключительно вокруг болезни гофегермейстера. Потом появился сам пастор в черной рабочей куртке и тут же завладел разговором. Пер понял, что ему опять придется уйти ни с чем.

Но тут во дворе зацокали копыта, и к дверям подкатил старомодный рыдван. Это приехала с рождественским визитом пасторская чета из соседнего прихода. Вино и печенье внесли еще раньше, теперь подали кофе и шоколад, а Ингер помогла матери накрыть на стол. Пер совсем уже было собрался домой, но пастор Бломберг попросил его отобедать с ними, и Пер не заставил себя долго упрашивать. Потом старички гости уехали, и за те несколько минут, пока Бломберги провожали их до экипажа, Ингер и Пер стали женихом и невестой.

Когда фру Бломберг вернулась в гостиную, она сразу увидела, что дело неладно. Ингер стояла у окна, уткнувшись лицом в цветы, а Пер — подле нее.

— Что здесь творится? — почти грубо спросила пасторша.

Пер сделал шаг вперед, поклонился и сказал, как бы извиняясь:

— Сударыня, я сделал предложение вашей дочери.

Но тут явился пастор в своей коротенькой курточке. Когда он узнал, что произошло, лицо его приняло озабоченное выражение. Сперва он высказал несколько подходящих к случаю сентенций, но затем, будучи человеком покладистым, когда его удавалось растрогать, он заулыбался, раскрыл Ингер свои объятия, назвал Пера дорогим сыном и со слезами на глазах благословил их.

Как, собственно, все произошло, Пер и сам не понимал. После он попросил Ингер рассказать ему об этом. Ингер представила все дело в несколько комическом свете. Она сказала, что, когда гости вышли, ей тоже хотелось проводить их вместе с родителями, но он крепко схватил ее за руку и преградил ей путь.

— Я чуть не закричала. Ты даже не знаешь, до чего мне было больно.

Впрочем, это говорилось без малейшего намека на кокетство. Она совершенно искренне хотела пожаловаться. В общем же, на первых порах ее занимал не столько сам Пер, сколько мысль о счастье, которое она ему подарила. Но у Пера не было чувства, будто между ними рухнула какая-то преграда; он заметил, что она избегает оставаться с ним наедине. Боясь отказа, Пер даже перед уходом, когда их, наконец, оставили одних, не осмелился попросить у нее поцелуя; однако, сдержанность Ингер отнюдь не обижала Пера. Именно эта гордая стыдливость с самого начала так привлекала его, и он дал себе слово быть терпеливым и ни единым жестом не оскорбить ее.

Семейный совет, состоявшийся в кабинете пастора, постановил держать помолвку в тайне, пока Пер не сдаст экзамена. Особенно настаивала на этом фру Бломберг, и Пер безропотно подчинился. Ему также было велено ничего до срока не сообщать гофегермейстерше. На этом требовании, главным образом, настаивала Ингер. Но здесь его постигла неудача. Когда он вернулся в Керсхольм, выражение лица немедленно выдало его.

— Вы помолвлены! — вскричала гофегермейстерша, едва лишь увидела его.

Пришлось во всем признаться, и под ее нажимом он выложил гораздо больше, чем ему того хотелось.

\* \* \*

Перу лишний раз довелось убедиться, что радость, как и беда, никогда не приходит одна.

Через несколько дней к нему нагрянули неожиданные гости: двое крестьян, из тех, что пили кофе у пастора, явились в Керсхольм и попросили позволения переговорить с ним. Это были рослые, широкоплечие мужчины в домотканых костюмах. Держались они с большим достоинством. Пер пригласил их сесть, и, невзирая на полную неожиданность визита и на его



неумение разговаривать с крестьянами, беседа продолжалась несколько часов. Гости начали с заявления, что их никто сюда не посылал, что они приехали сами по себе, поскольку «слышали краем уха», будто он намерен заняться перепланировкой речного русла и понизить уровень воды во всех водоемах округи. Если слухи, дошедшие до них, справедливы, то они лично хотели бы поближе ознакомиться с делом. В каждом их слове сквозила расчетливая осторожность и мелочное недоверие, и это совершенно не вязалось с их мощными фигурами и уверенной осанкой. Хотя из вопросов, которые гости задавали Перу, явствовало, что они досконально изучили как юридическую, так и техническую сторону дела, они все время делали вид, будто знакомы с проектом только в общих чертах, и когда один из них случайно обмолвился о возможном созыве еще одного съезда учредителей, другой не преминул усомниться в реальности этой затеи, а первый тогда напрямик заявил, что он, со своей стороны, вообще не верит в успех предприятия.

Когда они, наконец, ушли, Пер подумал, что они затем и приходили, чтобы подготовить его к окончательному отказу. Но гофегермейстерша, которой он передал содержание разговора и которая лучше знала, как принято у крестьян вести дела, поздравила его и все с тем же игривым смешком заявила, что теперь самое время снимать мерку для свадебного костюма. У Бломбергов тоже все были довольны; и действительно, через несколько дней по округе прошел слух, что эти крестьяне поехали в Копенгаген просить своего депутата выхлопотать им государственную субсидию для начала работ.

А Пер тем временем просиживал почти целые дни в Бэструпе, и с каждым разом Ингер все меньше и меньше старалась сдерживать свои чувства. Правда, она никогда не выходила из состояния задумчивого спокойствия и немного мрачнела, когда он целовал ее, зато заботилась о нем просто трогательно. Если он приходил в ненастную погоду, она тотчас готовила ему горячее питье и заставляла проглотить все до дна чуть не в кипящем виде; когда он уходил или уезжал по вечерам, она провожала его до передней, снимала с плеч шелковый шарфик и заботливо укутывала его шею, чтобы он не простудился.

Она относилась к нему почти по-матерински, и Пер безропотно позволял обращаться с собой, как с маленьким своенравным мальчуганом, которому она — снисходительная мамаша — спускает все шалости.

Пер легко втянулся в круг их домашних дел и забот. Он очень скоро убедился, что здесь царствует единственный и неограниченный повелитель — сам пастор. Не то чтобы его можно было назвать семейным деспотом, отнюдь нет. Он царствовал в силу неоспоримого превосходства, благодаря которому взял под опеку своих присных, не тратя при этом ни лишней энергии, ни лишних слов. Все это очень напоминало Перу его отца и отношение того к матери и к детям. Многие здесь вызывало в памяти родительский дом, как ни разнился самый тон и уклад жизни. Однажды, приехав к Бломбергам, он заметил, что все чем-то расстроены. Тесть отсиживался у себя в кабинете; Ингер и маменька с торжественными лицами восседали в гостиной за рукодельем; младшие тихо и как-то нерешительно возились в столовой. Когда они остались вдвоем, Ингер рассказала Перу, что одного из ее братьев, двенадцатилетнего Нильса, уличили во лжи, и хотя отец располагал явными доказательствами того, что Нильс солгал, Нильс тем не менее упрямо отрицал свою вину. Тогда отец созвал всех детей и произнес волнующую проповедь, после чего маленький грешник, обливаясь слезами, во всем сознался. Теперь он заперт в комнате для гостей, и ему запрещено выходить со двора до конца рождественских каникул.

Пер выслушал ее не без некоторого смущения: он до сих пор не забыл подобную же сцену в своем родительском доме, за обедом, когда обнаружилось, что он воровал яблоки. Воспоминания об этой гадкой сцене омрачили все его детство, и сейчас, когда он думал о ней, в голове у него поднималась дикая сумятица — отголосок испытанного тогда чувства протеста и жажды мести. Поэтому он сразу попытался переменить тему и очень обрадовался, когда вернулась мать Ингер и разговор принял другое направление.

Отношения с тещей тоже мало-помалу наладились. Ради Ингер Пер всячески старался победить ее неприязнь и преуспел в этом. Он заметил, что она очень любит, когда ее

развлекают во время шитья, например, читают вслух какую-нибудь книгу. Поэтому он ежедневно после обеда прочитывал целые главы из просветительных романов, весьма популярных в этом доме, и, хотя само чтение не доставляло ему никакого удовольствия, он постепенно привык и стал даже находить приятными эти тихие часы, когда голос его перемежался лишь шуршанием ниток да успокоительным потрескиванием дров.

На другой день после крещения Пер уехал в Копенгаген. Он и так слишком надолго забросил работу, да вдобавок болезнь гофегермейстера оказалась гораздо серьезнее, чем предполагали, и неожиданно приняла очень дурной оборот. Последний день он целиком провел у Бломбергов. Ингер на прощанье — первый раз за все время — очень разволновалась, на глазах у нее выступили слезы, и она долго-долго сжимала руку Пера, словно боясь выпустить ее из своих рук. Когда он отъезжал, тесть, теща и все маленькие братья и сестры Ингер высыпали на крыльцо и махали платками, пока не скрылся из виду. А Ингер перешла в сад, взобралась на нижнюю перекладину забора и долго еще махала оттуда.

И все же Пер был несколько разочарован. До самой последней минуты он надеялся, что Ингер попросит у родителей разрешения проводить его до станции, чтобы им хоть немножко побыть вдвоем. Правда, погода была холодная и ветреная, но все же его удивило, что Ингер даже в голову не пришла эта мысль. Забившись в угол кареты и глядя на незанятое место возле себя, он невольно вспомнил Якобу, вспомнил, как она в одном из писем поведала ему о своей тоске. «Я рада бы трижды объехать вокруг света, чтобы побыть с тобой одну-единственную минуту», — писала она. Тогда эти слова показались ему напыщенными и истерическими. Теперь, когда он сам полюбил, он их понял.

Через полчаса впереди показались станционные постройки, потом промелькнул маленький домик, в котором гофегермейстерша намеревалась свить гнездышко для их любви. Домик стоял в стороне от дороги, у подножья холма. Он был выстроен в дачном стиле и окружен очень неплохим садом. Даже теперь, среди зимы, обнаженные деревья придавали домику очень уютный и располагающий вид. Мысли Пера невольно настроились на торжественный лад. Возможно ли, что он, от кого отступились все добрые духи, когда-нибудь будет сидеть возле этих, ничем сейчас не занавешенных окон, а рядом с ним будет Ингер, и силы добра, против которых он так неразумно грешил, будут охранять его покой? Возможно ли, что однажды в пустынном и заброшенном сейчас саду прозвучит смех или плач его детей? А на холме позади дома — да, именно на холме — он построит опытную мельницу, и в один прекрасный день, быть может, возвестит миру о великой победе.

Растроганный, он улыбнулся своим мыслям и подумал, что бог не только грозный судия, который жестоко, даже беспощадно карает отступников, но и милосердный отец, который по-царски награждает праведных.

Когда поезд отошел от станции, Пер обнаружил, что вместе с ним в купе сидит седенький старичок. В старичке он без труда узнал пастора, приезжавшего к Бломбергам с рождественским визитом, как раз перед тем, как состоялась его помолвка. Пастор был бодрый и словоохотливый господин, он тоже узнал Пера, и разговорились они как нельзя лучше.

— Вы ведь, кажется, сын покойного Иоганна Сидениуса, не так ли? С отцом вашим я был мало знаком, он не очень-то жаловал своих коллег и предпочитал всему на свете уединение, зато матушку вашу я в молодости знал очень даже хорошо. Мы с ней родились и выросли в одном городе, мы оба из Вайле и почти однолетки. Вы, между прочим, весьма на нее похожи. Я, еще когда встретил вас у наших милых Бломбергов, все думал, кого это вы мне напоминаете. Но у меня вылетела из памяти девичья фамилия вашей матушки. А потом сообразил, что у вас торсеновское лицо. Когда я гляжу на вас, я словно вижу перед собой вашего дедушку. Да, вы ведь его, наверно, не знали. Чудесный был человек, веселый такой, жизнерадостный до последнего вздоха и всегда живо интересовался тем, что творится на белом свете. Его гостеприимный дом был сущей благодатью для нашего маленького городка, а ваша матушка была душой невинных развлечений местной молодежи. Ах, счастливое время, счастливое время! Помню, как-то на рождественские каникулы один землевладелец,

живший довольно-таки далеко от нашего городка, давал костюмированный бал. Всю молодежь туда пригласили, радость была неописуемая. И надо же так случиться, что к концу дня разыгралась страшная буря. Такая поднялась метель, никто не осмеливался и носа из дому высунуть. Огорчились все ужасно. И вот сидим мы это и горюем, и вдруг с улицы доносится звон колокольчиков, скрип полозьев, щелканье кнута.

Бросаемся к окнам — и кого же мы видим? Кого же; как не Кристину Торсен? Она преспокойно собирается на бал и слышать не хочет о том, чтобы отсиживаться дома. А под конец вообще заявляет, что, если никто ее не повезет, она пойдет пешком, прямо в своих атласных туфельках. Ну, тут уж все расхрабрились, и это рискованное предприятие очень удачно закончилось: повеселились мы на славу.

— Простите, — смущенно прервал его Пер, — но вы, вероятно, ошибаетесь. Это не могла быть моя мать.

— Значит, вы не сын покойного Иоганна Сидениуса?

— Сын.

— А вашу матушку звали Кристина, и она была дочерью уездного лекаря Эберхарда Торсена из Вайле?

— Да.

— Тогда я не ошибаюсь.

— Может, это была сестра моей матери?

— Ах, вы про бедняжку Сигне? Помню, помню! Только она была очень слабенькая и рано умерла. Зато ваша матушка была воплощение здоровья; цветущая, невысокого роста, но стройная и миловидная. Или возьмите другой случай. Однажды летом мы, молодежь, устроили, как мы тогда это называли, пикник в складчину. Наняли три открытых экипажа и поехали в лес, километров за двадцать от города. Лес принадлежал одному барону, и этот барон, не помню уж почему, был не в ладах с местным населением. Он на все входы и выходы велел прибить большие плакаты с длинным перечнем правил, которые следует соблюдать в лесу. Плакаты висели повсюду, хотя лес был огромный, а сам барон жил далеко. Запрещалось сходить с отмеченных вехами тропинок, запрещалось громко кричать и затевать шумные игры, чтобы не спугнуть дичь, а строже всего запрещалось устраивать в лесу привалы и закусывать. Именно эти плакаты восстаивали людей против барона, и мы решили из одного лишь упрямства поступить по-своему. Мы расположились на полянке среди леса, достали корзины с провизией, кофейную мельницу — словом, устроились отлично. И вдруг у всех кусок застрял в горле: прямо перед собой мы увидели двух человек — барона и лесничего. Молва утверждала, что барон страшный грубиян, да и вид его мог напугать кого угодно. Он был большой, грузный, а лицо багровое, как у индюка. Что тут делать — никто не знал. Перепугались все до смерти. И вдруг ваша матушка встает, наливает чашку кофе, берет ее в руки и шагает прямо по траве к барону. Как сейчас вижу ее перед собой. На ней было сиреневое летнее платье и большая соломенная шляпа с цветами. Она была так прелестна и шла такой легкой походкой, что на нее было приятно посмотреть. Она сделала книксен и с лукавой улыбкой попросила барона оказать нам честь и разделить нашу трапезу. И барон не устоял. Вообще-то он был добрейший человек, и дело кончилось тем, что он пригласил нас всех погостить на обратном пути у него в замке и отведать его шампанского. Этот день уж никто из нас не мог позабыть. Ваша матушка никогда вам об этом не рассказывала?

— Никогда.

На ближайшей остановке разговорчивый старичок сошел. Пер был очень рад, что остался один, ибо рассказы пастора разбудили в нем невеселые мысли.

Поезд тронулся, а Пер все думал, как мало он, в сущности, знал о семье своей матери, о ее молодости. Отец — тот очень любил говорить про свое детство, вспоминать, как ему жилось в доме его отца — бедного пастора; а вот мать словно боялась рассказывать детям о своем доме и своей родне. Даже ее единственного брата, который служил врачом где-то на острове Фюн, Пер ни разу в жизни не видел; к ним он никогда не приезжал, и говорить о нем

почти не говорили.

Неподвижно сидя у окна и подперев голову рукой, Пер мрачно смотрел, как в надвигающейся тьме бегут за окном поля. Теперь он начал понимать, почему ему стало так не по себе в тот день, когда он впервые прочел оставленное для него письмо матери.

## Глава XXV

В ночь с девятого на десятое января в маленьком силезском городке Хиршберг, под Бреславлем, где Якоба в тишине и уединении проводила последние месяцы беременности, пробил для нее час тяжелых испытаний. Рано утром известили телеграммой бреславльскую приятельницу — единственного человека, кому Якоба доверила свою тайну. Днем — тоже телеграммой — вызвали врача.

Протекли те мучительные сутки, о которых впоследствии Якоба не могла вспомнить без ужаса, а уж она ли не привыкла к страданиям. Ребенок родился живым, но тотчас же умер. Якобе его даже не показали: чтобы спасти жизнь матери, пришлось искалечить ребенка.

Целый месяц пролежала Якоба в постели. Когда она начала вставать и выходить в маленький садик перед домом, где, укутавшись пледом, могла любоваться грядой снежных вершин, окаймляющих молодую зелень полей, весна уже была в полном разгаре. Но вся эта красота не радовала ее. Она так горевала из-за смерти ребенка, чувствовала себя такой опустошенной, такой ненужной, такой лишней в этом мире, вдобавок такой беспомощной, что глаза ее не высыхали от слез. В последние месяцы перед родами ребенок заполнил все ее мысли, стал неотделимой частью ее самой, и теперь у нее возникло ощущение, будто от нее вообще ничего не осталось. Она даже не думала о том, что смерть ребенка сняла с нее тяжелый крест. Позор, унижение, горе родителей, жалость знакомых — все, что прежде могло бы истерзать ее душу, ничего не значило по сравнению с теми радостями, которых она ждала от своего ребенка, с теми надеждами, которые она на него возлагала, — с надеждами начать новую жизнь.

Мать и отец, уверенные, будто она до сих пор живет в Бреславле, регулярно писали ей обо всех домашних событиях. От них она узнала, что Эйберт женился на семнадцатилетней девочке, что ее зять Дюринг прошел в риксдаг, что Нанни была на придворном балу представлена одному из принцев. Но все это нисколько не занимало ее. Она сидела в своем маленьком садике, подложив под голову подушку и поставив скамеечку под ноги, и провожала глазами детишек, бегущих мимо нее по тропинке.

В основном это были дети из бедных семей — бледные, чахлые, убогие, какими кишмя кишат все фабричные поселки, даже самые маленькие, полудеревенского типа, где вдоль дорог еще пробивается весной зеленая травка. Два раза в день они с шумом и гамом проходили мимо ее дома — в школу, из школы. Особенно приглянулся Якобе один малыш, лет десяти, с болезненным, синевато-бледным личиком и с болячками на щеках и под носом. Он всегда плелся в хвосте, зажав под мышкой аспидную доску и шаркая, словно дряхлый старичок, деревянными башмаками. Когда она достаточно окрепла, чтобы без посторонней помощи выходить за пределы сада, она как-то раз остановила этого малыша и ласково с ним заговорила. Мальчик недоуменно и робко посмотрел на нее печальными синими глазами и, ничего не ответив, побрел дальше. Шагов через пятьдесят он боязливо обернулся и, когда увидел, что Якоба стоит на прежнем месте и смотрит ему вслед, втянул голову в плечи, словно опасаясь нападения сзади. «Бедный карапуз!» — вслух подумала она и побрела дальше; маленький забитый мальчуган и его рано проснувшийся страх перед чужими людьми пробудили в ней материнскую нежность.

Через несколько дней она пошла следом за этим мальчиком, чтобы поглядеть, где он живет, и увидела издали, как он скрылся в длинном низком бараке с множеством — через каждые два-три окна — дверей, выходивших прямо на мостовую. Порасспросив соседей, она узнал, кто его родители и в каких условиях живет его семья. Перед ней раскрылась



неизменная трагедия «фабричных». Отец и мать работают, бросив детишек на произвол судьбы. Дома их ждет голод, в школе — побои, на улице — бдительное око полиции. В таких условиях дети либо ожесточались, либо тупели; делались либо преступниками, либо ничтожествами.

Якобе еще ни разу не приходилось сталкиваться с нищетой лицом к лицу, и открывшаяся перед ней картина потрясла ее. Она разузнала, сколько платят рабочим, какова продолжительность рабочего дня, в каких условиях они живут, соблюдаются ли в фабричных школах элементарные требования гигиены, существует ли для рабочих обеспечение по старости и тому подобное. Полученные сведения возмутили ее до глубины души. Она будто воочию увидела перед собой написанные кровавыми буквами слова: «Современное варварство капитала», хотя раньше, чуть ли не ежедневно встречая их в рабочих газетах, она не связывала с ними никаких определенных представлений.

Она не могла довольствоваться одним лишь немим состраданием к поработанным. Всякое сильное чувство обычно пробуждало в ней жажду деятельности, и на этот раз она от рассуждений перешла к поступкам. При поддержке своей хозяйки, очень славной женщины, вдовы унтер-офицера, она без долгих размышлений устроила у себя в саду что-то вроде общественной столовой, где бедные ребятишки могли по пути в школу и обратно получить бесплатную еду и теплое питье. Все запасы нежности, всю жажду самопожертвования, которую она хранила для собственного ребенка, Якоба отдавала теперь этим бесприютным малышам, изливала ее на нечесанные и немые головенки, а нежность все не убывала. Сперва ребята дичились ее, а сама затея вызвала лишь насмешки у жителей городка. Но запах наваристого супа, поднимавшийся из-за забора, и вид постоянно накрытых столов мало-помалу победили робость детей. И вот в один прекрасный день Якоба увидела, как уписывает за обе щеки обед тот самый малыш с землистым цветом лица и болячками под носом.

Но Якоба на этом не успокоилась. По мере того как восстанавливались ее силы, жизнь приобретала над ней прежнюю колдовскую власть и без остатка заполняла ее сердце. Своей бреславльской подруге она писала:

«Задумывалась ли ты когда-нибудь над тем, какая страшная участь уготована детям из бедных семейств в наше время — наше прекрасное, великое время; как ничтожно мало сделано обществом для того, чтобы создать им человеческие (или хотя бы сносные) условия существования. Из именуемой родным домом пустой комнаты, где очень редко бывают отец или мать, несчастных малышей гонят в школу, которая большинству из них представляется исправительным заведением и которая чаще всего мало чем от него отличается. Им бы с доверием взирать на общество, как на свою надежнейшую опору и защиту, но общество предстает перед ними обычно в самом неприглядном виде: в виде бездушного учителя, жестокого полисмена, назойливых деятелей из Комитета попечительства о бедных и священнослужителя, который толкует им про смерть, про Страшный суд и адские муки. Откуда здесь взяться общественным чувствам, из которых со временем могли бы развиваться чувства братского согражданства? На укрепление распадающейся семьи нечего и рассчитывать. Родительский дом, который некогда составлял основу нашего общества, ныне отмирает, это пройденный этап развития. Но что же предложить им взамен? Этот вопрос так занимает меня в последние дни, что я даже во сне не забываю о нем. Ну, о взрослых общество позаботилось. Оно дало им церкви и варьете, залы для собраний и пивные, театры и молитвенные дома. А как же дети? Скажи на милость, откуда ждать помощи этим бедняжкам? Я вижу лишь один-единственный выход: школа должна постепенно заменить им родной дом. Но само собой разумеется, для этого школу надо долго и упорно перестраивать, ее надо вернуть к первоначальному состоянию, сделать тем, чем некогда были монастыри, — прибежищем, открытым всегда и для всех, надежным приютом. А кроме того, в школе должно быть и нечто качественно новое. Самый вид ее, убранство комнат, методы преподавания должны создавать у ребенка одновременно ощущение домашнего уюта и праздничности. Ибо именно здесь следует привить детям основу радостного и светлого



восприятия жизни, которое поможет им в дальнейшем, сделает их в борьбе за существование более стойкими, нежели прежняя (а порой и современная), воспитанная монастырями, молодежь, та, что при первом же разочаровании теряла и веру в жизнь, и надежду на счастье и прибегала, как малое дитя, под крылышко старой доброй няньки — церкви.

Но я вижу на твоём лице нескрываемое изумление. «К чему она мне все это рассказывает?» — спросишь ты. Что ж, это уместный вопрос, и я открою тебе всю правду. Здесь, в моем одиночестве, передо мной словно открылся новый мир, и я сама еще несколько ошеломлена этим открытием. Знай же, что я всерьез намерена попытаться воплотить в жизнь изложенные выше мысли. У меня возникла безумная идея устроить в Копенгагене школу для детей бедняков по тому образцу, который я тебе набросала. На это уйдет вся моя доля наследства, но разве можно найти для нее лучшее применение, особенно если учесть, что мне теперь некому ее оставить. Разумеется, такое дело в два дня не одолеешь. Мне надо хорошенько рассмотреть все опыты, предпринимавшиеся в этом направлении, и вообще до основания изучить школьный вопрос. Помнится, я где-то слышала или читала, что в Америке уже было такого рода движение, поэтому не удивляйся, если в один прекрасный день ты получишь известие о том, что я намерена пересечь Атлантический океан. Пока же я останусь с моими подопечными. Да и могилку на здешнем кладбище я не могу покинуть, так что вряд ли ты меня скоро увидишь».

\* \* \*

Этой же весной Пер с блеском выдержал экзамен, однако радость его была непродолжительна: ему чуть не прямо от экзаменационного стола пришлось проследовать в казарму и напялить на себя солдатский мундир. И здесь он в который уже раз — должен был расплачиваться за прежние грехи. Сколько лет подряд он всеми правдами и неправдами старался исхлопотать себе отсрочку от военной службы, лелея дерзкую мечту, что, быть может, с помощью Филиппа Саломона ему удастся и вовсе избежать призыва. И вот теперь его взяли в армию и заставили целое лето топать по плацу, рыть окопы и плести фашины вместе с несколькими сотнями молодых людей, казавшихся ему сопливыми мальчишками. Больше всего мучила Пера не физическая усталость, хоть и к ней он не слишком привык, а какая-то духовная спячка, оцепенение, к которому неизбежно приводит жизнь в казарме. Он прихватил с собой несколько книг, надеясь перечитать их на досуге, но после маршировки у него только и хватило времени на удовлетворение самых насущных потребностей. Желание отъесться и отоспаться всецело им завладело; кроме того, он так привык все выполнять по команде, что ему теперь казалось совершенно диким делать что-либо добровольно.

Но духовная спячка продолжалась лишь до осени. Здесь удача снова начала сопутствовать Перу: отслужив первый срок, он по жеребьевке вытянул один из редких номеров, который освобождал его не только от зимнего призыва, но и вообще от дальнейшей службы в армии. В конце сентября, отдохнув душой и телом, он поехал в Ютландию и там была торжественно оглашена его помолвка. Гофегермейстер за время его отсутствия скончался, но это не только не приостановило хода переговоров, а, напротив, ускорило их, и приготовления зашли так далеко, что Пер, к своей великой радости, мог немедленно взяться за работу.

Прежде всего он обосновался в маленькой вилле на окраине станционного поселка, в той самой, которую гофегермейстерша присмотрела для него еще до рождества и которую до сих пор никто не занял. В домике было пять комнат, не считая кухни, и еще две комнатки в мезонине. Для начала он обставил только две комнаты внизу, да и то весьма скудно. Полное неумение создавать уют, которое бросалось в глаза всюду, где бы он ни жил, будь то в Дании или за границей, сказалось и здесь. На аукционе, где распродалось имущество прогоревшего лавочника, он приобрел два крашеных стола, обитый клеенкой диван, несколько стульев и тому подобное добро. Если Пер охотно довольствовался сборной

рухлядью, то не только из чисто финансовых соображений, как ему казалось, не только из желания по возможности скорей выплатить долг родным и Филиппу Саломону, но и потому, что в нем, как в истом Сидениусе, жил средневековый послушник, которого всегда тайно влечет аскетический образ жизни и суровые нравы. Теща подыскала для него экономку-старушку, служившую когда-то у них в Бэструпе, и вот в октябре, едва осень развеяла по ветру последние остатки летнего наследства, наступил наконец день, когда Пер впервые сел за собственный стол.

Сам городок — он звался Рималът — был как две капли воды похож на все новые поселки, которые в мановение ока, а потому без всякого плана, вырастают в густонаселенных местностях вокруг железнодорожных станций. Здесь были, как положено, трактир, реальное училище, аптека, несколько лавок, несколько ремесленных мастерских, но зато ни церкви, ни пастора. За станцией линия пересекала речку, здесь был выстроен довольно солидный мост, и гулкий перестук вагонов по мосту доносился отсюда до самого Керсхольма, где в свое время его и слышал Пер. На двадцать километров вокруг люди ставили по поездкам свои часы.

По обе стороны моста и находилась арена его деятельности. Вдоль реки на десять километров с одного берега, на пять с другого, включая заливные луга в рималътском, бэstrupском и борупском приходах. Каждое утро Пер выезжал в собственной легкой двуколке, чтобы снять план местности, наметить трассу стоков, установить вехи и тому подобное. За этой работой он постепенно познакомился с местными жителями. Не очень-то они пришлись ему по душе. Взятые в отдельности, они производили совсем другое и далеко не столь благоприятное впечатление, как тогда летом, в лесу, на народном празднике. А кроме того, поскольку он не имел возможности оценить каждого из них, они все казались ему на одно лицо и на одну статью. Всюду он замечал лишь общесловные черты: корыстолюбие, въедливую мелочность, бесцеремонную привычку совать нос в чужие дела, — словом, те малоприятные качества, которые расцветают под воздействием вечной нужды в замкнутом и ограниченном провинциальном мирке. Здесь он окончательно утвердился в справедливости того наблюдения, которое сделал еще за время рекрутчины. У них в роте служили и ремесленники, и крестьяне, главным образом из западной Ютландии, и его просто поразило, до чего крепкая солидарность связывала первых, хотя некоторые из них принадлежали к самым отребьям копенгагенского общества, тогда как вторые не только были лишены элементарного чувства товарищества, но даже вообще не знали, что это за чувство такое. Они, правда, ни с кем не ссорились и даже держались как будто вместе, но им и в голову не приходило оказать кому-нибудь услугу просто так, не рассчитывая на ответную, и они, в свою очередь, даже не подумали бы обратиться к кому-нибудь за помощью, ничего не предложив взамен.

Иногда Пер возвращался домой в самом мрачном настроении; это случалось, когда целый рабочий день пропадал зря из-за того только, что два соседа, связанные узами теснейшей дружбы, единством веры и общностью политических убеждений, не могли решить, кому принадлежит данная кучка земли, хотя и всю-то ее можно было бы вывезти на одной тачке. И пусть даже последнее поколение начало просыпаться от духовной спячки, идея христианского братства по-прежнему оставалась для них лишь внешним атрибутом, ее, подобно праздничному настроению, прихватывали на собрания и в церковь, а в хлопотах буден она выветривалась из головы и уж никак не влияла на денежные дела.

Впрочем, и общение с людьми своего круга большой радости Перу не доставляло. Каждый вечер после прибытия почтового поезда рималътская интеллигенция, а именно: директор реального училища, аптекарь, начальник станции и несколько местных негоциантов, собиралась в диванной комнате трактира, где у них было нечто вроде клуба. В этот кружок был введен и Пер. Члены клуба рассаживались вокруг стола, над которым висела подслеповатая лампа, курили трубки, читали газеты и прихлебывали грог. Время от времени кто-нибудь начинал толковать о прочитанном, разговор становился общим, и вряд ли в каком другом месте земного шара столь детально обсуждались вопросы внешней

политики, как здесь, в провинциальном ютландском трактире. Директор училища считался, так сказать, духовным вождем клуба. Это был человек лет пятидесяти, очень неглупый, он обладал весьма пространными, хотя и разрозненными познаниями в различных областях науки и умело вплетал их в любой разговор. Был он когда-то студентом, вышел из университета кандидатом философии и после неудачной попытки пробиться на политическую арену осел в провинции и принял руководство над мужским училищем, насчитывавшем сорок учеников. Он не знал большего удовольствия, чем хулить и развенчивать все, что творилось на свете, за пределами Римальта; военные перипетии, экспедиция на Северный полюс, важные научные открытия, выдающиеся явления искусства, рост профессиональных союзов, размах рабочего движения — обо все этом он толковал со снисходительным презрением. Даже чудеса технического прогресса, которые вызывали у крестьян детский восторг, и те не внушали господину директору особого доверия.

— Подумаешь, — сказал он однажды вечером, после того как вычитал из газет об изобретении телефона, а Пер вкратце объяснил собравшимся устройство телефона и способ его использования, — подумаешь, можно только удивляться, что телефон не изобрели много лет тому назад. Ведь просто смешно, что я не могу, сидя здесь, разговаривать со своим приятелем в Китае, да и не просто разговаривать, а видеть его, прикасаться к нему, обнять его. И так решительно во всем. Чтобы добраться от Европы до Америки, нужно семь суток. Позор и еще раз позор! На такое смехотворное расстояние должно бы уходить от силы семь часов. Другими словами, чтобы мы могли завтракать в Копенгагене, а обедать в Нью-Йорке. И только когда человечеству это удастся, только тогда, но ни секундой раньше, я готов снять шляпу перед успехами науки.

Аптекарь тоже любил упиваться звуками собственного голоса, хотя он иногда и застревал на середине фразы, решительно не зная, как довести ее до победного конца. Начальник станции, отставной офицер, беседовал по большей части со своим стаканом, а два негоцианта почтительно внимали речам образованных господ.

Пера не очень привлекали эти сборища, и потому он лишь изредка заглядывал в трактир. Бывать в Бэструпе каждый вечер он тоже не мог — Бэструп был слишком далеко от Римальта, а лошадь нуждалась в отдыхе; но ежели он хотел пройти пешком восемь километров туда и восемь обратно в ненастье и распутицу, после утомительного трудового дня, этого ему, конечно, никто не возбранял. Дома у него было уныло и одиноко. Правда, он мог читать; книги и составляли его единственное развлечение в долгие зимние вечера, куда более долгие, чем день. А продолжать работу над изобретением он тоже не мог: в мыслях его не было необходимого равновесия, они перескакивали с предмета на предмет и то и дело уносили его в Бэструп. Только когда у него будет настоящий дом, а Ингер будет ходить по комнате и мурлыкать какую-нибудь песенку, только тогда он сможет по-настоящему, регулярно работать дома.

Он еще около рождества закидывал удочку насчет свадьбы. Тесть и теща сначала даже и слушать его не захотели. Ингер-де слишком молода, да и будущее у него недостаточно обеспеченное. Сама Ингер тоже была против такой поспешности, но после ряда долгих, а порой весьма унижительных для Пера переговоров он все-таки поставил на своем. Свадьбу решили сыграть в мае.

Помимо одиночества и тоски по настоящему семейному очагу, была еще и третья причина, которая заставляла его так торопиться со свадьбой, хотя на нее он и не ссыался. Дело в том, что он никак не мог поладить со своим тестем. Неуклонное духовное развитие увело Пера так далеко от блумберговского восприятия мира, что последнее начало даже претить ему. Представление о боге, как об эдаком добропорядочном буржуа, который с общего согласия правит вселенной на основе признанных большинством гуманистических принципов, теперь вызывало у Пера только смех. В бурной смене настроений, потрясавшей его ум за последние годы, он угадывал волю более могучую и цель более грандиозную. И общение с новыми людьми здесь, в приходе, и более углубленное благодаря этому понимание жизни все дальше и дальше уводили его от блумберговской веры в бога-добрняка.

Жестокая нужда в лачугах батраков, страшные опустошения, производимые невежеством и болезнями, вся вопиющая — если судить по-человечески — несправедливость при распределении земных благ заставляли искать в религии новых путей, стремиться к более глубокому проникновению в непостижимую, таинственную логику бытия. И поскольку все эти раздумья не могли укрыться от проницательных глаз тестя, между ними частенько возникали размолвки. При всей своей терпимости, там, где дело касалось отношения паствы к господу и к существующему миропорядку, пастор Бломберг был весьма щепетилен насчет того, что думают и говорят люди о нем самом; привыкнув слышать от своих присных лишь отголоски собственных мыслей, он воспринимал всякую попытку противоречия как свидетельство злокозненной строптивости. Этот человек, никогда не считавшийся с чужими взглядами и даже позволявший себе высмеивать чужие религиозные убеждения, призывал на помощь весь авторитет церкви, стоило кому-нибудь задеть его лично, и Сидениусу от него доставалось не меньше других. Пер все чаще вспоминал слова, которые Якоба однажды не то привела в письме, не то обронила в разговоре об исполненном самообмане рвении, при помощи которого церковь с незапамятных времен, прикрываясь флагом благочестия, стремилась утолить непомерную жажду власти.

Не из таких источников и не у таких людей искал Пер в пору зимнего одиночества пищу для ума, не здесь учился он углубленному пониманию таинственного языка жизни.

С годами Пер сделался пылким книголюбом. Вид какого-нибудь объемистого фолианта приятно ласкал его взор. Переступив порог крестьянского дома, он первым делом отыскивал глазами книжную полку и почти всегда находил ее. Он взял себе за правило всякий раз просматривать все, что там стоит, и везде встречал почти одно и то же: библию, несколько исторических романов Ингемана, пьесы Хольберга, кой-какие научно-популярные брошюрки, труды крестьянских авторов, школьные комедии, религиозные стихи и светскую лирику да еще собственно нравоучительную литературу. Последняя по большей части была представлена проповедями Бломберга. Порой можно было встретить случайно сохранившийся образчик церковной литературы древнейших времен, небольшого формата пухлые книжицы с самыми диковинными заголовками. Одна, к примеру, называлась «Помазание господне», другая — «Золотой ларец», третья — «Четыре книги о последователях Христа» а четвертая и вовсе: «Кровавые раны и язвы Иисуса как надежнейшее прибежище для всех попавших в беду грешников». Владельцы книг приходили в некоторое замешательство, когда у них обнаруживали богословские трактаты, созданные в непросвещенный век, и, поскольку в эти книги действительно давным-давно никто не заглядывал, Перу не стоило особого труда выпросить для своей библиотеки некоторые наиболее любопытные экземпляры. Поступал он так, главным образом, смеха ради, но когда однажды вечером он от нечего делать начал перелистывать одну книжицу, тщательно выискивая места, особенно ярко отмеченные печатью седой старины, он обнаружил, что напевы древних народов поэтов, наивные, порой грубые, порой напыщенные, то есть отмеченные свойствами, которые всегда претили ему, каким-то непостижимым образом волнуют его душу.

Дальше — больше. Обуреваемый неустанным стремлением окончательно постичь себя самого и разобраться даже в своих мимолетных чувствах, Пер решил досконально изучить историю религии того периода, к которому относилось большинство этих книг. Он начал с самого начала, с правления Кристиана VI, потом через гернгутеров времен Просвещения добрался до начала века, до религиозного движения мирян, от которого хотя и не сразу, пошло религиозное Возрождение наших дней. Образы крестьян и сельских ремесленников с Фюна и из Ютландии, картина их упорной, ожесточенной борьбы против рассудочной ортодоксальности минувших лет полонила его сердце. Это были одиночки, бродившие, словно апостолы, из края в край. За дар пророчества толпа осыпала их насмешками, церковь преследовала, власти заточали в тюрьмы. Крохотные евангелические общины, оторванные от внешнего мира, — не есть ли это сама священная история, перенесенная на родную почву?

Живое подтверждение прочитанного встретил Пер в приходе своего собственного



тестя. На окраине Бэструпа, в аккуратном, чисто выбеленном домике, жил сапожник с семьей. Жили они замкнуто и не искали сближения с прочими обитателями поселка. Сам хозяин раз или два в году ездил в городок, нагрузив полный воз своими изделиями, и там продавал их в обувные лавочки. Все остальное время он проводил под крышей собственного дома, над дверью которого красовалась надпись: «Дом мой и сам я суть слуги господни».

Однажды, когда Пер вербовал на лето опытных плетельщиков фашин и колесил по всей округе, он неожиданно наткнулся на жилище сапожника и заглянул к нему. В первой комнате у колыбели сидела молодая женщина, двое малышей тихонько играли на полу. Дверь в мастерскую была открыта, там верхом на верстаке сидел сам хозяин и кроил кожу. Увидев Пера, он со смущенным видом вышел к нему. Это был мужчина средних лет, высокий, чуть сутулый. Его бледное безбородое лицо и взгляд исподлобья не понравились Перу. Немногим лучше показалась ему и хозяйка; она почти враждебно косилась на него из своего угла. Правда, хозяин пригласил его сесть, но без особого радушия. От предложения поработать летом в качестве плетельщика он отказался, не раздумывая и наотрез, так что упрашивать его было бесполезно. Но Пер ушел не сразу. Что-то в этой мирной семейной картине тронуло его, несмотря на неприветливость хозяев. Комната блистала чистотой, а это не часто встретишь в крестьянских домах, и вообще все выглядело так, словно хозяева с минуты на минуту ожидали прихода важных гостей. Здесь поистине жили в страхе божьем — не таком, который помог двум людям до основания переделать собственную природу. Даже в том, как отец во время разговора взял на колени ребенка и вытер ему пальцем нос, была необычная, чуть торжественная нежность, отнюдь не казавшаяся смешной.

У Бломбергов Перу рассказали, что семейство сапожника входит в религиозную секту, члены которой сами себя называют «святыми» и которая за последнее время чрезвычайно разрослась. Тесть без обиняков обозвал их ханжами и заявил, что их пребывание здесь — позор для всей общины.

Отныне всякий раз, когда Пер читал о сапожном подмастерье Оле Хенрике Сване, или Кристене Массене с острова Фюн, или о других проповедниках из мирян эпохи религиозного Возрождения, перед его глазами вставал маленький, тихий, словно готовый к приему гостей домик на окраине Бэструпа. Большинство тех священнослужителей, чьи имена чаще всего встречались на страницах книг, Пер знал еще по рассказам отца, двое из них даже доводились ему дальней родней. Благодаря этому страницы книги словно оживали перед его глазами, а литературные образы облекались плотью и кровью.

Одновременно Пер пришел к печальному выводу. Сравнивая несокрушимую веру этих людей в благостную волю всевышнего со своей верой, он казался себе не настоящим христианином! Более того, теперь он даже не хотел им стать.

И вовсе не аскетическая отрешенность от мирских благ отпугивала его. Он отлично понимал, какую глубокую радость может приносить замкнутая, чуждая всему земному жизнь. Но иступленная страстность их молитв, их думы и чаяния были ему чужды. В последние годы он и сам привык молиться. И хотя ему молитва нужна была для того, чтобы очистить и укрепить душу, чтобы омыть ее от житейской скверны, он понимал и тех, кто приписывал молитве чудодейственную силу, способность предотвращать несчастья и помогать в минуту опасности. Но те, о ком он читал, втайне вздыхали по мученическому венцу, твердя слова молитвы. Они так бежали от мирской суеты, так боялись искушений и так твердо были уверены, будто жизнь истинного христианина есть вечное, неустанное паломничество, что сами накликали беду на свою голову.

«Напитай меня хлебом слезным, напои меня слезами в полной мере. В руки твои предаю себя и все, что есть моего, дабы ты осудил и наставил меня. Кара твоя да постигнет меня, бич твой да будет мне наукой. Ибо нет высшей радости для раба твоего, нежели претерпеть тяжкие муки во имя любви к тебе. Благословен будь, о господи, что грехов моих не отпустил мне и полной мерой воздал за каждый».

Когда Пер прочел эти слова, у него мороз пробежал по коже, совсем как в тот раз, когда он читал последнее письмо матери. Эта пламенная вера, которая попирала самые исконные



требования плоти, вызывала у него невольный протест.

«Поистине великое поношение для человека жить на земле, — писал Томас Кемпис в своей книге о последователях Христа. — Есть, пить, бодрствовать, спать, отдыхать, трудиться — словом, быть полным рабом плоти — это великое поношение и мука для истинно верующего. О человек, если бы ты мог лишь возносить хвалы господу и не знать других забот, сколь счастливее был бы ты, нежели теперь, когда каждая из твоих потребностей делает тебя рабом собственного тела».

Но больше всего в ходе этих исследований смутила Пера та же самая мысль, которая уже год тому назад возникла у него после случайного знакомства с переводом платоновского «Федона». Пер все отчетливее сознавал, что христианство явилось на свет значительно раньше, чем сам Христос, а Христос просто оказался наиболее полным выразителем его идей, да и то лишь в определенный исторический период. Не приносил утешения и тот факт, что, если бы не помощь со стороны государства и власть имущих, которые желали для собственной выгоды сделать Христа духовным вождем своего времени, он так и остался бы случайным, преходящим явлением в истории религии. Зато христианство породила, верно, сама первоприрода человека, вскормил инстинкт, не имеющий ничего общего с голосом плоти и берущий верх над нею всюду, где он только ни встретится.

«Ибо тело причиняет нам тысячи забот, порождает беспокойство и смятение, смущает нас и по его вине мы не в силах разглядеть истину. В нашей жизни мы приближаемся к познанию лишь тогда, когда мы не думаем о своем теле и уделяем ему не больше времени, чем нужно для удовлетворения самых насущных потребностей, — то есть когда мы не даем ему завладеть нашими помыслами».

И так говорил сам Сократ. Или взять Будду! В мозгу Пера навсегда засело буддистское изречение, и когда тьма овладевала его душой, оно вспыхивало перед ним огненными буквами:

«Кто ничего не любит, ничего не ненавидит, ничего не желает на этой земле, тот и лишь тот не знает ни оков, ни страха».

Куда ни глянь, один ответ! Сквозь все времена одно требование: забудь про самого себя, подавляй свое «я», ибо счастье лишь в отречении. А жизнь возражает: утверди самого себя, возлюби самого себя, и силу своего тела, и мощь своего разума, ибо счастье лишь в обладании. Пока еще через эту пропасть никто не перекинул моста. Торжествовать должен либо дух, либо тело, третьего пути нет. И каждый обязан сделать выбор, если только не обладать завидной способностью пастора Бломберга и ему подобных обманывать себя, закрывая горизонт облаками лирического тумана. Надо утвердиться в своей точке зрения, решить, на чьей ты стороне, присягнуть на верность либо кресту, либо бокалу шампанского — и не мешкая, не со страхом, а с беззаветной решимостью, с упоением.

И так, Пер вторично пришел к религии как к единственной силе, поддерживающей и оправдывающей наше существование. Только не было уже в нем прежнего радостного доверия ни к земле, ни к небесам. Он не желал походить на эпикурейцев, а среди христиан он тоже оставался чужим. Но всего невозможнее был возврат к святой невинности пастора Бломберга; Пер уже не мог, словно дитя, спокойно собирать цветочки на краю пропасти, не сознавая той демонически притягательной силы, которую таит в себе бездна.

\* \* \*

Однажды ненастным весенним утром, в самом начале марта, к дверям Пера подали запряженную двуколку. У Пера не было своего сарая, а потому экипаж приходилось держать при трактире, и сегодня его доставил тамошний слуга. Слуга стоял возле двуколки и чертыхался, обхватив плечи руками, чтобы хоть немного согреться. Бедняга дожидался минут пятнадцать. Наконец, вышел заспанный Пер в просторном плаще, молча взобрался на козлы, взял вожжи из рук слуги и тронул лошадь. Он, по обыкновению, просидел полночи

над книгами, а когда лег, нахлынули всякие мысли, так что заснул он только под утро. Но рассветный холодок сразу подбодрил его, кстати же экипаж у него был такой, в каком не разоспишься: старый, повидавший виды, до того расхлябанный, что седока подбрасывало на каждой выбоине и на каждом ухабе. Зато лошадь была хоть куда — крепкий норвежский конек; она только имела скверную привычку всякий раз, когда дорога шла под гору, осторожности ради трусить зигзагом от одной обочины до другой. Удивительные у нее были глаза, прямо как плотничий ватерпас: даже самый незначительный спуск она замечала немедленно. Уязвленный в своем кучерском самолюбии, Пер сначала хотел выбить из нее дурь кнутом, но потом он привязался к этой надежной, работающей животине, которая изо дня в день, в любую погоду тащила его по всей округе, и позволил возить себя, как ей заблагорассудится.

По возможности он выбирал такой маршрут, чтобы проехать мимо Бэструпа и перемолвиться словечком с Ингер. Он знал, что она поутру выходит в сад и поджидает его. Поэтому утренние поездки были сопряжены с особой, торжественной приподнятостью. Да и сама езда по холодку в такое утро, когда низко над землей несутся разбухшие облака и стаи ворон с криком раскачиваются на ветру, доставляла ему большое удовольствие. В душе не оставалось ничего от мечтательного любования природой. Ему не чудилось больше, что она полна таинственных откровений, как прежде, когда он жил в Керсхольме и по целым дням сидел с удочками на берегу реки.

К нему вернулось какое-то чисто физическое ощущение довольства, которое он испытывал еще мальчиком, когда смотрел, как мчатся по небу облака и гнутся на ветру верхушки деревьев. При этом зрелище все мускулы напрягаются, кровь быстрее бежит по жилам, и кажется, будто сила самой природы вливается в тебя.

Когда Пер попытался вспомнить, отчего же он, собственно, всю ночь не мог сомкнуть глаз и почему он вообще ведет себя так, словно не имеет права на покой, пока не разрешит собственноручно загадку бытия, ему даже стало смешно. В этот час, когда мысль его дремала, уступив место сонму дневных забот, он снова доверчиво распахивал душу перед морем житейским и его соблазнами. Все мрачные, все непонятные стороны жизни с наступлением утра казались ничтожными и меркли перед тем неоспоримым фактом, что он молод, здоров, полон сил и едет в собственном экипаже к своей любимой, чтобы освятить наступающий день нежным поцелуем. Он возблагодарил бога, в которого уже почти не верил, вознес хвалы жизни с ее радостями, заботами и трудами. Чего ради ломать себе голову? Все надуманные муки суть лишь козни дьявола. Ведь это же фарисейство чистой воды — не довольствоваться теми истинными заботами, которые создает жизнь. Через два с половиной месяца его свадьба. Двадцатого мая, в день рождения Ингер, она — убранная цветами новобрачная — переступит порог его дома. Унылому одиночеству придет конец.

Сегодня Пер собрался, наконец, нанести визит, который он до сих пор откладывал со дня на день. Два участка из тех, через которые должно было пройти новое русло реки, принадлежали борупскому пастору. У него-то Пер и хотел побывать. После той случайной встречи в грозу среди поля прошло уже верных полтора года. Пер несколько раз проезжал мимо пастора, когда тот одиноко гулял в сумерках по безлюдным тропинкам, и всегда с ним раскланивался, но пастор, надо полагать, его не узнавал. Однако, до него доходили пересуды о пасторе и его неудачной семейной жизни. Самые невероятные истории распускала молва о жене пастора: она-де совершенно спилась, мало того, в молодые годы она так распутничала, что дальше некуда. Прибавьте ко всему еще ее безалаберность и лень, и каждому станет ясно, почему пастор неоднократно испытывал серьезнейшие денежные затруднения. Все это пробудило в Пере сострадание к бедняге пастору. А если он тем не менее продолжал откладывать свой визит со дня на день, то потому лишь, что опасался, как бы его не встретили в штыки из-за родства с Бломбергом, ибо Бломберг не только переманил в свою церковь большую часть паст Фьялтринга, но и лишил его тем самым весьма изрядной доли нужных ему — видит бог, как нужных — доходов.

На спуске к Бэструпу дорога описывала дугу. И тут радость озарила лицо Пера. В саду,

среди зеленой листвы, он увидел Ингер. Накинув на плечи шаль, она высматривала, не едет ли он.

— Ах ты, соня-засоня! — издали крикнула она ему. — Где ты пропадал?

— А ты меня ждала?

— Ой, я прямо вся заоченела.

— Бедняжка ты моя!

Он подъехал вплотную к изгороди так, что их губы соприкоснулись и куст шиповника прикрыл их.

— С добрым утром, родная!

— С добрым утром. Ты куда сейчас?

— Да так, по делам. Я очень спешу.

— Ты просто невыносим. Вечно у тебя какие-то дела. Ну ладно, поезжай, раз так. Вечером будешь?

— Буду.

Еще один поцелуй, и еще один, и еще один, самый последний, «в придачу», как выразился Пер.

— Ах ты, дрянной мальчишка! До свиданья.

— До свиданья.

— До свиданья. Только приезжай пораньше.

— Хорошо, приеду!

— До свиданья, дорогой!

— До свиданья!

— До свиданья.

Пегашка нетерпеливо затрусила дальше, а они все не выпускали друг друга из объятий, так что она буквально оторвала их друг друга. Еще одно «до свиданья, до свиданья!», оба машут платками, и двуколка скрывается за углом.

Около полудня, после нескольких часов работы с землемерными инструментами, Пер въехал в усадьбу борупского пастора.

Пастор Фьялтринг оказался дома и принял его у себя в кабинете. Это была большая полутемная комната, скорее даже не комната, а зала, но всего с двумя подслеповатыми оконцами. Правда, там имелась кое-какая мебель, но комната была так велика, что казалась почти пустой простенке между окнами стояла конторка, а на ней лежала раскрытая книга; едва лишь завидев гостя, таинственный отшельник встал из-за конторки и пошел ему навстречу.

Перу бросилась в глаза та же необычная смесь любопытства, смущения и достоинства, которая поразила его уже тогда, в церкви. Пастор остановился на почтительном расстоянии и поклонился с изысканной вежливостью, впрочем, не вынимая рук из-за спины. Узнал он Пера или нет, сказать трудно. Когда Пер назвал себя, пастор движением руки указал на диван, сам уселся в кресло чуть поодаль и спросил, чем может служить.

Пер вкратце изложил свое дело. Речь шла об углублении нескольких канав на участке пастора. Пастор отвечал, что вообще-то он не имеет права распоряжаться казенной землей, но что, поскольку речь идет о таких мелочах, он готов это взять на свою ответственность. Он просит только об одном: на случай, если в будущем понадобятся какие-нибудь оправдательные документы, он хотел бы, чтобы Пер составил краткий письменный перечень необходимых работ, на что Пер с готовностью согласился.

Все дело было улажено в какие-нибудь несколько минут, затем последовала долгая пауза. Пастор внимательно изучал свои руки, явно дожидаясь, когда гость, наконец, встанет и уйдет. Но как только Пер и в самом деле собрался уходить, пастор, вероятно, испугался, что вел себя невежливо. Он спросил Пера, как ему нравятся здешние места, где он живет, и, узнав, что Пер поселился возле станции, сказал, что ему, следовательно, не приходится скучать: ведь возле станции Римальт мало-помалу вырос целый городок. Там живет и директор училища, и аптекарь, и другие. О Бломбергах и вообще обо всем Бэструпе не было

сказано ни слова.

Пер, сохранивший о пасторе весьма яркое воспоминание с той памятной встречи в грозу, был разочарован этими избитыми фразами. Вдобавок он обиделся, поскольку его так вот просто взяли и свалили в одну кучу с членами пресловутого клуба, тем более что сам пастор, если судить по его тону, был о них не слишком высокого мнения. Поэтому Пер ответил с ударением, что никаких знакомств в городе не имеет и живет весьма замкнуто, довольствуясь обществом своих книг.

Пастор чуть приподнял голову. Он по-прежнему смотрел мимо Пера, но на какую-то долю секунды его изжелта-бледное безбородое лицо приняло пытлиное и даже заинтересованное выражение.

— Конечно, — сказал он. — Уединенная жизнь в мире идей тоже может приносить человеку удовлетворение. И даже радость. И даже, пожалуй, счастье.

Чуть улыбнувшись, он добавил, что одиночество порой куда как занимательно. Ибо, если вдумчиво порыться в себе самом, возникает иногда обманчивое чувство, что внутри у тебя сидит какой-то посторонний человек.

Пораженный точностью сравнения, Пер развил его, сказав, что этот чужак обычно человек несносный, неуживчивый и причиняет нам немало беспокойства и неприятностей.

И еще раз изумленно-пытливое выражение скользнуло по лицу пастора. Впрочем, он не стал углубляться в дебри и завершил все сказанное словами, что люди охотно ищут в чужих мыслях убежища от своих собственных. А ничто не отвлекает так, как чтение книг. Наблюдения, высказываемые в книгах, действуют чаще всего успокоительно.

Опять наступило молчание. Должно быть, пастор нечаянно коснулся темы, которую он не хотел бы обсуждать подробнее с малознакомым человеком. Пер почувствовал, что он все время держится начеку и что настоящего разговора все равно не выйдет. Поэтому он встал, и пастор больше не пытался удерживать его. Впрочем, никакой невежливости здесь не было и в помине. Прощаясь, Фьялтринг протянул ему сухую и горячую руку и весьма учтиво извинился, что из-за сквозняков не может проводить гостя до передней.

Как ни мимолетна была эта встреча, она произвела на Пера глубокое впечатление. Вечером, сидя за ужином у Бломбергов, он заговорил о Фьялтринге таким тоном, который пришелся не по душе хозяевам. Заметив свою оплошность, он умолк, а тесть, чтобы исправить положение, сказал то, что говорил всегда, когда речь заходила о его коллеге.

— Ах, бедняга, ничего другого не скажешь! Мне его так жалко, так жалко! Зря только он сделался пастором.

На другой день с утра Пер засел за составление оправдательного документа, о котором его просил пастор Фьялтринг. Он долго возился с ним, потом взял большой лист слоновой бумаги, переписал все набело да еще сверх того начертил план пасторской усадьбы.

Неделю спустя, когда ему случилось проезжать мимо Боруа, он заехал к пастору, чтобы вручить ему свой труд. Пастор был так мало избалован вниманием, что очень смутился, увидев все это великолепие, и от души поблагодарил Пера. А так как Пер собирался тут же уйти, хозяин пришел в совершенное отчаяние и извинился за то, что прошлый раз вел себя не совсем любезно. Он силком усадил Пера на диван, и на сей раз между ними очень скоро завязался откровенный разговор.

Исходным пунктом послужил документ, составленный Пером. Пер сообщил, что на пасторском участке имеются весьма значительные залежи торфа. Правда, они расположены очень глубоко и добраться до них совсем не просто, но именно потому торф этот отличается превосходным качеством. Он, Пер, убежден, что имеет смысл установить небольшой насос, чтобы систематически осушать карьер и формовать брикеты.

Пастор Фьялтринг остановился перед ним на узеньком половичке, который лежал посреди комнаты, и, болезненно улыбаясь, покачал головой.

— Пусть уж этим займется мой преемник, — сказал он. — У меня не такое здоровье, чтобы строить планы на будущее. А кроме того, — закончил он, — даже если смерть предоставит мне небольшую отсрочку, я не знаю, долго ли церковные власти и мои ретивые

коллеги позволят мне проповедовать перед пустыми скамьями.

Пер залился краской и хотел было из вежливости что-то возразить, но пастор не дал ему даже рта раскрыть.

— Нет, я не строю себе никаких иллюзий. Наше время превратило религию в рыночный товар; не мудрено, что люди охотнее идут туда, где они могут купить ее по дешевке.

Пер опустил голову. Против этого трудно было что-нибудь возразить. Но из-за Ингер он считал своим долгом выступить на защиту тестя. Он сказал, что новейшие религиозные течения при всей своей поверхности пробуждают в народе духовные запросы и тем самым подготавливают наступление нового периода в истории культуры. Во время своих разъездов по округе он мог неоднократно наблюдать, что датские крестьяне, там, где дело касается духовной жизни и остроты восприятия, на несколько голов выше своих собратьев за рубежом, особенно — в католических странах.

На это пастор Фьялтринг отвечал, что такое благосклонное, полупокровительственное или просто даже любопытствующее отношение к великим вопросам бытия хуже, на его взгляд, чем вообще полное отсутствие какого бы то ни было отношения. Вера — это страсть; там же, где она перестает быть страстью, мы просто заигрываем с господом богом, и ничего больше. Создать искусственным путем видимость духовной жизни в народе совсем еще не значит подготовить почву для искренней и серьезной веры или, на худой конец, просто для серьезного сомнения, — скорее наоборот, это убивает все и всяческие ростки настоящего отношения к богу, заложенного в каждом человеке.

Пастор прошел несколько раз по узкому половичку и остановился в противоположном конце комнаты. Он словно увещевал себя самого не наговорить лишнего. Но — увы! — слишком поздно. Непреодолимое желание высказаться, все мысли, передуманные в долгие часы одиночества, нахлынули на него, и он не мог более сдерживаться.

Он прямо сказал Перу, что засилье техники отчасти повинно в том, что современный человек обречен быть существом поверхностным и опустошенным. Головокружительное развитие промышленности убрало с пути религию. Во всех областях жизни люди привыкли удовлетворять свои потребности с наименьшей затратой энергии. Того же они требуют и от веры: она должна снисходить на них, не отнимая ни времени, ни энергии. А у тех, кто несет народу слово божие — будь то люди, возведенные в духовный сан, или просто миряне, — зачастую не хватает силы воли, чтобы противиться этому требованию. Мы с гордостью показываем всему миру наши Высшие народные школы, которые с течением времени превратились в эдакое официальное заведение, где вам за три-четыре месяца сфабрикуют готовое мировоззрение с ручательством. По виду это чудо, а на деле — один обман. Чтобы достичь необходимой простоты и дешевизны, религию подменяют поэзией, окутывают бытие поэтической дымкой, покрывают обманчивым лаком. С его, Фьялтринга, точки зрения результатом так называемого религиозно-народного возрождения последних лет в Дании явился именно такой лакированный материализм.

Запальчивый тон пастора огорчил Пера, тем более что пастор высказывал его собственные мысли. Но унять пастора уже не было никакой возможности.

— О душе человека, об условиях, необходимых для ее процветания, мы знаем позорно мало; но вся история, равно как и свидетельства отдельных людей, неопровержимо доказывает, что для развития души, — как, впрочем, для всякого развития, — нужно время и противодействие. Известно далее, что счастье в житейском понимании слова делает человека духовно бесплодным. Родная стихия человеческой души — это горе, боль, отречение. Радость — это голос зверя, живущего в нас. Не потому ли в дни упоения успехом люди так падки до всякого кривляния и свинства, тогда как в годину бедствий, когда им доводится заглянуть в глубины собственного «я», туда, где бьют чистые родники божественного, которое господь заложил в каждое живое существо, мы видим ничем не замутненный образ человека? Пусть христианство явилось в мир как благая весть, но если понимать это выражение буквально, человечество запутается в неразрешимом противоречии.



Религия, провозгласившая мир, покой и благоволение, завалила родники, питающие душу, подавила порывы духовной жизни, устранила болезнь путем умерщвления больного. Самое идею рая как некоего потустороннего вместилища всяческого совершенства очень трудно увязать с нынешним пониманием религии. Слова: «Оставь надежду всяк сюда входящий», которые Данте поместил над воротами ада, следовало бы с большим основанием — и в более страшном смысле — начертать на воротах царствия небесного, где у человека отнята возможность дальнейшего развития. Да, ограниченному уму человеческому представляется необходимым долгие годы пребывать среди осужденных либо на веки вечные, либо на какой-то срок, дабы обрести чистоту и целомудрие души и истинное блаженство, если воспринимать его как религиозное откровение.

Но, быть может, мы просто не постигли сокровенного смысла, который господь явил нам в евангелии. И если так, тогда понятно, почему христианство за целых два тысячелетия, невзирая на высокие слова и торжественные клятвы, не сумело ничего больше сделать для духовного развития человечества. Некоторые богословы начисто отрицают божественное происхождение Христа. И действительно, родственные связи между Христом и богом Ветхого завета не сразу-то и поймешь. Не будет большим преувеличением сказать, что первый является полной противоположностью второго, я бы даже сказал, пародией на него. Вот у евреев, к примеру, Христос вызывал отвращение. Но если он не сын божий, кто поручится за то, что господь не нарочно дал ему родиться, и претерпеть муки, и умереть страшной смертью, лишь бы хорошенько припугнуть нас?

Пастор Фьялтринг вдруг с разбегу остановился как вкопанный, словно испугавшись собственных слов. Лоб его пошел красными пятнами. Плечи и лицо нервно задержались.

— Вам, надеюсь, понятно, что я говорю это не шутки ради. Мне думается, что уже если подвергать образ Христа и его историческую миссию тщательному анализу, — а время для этого безусловно настало, — то подвергать основательно и без предвзятости. Пусть даже нам придется ради этого рискнуть спасением души.

Пер не нашелся, что ответить, а сам пастор по всей вероятности даже не сознавал, как далеко он уклонился от первоначальной темы. Не заметил он также, что дверь за его спиной отворилась и в комнату вошла его жена. Только когда Пер встал и поклонился, пастор обернулся к ней и умолк на полуслове.

Пер про себя отметил, что людская молва отнюдь не погрешила против истины, расписывая внешность пасторши. Это была бесформенная, расплывшаяся женщина с отечным лицом пропойцы и выкаченными неподвижными глазами, почти бесцветными на багровом лице. Она явно постаралась приодеться, но тем сильнее бросалась в глаза ее неряшливость. Второпях она даже смочила волосы, чтобы лучше расчесать их, и надела довольно приличное платье, но из-под съехавшего на ухо чепца выглядывал какой-то колтун, а из-под нарядного платья — стоптанные и давно не чищенные башмаки.

Когда Фьялтринг представил Пера своей жене, та приветливо улыбнулась.

— Быть может, господин Сидениус не откажется позавтракать с нами? Кушать уже подано.

Пер не знал, как ему поступить. От сострадания у него больно сжалось сердце.

Он бы охотнее всего ответил «нет», но боялся обидеть супругов своим отказом и потому принял их приглашение.

Перу показалось странным, что пастор Фьялтринг в обращении с женой не выказывал сколько-нибудь заметного неудовольствия. Правда, ему было явно не по себе и вид у него был весьма отсутствующий, но держался он как заботливый супруг — внимательно и даже, можно сказать, галантно. Сама же она, судя по всему, вовсе не сознавала своего позора. Говорила за столом преимущественно она одна — сбивчивые воспоминания о Копенгагене мешались с воспоминаниями о северной Зеландии, где ее отец был пастором.

Вдобавок она не имела привычки слушать, что отвечают ее собеседники, и под конец за столом звучал только ее голос.

Когда после завтрака они вернулись в кабинет, Пер сразу почувствовал, что

прерванный разговор больше не возобновится. Кстати, и хозяин его не удерживал. Зато на прощанье он проводил его до крыльца, еще раз поблагодарил за проявленную заботу и сказал, что, если Перу случится проезжать мимо, он всегда будет рад видеть его у себя.

Пер охотно воспользовался этим приглашением и в последующие дни подыскивал себе такие дела, чтобы, как будто ненароком, заехать к пастору. Потом он стал заезжать уже безо всякого предлога и всегда встречал самый радушный прием. Но службу в борупской церкви он никогда не посещал, и не только из-за тестя. Он уже побывал один раз на проповеди Фьялтринга, и этого с лихвой хватало для того, чтобы удержать его в дальнейшем от подобных попыток. На кафедре пастор Фьялтринг сильно смахивал на паяца. Он был по натуре своей искатель правды, не умел играть на душевных струнах и еще того меньше — провозглашать истины. Кто хотел постичь Фьялтринга, должен был проникнуть в его уединение. Но даже в этом уединении, если его заставляли врасплох, он от растерянности начинал метаться, словно мотылек, вдруг вылетевший из тьмы на свет. Беспокоился ли он из-за своего костюма, не рассчитанного на визиты посторонних лиц, мучила ли его мысль о болезни, которую он вбил себе в голову, — бог весть, но только он начинал пересаживаться со стула на стул, а не то забивался в угол и сидел там, скорчившись и подперев руками обвязанную голову.

Впрочем, к Перу он привык очень скоро и не выказывал при его появлении обычной робости, а когда ему удавалось победить свою робость, он мог говорить без усталости целыми часами.

Бломбергам Пер ничего про свое знакомство с этим еретиком не рассказывал. Не только старикам, но даже Ингер. Он знал, что она непременно оскорбится за своего папашу, а заразить ее своим увлечением он пока не мог, ибо она, как дитя, верила в отцовскую непогрешимость. С этим придется еще подождать до той поры, когда они будут вместе, совсем-совсем вместе. Изредка, когда между ним и будущим тестем все же завязывалась небольшая словесная перепалка по вопросам веры, Ингер очень на него за это сердилась и давала понять, что у них в доме объясняют такие перепалки обычной мальчишеской заносчивостью, — ведь не может же солидный человек всерьез считать себя умнее самого пастора Бломберга.

От того, что ему приходилось держать в тайне свои визиты к Фьялтрингу, впечатления от встреч с ним тоже приобрели некоторый налет таинственности. Мистицизмом были окрашены и познания Фьялтринга, незаурядные и многогранные. При помощи Фьялтринга он познакомился со средневековым богословием. Его торжественно ввели в византийские храмы схоластической мысли, посвятили в готические грезы фантастов-мечтателей дореформационного периода, поведали о таких людях, как Местер Эккарт, Иоганн Гаулер, Райсброк и Герхард Грот, интерес к которым и побудил пастора Фьялтринга заняться столь доскональным их изучением. Ни одна религиозная школа, ни одно направление прошлого и настоящего не были чужды Фьялтрингу. Он равно понимал и принимал даже такие зловещие проявления извращенной религиозности, как поклонение сатане, орден розенкрейцеров, черные мессы, он зачитывал наизусть длинные отрывки из всевозможных теоретиков этих тайных сект.

Но больше всего занимала Пера личность самого пастора Фьялтринга и глубоко прочувствованное отношение ко всему, о чем тот говорил. Постигнув в совершенстве каждый поворот человеческой мысли, он словно на собственном опыте испытал все человеческие желания, все скорби. Даже когда он говорил про ад, казалось, будто он сам побывал там и теперь на память разворачивает перед ним перечень испытанных мук. А в счастливые минуты в его живых, тонких и подвижных чертах отражались воспоминания о райском блаженстве. Иногда по бледному лицу его скользило такое выражение, будто его слуха только что коснулась далекая музыка сфер.

Когда после таких встреч Пер слушал болтовню своего упитанного тестя, он с небывалой силой ощущал, как мало стоит эта низкопробная жизнерадостность по сравнению с истинной верой или пусть даже с сомнением, но сомнением выстраданным, добытым в

тяжелой борьбе. Особенно резко бросилось в глаза это различие, когда он побывал на одном из так называемых неофициальных съездов, которые раза два в год устраивал у себя Бломберг и где под руководством Бломберга собиралось так называемое свободомыслящее духовенство округа, чтобы обсудить проблемы, волнующие современную церковь. Даже в самых дерзких, самых кощунственных речах пастора Фьялtringа было куда больше подлинного благочестия, чем в мальчишеском панибратстве с господом богом и в неукротимой болтовне «под Лютера», которой услаждали себя святые отцы. Удобно развальясь в креслах и напустив на себя либо рассеянный вид, либо вид полнейшего самозабвения — профессиональный атрибут всех проповедников, — они с трубкой в зубах толковали об отпущении грехов или о том, сколь доходчивы наши молитвы. Когда он видел их, когда он слышал, как они стараются превзойти друг друга в любви к справедливости и в готовности пойти навстречу запросам времени и дать народу религию по самой низкой цене, он понимал, почему Фьялtring заклеил их именем «торгаши» и прозвал всю эту поэтическую чувствительность «лакированным материализмом».

Да и характер тестя нравился Перу все меньше и меньше. Особенно усилилась эта неприязнь после того, как он стороной узнал подробности о недостойном отношении Бломберга к старику отцу, на что намекал еще управляющий Керсхольма. Оказалось, что отец Бломберга и впрямь живет в величайшей нужде где-то на острове Фюн и что сын навсегда захлопнул перед ним двери своего дома, поскольку тот, будучи уже стариком, преступил шестую заповедь и прижил ребенка со своей служанкой. Пастор Бломберг, человек величайшей терпимости по части вопросов религиозных, был несокрушим, как скала, по части морали. Подобно ряду своих коллег, он стремился там, где дело касалось нравственности, сквитаться за уступки, которые церковь в последние годы вынуждена была сделать разуму. К тому же, в глубине души Пер подозревал, что тестюшка с радостью ухватился за благовидный предлог, чтобы спихнуть с плеч заботу о беспомощном и почти слепом старце. Между отцом и сыном никогда не существовало слишком близких отношений, а Бломберг был не большой охотник приносить себя в жертву. Хотя сам он жил на широкую ногу и время от времени весьма бесцеремонно требовал, чтобы прихожане доказывали свою любовь к нему при помощи звонкой монеты, он отнюдь не блистал щедростью, когда требовалось оказать поддержку другим. Не раз и не два Пер слышал, как он заканчивает разговор с бедняками, которые пришли просить у него помощи, неизменным обещанием «от всей души помолиться за них».

При всем при том Пер ни минуты не сомневался в искренности блонберговской веры. И это было самое ужасное, это впоследствии отвратило его от религии, ибо, за исключением тех случаев, когда религия вытесняла все низменные свойства, заложенные в человеке от природы, как было, например, у «святых» в полном смысле этого слова, она совершенно не обладала способностью возвышать души и облагораживать умы. Скорей уж сомнение обладало такой чудодейственной силой. Когда Пер спрашивал себя, какое же значение имела для него дружба с пастором Фьялtringом, ответ гласил, что Фьялtring избавил его от сознания мучительной раздвоенности, сознания своей неспособности создать четко выраженное мировоззрение, из-за чего Пер так жестоко страдал прежде. О чем бы ни говорил пастор Фьялtring, он неизбежно возвращался к сомнению, ибо оно есть первейший залог всякой веры, ее, так сказать, «вечно плодоносящее материнское лоно». Как день рождается из ночи и сам рождает ее, как вся жизнь на земле пошла от этой смены мрака и света, так и религия неизбежно возникает из духа противоречия, который порывами своими зажигает огонь беспокойства в душе человеческой. Вера, не обновляемая вечным сомнением, мертва, — это черенок от метлы, это костыль, с помощью которого ты можешь ненадолго забыть о своей хромоте, но такая вера не может быть настоящей, жизненной силой.

Как-то, будучи в шутливом настроении, Фьялtring заметил:

— Если верить тому, что благими намерениями вымощена дорога в ад, то дорога в рай должна быть вымощена дурными намерениями. — И, развивая свою мысль, доказал, что он гораздо ближе к истине, чем это могло бы показаться на первый взгляд. — Возьмем, к

примеру, походку человека. Как известно, каждый шаг человека есть вовремя приостановленное падение, точно так же и подъем нашего духа к высотам совершенства есть цепь непрерывных падений, от которых удерживает нас благодетельный инстинкт самосохранения, заложенный в нас богом.

Когда Пер окинул взором пройденный им путь, ему показалось, что путь этот служит нагляднейшим подтверждением слов Фьялтринга. И тогда он впервые смог с надеждой и доверием взглянуть в лицо будущему.

\* \* \*

Тем временем в Бэструпе шли полным ходом приготовления к свадьбе. С утра до ночи стрекотала швейная машина, а по понедельникам пасторша с раннего утра уезжала в город, где была заказана большая часть приданого. Такие слова, как ореховое дерево, тик, сатин, набивка, репс, валики, подушки, конский волос, тюлевые занавески, простынное полотно, оглушали Пера, стоило ему показаться в дверях. Даже мысли Ингер куда больше были заняты беседами с шорником и столяром, нежели предстоящим торжеством любви. Пер чувствовал себя в Бэструпе все более и более лишним.

Правда, сам он тоже потихоньку готовил свое жилище к приему Ингер. Заработки у него теперь стали довольно приличные. Помимо своих основных занятий (то есть работ по перепланировке речного русла), он брался и за более мелкие дела, что давало ему изрядный доход. Он уже полностью расплатился с родней и начал откладывать деньги для уплаты долга Филиппу Саломону и Ивэну.

Теперь он начал приводить в порядок свой запущенный дом изнутри и снаружи. Купил новые обои, велел поднять в кухне старомодный кирпичный пол и настелить там доски. Природная смекалка и здесь пришла ему на помощь, она сказывалась в массе с виду незначительных практических усовершенствований — он переложил печь, перестроил водопровод и тому подобное.

Пер знал, что для Ингер не может быть лучшего подарка, чем хорошо устроенная кухня, прохладная кладовка, свежeweбеленный погреб и набитый дровами сарай с удобным подходом. От своей матери она унаследовала любовь к чистоте и порядку. Вид стопки перемытых тарелок или до блеска надраенной медной кастрюли вызывал у нее такой же благоговейный восторг, какой вызывают у других людей произведения искусства.

Ну и, естественно, усовершенствования в одной области хозяйства открывали глаза Перу на вопиющие недостатки в другой. Не успел он разделаться с кухней, как ему пришло в голову, что не грех бы перестелить пол и в гостиной. Сам того не замечая, он поддался настроению хозяйственной суеты, которое царило в Бэструпе. На визиты к пастору Фьялтрингу у него теперь просто не оставалось времени. Боясь, что не успеет сделать все задуманное, он, подобно Ингер, начал про себя размышлять, как бы отсрочить свадьбу на недельку-другую.

А тут начала прибывать из города заказанная мебель, и с ней пошли новые заботы. Шкаф сделали слишком большой, он никак не устанавливался куда положено; зато палки для гардин сделали короче, чем надо. А главное, отчего Ингер на некоторое время пришла в совершенное отчаяние, главное — узор новых обоев не очень гармонировал с расцветкой ковра и обивкой мебели. Едва Пер появлялся в Бэструпе, Ингер выбегала ему навстречу с озабоченным выражением лица и спрашивала, какой ширины у него окна или какова площадь пола, а когда он уходил, она давала ему столько наказов, что порой забывала даже поцеловать на прощанье.

Эта суета продолжалась вплоть до великого события, более того — дня за два до свадьбы она приняла размеры всеобщей паники. Все заказы были уже доставлены. Не хватало только кроватей, и их ждали со дня на день. К мебельщику засылали гонцов, и он неизменно обещал прислать кровати к сроку. Кровати, которых все не было и не было,



сделались в Бэструпе единственной темой разговоров. Пер понять не мог, как это Ингер, такая стыдливая и целомудренная, способна делиться своими горестями не только с ним, но и со всеми, кто ни заглянет в Бэструп. Отголоски бури докатились до городка, повсюду говорили только об этих кроватях; и потому, когда их наконец за день до свадьбы водворили на место, все вздохнули с облегчением.

Настал знаменательный день. С самого утра яркое солнце озарило расцветенный флагами город. Стар и млад высыпали на улицу, когда свадебный кортеж направился к церкви. Ингер сидела в открытой коляске рядом с осанистым пожилым господином — своим дядей. У дяди была остроконечная бородка какого-то неопределенного цвета, а в петлице фрака красовалась роза. Ингер была прелестна, но, к сожалению, слишком хорошо сознавала это. Тетки, которые наряжали ее, подружки, которые надевали на нее фату и миртовый венок, служанки и работницы, которые толпились у них в усадьбе, — все в один голос заявили, что никогда еще бэstrupская церковь не видывала более очаровательной невесты.

Среди гостей было даже двое из родственников Пера — Эберхард и Сигне. Явилась на свадьбу и вся местная «знать»: советник юстиции Клаусен, гофегермейстерша, заведующий Высшей народной школой, несколько священников, поверенный по делам сельской общины, сливки римальтской интеллигенции — словом, человек до пятидесяти.

К полудню весь пасторский сад был запружен людьми. Любопытные теснились поближе к окнам — послушать застольные речи. Потом для них накрыли стол под деревьями, чтобы ни один не ушел без угощения, а толпа все время росла, и под конец в саду получилось настоящее народное гулянье.

На следующее утро дальние гости начали разъезжаться — сперва Эберхард и Сигне, потом брат пасторши, дядя Ингер. Дядя оказался очень занятым человеком с ярко выраженной страстью к приключениям. Он вдоволь побродил в свое время по свету, потом осел на одном месте и даже сделался коммерческим директором довольно солидной корабельной верфи в Фиуме, где и зажил своим домом. Он с радостью ухватился за предлог побывать на родине, где не был уже много лет, и провел с Бэstrupе до свадьбы целую неделю. Непривычный облик и заморские манеры отпугивали пасторское семейство и затрудняли сближение. Особенно отличался сам Бломберг, который называл шурина не иначе как «старый фат». Зато с Пером они сошлись легко и быстро. Несколько раз он составил Перу компанию, когда тот разъезжал по делам. Правда, в технике он мало что смыслил, зато он сумел оценить качество работы и весьма недвусмысленно, хотя и в самых деликатных выражениях, намекнул сестре и ее мужу, что зять у них слишком хорош для того, чтобы торчать в этой дыре и рыть канавы на потребу крестьянам.

Фру Бломберг, весьма взволнованная с самого утра, не успокоилась даже после отъезда гостей. Она проводила брата до станции, чтобы заодно проведать молодых.

Час был уже не ранний, но молодые еще только завтракали, причем настроение за столом царило отнюдь не бодрое. У Пера был недоумевающий вид, а Ингер сидела бледная, молчаливая и надутая. Фру Бломберг притворилась, будто ничего не замечает. Она сразу смекнула, в чем тут дело, и подавила невольную улыбку. Двадцать два года тому назад она сама пережила точно такое же утро после первой брачной ночи. Поэтому она тихонько допила свой кофе, потолковала с молодыми о свадьбе и о разъехавшихся гостях. После кофе она пошла вместе с Ингер на кухню и в кладовую — поделаться кое-что по хозяйству, а Пер забрался к себе в кабинет и не выходил оттуда, пока теща не уехала.

Он сел возле окна и, подперев голову руками, стал разглядывать тянувшиеся за оградой поля. Он отлично понимал, что ничего страшного, собственно-то говоря, не случилось и что Ингер со временем перестанет быть такой недотрогой. Но все равно разочарование не проходило, и на душе по-прежнему было тяжело.

Вместо светлых минут, которые могли бы стать для него самым дорогим воспоминанием, вышла тяжелая и неприятная сцена, о которой он всегда будет вспоминать со стыдом и гадливостью.

Мысли его вернулись к другой брачной ночи — первой ночи с Якобой, и он невольно



сравнил ту и другую. Но вдруг какое-то зловещее чувство шевельнулось в глубинах его сознания и, словно ядовитая змея, ужалило прямо в сердце. Быть может, он сам во всем виноват? Быть может, его снова настигло возмездие за грехи прошлого?

## Глава XXVI

Женитьба не принесла Перу полного счастья. Все надежды пробудить Ингер к самостоятельной духовной жизни пошли прахом.

Обладая трезвой, практической и расчетливой натурой и вдобавок раз и навсегда уверовав, что ее отец — последний оплот христианства, Ингер решительно не могла понять, чего от нее хочет Пер. Подобно своему почтенному родителю, она считала, что Пер сошелся с ### ха противоречия и желания по оригинальничать.

И эта двойная жизнь, которую приходилось ему вести, и все разнородные влияния, которые его одолевали, привели Пера в такое смятение, что по временам он казался почти безумным. Наконец, он и сам заметил, что дело неладно, и, не на шутку встревожившись, постарался найти хоть какую-нибудь точку опоры.

Он нашел ее там, где уже не раз находил прежде: в естественной стороне бытия, и помогла ему в этом сама Ингер. Она была уже на сносях и, как почти всякая женщина, впервые готовящаяся стать матерью, не могла ни о чем думать, кроме как о предстоящих родах и о подготовке к ним. Но при этом она сохраняла удивительное самообладание. — и вот это спокойствие, эта душевная стойкость, с какой она, несмотря на всю свою неопытность, ожидала родов, наполнили Пера глубочайшим восхищением и дали богатую пищу его уму.

Затем пришли неизбежные тревожения, муки Ингер, страх за нее и за ребенка, и радость отцовства, и внезапно возросшее чувство ответственности и все это вместе взятое накрепко привязало его к земле.

Однако, совсем отказаться от поездок в Боруп он не мог. Большой, сумрачный кабинет с узеньким половичком и с конторкой в простенке между низкими окнами по-прежнему с непонятной силой привлекал его, но теперь он ездил туда, испытывая жестокие угрызения совести. Так пьяница тайком пробирается в кабак. Визиты эти становились все реже и реже, пока, наконец, трагическое событие, о котором долго еще шли по всей округе нескончаемые пересуды, навсегда не оборвало их.

Однажды, в ненастный осенний день пронесся слух, что пастор Фьялтринг исчез из дому. За полгода до этого он потерял жену, но, вместо того чтобы вздохнуть с облегчением, он стал еще пуще бояться людей и дневного света. Теперь, когда он исчез, все сразу заподозрили неладное. Пер немедленно организовал поиски. Он разослал во все стороны людей — одних прочесать леса, других обшарить дно реки и все овраги и пещеры. Оказалось, что пастор повесился у себя на чердаке, в пустом платяном шкафу.

В последние годы одного лишь Пера пастор Фьялтринг всегда рад был видеть, и только с ним он разговаривал вполне откровенно. Незадолго до исчезновения пастора Пер несколько часов просидел у него и просто диву давался, с какой выдержкой и внешним спокойствием тот говорил о себе и о своем одиночестве. Он прямо-таки подшучивал над своей телесной немощью.

— Мы должны быть благодарны за всякую боль, которую посылает нам провидение, — сказал он, — ибо она лишь освежает и укрепляет наш дух.

Свои слова Фьялтринг подкрепил забавной историей о том, как однажды он до того глубоко увяз в размышлениях касательно первородного греха, что чуть не сошел с ума от собственных мыслей.

— Но тут при посредстве благодетельного сквозняка я, как и пристало мученику, заработал хорошую зубную боль, и все первородные грехи улетели ко всем чертям! Да что там грехи, я бы свое свидетельство о крещении отдал за сухую припарку от зубной боли.

Теперь, когда Фьялтринга уже не было в живых, когда своей ужасной кончиной он

лишний раз подтвердил бесплодность своей философии, Пер почувствовал себя как человек, счастливо избегший смертельной опасности. Точно такое же ощущение возникло у него и тогда, когда он узнал из газет о самоубийстве Хансена Иверсена. Горящая лихорадочным жаром рука ввела его в угрюмые, пустынные и зловещие теснины, в самое царство духа, куда уже давно манили его обманчивые миражи. Пусть так! Все равно он вечно будет с любовью и благодарностью вспоминать этого человека, столь одинокого и несчастного. Даже в самой смерти Фьялтринг пребудет его наставником и спасителем.

Поэтому Пера глубоко возмущало покровительственное участие сытых и благополучных людей, которые спокойно процветали за крепкой оградой собственного равнодушия и ни разу в жизни не испытали титанического стремления бросить вызов богу. Всего несноснее был тесть, снисходительно покачивающий головой.

— Да, да, этого следовало ожидать. Я это предвидел. Как еще, скажите на милость, может кончить человек, который не живет в ладу с самим собой? Но что ни говори, а мне его от души жаль. Ах, бедняга, бедняга!

У Пера так и чесался язык хорошенько отбрить тестя, но он сдержал себя — что уже не раз делал ради Ингер, — и ничего не ответил.

\* \* \*

Незаметно прошел год, за ним другой, за ним еще три, с той особой, неприметной поспешностью, с какой течет время в деревне, — дни здесь тянутся медленно-медленно, а годы летят.

В саду идиллической усадьбы, среди зеленых холмов Римальта бегало уже трое ребятешек — мальчик пяти лет и две девчушки; все трое — вылитый отец — с голубыми глазами и каштановыми локонами. Грандиозная перепланировка речного русла была давным-давно успешно завершена, и Пер нередко поговаривал о том, чтобы перебраться куда-нибудь в другое место, но Ингер и слышать не хотела о разлуке с родными местами; она обожала свой новый дом, как прежде обожала старый, и считала для себя делом чести превратить его в образец чистоты и порядка.

Впрочем, и у самого Пера не хватало духа покинуть насиженное место. Дни катились мирной чередой, дети росли, а Ингер была так трогательно счастлива, так признательна за то, что может жить неподалеку от родителей и среди старых друзей. Он же, если не считать собственного дома, по-прежнему чувствовал себя чужим в округе. Зато дом, и клочок земли, и сад накрепко приросли к сердцу Пера, и его нетрудно было уговорить никуда не ездить. К тому же до последнего времени у него было по горло всяких дел и здесь, в округе — землемерные и дорожные работы, возведение мостов. Заработка вполне хватало на жизнь. Постепенно ему удалось начисто расплатиться с долгами.

Зато работа над изобретением не двигалась с места. Все реже у него появлялась охота к серьезным занятиям, а вместе с охотой его, казалось, покинули и способности. Ум, некогда столь блистательный, стал бесплодным. Пришлось махнуть рукой на изобретение и больше к нему не возвращаться. На холме позади дома, там, где он некогда мечтал соорудить опытную мельницу с двигателем нового типа, установили теперь скамью, чтобы любоваться окрестностями. Здесь они частенько сживали по вечерам с Ингер и толковали о всякой всячине, а дети весело резвились в траве возле них.

Говорила главным образом Ингер. Он, прежде такой разговорчивый, стал с годами несловоохотлив. Лишь в редкие минуты, особенно играя с детьми, он и сам, бывало, нет-нет да и расшалится, как ребенок. Обычно же настроение у него менялось очень быстро и без всяких видимых причин, и это временами не на шутку тревожило Ингер. Иногда среди самого мирного и будничного разговора он вдруг умолкал, уставившись в одну точку, словно мысли его внезапно обратились на какой-то другой предмет, о котором он предпочел бы никому не рассказывать. Эта внезапная отчужденность тянулась часами, а иногда даже

днями, и тут не оставалось ничего другого, как сделать вид, будто все в порядке, и не приставать к нему с расспросами.

В первые годы семейной жизни Ингер, по примеру своих родителей, считала, что подобная неустойчивость есть результат знакомства с пастором Фьялтрингом. Позднее, она решила, что ее супруга терзает мысль о злополучном изобретении. Пока он еще не прекратил работы над ним, на него, бывало, никак не угодишь, ему все казалось, что в доме недостаточно тихо, малейший шум раздражал его, и он вечно сетовал, что стоит ему почувствовать прилив творческой энергии, как Ингер непременно затеет какую-нибудь приборку и выживет его из кабинета. Поэтому Ингер тоже в свое время приложила руку к тому, чтобы выбить изобретение у него из головы. Теперь же она больше всего склонна была объяснять внезапную и ничем не оправданную смену настроений у Пера его физическими недугами, которые тоже накатывали приступами и делали его раздражительным и капризным. Впрочем, и сам он не давал других объяснений.

Снова наступила осень, в саду наливались фрукты, Ингер была целые дни занята вареньем и маринадами.

Как-то раз, в середине сентября, Ингер сидела на скамейке под развесистым орехом. Она привыкла отдыхать здесь после обеда, отправив детей гулять в поле под надзором няньки. Из любви к точности она старалась на сколько возможно сохранять твердый распорядок дня и послеобеденный час отвела на размышления о всяких хозяйственных и семейных делах. Она надела премиленький фартучек и поставила на колени глиняную миску со спелыми вишнями; рядом на скамейке стоял пустой таз, — и она бросала туда ягодку за ягодкой, предварительно вынув шпилькой косточку. Какая-то милая грация была в этих быстрых, уверенных движениях, как и во всем, что делала Ингер. С ее белых пальцев капля за каплей стекал ослепительно красный сок. В пышной кроне ореха уже показались первые приметы осени — среди зеленой листвы кое-где проглядывал мертвый, поблекший лист. Но сама Ингер переживала пору летнего расцвета — зрелая, пышная, как римская матрона, хотя ей минуло всего лишь двадцать семь лет. Физическая слабость, которая задерживала ее развитие в годы юности, бесследно исчезла после замужества. Она чувствовала себя совершенно здоровой и, к своей великой радости и гордости, сама выкормила всех троих детей.

По сути дела она была счастлива в замужестве, хотя совсем не так, как ожидала. Невзирая на неровности характера, Пер всегда оставался любящим и заботливым мужем и отцом, но тем галантным рыцарем, о котором она мечтала до свадьбы, он так и не стал. Временами Ингер сама себе удивлялась, почему она так любит Пера. Впрочем, если она и потакала его капризам, то потому лишь, что они будили в ней материнское чувство. Когда на него находило мрачное уныние, — а с годами это случалось все чаще, — она относилась к нему, как к больному, на которого не следует обижаться. Вдобавок она прекрасно видела, что он страдает от своих приступов больше, чем она сама.

В тот период, о котором идет речь, у него как раз начался очередной приступ меланхолии. Накануне отмечали день рождения маленького Хагбарта, и Пер с самого утра был в прекрасном расположении духа. Он поднялся с зарей, чтобы нарвать полевых цветов и украсить дом, а когда встали дети, он долго играл с ними в саду. Дети были в полном восторге, Ингер сама тоже посмеивалась, глядя из окна спальни, как он ползает на четвереньках в кустарнике. Потом принесли почту, и игра прекратилась. Когда час спустя Ингер вошла к нему в кабинет, она сразу увидела, что он уже не тот, каким был с утра. Он сидел у окна с газетой в руках, и под глазами у него залегли черные тени, значение которых она слишком хорошо понимала. За праздничным столом он, к великому удивлению детей, не проронил ни единого звука, а когда к обеду приехали родители, чтобы поздравить с новорожденным, Пер, сославшись на неотложные дела, ушел из дому и не возвращался до вечера.

В этой бурной и внезапной смене настроений, в приступах мрачной меланхолии, одолевавшей его, было что-то зловеще знакомое, напоминавшее покойного гофегермейстера.

И у того болезненное непостоянство духа зависело от физического недомогания, быть может от рака, который и свел его в могилу. Ингер пообещала себе самой при первой же возможности потолковать об этом с врачом.

Она очнулась от своих мыслей, когда с холма донесся восторженный визг. Это Хагбарт и его старшая сестренка Ингеборг взобрались на холм, чтобы поглядеть, не едет ли отец, и радостно завизжали, увидев издали отцовскую Пегашку.

Ингер встала, подхватила таз и пошла отдать распоряжение служанке насчет обеда для Пера. Чтобы не нарушать твердо установленный порядок дня, Пер и сам просил никогда не ждать его с едой, если он запоздает. Ингер своими руками положила Перу его порцию — сегодня на обед была сладкая каша, домашнее пиво и копченый угорь с тушеным картофелем, — и положила не скупясь. Пер ушел с самого утра, сунув в карман несколько бутербродов, и она знала, что после дня, проведенного на свежем воздухе, он вернется домой голодный как волк. И в этом он походил на гофегермейстера: у того мрачное настроение никогда не портило аппетита, скорее даже наоборот. Она отлично помнила, что в самые черные минуты гофегермейстер вообще никак не мог наесться досыта.

Но вот Пер на своей Пегашке подъехал к самому дому. Дети вместе с нянькой и куры окружили его. Потом к ним присоединился работник. «Последышка», сидевшая на руках у няньки, подставила отцу щеку для поцелуя, старшие — каждый по «своему» колесу — уже забрались в двуколку, устроились рядом с отцом и начали щелкать кнутом. Ингер стояла в кухне возле окна и с материнской гордостью любовалась этой сценой.

Пер не совсем ласково вырвался наконец из цепких ребячьих рук и, отдав работнику распоряжения насчет лошади, соскочил на землю.

Он тоже располнел за последние годы, только цвет лица у него был не такой здоровый, как у Ингер, а окладистая, чуть растрепанная борода очень старила его.

— У нас был кто-нибудь? — спросил он, когда сел за стол, и тут же, не глядя, что ему подали, сунул в рот солидный кусок.

— Нет, мы весь день одни, — отвечала Ингер. Она присела возле него с вязаньем, чтобы ему веселей было обедать. — Ты сегодня не получал писем?

— Нет, только газеты.

— Что там новенького?

— Не знаю, не смотрел.

Оба помолчали.

— Скажи, пожалуйста, ты вчера не читала газет? — как-то нерешительно спросил он вдруг.

— Вчера? Нет, не припоминаю. А там было что-нибудь интересное?

— Да как тебе сказать, там был отчет о выступлениях на съезде инженеров в Орхусе.

— Тебе надо бы туда съездить. Это же тебе интересно.

— Чего я там не видал? Кстати, я никого из них не знаю. И потом, я вовсе не инженер.

— Разве землемеры в таких съездах не участвуют;

— Думаю, что нет.

— Но тебя ведь интересует то, о чем они говорят.

— Когда-то интересовало.

— А о чем идет речь в этом отчете?

— Да так, переговоры о создании открытого порта и западно-ютландского канала в Ертингском заливе. Во всех газетах этот проект именуется проектом Стейнера. Если ты помнишь, я сам когда-то выдвигал точно такую идею.

— И написал про это книгу?

— Да, написал про это книгу.

— Значит, теперь проект будет наконец осуществлен?

— Не думаю. Копенгагенский проект — уже дело решенное. А один исключает другой.

— Чего ради они тогда до сих пор шумят о нем?

— Да все их ютландский патриотизм. Больше ничего. Кстати же, господину Стейнеру

на руку, если переговоры будут тянуться как можно дольше. Он изо всех сил старается, чтобы они не кончились слишком рано. Говорят, что собравшиеся устроили ему настоящую оvation. За торжественным обедом — шампанское, сама понимаешь, лилось рекой — кто-то произнес речь, в которой назвал Стейнера датским Лессепсом. Каши не осталось?

— Нет. Вот досада-то. А ты бы еще съел? Зато на второе я тебе отложила побольше.

— Ну и ладно. Спасибо.

— Да, смотри не наедайся досыта. Мы на вечер приглашены к аптекарю.

Пер поморщился.

— А ведь правда приглашены. Я совсем забыл. Скажи на милость, когда мы перестанем принимать всякие приглашения? Ведь удовольствия от них мы никакого не получаем.

— Да, особого веселья там, конечно, не будет. По мне, лучше бы остаться дома. Но ведь нельзя же ни за что ни про что обижать людей. Хотя бы ради отца; ему это не понравится. Люди и так уже говорят, что мы держимся особняком.

Пер ничего не ответил, и остаток обеда протекал в суровом молчании. Потому в кабинет подали кофе, и Пер вместе с Ингер перешел туда.

Кабинет был расположен по другую сторону коридора. Это была узкая, темная комната с окном, выходившим на бескрайние поля, и с потайной дверью, которая вела в спальню. Свой прежний кабинет — большой и солнечный — Пер с увеличением семьи уступил под детскую. Кстати сказать, в этой скромной, тихой, уединенной комнате он чувствовал себя ничуть не хуже, потому что она напоминала ему затворническое житье молодых лет в Пюбодере или в Фредериксберге. Он не выказывал никакого восторга, когда Ингер, пытаясь хоть как-то украсить комнату, приносила туда горшки с цветами или свежий букет живых цветов. От их запаха у него кружилась голова, и вдобавок яркие краски природы не очень гармонировали с тем настроением, которое все чаще и чаще одолевало его.

Во всей комнате было только одно украшение — большой мраморный бюст. Он стоял на книжной полке и почти упирался в низкий потолок. Бюст изображал красивого молодого мужчину с вьющимися волосами, крутым, широким лбом и чувственным ртом. Рот, как на античных бюстах, был чуть приоткрыт, чтобы усилить впечатление жизненности. Голова была повернута в сторону, этот могучий поворот наиболее выгодно оттенял роскошную, как у кулачного бойца, мускулатуру шеи. Глубокая волевая складка рассекала лоб между почти сросшимися бровями. Взгляд был исполнен властности. Улыбка выдавала избыток молодости, силы, отваги.

Все это вместе представляло собой сильно идеализированный портрет молодого Пера, который заказала баронесса во время их совместного пребывания в Риме. Гофегермейстерша сочла своим долгом выкупить его ради сестры и вручила его Ингер как свадебный подарок. Но Ингер этот бюст внушил сразу же такое отвращение, что она немедленно решила засунуть его на чердак. Потом она сменила гнев на милость и позволила пристроить его в столовой, где-нибудь в углу и повыше, чтобы он не бросался в глаза. Там он и стоял, пока в один прекрасный день Пер не вздумал забрать его к себе. Как Ингер ни доказывала, что не пристало человеку иметь у себя в комнате свое собственное изображение, Пер не пожелал расстаться с бюстом.

Тьма сгустилась. Ингер с Пером сидели в противоположных углах комнаты и толковали о детях и о хозяйстве. Пер закурил сигару, взял чашку кофе и подсел к окну. Говорила, как всегда, почти одна Ингер, не переставая в то же время считать петли в своем вязанье. Среди всякой всячины она упомянула и о том, что маленький Хагбарт сам, без посторонней помощи, соорудил из старого деревянного башмака кукольную тележку для своей сестренки. Мальчику всегда приходит в голову что-нибудь интересное. А руки у него такие, что ему любая работа нипочем.

Пер стал слушать внимательней.

— Да, из мальчика выйдет толк, — сказал он словно самому себе и снова погрузился в собственные мысли.

Ингер воткнула спицу в клубок и пошла в спальню, чтобы переодеться к вечеру. Не



успела она уйти, как Пер, не вставая с места, потянулся к своему столу и уже хотел было вытащить из-под стопки книг и чертежей вчетверо сложенную газету, но, услышав, что Ингер возвращается, поспешно отдернул руку и снова принялся с неослабным вниманием разглядывать красные закатные облака.

\* \* \*

Аптекарь Мэллер был крупнейшим налогоплательщиком в Римальте и любил при случае напоминать об этом, а когда приглашал гостей, то считал делом чести доказать любой ценой, что отлично сознает свои обязанности — обязанности богатого человека — в обращении с теми, к кому судьба оказалась не столь благосклонна. Часов около семи все гости были в сборе, и хозяин провел их прямо к накрытому столу, где перед каждым прибором красовалось по три рюмки и лежал свежеспеченный хлебец, завернутый в льняную салфетку. Не без удовольствия выслушал он восторженный гул, из которого явствовало, что лучшего стола не сыскать во всей округе.

То маловажное, впрочем, обстоятельство, что кушанья готовил далеко не магистр кулинарии и что содержимое бутылок не всегда соответствовало звучным названиям, украшавшим этикетку, никому не портило аппетита. Никто из собравшихся не страдал утонченным вкусом. О кушаньях они судили главным образом по их объему, вид полного блюда сладостно тешил их взор, и они изо всех сил старались впихнуть в себя столько, сколько влезет, и ни одной крошкой меньше.

Поведением своим аптекарь также полностью оправдывал свою славу хлебосольного хозяина — он без передышки уговаривал гостей подкладывать себе на тарелки, да побольше. Перекрывая звяканье вилок и стук ножей, звучал его зычный голос:

— Дорогие гости! Окажите хоть капельку внимания этим фаршированным голубям. Они, право же, того заслуживают... Господин начальник станции, надеюсь, вам пришлось по вкусу это шато бельвий? Что вы, дорогая моя! Сотерн — это специально дамское вино! Вы только отведайте!.. Господин Сидениус! За что вы обиделись на свою рюмку? Вы ничего не пьете. Позвольте мне... Господа, господа, минуточку внимания! Это Лондон Клаб разлива тысяча восемьсот семьдесят девятого года, который я только что вам всем налил, следует пить благоговейно, понимаете: благоговейно. Ну-с, как вы его находите?

Мужчины осушили свои бокалы, причмокнули и рассыпались в самых искренних и единодушных похвалах.

— В самую точку! — провозгласил ветеринар.

— Просто тает во рту! — с видом знатока сказал начальник станции.

— Напиток богов! — добавил новый директор реального училища, кандидат Баллинг, после чего встал с места и провозгласил здравицу в честь хозяина.

Это был тот самый долговязый Баллинг с львиной гривой, которого Пер много лет тому назад встречал в доме Саломонов. Баллингу за последнее время головокружительно повезло. После того как рухнули все его планы в столице, он решил попытать счастья в провинции и очень быстро добился признания, которого жаждал столь давно и столь пылко. Здесь его считали личностью весьма значительной, и не только в самом Римальте, жители которого гордились, залучив в свою среду настоящего писателя, но и по окрестным деревням, где он выступал с докладами, как апостол нового литературного направления, стремившегося к народности в духе Высших народных школ. Подруга Ингер — старшая дочь управляющего именем — советника юстиции Клаусена, бойкая Герда, у которой была пышная грудь и жгучие глаза, влюбилась в Баллинга с первого взгляда. Две недели тому назад сыграли свадьбу. И еще одно лицо пополнило дружную семью римальтской интеллигенции. Приблизительно в десяти километрах от станции, вдоль дороги, которая вела через Римальт на Бэstrup, Боруп и Керсхольм, расположилось имение Буддеруплунд. Имение принадлежало статскому советнику Бруку — человеку весьма почтенных лет, отпрыску

старинного рода голштинских помещиков. Он был очень богат и имел единственного сына, который много лет жил за границей, получил там образование, а теперь вернулся домой, чтобы взять в свои руки бразды правления.

Сыну было уже под тридцать. Это был красивый, сильный мужчина, но тихий и несколько застенчивый, что, возможно, объяснялось его природным недостатком: он заикался. Перу он сразу же пришелся по душе. Несмотря на несходство интересов — господин Брук был страстный охотник и имел много друзей среди помещиков — Пер надеялся поближе сойтись с ним, и его очень огорчило, когда он заметил, что эта любовь осталась без взаимности. Впрочем, он скоро понял, что единственной причиной, из-за которой господин Брук затесался в среду чужих, несимпатичных ему людей, был пылкий интерес к Ингер. Они с Ингер знали друг друга еще с детских лет, но Ингер терпеть его не могла и проявляла свою нелюбовь временами просто грубо. Впрочем, никаких исчерпывающих объяснений она по этому поводу дать не умела. Пер неоднократно спрашивал ее, в чем дело, и она всегда отвечала одно и то же, а именно, что Брук ей и мальчиком не нравился, и сейчас не нравится. Сегодня Пер заметил также, что господин Брук, сидевший наискось против Ингер, несколько раз пытался завязать с ней разговор, но успеха не имел. Ингер, не глядя в его сторону, отделялась всякий раз какой-нибудь незначащей фразой. После ужина все общество, как издавна ведется в провинции, разделилось: дамы остались в гостиной, а мужчины перешли в кабинет хозяина, чтобы покурить и всласть покалякать на всякие игровые темы. Здесь, на свободе, они сбрасывали тесную оболочку приличий, рассказывали непристойные анекдоты, потягивали ликер, рыгали в свое удовольствие, а то могли и всхрапнуть, приткнувшись в углу.

Перу досталось такое место, с которого он мог видеть, что делается в гостиной. Там, над столиком возле дивана, висела лампа с темно-красным абажуром. Вокруг столика, словно в зареве пожара, сидели дамы, кто с вязаньем, кто с вышивкой. У них тоже разговор не умолкал ни на минуту. Догадаться, о чем идет речь, можно было с первого взгляда. Только такие темы, как теперешняя прислуга и домашнее хозяйство, могут вызвать среди дам подобное оживление. Даже Ингер, несмотря на внешнее спокойствие, вся покраснела от возбуждения.

Пер, уже загодя мрачно настроенный, при виде этой картины прикусил губу от злости. До сих пор он мог гордиться своей женой не только потому, что она была красивее других, но и потому, что благодаря врожденному такту и вкусу она была на головы выше всех своих соседок. Но когда он замечал, как привольно чувствует она себя среди этих кумушек, у него сразу же портилось настроение. Хотя она всячески стремилась доказать противное, он-то сам хорошо видел, что здесь она совершенно в своей стихии. Лишь тогда, когда разговор переходил через границы пристойности, она замыкалась и переставала принимать в нем участие. Она не поддавалась на несколько фривольный тон, бывший в ходу у римальтских дам. При той сдержанности, и в манере вести себя и в образе мыслей, которая с детских лет отличала ее, она, став замужней дамой, закрывала глаза и уши на все, что могло бы оскорбить ее женскую щепетильность. Было в этом что-то от чисто блонберговского фарисейства: чего Ингер не желала знать, того она попросту не слышала. Чему не хотела верить, тому и не верила. Именно поэтому она могла сохранять прекрасные отношения с супругой аптекаря и с супругой начальника станции, хотя всем было доподлинно известно, что первая живет с мужем второй и что обе они по уши влюблены в кандидата Баллинга. Именно поэтому она могла, повторяя своего отца, толковать без зазрения совести о «пороках и неверии, в которых погрязли копенгагенцы», хотя жизнь, ее окружавшая, была смехотворным, неузнаваемо искаженным подобием все той же столичной жизни и хотя повсюду — в идиллическом ли дворе зажиточного крестьянина, в убогой ли хижине арендатора — весьма открыто творились самые гнусные дела.

Так, с грехом пополам, дотянули до десяти часов. В десять подали десерт. У почтенных матрон, сидевших вокруг стола, побледнели к этому времени лица и покраснели веки, они больше не давали себе труда заботиться о приличиях. Некоторые откровенно зевали, чуть

прикрывая рот рукой. Даже у Ингер слипались глаза. И только сама хозяйка да еще жена начальника станции проявляли признаки беспокойства. Дело в том, что кандидат Баллинг со своей молодой супругой уединились в пустом кабинете, где горел один только ночничок. Их раза четыре приглашали к столу, а они все не выходили. Когда же они наконец вышли, лицо и прическа Герды говорили за себя красноречивее всяких слов. Впрочем, Герду это отнюдь не смущало.

Вскоре гости разошлись. Небольшими группками медленно брели они по дороге, залитой лунным сиянием, останавливались то возле одной, то возле другой калитки и тут уж прощались по-настоящему.

Ингер шла с местным врачом, очень неглупым человеком средних лет, знавшим ее с детства. Они чуть поотстали от других и серьезно разговаривали о Пере.

— Скажите, доктор, вам не показалось, что мой муж был сегодня необычайно молчалив?

— Разумеется, раз уж вы меня спрашиваете. С ним что-нибудь стряслось?

— Да нет, по-моему ничего. Но если говорить начистоту — вы, вероятно, знаете, что муж мой человек довольно сумрачного склада. Меня это даже начинает беспокоить. Как вы думаете, нет ли у него какой-нибудь скрытой болезни?

Доктор подумал и ответил так:

— Я очень рад, что вы сами об этом заговорили.

— Я как раз думал, что мне надо бы потолковать с вами.

Перепуганная Ингер остановилась и схватила доктора за руку.

— Что с ним? — чуть не выкрикнула она.

— Ничего особенного. Ради бога, не пугайтесь. Я вовсе не то хотел сказать. Просто он у вас очень нервный. А вот приступы головокружения и колотье в боку, на которые он иногда жалуется, — это может быть довольно неприятный симптом. Но серьезных оснований для беспокойства у вас пока нет.

— Но что с ним? Вы как-то непонятно говорите.

— Да видите ли... дело в том... мне не совсем удобно говорить об этом... но скажите мне вот что: не кажется ли вам, что у вашего мужа слишком мало работы?

— Мало? Да он с утра до вечера работает. Вы ведь сами знаете...

— Знать-то я знаю, но вот есть ли у него такое дело, которое поглощало бы его целиком, без остатка? Мне почему-то кажется, что ему нужно нечто большее, больший размах, так сказать. Словом, такое дело, чтобы у него не оставалось ни минуты свободной для копания в себе самом.

— Я тоже иногда так думаю, — сказала Ингер после непродолжительного молчания, — но где прикажете искать такое дело у нас в округе?

— К сожалению, нигде, ваша правда.

— Нам бы надо уехать отсюда в какой-нибудь большой город, может, даже в Копенгаген...

— Да, надо бы. Правда, мы все будем очень тосковать без вас. Но все равно, я не хочу по этой причине давать вам неискренние советы.

— Повторяю, я уже думала об этом, — сказала Ингер. — Но я убеждена, что моему мужу лучше всего и спокойнее всего жить именно в деревне. И он сам так полагает. Если уж считаться с его здоровьем, то тяжелый, напряженный труд ему вообще не под силу.

— Я бы очень хотел, чтобы вы могли здраво судить о своем муже. Больной он или не больной, но он натура сильная, и ему по плечу большие тяготы. Теперь, уж коли мы начали, я хочу договорить до конца. Ведь ваш дядя из Фиуме несколько раз, если не ошибаюсь, звал вашего мужа к себе и предлагал ему место на своей верфи? Почему бы вам не перебраться на благословенные берега Адриатического моря?

— Чтобы нас там сожгли бандиты?

— Да, обстановка там не из приятных. Зато климат для вашего мужа лучше не придумаешь. Ему так нужны солнце и тепло. Я убежден, что двух-трехлетнее пребывание в

чужих краях может совершить чудеса.

Ингер молчала. Она невольно отодвинулась подальше от своего собеседника и больше не поднимала глаз. Вскоре они подошли к дому доктора, где давно уже поджидали их остальные.

Пер с Ингер жили дальше всех, и потому им двадцать раз пришлось проделать церемонию прощания. Ингер тихонько просунула свою руку под руку Пера и, когда они наконец остались одни, пылко прижалась к нему. За целый вечер, проведенный среди чужих, они успели стосковаться друг по другу. Ингер нежно склонилась головой на плечо Пера. Так они брели медленно-медленно в лунном сиянии и только один раз остановились посреди дороги, чтобы обменяться поцелуем, как залогом любви.

Но едва лишь они переступили порог своего дома, Ингер как на грех убежала хлопотать по хозяйству: перед уходом она наказала кухарке засолить немного огурцов, и чувство долга не позволило ей лечь в постель, не убедившись предварительно, что задание выполнено. Заодно уж она заглянула в детскую, чтобы узнать у няни, как прошел вечер.

— Ты только подумай, у Ингеборг опять понос, — с такими словами она вошла в кабинет.

Пер тем временем зажег лампу, подсел к столу, раскрыл первую попавшуюся книгу и сделал вид, будто читает ее.

— Вот как? — отозвался он и перевернул страницу.

Она слишком хорошо знала этот тон. К тому же он раскурил новую сигару.

— Ты еще посидишь немного? — спросила она.

— Да, мне что-то не хочется спать.

Она даже не пыталась его уговаривать. В такие минуты — она уже к этому привыкла — все уговоры были бы тщетны. И потому она спокойно — женская гордость и стыдливость не позволяли ей выразить свое огорчение подошла к нему, откинула волосы с его лба и коснулась губами виска.

— Покойной ночи, дорогой.

— Покойной ночи, — ответил он, не поворачивая головы.

Не успела она уйти, как он отложил книгу в сторону и, подперев голову руками, устался на лампу. Когда он услышал, что Ингер уже легла, он вытащил из-под груды книг запрятанную там газету и бережно расправил ее. Это была все та же вчерашняя газета — одна из крупнейших в Ютландии — с отчетом о съезде инженеров в Орхусе. Его взгляд сразу отыскал нужный столбец и нужные строки:

«Главным вопросом, стоявшим на повестке дневного заседания, был широко известный проект инженера Стейнера. Мы уже познакомили наших читателей в целом ряде статей с основными положениями этого проекта. Особый интерес вызывало дневное заседание еще и потому, что открыл его сам гениальный творец проекта, появление которого на трибуне было встречено долгими аплодисментами. Заключительные слова доклада потонули в громе оваций».

На висках у Пера вздулись жилы.

— Негодай! — прошипел он сквозь стиснутые зубы. За последние несколько лет вообще нельзя было раскрыть ни одну провинциальную газету без того, чтобы не наткнуться на имя Стейнера. Антон Стейнер превратился чуть ли не в национального героя Ютландии. Он был вездесущ, он всюду делал доклады, по каждому случаю давал интервью и постепенно убеждал своих почитателей в святости своей «миссии».

Тяжелая, вся в каплях росы, ветка ударила по стеклу. В гостиной, на другом конце коридора, часы пробили двенадцать.

Пер закрыл глаза рукой и долго-долго сидел, не двигаясь с места. Сидениусовское наследство, проклятие всей его жизни! Что же лучше? Бессильно прозябать в более или менее сносных условиях и спокойно наблюдать, как душу твою пожирает неукротимая жажда жизни, или одним ударом разделаться и с бессилием, и с несчастьями и пустить себе пулю в лоб, как это сделал Хансен Иверсен, как это сделал Ниргор? Жизнь все равно

разбита, сила все равно растрочена. Он похож сейчас на часы, из которых колесико за колесиком вынули весь механизм.

Медленно, чуть опасливо поднял он глаза на книжную полку, туда, где под самым потолком тускло поблескивал в полумраке мраморный бюст. Теперь этот бюст вызывал у него почти благоговейное чувство, хотя было время, когда он страстно хотел уничтожить его. С каждым днем Пер все больше влюблялся в свою юность. Его давно уже не донимали воспоминания о том, каким бестолковым, дерзким и самонадеянным юнцом был он тогда, кое в чем — просто дурнем, кое в чем — грубияном и задирой и всегда бездушным чурбаном. Пусть так, но это и была сама жизнь, она пела в его крови, она звучала в его снах. А теперь все в нем безмолвная пустыня. Лишь одинокая свирель жалостно посвистывает там, где некогда гремел целый оркестр, — хоть порой и не в лад, зато какая была могучая музыка!

Тому, кто одинок и всеми покинут, тому, кто знает лишь теневую сторону жизни, конечно, приходится нелегко; но именно сознание, что с ним поступают несправедливо, что его затирают, может служить в годину горя величайшим утешением; у такого человека всегда остается надежда, остается, наконец, злость, пламя которой согревает его. Он никогда не будет столь жалок, как тот, кого на солнцепеке пронизывает могильный холод, как тот, кто сидит перед королевским угощением и умирает с голоду, как тот, кто видит, что без него воплощаются в жизнь все его мечты, а он должен всего бежать. Но именно такая участь уготована ему, Перу!

Домашний очаг, покой, уют — вот и все, что ему осталось. Из всего мира, о завоевании которого он мечтал в блаженном высокомерии юности, ему досталось одиннадцать аров с четвертью. Любовь Ингер, жизнерадостность детей, семейное гнездо — это он получил взамен за все утраченное, все несвершенное.

Нельзя сказать, что жизнь была несправедлива к нему. И поэтому Ингер ничего не должна узнать о снедающей его тоске, ибо она ни в чем не виновата, да и вряд ли сможет правильно понять его. Впрочем, что ж тут удивительного, когда он и сам не понимает своего бессилия. Ну хорошо, пусть он полюбил свой дом, пусть Ингер не хочет расставаться с местами, где она родилась и выросла, пусть сам он с годами стал усидчивее — пусть так, и все равно это не объясняет той притягательной силы, той таинственной власти, которую приобрел над ним этот клочок земли, хоть и здесь его не оставляет сознание одиночества.

Ведь не боязнь, что на новом месте он не сможет прокормить семью, удерживает его. Кроме приглашения дяди Ингер, которое, по совести, никогда не казалось ему соблазнительным, он отверг целую кучу других, весьма заманчивых предложений. К тому же он так пришелся по душе начальнику округа, что тот несколько раз без всяких просьб и намеков обещал переговорить о нем с министром внутренних дел и с генеральным директором водооросительной системы (оба они были его близкими друзьями).

Болезнь его и вовсе не беспокоит. Если он когда-нибудь и тревожился о своем здоровье, то лишь из-за Ингер, из-за детей. Страх смерти, который так терзал его в молодости, стоило ему слегка прихворнуть, давно исчез. Присутствуя на чьих-нибудь похоронах, он чуть не с завистью глядел, как гроб с телом исчезает в черной яме. Порой гулкий стук комьев земли, падающий на крышку гроба, казался ему самым заманчивым из всех звуков, словно эхо из царства смерти, словно ответ и надежное утешение из небытия.

Иногда он задавал себе вопрос: не лучше ли будет для Ингер, если он умрет? Она еще достаточно молода и красива. Надо полагать, она второй раз выйдет замуж и опять станет такой же цветущей и счастливой. Перу не раз уже приходило в голову, что за ее ненавистью к молодому Бруку скрывается, быть может, инстинктивный, неосознанный страх, страх перед мужественной красотой и силой Брука.

Многие стороны существа Ингер пока еще дремлют, не раскрывшись, а у него не хватало терпения, а может, способностей, чтобы пробудить их.

\* \* \*



Несколько дней спустя Ингер и Пер сидели после обеда в его кабинете, Ингер с шитьем — на диване, Пер с сигарой — у окна. После недолгого молчания Ингер спросила:

— Мне лучше уйти?

— Нет, почему же?

— Просто у тебя такой вид, будто ты предпочел бы остаться в одиночестве.

— Отнюдь. Я даже рад, что ты здесь.

— Ну, тогда мне хотелось бы серьезно поговорить с тобой кое о чем.

— О чем же это?

— Видишь ли, я думала, что нам бы, пожалуй, лучше уехать отсюда, уехать, пока в этом еще нет острой необходимости. Ты ведь сам говорил, что заработки сейчас стали не те. Да и вряд ли здесь всегда можно будет найти подходящую работу.

Пер удивленно взглянул на нее.

— С чего это тебе взбрело в голову?

— Будто мы мало об этом говорили.

— Твоя правда, но с чего ты именно сейчас завела об этом речь?

Пер по-прежнему удивленно и недоверчиво смотрел на нее. Но она склонилась на своим шитьем и не поднимала глаз. В чем дело? Все последние дни она ходит какая-то странная, ну да, как раз с того вечера, когда они были в гостях у аптекаря. Может быть, она наконец осознала, какого рода страх внушает ей молодой Брук?

— Куда ж нам, по-твоему, надо ехать?

— Не знаю куда. Но ведь начальник округа обещал помочь тебе устроиться.

— Он, скорее всего, имел в виду какое-нибудь место в Копенгагенском управлении. Он ведь знаком с министром внутренних дел. Но в Копенгаген ты сама не хочешь.

— Я? Я хочу лишь того, что ты считаешь нужным. Я и так жалею, что слишком долго удерживала тебя на одном месте. Но я делала это только ради детей. Как я подумаю, что им, может быть, придется жить где-нибудь на пятом этаже и они будут чувствовать себя словно птицы в клетке, мне становится жаль их. Но, с другой стороны, ничего страшного тут нет. Лето они могут проводить у моих родителей, пусть загорают как следуют, и тогда, с божьей помощью, им не повредит городской воздух в остальное время года.

— Ну, а ты сама?

— Я-то? — Она посмотрела на него открытым, простодушным взглядом, который снял с его души гнетущую тяжесть. — Я-то? Обо мне и не думай. Я вполне здорова и даже если нам, особенно на первых порах, покажется тесновато, — ведь больше четырех комнат мы для начала снимать не сможем, — то к этому вполне можно привыкнуть. Я думаю, что Лауру придется рассчитать. В городе она не справится, она чересчур неповоротливая. Правильнее всего обходиться вообще одной служанкой, по крайней мере временно. Я отлично могу и сама гулять с детьми.

Но Пер почти не слушал ее. Он отложил сигару. Кровь застучала в висках. Внезапный приступ только что миновавшего испуга совсем лишил его сил.

— Меня беспокоит одно, — спокойно продолжала Ингер.

— Что же?

Она ответила не сразу.

— Я давно уже хочу поговорить с тобой об этом. Но в последние дни к тебе просто не подступиться.

— Ко мне? Ты, должно быть, перепутала, где ты, а где я, — пошутил он. — Это у тебя самой был такой подозрительный вид в последние дни. Ну, выкладывай, что у тебя на сердце?

— Я хотела спросить тебя, не можешь ли ты больше заниматься детьми. Я отлично понимаю, что ты любишь их, но по ним сразу видно — особенно по Хагбарту, как они страдают, когда ты перестаешь обращать на них внимания.

— Что ты говоришь, Ингер? Когда это я не обращал на них внимания?

— Я знаю, что ты мне можешь ответить. Если у тебя хорошее настроение, тебе доставляет удовольствие играть с ними. И они этому очень рады. Но в остальное время ты просто отталкиваешь их, а они не могут понять, чем они провинились, и не знают, как им держаться с тобой. Если мы, ко всему, переедем в Копенгаген и тебе еще меньше придется бывать дома, дети совсем отвыкнут от тебя, а ты — от них.

— Ничего не понимаю. По-моему, я всегда...

— Нет, Пер, ты даже сам не сознаешь, до чего ты занят самим собой, перебила его Ингер, подавив невольный вздох. — Конечно, ты не замечаешь, как ясно ты даешь детям понять, что они тебе в тягость. Но дети на этот счет чрезвычайно чутки, можешь мне поверить. Тебе даже ради себя самого следовало бы подумать об этом. И раз уж об этом зашла речь, я передам тебе, что сказал мне Хагбарт вечером, в свой день рождения, когда ты долго не возвращался, и он даже не смог попрощаться с тобой перед сном. У него стояли слезы в глазах, и он довольно дерзко заявил: «Отцу нет до меня никакого дела, я знаю». Не обижайся за то, что я тебе это рассказала. Просто я хочу, если мы переедем в Копенгаген или все равно куда, чтобы ты немножко больше занялся Хагбартом. Изредка ходил с ним гулять, говорил бы с ним о всякой всячине. Он ведь смысленный мальчуган и так живо всем интересуется. Тебя, конечно, раздражают все эти детские «как» и «почему», но с такими вещами надо просто уметь мириться.

Пер не сразу ответил. Он посидел немного молча, потом встал и начал расхаживать по комнате, как делал всякий раз, когда предмет разговора слишком живо занимал его. Слова Ингер его испугали. Ее кроткая жалоба проникла глубже, чем она сама рассчитывала, ибо пробудила в душе Пера детские воспоминания, о которых он теперь ни с кем не говорил.

— Завтра же еду в Копенгаген, — наконец сказал он. — Вечером напишу начальнику округа, напому ему про его обещание. Гардероб у меня в порядке. Пусть Лаура с самого утра вывесит на солнце мой парадный костюм и пусть хорошенько выколотит. Фрак тоже положи — вдруг я попаду на прием к министру. Да, а как у мене обувью?

Ингер опешила. Она не признавала таких скоропалительных решений и посоветовала ему хорошенько подумать. Особенно торопиться некуда, и, кроме того, надо обсудить все с родителями. Но об этом Пер и слышать не хотел. У него как раз выдалось несколько дней свободных, а обсуждать они уже сто раз обсуждали и с родителями и без родителей.

— Давай договоримся. Если мы будем без конца переливать из пустого в порожнее, мы никогда ничего не решим. Ах, Ингер, Ингер! Пора наконец расправить крылья. Знай, что все последние дни я думал почти о том же. Теперь больше нет смысла это скрывать. Ты помнишь инженера Стейнера, великого шарлатана Стейнера? Я тебе о нем рассказывал. Каково мне было видеть, что этот прохвост позаимствовал, а вернее, попросту украл мои старые идеи и пошел после этого в гору? Ты только подумай, говорят, будто Стейнер на докладе в Орхусе заявил, что, покорив провинцию, намерен приступить к покорению столицы. Я прочел это во вчерашней газете. И действительно, его уже пригласили в Копенгаген на какой-то там съезд, то ли на этой, то ли на будущей неделе. Мне хотелось бы воспользоваться случаем и проучить этого нахала: прийти на съезд и спокойно изложить собравшимся предысторию вопроса. У меня есть некоторые основания полагать, что доказать свою правоту копенгагенской публике не так уж трудно. Все знают, какой он шарлатан, к тому же и среди инженеров и среди журналистов наверняка найдутся люди, которые еще помнят мою книгу.

— А стоит ли ворошить старые дела? Зачем это тебе?

— Зачем? А вот увидишь, — сказал Пер и, хрустнув пальцами, снова зашагал по комнате.

— Послушай меня, Пер, забудь о прошлом. Не знаю, какой толк будет, если ты станешь протестовать с таким опозданием? Да ты и не сделаешь этого, друг мой.

— Какой толк? Дорогая, я просто хочу отстоять свое первородство, только и всего. Никто не знает, как это может пригодиться нам в будущем.

— А я уверена, что ничего, кроме огорчений, это тебе не принесет. Ты ведь сам

говорил, что твой Стейнер — личность весьма напористая и он ничем не погнушается, лишь бы убрать своего противника с дороги. Вдобавок ты не привык к публичным выступлениям, значит...

— Маленькая! Да ты просто дрожишь за своего драгоценного муженька! — весело сказал Пер и с улыбкой остановился перед ней. — Но мы еще посмотрим! Мы посмотрим! Да, а где дети? Где Хагбарт?

— Они все в саду.

— Сегодня мы хорошенько поиграем в прятки.

— Лучше бы тебе пойти прогуляться с Хагбартом. Он целый день слоняется без дела. Может, ты сходишь с ним к Массенам? У них новая паровая молотилка. Мальчику будет интересно. Ему нравятся такие вещи.

— К Кристену Массену? Да там и без нас полно народу.

— Тем более. Значит, мальчику и впрямь есть на что поглядеть. А заодно объясни ему устройство машины. Он так смотрел на молотилку, когда ее провозили мимо. Но я, разумеется, ничего не могла ему растолковать.

— Хорошо, объясню.

Вернувшись домой через час с небольшим, он начал тотчас же собираться в дорогу. Но когда он хотел снять чемодан с чердака, словно невидимая рука удержала его. Впрочем, это чувство исчезло так же внезапно, как и появилось. Его сменило другое, более страшное: Перу почудилось, что в эту минуту он достиг последнего перекрестка в своей жизни. Если и сейчас ему не удастся найти правильный путь и уйти от себя самого и своей тоски, Римальт станет его могилой.

\* \* \*

За последние шесть лет, со времени своего окончательного переезда в деревню, Пер всего один раз был в Копенгагене. Через полгода после свадьбы они с Ингер решили съездить туда и провели там две недели, но Перу уже тогда город показался чужим и непривычным. Уличная толчея, шум, тесные номера гостиниц, ресторанная еда, вечные чаевые, все страшно далеко, целый день изволь не снимать парадного костюма, и таскай с собой перчатки, и причесывайся у парикмахера, на чем особенно настаивала Ингер, — короче, через несколько дней ему до смерти захотелось вернуться в свой маленький, тихий дом, к непринужденности деревенской жизни.

На этот раз повторилась та же история. Правда, поначалу ему было интересно наблюдать, как разросся город за последние годы. В первый же день он вскочил ни свет ни заря, чтобы поглядеть, как строят новый порт, потом исколесил все заново возникшие районы, потом отправился в центр, в Старый город, и отыскал там частично или полностью перестроенные кварталы, о которых он так много читал в газетах. Но едва лишь Пер утолил свое любопытство, его охватило все то же, знакомое каждому провинциалу, чувство затерянности и одиночества, как и семнадцать лет назад, когда, впервые покинув родительский дом, он приехал в столицу.

А сейчас как на грех в Копенгагене был самый шумный сезон — кончалось лето, и всюду, куда ни глянь, царило веселое оживление. Еще взлетали по вечерам ракеты над Тиволи, еще гремели во всех садах и парках духовые оркестры, но уже одна за другой гостеприимно распахивались двери театров; еще кишели во всех кафе летние пташки — гости из Швеции и Германии, но уже начали возвращаться с дач истинные завсегдатаи кафе и, к своему великому неудовольствию, обнаруживали, что их излюбленные уголки заняты дерзкими пришельцами. Каждый поезд, каждый пароход извергал толпы людей, вернувшихся с вакаций, и хотя вслух все они горько сетовали на то, как быстро — просто не успеешь оглянуться проходит лето, но радость их при виде родных мест убедительнее всяких слов доказывала, до чего им надоели и романтические лесные опушки и идиллические

речные заводы. Коммерсанты и чиновники, конторщики и кассирши, студенты и художники — все стосковались по городу и по жизни шиворот-навыворот: при газовом солнце и электрической луне.

Но это веселье шло мимо Пера, не задевая его, он слышал везде лишь утомительный шум, видел лишь жалкое кривляние. Глядя на этих озабоченных людей, которые торопливо снуют по улицам, на ходу выскакивают из трамвая и на ходу садятся в него, разъезжают по городу в открытых колясках, чувствуют себя в ресторанах как дома, наскоро глотают завтрак, не отрываясь от газеты, ворочают делами за кружкой пива и вряд ли могут уделить часок-другой тихим размышлениям, Пер понял, что он ошибся в себе и что жизнь этих людей никогда уже не станет его жизнью. Более того, среди оживленной толпы в нем иногда просыпался миссионерский пыл, и ему хотелось предостеречь их, крикнуть им: «Остановитесь, безумцы!»

Прошло целых пять дней, а он так и не выбрался на прием ни к министру внутренних дел, ни к генеральному директору водооросительной системы. Стоило ему собраться туда, как его всякий раз останавливал скрытый, предостерегающий голос, который говорил ему, что, вступив на этот путь, он умерщвляет самое лучшее в себе.

«Дорогой друг! — писал он жене. — Мне хочется, не откладывая, подготовить тебя к тому, что, быть может, я вернусь домой ни с чем. Причину в письме не объяснишь, скажу одно: с каждым днем я все больше убеждаюсь, что здешние условия жизни так же мало подходят мне, как и семь лет назад, может, даже еще меньше. Но ты не унывай. Есть же на свете такое место, которое создано для меня, и я никогда не устану искать его. Впрочем, не думай, что моя поездка совсем не удалась. Я теперь до конца осознал, что то чувство, из-за которого я некогда — и, пожалуй, весьма опрометчиво — бежал от столичного шума, заложено глубоко в моей натуре. После такого открытия жизнь моя показалась мне более осмысленной, — а разве этого мало? Теперь я уже не стану в недобрую минуту думать, как думал прежде, что судьбой моей управлял слепой случай. Нет, не случай, а внутренняя сила, откуда бы она ни взялась, направила мою ладью в нужную сторону, хоть на первый взгляд могло показаться — и нередко казалось, — что она лишь жалкая игрушка стихий. Будем надеяться, что если я предоставлю этой силе и впредь управлять моей судьбой, она приведет меня туда, куда нужно...

Скоро мы опять будем вместе. Ты спросишь, быть может, почему я не выезжаю немедленно, раз уж я не берусь осуществить основную цель поездки. Признаюсь: мне просто стыдно. Я столько тебе наобещал перед отъездом, а вернусь не солоно хлебавши. Но я верю, ты не осудишь меня».

Во время своих бесцельных скитаний Пер нередко натыкался на старых знакомых по дому Саломонов. С бьющимся сердцем шел он однажды от трамвайной остановки за своим бывшим другом и шурином — Ивэном. Ивэн, как и прежде, торопливо семенил на своих коротеньких ножках, зажав под мышкой портфель. Встречал он еще Арона Израеля, Макса Бернарда, Хасселагера и Натана. Его чрезвычайно поразило, что они ни капли не изменились. Попадались ему и бывшие однокурсники из политехнического института (они его не узнавали). Все они стали теперь влиятельными людьми, некоторые занимали довольно высокие посты. Дома, по газетам, он следил за их карьерой. Но теперь, увидев их собственными глазами, он не испытал ни малейшей зависти.

Больше всего хотелось ему повидать Якобу, хотя он и страшился возможной встречи. Он знал, что она здесь, в городе, что она организовала школу для детей бедняков, наподобие монастырской школы. Печать немало трезвонила об этом. Он всячески старался разузнать подробнее, что это за школа и для чего она понадобилась Якобе, но ютландские газеты писали только, что это «несколько вызывающий каприз дочери еврейского толстосума», а толком ничего не объясняли.

Как-то днем, сидя у окна, в кафе на углу Эстергаде и Кунгенс Нюртов, он увидел Дюринга. Дюринг — как ни странно — тоже ничуть не изменился. Он стоял посреди тротуара и беседовал с какой-то дамой, по-видимому актрисой, молодой, красивой и очень

элегантной. Она без умолку смеялась, словно ее щекотал дерзкий взгляд Дюринга. На них оборачивались, все мало-мальски прилично одетые мужчины отвешивали Дюрингу поклоны, а дамы подталкивали друг друга локтем.

Потом Дюринг нежно пожал руку актрисе и сел в открытую коляску, которая поджидала у края мостовой. Сотни глаз провожали его, пока он ехал по залитой солнцем площади, а сверкающий цилиндр так и порхал над белокурой головой — это Дюринг раскланивался со знакомыми.

Пер вспомнил, что недавно газеты сообщали о возвращении Дюринга из Парижа, где он в качестве специального представителя зарубежной печати присутствовал на торжественном открытии какого-то официального учреждения, затем был представлен президенту республики и получил из его рук французский орден. Он сделался в глазах общественности незаменимым и непременным представителем при всяких occasions подобного рода. Всюду, где случалось какое-нибудь значительное событие, присутствовал и Дюринг, или, вернее сказать, лишь то событие, на котором присутствовал Дюринг, считалось значительным. Все двери перед ним были распахнуты, все радости жизни, все утонченные и все грубые наслаждения были к его услугам совершенно бесплатно. Мужчины и женщины заискивали перед ним, добиваясь его благосклонности. Даже двор, как говорили, время от времени прибегал к его помощи, когда нужно было выполнить какое-нибудь щекотливое дипломатическое поручение.

Вот в ком действительно было что-то от бесшабашного покорителя мира, которому вся жизнь представляется дурацким фарсом. Полный божественной беззаботности, он превратил свои дни в непрерывную цепь удовольствий, в нескончаемое триумфальное шествие.

Пусть так! Даже этому Александру Македонскому новейшего образца Пер не завидовал более.

Но чего же хочет он? Куда стремится? И где, наконец, его настоящее место? По крайней мере сейчас ему бы следовало это понять.

Вчера, просматривая газеты, он случайно прочел, что в одном из самых западных округов Ютландии, на Агерской косе, открылась вакансия дорожного смотрителя. Это объявление не шло у него из головы. Вот и теперь он опять вспомнил о нем. Не сама работа привлекала его, отнюдь нет. Не говоря уже о том, что жалованье ничтожное, Ингер, которая так любит покой, тишину, уют, не приживется среди этих голых скал, где свирепо ревет Северное море и соленые ледяные громады яростно обрушиваются на берег. Почему же все-таки это объявление запало ему в душу? Потому что его самого неодолимо манит этот край, и — как он лишь сейчас понял — именно тем, что он такой пустынный, мрачный, забытый богом и людьми.

Никогда еще Пер не заглядывал столь пристально в собственную душу. Он словно увидел самые глубины своего существа — и, увидев, содрогнулся. Если, несмотря на все видимые успехи, он не обрел счастья, значит ему не дано быть счастливым в обычном смысле этого слова. Вот и теперь он стремится домой вовсе не ради Ингер, или ребятишек, или семейного уюта. Роль той невидимой руки, которая хотела удержать его от поездки и всегда в самые решающие минуты тайно направляла его шаги, сыграло подсознательное убеждение, что лишь в одиночестве его душа обретет покой и лишь страданию и горю обречена его жизнь. «Напитаю меня хлебом слезным, напою меня слезами».

Только теперь, словно при вспышке молнии, он разом понял притягательную и страшную силу этих удивительных слов. Великое счастье, которое он искал ощупью, оказалось тем великим страданием, той невозвратимой утратой, что воспел пастор Фьялтринг, называя ее божественным даром для избранных.

Пер поднял голову, словно просыпаясь от тяжелого сна, и снова увидел перед собой залитую солнцем площадь и веселую сутолоку карет и пешеходов. Немного погодя, он встал и вышел из кафе. Бесцельно побродив по улицам, он забрел под конец в Эрстедовский парк, где со дня своего приезда гулял по утрам, когда в парке бывает мало народу. Сейчас, среди дня, здесь тоже было немногочисленно. Разбрелись по домам няньки с детьми. Никто не сидел



на скамейках. Широкие тени расчертили аллеи и тропинки. На темнеющей листве, на позеленевших от времени статуях играло полуденное солнце.

Пер опустился на скамью в одной из главных аллей. Здесь ему никто не мешал, он сидел спокойно и чертил палкой по песку. Вдруг к нему снова вернулась мысль о том, что если он умрет или еще как-нибудь уйдет из жизни своей семьи, это будет для них великой удачей, особенно для детей. Он вспомнил, как Ингер говорила с ним про Хагбарта. Мальчик и в самом деле стал очень скрытый и недоверчивый. Однажды Пер застал его в саду, где тот гонялся за какой-то птицей, — словом, ничего дурного не делал. Неожиданно мальчик увидел отца, и Пер похолодел, заметив выражение, сверкнувшее в его глазах. Он как будто увидел со стороны самого себя много лет назад, когда он стоял перед своим отцом и полудерзко, полуиспуганно выдумывал самые немыслимые отговорки, лишь бы скрыть какой-нибудь проступок! Нет! Светлый лоб Хагберта не должна заклеить каинова печать! Отцовское проклятие, которое черной тенью легло на всю его жизнь, сделало его изгнанником и скитальцем на земле, не должно отозваться на его детях. Не должно отозваться на Ингер! Теперь, осознав, как глубоко завладело им неодолимое отвращение к жизни, он просто не имеет права заставлять Ингер делить с ним его участь. Бедная девочка! Она еще не ведает о своем несчастье. Она еще не догадывается, что связала свою судьбу с оборотнем, с подземным духом, которого слепит солнечный свет, которого убивает счастье. И даже если когда-нибудь любовь к другому откроет ей глаза, она сохранит свою тайну про себя, как смертный грех, она поблекнет и умрет, не решившись признаться даже себе самой в своем открытии.

Пер поднялся было со скамьи, но тут его взгляд упал на статную по другую сторону аллеи. Это был Силен с младенцем Дионисом на руках. Прислонившись к стволу дерева и глядя на непослушного шалунишку, старый сатир чуть заметно улыбался, и отцовская гордость озаряла бородатое лицо.

Пер снова сел и не открывал взгляда от этой беззаботной группы, пока слезы не подступили к глазам. Как все могло бы сложиться, если бы много лет назад, когда он был еще ребенком, на него смотрели с такой нежностью, с такой солнечной улыбкой; если бы с первых шагов жизнь не была отравлена для него и в школе, и дома, — и больше всего из-за тех, кому он обязан своим появлением на свет. Но сама смерть на пороге жизни отметила его своим поцелуем. Знак креста, могильного креста запечатлен был у него на лбу и на груди в тот самый день, когда он увидел свет.

## Глава XXVII

Через день Пер вернулся домой. В разговоре с Ингер он вскользь упомянул про место дорожного смотрителя — просто затем, чтобы она видела, что он искал работу не только в самом Копенгагене, но не нашел ничего подходящего, поскольку «о таком месте не может быть и речи».

И снова дни потекли обычной чередой, и каждый день был похож на предыдущий. И вот наступила осень, и погода стала переменчивая, как и полагается осенью. То там, то тут Пер перехватывал кое-какую землемерную работенку, чего-нибудь посерьезнее пока не предвиделось.

Ингер замечала, что он стал совсем другим.

Он так трогательно обрадовался, когда приехал домой. Первый день он не хотел спускать детей с рук и всем-всем навез подарков. Но в нем появилось какое-то странное беспокойство, и вдобавок он стал непонятно сдержанным, на него непохоже. Раньше он мог часами сидеть у окна с трубкой или сигарой и провожать взглядом облака, теперь он нигде не находил себе места. Она слышала, как он подолгу расхаживает по своей комнате взад и вперед, словно еще не улеглось в нем возбуждение, вызванное поездкой. Кроме того, он начал жаловаться на бессонницу и каждый вечер просил постелить ему на диване, у него в кабинете, потому что в спальне ему мешала спать маленькая Ингеборг: она простудилась и

сильно кашляла по ночам.

Про себя Ингер сделала кое-какие выводы. Вообще поездка Пера очень тревожила ее. Одной из причин, по которой она не хотела бы переезжать в Копенгаген, была мысль о том, что в Копенгагене живет бывшая невеста Пера. Ее пугала мысль, что Пер и эта женщина могут случайно встретиться. Теперь она боялась, что так оно и вышло и что Пер сам понял, как тяжело ему будет жить в Копенгагене. Если она права, нетрудно догадаться из-за чего он не счел нужным объяснять ей, почему он так внезапно переменил свои намерения и почему у него такой смущенный вид.

Но какой-то выход необходимо найти. Это ей с каждым днем становилось все яснее. В Римальте им нельзя оставаться, иначе они по уши увязнут в долгах. У нее и так уже набралось несколько мелких неоплаченных счетов, и это очень удручало ее, но обращаться к Перу она до поры до времени не хотела. У него, у бедняги, без того хватает забот!

Второй причиной его подавленного состояния она считала беспокойство за их будущее; и всего неприятнее было то, что она не могла даже помочь ему хорошим советом.

Однажды днем к их дому подъехал всадник и попросил разрешения побеседовать с Пером. Ингер как раз спустилась в погреб и не видела гостя, но голос она узнала немедленно. Это было молодой помещик Брук. «Что ему здесь понадобилось?» — удивленно и с некоторым беспокойством подумала она.

Брук, со своей стороны, тоже очень удивился, узнав, что Пера нет дома. Когда Ингер вышла к гостю и попросила его пройти в дом, он объяснил ей, что Пер условился с ним о встрече для переговоров о землемерных работах, которые они намерены провести у себя в Буддеруплунде. Пер изъявил желание сравнить свои выкладки со старыми расчетами, и господин Брук привез их. Ингер рассыпалась в извинениях, но ничего не поделаешь: пришлось ей сидеть в гостиной и занимать гостя, что было очень некстати, главным образом потому, что она как раз собралась гладить детское белье и даже поставила утюг на плиту.

Она понятия не имела, куда делся Пер. Послеобеденный кофе он пил вместе с ней, двуколка стояла под навесом — значит, далеко уйти он не мог. Больше всего ее смущало, что Брук сильно заикается и что сам он очень страдает от своего недостатка. Ей даже стало жалко его, и, не будь у него таких глаз, она наверняка справилась бы со своей неприязнью к нему. А глаза у него были маленькие, стального цвета, но взгляд, еще с детских лет, такой острый и даже властный, что она просто пугалась.

Прошло не меньше получаса, пока, наконец, вернулся Пер. Он тоже принялся извиняться — извинения эти показались Ингер на редкость путанными и неубедительными, после чего мужчины прошли в кабинет.

Беседа затянулась на несколько часов, и Пер попросил господина Брука остаться у них до вечера. Кроме того, они сговорились, что Пер съездит в Буддеруплунд при первой же возможности, чтобы заново измерить кое-какие участки. А потом решили поездку не откладывать и назначили на следующий день, если только погода будет подходящая. Перу, как он выразился, не терпелось поскорей разделаться с этой работой.

— Заодно мне хотелось бы взглянуть на ваших знаменитых кур. Жена мне просто все уши прожужжала про них. Она очень любит кур.

Само собой получилось, что после разговора с Пером господин Брук за ужином пригласил Ингер приехать к нему вместе с мужем.

— Я думаю, — пошутил он, — что при виде моих кохинхонок вы просто умрете от зависти.

Ингер поблагодарила таким тоном, каким благодарят за приглашение, если не собираются принять его.

Но когда, день спустя, она увидела из окна спальни, как выкатывают во двор двуколку, она невольно пожалела о своем отказе. Утро было чудесное, пригревало сентябрьское солнце, а дорога в Буддеруплунд шла через два самых красивых лесочка во всей округе. Вдобавок она решила, что и Перу будет веселей, если она с ним поедет, — и, наконец, ей просто захотелось еще раз увидеть старый барский дом, где она в детстве несколько раз

бывала с родителями. А если ей удастся заодно выменять своих плимутроков на пару настоящих кохинхинок, то она сделает выгодное дело.

Поэтому Ингер распахнула окно и окликнула Пера, который уже сидел в двуколку.

— Тебе не хочется взять меня с собой?

Сначала он, как видно, даже не понял, о чем она спрашивает. Во взгляде его отразилось такое недоумение, что Ингер весело расхохоталась.

— Ну что тут непонятного, дурачок! Я хочу с тобой.

Он молча кивнул.

Пегашку распрягли и двуколку заменили легкой коляской с красным бархатным сиденьем, потом извлекли парадную сбрую и наконец, через полчаса тронулись в путь.

Дорога пересекала железнодорожное полотно, потом взбегала на холм, откуда открывался вид на реку и заливные луга. По другую сторону холма дорога круто спускалась в поросший лесом овраг. Кипящее море разноцветной листвы так и горело на солнце. Скоро деревья обступили их, колеса начали вязнуть в размытой колеи, и Пер пустил лошадь шагом.

Он всю дорогу молчал. Зато у Ингер было отличное настроение, и она непрерывно мурлыкала что-то себе под нос. Ведь она так долго просидела в четырех стенах, так захлопоталась по хозяйству, так измучилась от невеселых мыслей! Не мудрено, что теперь ей стало весело. До чего же хорошо кругом! А деревья какие! Сколько красок! Над головой все время щебечет какая-то птица. Она словно летит след за ними. Разглядеть ее невозможно, но голосок слышится то здесь, то там, птичка лукаво повторяет свое бесконечное «глянь-поглянь», «глянь-поглянь». Ингер дышала полной грудью и чувствовала себя удивительно легко, словно все, что угнетало и мучило ее последнее время, исчезло без следа. Ей хотелось громко запеть, но тут она вспомнила, какой мрачный вид у Пера, и потому ограничилась тихим мурлыканьем.

Вдруг она схватила его за руку и шепнула:

— Ой, посмотри-ка!

Ей зоркий взгляд обнаружил в густых зарослях косулю. Тревожно подняв уши и широко раскрыв глаза, животное замерло, словно готовясь к прыжку. Пер остановил лошадь. Косуля тоже не двигалась и смотрела на них как будто с вызовом. Она чуть пошевелила ушами и вытянула шею, но вдруг, напуганная собственным движением, повернулась к ним заодно и длинными прыжками скрылась в чаще.

— Эй, держи! — невольно крикнула Ингер и замахала руками. — Эй, э-ге-гей! — кричала она, пока не затерялся в лесу треск сучьев и шорох листьев.

На Пера тоже мало-помалу начала действовать красота природы. У него словно отлегло от сердца, а когда Ингер тронула его за рукав, по телу его пробежала легкая дрожь. С прежней силой вспыхнула в нем надежда. Но лишь на одно мгновение, как вспыхивают огни Святого Эльма. Одна фраза Ингер опять все испортила.

— Ох, как жаль, что ты не охотник. Должно быть, это очень приятное занятие. Ты бы попробовал, а? Вот так, без всяких забот, бродить по полям и лесам... да и для здоровья это полезно. Как ты думаешь?

— Для кого полезно, а для кого нет. К таким вещам надо приучаться с детства, а особой дружбы с природой у меня никогда не было. Потому, быть может, я и чувствую, что я ей чужой.

— А чей это лес, не знаешь?

— Он принадлежит Брукам.

— Ты подумай, ну и земли же у них!

— Имение препорядочное. Статский советник очень богат.

— Да, он богатый.

Скоро они выехали из лесу, и перед ними раскинулась необозримая долина, а за ней — поля. Но потом опять начался лес, а за лесом другой холм, еще выше, чем первый, а с холма открывался такой простор, такие плодородные нивы! Внизу, на южном склоне холма, показалось большое белое здание с двумя приземистыми башнями и обширным парком. Это

и был Буддеруплунд, имение Бруков.

Ингер замерла, разглядывая его.

— Подумать только, какой у них огромный сад! Мне казалось, он много меньше.

— Да, вот бы где Хагбарту играть — лучше и не придумаешь, — заметил Пер, и у него неожиданно пресекся голос, как будто он с трудом подавил приступ смеха. — У нас-то ему тесновато.

— А что это за большое строение, вон там, позади... с высокой крышей?

— Это амбар, а еще дальше конюшни и маслобойня. Все первоклассное и оснащено по последнему слову техники. Что-то, а хозяйничать немцы умеют.

— Как ты думаешь, они не удивятся, что я тоже приехала?

Пер натянул вожжи. Он готов был немедленно остановить лошадь.

— Может вернуться, если тебе неудобно.

— Нет, боюсь, они нас уже заметили. Видишь, там идет по аллее мужчина? Мне кажется, это Торвальд.

— Да, пожалуй, это действительно господин Брук-младший.

— Значит, повернуть никак нельзя. И потом, Пер, мне так хочется раздобыть парочку кохинхинок. Обещай мне, что мы побываем в курятнике. Ты только меня туда заведи, а остальное предоставь мне.

Ингер оказалась права: по старой липовой аллее, которая вела от проселка к саду, прогуливался Торвальд Брук. Он издали увидел их коляску и узнал лошадь, так что, когда они въехали во двор, он уже стоял на крыльце, встречая гостей.

Ливрейный лакей выхватил у Пера вожжи, а Брук тем временем помог Ингер выйти из коляски и почти благоговейно поблагодарил ее за то, что она приехала.

Статский советник встретил их на застекленной веранде. Это был высокий, представительный старик, гладко выбритый, седой как лунь, с коротко остриженными волосами, мохнатыми бровями, смуглым цветом лица и орлиным носом. В семьдесят три года он держался так же прямо, как сын. Сразу чувствовалось, что в его жилах течет древняя кровь воителей. С заметным немецким акцентом он сказал Ингер несколько витиеватых комплиментов по поводу ее цветущего вида, затем осведомился о здоровье ее родителей. С Пером он, напротив, разговаривал чуть свысока.

Подали вино и фрукты, завязалась оживленная беседа.

Впрочем, Пер вскоре поднялся.

— Ах да, вам ведь еще надо обойти поля. Сын мне рассказывал. Ну ничего, мы постараемся занять вашу супругу.

— Вас, кажется, интересуют куры, фру Сидениус? — сильно заикаясь, спросил Торвальд. — Позвольте мне сопровождать вас. А заодно вы сможете освежить старые воспоминания о Буддеруплунде. Надеюсь, это вас позабавит.

Пер направился к дверям. Ингер умоляюще поглядела на него, собралась было что-нибудь возразить, чтобы не оставаться наедине с хозяевами, но статский советник уж приказал слугам выпустить из курятника всех кур.

Пер долго ходил вдоль земляной насыпи в сопровождении двух работников. Работники таскали за ним шесты и водомерную цепь. Пер никак не мог собраться с мыслями и заставить себя думать о деле. Работники поглядывали на него с нескрываемым изумлением: так странно он вел себя. Теперь он горько раскаивался в содеянном — поистине, он переоценил свои силы. Он-то думал, что все счеты с жизнью давно покончены, а сам по-прежнему цепляется за нее.

Тем временем Ингер в обществе статского советника и его сына совершала обход имения. Они побывали в конюшнях и хлевах, заглянули на псарню, затем хозяин показал ей кухни и кладовые и даже историческую достопримечательность — подземелья, оставшиеся от средневекового замка, на месте которого и был возведен новый дом.

Когда Пер вернулся, все трое уже сидели на веранде.

Статский советник, явно благоволивший к Ингер, пригласил супругов отобедать с

ними. Ингер вопросительно взглянула на Пера, но тот решительно отказался и тут же — очень невежливо, как подумалось Ингре, — попросил подавать коляску.

Торвальд Брук поехал верхом провожать их. У него была красивая голенастая кобылка, гнедая с длинным хвостом; явно в честь Ингер он дал лошади левого шенкеля, и она под ним заплясала, да так, что на губах у нее выступила пена. Сам он сидел в седле как влитой, а плотно облегающий французский костюм для верховой езды очень рельефно — даже слишком рельефно — обрисовывал его бицепсы. Ингер поэтому не поворачивала головы в его сторону и упорно старалась втянуть Пера в разговор, без всякого, впрочем, успеха.

— Меня что-то не волнуют лошади и собаки, — объяснял он потом.

На опушке леса Брук распрощался и свернул на боковую тропинку, чтобы добраться до Буддеруплунда круглым путем. Он сразу пустил коня галопом, и, когда отъехал на почтительное расстояние, Ингер поглядела ему вслед.

— А он неплохо выглядит верхом! — сказала она.

— Ну еще бы! У них в роду все сплошь военные. Сколько мне известно, он сам хотел стать офицером, — и стал бы, если бы не ужасный дефект речи. Временами мне просто мучительно слушать его.

Ингер ответила не сразу.

— Да, бедняга! Впрочем, сегодня он говорил вполне прилично.

— Ну, раздобыла ты обещанных кохинхинок?

Ингер залилась румянцем. Про кур она совсем забыла.

— Ты только подумай, какая досада. Я наверняка получила бы у них одну, а то и две пары, стоило мне заикнуться об этом. Статский советник был сама любезность.

— Да, сама любезность, — брюзгливо подтвердил Пер.

Домой вернулись засветло. Пер пожаловался на головную боль и сразу прошел к себе. Раскурив трубку, подсел было к окну, но тотчас встал, положил трубку на место и принялся беспокойно расхаживать по комнате. Он казался себе самым никчемным существом на земле, человеком жалким и неполноценным, трусом, который страстно любит жизнь, но не смеет отдаться ей без остатка, который презирает жизнь, но не смеет расстаться с ней.

В дверь робко постучали. Ингер прислала Хагбарта пожелать отцу спокойной ночи.

Нерешительный вид Хагбарта вызвал слезы на глазах у Пера. Но он сдержал себя, даже изобразил на лице какое-то подобие улыбки и вдруг схватил мальчика на руки и поднял его над головой. Так они стояли некоторое время точно в такой же позе, как насмешник Силен с младенцем Дионисом в Эрстедовском парке.

— Скажи-ка, Хагбарт, ты ведь не боишься меня?

— Н-нет, — неуверенно промямлил Хагбарт.

— Мы еще будем с тобой друзьями. Как ты думаешь?

— Угу! — ответил мальчик, тщетно пытаясь вырваться из отцовских рук: отец в хорошем настроении казался ему временами страшней, чем в гневе.

Едва коснувшись ногами пола, Хагбарт выскочил из комнаты, а Пер бросился в кресло и в полном отчаянии закрыл лицо руками.

\* \* \*

Неделю спустя Ингер и Пер после обеда собрались в Бэstrup, где они со времени возвращения Пера из Копенгагена еще не показывались.

За последний год между Пером и четой Бломбергов установилась глухая вражда, и только ради Ингер стороны еще кое-как сдерживали себя. Но на этот раз дело кончилось катастрофой.

Пастора больше всего возмущало то равнодушие, с каким Пер относится к его прекрасным проповедям. Привыкший видеть вокруг себя восторженных слушателей, с благоговением внимающих каждому его слову, он воспринимал равнодушие Пера как



намеренный, злокозненный вызов. Что до тещи, то она не могла простить Перу стесненные обстоятельства, в которых приходилось последнее время жить ее бедной дочурке, а когда он вдобавок ни с чем вернулся из Копенгагена, любовь ее к Перу отнюдь не возросла.

После нескольких предварительных стычек во время ужина, уже потом, в гостиной, разыгрался настоящий скандал.

Угнетенное состояние, в котором последнее время находился Пер, сделало его обидчивым и подозрительным. Когда тесть без обиняков упрекнул его в том, что он не заботится о материальном благополучии своей семьи, Пер вспыхнул и резко ответил, что очень просил бы посторонних не мешаться в его личные дела. Тесть начал выговаривать ему за дерзкий ответ и недопустимый тон, но тут Пер окончательно взорвался, ударил кулаком по столу и сказал, что не желает больше находиться под его опекой.

Таких слов еще не слыхивали в Бэструпе. На минуту воцарилась гробовая тишина. Потом пастор встал с тупым видом оскорбленного величия, отодвинул свой стул и изрек:

— Я попросил бы на будущее уволить нас от подобных сцен. — После чего выплыл из комнаты и удалился в свой кабинет.

Супруга его, поджав губы, последовала за ним.

Пер велел запрягать, и в скором времени они с Ингер отправились домой, причем ни тесть, ни теща не вышли их проводить. Словно в тумане мелькнуло перед ним мертвенно-бледное лицо Ингер за столом, в гостиной, и это заставило Пера опомниться. С той минуты он ни разу не решился взглянуть на нее, и за всю дорогу они не перекинулись ни единым словом. Впрочем, Пер видел, что ее бьет нервная дрожь, несмотря на теплую одежду, — бьет так, что трясется сиденье.

Дома она стала спокойнее, позволила снять с себя дорожный сак и даже сама попросила повесить его на место; потом заглянула в детскую, чтобы узнать, как вели себя дети, а после детской совершила обычный ежевечерний обход своих владений.

Пер поспешно ушел к себе и зажег лампу, но никак не мог надеть стекло: у него дрожали руки. Он сел к столу, взял газету и начал, замирая от страха, ждать, что будет дальше.

Минут через десять Ингер вошла в спальню, а еще немного спустя заглянула к нему, причем, к величайшему удивлению Пера, полураздетая в нижней юбке, накинув пеньюар.

— Тебе опять постелили здесь, — сказала она, взбивая подушки. — Ты ведь так просил?

— Да, да, спасибо, — процедил он, не отрываясь от газеты.

— Ты знаешь, Ингеборг уже почти не кашляет.

Никакого ответа.

Тогда Ингер села в качалку возле самой печки, в углу. Оба помолчали.

— Ну, Пер, пора нам всерьез подумать об отъезде! — снова начала она.

— Почему это пора?

— А ты сам не знаешь? То, что произошло сегодня вечером, не случайно. Только теперь я поняла, что дело давно шло к этому.

— Я больше всего жалею о случившемся из-за тебя и из-за ребятишек. Я не имел права так вести себя, хотя бы ради вас. Но пусть я теперь не могу, да, признаться, и не хочу больше показываться в Бэструпе, из этого вовсе не следует, что запрет распространяется на тебя и на детей. Если ты из-за меня порвешь с собственными родителями — это будет глупо.

Ингер сидела, чуть наклонившись вперед и подперев голову рукой. Она не поднимала глаз.

— До чего ж ты можешь порой обидеть человека, даже не заметив этого. Ну как ты смел подумать, что я способна бывать там, где нельзя бывать тебе? Да еще с детьми!

— Это твой родной дом, Ингер.

— Тем более. Но вообще-то говоря, нам обоим теперь придется здесь несладко. Жить будет очень трудно.

— Куда бы ты хотела уехать?

— Ты же говорил что-то такое о месте дорожного зрителя на западном побережье. Попробуй счастья там. И не откладывай, напиши прямо сегодня или завтра.

— А ты отдаешь себе отчет в том, что это за место? Во-первых, жалование самое мизерное — меньше двух тысяч, а подрабатывать в тех краях почти негде. Во-вторых, насколько мне известно, это одна из самых малонаселенных местностей Дании. Там одни скалы и вересковые пустоши и на несколько миль вокруг ни живой души, кроме рыбаков и бедных крестьян.

— Зато мы будем там вдвоем, близко друг к другу, может быть, даже ближе, чем здесь.

— Ингер, родная! Ты так привязана к своим родителям, и к своему дому, и к старым знакомым, ты так любишь покой и уют. Нет, это слишком большая жертва. Я не приму ее от тебя. Потом — и с полным основанием ты будешь горько упрекать меня, если я послушаюсь тебя сейчас!

Ингер сидела, закрыв лицо руками, и ничего не отвечала.

— Если бы только бог помог мне узнать, чего же ты хочешь на самом деле, — сказала она, разражаясь слезами. И вдруг, не совладав с собой, вскочила и крикнула: — Как ты меня измучил!

Потом, не попрощавшись, ушла к себе и хлопнула дверью.

Пер остался сидеть, уставившись затуманенным взглядом на дверь. Что-то подталкивало: «Встань, иди к ней», — но та же невидимая рука удержала его на месте. Нет, незачем ходить. Пробыл час великого решения. Над ними нависло несчастье. Ее душа начинает просыпаться. Она не подземный дух, она простой человек. Пусть себе возвращается к жизни и к свету. Она и дети. А о нем думать нечего. Будь что будет!

\* \* \*

Настал вечер следующего дня. Дети уже легли, обе служанки возились на кухне. Ингер зажгла лампу в гостиной, села на диван и занялась штопкой детских чулок. Тут из своего кабинета вышел Пер. Хотя он весь день просидел дома, они со вчерашнего вечера не перемолвились ни единым словом. Ингер заметила, что он как-то странно топчется вокруг нее и вокруг детей, но ни с кем не заговаривает. А после обеда, когда дети легли спать, она застала его в детской: он склонился над постелью Хагбарта и смотрел на спящего мальчугана с каким-то отчаянным, непонятным выражением.

Не только грустные мысли об их будущем заставили Ингер промолчать весь день, ее больше угнетала вчерашняя размолвка. Немного погодя она уже сама не могла понять, с чего ей вдруг вздумалось устраивать сцену, но все равно вспоминать об этом было мучительно стыдно.

Пер прошелся несколько раз по гостиной, потом сел за стол, против Ингер.

Ни один не хотел первым нарушить молчание.

— Ну, ты подумал над тем, о чем мы вчера говорили? — спросила наконец Ингер.

Да. Вернее сказать, я ни о чем другом и не думал. Но прежде чем вернуться к этому вопросу, надо поставить все точки над «i». Я имею в виду ссору с твоими родителями. Ты сама признаешь, что она не была случайной. И ты права. Может, я наговорил больше, чем хотел, и не так, как говорил бы в спокойную минуту, но тем не менее мои слова порождены не пустой блажью.

— Я это давно заметила.

— Да, ты говорила вчера. Но, дорогая моя, раз ты подозревала о глубочайшем несходстве наших мировоззрений, которое отделяет меня от твоего отца, от его присных и, в какой-то степени, даже от тебя самой, то как же могло получиться, что мы с тобой ни разу не удосужились серьезно поговорить об этом? Это не просто странно, этому поистине нет оправдания. Я хорошо понимаю: вся вина целиком лежит на мне. Из-за какой-то непонятной трусости я скрывал от тебя правду. Впрочем, я сам только недавно постиг ее во всей

полноте.

— Нет, Пер, ты ошибаешься. Я отлично знала твою точку зрения. От меня ты ее никогда не скрывал. Я слишком хорошо понимаю, что ты веришь не так, как верим все мы, и это часто огорчало меня. Но отец всегда говорил, что даже тот, кто видит в Христе просто достойного и безупречного человека, имеет право называть себя христианином и надеяться на спасение, лишь бы он был искренен в своем отношении к богу, лишь бы он был Местным и богобоязненным в обыденной жизни.

— Ингер, пойми, я просто не верю в бога!

— Ты не веришь в бога?

Она уронила недоштопанный чулок на колени, и лицо ее покрылось смертельной бледностью, как вчера в Бэструпе.

— Да, не верю. И уже давно не верю. Всюду, где я искал бога, я находил лишь самого себя. А тому, кто познал себя, бог не нужен. Нет ничего ни утешительного, ни поучительного в том, чтобы выдумывать себе на потребу эдакое сверхъестественное существо, все равно в каком образе отца ли, судьи ли.

— Пер, опомнись, что ты говоришь! Это тебе даром не пройдет, ты еще будешь очень несчастен.

— Возможно. Но знаешь ли ты, что существуют люди, для которых несчастье имеет притягательную силу? Ну, как иного манит топкая трясина или черное лесное озеро?

— Должно быть, это такие люди, которые закоснели в грехах и бывают счастливы только тогда, когда грешат. Так и в библии сказано.

— Да ну, так и сказано? Только это не всегда верно. Есть люди, которых влечет к несчастью именно их религиозный инстинкт. Они утверждают, что лишь горе, отречение и безнадежность могут освободить дух человеческий. Ведь есть же растения, которые произрастают в тени и на холоде и тем не менее цветут.

— Нет, таких людей я не встречала.

— А они нередки именно у нас. Это подтверждает вся наша история. В период благоденствия мы бедны сильными личностями, зато в годину бедствий «даже из воробыных яиц выводятся орлы», как говаривал пастор Фьялтринг.

— Фьялтринг? Так ты о нем думаешь?

— Да, о нем. Главным образом, о нем.

— Я тебя не понимаю. Он же повесился.

— Да, повесился. И это очень жаль. Мне так недоставало его все эти годы. До сих пор я не мог правильно объяснить себе печальную кончину Фьялтринга. Но теперь мне кажется, что я сумел понять его и с этой стороны. Причину самоубийства следует искать, на мой взгляд, в отношении Фьялтринга к своей жене. Ты, может, помнишь, я тебе рассказывал, как он обходился с этой совершенно опустившейся и потерявшей человеческий облик женщиной. И теперь я думаю, что у нее сначала был характер, резко отличный от характера мужа, — это была цветущая, полнокровная натура, созданная для света и радости; а он затащил ее на теневую сторону жизни, что было полезно для него, но совершенно убило ее, отчего он и испытывал угрызения совести. Одновременно — как это ни дико звучит — стыд и горе при виде ее падения как-то подстегивали его, что ли... временами в его отношении к страданию появлялось что-то даже нездоровое, извращенное. Ну, а когда она умерла, угрызения совести взяли верх. На совести у него оказалось медленное убийство человеческой души, и он не вынес этого. Прошло совсем немного времени после ее смерти, и он лишил себя жизни.

— Но зачем ты мне все это рассказываешь? — спросила Ингер и подозрительно взглянула на него. — Мы ведь вовсе не о том говорили.

Пер задумался и ответил медленно, с расстановкой:

— А затем, Ингер, что эта семейная трагедия может послужить для нас поучительным примером и не только примером, но и предостережением.

— Для нас?! — Чулок снова выпал из ее рук. — Для нас? Что ты этим хочешь сказать?

Но Пер опустил глаза и ничего не ответил. Он внезапно так побледнел, что Ингер вскрикнула от испуга.

— Пер, ради бога, скажи, что с тобой творится? Я тебя чем-нибудь огорчила? Или дети? Скажи, что с тобой?

Но Пер так и не мог произнести роковые слова.

Ингер протянула к нему через стол руку, словно желая приласкать его.

— Ты просто болен, да, да! И ты сам не понимаешь, что говоришь. Последние дни ты смотришь на всех так мрачно. А мне именно сейчас хочется стать счастливой и забыть все невзгоды. Что тебя гнетет? Может, денежные затруднения?

— Нет!

— А что же?

— Все обстоит гораздо хуже.

— Скажи наконец, в чем дело?

— Я не могу... не могу... не знаю, как сказать.

— Ты болен?

— Нет.

Вдруг внезапная догадка молнией сверкнула на лице Ингер.

— Слушай, Пер, ты обещаешь мне честно ответить на мой вопрос?

— Да.

— Когда ты был в Копенгагене, ты виделся со своей бывшей невестой — с этой... с фрёкен Саломон?

Пер удивленно взглянул на жену.

— Нет.

Ингер не поверила.

— Ты лжешь! — воскликнула она и рывком поднялась с дивана. Недоштопанный чулок отлетел на стол. — Теперь мне все ясно. — Она несколько раз прошлась по комнате. — Ты встретился со своей бывшей невестой и снова полюбил ее.

— Говорю же тебе, что ты ошибаешься.

— Ну, не ее, так другую. Иначе быть не может. Все понятно. И сейчас ты просто разыгрывал передо мной гадкую комедию, чтобы исподволь подготовить меня. Ты хочешь меня бросить и жениться на другой. Разве я не права? Отвечай честно.

Пер задумался.

Ему пришло в голову, что для Ингер будет лучше всего, если он подтвердит ее подозрения и признает себя виновным. Без такой серьезной причины она не согласится на официальный развод. А ему выгодно, чтобы она его возненавидела: тем скорей она его забудет. Он уже слишком от многого отказался, так стоит ли теперь жалеть о чести?

— Да, ты права, — ответил он и покорно склонил голову.

Ингер застыла на месте. Лицо ее как-то сразу осунулось, и на нем остались только огромные черные зрачки. Руки она скрестила на груди.

— И ты мог подло скрывать это от меня целых три недели! Значит, отец был прав! А я-то, дура, всегда тебя защищала... Так вот откуда твоя бессонница! И вечные головные боли!.. Смешно подумать, что я только о том и заботилась, как бы тебя порадовать, как бы развеселить! А ты тем временем тосковал по другой и прикидывал, как бы тебе получше отделаться от нас! Какая гнусная комедия! Какая низость! И трусость!

Сквозь открытые двери детской доносилось хныканье малышки. Ингер его не слышала. Она снова принялась расхаживать взад-вперед и что-то говорила, но уже скорее сама с собой. Лишь когда девочка разоралась вовсю, она пошла к ней.

Пер выпрямился, зажал голову между ладонями и застонал. И так, дело сделано! Жертва принесена на алтарь! И он дал себе слово держаться до последнего.

Ингер вернулась и снова начала мерить комнату торопливыми шагами. Потом подошла к нему вплотную.

— Неужели тебе больше нечего сказать? Ну скажи, что это неправда!

Он покачал головой.

— Нет, Ингер, к чему слова?

Она постояла еще немного, потом расплакалась и ушла в спальню.

До него еще донеслось: «Какая трусость! Как низко!» — потом дверь захлопнулась. Через некоторое время в доме поднялась суматоха. Хлопали двери, Ингер громким голосом отдавала распоряжения служанкам. Во дворе загрохотали деревянные башмаки работников. Раскрыли двери каретника и выкатили оттуда экипаж.

«Она хочет уехать еще сегодня», — в ужасе подумал Пер.

Подняли с постели детей. Ингеборг плакала. Хагбарт спросил, не горел ли их дом. По всем комнатам разносился повелительный голос Ингер. В гостиную влетела, сняв туфли, одна из служанок, но при виде Пера испуганно метнулась обратно. Заглянула туда и сама Ингер — уже совсем одетая для дороги, в пальто и шляпке.

— Слушай, Ингер, если уж без этого никак нельзя лучше уехать мне. Или хоть подожди до утра.

Ингер не ответила. Она подошла к секретеру и, открыв его, достала оттуда деньги и кое-какие вещички.

— Ты мне позволишь встречаться с детьми?

— Только не сегодня. Ты сможешь увидеть их в доме моих родителей.

Не прошло и получаса, как коляска выехала из ворот. Пер не шелохнулся. Когда замер вдали стук колес, он отвел руки от лица и невольно взглянул на небо.

— Ну, теперь ты доволен?

## Глава XXVIII

Если по дороге от Оддесуна в Тистед, возле поселка Идбю с его мрачными болотами и трясынами, свернуть на запад к чистенькому и живописному городку Вестервиг, где покоится прах Лидена Кирстена, а за Вестервигом взять севернее, то перед вами откроется необозримая, бесплодная равнина, по которой круглый год гуляют буйные ветры, а овцы даже среди лета гибнут порой от бескормицы. Кругом, куда ни глянь, валуны и болота, и никогда — ни зимой, ни летом — равнина не меняется; она сизо-зеленая там, где растет песчанка, и бурая там, где — вереск. Песчанка да вереск — вот и вся защита от соленых, разъедающих почву волн. Дорога все время петляет: когда на пути встает непроезжая трясина, она идет в обход, и в редкие минуты затишья ее, словно пожарище, заволакивает густой мглой.

Кое-где попадаетесь небольшой хуторок или просто крытая вереском хижина, но иногда их разделяет несколько километров, а настоящих городов здесь нет и в помине. Только в одном месте, где прорыт сток из болота, есть какое-то подобие зарождающегося поселка. По обоим берегам стока приютились четыре дома, из которых один занимает школа. В другом живет смотритель общественных лугов. В третьем — сапожник. В четвертом сейчас никто не живет.

Всего несколько дней назад из последнего дома вынесли гроб с телом немолодого человека. Покойный прожил здесь много лет и все эти годы возбуждал любопытство окрестных жителей. Откуда он взялся, никто не знал, потому что он никогда и ничего не рассказывал о своем прошлом. Не сказать, чтобы он был несловоохотлив, разве что слегка резковат, и друзей у него здесь было хоть отбавляй, а враг — только один: здешний пастор. Он не имел семьи и жил одиноко в своем большом доме вместе со старой домоправительницей, старой конягой и десятком кур. Человек он был из простых, незнатный, но книг у него было очень много. Правда, большую часть дня он проводил не за книгами, а за работой — разъезжал по делам службы на мохнатой лошаденке, уже ничего почти не видевшей от старости, и думал свою думу. Он исправлял обязанности дорожного смотрителя, и никогда еще дороги здесь не были в таком прекрасном состоянии, как при нем.

Несмотря на полное одиночество и на слабое здоровье, вынуждавшее его вести очень



размеренный образ жизни и отказываться от всех тех удовольствий, с помощью которых местные жители пытаются как-то скрасить свое невеселое житье-бытье среди неласковой природы, он всегда производил впечатление человека спокойного и всем довольного. Это удивляло людей и даже, по правде говоря, беспокоило, тем более что пришелец вовсе не искал утешения в религии: он не только не ходил к причастию, но и вообще в церковь не заглядывал, а посему местный священник причислил его к сонму нечестивых, коих удел есть вечное проклятие.

Особенно пришелся он по душе своему соседу, учителю, молодому и мыслящему. Последний любил вечером, хоть и не без угрызений совести, заглянуть к нему на огонек и потолковать о всяких серьезных материях. Учитель был еще очень юн и до сих пор сохранил детскую веру в конечное торжество добра, а поскольку он к тому же был человеком порядочным и честным, ему казалось, что уж что-что, а царствие небесное ему обеспечено. Но хотя у него была очень хорошая семья и превосходные виды на будущее, выдавались порой — и даже довольно часто — минуты мрачные и недобрые, и тогда он не мог скрыть от себя, что его сосед безбожник, да еще одинокий как перст — много счастливее, чем он сам. Когда он однажды, набравшись храбрости, поделился своими наблюдениями со зрителем, тот спокойно и кратко объяснил, что, следовательно, он, учитель, не нашел еще места, отведенного ему в жизни, а изведать высшее человеческое счастье «быть самим собой и познать самого себя» можно, только отыскав это место. Но когда учитель затем спросил, где и как следует его искать, зритель ответил, что тут никакие советы не помогут и надо просто без остатка отдаться на волю инстинкта самосовершенствования, который заложен от природы во всяком живом существе.

В другой раз учитель попытался выведать, по какому признаку человек может узнать, что он достиг «высшего счастья», но и об этом зритель не захотел разговаривать. «Спросите лучше вашего пастора!» — насмешливо отрезал он. Потом, однако, добавил, что каждый отдельный человек со своей стороны должен попытаться установить непосредственную и как можно более тесную связь с предметами и явлениями, вместо того чтобы воспринимать их через чужие органы чувств (так, кстати, поступают все, кто живет заимствованными представлениями и не имеет собственных). Такое подлинно живое отношение к жизни необходимо для человека, желающего наслаждаться чистой радостью познания, которую дарует нам любое событие — великое и малое, счастливое и горестное. И тот, кто не изведает, какое это счастье, когда перед тобой открывается еще один — пусть крохотный, пусть ничтожный — уголок в заповедном царстве мысли или в действительной жизни, тот вообще не знает, что значит жить.

Эти слова учитель Миккельсен много раз вспоминал в последний год жизни зрителя, ибо тот, несмотря на ужасные физические страдания — он умирал от рака, — никогда не падал духом и не искал поддержки у окружающих. Он с живым интересом изучал свой недуг и отыскивал его разрушительные следы в своем организме. Правда, во время мучительных приступов боли он не мог удержаться от стонов, так что соседям приходилось закладывать ватой уши; но потом, бывало, когда они заглядывали к нему, они видели перед собой человека, который, казалось, испытал глубокое наслаждение. И никогда, ни на одну минуту жизнь не казалась ему совсем уж невыносимой: люди убедились в этом после его смерти, когда нашли у него в тумбочке заряженный револьвер.

Последние дни он лежал совсем тихо и никого не хотел видеть. Но процесс разрушения человеческого организма до последней минуты занимал его мысли. Когда он почувствовал, что ноги у него уже начали холодеть, он попросил принести зеркало, чтобы посмотреть на выражение своего лица.

— Скоро все кончится, — грустно сказал он экономке, возвращая ей зеркало: он уже почти ничего не видел.

Потом началась агония. Дело было под вечер, в ненастье. Юго-западный ветер с воем, словно бездомный пес, рвался сквозь щели разошедшей двери, в окна хлестал дождь. Слабый огонек теплился на столике у изголовья, да тикали на голой стене серебряные часы

— отцовское наследство.

Старуха экономка послала за учителем: она боялась оставаться наедине с умирающим. Правда, помощи никакой не требовалось. Смотритель лежал неподвижно, в забытии, и громко хрипел. Немного за полночь голова его вдруг склонилась к плечу. Еще один последний, коротенький вздох — и все было конечно.

Погожим, безветренным октябрьским днем, при синем небе и ясном солнце, гроб зарыли в сыпучий кладбищенский песок. Человек двадцать провожало его до могилы. Пропели один псалом, говорить надгробное слово никто не стал, и колокол, висевший среди просмоленных стропил, не издал ни звука. Такова была воля покойного. Правда, он еще просил, чтобы над его могилой трубили фанфары, но этого не разрешил пастор.

На похороны явились двое братьев покойного: директор департамента Эберхард Сидениус и протоиерей Томас Сидениус — оба в партикулярном платье. Вернувшись с кладбища, вскрыли завещание, — и тут братья, к своему великому удивлению, а также прискорбию, узнали, что все свои деньги покойный отказал «основанной Якобой Саломон и независимой от церкви школе» в городе Копенгагене, чего, конечно, ни тот, ни другой никак не могли одобрить. Всего обиднее было, что, кроме всякой домашней утвари и изрядной суммы наличных денег, у покойного оказались две сберегательные книжки. Короче, в общей сложности набралось около десяти тысяч крон. По причине слабого здоровья и природных наклонностей, смотритель вел аскетический образ жизни, что позволило ему откладывать почти половину годового дохода, не считая случайных заработков и, в частности, гонораров за несколько небольших изобретений.

Братья вытаращили глаза.

— Однако сумма-то солидная, — не вытерпел директор департамента и повторил — Солидная, говорю, сумма.

В первый раз это прозвучало с почтением, во второй — с некоторой долей недоверия.

— Да, капиталец изрядный, — признал и протоиерей тем же тоном.

Братья взглянули друг на друга.

— Надеюсь, эти деньги достались ему честным путем.

— Мы не имеем ни малейшего права сомневаться в этом.

\* \* \*

Вернувшись в Копенгаген, господин директор департамента решил из вполне понятного любопытства лично известить фрёкен Саломон о наследстве, оставленном ее школе.

Поэтому в один прекрасный день он отправился на Нэрребру, где в населенном беднотой квартале находился знаменитый «Детский дом», вызывавший так много толков и кривотолков. Привратница провела его через большую площадку для игр, обсаженную деревьями, под которыми стояли скамьи. Когда выяснилось, что начальница на уроке, господин директор изъявил желание, — чтобы не терять времени даром, — осмотреть «завещание».

Тогда к нему вышла учительница и предложила свои услуги в качестве гида.

В одном конце просторного здания помещалась столовая — высокая, светлая, нарядная. Там как раз завтракала одна смена, у другой в это время шли занятия. Рядом расположились швейные мастерские, где все ученики, и мальчики и девочки, учились чинить свое платье, штопать чулки, латать ботинки. Дальше шли ванны, и каждые три дня, как объяснила ему та же учительница, дети принимали ванну. Солнце, воздух, вода и рациональное питание — вот те средства, с помощью которых школа стремилась сформировать моральный облик своих учеников и возместить отсутствие уроков по закону божьему.

— Ах, так, — сказал директор и многозначительно откашлялся.

Дети не живут при школе, и это не случайно. Считается, что любовь к чистоте, аккуратность в одежде и умение держать себя делает их своего рода миссионерами, которые должны насаждать среди населения веру в чистоплотность, порядок и культуру поведения. Но двери школы распахнуты с самого раннего утра, когда начинается работа на фабрике. Все эти блага дети получают за определенную плату. Плата не такая уж низкая, но она зависит от заработков родителей каждого отдельного ребенка.

«Да, — подумал про себя директор, — все это было бы прекрасно, если бы...»

Но тут им сообщили, что начальница готова принять его.

Якобе Саломон было уже под сорок, и, хотя она сохранила прежнюю горделивую осанку, выглядела она старше своих лет. Вид Якобы красноречивее всяких слов говорил, что дело ее рук, ради которого пришлось затратить так много энергии, преодолеть такое противодействие, рассеять так много предупреждений, стоило ей не одного лишь состояния. Нелегкая участь борца, манившая ее с юных лет, полной мерой выпала на ее долю. Лицо, которое почитатели называли некогда орлиным, а недруги и завистники — образиной попугая, стало теперь, несомненно, лицом хищной птицы. Почти совсем седые волосы, желтоватая кожа, огромные черные глаза навывкате, длинная шея и, даже, строгое коричневое платье, украшенное лишь белым воротничком, делали ее похожей на кондора, когда тот сидит на скале и пристальным взором окидывает равнину.

Едва в комнату вошел директор, она поспешно встала из-за своего стола.

— По всей вероятности, вы решили оказать мне любезность и лично сообщить мне о смерти вашего брата. Но я уже слышала об этом от знакомых, которые видели извещение в газете.

— Если бы это было единственной причиной моего визита, я вряд ли стал бы навязывать вам свое присутствие. Тем более что ни мой брат, ни судьба его не должны бы как будто вас интересовать.

— А вот тут вы ошибаетесь. Я большим обязана вашему брату, чем он сам о том подозревал. Вдали от него я продолжала следить за его жизнью, сколько могла. За это время мы во многом отошли друг от друга. Про последние его годы я и вовсе ничего не знаю. Прошу вас, расскажите мне о них. Да вы присядьте, пожалуйста, и расскажите о том, как он болел и как умер. Даже странно, что я ничего не знаю.

Но господин директор не пожелал присесть. Откровенность этой дамы с несколько сомнительной репутацией заставила его поджать губы, отчего непропорционально развитая нижняя челюсть еще больше выдалась вперед.

— Повторяю, я не стал бы вас беспокоить, если бы не одно дело весьма щекотливого свойства. Впрочем, буду краток. Ваша мысль о том, что покойный брат отошел от вас не только буквально, но и по взглядам и по образу мыслей, — и так, эта ваша мысль, к моему великому сожалению, вы, надеюсь, поймете, что я, как брат, не могу не сожалеть об этом, — не совсем справедлива. Другими словами, в своем завещании, которое, впрочем, можно еще оспаривать и оспаривать, он оставил вам, вернее вашему заведению или как там его называют, все свое состояние. Поскольку покойный имел детей, рожденных в законном браке, завещание фактически не действительно, но мне удалось выяснить, что ни сами наследники, ни их опекуны не будут спорить против точного исполнения последней воли покойного. Речь идет о десяти тысячах крон, происхождение которых мне, увы, неизвестно. Я счел своим долгом лично уведомить вас и, кстати, услышать из ваших собственных уст, намерены ли вы принять этот дар.

Якоба продолжала стоять, облокотясь на спинку стула. Видно было, что она глубоко взволнована. Воспоминания молодости нахлынули на нее, и, хотя до сих пор никто почти не видел ее плачущей, она не могла удержать слез.

— Почему ж не принять? — тихо спросила она. — Мы были очень разные, ваш брат и я, порой мне даже казалось, что я просто не способна постичь эту натуру. Но тем больше я благодарна ему за его последний привет.

— Если мне будет позволено, фрёкен Саломон, я хотел бы в этой связи напомнить вам

один наш разговор, который имел место лет шестнадцать — семнадцать назад. Я охарактеризовал отношения ваши и моего брата точно теми же словами, как это теперь делаете вы. Было бы лучше и для него и для вас, если бы вы тогда поверили моей способности разбираться в людях.

Якоба вскинула голову и посмотрела на него сверху вниз.

— Нет, господин директор! Здесь вы глубоко заблуждаетесь. Я ни о чем не жалею. Напротив, я считаю для себя великой удачей, что я узнала вашего брата. Он сумел наполнить мою жизнь настоящим содержанием — все равно, горе то было или счастье. И то, что вы видите вокруг себя, это тоже, в сущности, дело его рук не меньше, чем моих. До конца дней я буду всем сердцем благодарна ему.

В этом вопросе мы с вами вряд ли сойдемся. А посему не смею вас больше утруждать своим присутствием. Всего наилучшего!

\* \* \*

Как-то вечером, неделю спустя после похорон, учитель Миккельсен и смотритель общественных лугов Нильсен, выполнявший по совместительству обязанности окружного судьи, открыли опечатанный дом покойного, чтобы по требованию побывавших здесь братьев, составить реестр домашнего имущества. Ценные бумаги, письма и тому подобные вещи братья увезли еще неделю тому назад. Но в одном столике, который случайно был повернут ящиком к стене, завалялась толстая тетрадь, где неразборчивым почерком были сделаны какие-то записи.

Учитель не мог удержаться и заглянул в нее. Пока судья спокойно расхаживал по дому с лампой в руках и заносил в свой список все оставшиеся здесь вещи, он не выходил из спальни и при свете огарка, воткнутого в горлышко бутылки, перелистывал тетрадь.

Это было что-то вроде дневника; смотритель вел его со дня приезда, он заносил сюда свои мысли и как бы беседовал с самим собой обо всем виденном и слышанном.

На первой же странице учитель, хоть и не без труда, разобрал следующее:

«Пока мы молоды, мы предъявляем непомерные требования к силам, управляющим жизнью. Мы хотим, чтобы они сразу открылись нам. Тот покров таинственности, под которым они действуют, оскорбляет наши чувства, и мы желаем вмешаться в работу грандиозной машины мироздания и направлять ее по своему усмотрению. Став постарше, мы мечем нетерпеливые взоры в сторону человечества и человеческой истории, чтобы хоть здесь выявить закономерности, внутренние законы, пути развития, — одним словом, чтобы хоть здесь найти смысл жизни и цель, ради которой стоит бороться и страдать. Но потом настает такой день, когда нас останавливает голос из самых глубин нашего существа, таинственный голос, вопрошающий: «А познал ли ты самого себя?» И с этого дня нас занимает один-единственный вопрос. С этого дня великой загадкой сфинкса становится наше собственное, наше истинное «я», и мы тщетно пытаемся разрешить ее. Но что такое «мое истинное я»? Не тот ли это человек, который сегодня утром вышел из дому под проливным дождем, сердитый, мрачный, бесконечно уставший от жизни и ее тягот? Или, быть может, мое «я» это тот, кто в сумерки сидел возле печки, предаваясь счастливым воспоминаниям о доме, о семье, об играющих детях? А вдруг это тот, кто сейчас одиноко сидит при свете лампы, ни грустный, ни веселый, ни старый, ни молодой, и у кого в душе царят мир и покой, высший покой, который ниспосылает нам только ночь, только одиночество. Что ж, значит, это и есть мое истинное «я», каким оно вышло из рук матери-природы, незапятнанное и неискаженное? А может, в каждом из этих обликов есть нечто от моего «я»? Может быть, то, что мы именуем нашей душой, есть лишь мимолетное настроение, отголосок сна, который мы видели ночью, или статьи, которую мы прочли в утренней газете? Может, она зависит от стрелки барометра или цен на торф? Может, в нас живет столько душ, сколько есть фигурок при игре в бирюльки? Как ни встряхнешь, наверху всякий раз окажется новая фигурка: то

дурачок, то вояка-забияка, то сова.

Я вопрошаю! Я вопрошаю!»

Учитель не мог опомниться от изумления, он не узнавал в этих безнадежных словах своего старого знакомого. Отыскивая в тетради заметки более поздних лет, он неожиданно натолкнулся на заложенное между страницами письмо. Письмо было адресовано «Г-ну дорожному смотрителю П. Сидениусу» и, судя по почтовому штемпелю, пришло месяца два тому назад.

После краткой борьбы с угрызениями совести Миккельсен вынул его из конверта. Почерк был женский. Адрес отправителя был указан сверху, на первой странице: «Буддеруплунд».

Вот что прочел Миккельсен:

«До меня дошли слухи, что ты болен, тяжело болен. Поэтому я первой нарушила обет молчания, к которому ты принудил меня, ибо я не буду знать покоя, пока не скажу тебе, как бесконечно благодарна я тебе за все жертвы, принесенные тобой ради моего счастья. Теперь я поняла тебя до конца, поняла, что ты хотел нам добра, и у меня нет слов, чтобы выразить тебе всю глубину моей благодарности. Привет тебе от наших троих детей, они все здоровы и живут хорошо, как и мои младшенькие. Их у меня двое. Хагбарт уже студент, он хочет стать инженером, и, как все говорят, у него недюжинные способности. К тому же он мальчик крепкий и смелый, так что сумеет пробиться в жизни. Ингеборг уже подтверждена прошлой осенью. Она и маленькая Лиза живут пока со мной. Они тебя совсем не знают — ты так хотел, и, может быть, ты прав. Еще раз великое спасибо за все, за все. Да ниспошлет тебе господь силы, чтобы вынести то, что тебе предстоит! Ингер».

Миккельсен задумчиво кивнул и засунул листок обратно в конверт.

«Ну и непонятный же он был человек!» — подумалось ему.

На последних страницах дневника шли главным образом разрозненные записи, и многие кончались одинаковыми словами, которые кое-где были подчеркнуты: «Природа богата, природа исполнена мудрости и доброты». Здесь Миккельсен уже легко узнавал и способ выражения и ход мыслей своего покойного друга.

Вот, например:

«Без вечного, от природы заложенного стремления к непрерывному развитию, без созидательной, животворной силы, которая проявляется в страстях человеческих, независимо от того, направлены они наружу — в мир действительности, внутрь — в сферу мысли, или наверх — в царство грез, без великой и дерзкой решимости увидеть себя самого в божественной наготе, никто не может достичь настоящей свободы. Потому я и почитаю себя счастливым, что мне довелось жить в такое время, которое порождает подобие стремление и усиливает подобную решимость. Иначе я остался бы неполноценным человеком, заправским Сидениусом до конца дней».

Вот наудачу другая выдержка:

«Жизнь и история Христа учат нас лишь одному (и в этом-то заключена древняя мудрость), они учат нас, что только страсть может победить страдание».

На третьей странице:

«Величайшей мечтой моей юности была мечта о славе! И в конце концов мне удалось завоевать мир. Душа каждого человека есть самостоятельный мир; смерть его есть крушение мира в миниатюре».

Еще дальше Миккельсен вычитал следующие строки:

«Газеты сообщают сегодня о том, что господин Стейнер произведен в статские советники. Каково? Целая жизнь отдана обману и надувательству — и за все про все лишь титул статского советника? Свет так неблагодарен. Ах, господин Стейнер, бедный господин Стейнер! Знали бы вы, каким царственно свободным чувствую я себя в своей безвестности, как недоступен я для мелочных обид. Знай вы это, вы, несомненно, почувствовали бы себя обойденным. Но вы ничего не знаете и потому счастливы. Вы поздравляете себя самого, вы гордо осушаете бокал шампанского за свое здоровье и свою славу. Ибо природа богата,



природа исполнена мудрости и доброты».

Потом — с кратким заголовком: «О боге».

«Вольтеру приписывают изречение: «Если бы бога не было, его следовало бы выдумать». Мне это изречение представляется более справедливым в перевернутом виде: «Если бы бог действительно существовал, надо бы постараться забыть о нем». И это вовсе не из страха перед дурными поступками и неизбежной расплатой за них, а из одного лишь желания взрастить человека, который будет творить добро ради самого добра, а не ради бога. Кто сможет от всей души подать милостыню нищему, думая или желая думать при этом, что господь все видит, всему строгий учет и, глядя на эту картину, одобрительно качает головой?»

Сразу же под этими словами шли другие, озаглавленные: «Еще о вере».

«В жизни мы окружаем себя множеством предметов, которые по воле случая становятся нашей собственностью. Так, в один прекрасный день мы обнаруживаем, что нам до зарезу необходим комод, и покупаем первый, какой оказывается у мебельщика. Сперва мы равнодушно глядим на него, он, может быть, нам вовсе даже не нравится, но как только мы решили все-таки купить его, как только он стал нашей собственностью, и с нами, и с комодом происходят таинственные перемены. Мы бережно проводим рукой по его полированной поверхности, мы с любовью и страхом провожаем его глазами, когда грузчики несут его по лестнице, а если нам когда-нибудь потом придется с ним расстаться, нам кажется, что вместе с ним от нас уходит какая-то часть нашего сердца. Такова загадка обладания собственностью. Не такова ли и загадка веры?»

На страницах, датированных последним годом, Миккельсен нашел такой заголовок: «Грозный призрак».

«Не помню точно где, на острове Морс много лет тому назад произошел такой случай. У одного помещика было два маленьких сына. Младший был мальчуган упрямый и непослушный, и отец хотел сломить его упрямство. Как-то раз — мальчику шел тогда девятый год — он опять что-то натворил и должен был понести наказание. От страха он взобрался на высокое дерево. Отец в запальчивости да еще, как говорят, изрядно выпив (он только что вернулся с охотничьей пирушки), схватил кнут и приказал сыну спускаться. Но чем громче он кричал, чем сильнее бранился, тем выше залезал перепуганный мальчик. Наконец он добрался до самой верхушки. Вдруг раздался крик: ветка, на которую он хотел стать, подломилась, и он упал с огромной высоты на землю. После этого он навсегда остался калекой, а отец сошел с ума от угрызений совести и до самой смерти просидел в сумасшедшем доме.

Сыновья тем временем подросли. Старший стал здоровым, краснощеким парнем, что называется кровь с молоком. Он женился на красивой девушке, наплодил целый выводок крепких и здоровых детей, превратил имение в образцово-показательное хозяйство, — короче, свершил на земле все, что положено свершить мужчине. А брат в это время тихо и неподвижно полулежал в своем кресле под деревьями. Птицы кружили над ним и если из его рук. Он не чувствовал себя несчастным, его мучила только неуместная жалость окружающих и мысль о страшной участи отца. Я видел его. Ему было в ту пору лет восемнадцать-девятнадцать, и я никогда не забуду просветленное выражение его лица. Словно сияние исходило от него. Взамен утраченного здоровья природа подарила ему шестое чувство, которое одно лишь дает нам изведать величайшее наслаждение. Неуклюжий подросток с угрюмым блеском в глазах стал лишь жалким калекой, бедняга не стал ни мужчиной, ни женщиной, ни ребенком, ни взрослым. Но зато он стал человеком, в чьем взгляде отразилась сама бесконечность во всей своей незамутненной чистоте, глубине и покое. И я невольно вспомнил об его отце, которого грозный призрак — совесть загнал в непроглядную тьму, потому что он не обладал истинной верой, верой в природу, богатую, исполненную мудрости и доброты. Все на свете во власти природы, и она щедро возмещает в одном звене то, чего мы лишены в другом, и она...»

Учитель не дочитал: в комнату вернулся судья.

— Ну, Миккельсен, идем, все готово. Что это у вас?

— Да вот тетрадь, она лежала в ящике. Между прочим, что мы с ней будем делать? Тут ведь просто записи, с аукциона она пойти не может, а уничтожать жалко. Как вы считаете, Нильсен, имею я право взять ее себе? У меня тогда останется о нем хоть какая-нибудь память. Честно говоря, мне будет очень недоставать его, а здесь так много написано как раз о том, о чем мы с ним обычно говорили. Я почитаю немножко, вот мне и будет казаться, будто я снова поговорил с ним.

— Да берите себе на здоровье. За всякую писанину мы не отвечаем. Денежной ценности она не имеет.

Погасили свечу и лампу, судья зажег фонарь. Потом оба вышли из опустевшего дома и бережно притворили за собой дверь.